В. А. ГИЛЯРОВСКИЙ

1

Вл. Гиляровскій



В. А. ГИЛЯРОВСКИЙ

ИЗБРАННОЕ

в трех томах

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1961

В. А. ГИЛЯРОВСКИЙ

Том первый

ТРУЩОБНЫЕ ЛЮДИ
МОИ СКИТАНИЯ
ЛЮДИ ТЕАТРА

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1961

Составление, подготовка текста
и примечания *Е. Г. Киселевой*


В. Гиляровский.
1878 г.
Фот. Хрусталев и К.
въ Пензѣ.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В последние годы в разных издательствах вышло несколько книг В. А. Гиляровского — «Москва и москвичи», «Трущобные люди», «Мои скитания», «На жизненной дороге».

Книги В. А. Гиляровского пользуются большой популярностью. Идя навстречу пожеланиям читателей, издательство приступило к выпуску трехтомного собрания сочинений писателя. В него включены все основные произведения Гиляровского, кроме стихотворений и поэм.

В состав первого тома вошли три книги — «Трущобные люди», «Мои скитания», «Люди театра». Последние две книги являются частями трилогии. «Люди театра» впервые были опубликованы в 1941 г. незначительным тиражом. После этого книга не переиздавалась и стала библиографической редкостью.

Второй том составляют третья книга трилогии — «Москва газетная» и рассказы. «Москва газетная» публикуется впервые.

Третий том состоит из двух книг — «Москва и москвичи» и «Друзья и встречи». «Москва и москвичи» публикуется по последнему прижизненному изданию автора, которое было осуществлено в 1935 г. Книга «Друзья и встречи» была опубликована в 1934 г. и с тех пор не переиздавалась.

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ГИЛЯРОВСКИЙ

Жизнь писателя и журналиста В. А. Гиляровского (1853—1935 гг.), пестрая, сложная и непоседливая, богата встречами, открытиями, столкновениями, похожа на русский приключенческий социальный роман, как бы созданный самой русской действительностью. Еще старшие современники В. А. Гиляровского говорили, что самый подлинный, настоящий роман — это сама действительность и что писать может и обязан лишь тот, кто, благодаря своему верному зрению, хорошо видит, кто смотрит на мир, на людей вдохновенными, не обыденными глазами, смотрит и мучается, чем же эти люди живут,— какими надеждами, мечтами, какой жаждой томятся.

То же и В. Гиляровский: он стал писателем по своей страстной любви к жизни во всех ее проявлениях. Он в разное время, а порой и одновременно был актером, табунщиком, бурлаком, спортсменом, бытописателем Москвы, лазутчиком на войне, исследователем капиталистического «дна», другом многих лучших людей России, был человеком замечательным во многих отношениях, а самое главное — был писателем, поверенным едва ли не всех общественных событий, дел и происшествий своего времени.

Проникать во все поры жизни, во все ее уголки, входить во все классы общества, бросаться, иногда очертя голову, в водовороты событий, не исключая даже и международных, быть всегда в движении, на людях, бесстрашно опускать персты свои в общественные язвы, обличая одних и оправдывая других, накапливать по крупинкам обвинительный материал против мира несправедливости и эксплуатации, писать обо всем увиденном и исследованном с за-

дором, смело, писать не для «потомства», а для текущего, горячего, никогда не повторимого и всегда поэтому чем-то бесконечно дорогого дня, то есть, употребляя современное выражение, всегда активно вмешиваться в жизнь, было уделом В. Гиляровского. В старости он сам отмечал «приключенческий» характер своей жизни, чрезвычайно богатой фактами, происшествиями, начинаниями.

Таким он остался в памяти всех знавших его, таким он смотрит и со страниц своих книг, читать которые одно наслаждение. В них он весь, от головы до пят, красочный, жизнелюбивый, полный светлого, острого ума, отзывчивый до всего, что попадало в поле зрения и прочно засекалось в его емкой литературной памяти. Его заслуженно величали «королем репортеров», хотя не в меньшей степени он был и первоклассным фельетонистом и мастером широкотемного очерка, автором большого цикла первоклассных выразительных рассказов, преимущественно из жизни низов русского общества. Но самое главное было то, что вне современности, вне настоящего, вне службы своему времени — в его лучших прогрессивных тенденциях — Гиляровского как бы не существовало. Все, что было написано им — крупного или обыкновенного, надолго или на потребу дня, рассудительного или сенсационного, — теснейшим образом связано с его личностью, красочной, разносторонне одаренной, необычайно живой, колоритной, отмеченной лучшими чертами русского «живописного» характера. Таким образом, писатель и человек составляли в Гиляровском неразрывное единство. «Столько видеть и не писать — нельзя», — как-то сказала Гиляровскому его друг, великая актриса М. Н. Ермолова, превосходный литературный портрет которой он набросал в своих «Людях театра».

Может быть, самым поразительным фактом его пестрой, ни с какой другой не сопоставимой биографии был уход из дому еще юношей на Волгу, в бурлаки, в крючники под влиянием чтения романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и в особенности под непосредственным обаянием образа революционера-демократа Рахметова. Подобно этому герою знаменитого произведения о «новых людях», прошедшему бурлаком всю Волгу — «от Дубовки до Рыбинска», Гиляровский прошел бурлаком тот же самый путь, только в обратном направлении, сверху вниз, во всем следуя Рахметову, стремясь быть, как и он, «работником всяких здоровых промыслов», попросту говоря, работником черного труда, требовавшего выносливости, закалки, огромной физической силы, одновременно являвшейся и для Гиляровского и для Рахметова выражением большой нравственной силы. Поколение шестидесятников воспитывалось на пре-

красном предании, что народные силачи, русские богатыри, были также и богатырями духа, защитниками простого народа.

В. Гиляровский и в лямку-то впрягся «по Рахметову», как того требовало захватившее юношу увлечение литературным героем, которому хотелось во всем подражать и учиться у которого заставляло чувство долга перед народом. Вставал вопрос: как войти в доверие к бурлакам? Примут ли? «Сказать, что он хочет быть бурлаком, показалось бы хозяину судна и бурлакам верхом нелепости, и его не приняли бы; но он сел просто пассажиром, подружившись с артелью, стал помогать тянуть лямку и через неделю запрягся в нее, как следует настоящему рабочему; скоро заметили, как он тянет, начали пробовать силу, — он перетягивал троих, даже четверых самых здоровых из своих товарищей»[1]. Все точно так случилось и с Гиляровским, тоже обладавшим огромной физической силой и завоевавшим именно таким способом доверие бурлаков.

В биографии автора «Моих скитаний» (любимом произведении Гиляровского) это была самая романтическая, овеянная революционными идеалами пора. Гиляровский сам стал частицей многомиллионного простого народа. Он отдался течению жизни безраздельно, со всем пылом молодости, запасшись у волгарей до конца дней своих изрядной дозой оптимизма, познав на себе, на своей шкуре, как говорится, и народное бездолье и народную веру в освобождение. В дальнейшем демократ Гиляровский всегда, как мог, но непременно хорошо отточенным оружием слова защищал народные интересы и восторженно, уже в почтенных летах, встретил зарю Великой социалистической революции, пополнив собой ряды первых советских писателей.

В долгой жизни своей Гиляровский пренебрегал любой опасностью, любыми житейскими неудобствами. Он бесстрашно водился с обитателями ночлежек, париями и отщепенцами буржуазного общества, испытывая на себе то, что обычно оставляло равнодушными его собратьев по профессии — журналистов. Без этих драгоценных качеств он не написал бы, еще в семидесятых годах, своего знаменитого, оставившего след в сознании общества, очерка «Обреченные», посвященного описанию капиталистической каторги на ярославском заводе свинцовых белил, мерзости которой были поистине свинцовыми, не написал бы и глубоко человечных рассказов «Трущобные люди», сожженных сейчас же по выходе царскими властями, не стал

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Избранные сочинения. Соцэкгиз, 1932, т. 5, стр. 206—207.

бы одним из самых ярких представителей столь примечательного в русской литературе «физиологического», по своему характеру вполне социального направления, берущего начало еще в 40-х годах и посвященного изображению жизни так называемых люмпенов, людей городского «дна», трущоб и углов.

«Добывать» такой материал было не легко, и Гиляровский не раз и не два спускался в буквальном смысле в подземелья последней нищеты и последнего отчаяния. Удивительно ли, что он не переносил в журналистской среде никакого чистоплюйства, барства, показного народолюбия. Вот каким по личным воспоминаниям описывает К. Г. Паустовский «вездесущего» старика Гиляровского: «Молокососы! — кричал он нам, молодым газетчикам. — Трухлявые либералы!.. В газете должны быть такие речи, чтобы у читателя спирало дыхание. А вы что делаете? Мямлите!.. Я знаю русский народ. Он вам покажет, где раки зимуют! Можно, конечно, проливать слезы над собственной статьей о русском мужике. Да от одного мужицкого слова всех вас хватит кондрашка!»[1] Характерно, что В. Гиляровский никогда не расставался в своей литературной деятельности с образом Степана Разина, этого, по определению Пушкина, единственного поэтического лица русской истории. Образ вождя крестьянского восстания с самой ранней юности завораживал, притягивал к себе Гиляровского, с ним связывалась поэзия великой русской реки, национальные предания. Слышанные Гиляровским народные сказы о Разине, который еще вернется изводить неправду на земле, были одним из источников патриотических, возвышенных чувств писателя. Из этих настроений, очень устойчивых, родилась у Гиляровского поэма о вожде волжской вольницы «Стенька Разин».

Как литератор, Владимир Алексеевич жил в мире былевых и сказочных образов, а порой и где-то между этими не столь уж далекими друг от друга мирами. Гиляровский был проводником как раз смешанной формы — полуочерковой, полуновеллистической, круто замешанной у него на творческом домысле, на занимательности, на пружинистом, искрящемся диалоге, бойких словечках, на которые так охоч русский человек. Многие произведения Гиляровского, как это легко может заметить читатель, держатся, если воспользоваться актерским выражением, «на слуху», легко запоминаются. В чем тут тайна? Конечно, в искрометности языка, разговорной ин-

---

[1] К. Паустовский. Начало неведомого века. «Советский писатель», 1958, стр. 36.

тонации, удивительно естественной, как-то особо сближающей героев с читателями. И другой есть секрет обаяния произведений Гиляровского — это молодость духа, неиссякаемость воодушевления, радость от познания мира. Писатель-мемуарист Гиляровский, говоря о себе, о своих делах и чувствах, умеет в то же время как-то незаметно отойти в сторону, выдвигая на передний план других и только через них себя. Не отсюда ли и та поистине огромная галерея портретов, живых его современников, то прекрасно отделанных, а то и чуть только запечатленных, которая так бросается в глаза в повестях «дяди Гиляя».

Написанные главным образом в советские годы, произведения «Мои скитания», «Москва и москвичи», «Люди театра», «Москва газетная» и др. не могут не понравиться, не увлечь читателей, так как в правильном свете раскрывают многие незнакомые уголки отошедшей жизни, передают в живом, занимательном изложении ту поистине ненасытную жажду неизведанных ощущений и впечатлений, которыми жил, можно сказать, страдал Гиляровский. Куда только не ведет за собой он читателя! И в Москву, и в Ярославль, и на дикие стремнины Кавказа, и на легендарную Шипку, и на шумное нижегородское торжище с его злачными закоулками, и в живописные бесконечно любимые места Гоголя, и в ногайские степные просторы, и, наконец, на широкую Волгу-матушку реку. Затаив дыхание, мы следим за прекрасным зрелищем, как целое стадо туров перепархивает бездонную пропасть вослед за своим вожаком, красиво распластавшимся с поджатыми ногами и вытянутой шеей в воздухе, как все пятнадцать рыжих красавцев скользнули за ним почти непрерывной гирляндой... Или вот наблюдаем грозный обвал в горах, увлекающий за собой и бесстрашного автора. Гиляровский совершает поездку в Сорочинцы и Миргород, собирая по крохам все, что так или иначе связано с жизнью Гоголя на родине. Как известно, поездка Гиляровского оставила след и в науке, например документально установлены были им место и день рождения Гоголя. Западает в память и свидетельство живой современницы Гоголя Е. Петровой о том, как приехавшей в Миргород по делу в поветовый суд матери писателя, Марии Ивановне, миргородские чиновники, злые на писателя за рассказ об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче, не предложили даже сесть, и она простояла два часа, пока не получила нужную справку.

Гиляровский захватил еще в живых повара и горничную матери Гоголя. «Это были такие ветхие старики, каких я никогда нигде не видел, — замечает он. — Я их застал, когда они, едва-едва

двигаясь, выползали из хаты погреться на солнышке. Волосы у обоих были целы, зато глаза плачут, еле смотрят, особенно у старика; это сказались десятки лет у плиты. Оба они мне напомнили старые деревенские хаты, вросшие в землю, с растрепанными, облезлыми соломенными крышами, со слезящимися тусклыми окнами». Сколько горечи, любви и сострадания заключено в этом описании, особенно в последнем сравнении с хатами, выполненном настоящей писательской рукой.

С Украины В. Гиляровский переносится на Балканы, чтобы разделить с болгарами чувство радости по случаю 25-летней годовщины освобождения Болгарии от турецкого многовекового ига. Глядя на отважных русских матросов, отцы которых помогали русским войскам в их святом деле освобождения братского славянского народа, Гиляровский, сам участник кампании 1877 года, восклицает: «Эти люди могут сделать все!» Проезжая четверть века спустя по Болгарии, Гиляровский «всюду видел задушевные встречи, вглядывался в самые мелочи общего захватывающего восторга народного». «Всей душой принимал нас народ болгарский, всем сердцем!» — заключает свои впечатления участник торжеств.

Куда только не забрасывала судьба «короля репортеров»! Как подчас фантастично и красочно выглядит его жизнь! Например, не попади он однажды в Астрахань и не окунись с головой случайно в бочку с тузлуком (соляным рыбным раствором), не остановил бы его, начав разговор, казак с серьгой в ухе и не подрядил бы его гонять персидских жеребцов по Задонью!.. У Гиляровского было любимое слово: «кисмет», что в языках тюркских народов значит «судьба». Ему казалось, что на всех его поступках лежит печать судьбы, а на самом деле выходило, что судьбу-то он сплошь да рядом делал сам, как человек прямой души, твердой воли, ясной мысли и желанной цели.

«Все как-то во мне уживалось, все просто», — говорил он о себе, умышленно несколько упрощая свой «кисмет». А этот кисмет был ох как тяжел для огромного большинства разноплеменного населения России. Все мы, например, краем уха слышали о «волчьем паспорте», с которым меряли ногами русскую землю горемычные путешественники поневоле. Как бы идя нам навстречу, В. Гиляровский приводит в своей книге текст этого жестокого документа — «проходное свидетельство» на бродяжничество, с которым обладателя его всякий мог гнать взашей из любого селения, города, дома... Читаешь об этом у Гиляровского и думаешь: что за особенный народ писатели-журналисты — добытчики и разведчи-

ки всяческих замечательных материалов и новостей, ловцы характеров и происшествий!

Особое место занимали в жизни Гиляровского театр, актеры. «Люди театра» имеют подзаголовок «Повесть актерской жизни». Только в старой России с ее безграничными просторами, бездорожьем и глухими углами могла возникнуть ни с чем не сравнимая, ныне почти легендарная поэзия передвижной актерской жизни. И шли эти люди, жрецы Мельпомены, «пешком по шпалам», по проселкам, эти «перелетные птицы», увековеченные великим русским драматургом, все эти Счастливцевы и Несчастливцевы. Замечательно, что Гиляровский прекрасно знал и любил тех, кто был действительными прототипами героев Островского, больше того: он сам был одно время таким вот Полусчастливцевым или Полунесчастливцевым, то одним, то другим. Куда только не бросала его жизнь и какие только роли на театре не заставляла играть. И на целинных землях он игрывал, а их тогда было пол-России!

Гиляровский обладал большим чутьем живой разговорной речи. Редкий его рассказ, зарисовка, этюд не сверкали блестками крестьянского, мещанского, купеческого или рабочего языка, не обращали на себя внимание ядреными словцами, меткими сравнениями, которые рождались у говорящих прямо из души, из «нутра». Пожалуй, наибольшую симпатию у В. Гиляровского вызывали сказы волгарей, объездчиков, мастеровых и прочих работных людей. Приведем в извлечениях один из таких сочных разговоров, показывающий, как плетется в народе между делом кружево побывальщин и сказок.

«Ты думаешь, я везде все одно и то же сказываю? — спрашивает Суслик, один из самых колоритных «вольных» людей у Гиляровского. — Как выйдет! Вдругорядь приплетешь к сказке и чего нового. И бывальщины тоже. У бурлаков одно сказываешь, у мужиков другое, а у раскольников свое надо говорить... Я в вологодских лесах бывал у поморов благочестивых[1], что чашкой-ложкой отпихиваются от мирского греха... Сами они от начальства скрываются — и нашу нужду потому понимают. Вольно у них!.. И никто тебе в душу не заглянет... И на что им чужую душу ворошить, в чужой колодец заглядывать? Ведь все равно ничегошеньки в темноте глубокой не увидишь, а ежели солнышко осветит глубь водицы сверху, то еще как выйдет! А то и свой лик косым увидишь да скаженным. Вот они и не заглядывают в чужую душу...

---

[1] Имеются в виду поморы старообрядцы, раскольники. — *Н. З.*

Охотой своей ходим мы в лес, работаем, дрова рубим либо стройку какую, что покажут. Днем работаем, а ночи наши. Так и спасаемся до вешней воды. В ночи бессонные, когда лучина в светце погаснет, самые тут бывальщины и польются! Народ все такой, что каждому есть что порассказать. И кто что видел, и кто что слышал, цел ли такой-то, сгорел ли такой-то, вернулся ли этот из-за бугров. С бывальщины на сказку, со сказки на бывальщину... А то раз зимовал я сторожем, где кружевницы и вышивальщицы жили. И все присматривался, как они на своих подушках с кружевами звонкими кленовыми коклюшками кок-кок — ан гляди, где дырки, где нитки... А выходит то, что век не забуду: стоит на кружеве-то избушка, около нее елочка, и дымок из трубы курится... А то келейка не келейка, на князьке петушок. Гляжу через плечо в окошко, а напротив стоит точь-в-точь такая келейка и петушок на князьке... То монашек в лодке плывет. Ежели это кружево положить на синюю нанку — так по морю синему он плывет... А ведь петушок да монашек в душе у той кружевницы жили! Вот она свою душу для других и выложила — пусть живут они, и петушок и монашек! Так и бывальщина вроде петушка на кровле, а сказка — монашек в лодке».

Языковое разговорное кружево самых разных рисунков плетется во многих произведениях В. Гиляровского. На это у него был особый талант, — талант чуткого слуха и никогда не изменявшей цепкой памяти.

Все произведения Гиляровского по существу составляют одну огромную книгу жития талантливейшего русского человека эпохи созревания революции. Задача советских литературоведов — определить художественное своеобразие литературного наследия Гиляровского. Это бытописатель особой формации. В его журналистике живут элементы истинно прекрасного и возвышенного, всегда зовущего человека вперед. Литература наша огромна и разнообразна, Гиляровский в ней предстает как приметная индивидуальность, ведущая свою творческую историю из великого запасника идей — произведений Чернышевского и Некрасова. Дело в том, что Гиляровский не пошел — а его соблазняли, и не раз, — на поклон капитализму, он стоял за обновление, а не либерально-заплаточное подновление жизни страны. Он в такой же степени национален, как национально своеобразна русская литература второй половины прошлого и начала нашего столетия. Эта сторона вопроса, — наравне с тем, что симпатии советского читателя к дяде Гиляю не преходящи, а постоянны, — требует к себе пристального внимания.

Долгую и справедливую жизнь прожил В. Гиляровский: поду-

мать только, он сам, своими ушами еще слышал страшный сказ о том, что колесами пароходов вертят души утопленников,— а дожил до времен пуска первого метро в социалистической Москве, чему и стал радостным свидетелем.

В книгах В. Гиляровского ярко выступает старая Россия в ее кричащих контрастах темного и светлого, дикого и гуманного, мрачного и веселого, контрастах богатства и нищеты. Поучительно бывает порой заглядывать в труды и дни наших отцов и дедов. Прошлое мы изучаем ведь не ради самого изучения, а ради лучшего познания современности. Произведения В. Гиляровского помогают нам это делать.

Н. ЗАМОШКИН.



ТРУЩОБНЫЕ ЛЮДИ

(Этюды с натуры)

ЧЕЛОВЕК И СОБАКА

— Лиска, ляг на ноги да погрей их, ляг! — стуча от холода зубами, проворчал нищий, стараясь подобрать под себя ноги, обутые в опорки и обернутые тряпками.

Лиска, небольшая желтая культяпая дворняжка, ласково виляя пушистым хвостом и улыбаясь во весь свой ротик с рядом белых зубов, поднялась со снега и легла на закорузлые ноги нищего.

— Эх, Лисичка, и холодно-то нам с тобой и голодно! Кою ночь ночуем на морозе, а деваться некуда... В ночлежных обходы пошли, как раз «к дяде»[1] угодишь, а здесь, в саду, на летнем положении-то, хоть и не ахти как, а все на воле... Еще спасибо, что и так, подвал-то не забили... И чего это в саду дом пустует: лучше бы отколотили доски да бедных пущали... А вот хлебушка-то у нас с тобой нет... Ничего, до лета потерпим, а там опять на вольную работу, опять в деревню косить пойдем и сыты будем... В лагеря сходим... Солдаты говядинки дадут... Наш брат солдат собак любит... Сам я вот в Туречине собачонку взял щенком в лесу, как тебя же, выкормил, выходил и офицеру подарил. В Расею он ее взял... Чудаком звали собаку-то. Бывало, командир подзовет меня и спросит: «Как звать собаку?» — «Чудак, мол, ваше благородие!» А ён, покелича не поймет,

[1] В тюрьму.

и обижается, думает, его чудаком-то зовут... Славная собака была!.. Вот и тебя, как ее, тоже паршивым щенком достал, выкормил, да на горе... Голодаем вот...

Лиска виляла хвостом и ласково смотрела в глаза нищему...

Начало светать... На Спасской башне пробило шесть. Фонарщик прошел по улице и потушил фонари. Красноватой полосой засветлела зорька, погашая одну за другой звездочки, которые вскоре слились с светлым небом... Улицы оживали... Завизжали железные петли отпираемых где-то лавок... Черные бочки прогромыхали... Заскрипели по молодому снегу полозья саней... Окна трактира осветились огоньками...

Окоченелый от холода, выполз нищий из своего логова в сад, послюнил пальцы, протер ими глаза, заплывшие, опухшие — умылся — и приласкал вертевшуюся у ног Лиску.

— Холодно, голубушка, холодно, ну полежи, милая, полежи ты, а я пойду постреляю [1] и хлебушка принесу... Ничего, Лиска, поправимся!.. Не все же так... Только ты-то не оставляй меня, не бегай... Ты у меня, безродного бродяги, одна ведь. Не оставишь, Лиска?

Лиска еще пуще заюлила перед нищим и по его приказанию ушла в логово, а он, съежившись и засунув руки в рукава рваного кафтана, зашагал по снегу к блестевшим окнам трактира...

* * *

— Сюда, ребята, закидывай снег да захватывай подвал, там, наверное, есть! — командовал рыжий мужик шестерым рабочим, несшим длинную веревочную сетку вроде невода.

Те оцепили подвал, где была Лиска.

Она с лаем выскочила из своего убежища и как раз запуталась в сети. Рыжий мужик схватил ее за ногу. Она пробовала вырваться, но была схвачена железными щипцами и опущена в деревянный ящик, который поставили в фуру, запряженную рослой лошадью. Лиска би-

[1] Посбираю милостыню.

лась, рвалась, выла, лаяла и успокоилась только тогда, когда ее выпустили на обширный двор, окруженный хлевушками с сотнями клеток, наполненных собаками.

Некоторые из собак гуляли по двору. Тут были и щенки, и старые, и дворовые, и охотничьи собаки — словом, всех пород. Лиска чувствовала себя не в своей тарелке и робко оглядывалась. Из конторы вышел полный коротенький человек и, увидав Лиску, спросил:

— Это откуда такая красавица?.. Совсем лисица, и шерстью, и хвостом, и мордочкой.

— Бродячая, в саду взяли...

— Славна собачка! Не сажать ее в клетку, пусть в конторе живет, а то псов прорва, а хорошего ни одного нет... Кличка ей будет «Лиска»... Лиска, Лиска, иси сюды!

Лиска, услыхав свое имя, подбежала к коротенькому человечку и завиляла хвостом.

Ее накормили, устроили ей постель в сенях конторы, и участь ее была обеспечена,— она стала общей любимицей...

* * *

Только что увезли ловчие Лиску, возвратился и бродяга в свой подвал. Он удивился, не найдя в нем своего друга, и заскучал. Ходил целый день как помешанный, искал, кликал, хлеба в подвале положил (пущай, мол, дура, поест с холодухи-то, набегается ужо!), а Лиски все не было... Только вечером услыхал он разговор двух купцов, сидевших на лавочке, что собак в саду «ловчие переимали» и в собачий приют увезли.

— В какой приют, ваше степенство? — вмешался в разговор нищий, подстрекаемый любопытством узнать о судьбе друга.

— Такой уж есть, выискались, вишь, добрые, вместо того чтобы людей вот вроде тебя напоить-накормить да от непогоды пригреть, — собакам пансион устроили.

— Вроде как богадельня собачья! — вставил другой, — и берегут и холят.

Поблагодарил бродяга купцов и пошел дальше, куда глаза глядят.

Счастлив хоть одним был он, что его Лиске живется

хорошо, только никак не мог в толк взять, кто такой добрый человек нашелся, что устроил собачью богадельню, и почему на эти деньги (а стоит, чай, немало содержать псов-то) не сделали хоть ночлежного угла для голодных и холодных людей, еще более бесприютных и несчастных, чем собаки (потому собака в шубе,— ей и на снегу тепло). Немало он подивился этому.

Прошло три дня. Сильно заскучал бродяга о своем культяпом друге (и ноги-то погреть некому и словечушка не с кем промолвить!) и решил наконец отыскивать приют, где Лиска живет, чтобы хоть одним глазком посмотреть, каково ей там (не убили ли ее на лайку, али бо што).

Много он народу переспросил о том, где собачья богадельня есть, но ответа не получал: кто обругается, кто посмеется, кто копеечку подаст да, жалеючи, головой покачивает,— «спятил, мол, с горя!» Ходил он так недели зря. Потом, как чуть брезжить стало, увидал он в Охотном ряду, что какие-то мужики сеткой собак ловят да в карету сажают, и подошел к ним.

— Братцы, не вы ли недавнысь мою Лиску в саду пымали? Така собачонка желтенькая, культяпая...

— Там вот пымали в подвале под старым трактиром... Как лисица, такая...

— Это она! Самая она и есть!

— Ну, пымали, у нас живет, смотритель к себе взял, говядины не в проед дает...

— А где ваша бог...

Но бродяга не договорил,— вдали показался городовой. («Фараон» [1] триклятущий, и побалакать не даст, — того и гляди «под шары» [2] угодишь, а там и «к дяде»!)

Пошел бродяга собачью богадельню разыскивать. Идет и думает. Вспомнилось ему прежнее житье-бытье... Вспомнил он родину, далекую, болотную; холодную «губернию», вспомнил, как ел персики и инжир [3] в Туречине, когда «во вторительную службу» воевать с туркой ходил... Вспомнил он и арестантские роты, куда на

---

[1] Городовой.
[2] В часть.
[3] Винные ягоды.

четыре года военным судом осудили «за пьянство и промотание казенных вещей»... (Уж и вешши! Рваная шинелишка — рупь цена — да сапоги старые, в коих зимой Балканы перевалил да по колено в крови ходил!)... Выпустили его из арестантских рот и волчий билет ему дали (как есть волчий, почет везде, как волку бешеному,— ни тебе работа, ни тебе ночлег!). Потерял он и этот свой билет волчий, и стали его, как дикого зверя, ловить: поймают, посадят в острог, на родину пошлют, потом он опять оттуда уйдет... Несколько лет так таскали. Свыкся он с бродяжной жизнью и с острожным житьем-бытьем. Однако последнего боялся теперь, потому что общество его отказалось принимать, и если «пымают, то за бугры, значит, жигана водить»[1].

А Сибири ему не хотелось!..

* * *

Опустилась над Москвой ночь — вьюжная, холодная... Назойливый, резкий ветер пронизывал насквозь лохмотья и резал истомленное, почерневшее от бродяжной жизни лицо старого бездомника. А все шагал он по занесенным снегом улицам Замоскворечья, пробираясь к своему убежищу... Был он у «собачьей богадельни» и Лиску на дворе видел, да опять фараоны помешали. Дальше пошел он. Вот Москва-река встала перед ним черной пропастью... Справа, вдалеке, сквозь вьюгу чуть блестели электрические фонари Каменного моста... Он не пошел на мост и спустился по пояс в снегу на лед Москвы-реки.

Бродяга с утра ничего не ел, утомился и еле передвигал окоченевшие, измокшие ноги... Наконец, подле проруби, огороженной елками, силы оставили его, и он, упав на мягкий, пушистый сугроб, начал засыпать...

Чудится ему, что Лиска пришла к нему и греет его ноги... что он лежит на мягком лазаретном тюфяке в теплой комнате и что из окна ему видны Балканы, и он сам же, с ружьем в руках, стоит по шею в снегу на часах и стережет старые сапоги и шинель, которые мо-

[1] «За бугры жигана водить» — в Сибирь.

таются на веревке... Из одного сапога вдруг лезет фараон и грозит ему...

На третий день после этого дворники, сидя у ворот, читали в «Полицейских ведомостях», что:

«Вчерашнего числа на льду Москвы-реки, в сугробе снега, под елками, окружающими прорубь, усмотрен полицией неизвестно кому принадлежащий труп, по-видимому солдатского звания, и не имеющий паспорта. К обнаружению звания приняты меры».

А кому нужен этот бродяга по смерти? Кому нужно знать, как его зовут, если при жизни-то его, безродного, бесприютного, никто и за человека с его волчьим паспортом не считал... Никто и не вспомнит его! Разве когда будут копать на его могиле новую могилу для какого-нибудь усмотренного полицией «неизвестно кому принадлежащего трупа», могильщик, закопавший не одну сотню этих безвестных трупов, скажет:

— Человек вот был тоже, а умер хуже собаки!..

Хуже собаки!..

* * *

А Лиска живет себе и до сих пор в собачьем приюте и ласковым лаем встречает каждого посетителя, но не дождется своего воспитателя, своего искреннего друга... Да и что ей? Живется хорошо, сыта до отвала, как и сотни других собак, содержащихся в приюте... Их любят, холят, берегут, ласкают...

Разве иногда голодный, бесприютный бедняк посмотрит в щель высокого забора на собачий обед, разносимый прислугой в дымящихся корытах, и скажет:

— Ишь ты, житье-то, лучше человечьего!

Лучше человечьего!

БЕЗ ВОЗВРАТА

С кладбищенской колокольни тихие, торжественные звуки часового колокола пронеслись по спавшей окрестности.

Двенадцать.

Новый часовой сосчитал часы и осмотрелся, насколько позволял это сделать мрак темной ночи. Он родился в этом городе, и местность, скрытая мраком ночи, была ему хорошо знакома. Пороховой погреб, порученный его надзору, стоял в полуверсте от городской заставы, на глухом всполье, заросшем то мелким кустарником, рассыпанным по кочкам давно высохшего болота, то бурьяном. Направо, шагах в полутораста от погреба, возвышалось на голом холме еврейское кладбище, а налево, в роскошной березовой роще — христианское, обнесенное полуразрушившимся земляным валом, местами сравнявшимся с землею. Всё это знакомые места. Они напомнили ему годы детства, и невольно он задумался над своим настоящим.

Из дядиной семьи, где он был принят и обласкан как сын родной, Воронов очутился в казармах, под командой фельдфебеля, выкреста из евреев, и дядьки, вятского мужика, заставлявшего своего «племяша» чистить сапоги и по утрам бегать в лавку и трактир с жестяным чайником за покупкой: «на две — чаю, на две — сахару и на копейку — кипятку».

Тяжела была ему первое время солдатская жизнь, невыносимо казалось это день-деньское ученье, грязные работы и прислуживанье дядьке.

Только ночью, с усталыми, изломанными членами, он забывался сладкой грезой. Но в пять часов утра и голос дневального «шоштая рота, вставай!» да звук барабана или рожка, наяривавшего утреннюю зорю, погружал его снова в неприглядную действительность солдатской жизни.

Он с усилием открывал глаза и расправлял изломанные на ученье члены.

Сквозь густой пар казарменного воздуха мерцали красноватым потухающим пламенем висячие лампы с закоптелыми дочерна за ночь стеклами и поднимались с нар темные фигуры товарищей. Некоторые уже, набрав в рот воды, бегали по усыпанному опилками полу, наливали в горсть воду и умывались. Дядькам и унтер-офицерам подавали умываться из ковшей над грудами опилок. Некоторые из «старых» любили самый процесс умывания и с видимым наслаждением доставали из своих сундучков тканые полотенца, присланные из деревни, и утирались. А спавший рядом с Вороновым на нарах «штрахованный» солдатик Пономарев, пропивавший всегда и все, кроме казенных вещей, утирался полой шинели или суконным башлыком. Полотенца у Пономарева никогда не было.

— Ишь, лодырь, полотенца собственного своего не имеет! — заметил ему раз взводный Терентьев.

— Где же я возьму, Трифон Терентьич? Из дому не получаю денег, а человек я не мастеровой.

— Лодырь ты, дармоед, вот что! У справного солдата всегда все есть, хоть Егорова взять для примеру!

Егоров, солдатик из пермских, со скопческим, безусым лицом, встал с нар и почтительно вытянулся перед взводным.

— Егоров от нас же наживается, по пятаку с рубля проценты берет... А тут на девять-то гривен жалованья в треть да на две копейки банных не раскутишься...

— Пшел, становись на молитву! — раздалась команда дежурного по роте и прекратила спор...

Воронов считался в роте «справным» и «занятным»

солдатом. Первый эпитет ему прилагали за то, что у него все было чистенькое, и мундир, кроме казенного, срочного, свой имелся, и законное число белья, и пар шесть портянок. На инспекторские смотры постоянно одолжались у него, чтобы для счета в ранец положить, ротные бедняки, вроде Пономарева, и портянками и бельем. «Занятным» называл Воронова унтер за его способность к фронтовой службе, «емнастике» и «словесности», обыкновенно плохо дающейся солдатам из неграмотных, которых всегда большинство в пехотных полках армии.

— Садись на словесность! — бывало, командует взводный офицер из сдаточных, дослужившийся годам к пятидесяти до поручика, Иван Петрович Копьев.

И садится рота: кто на окно, кто на нары, кто на скамейку.

— Егоров, что есть солдат? — сидя на столе, задает вопрос Копьев.

Егоров встает, уставляет белые, без всякого выражения глаза на красный нос Копьева и однотонно отвечает:

— Солдат есть имя общее, именитое, солдат всякий носит от генерала до рядового...

— Врешь! Дневальным на два наряда... Что есть солдат, Пономарев?

— Солдат есть имя общее, знаменитое, носит имя солдата...

— Врешь. На прицелку на два часа! Не носит имя, а имя носит... Воррронов, что есть солдат?

— Солдат есть имя общее, знаменитое, имя солдата носит всякий военнослужащий от генерала до последнего рядового.

— Молодец Воронов!

— Рад стараться, ваше благородие!

Далее следовали вопросы, что есть присяга, часовой, знамя и другие и, наконец, сигналы. Для этого призывался горнист, который на рожке играл сигналы, и Копьев спрашивал поочередно, какой сигнал что значит, и заставлял спрашиваемого проиграть сигнал на губах или спеть его словами. В последнем случае горнист отсылался.

— Играй наступление, раз, два, три! — хлопал в ладоши Копьев, и с последним ударом взвод начинал хором:

— Та-ти-та-та, та-ти-та-та, та-ти, та-ти, та-ти-та, та, та, та.

— Верно! Пой словами.

И взвод пел: «За царя и Русь святую уничтожим мы любую рать врагов».

Если взвод пел верно, то Копьев, весь сияющий, острил:

— У нас, ребята, при Николае Павловиче этот сигнал так пели: «У тятеньки, у маменьки просил солдат говядинки, дай, дай, дай!» А то еще так: «Топчи хохла, топчи хохла, топчи, топчи, топчи хохла, топ, топ, топ!»

Взвод хохотал, и Копьев не унимался, он каждый сигнал пел по-своему.

— А ну-ка, ребята, играй четвертой роте!

— Та-та-ти-а-тат-та-да-то!

— Словами!

— «Вот зовут четвертый взвод!»

— А у нас так пели: «Наста-ссия-попадья», а то: «Отрубили кошке хвост!»

И Копьев рад, ликует, глядя на улыбающихся солдат.

Зато если ошибались в сигналах — беда. Нос его багровел больше прежнего, ноздри раздувались, и половина взвода назначалась не в очередь на работу или «удила рыбу». Так называлось двухчасовое стоянье «на прицелке» с мешком песку на штыке. Воронов ни разу не был наказан ни за сигналы, ни за словесность, ни за фронтовое ученье. В гимнастике и ружейных приемах он был первым в роте, а в фехтовании на штыках побивал иногда «в вольном бою» самого Ермилова, учебного унтер-офицера, великого мастера своего дела.

— Помни, ребята, — объяснял Ермилов ученикам-солдатам, — ежели, к примеру, фихтуешь, так и фихтуй умственно, потому фихтование в бою есть вещь первая, а главное, помни, что колоть неприятеля надо на полном выпаде в грудь, коротким ударом, и коротко назад из груди штык вырви... Помни, из груди коротко назад, чтобы ён рукой не схватал... Вот так: р-раз — полный выпад и р-раз — назад. Потом р-раз — д-ва, р-раз —

д-ва, ногой коротко притопни, устрашай его, неприятеля, р-раз — д-ва!

И Воронов мастерски коротко вырывал штык из груди воображаемого неприятеля и, энергично притопывая ногой, устрашал его к крайнему удовольствию Ермилова, любившего его «за ухватку».

— Что тебя скрючило? Живот болит, что ли, мужик? — кричал, бывало, Ермилов на скорчившегося с непривычки на боевой стойке солдатика. — А? Что это? Ты вольготно держись, как генерал в карете, развались, а ты как гусь на проволоке...

Любили Воронова и солдаты за то, что он рад был каждому помочь, чем мог, и даром всем желающим писал письма в деревню.

— У нас в роте и такой-то писатель, такой-то писатель объявился из молодых, что страсть, — говорили солдаты шестой роты другим, — такие письма складные пишет, что хоть кого хошь разжалобит, и денег пришлют из деревни...

Прослужил Воронов девять месяцев, все более и более свыкаясь со службой и заслуживая общую любовь. В караул его назначали в первый раз, к пороховому погребу...

Воронов со страхом оглядывался, стоя на своем посту, и боязливо жался к будке, крепко сжимая правой рукой ложе винтовки...

Ночь была тихая и темная, хоть глаз выколи. Такие ночи нередко бывают во второй половине августа месяца в нашей средней полосе России.

Прямо перед ним громоздился черный город, в котором в виде красноватых точек, обрамленных радужными кругами, виднелись несколько фонарей, а направо и налево не видно ни зги.

Часовой обернулся лицом по направлению к кладбищу, снял шапку и перекрестился.

«Отец мой и мать здесь лежат...» — подумалось ему...

«А тут, налево, подле еврейского кладбища, жида-знахаря хоронили... Похоронили, а он все по ночам ходил, так осиновый кол ему в спину вбили»...

Вспомнились Воронову предания, слышанные в детстве...

«Тут вот, у нашего кладбища, солдатик расстрелянный закопан... А здесь...»

Вдруг какие-то радужные круги завертелись в глазах Воронова, а затем еще темнее темной ночи из-под земли начала вырастать фигура жида-знахаря, насквозь проколотая окровавленным осиновым колом... Все выше и выше росла фигура и костлявыми, черными, как земля, руками потянулась к нему... Воронов хочет перекреститься и прочесть молитву «Да воскреснет бог», а у него выходит: солдат есть имя общее, знаменитое, имя солдата носит...

А фигура все растет и все ближе тянется к нему руками. Он закрыл глаза, но и сквозь закрытые веки он еще яснее видит и землистые руки, и, как у кошки, блестящие, где-то вверху, зеленые глаза, и большой, крючковатый нос жида...

А сзади раздаются чьи-то тяжелые шаги и тихие, за душу берущие стоны.

Целый рой привидений встает перед часовым: и жид-знахарь с землистыми руками и зелеными глазами оскаливает белые, длинные, как у старого кабана, клыки, и фигура расстрелянного солдатика в белом саване лезет из-под земли, и какие-то звери с лицами взводного офицера Копьева.

Он чувствует, как стучат зубы и как волосы поднимают дно его фуражки. Он еще крепче сжал ружье и еще крепче прижался к будке.

А фигуры, всё одна страшней другой, носились перед ним, а сзади что-то тихо, тихо стонало, будто под землей.

Он поднял руку, чтобы перекреститься, но в тот момент ружье выпало у него из рук и пропало. Ему показалось, что ружье провалилось сквозь землю...

Не помня, что делает, не сознавая, что с ним, Воронов бросился бежать. Он мчался, как вихрь, едва касаясь земли, а привидения гнались за ним со стонами, свистом, гиканьем. Ему ясно слышались неистовые возгласы, вой, рев, и громче всех голос Копьева: «Врешь— не уйдешь!»

Он бежал, а над головой его мелькала мохнатая, землистая рука жида-знахаря и его черная фигура, го-

ловой упирающаяся в небо. Вдруг из-под земли вырос кто-то в белом саване и обхватил его...

Пронизывающий холодок привел Воронова в чувство. Он открыл глаза.

Над ним свесились ветки деревьев с начинающими желтеть листьями. Красноватые лучи восходящего солнца яркой полосой пробегали по верхушкам деревьев, и полоса становилась все шире и шире. Небо, чистое, голубое, сквозило сквозь ветки.

Воронов привстал и оглянулся. Кругом могильные холмики и кресты. Рядом с ним белый, только что выкрашенный крест. Он снова опустился на землю и на момент закрыл глаза, не понимая, что с ним, где он. Рука его упала на пояс и нащупала патронную суму.

Воронов что-то сообразил, и ужас отразился в его глазах.

— Да ведь я с часов бежал! — невольно сорвалось у него с языка.

«Часовому воспрещается сидеть, спать, есть, пить, курить, разговаривать с посторонними, делать в виде развлеченья ружейные приемы, выпускать из рук или отдавать кому-либо ружье и оставлять без приказания сменяющего пост. Часовой, оставивший в каком бы то ни было случае свой пост, подвергается расстрелянию», — промелькнула в уме его фраза, заученная со слов Копьева.

Рас-стре-лянию!

Он закрыл глаза и увидал памятную ему с детства картину: здесь же, близ кладбища, расстреливали солдата. Несчастный стоял привязанный к столбу в белом саване. Перед ним стояла шеренга солдат. Молодой, рыжий, с надвинутой на затылок кепи офицер махнул белым платком, и двенадцать ружей блеснули на ярком утреннем солнце светлыми стволами, и в одну линию, параллельно земле, вытянулись впереди солдат, сделавших такое движение, будто бы они хотели достать концами острых штыков солдатика в саване, а ноги их примерзли к земле.

Рыжий офицер опять махнул платком. Из стволов вырвались одновременно двенадцать огненных язычков, затем клубов белого дыма, слившихся в сплошную мас-

су, и белый саван на привязанном солдатике дрогнул, всколыхнулся раза три, а голова его в белом колпаке бессильно повисла на груди.

Воронов с такими же, как он, ребятишками смотрел из огорода на казнь. Это было лет десять назад, очень рано утром. Утро было такое же солнечное, ясное, как и теперь. Воронов вздрогнул, и голова его опустилась так же бессильно на грудь, как у расстрелянного солдатика.

— Вот так же и меня! — Он еще два раза поднял и опустил голову на грудь, будто репетируя, как опустить голову, когда его будут расстреливать, и каждый раз, как он опускал голову, чувствовал, что в грудь вонзались пули...

Он вдруг открыл глаза и вскочил на ноги.

— А может быть, еще не хватились, может, и смена не приходила,— вскрикнул Воронов и выбежал на опушку кладбища, на вал и, раздвинув кусты, посмотрел вперед. Далеко перед ним раскинулся горизонт. Налево, весь утопающий в зелени садов, город с сияющими на солнце крестами церквей, веселый, радостный, не такая темная масса, какой он казался ночью... направо мелкий лесок, левей его дерновая, зеленая горка, а рядом с ней выкрашенная в казенный цвет, белыми и черными угольниками, будка, подле порохового погреба.

Взор Воронова остановился на будке. Около нее стоял недвижимо, как статуя, новый часовой.

У дверей погреба ходил офицер и несколько солдат. Офицер осматривал печати и что-то размахивал руками. Солдаты держали под козырек.

Воронов посмотрел на город, на поляну, где расстреливали солдатика, перекрестился и ползком, между кустарниками, дрожа от страха, добрался до лесу...

Перед ним открывалась бесконечная лесная трущоба.

Воронов обернулся назад и посмотрел в сторону города.

«Расстрелянию», — мелькнуло в его уме.

Он махнул рукой и скрылся в дебрях леса.

ОБРЕЧЕННЫЕ

I

На самом краю города Верхневолжска, на высоком, обрывистом берегу Волги, стоит белильный завод, принадлежащий первогильдейному купцу миллионеру Копейкину. Завод этот, состоящий из целого ряда строений деревянных и каменных, закоптелых, грязных снаружи и обнесенных кругом высоким забором, напоминает собою крепость. Мрачно, неприветливо выглядывает он снаружи... острожным холодом веет от него...

У высоких решетчатых железных ворот завода бессменно, день и ночь, сидит сторож, обыскивая каждого выходящего изнутри и спрашивая каждого входящего, «зачем» и «к кому он идет?»

В один из холодных январских воскресных вечеров холодного 187... года к воротам завода подходил, или, вернее сказать, подбегал, молодой человек с интеллигентным лицом, одетый в рубище, в опорках вместо сапог, надетых на босые ноги. Подошедший постучал в калитку большим железным кольцом, и на стук вышел сторож, усатый солдат, с добродушно-строгим выражением чисто русского, курносого лица.

— Что тебе?

— Насчет места... — под аккомпанемент щелкавших от холода зубов вымолвил подошедший.

— Замерз, босая команда!.. Ну ступай в сторожку, погрейся уж! — не отвечая на вопрос, добродушно сказал солдат, окидывая его взглядом.

Молодой человек вошел в маленькую сторожку, теплую, как баня, от накалившейся железной маленькой печки, и поместился у притолоки.

— Садись к печке, погрейся,— пригласил его солдат, что и было немедленно исполнено. — Ну, пропился, что ли, коли на копейкинские хлёба пришел? Впервой сюда?

— Да, ни разу еще нигде не работал, хоть с голоду умирай, спасибо еще добрые люди послали, а то хоть и топиться так впору!

— А сам из каких? Приказчик прогорелый или из трактирщиков?

— Нет, юнкером на Кавказе служил, офицерского чина не получил, вышел в отставку, приехал сюда место искать и прожился...

Сторож переменил тон. На его лице мелькнула улыбка, выражавшая горькое сожаленье и вместе с тем насмешку.

— Что ж делать, барин! Не вы первый, не вы последний! Трудно только вам будет здесь без привычки, народ-от мрет больно! Вот сейчас подпоручика Шалеева в больницу увезли, два года вытрубил у нас, надо полагать, не встанет, ослаб!

— Неужели рабочим, простым рабочим был подпоручик?

— Эх, барин! Да что подпоручик, капитан, да еще какой, работал у нас! Годов тому назад пяток, будем говорить, капитан был у нас, командир мой, на Капказе вместе с ним мы горцев покоряли, с туркой дрались...

— Капитан?

— Как есть; сижу я это словно как теперь в сторожке... перед рождеством было дело, холодно... Вдруг, слышу, в ворота кто-то стучится — выхожу. Стоит это он у ворот, дрожит. Сапожонки ледащие, шапчонка на голове робячья, махонькая, кафтанишка — понито рваный, тело сквозь видать, — не узнал я его сразу, гляжу, знакомое лицо, так и хочется сказать: Левонтий Яков-

левич, здравья желаю! Да уж изменился больно ён, прежде-то, при мундире да при орденах, красавец лихой был, а тут осунулся, почернел, опять и одежа... одначе я-таки признал его, по рубцу больше: на левой щеке рубец был, в Дегестане ему в набеге шашкой вдарили... Ну, признал я его и говорю: «Вашскобродие, вы ли Левонтий Яковлевич?» А я с ним в охотниках под горца хаживал, так все его по имени звали... Любили больно уж... Взглянул ён на меня да как заплачет.

«Здравствуй, — гырт, — Размоляев!..» — Заплакал и я тут... Повел его в сторожку, чайком, водочкой угостил...

— И теперь здесь? — спросил молодой человек.

— Нет, барин, зиму-то он выжил кой-как, а весной приказчика поколотил, ну его и прогнали... Непокорливый он был! Да и то сказать опять, человек он заслуженный, а тут мужика-приказчика слушайся! Да и что! Господам офицерам на воле жить плохо, особливо у хозяев ежели служить: хозяин покорливости от служащего перво-наперво требует, а они сами норовят по привычке командовать! Вот нашему брату не в пример вольготней: в сторожа ли, в дворники — везде ходит, потому нам что прикажут, без рассуждений исполняем... Одначе и из нашего брата ныне путных мало: как отслужил службу, так и шабаш, домой землю орать не заманишь, всё в город на вольные хлеба норовит! Вон у нас на заводе все, почитай, солдаты...

В сторожку вошел высокий, одетый в оборванный серый кафтан солдат.

— Здорово, Капказский, садись! — приветствовал его сторож.

— Здорово! — молвил вошедший и опустился на лавку. — Новенький? — спросил он.

— Да, наш капказец, юнкарь! — ответил Размоляев и вышел из сторожки вместе с барином. — Вот пожалуйте в контору, там есть приказчик, так к нему обратитесь, — указал он на белое одноэтажное здание с вывеской «контора».

В конторе за большим покрытым черным сукном столом сидел высокий рыжий мужчина.

— Что тебе?

— Насчет места...

— В кубовщики, четыре рубля в месяц!.. Ванька, сведи его в третий номер, — крикнул сидевший за столом мальчику, который стоял у притолоки и крутил в руках обрывок веревки. — Сегодня гуляй, а завтра в четыре утра на работу! — крикнул вслед уходившим приказчик.

II

Иван показал Луговскому корпус номер третий, находившийся на конце двора.

Это было длинное, желтого цвета, грязное и закопченное двухэтажное здание, с побитыми стеклами в рамах, откуда валил густой пар. Гуденье сотни голосов неслось на двор сквозь разбитые стекла.

Луговский отворил дверь; удушливо-смрадный пар, смесь кислой капусты, помойной ямы и прелого грязного белья, присущий трущобным ночлежным домам, охватил Луговского и вместе с шумом голосов на момент ошеломил его, так что он остановился в двери и стоял до тех пор, пока кто-то из сидевших за столом не крикнул ему:

— Эй, черт, затворяй дверь-то! Лошадей воровал, так, небось, хлев затворял!

Луговский вошел. Перед ним была большая казарма; по стенам стояли столы, длинные, грязные, обсаженные кругом народом. В углу, налево, печка, в которой были вмазаны два котла для щей и каши. На котле сидел кашевар с черпаком в руках и разливал в чашки какую-то водянистую зеленую жидкость. Направо, под лестницей, гуськом, один за другим, одетые в рваных рубахах и опорках на босу ногу, толпились люди, подходя к приказчику, который, черпая стаканчиком из большой деревянной чашки водку, подносил им. Каждый выпивал, крякал и садился к столу. Приказчик заметил Луговского.

— Новенький, что ли?

— Да, сейчас нанялся!

— Ну, иди, пей водку да садись ужинать.

Луговский выпил и сел к крайней чашке, около кото-

рой уже сидело девять человек. Один, здоровенный молодой малый, с блестящими серыми глазами, с бледным, утомленным, безусым лицом, крошил говядину и клал во щи из серой капусты. Начали есть. Луговский, давно не пробовавший горячей пищи, жадно набросился на серые щи.

— Ишь ты, слава богу, с воли-то пришел, как лихо ест! В охотку еще! — пробормотал седой старик с землистым цветом лица и мутными глазами, глядя на Луговского.

— А тебе и завидно, ворона старая! — заметил старику крошивший мясо парень.

— Не завидно, а все-таки... — ответил старик, вытаскивая из чашки кусок говядины.

— Раз! — раздалось громко по казарме, и парень, крошивший говядину, влепил звучный удар ложкой по лбу старику.

— Ишь, ворона, все норовит как бы говядинки, а другим завидует!

— Чего дерешься, Пашка? — огрызнулся на парня старик.

— А то, что прежде отца в петлю не суйся, жди термину: скомандую «таскай со всем», так и лезь за говядиной, а то ишь ты! Ну-ка, Сенька, подлей еще! — сказал Пашка, подавая грязному кашевару чашку. Тот плеснул щей и поставил на стол. Хлебнули еще несколько раз, Пашка постучал ложкой в край чашки. Это было сигналом таскать говядину. Затем была подана белая пшенная каша с постным, из экономии, маслом. Ее, кроме Луговского и Вороны, никто не ел.

— Что это никто каши не ест? Каша хорошая, — спросил Луговский сидевшего с ним рядом Пашку.

— Погоди, брат, недельку поживешь, на ум каша-то не пойдет, ничего не захочешь! Я, брат, в охотку-то сперва-наперво похлеще твоего ел, а теперь и глядеть-то на еду противно, вот что!

Пока Луговский ел, весь народ ушел вверх по лестнице в казарму. За ними, через несколько времени, пошел и он. Вид и воздух верхней казармы поразил его. Это была комната сажен в пять длиной и сажени четыре шириною. По трем стенам в два ряда, один над дру-

гим, шли двухэтажные нары, буквально битком набитые народом. Кроме того, спали под нарами, прямо на полу. Постели были у редких. Некоторые расположились на рогожках, с поленом в головах, некоторые раскинулись на полу, без всего. А пол? Пол был покрыт, более чем в вершок толщиной, слоем сероватой грязи, смеси земли и белил. Посредине казармы горела висячая лампа, страшно коптившая. Многие рабочие уже спали. Некоторые лежа разговаривали. Луговский остановился, смотря, куда бы лечь.

— Эй, новенький, поди сюда, здесь слободно!—крикнул ему из-под нар Пашка, растянувшийся на полу во весь свой гигантский рост. Луговский лег с ним рядом.

Прошло часа три времени,— вся казарма храпела на разные лады.

Не спалось только Луговскому.

Он, облокотясь, с удивлением осматривал всю эту ужасную обстановку, этих ужасных, грязных оборванцев, обреченных на медленную смерть и загнанных сюда обстоятельствами.

— Господи, неужели я совсем пропал! — невольно вырвалось у него, и слезы обильным ручьем потекли по его бронзовому, но нежному лицу.

— Будет вам, барин, плакать, бог милостив! — раздался тихий шепот сзади него, и чья-то громадная, жесткая, как железо, ручища опустилась на плечо Луговского.

Он оглянулся. Рядом с ним сидел встреченный им в сторожке мужчина средних лет, геркулесовского телосложения, но истомленный, с земляным лицом и потухающими уже глубокими серыми глазами. Громадные усы, стриженая голова и побритый, но зарастающий подбородок показывали в нем солдата.

— Полно вам, барин, не плачьте, — участливо сказал солдатик.

— Так я... что-то грустно... Первый раз в жизни заплакал... — заговорил Луговский, отирая слезы.

— Ну вот, так-то лучше! Чего вы! Вот бог даст весна придет, на волю пойдем... Солнышко... работа вольная на Волге будет! Что вам печалиться, вы молодой, уче-

ный, у вас дорога широкая. Мне о вас Размоляев давечи рассказывал. Вот моя уж песенка спета, мне и крышка тут!

— А вы давно здесь живете?

— Шестой год по заводам странствую. Лето зимогорю по пристаням, а на зиму либо к Охромееву, либо к Свинчаткину, либо сюда. Привык я к этой работе... Работа легкая, часов шесть в сутки, есть вволю, место теплое... ну и манит! Опять на эти заводы всегда народ нужен, потому мужик сюда мало идет, вреды боится; а уж если идет какой, так либо забулдыга, либо лентяй, либо никакого другого места не найдет. Здесь больше отпускной солдат работает али чиновник, ежели ему некуда пристроиться... Вот, супротив вас, на нарах долговолосый лежит — чиновник-пропойца, три года и лето и зиму здесь около шляется. «Секлетарем» наши его зовут. Получит жалованье, пропьет, опять живет, да и куда ему идти? На службу не годится, в другую работу — силенки мало, вот и околачивается. А вот рядом с ним, где теперь мальчишка спит, офицер жил, да в больницу отправили, умрет, надо полагать.

— Чем он болен был?

— От свинцу, от работы. Сперва завалы делаются, пишшии никакой не захочется, потом человек ослабнет, а там положили в больницу, и умер. Вот я теперь ничего не ем, только чаем и живу, да водки когда выпью при получке...

— А здоровы вы?

— Какое здоров! Еще бы годик-другой протянуть, так и хорошо бы...

— Семья у вас?

— Какая семья у солдата! Жена была в мужиках-то. В службу отдали, одиннадцать годов отслужил, воротился домой — ни кола, ни двора. Жена все прогуляла без меня, да я и не сержусь на ее. Как же и не гулять, одиннадцать лет не видались, жить ей без поддержки как? Дело бабье, ну и пошла! Бог с ней, я не сержусь!.. И сам не без греха ведь! Пришел, поглядел — куда деваться! Для кого жить?! Детишек не было... Пришел сюда вот да коротаю век... Спервоначалу-то, как и вы, зимой без одежи пришел, думал не надолго, да так, вид-

но, до смерти здесь и затянулся!.. Ничего, привык больше уж некуда...

— Так и я, пожалуй, также... навек здесь...— искренне вымолвил Луговский и вздрогнул даже при этой мысли. От солдатика не скрылось это движение.

— Не бойтесь, барин, бог поможет, ничего, выпутаемся...

Потом он сразу постарался переменить разговор.

— Ну, барин, вы человек новый, и я вот расскажу всю нашу работу, то есть как за нее приняться. Вы назначены в кубочную, где и я работаю. У нас два сорта рабочих — кубочники и печники. Есть еще литейщики, которые белила льют, так то особа статья. Печники у печки свинец пережигают, а кубочники этот самый свинец в товар перегоняют, и уж из товара литейщики белила льют... Кубики бывают сперва-наперво зеленые, потом делаются серыми, там белыми, а потом уж выходят в клейкие, в товар. Где в два месяца выгоняют кубик в товар, где в три. У нас месяца в два с половиной, потому кубочные жаркие. Зеленый кубик для работы самый вредный, а клейкий самый трудный — руки устают, мозоли будут на руках. Вот вы теперь со мной рядом, будете заместо офицера, который, я говорил, в больницу ушел, а кубик остался клейкий...

— Стало быть, трудно будет?

— Ничего, я помогу; а теперь, барин, усните, завтра в пять часов вставать, ложитесь.

— Благодарю вас, благодарю! — со слезами выговорил Луговский и обеими руками крепко пожал руку собеседнику.

— Спите-сь, спокойной ночи! — проговорил тот, вставая.

— А ваше имя-отчество?

— Капказский — так меня зовут.

— Нет, вы мне имя-отчество скажите...

— Нет, барин, зовите Капказский, как и все!

— Не хочу я вас так называть, скажите настоящее имя...

— Был у меня на Капказе, в полку, юнкарь, молодец, словно и вы, звал он меня «Григорьич», зовите и вы, если уж вам угодно.

— А вы, Григорьич, кавказец?..

— Да, Тенгинского полка...

— Так и я Тенгинского, юнкером служил в нем.

— Эх, барин мой родной, где нам пришлось свидеться!..

Слезы градом полились у обоих горемык, родных по оружию. Крепко они обнялись и заплакали...

— Милый мой барин, где нам пришлось встретиться!.. — всхлипывая, говорил кавказец.

— Чего вы там, черти, дьяволы, спать не даете! — послышался чей-то глухой голос из угла...

Кавказский оправился, встал и пошел на свое место.

— До завтра, барин, спите спокойно! — на пути выговорил он.

— Прощай, Григорьич, спасибо, дядька! — отвечал Луговский и навзничь упал на грязный пол.

Измученный бессонными ночами, проведенными на улицах, скоро он заснул, вытянувшись во весь рост. Такой роскоши — вытянуться всем телом, в тепле — он давно не испытывал. Если он и спал раньше, то где-нибудь сидя в углу трактира или грязной харчевни, скорчившись в три погибели...

А уснуть, вытянувшись во весь рост, после долгой бессонницы — блаженство.

III

В соседней с заводом церкви ударили к заутрене. В казарму, где спали рабочие, вошел ночной сторож, ходивший в продолжение ночи по двору, и сильно застучал в деревянную колотушку.

— Подымайтесь на работу, ребятишки, подымайсь! — нараспев прикрикивал он.

— Эй, каторга — жисть. Господи, а-а-а!.. — раздался в ответ в углу чей-то сонный голос.

— Во имя отца и сына и святого духа, — забормотали в другом.

— На работу, ребятишки, на работу! — еще усилил голос сторож.

— Чего ты, осовелый черт, дармоед копейкинский, орешь тут, словно на панифиде? — вскочив с полу, зык-

нул на него Пашка, прозванный за рост и силу атаманом.

— Встал, так и не буду, и уйду, чего ругаешься, — испуганно проворчал сторож и начал спускаться вниз.

— Паша, а фискал-то тебя боится, науку, значит, еще не забыл, — сказал Пашке один из рабочих подобострастно заискивающим голосом.

— Вставать в кубочную, живо! — скомандовал Пашка, и вся эта разношерстная ватага, зевая, потягиваясь, крестясь и ругаясь, начала подниматься. В углу средних нар заколыхалась какая-то груда разноцветных лохмотьев, и из-под нее показалась совершенно лысая голова и заспанное, опухшее, желтое, как шафран, лицо с клочком седых волос вместо бороды.

— Вставайте, братцы, пора, сам плешивый козел из помойной ямы вылезает, — указывая на лысого, продолжал Пашка. Многие захохотали; «козел» отвернулся в угол, промычал какое-то ругательство и начал бормотать молитву.

Понемногу все поднялися поодиночке один за другим, спустились вниз, умывались из ведра, набирая в рот воды и разливая по полу, «чтобы в одном месте не мочить», и, подымаясь наверх, утирали лица кто грязной рубашкой, кто полой кафтана...

Некоторые пошли прямо из кухни в кубочную, отстоявшую довольно далеко на дворе.

Разбуженный Кавказским, Луговский тоже умылся и вместе с ним отправился на работу.

На дворе была темь, метель так и злилась, крупными сырыми хлопьями залепляя глаза.

Некоторые кубочники бежали в одних рубахах и опорках.

— Холодно, дядька! — шагая по снегу и стуча зубами от холода, молвил Луговский.

— Сейчас, барин, согреемся. Вот и кубочная наша, — показывая на низкое каменное здание с освещенными окнами, ответил дядька.

Они вошли сначала в сени, потом в страшно жаркую, наполненную сухим, жгучим воздухом комнату.

— Ух, жарища! — сказал кавказцу Луговский.

— Тепло, потому клейкие кубики есть, они жар любят, — ответил тот.

Луговский окинул взглядом помещение; оно все было занято рядом полок, выдвижных, сделанных из холста, натянутого на деревянные рамы, и вделанных, одна под другой, в деревянные стойки. На этих рамах сушился «товар». Перед каждыми тремя рамами стоял неглубокий ящик на ножках в вышину стола; в ящике лежали белые круглые большие овалы.

— А вот и кубики. Их мы сейчас резать будем! — показал на столы кавказец и подал Луговскому нож особого устройства, напоминающий отчасти плотнический инструмент «скобель», только с длинной ручкой посредине.

— Это нож, им надо резать кубик мелко-намелко, чтоб ковалков не было. Потом кубики изрежем — разложим их на рамы, ссыпем другие и сложим. А теперь снимайте с себя платье и рубашку, а то жарко будет.

Луговский снял рубашку. Кавказец окинул его взглядом и, любуясь могучим сложением Луговского, улыбнулся:

— Ну, барин, вы настоящий кавказец, вам с вашими руками можно пять кубиков срезать!

Луговский действительно был сложен замечательно: широкие могучие плечи, высокая, сильно развитая грудь и руки с рельефными мускулами, твердыми, как веревки, показывали большую силу.

Он начал резать кубик. Мигом закипело дело в его руках, и пока кавказец, обливаясь потом, тяжело дыша, дорезывал первый кубик, Луговский уже докончил второй. Пот лил с него ручьем. Длинные волосы прилипли к высокому лбу. Ладонь правой руки раскраснелась, и в ней чувствовалась острая боль — предвестник мозолей.

— Ай-да барин, наше дело пойдет! — удивился Кавказский, смотря на мелко изрезанные кубики.

— Хорошо?

— Лучше не треба! Теперь раскладывайте его на рамки, вот так, а потом эти рамки в станки сушить вставим.

Сделано было и это. На дворе рассвело...

— Теперь вот извольте взять эту тряпицу и завяжите

ей себе рот, как я, чтобы пыль при ссыпке не попала. Вредно. — Кавказский подал Луговскому тряпку, а другой завязал себе нижнюю часть лица. Луговский сделал то же. Они начали вдвоем снимать рамки и высыпать «товар» на столы. В каждой раме было не менее полпуда, всех рамок для кубика было десять. При ссыпке белая свинцовая пыль наполнила всю комнату.

Затем кубики были смочены «в препорцию водицей», как выражался Кавказский, и сложены. Работа окончена. Луговский и Кавказский омылись в чанах с водой, стоявших в кубочной, и возвратились в казарму, где уже начали собираться рабочие. Было девять часов. До одиннадцати рабочие лежали на нарах, играли в карты, разговаривали. В одиннадцать — обед, после обеда до четырех опять лежали, в четыре — в кубочную до шести, а там — ужин и спать...

IV

Так и потекли однообразно день за днем. Прошло два месяца. Кавказский все сильней кашлял, задыхался, жаловался, что «нутро болит». Его землистое лицо почернело еще более, и еще ярче загорелись впавшие глубже глаза... Кубики резать ему начал помогать Луговский.

Луговский сделался общим любимцем, героем казармы. Только Пашка, ненавидимый всеми, был его злейшим врагом. Он завидовал.

Было второе марта. Накануне роздали рабочим жалованье, и они, как и всегда, загуляли. После «получки» постоянно не работают два, а то и три дня. Получив жалованье, рабочие в тот же день отправляются в город закупать там себе белье, одежду, обувь и расходятся по трактирам и питейным, где пропивают все, попадают в часть и приводятся оттуда на другой день. Бо̀льшая же часть уже и не покупает ничего, зная, что это бесполезно, а пропивает деньги, не выходя из казармы.

В этот день, вследствие холода, мало пошло народу на базар. Пили уже второй день дома. Дым коромыслом стоял: гармоники, пляска, песни, драка... целый ад...

Внизу, в кухне, в шести местах играли в карты — в «три листа с подходцем».

На нарах, совершенно больной, ослабший, лежал Кавказский. Он жалованье не ходил получать, и не ел ничего дня четыре. Похудел, осунулся — страшно смотреть на него было. Живой скелет. Да не пил на этот раз и Луговский, все время сидевший подле больного.

Было пять часов вечера. В верхнюю казарму ввалился, с гармоникой в руках, Пашка с двумя пьяными товарищами — билетными солдатами, старожилами завода. Пашка был трезвее других; он играл на гармонике, приплясывал, и все трое ревели «барыню».

— Будет вам, каторжные, дайте покой! — простонал больной кавказец, но те не унимались.

— Пашка, ори тише, видишь, больной здесь! — возвысил голос Луговский, сразу, по-солдатски, привыкший к новому житью-бытью.

— А ты мне что за указчик, а? Ты думаешь, что ты барское отродье, так тебя и послушаюсь?!

— Во-первых, не барин я, а такой же рабочий, а во-вторых — перестань горланить, говорю тебе...

— Как ты смеешь мне говорить, черт?! Ты знаешь, кто я? А? Или я еще не учил тебя? Хочешь?..

— Хочу и требую, чтобы ты перестал играть, а то я тебя силой заставлю...

— Меня силой?

— Да, тебя, силой! — раздраженно уже крикнул Луговский.

В казарме все смолкло... Бросили играть в карты, бросили шуметь. Взоры всех были устремлены на спорящих. Только двое товарищей Пашки шумели и подзуживали его.

Пашка выхватил откуда-то длинный нож и, как бешеный, прыгнул на нары, где был Луговский.

Вся казарма будто замерла. В этот момент никто не пошевелился. Так страшен был остервенившийся Пашка...

Некоторые опомнились, вскочили на помощь, но было уже поздно, помощь не требовалась. Страшный, душу раздирающий стон раздался на том месте, где сидел Луговский и лежал умирающий Кавказский. Стон этот

помнят все, слышавшие его, — ему вторила вся казарма.

Крик испуга и боли вырвался одновременно из всех ртов этих дикарей.

Один из рабочих, человек бывалый, старик, по прозвищу Максим Заплата, бывший мясник, видевший эту сцену, рассказывал после об этом происшествии так:

— Как вскочит Пашка с полу, выхватил ножище да как бросится на барина — страшный такой, как бык бешеный, который сорвется, коли его худо оглушат обухом, глаза-то кровью налились.

«Убью!» — кричит. Схватил он левой рукой барина за горло, а нож высоко таково поднял, и видел я сам, как со всего размаха засадил в барина. Закричал я — а встать не могу, и все побледнели, все, как я. Видят — а не могут встать. Известно, кто к Пашке каторжному подступится! Поди, на душе у его не один грех кровавый! Одно слово — сибиряк...

Как ударил он ножом, и слышим мы, кто-то застонал, да так, что теперь страшно... Не успели мы опомниться — глядим, Пашка лежит на земле, а на нем верхом барин сидит. Как уже это случилось, мы все глазам не поверили и не знаем... Только сидит на ём барин и скрутил руки ему за спину... Как это вышло — и теперь невдомек.

А вышло это вот как.

Пашка бросился на Луговского, левой рукой схватил его за грудь, а правой нанес ему страшный удар, смертельный. Но Луговский успел одной рукой оттолкнуть нож, который до рукоятки всадился в щель нар, где, изломанный пополам, и найден был после... Под правую же руку Луговского подвернулась левая рука Пашки, очутившаяся у него на груди, и ее-то, поймав за кисть, Луговский стиснул и из всей силы вывернул так, что Пашка с криком страшной боли повернулся и упал всею тяжестью своего гигантского тела на больного кавказца.

Он-то и застонал так ужасно...

Луговский, не выпуская руки Пашки, успел вскочить на ноги, левой рукой поймал его за ворот, сдернул с нар на пол и сидел на нем.

Все это произошло в один момент, казарма еще не

успела опомниться... Товарищ Пашки наяривал на гармонике «барыню».

— Доволен? — спросил лежавшего на полу Пашку Луговский.

— Бей его, разбойника! — крикнули все рабочие в один голос и вскочили с мест. Гармоника смолкла.

— На место, не ваше дело! — энергично, голосом, привыкшим командовать, крикнул Луговский.

— Не тронь, ребята, это наше дело с ним, другим не след путаться! Павел, вставай, я на тебя не сержусь, — спокойно произнес Луговский и слез с него.

— Ты виноват во всем, ты подзуживал Пашку сделать скандал. Из-за тебя драка, чуть не убийство вышло, — подойдя к игравшему на гармонике секретарю, проговорил Луговский, взмахнул рукой, и полновесная пощечина раздалась по казарме. Секретарь вместе с гармоникой слетел вниз по лестнице, в кухню...

Восторженно-дикие крики одобрения раздались с обоих этажей нар.

Луговский с этой минуты стал властелином, атаманом казармы.

Эти люди любят дикую силу...

И нельзя не любить силу, которая в их быту дает громадное преимущество, спасает.

А Пашка все еще лежал лицом вниз.

— Павел, вставай! — поднимая его за левую руку, сказал Луговский.

— Ой, не вороши, больно! — как-то приподнимаясь вслед за поднятой рукой, почти простонал тот и, опираясь на правую, сел на пол.

Страшен он был... За несколько минут перед тем красный от пьянства, он как-то осунулся, почернел, глаза, налитые кровью, смотрели ужасно — боль, стыд и непримиримая злоба сверкали в них...

Бледное, но разгоревшееся, на этот раз сияющее лицо Луговского с его смеющимися глазами было страшным контрастом.

— Паша, что с тобой?

— Ничего, руку ушиб, — с трудом поднявшись, ответил тот и спустился вниз в кухню и ушел на двор.

Крикнули рабочих к ужину.

V

Прошел уж и лед на Волге. Два-три легких пароходика пробежали вверх и вниз... На пристанях загудела рабочая сила... Луга и деревья зазеленели, и под яркими, приветливыми лучами животворного солнца даже сам вечно мрачный завод как-то повеселел, хотя грязный двор с грудами еще не успевшего стаять снега около забора и закоптевшими зданиями все-таки производил неприятное впечатление на свежего человека... Завсегдатаям же завода и эта острожная весна была счастьем. Эти желтые, чахлые, суровые лица сияли порой...

В одно из этих весенних воскресений, в яркий полдень, кучка рабочих сидела и лежала на крыше курятника, на заднем дворе завода, и любовалась на Волгу. Между ними не было видно Луговского и Пашки. Внизу, рядом с курятником, на двух ящиках лежал покрытый рваной солдатской шинелью Кавказский и полуоткрытым тусклым взором смотрел на небо; он еще более похудел, лицо почернело совершенно, осунулось, нос как-то вытянулся, и длинные поседевшие усы еще более опустились вниз, на давно небритую бороду. Он тяжело дышал и шевелил губами, будто хотел что-то сказать, но ни звука не слышно было из его почерневших, будто прилипших к зубам губ...

— Поди, теперь наш барин в Рыбну[1] приехал, — прервал молчание старик Заплата.

— И дай ему, господи, хороший человек был, по работе на барина и непохож: кубик, бывало, в пять минут изрежет, либо дрова колоть начнет, так не успеешь оглянуться, сажень готова...

VI

— Нашел кого поминать, подлеца! — злобно сказал секретарь.

— Не любишь, видно, плюху помнишь?

— Плюху! Счастье его, что Пашка сбежал, а то бы ему такая плюха была, что своих бы не узнал, счастье, что уехал-то.

---

[1] Рыбинск.

— Да, вырвался-таки на волю, только потому, что не пьянствовал, а то тоже бы нашей участи хватил.

— А что, ребятки, где в самом деле Пашка, я в больницу ушел, а когда вернулся, его уже не было, — спросил молодой сухощавый солдатик с болезненным лицом.

— Сбежал он, Карпуша! — продолжал Заплата.

— Из-за чего?

— Да из-за того, что квартальный приходил справляться: кто он такой есть.

— Паспорт фальшивым оказался, — вставил секретарь.

— Фальшивым?

— Да.

— Так кто же он был, этот самый Пашка? — обратился к секретарю Карпушка.

— Каторжник беглый, за убийство сосланный был, вот кто!

— Каторжник? А ты почем знаешь?

— Он мне раз пьяный открылся во всем.

— А ты на него квартальному донес, фискал! За трешницу товарища продал.

— Все равно он и без этого убежал бы, чего лаешься, коли не знаешь!

— Братцы! Подь-ка сюды кто-нибудь! — послышалось снизу.

— Никак Капказский зовет?

— Братцы, дайте испить!

— Сейчас, дядя, сейчас принесу! — ответил сверху Заплата, спустился вниз и через минуту стоял с полным ковшом у Кавказского.

— На, кушай на здоровье!

— Спасибо! — прохрипел тот в ответ и стал жадно пить...— Хорошо! — сказал он, роняя ковш на землю.

— Ну что, дядя, лучше тебе? — перегнувшись с крыши, спросил его Карпушка.

— Хорошо... вон солнышко светит, привольно... На Волгу бы хотелось, поработать бы, покрюшничать! Вот через недельку, бог даст, поправлюсь, в Рыбну поеду к моему барину, вместе работать будем...

— Да, в Рыбне теперь хорошо, народу сколько со-

шлось, работы дорогие! — задумчиво проговорил Заплата.

— Нет, на Капказе лучше, там весело, горы! Люблю я их! На будущее лето уеду в Владыкапкай, там у меня знакомые есть, место дадут... Беспременно уеду!..—чуть слышно, но спокойно и медленно, с передышкой говорил кавказец...

— На Капказ? — спросил Карпушка.

— На Капказ! Я его весь пешком выходил; хотите, ребятки, я вам капказскую походную песенку спою, слушайте!

И он, собравшись с силами, запел надорванным голосом:

Гремит слава трубой,
Мы дрались за Лабой;
По горам твоим, Капказ,
Уж гремит слава об нас...
Уж мы, горцы басурма...

Вдруг хрип перервал песню,— кавказец как-то судорожно вытянулся, закинул голову назад и вытянул руки по швам, как во фронте...

— Что это с ним, Заплата?..

— Что? То же, что и с нами будет, умер!

— Эх, братцы, какого человека этот свинец съел: ведь три года тому назад он не человек — сила был: лошадь одной рукой садиться заставлял, по три свинки [1] в третий этаж носил!.. А все свинец копейкинский. Много он нашего брата заел, проклятый, да и еще заест!..

Заплата злобно погрозил кулаком по направлению к богатым палатам заводчика Копейкина:

— Погоди ужо ты!

---

[1] Свинка — четыре пуда свинца.

ОДИН ИЗ МНОГИХ

Было шесть часов вечера. Темные снеговые тучи низко висели над Москвой, порывистый ветер, поднимая облака сухого, леденистого снега, пронизывал до кости прохожих и глухо, тоскливо завывал на телеграфных проволоках.

Около богатого дома с зеркальными окнами, на одной из больших улиц, прячась в углубление железных ворот, стоял человек высокого роста...

— Подайте Христа ради... не ел... ночевать негде! — протягивая руку к прохожим, бормотал он...

Но никто не подал ни копейки, а некоторые обругали дармоедом и кинули замечание еще, что, мол, здоровяк, а работать ленится...

Это был один из тех неудачников, которые населяют ночлежные дома Хитрова рынка и других трущоб, попадая туда по воле обстоятельств.

Крестьянин одного из беднейших уездов Вологодской губернии, он отправился на заработки в Москву, так как дома хлебушка и без его рта не хватит до нового.

В Москве долгое время добивался он какого ни на есть местишка, чтобы прохарчиться до весны, да ничего не вышло. Обошел фабрики, конторы, трактиры, просился в «кухонные мужики» — не берут, рекомендацию требуют, а в младшие дворники и того больше.

— Нешто с ветру по нонешнему времени взять мож-

но? Вон, гляди, в газетах-то пропечатывают, что с фальшивыми паспортами беглые каторжники нарочно нанимаются, чтобы обокрасть! — сказали ему в одном из богатых купеческих домов.

— Разь я такой? Отродясь худыми делами не занимался, вот и пашпорт...

— Пашпортов-то много! Вон на Хитровом по полтине пашпорт... И твой-то, может, оттуда, вон и печать-то слепая... Ступай с богом!

Три недели искал он места, но всюду или рекомендации требовали, или места заняты были... Ночевал в грязном, зловонном ночлежном притоне инженера-богача Ромейко, на Хитровке, платя по пятаку за ночь. Кроме черного хлеба, а иногда мятого картофеля-тушонки, он не ел ничего. Чаю и прежде не пивал, водки никогда в рот не брал. По утрам ежедневно выходил с толпой таких же бесприютных на площадь рынка и ждал, пока придут артельщики нанимать в поденщину. Но и тут за все время только один раз его взяли во время метели, разгребать снег на рельсах конно-железной дороги. Полученная полтина была проедена в три дня. Затем опять тот же голод...

А ночлежный хозяин все требовал за квартиру, угрожая вытолкать его. Кто-то из ночлежников посоветовал ему продать довольно поношенный полушубок, единственное его достояние, уверяя, что найдется работа, будут деньги, а полушубков в Москве сколько хошь.

Он ужаснулся этой мысли...

— Как не так, продать? Свое родное и чужому продать? — рассуждал он, лежа на грязных нарах ночлежной квартиры и вспоминая все те мелкие обстоятельства, при которых сшит был полушубок... Вспомнил, как целых четыре года копил шкуры, закалывая овец, своих доморощенных, перед рождеством, и продавал мясо кабатчику; вспомнил он, как в Кубинском ему выдубили шкуры, как потом пришел бродячий портной Николка Косой и целых две недели кормился у него в избе, спал на столе с своими кривыми ногами, пока полушубок не был справлен, и как потом на сходе долго бедняки-соседи завидовали, любуясь шубой, а кабатчик Федот Митрич обещал два ведра за шубу...

— Ты во што: либо денег давай, либо духа чтоб твоего не было! — прервал размышления свирепый, опухлый от пьянства мужик, съемщик квартиры.

— Повремени! Сколочусь деньжатами, отдам! Можа, местишко бог пошлет...— молил ночлежник.

— За тобой и так шесть гривен!

— Ведь пашпорт мой у тебя в закладе.

— Пашпорт! что в нем?! За пашпорт нашему брату достается... Сегодня или деньги, али заявлю в полицию, по этапу беспашпортного отправят... Уходи!

Несчастный скинул с плеч полушубок, бросил его на нары вверх шерстью, а сам начал перетягивать кушаком надетую под полушубком синюю крашенинную короткую поддевочку, изношенную донельзя.

Взгляд его случайно упал на мех полушубка.

— Это вот Машки-овцы шкурка...— вперяясь прослезившимися глазами в черную полу, бормотал про себя мужичок,— повадливая, рушная была... За хлебцем, бывало, к окошку прибежит... да как заблеет: бе-е... бе-е! — подражая голосу овцы, протянул он.

Громкий взрыв хохота прервал его.

Ночлежники хохотали и указывали пальцами:

— А мужик-то в козла обернулся!

— Полушубок-то блеет! — И тому подобные замечания посыпались со всех сторон. Он схватил полушубок и выбежал на площадь.

А там гомон стоял.

Под навесом среди площади, сделанным для защиты от дождя и снега, колыхался народ, ищущий поденной работы, а между ним сновали «мартышки» и «стрелки». Под последним названием известны нищие, а «мартышками» зовут барышников. Эти — грабители бедняка-хитровака, обувающие, по местному выражению, «из сапог в лапти», скупают все, что имеет какую-либо ценность, меняют лучшее платье на худшее или дают «сменку до седьмого колена», а то и прямо обирают, чуть не насильно отнимая платье у неопытного продавца.

Пятеро мартышек стояло у лотков с съестными припасами. К ним-то и подошел, неся в руках полушубок, мужик.

— Эй, дядя, что за шубу? Сколько дать? — засыпали его барышники.

— Восемь бы рубликов надо... — ответил тот.

— Восемь? А ты не валяй дурака-то... Толком говори. Пятерку дам.

— Восемь!

Шуба рассматривалась, тормошилась барышниками. Наконец, сторговались на шести рублях. Рыжий барышник, сторговавший шубу, передал ее одному из своих товарищей, а сам полез в карман, делая вид, что ищет денег.

— Шесть рублев тебе?

— Шесть...

В это время товарищ рыжего пошел с шубой прочь и затерялся в толпе. Рыжий барышник начал разговаривать с другими...

— Что же, дядя, деньги-то давай! — обратился к нему мужик.

— Какие деньги? За что? Да ты никак спятил?

— Как за што? За шубу небось!

— Нешто я у тебя брал?

— А вон тот унес.

— Тот унес, с того и спрашивай, а ты ко мне лезешь? Базар велик... Вон он идет, видишь? Беги за ним.

— Как же так?! — оторопел мужик.

— Беги, черт сиволапый, лови его, поколя не ушел, а то шуба пропадет! — посоветовал другой барышник мужику, который бросился в толпу, но мартышки с шубой и след простыл... Рыжий барышник с товарищами направился в трактир спрыснуть успешное дельце.

Мужицкий полушубок пропал.

* * *

Прошло две недели. Квартирный хозяин во время сна отобрал у мужика сапоги в уплату за квартиру... Остальное платье променено на лохмотья, и деньги проедены... Работы не находилось: на рынке слишком много нанимающихся и слишком мало нанимателей. С квартиры прогнали... Наконец, он пошел просить милостыню и два битых часа тщетно простоял, коченея от холо-

да. К воротам то и дело подъезжали экипажи, и мимо проходила публика. Но никто ничего не подал.

— Господи, куда же мне теперь?..

Он машинально побрел во двор дома. Направо от ворот стояла дворницкая сторожка, окно которой приветливо светилось. «Погреться хоть»,— решил он и, подойдя к двери, рванул за скобу. Что-то треснуло, и дверь отворилась. Сторожка была пуста, на столе стояла маленькая лампочка. Подле лампы лежал каравай хлеба, столовый нож, пустая чашка и ложка.

Безотчетно, голодный, прошел он к столу, протянул руку за хлебом, а другою взял нож, чтоб отрезать ломоть. В эту минуту вошел дворник...

Через два дня после этого в официальной газете появилась заметка под громким заглавием: «Взлом сторожки и арест разбойника».

«13 декабря, в девятом часу вечера, дворник дома Иванова, запасный рядовой Евграфов, заметил неизвестного человека, вошедшего на двор, и стал за ним следить. Неизвестный подошел к запертой на замок двери, после чего вошел в сторожку. Дворник смело последовал за ним, и в то время, когда оборванец начал взламывать сундук, где хранились деньги и вещи Евграфова, последний бросился на него. Оборванец, видя беду неминучую, схватил со стола нож, с твердым намерением убить дворника, но был обезоружен, связан и доставлен в участок, где оказалось, что он ни постоянного места жительства, ни определенных занятий не имеет. При разбойнике нашелся паспорт, выданный из волости, по которому тот оказался крестьянином Вологодской губернии, Грязовецкого уезда, Никитой Ефремовым. Паспорт, по-видимому, фальшивый, так как печать сделана слишком дурно и неотчетливо. В грабеже, взломе и покушении на убийство дворника разбойник не сознался и был препровожден под усиленным конвоем в частный дом, где содержится под строгим караулом в секретной камере. Разбойник гигантского роста и атлетического телосложения, физиономия зверская. Дворник Евграфов представлен к награде».

Такое известие не редкость!

Его читали и ему верили...

СПИРЬКА

Это был двадцатилетний малый, высокого роста, без малейшего признака усов и бороды на скуластом, широком лице. Серые маленькие глаза его бегали из стороны в сторону, как у «вора на ярмарке».

В них и во всем лице было что-то напоминающее блудливого кота. Одевался Спирька во что бог пошлет. В первый раз — это было летом — я встретил его бегущего по Тверской с какими-то покупками в руке и папироской в зубах, которой он затягивался немилосердно. На нем была рваная, вылинявшая зеленая ситцевая рубаха и короткие, порыжелые, плисовые, необыкновенной ширины шаровары, достигавшие до колен; далее следовали голые ноги, а на них шлепавшие огромные резиновые калоши, связанные веревочкой. Шапки на голове у Спирьки не было. У меблированных комнат, где служил Спирька самоварщиком, его остановил швейцар:

— Спирька! Как тебе не стыдно так ходить? Ведь гостиницу срамишь!

— Что это? Чем-с?! Украл, что ли, я что? — отвечал тот, затягиваясь дымом.

— Кто говорит, украл! А ходишь-то в чем... Стыдно!

— Чего стыдно! Всяк знает, что я при месте нахожусь! Вот коли бы без места ходил этак, стыдно было бы, вот что! — И еще раз пыхнув папироской, Спирька в два прыжка очутился на верху лестницы.

Я жил в тех же номерах.

— Что это, у нас служит? — спросил я швейцара.

— У нас, Владимир Алексеич, самоварщиком; самый что ни на есть забулдыжный человек и пьяница распрегорчайший, пропащий!

— Зачем же держать такого?

— Сами изволите знать, хозяин-то какой аспид у нас — все на выгоды норовит, а Спирька-то ему в акурат под кадрель пришелся — задарма живет. Ну и оба рады. Хозяин — что Спирька денег не берет, а Спирька — что он при месте! А то куда его такого возьмут, оголтелого! И честный хоть он и работящий, да насчет пьянства — слаб, одежонки нет, ну и мается.

Я жил в одном номере с товарищем Григорьевым. Придя домой, я рассказал ему о Спирьке.

— Да, я его видал. Любопытный человек, он меня заинтересовал давно: способный, честный, но пьяница.

Этим разговор о Спирьке и кончился. Потом я его несколько раз встречал в коридоре и на улице.

Как-то пришлось мне уехать на несколько дней из Москвы. Когда я возвратился, мой товарищ сказал мне:

— А у нас, Володя, семейства прибавилось.

— Что такое?

— Спирьку я к себе в лакеи взял.

— Ну?! — удивился я.

— Да, верно; третьего дня его хозяин прогнал, идти человеку некуда, ну я его и взял. Славный малый, исполнительный, честный.

В это время дверь отворилась, и с покупками в руках явился Спирька. Положив покупки и сдачу с десятирублевой ассигнации, он поздоровался со мной.

— Здравствуйте, барин,— рикамендуюсь вам, что мы теперь у вас в услужении будем.

— Рад за тебя, служи.

— Нет, вы, барин, на меня поглядите-сь, каким я теперь — хоть сейчас под венец, — обратился ко мне Спирька, охорашиваясь и поправляя полы спереди узкого, короткого сюртука.

— Барин подарил-с, — сказал он.

Действительно, Спирьку нельзя было узнать. На нем была поношенная, но чистенькая триковая пара и порядочные, вычищенные до блеска сапоги. Он был умыт, причесан, и лицо его сияло.

— Эх, то есть вот как теперь меня облагодетельствовали, что всю жизнь свою не забуду, по гроб слугой буду, то есть хоть в воду головой за вас... Ведь я сроду таким господином не был. Вот родители-то полюбовались бы...

— Ну и покажись им, — сказал я.

— Это родителям-то-с? Да у меня их никогда и не бывало; я ведь из шпитонцев взят прямо.

— Как не бывало?

— Мы шпитонцы; из ошпитательного дома... бог его знает, кто у меня родитель — може, граф, може, князь, а може, и наш брат Исакий!

— Ну, последнее вернее, — сказал мой товарищ, глядя на лицо Спирьки.

Стал у нас Спирька служить. Жалованье ему положили пять рублей в месяц.

Два месяца Спирька живет — не пьет ни капли. Белье кой-какое себе завел, сундук купил, в сундук зеркальце положил, щетки сапожные... С виду приличен стал, исполнителен и предупредителен до мелочей. Утром — все убрано в комнате, булки принесены, стол накрыт, самовар готов; сапоги, вычищенные «под спиртовой лак», по его выражению, стоят у кроватей, на платье ни пылинки.

Разбудит нас, подаст умыться и во все время чаю стоит у притолоки, сияющий, веселый.

— Ну что, Спиридон, как дела? — спросишь его.

— Слава тебе господи, с бродяжного положения на барские права перешел! — ответит он, оглядывая свой костюм.

— А выпить хочется тебе?

— Нет, барин, шабаш! Было попито, больше не буду, вот тебе бог, не буду! Все эти прежние художества побоку... Зарок дал — к водке и не подходить: будет, помучился век-то свой! Будет в помойной яме курам да собакам чай собирать!

— Так не будешь?

— Вот те крест, не буду.

Спустя около месяца после этого разговора Спирька является к моему сотоварищу и говорит ему:

— Петр Григорьич, дайте мне четыре рубля, жисть решается!

— Как так?

— Невесту на четыре рубля сосватал! С приданым, и все у нее как следно быть, в настоящем виде.

— Что ты!

— Будь сейчас четыре рубля, и жена готова!

— На что же четыре рубля?

— Свахе угощение, и ей тоже надо. Сделайте милость, будьте, барин, отец родной, составьте полное удовольствие, чтобы жениться — остепениться!

Ему дали четыре рубля. Это было в три часа дня. Спиридон разоделся в чистую сорочку, в голубой галстук, наваксил сапоги и отправился.

На другой день Спирька не явился. Вечером, когда я вместе с Григорьевым возвратился домой после спектакля, Спирька спал на диване в своих широчайших шароварах и зеленой рубахе. Под глазом виднелся громадный фонарь, лицо было исцарапано, опухло. Следы страшной оргии были ясно видны на нем.

— Вот так женился! — сказал Григорьев, рассматривая лежавшего.

— Да, с приданым жену взял!

Спирька, услыхав разговор, поднял голову, быстро опомнился, вскочил и пошел в переднюю, не сказав ни слова.

— Спиридон!—громко окликнул его Григорьев, едва сдерживаясь от смеха.

— Чего изволите? — прохрипел тот в ответ, останавливаясь у двери и жмурясь.

— Что с тобой? А?

— Загуляли, барин! — Спирька махнул энергично правой рукой.

— А свадьба когда?

— Не будет! — пресерьезно ответил он и скрылся за дверями.

Григорьев решил его еще раз одеть и не прогонять.

— Авось, исправится, человеком будет! — рассуждал он.

Однако слова его не оправдались. Запил Спирька горькую. Денег нет — ходит печальный, грустный, тоскует, — смотреть жаль. Дашь ему пятак — выпьет, повеселеет, а потом опять. Видеть водки хладнокровно не мог. Платье дашь — пропьет.

Наконец, Григорьев прогнал его. После, глубокой осенью, в дождь и холод, я опять встретил его, пьяного, в неизменных шароварах, зеленой рубахе и резиновых калошах. Он шел в кабак, пошатывался и что-то распевал веселое...

БАЛАГАН

Ханов более двадцати лет служит по провинциальным сценам.

Он начал свою сценическую деятельность у знаменитого в свое время антрепренера Смирнова и с бродячей труппой, в сорокаградусные морозы, путешествовал из города в город на розвальнях. Играл он тогда драматических любовников и получал двадцать пять рублей в месяц при хозяйской квартире и столе. Квартирой ему служила уборная в театре, где в холодные зимы он спал, завернувшись в море или в небо, положивши воздух или лес под голову. Утром он развертывался, катаясь по сцене, вылезал из декорации весь белый от клеевой краски и долго чистился.

Лет через десять из Ханова выработался недюжинный актер. Он женился на молодой актрисе, пошли дети. К этому времени положение актеров сильно изменилось к лучшему. Вместо прежних бродячих трупп, полуголодных, полураздетых, вместо антрепренеров-эксплуататоров, игравших в деревянных сараях, явились антрепренеры-помещики, получавшие выкупные с крестьян. Они выстроили в городах роскошные театры и наперебой стали приглашать актеров, платя им безумные деньги.

Пятьсот и шестьсот рублей в месяц в то время были не редкость.

Но блаженные времена скоро миновали. Помещичьи суммы иссякли. Антрепренерами явились актеры-скопидомы, сумевшие сберечь кой-какие капиталы из полученных от помещиков жалований.

Они сами начали снимать театры, сами играли главные роли и сильно сбавили оклады. Время шло. Избалованная публика, привыкшая к богатой обстановке пьес при помещиках-антрепренерах, меньше и меньше посещала театры, а общее безденежье, тугие торговые дела и неурожай довершили падение театров. Дело начало падать. Начались неплатежи актерам, между последними появились аферисты, без гроша снимавшие театры; к довершению всех бед великим постом запретили играть.

В один из подобных неудачных сезонов, в городе, где служил Ханов, после рождества антрепренер сбежал. Труппа осталась без гроша. Ханов на последние деньги, вырученные за заложенные подарки от публики, с женой и детьми добрался до Москвы и остановился в дешевых меблированных комнатах.

Продолжая закладываться, кое-как, впроголодь, он добился до масленицы. В это время дети расхворались, жена тоже простудилась в сыром номере. А места все не было, и в перспективе грозил голодный пост.

— И зачем это я русский, а не немец, не француз какой-нибудь! — восклицал за рюмкой водки, перед своими товарищами, Ханов.

— Да, вот иностранцам скабрезные шансонетки можно петь, а нам, толкователям Гоголя и Грибоедова, приходится под заграничные песни голодом сидеть...

— И сидишь, и жена и дети сидят, а заработки никакой... Пойду завтра дрова колоть наниматься...

— Зачем дрова! Еще в балагане можно заработать, — заметил комик Костин, поглаживая свою лысинку.

— В балагане? — удивился Ханов.

— Ну да, в балагане под Девичьим...

— Стыдно, брат, в балагане...

— Стыдно? Дурак! Да мы на эшафоте играли!

— Что-о? — протянул сквозь зубы столичный актер Вязигин, бывший сослуживец и соперник Ханова по

провинциальным сценам, где они были на одних ролях и где публика больше любила Ханова.

— На эшафоте, говорю, играли... Приехали мы в Кирсанов. Ярмарка, все сараи заняты, играть негде. Гляжу я — на площади эшафот стоит: преступников накануне вывозили.

— Ну и...

— Ну и к исправнику сейчас. Так, мол, и так, вашскородие, уступите эшафот на недельку, без нужды стоит. Уступил, всего по четыре с полтиной за помещение в вечер взял, и дело сделали, и «Аскольдову могилу» ставили.

— Эт-то на эш-шаф-фоте? — ломался Вязигин.

— На эшафоте...

— Странно...

— Ей-богу, брат Ханов, не брезгай балаганом... — советовал Костин.

— Па-слушайте, Ханов, я тоже советую: там, батенька мой, знаменитости играли, да-с...

— Я согласен, господа, как бы ни заработать честным трудом... но как попасть туда?

— А, пустяки... Я карточку дам Обиралову, содержателю балагана... Он мой... да... ну, я знаю его.

— Спасибо, Вязигин, я пойду...

— За здоровье балаганных актеров! — крикнул Костин, поднимая рюмку.

— Костин, вечно ты балаганишь! — как-то странно, сквозь зубы процедил Вязигин...

* * *

Был холодный, вьюжный день. Кутаясь в пальто и нахлобучив чуть не на уши старомодный цилиндр, Ханов бодро шагал к Девичьему полю.

Он то скользил по обледенелому тротуару, то чуть не до колена вязнул в хребтах снега, навитых ветром около заборов и на перекрестках; порывистый ветер, с силой вырывавшийся из-за каждого угла, на каждом перекрестке, врезывался в скважины поношенного пальто, ледяной змеей вползал в рукава и чуть не сшибал с ног. Ханов голой рукой попеременно пожимал уши, грел

руки в холодных рукавах и сердился на крахмаленные рукава рубашки, мешавшие просунуть как следует руку в рукав.

Вот наконец и поле, занесенное глубоким снегом, тучами крутящимся над сугробом.

Посередине поля плотники наскоро сшивали дощатый балаган. Около него стоял пожилой человек в собольей шубе, окруженный толпой полураздетых, небритых субъектов и нарумяненных женщин, дрожавших от холода.

Он отбивался от них.

— Да не надо, говорят, не надо, у меня труппа полна.

— Иван Иванович, да меня возьмите хоть, ведь я три года у вас Илью Муромца представлял,—приставал высокий плотный субъект с одутловатым лицом.

— Ты только дерешься, да пьянствуешь, да ругаешься неприлично на сцене, и так чуть к мировому из-за тебя не попал, а еще чиновник. Не надо, не надо.

— Иван Иванович, нас-то вы возьмите, Христа ради, ведь есть нечего, — упрашивали окружающие.

— Не надо.

Ханов приосанился, принял горделивую позу, приподнял слегка цилиндр и спросил:

— Иван Иванович Обиралов — вы?

— Я, что угодно?

— Вязигин просил вам передать.

Тот взял визитную карточку, прочитал и подал руку Ханову.

— Очень приятно-с... От Вязигина? Мой приятель... Дела делали... пожалуйте в трактир-с!

— Иван Иванович, как же, возьмете? — упрашивала толпа.

— Да ну, ступайте, что пристали? Сказал—не надо, некогда... Пойдемте-с. — И они с Хановым пошли.

Толпа направилась следом.

Ханов слышал, как про него говорили: «должно́, наниматься», «актер», «куда ему, жидок», «не выдержит», «видали мы таких».

* * *

Народные гулянья начались. Девичье поле запестрело каруселями, палатками с игрушками, дешевыми лакомствами.

Посередине в ряд выросла целая фаланга высоких, длинных дощатых балаганов с ужасающими вывесками: на одной громадный удав пожирал оленя, на другой негры-людоеды завтракали толстым европейцем в клетчатых брюках, на третьей какой-то богатырь гигантским мечом отсекал сотни голов у мирно стоявших черкесов. Богатырь был изображен на белом коне. Внизу красовалась надпись: «Еруслан богатырь и Людмила прекрасная».

«Это, должно быть, я!» — взглянув на рыцаря, улыбнулся Ханов, подходя к балагану.

Около кассы, состоящей из столика и шкатулки, сидела толстая баба в лисьем салопе и дорогой шали.

— Это балаган Обиралова? — обратился к ней Ханов.

— Балаганы с петрушкой, а это киятры!.. Это наши киятры... А вам чево?

— Я актер Ханов, я играю сегодня.

— Тьфу! А я думала, с человеком разговариваю! Балаган тоже!

«Хорошенькая встреча», — подумал Ханов и поднялся четыре ступеньки на сцену.

По сцене, с изящным хлыстом в руке и в щегольской лисьей венгерке, бегал Обиралов и ругал рабочих. Он наткнулся на входившего Ханова.

— Так нельзя-с! Так не делают у нас... Вы опоздали к началу, а из-за вас тут беспокойся. Пошел-те в уборную, да живо одеваться! — залпом выпалил Обиралов, продолжая ходить.

Ханов хотел ответить дерзостью, но что-то вспомнил и пошел далее.

— В одевальню? Сюда пожалте... — указал ему рабочий на дверь.

Ханов поднял грязный войлок, которым был завешен вход под сцену, и начал спускаться вниз по лесенке.

Под сценой было забранное из досок стойло, на гвоз-

дях висели разные костюмы, у входа сидели солдаты, которым, поплевывая себе на руки, малый в казинетовом пиджаке мазал руки и лицо голландской сажей. Далее несколько женщин белились свинцовыми белилами и подводили себе глаза. Несколько человек, уже вполне одетые в измятые боярские костюмы, грелись у чугуна с угольями. Вспыхивавшие синие языки пламени мельком освещали нагримированные лица, казавшиеся при этом освещении лицами трупов.

Ханов оделся также в парчовый костюм, более богатый, чем у других, и прицепил фельдфебельскую шашку, исправлявшую должность «меча-кладенца».

Напудрив лицо и мазнув раза два заячьей лапкой с суриком по щекам, Ханов вышел на сцену.

По сцене важно разгуливал, нося на левой руке бороду, волшебник Черномор. Его изображал тринадцатилетний горбатый мальчик, сын сапожника-пьяницы. На кресле сидела симпатичная молодая блондинка в шелковом сарафане с открытыми руками и стучала от холода зубами. Около нее стояла сухощавая, в коричневом платье, повязанная черным платком старуха, заметно под хмельком, и что-то доказывала молодой жестами.

— Мама, щец хоть принеси... Свари же...

— Щец! Щец!.. Дура!.. Деньги да богатство к тебе сами лезли... Матери родной пожалеть не хотите... Щец!

— Мама, оставьте этот разговор... Не надо мне ничего, лучше голодать буду.

В публике слышался глухой шум и аплодисменты. Обиралов подошел к занавесу, посмотрел в дырочку на публику, пощелкал ногтем большого пальца по полотну занавеса и крикнул: «Играйте!»

Плохой военный оркестр загремел. У входа в балаган послышались возгласы:

— К началу-у-у, начинаем, сейчас начнем!

Наконец, оркестр кончил, и занавес, скрипя и стуча, поднялся.

Началось представление.

Публика, подняв воротники шуб, смотрела на полураздетых актеров, на пляшущих в одних рубашонках детей и кричала после каждого акта «бис».

В первый день пьеса была сыграна двадцать три раза.

К последнему разу Черномор напился до бесчувствия; его положили на земляной пол уборной и играли без Черномора.

После представления Ханов явился домой веселый и рассказал жене о своем дебюте. Оба много смеялись.

На следующий и на третий день он играл в надежде на скорую получку денег и не стеснялся. Публика была самая безобидная: дети с няньками в ложах и первых рядах и чернорабочие на «галдарее». Последние любили сильные возгласы и резкие жесты, и Ханов старался играть для них. Они были счастливы и принимали Ханова аплодисментами.

Аплодисмент балагана — тоже аплодисмент.

Ханов старался для этой безобидной публики и, пожалуй, в те минуты был счастлив знакомым ему счастьем.

Он знал, что доставляет удовольствие публике, и не разбирал, какая это публика.

Дети и первые ряды аплодировали Людмиле. Они видели ее свежую красоту и симпатизировали ей.

Симпатия выражалась аплодисментами.

В субботу на масленой особенно принимали Людмилу. Она была лучше, чем в прежние дни. У ней как-то особенно блестели глаза и движения были лихорадочны. Иногда с ней бывало что-то странное: выходя из-за кулис, Людмила должна была пройти через всю сцену и сесть на золоченый картонный трон. Людмила выходила, нетвердыми шагами шла к трону, потом вдруг останавливалась или садилась на другой попутный стул, хваталась руками за голову и, будто проснувшись от глубокого сна, сверкала блестящими, большими, голубыми глазами и шла к своему трону. Это ужасно к ней шло. Она была прекрасна, и публика ценила это.

Ей аплодировали и удивлялись.

В три часа дня играли «Еруслана» в пятнадцатый раз. Публика переполнила балаган.

— К началу! К началу! — неистово орал швейцар в ливрее с собачьим воротником, с медным околышем на шляпе.

Появление Людмилы встретили аплодисментами. Она вышла еще красивее, глаза ее были еще больше, еще ярче блестели.

Но на этот раз она не дошла до трона. Выйдя из-за кулис, она сделала несколько шагов к огню передней рампы, потом, при громе аплодисментов, повернула назад и, будто на стул, села на пол посредине пустой сцены.

— Браво! Браво! Бис! — загоготала публика, принявшая эту сцену за клоунский фарс.

Явился антрепренер, опустил занавес, и Людмилу унесли вниз, в уборную, и положили на земляной пол. «Простудилась», — сказал кто-то. Публика неистовствовала и вызывала ее.

Акт не был кончен. Начали ставить вторую картину, а роль Людмилы отдали какой-то набеленой, дебелой полудеве.

Подняли занавес. Ханов вышел с фельдфебельской саблей в руках и, помахивая ею, начал монолог:

— «О поле, поле, кто тебя усеял повсюду мертвыми костями!»

— А кости где? — кто-то протяжно, ломая слова, сказал в публике.

Ханов невольно оглянулся. В первом ряду сидели четыре бритые, актерские физиономии, кутаясь в меховые воротники. Он узнал Вязигина и Сумского, актера казенных театров.

— Браво, браво, Ханов! — с насмешкой хлопнули они в ладоши. Задняя публика, услыхав аплодисменты первых рядов, неистово захлопала и заорала: «Браво, бис!»

— Баррр-банщика! — проревел какой-то пьяный, покрывший шум толпы бас.

Ханов ничего не слыхал. Он хотел бежать со сцены и уже повернулся, но перед его глазами встал сырой, холодный, с коричневыми, мохнатыми от плесени пятнами по стенам номер, кроватка детей и две белокурые головки.

Ханов энергично повернулся к картонной голове, вращавшей в углу сцены красными глазами, и начал свой монолог.

— «Послушай, голова пустая, я еду, еду не свищу, а как наеду — не спущу и поражу копьем тебя — я!» — замахиваясь саблей, декламировал он дрожащим голосом.

— Это не копье, а полицейская селедка! — громко, насмешливым тоном крикнул Вязигин.

Ханов вздрогнул и умоляюще посмотрел на говорившего.

Он увидел торжествующий злобный взгляд и гадкую усмешку на тонких, иезуитских губах Вязигина.

— Браво, Ханов, браво! — зааплодировал Вязигин, а за ним его сосед и публика.

Ханов затрясся весь. «А жена, а дети?» — мелькнуло у него в голове. Затем опять перед глазами его Вязигин гадко улыбался, и Ханов, не помня себя, крикнул:

— Подлец! — и бросился бежать со сцены.

Публика, опять приняв поступок Ханова за входившего в роль Руслана, аплодировала неистово.

Ханов вбежал в уборную и остановился у входа.

Посредине пола, на голой земле, лежала Людмила, разметав руки. Глаза ее то полузакрывались, то широко открывались и смотрели в одну точку на потолок. Подле нее сидела ее пьяная мать, стояла водка и дымился завернутый в тряпку картофель.

Мать чистила картофелину.

«Я не хочу... не хочу, мама... не надо мне ваших бриллиантов... золота... мы там играть будем... коленкору на фартук... вот хороший венок... мой венок...» — металась и твердила в бреду Людмила.

— Что с ней? — спросил у матери Ханов.

— Сама виновата... Сама. Говорила я... А теперь картошку ешь!

— А, обе пьяные! — крикнул Ханов и начал раздеваться. Старуха вскочила со своего места и набросилась на Ханова.

— Как вы смеете?.. Я сама актриса... Я Ланская... слыхали?! Вы смеете? Я пьяная, я старая пьяница... А она, моя Катя... Ах, говорила я ей, говорила... Лучше бы было!

И старуха с рыданиями упала на грудь дочери.

Та лежала по-прежнему и бредила.

Слышались слова: венок, букет, Офелия...

Ханов подошел и положил руку на мраморный, античный лоб Людмилы. Голова была как огонь. Жилы на висках бились.

— Тиф с ней, горячка, а вы — пьяная! — всхлипывала мать.

А сверху доносились звуки военного оркестра, наигрывавшего «Камаринского», и кто-то орал под музыку:

Там кума его калачики пекла,
Баба добрая, здоровая была!..

КОЛЕСОВ

I

Почтовый поезд из Рязани уже подходил к Москве. В одном из вагонов третьего класса сидел молодой человек, немного выше среднего роста, одетый в теплое пальто с бобровым воротником. Рядом с ним лежал небольшой чемоданчик и одеяло. Этот пассажир был Александр Иванович Колесов, служивший в одной из купеческих контор на юге чем-то вроде бухгалтера. Контора разорилась, и Колесов, оставшийся без места, отправился в Москву искать счастия. Деньги, заслуженные им в продолжение пятилетней службы, так и пропали. Продав кой-что лишнее из носильного платья, он отправился. Родственников у него нигде не было. Отец и мать, бедные воронежские мещане, давно умерли, а более никого не было нигде.

Какие мысли роились в голове его!..

«Вот, — думал Колесов, — приеду в Москву. Устроюсь где-нибудь в конторе, рублей на пятьдесят в месяц. Года два прослужу, дадут больше... Там, бог даст, найду себе по сердцу какую-нибудь небогатую девушку, женюсь на ней, и заживем... И чего не жить! Человек я смирный, работящий, вина в рот не беру... Только бы найти место, и я счастлив... А Москва велика, люди нужны... Я человек знающий, рекомендация от хозяина есть, значит и думать нечего».

Раздался последний свисток, пассажиры зашевелились, начали собирать вещи, и через минуту поезд уже остановился. Колесов вышел из вагона на платформу. Его тотчас окружили «вызывалы» из мелких гостиниц и дурных номеров, насильно таща каждый к себе. Один прямо вырвал из рук Колесова его чемодан.

— Пожалуйте-с к нам остановиться, сударь, номера почти рядом, дешевые-с, от полтинника-с! Пожалуйте-с за мною...

— Пожалуй, пойдем, если только номера приличные; где ни остановиться, мне все равно.

— Приличные-с, будьте благонадежны, можно сказать роскошные номера за эту цену, пожалуйте! И близко-с, даже извозчик не требуется.

Через несколько минут чичероне заявил, указывая на меблированные комнаты:

— Здесь!

— А улица какая?

— Самая спокойная в Москве-с. Дьяковка прозывается.

В полтинник номеров не оказалось, пришлось занять в рубль.

— Самоварчик-с? — предложил юркий, с плутовскими глазами коридорный.

Колесов приказал самовар.

— Документик теперь прикажете получить?

Документ был отдан.

— Из провинции изволили прибыть в белокаменную?

— Да, из Воронежа.

— По коммерции-с?

— Нет, места искать!

И Колесов рассказал коридорному причину, заставившую его прибыть в Москву.

— Те-кс! — протянул служитель и, вынув из кармана серебряные часы, посмотрел на них, потом послушал.

— Остановились! А на ваших сколько-с?

Колесов вынул золотые недорогие часы.

— Ровно десять.

— Так-с! А что намерены делать сегодня?

— Отдохну с полчасика, а потом куда-нибудь пройдусь, Москвой полюбуюсь.

— Доброе дело-с!

Коридорный скрылся, а Колесов, напившись чаю, оделся, запер дверь, ключ от номера взял с собой и пошел по Москве. Побывал в Кремле, проехался по интересовавшей его конке и, не зная Москвы, пообедал в каком-то скверном трактире на Сретенке, где содрали с него втридорога, а затем пешком отправился домой, спрашивая каждого дворника, как пройти на Дьяковку.

* * *

Трактир низшего разбора был переполнен посетителями. В отдельной комнатке, за стенкой которой гремел, свистя и пыхтя, как паровик, расстроенный оркестрион, сидели за столом две женщины; одной, по-видимому еврейке, на вид было лет за пятьдесят. Другая была еще молоденькая девушка, строгая блондинка, с роскошной косой и с карими, глубокими глазами — Гретхен, да и только. Но если попристальнее вглядеться в эту Гретхен, что-то недоброе просвечивало в ее глазах, и ее роскошная белизна лица оказывалась искусственно наведенной. Обе были одеты безукоризненно. На руках молодой сверкали браслеты и кольца. На столе перед ними стояла полбутылка коньяку и сахар с лимоном.

— Да! Сенька все дело испортил своим дурацким кашлем! — говорила блондинка.

— Испортил? Как же?

— Да так: сидели мы во втором классе. Подходящего сюжету не было. Вдруг в Клину ввалился толстый-претолстый купчина, порядком выпивши. Сенька сел с ним рядом, тут я подошла. Толстяк был пьян и, как только сел, начать храпеть, отвалившись на стенку дивана. Сенька мне мигнул, мы поменялись местами, я села рядом с купчиной, а Сенька, чтобы скрыть работу от публики, заслонил купца и полез будто бы за вещами на полочку, а я тем временем в *ширмоху за лопатошником* [1]. В эту самую минуту Сенька и закашлялся. *Мощи* [2] проснулись, и не выгорело! Из-за дурацкого кашля напрасно вся работа пропала.

---

[1] В карман за бумажником.

[2] Спящий пассажир.

— Сто́ит с Сенькой ездить! То ли дело Лейба!

— Лейба? Толст очень, ожирел, да и работой нечист! На выставке и то попался из-за красненькой!

Блондинка замолчала, налила по рюмке коньяку, выпила и заговорила:

— Выручи, Марья Дмитревна, сделай милость, дай рубликов пятьдесят, работы никакой, ехать в дорогу не с кем, с Сенькой поругалась, поляк сгорел [1]. Милька...

— Здесь работай!

— Работы никакой. Сашка номерной давеча мигал что-то из двери, когда мы ехали — да напрасно, кажись!

— Не напрасно-с, Александра Кирилловна, дело есть!

— Сашка, легок на помине! — воскликнули обе.

— Как черт на овине, — раскланиваясь, проговорил знакомый уже нам коридорный, прислуживавший Колесову.

— У вас? — заговорила блондинка.

— У нас! Попотчуйте коньячком-то!

— Пей! — Еврейка налила ему рюмку, которую он и проглотил.

— Богатый?

— На катеньку есть.

— Мелочь! А впрочем, на голодный зуб и то годится.

— Так идет? — спросила еврейка.

— Так точно-с! — ответил Сашка. — Четвертную им, четвертную мне, четвертную хозяину и четвертную за хлопоты...

— За какие хлопоты?—полюбопытствовала еврейка.

— А когда за работу? — спросила Сашку блондинка, не отвечая на вопрос соседки.

— Сегодня; сиди здесь пока, а потом я забегу и скажу, что делать. Затем прощайте, скоро буду!

Сашка пожал руки обеим женщинам и ушел.

Колесов явился домой через полчаса после того, как коридорный Сашка возвратился из трактира. Он потребовал самовар, а за чаем Сашка предложил ему познакомиться с некоторой молодой особой, крайне интерес-

---

[1] Арестован.

ной, на что тот согласился, и через самое короткое время известная читателю блондинка уже была в гостях у Колесова, которого она успела положительно очаровать. К двенадцати часам ночи Колесов, одурманенный пивом, настоенным на окурках сигар, так часто употребляемым в разных трущобах для приведения в бесчувствие жертв, лежал на кровати одетый, погрузясь в глубокий искусственный сон, навеянный дурманом...

— Барин, а барин! Вставать пора! Барин! Двенадцатый час!..— кричал поутру коридорный, стуча в дверь номера, где спал Колесов. Но тот не откликался.

Колесов проснулся поздно.

* * *

«Посмотрим, который теперь час!» — подумал Колесов, ища в кармане жилета часы и не находя их...

«Не украла ли их вчерашняя гостья?» — мелькнуло у него в уме. Он инстинктивно схватился за бумажник, раскрыл его, денег не было ни копейки.

— Коридорный, коридорный! — закричал он, отворяя дверь.

— Самоварчик? Сию минуту подаю-с! — ответил Сашка, являясь в номер Колесова.

— Обокрали! Слышишь! Обокрали меня! Деньги, часы... Что мне делать? Ведь это мое последнее достояние! — со слезами на глазах умолял Колесов.

— Кого обокрали, помилуйте?

— Меня, меня! Бумажник, часы...

— Где-с?

— Здесь, ночью...

— Это гостья ваша, наверно. Никто и не видал, когда она ушла...

— Кто же она, пошлите за полицией, задержать ее! Ведь ты рекомендовал! — метался Колесов.

— Меня и не извольте мешать! Рекомендовал! Приведете там, да на служащих валить! Ишь ты, за полицией... Вы и номеров не извольте срамить!.. А лучше убирайтесь отсюда подобру-поздорову, пока целы, — дерзко ответил коридорный и хлопнул дверью...

II

В знакомом же нам трактире, только в черной половине его, сидел небритый, грязный субъект. Было семь часов вечера.

В это время в трактир вошел Колесов, с чемоданом в руке, и поместился за одним из соседних столиков.

«Ага, приезжий! Попросить разве на ночлег», — мелькнуло в голове субъекта. Он подошел к столу, который занял Колесов.

— Позвольте к вам на минутку присесть! — обратился он к Колесову.

— О, с удовольствием, рад буду! — ответил последний.

Подали чай, за которым Колесов рассказал субъекту свое горе, как его обокрали и как, наконец, попросили удалиться из номеров.

— Денег ни гроша, квартиры нет, — жаловался Колесов.

— Устроим, не беспокойтесь! Только деньжонок рубля три надо!

— Нет у меня. Чемодан бы заложить, да вещишки кой-какие там. Кольцо было материно, рублей сорок стоило, и то украли.

Через несколько времени стараниями субъекта чемодан был заложен за три рубля, и Колесов уже сидел в одном из трактиров на Грачевке, куда завел его субъект, показывавший различные московские трущобы.

— Ну что же, ведите меня спать! — упрашивал его Колесов.

— Спать? Какой там сон, пойдем еще погуляем. Водочки выпьем, закусим.

— Я не пью ничего, кроме пива, да и пиво у вас какое-то гадкое.

— Спросим настоящего. Хочешь, с приятелями познакомлю, вон видишь, в углу за бутылкой сидят!

Колесов посмотрел, куда указывал ему его товарищ.

В углу, за столом, сидели три человека, одетые — двое в пальто, сильно поношенные, а третий в серую поддевку. Один, одетый в коричневое пальто, был ги-

гантского роста. Он пил водку чайным стаканом и говорил что-то своим собеседникам.

— Кто это такие?

— Славные люди, промышленники. Посиди, а я к ним схожу, надо повидаться! — шепнул субъект и быстро подошел к столу, за которым сидели трое. С каждым из них он поздоровался за руку, как старый приятель, и начал что-то говорить им, наклонившись к столу, так тихо, что слова лишь изредка долетали до Колесова. Громче всех говорил гигант. Можно было расслышать у него: «еще не обсосан», «шкура теплая» и «шланбой». Во время разговора трое посмотрели на Колесова, но поодиночке каждый, будто не нарочно. Колесов сам не обращал внимания на них; он сидел, облокотившись одной рукой на стол, и безотчетно смотрел в пространство. Глаза его были полны слез. Он ничего не слышал, ничего не видел вокруг себя.

— Не вешай голову, не печаль хозяина!—вдруг раздался над ухом у него громовой бас, и чья-то тяжелая, как свинец, рука опустилась на него. Колесов встрепенулся. Подле него стоял гигант и смотрел ему в глаза.

— Что вам угодно? Я не знаю вас! — проговорил испуганный Колесов.

— А мы вас знаем; слышали о том, как вас обработали, и горю вашему помочь возьмемся.

— Горю помочь? Да неужели? Деньги отдадите, часы?

— Часы и деньги — все достанем, только за труды красненький билет будет да на расход красненький, и все возвратим.

— Как же это?

— Да так: знаем, кто у вас украл, слышали и предоставим.

— Голубчик! Как вас и благодарить!

— Не меня, вашего приятеля благодарите,— проговорил гигант, указывая на субъекта, распивавшего водку за другим столом.

— А вы сами кто?

— Приказчик; а девчонка, которая была у вас вчера, живет со мной в одном доме, так я подслушал разговор. Ну, так идет?

— Век буду благодарен! Только выручите!

— Выручим, ну, пойдем сейчас, золотое время терять нечего.

Гигант кивнул своей компании. Колесов расплатился, и все гурьбой вышли из трактира.

Погода была мерзкая. Сырой снег, разносимый холодным, резким ветром, слепил глаза. Фонари издавали бледно-желтый свет, который еле освещал на небольшое пространство сырую туманную мглу.

— Ну-с, господин почтенный, выручить мы вас выручим, и ваша пропажа найдется, и не дальше как сегодня же, только для этого нужно первым делом десять рублей денег, — обратился гигант к Колесову, когда они вышли на улицу.

— Денег у меня только полтора рубля! — ответил тот.

— Нужно десять, и ни гроша менее. Да не беспокойтесь, мы вас не обманем, ваших денег в руки не возьмем, сами расплачиваться будете.

— Нету у меня.

— А без денег ничего не поделаешь, и, значит, не видать вам пропажи, как ушей своих.

— Да ведь денег-то нет! Где же взять? Я бы рад.

— А вот что, заложим до утра ваше пальто, а деньги достанем, завтра и выкупим, — предложили ему.

— Умно изволите говорить, только до утра, а завтра выкупим! — подтвердил гигант, шагая по Грачевке.

— Помилуйте... Как это пальто?! А я в чем же останусь?

— Только до утра как-нибудь перебьетесь, ночуем у меня, живу близко. Да не подумайте чего-нибудь дурного: ведь мы только выручить вас хотим, благо счастливый случай представился, мы люди порядочные, известные. Я приказчик купца Полякова, вот этот — мой товарищ, а они,— говорил гигант, показывая на поддевку,— на железной дороге в артельщиках состоят.

— Да, я артельщик, артельщик на Николаевской дороге, из Кунцева, — подтвердила поддевка.

— Господа, я согласен, я верю вам; где же заложить?

— Найдем такое место, пойдем.

— К Воробью пойдемте! — предложила поддевка.

— Вот сюда! — сказал гигант и указал на высокий дом.

Вошли все в ворота, кроме субъекта, который остался на улице.

— Ну-с, господа, вы погодите тут, а мы наверх пойдем,— сказал гигант, взяв за руку Колесова.

— Держитесь за меня, а то темно.

Начали подниматься по склизкой лестнице, вошли на площадку, темную совершенно.

— Снимайте пальто и дайте мне, а то двоим входить неловко, а я тем временем постучу.

Колесов повиновался как-то безотчетно, и через минуту пальто уже было у гиганта. Тот продолжал потихоньку стучаться, все далее и далее отодвигаясь от Колесова. Наконец, стук прекратился, раздался скрип половиц.

— Господин, где вы? — шепнул Колесов.

Ответа не было. Он сказал громче, еще громче. Ничего! Наконец, отыскал в кармане жилета спичечницу, зажег огня.

— Что ты тут делаешь, а? Поджигать или воровать пришел? — раздался громовый голос сзади, затем Колесов почувствовал удар, толчок и полетел с лестницы, сброшенный сильной рукой.

Очнулся он на дворе, в луже, чувствуя боль во всем теле. Что с ним случилось? Он не мог отдать себе отчета. Лихорадочная дрожь, боль во всем теле, страшный холод; он понемногу начал приходить в себя.

Весь мокрый, встал он на ноги и вышел на улицу. Темно было. Фонари были загашены, улицы совершенно опустели. Не отдавая себе хорошенько отчета, Колесов пустился идти скорым шагом. Прошел одну улицу, другую... Прохожие и дворники смотрели с удивлением и сторонились от него, мокрого, грязного... Он шел быстро, а куда — сам не знал... Колесил без разбору по Москве... Наконец, дошел до какой-то церкви, где служили заутреню... Он машинально вошел туда, и встав в самый темный угол церкви, упал на колени и зарыдал.

— Господи!.. Господи!.. Погиб я, погиб...— молился он вслух, заливаясь слезами.

Церковь была почти пуста. Священник нехотя исполнял службу. Дьячок козлиным голосом вторил. С десяток старух и нищих как-то по привычке молились. Никто не обращал внимания на рыдающего Колесова.

Прошедший мимо него солдат-сторож только пробормотал про себя: «Ишь, проклятые, греться сюда повадились, оборванцы, пьянчуги».

Долго и усердно молился Колесов, наконец немного успокоился. Кончилась заутреня, он вместе со всеми вышел. Начало светать. На паперти встретился ему старый нищий в рубище.

— Что это, почтенный, ты будто сам не свой, али обидели тебя? — обратился он к Колесову.

— Обидели, дедушка... вот как обидели!.. — ответил ему Колесов.

Они вышли оба вместе с паперти и пошли по улице. Дорогой он выплакал свое горе старику. Тот с участием выслушал его и сказал:

— Не помочь твоему горю. Мошенники тебя обработали начисто. Не один ты погиб так, а многие.

— Что же теперь делать, дедушка?

— И сам не знаю что! А вот пойдем-ка в трактир, я тебя чайком напою, а там и подумаем.

Нищий привел его в свою квартиру, в дом Бунина, на Хитров рынок, и заботливые соседи успели вдосталь обобрать Колесова и сделать из него одного из тех многочисленных оборванцев, которыми наполнены трущобы Хитрова рынка и других ночлежных домов, разбросанных по Москве. И сидит теперь Колесов день-деньской где-нибудь в кабаке, голодный, дожидаясь, что какой-нибудь загулявший бродяга поднесет ему стаканчик водки. Пьется этот стакан водки лишь для того, чтобы после него иметь возможность съесть кусок закуски и хоть этим утолить томящий голод. Вечером, когда стемнеет, выходит он выпросить у кого-нибудь из прохожих пятак на ночлег и отправляется на «квартиру».

И потекли для Колесова тяжелые дни... Что-то с ним будет?!

В ГЛУХУЮ

«При очистке Неглинного
канала находили кости,
похожие на человеческие».

Газетная заметка

Полночь — ужасный час.

В это время все любящие теплый свет яркого солнца мирно спят.

Поклонники ночи и обитатели глухих дебрей проснулись.

Последние живут на счет первых.

Из мокрой слизистой норы выползла противная, бородавчатая, цвета мрака, жаба... Заныряла в воздухе летучая мышь, заухал на весь лес филин, только что сожравший маленькую птичку, дремавшую около гнезда в ожидании рассвета; филину вторит сова, рыдающая больным ребенком. Тихо и жалобно завыл голодный волк, ему откликнулись его товарищи, и начался дикий лесной концерт — ария полуночников.

Страшное время — полночь в дебрях леса.

Несравненно ужаснее и отвратительнее полночь в трущобах большого города, в трущобах блестящей, многолюдной столицы. И чем богаче, обширнее столица, тем ужаснее трущобы...

И здесь, как в дебрях леса, есть свои хищники, свои совы, свои волки, свои филины и летучие мыши...

И здесь они, как их лесные собратья, подстерегают добычу и подло, потихоньку, наверняка пользуются ночным мраком и беззащитностью жертв.

Все обитатели трущобы могли бы быть честными, хорошими людьми, если бы сотни обстоятельств, начиная с неумелого воспитания и кончая случайностями и некоторыми условиями общественной жизни, не вогнали их в трущобу.

Часто одни и те же причины ведут к трущобной жизни и к самоубийству. Человек загоняется в трущобы, потому что он не уживается с условиями жизни. Прелести трущобы, завлекающие широкую необузданную натуру, — это воля, независимость, равноправность. Там — то преступление, то нужда и голод связывают между собой сильного со слабым и взаимно уравнивают их. А все-таки трущоба — место не излюбленное, но неизбежное.

Притон трущобного люда, потерявшего обличье человеческое, — в заброшенных подвалах, в развалинах, подземельях.

Здесь крайняя степень падения, падения безвозвратного.

Люди эти, как и лесные хищники, боятся света, не показываются днем, а выползают ночью из нор своих. Полночь — их время. В полночь они заботятся о будущей ночи, в полночь они устраивают свои ужасные оргии и топят в них воспоминания о своей прежней, лучшей жизни.

* * *

Одна такая оргия была в самом разгаре.

Из-под сводов глубокого подвала доносились на свежий воздух неясные звуки дикого концерта.

Окна, поднявшиеся на сажень от земляного пола, были завешаны мокрыми, полинявшими тряпками, прилипшими к глубокой амбразуре сырой стены. Свет от окон почти не проникал на глухую улицу, куда заносило по ночам только загулявших мастеровых, пропивающих последнее платье...

Это одна из тех трущоб, которые открываются на имя женщин, переставших быть женщинами, и служат лишь притонами для воров, которым не позволили бы иметь свою квартиру. Сюда заманиваются под разными предлогами пьяные и обираются дочиста.

Около входа в подвал стояла в тени темная фигура и зазывала прохожих.

В эту ночь по трущобам глухой Безыменки ходил весь вечер щегольски одетый искатель приключений, всюду пил пиво, беседовал с обитателями и, выходя на улицу, что-то заносил в книжку при свете, падавшем из окон, или около фонарей.

Он уже обошел все трущобы и остановился около входа в подземелье. Его окликнул хриплый голос на чистом французском языке:

— Monsieur, venez chez nous pour un moment[1].

— Что такое? — удивился прохожий.

— Зайдите, monsieur, к нам, у нас весело.

— Зачем я зайду?

— Теперь, monsieur, трактиры заперты, а у нас пиво и водка есть, у нас интересно для вас, зайдите!

От стены отделилась высокая фигура и за рукав потащила его вниз.

Тот не сопротивлялся и шел, опустив руку в карман короткого пальто и крепко стиснув стальной, с острыми шипами, кастет.

— Entrez![2] — раздалось у него над самым ухом.

Дверь отворилась. Перед вошедшим блеснул красноватый свет густого пара, и его оглушил хаос звуков. Еще шаг, и глазам гостя представилась яркая картина истинной трущобы. В громадном подвале, с мокрыми, почерневшими, саженными сводами стояли три стола, окруженные неясными силуэтами. На стене, близ входа, на жестяной полочке дымился ночник, над которым черным столбиком тянулся дым, и столбик этот, воронкой расходясь под сводом, сливался незаметно с черным закоптевшим потолком. На двух столах стояли лампочки, водочная посуда, остатки закусок. На одном

---

[1] Господин, зайдите к нам на минутку (*франц.*).

[2] Войдите! (*франц.*).

из них шла ожесточенная игра в банк. Метал плотный русак, с окладистой, степенной рыжей бородой, в поддевке. Засученные рукава открывали громадные кулаки, в которых почти скрывалась засаленная колода. Кругом стояли оборванные, бледные, с пылающими взорами понтеры.

— Транспа-арт с кушем! — слышалось между играющими.

— Семитка ὸко...

— Имею... На-пере-пе...

— Угол от гривны!

За столом, где не было лампы, а стояла пустая бутылка и валялась обсосанная голова селедки, сидел небритый субъект в форменной фуражке, обнявшись с пьяной бабой, которая выводила фальцетом:

И чай пи-ла я, бб-буллки-и ела,
Паз-за-была и с кем си-идела.

За средним столом шел оживленный спор. Мальчик лет тринадцати, в лаковых сапогах и «спинчжаке», в новом картузе на затылке, колотил дном водочного стакана по столу и доказывал что-то оборванному еврею:

— Слушай, а ты...

— И што слушай? Что слушай? Работали вместе, и халтура [1] пополам.

— Оно и пополам; ты затыривал — я по ширмохе, тебе двадцать плиток, а мне собака...

— Соловей-то полста ходить, небось.

— Провалиться, за четвертную ушел...

— Заливаешь!

— Пра слово... Чтоб сгореть!

— Где ж они?

— Прожил; коньки вот купил, чепчик. Ни финажки в кармане... [2] Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз!

---

[1] Халтура — барыш.

[2] Затыривать — помогать карманнику, ширмошнику. Плитка — рубль. Соловей—золотые часы. Часы вообще — собака. Коньки—сапоги. Финажки — кредитки.

Оська оглянулся на вошедшего.

— Не лягаш ли?

— Не-е... просто стрюк шатаный...[1] Да вот узнаем... Па-алковница, что, кредитного[2], что ли, привела?

Стоявшая рядом с вошедшим женщина обернула к говорившему свое густо наштукатуренное лицо, подмигнула большими черными, ввалившимися глазами и крикнула:

— Барин пива хочет! Monsieur, садитесь!

Тот, не вынимая правой руки и не снимая шляпы, подошел к столу и сел рядом с Иоськой.

Игравшие в карты на минуту остановились, осмотрели молча — с ног до головы — вошедшего и снова стали продолжать игру.

— Что ж, барин, ставь пива, угости полковницу,— заговорил мальчишка.

— А почем пиво?

— Да уж расшибись на рупь-целковый, всех угощай... Вон и барон опохмелиться хочет,— указал Иоська на субъекта в форменной фуражке.

Тот вскочил, лихо подлетел к гостю, сделал под козырек и скороговоркой выпалил:

— Барон Дорфгаузен, Оттон Карлович... Прошу любить и жаловать, рад познакомиться!..

— Вы барон?

— Ma parole...[3] Барон и коллежский регистратор... В Лифляндии родился, за границей обучался, в Москве с кругу спился и вдребезги проигрался...

— Проигрались?

— В чистую! От жилетки рукава проиграл! — сострил Иоська.

Барон окинул его презрительным взглядом.

— Ma parole! Вот этому рыжему последнее пальто спустил... Одолжите, mon cher[4], двугривенный на реванш... Ma parole, до первой встречи...

— Извольте...

---

1 Загулявший барин.

2 Кредитный — возлюбленный.

3 Честное слово *(франц.)*.

4 Мой дорогой *(франц.)*.

Барон схватил двугривенный, и через минуту уже слышался около банкомета его звучный голос:

— Куш под картой... Имею-с... Имею... Полкуша на-пé, очки вперед...

— Верно, сударь, настоящий барон... А теперь свидетельства на бедность — викторки — строчит... Как печати делает! — пояснил Иоська гостю...— И такцыя недорога. Сичас, ежели плакать — полтора рубля, вечность — три.

— Вечность?

— Да, дворянский паспорт или указ об отставке... С орденами — четыре... У него на все такцыя...

— Удивительно... Барон... Полковница...

— И настоящая полковница... В паспорте так. Да вот она сама расскажет...

И полковница начала рассказывать, как ее выдали прямо с институтской скамьи за какого-то гарнизонного полковника, как она убежала за границу с молодым помещиком, как тот ее бросил, как она запила с горя и, спускаясь все ниже и ниже, дошла до трущобы...

— И что же, ведь здесь очень гадко? — спросил участливо гость.

— Гадко!.. Здесь я вольная, здесь я сама себе хозяйка... Никто меня не смеет стеснять... да-с!

— Ну, ты, будет растабарывать, неси пива! — крикнул на нее Иоська.

— Несу, оголтелый, что орешь! — И полковница исчезла.

— Malheur! [1] Не везет... А? Каково... Нет, вы послушайте... Ставлю на шестерку куш — дана. На-пé — имею. Полкуша на-пé, очки вперед — пятерку — взял... Отгибаюсь — уменьшаю куш — бита. Иду тем же кушем, бита. Ставлю насмарку — бита... Три — и подряд! Вот не везет!..

— Проиграли, значит?

— Вдребезги... Только бы последнюю дали — и я Крез. Талию изучил, и вдруг бита... Одолжите... до первой встречи еще тот же куш...

---

[1] Несчастье! *(франц.)*

— С удовольствием, желаю отыграться.

— All right! [1] Это по-барски... Mille merci [2]. До первой встречи...

А полковница налила три стакана пива и один, фарфоровый, поднесла гостю.

— Votre santé, monsieur! [3]

Другой стакан взял барон, оторвавшийся на минуту от карт, и, подняв его над головой, молодецки провозгласил:

— За здоровье всех присутствующих... Уррра!..

Разбуженная баба за пустым столом широко раскрыла глаза, прислонилась к стене и затянула:

И чай пила я с сухарями,
Воротилась с фонарями...

Полковница вновь налила стакан из свежей бутылки.

Около банкомета завязался спор.

— Нет, вы па-азвольте... сочтите абцуги... девятка налево, — горячился барон.

— Ну, ну, не шабарши с гривенником... говорят, бита...

— Сочтите абцуги... Вот видите, налево... Гривенник имею... Иду углом... Сколько в банке?

— В банке? Два рубли еще в банке... Рви... Бита... Гони сюда...

А с гостем случилось нечто. Он все смотрел на игру, а потом опустил голову, пробормотал несколько несвязных слов и грохнулся со стула.

— Семка, будет канителиться-то, готов! — крикнул банкомету мальчишка.

— Вижу!..

Банкомет сгреб деньги в широкий карман поддевки и, заявив, что банк закрыт, порастолкал игроков и подошел к лежавшему.

Полковница светила.

Мальчишка и банкомет в один момент обшарили

---

[1] Превосходно! (*англ.*)

[2] Тысяча благодарностей (*франц.*).

[3] Ваше здоровье, господин! (*франц.*)

карманы, и на столе появилась записная книжка с пачкой кредиток, часы, кошелек с мелочью и кастет.

— Эге, барин-то с припасом, — указал Иоська на кастет.

Барон взял книжку и начал ее рассматривать.

— Ну что там написано? — спросил банкомет.

— Фамилии какие-то... Счет в редакцию «Современных известий»... постой и... Вот насчет какой-то трущобы... Так, чушь!..

— Снимайте с него коньки-то!

— Да оставьте, господа, простудится человек, будет, нажили ведь! — вдруг заговорила полковница.

— Черт с ним, еще из пустяков сгоришь... Бери на вынос! — скомандовал банкомет.

Иоська взял лежавшего за голову и вдруг в испуге отскочил. Потом он быстро подошел и пощупал его за руку, за шею и за лоб.

— А ведь не ладно... Кажись, вглухую! [1]

— Полно врать-то!

— Верно, Сема, гляди.

Банкомет засучил рукав и потрогал гостя...

— И вправду... Вот беда!

— Неловко...

— Ты что ему, целый порошок всыпала? — спросил русак полковницу.

— Не нашла порошков. Я в стакан от коробки из розовой отсыпала половину...

— Половину... Эх, проклятая! Да ведь с этого слон сдохнет!.. Убью!

Он замахнулся кулаком на отскочившую полковницу.

Ул-лажила яво спать
На тесовую кровать! —

еле слышно, уткнувшись носом в стол, тянула баба.

К банкомету подошел мальчик и что-то прошептал ему на ухо.

— Дело... беги! — ответил тот.— Иоська, берись-ка за голову, вынесем на улицу, отлежится к утру! — про-

---

[1] Вглухую — убить насмерть.

говорил Семка и поднял лежавшего за ноги. Они оба понесли его на улицу.

— Не сметь никто выходить до меня! — скомандовал банкомет.

Все притихли.

На улице лил ливмя дождь. Семка и Иоська ухватили гостя под руки и потащили его к Цветному бульвару. Никому не было до этого дела.

А там, около черного отверстия, куда водопадом стремилась уличная вода, стоял мальчишка-карманник и поддерживал железную решетку, закрывающую отверстие.

На край отверстия поставили принесенного и опустили его. Раздался плеск, затем громыхнула железная решетка, и все стихло.

— И концы в воду! — заметил Иоська.

— Сгниет — не найдут, илом занесет али в реку унесет, — добавил карманник.

„КАТОРГА"

Не всякий поверит, что в центре столицы, рядом с блестящей роскошью миллионных домов, есть такие трущобы, от одного воздуха и обстановки которых люди, посещавшие их, падали в обморок.

Одну из подобных трущоб Москвы я часто посещал в продолжение последних шести лет.

Это — трактир на Хитровом рынке, известный под названием «Каторга».

Трущобный люд, населяющий Хитров рынок, метко окрестил трактиры на рынке. Один из них назван «Пересыльный», как намек на пересыльную тюрьму, другой «Сибирь», третий «Каторга». «Пересыльный» почище, и публика в нем поприличнее, «Сибирь» грязнее и посещается нищими и мелкими воришками, а «Каторга» нечто еще более ужасное.

Самый Хитров рынок с его ночлежными домами служит притоном всевозможных воров, зачастую бежавших из Сибири.

Полицейские протоколы за много лет могут подтвердить, что большинство беглых из Сибири в Москве арестовываются именно на Хитровом рынке.

Арестант бежит из Сибири с одной целью — чтобы увидеть родину. Но родины у него нет. Он отверженец общества. Все отступились от него, кроме таких же, как он, обитателей трущоб, которые посмотрят на него,

«варнака Сибирского, генерала Забугрянского», как на героя.

Они, отверженцы, — его родные, Хитров рынок для него родина.

При прощаньях арестантов в пересыльной тюрьме, отправляющихся в Сибирь в каторжные работы без срока, оставшиеся здесь говорят:

— Прощай, бог даст увидимся в «Каторге».

— Постараемся! — отвечают сибиряки, и перед глазами их рисуется Хитров рынок и трактир «Каторга».

И в Сибири при встрече с беглыми арестанты-москвичи повторяют то же заветное слово...

Был сырой, осенний вечер, когда я в последний раз отворил низкую грязную дверь «Каторги»; мне навстречу пахнул столб белого пара, смеси махорки, сивухи и прелой тряпки.

Гомон стоял невообразимый. Неясные фигуры, брань, лихие песни, звуки гармоники и кларнета, бурленье пьяных, стук стеклянной посуды, крики о помощи... Все это смешивалось в общий хаос, каждый звук раздавался сам по себе, и ни на одном из них нельзя было остановить своего внимания...

С чем бы сравнить эту картину?!

Нет! Видимое мной не похоже на жилище людей, шумно празднующих какое-нибудь торжество... Нет, это не то... Не похоже оно и на берлогу диких зверей, отчаянно дерущихся между собой за кровавую добычу... Опять не то...

Может быть, читатели, вы слыхали от старых нянек сказку о Лысой горе, куда слетаются ведьмы, оборотни, нетопыри, совы, упыри, черти всех возрастов и состояний справлять адский карнавал? Что-то напоминающее этот сказочный карнавал я и увидел здесь.

На полу лежал босой старик с раскровавленным лицом. Он лежал на спине и судорожно подергивался... Изо рта шла кровавая пена...

А как раз над его головой, откинувшись на спинку самодельного стула, под звуки кларнета и гармоники отставной солдат в опорках ревет дикую песню:

Ка-да я был слабодна-ай мальчик...

Половой с бутылкой водки и двумя стаканами перешагнул через лежавшего и побежал дальше...

Я прошел в середину залы и сел у единственного пустого столика.

Все те же типы, те же лица, что и прежде...

Те же бутылки водки с единственной закуской — огурцом и черным хлебом, те же лица, пьяные, зверские, забитые, молодые и старые, те же хриплые голоса, тот же визг избиваемых баб (по-здешнему «теток»), сидящих частью в одиночку, частью гурьбой в заднем углу «залы», с своими «котами».

Эти «бабы» — завсегдатаи, единственные посетители трактира, платящие за право входа буфетчику.

Судьба их всех одинакова, и будущее каждой из них не разнится: или смерть в больнице и под забором, или при счастливом исходе — торговля гнилыми яблоками и селедками здесь же на рынке... Прошлое почти одинаковое: пришла на Хитров рынок наниматься; у нее нарочно, чтобы закабалить ее, «кот» украл паспорт, затем, разыгрывая из себя благодетеля, выручил ее, водворив на ночлег в ночлежный дом — место, где можно переночевать, не имея паспорта. (Это, конечно, не устраивается без предварительного соглашения с хозяином ночлежного дома.) «Кот», наконец, сделался ее любовником и пустил в «оборот», то есть ввел в «Каторгу» и начал продавать ее пьяным посетителям... Прошло три — шесть месяцев, и свеженькая, совсем юная девушка превратилась в потерявшую облик человеческий «каторжную тетку».

Лет пять тому назад я встретился в «Каторге» с настоящей княжной, известной Москве по скандальному процессу и умершей в 1885 году в больнице... Покойная некоторое время была завсегдатаем «Каторги»...

«Коты» здесь составляют, если можно так выразиться, отдельную касту, пользуются благоволением половых и буфетчиков, живут на вырученные их любовницами деньги и кражей кошельков и платья у пьяных посетителей, давая долю из краденого половым.

Вот, посреди комнаты, за столом, в объятиях пожилого, плечистого брюнета, с коротко остриженными во-

лосами, лежит пьяная девчонка, лет тринадцати, с детским лицом, с опухшими красными глазами, и что-то старается выговорить, но не может... Из маленького, хорошенького ротика вылетают бессвязные звуки. Рядом с ними сидит щеголь в русской поддевке — «кот», продающий свою «кредитную» плечистому брюнету...

— Говорят тебе, зеленые ноги [1], у нас много слободней, потому свои...

— Зеленые... зеленые... будет звонить-то, черт-шалава!..

— Нечто не знают тебя... звонить!.. Ты бы лучше...

Здравствуй, милая, хорошая моя,
Чирнобровая, порря-дач-ная...—

грянули песенники и покрыли разговор.

Передо мной явился новый субъект, в опорках, одетый в черную от грязи, подпоясанную веревкой женскую рубаху с короткими рукавами, из-под которых высовывались страшно мускулистые, тяжелые руки; одну, без пальцев, отрубленных или отмороженных, он протянул мне.

— Salve, amice! [2] — прогремел надо мной густой бас.

— Здравствуй, Лавров, — ответил я.

— С похмелья я, барин; сделай милость, опохмели, многую лету спою.

И не успел я ответить, как Лавров гаркнул так, что зазвенели окна: «Многая лета, многая!..», и своим хриплым, но необычайно сильным басом покрыл весь гомон «Каторги». До сих пор меня не замечали, но теперь я сделался предметом всеобщего внимания. Мой кожаный пиджак, с надетой навыпуск золотой цепью, незаметный при общем гомоне и суете, теперь обратил внимание всех. Плечистый брюнет как-то вздрогнул, пошептался с «котом» и бросил на стол рубль; оба вышли, ведя под руки пьяную девушку...

— Лета многая, лета, водки ставь! — кончил Лавров, не обращая ни на что внимания.

---

[1] Зеленые ноги — беглый с каторги.
[2] Здорово, приятель! *(итал.)*

Я спросил полбутылки... Не успели еще нам подать водки, как бородатый мужик, песенник, отвел от меня Лаврова и, пошептавшись с ним, отошел к песенникам...

Снова загремела песня, завизжала гармоника и завыл кларнет... Замешательство, вызванное восклицанием Лаврова, обратившим внимание на меня, скоро исчезло.

— Спрашивал меня, не сыщик ли ты, испугались, вишь!.. — объяснил мне Лавров, проглатывая стакан водки...

Лаврова я знаю давно. Он сын священника, семинарист, совершенно спившийся с кругу и ставший безвозвратным завсегдатаем «Каторги» и ночлежных притонов. За все посещения мною в продолжение многих лет «Каторги» я никогда не видал Лаврова трезвым... Это — здоровенный двадцатипятилетний малый, с громадной, всклокоченной головой, вечно босой, с совершенно одичавшим, животным лицом. Кроме водки, он ничего не признает, и только страшно сильная натура выносит такую беспросыпную, голодную жизнь...

К нашему столу подошла одна из «теток», баба лет тридцати, и, назвав меня «кавалером», попросила угостить «папиросочкой». Вскоре за ней подсел и мужик, справлявшийся у Лаврова обо мне и успокоившийся окончательно, когда после Лаврова один из половых, знавших меня, объяснил ему, что я не сыщик.

— Уж извините, очень приятно быть знакомыми-с, а мы было в вас ошиблись, думали, «лягаш», — протянул он мне руку, без приглашения садясь за стол.

— Водочки дозвольте, а мы вам песенку сыграем. Вы у нас и так гостя спугнули,— указывая на место, где сидел плечистый брюнет, сказал песенник.

Я дал два двугривенных, и песенники грянули «Капказскую».

В дверях главной залы появился новый субъект, красивый, щегольски одетый мужчина средних лет, с ловко расчесанной на обе стороны бородкой. На руках его горели дорогие бриллиантовые перстни, а из-под темной визитки сбегала по жилету толстая, изящная золотая цепь, увешанная брелоками.

То был хозяин заведения, теперь почетный гражданин и кавалер, казначей одного благотворительного общества, а ранее — буфетчик в трактире на том же Хитровом рынке теперь умершего Марка Афанасьева.

Хозяин самодовольно взглянул на плоды рук своих, на гудевшую пьяную ватагу, мановением руки приказал убрать все еще лежавшего и хрипевшего старика и сел за «хозяйский» стол у буфета за чай...

«Каторга» не обратила никакого внимания на хозяина и гудела по-прежнему...

В углу барышник снимал сапоги с загулявшего мастерового, окруженного «тетками», и торговался, тщательно осматривая голенищи и стараясь отодрать подошву.

— Три рубля, хошь умри! — топая босой ногой по грязному полу, упирался мастеровой.

— Шесть гривень хошь, — получай! — в десятый раз повторяли оба, и каждый раз барышник тыкал в лицо сапогами мастеровому, показывая, будто «подметки-то отопрели, оголтелый черт! Три рубли, пра, черт!»

— Отопрели! Сам ты, рыжая швабра, отопрел! Нет, ты кажи, где отопрели? Это дом, а не сапоги, дом...

— Карраул, убили! — заглушили слова торгующихся дикие крики во весь пласт рухнувшейся на грязный пол «тетки», которую кулаком хватил по лицу за какое-то слово невпопад ее возлюбленный.

— Это за любовь-то мою, ока-янный... за любовь-то мо... — Караул, убили! — еще громче завопила она, получив новый удар сапогом по лицу, на этот раз от мальчишки-полового.

— Знай наших, не умирай скорча! — кто-то с хохотом сострил по поводу плюхи...

Я расплатился и пошел к выходу.

Несколько лет тому назад здесь при мне так же поступили с княжной. Я вступился за нее, но, выручая ее, сам едва остался цел только благодаря тому, что княжну били у самого выхода да со мной был кастет и силач-товарищ, с которым мы отделались от дравшихся на площади, где завсегдатаи «Каторги» боялись очень шуметь, не желая привлекать постороннюю публику, а пожалуй, и городового.

Я вышел на площадь. Красными точками сквозь туман мерцали фонари двух-трех запоздавших торговок съестными припасами. В нескольких шагах от двери валялся в грязи человек, тот самый, которого «убрали» по мановению хозяйской руки с пола трактира... Тихо было на площади, только сквозь кой-где разбитые окна «Каторги» глухо слышался гомон, покрывавшийся то октавой Лаврова, оравшего «многую лету», то визгом пьяных «теток»:

Пьем и водку, пьем и ром,
Завтра по миру пойдем...

ПОСЛЕДНИЙ УДАР

(Очерк из жизни биллиардных)

Он вошел в биллиардную. При его появлении начался шепот, взгляды всех обратились к нему.

— Василий Яковлевич, Василий Яковлевич... капитан пришел! — послышалось в разных углах.

А он стоял у дверей, прямой и стройный, высоко подняв свою, с седой львиною гривой, голову, и смотрел на играющих. На его болезненно-бледном лице появлялась порою улыбка. Глаза его из глубоких орбит смотрели бесстрастно, и изменялась лишь линия мертвенно-бледных губ, покрытых длинными седыми усами.

Капитан — своего рода знаменитость в мире биллиардных игроков.

Игра его была поистине изумительна. Он играл не по-маркерски, не по-шулерски, а блестящим вольным ударом.

Много лет существовал он одною игрой, но с каждым годом ему труднее и труднее приходилось добывать рубли концом кия, потому что его игру узнали всюду и брали с него так много вперед, что только нужда заставляла его менять свой блестящий «капитанский» удар на иезуитские штуки.

В биллиардных посетителям даются разные прозвища, которые настолько входят в употребление, что собственные имена забываются. Так одного прозвали «ено-

товые штаны» за то, что он когда-то явился в мохнатых брюках. Брюк этих он и не носил уж после того много лет, но прозвание так и осталось за ним; другого почему-то окрестили «утопленником», третьего — «подрядчиком», пятого — «кузнецом» и т. п.

Василия же Яковлевича звали капитаном, потому что он на самом деле был капитан в отставке — Василий Яковлевич Казаков.

В юности, не кончив курса гимназии, он поступил в пехотный полк, в юнкера. Началась разгульная казарменная жизнь, с ее ленью, с ее монотонным шаганьем «справа по одному», с ее «нап-пле-чо̀!» и «шай, нак-раул!» и пьянством при каждом удобном случае. А на пьянство его отец, почтовый чиновник какого-то уездного городка, присылал рублей по десяти в месяц, а в праздники, получивши мзду с обывателей, и по четвертному билету.

«Юнкерация» жила в казармах, на отдельных нарах, в ящиках которых, предназначенных для белья и солдатских вещей, можно было найти пустые полуштофы, да и то при благосостоянии юнкерских карманов, а в минуту безденежья «посуда» пропивалась, равно как и трехфунтовый хлебный паек за месяц вперед, и юнкера хлебали щи с «ушком» вместо хлеба. Батальонный остряк, унтер-офицер Орлякин, обедая со своим взводом, бывало, откладывал свой хлеб, левой рукой брался за ухо, а правой держал ложку и, хлебая щи, говорил: «По-юнкерски, с ушком».

У юнкеров была одна заветная вещь, никогда не пропивавшаяся: это гитара Казакова, великого виртуоза по этой части.

Под звуки ее юнкера пели хором песни и плясали в минуту разгула. Гитара сделала Казакова первым биллиардным игроком.

Переход от первого инструмента ко второму совершился случайно. Казаков прославился игрой на гитаре по всему городу, а любители, купцы и чиновники, таскали его на вечеринки и угощали в трактирах.

Казаков стал бывать в биллиардных, шутя сыграл партию с кем-то из приятелей, а через год уже обыгрывал всех маркеров в городе.

Дорого, однако, Казакову стоило выучиться. Много раз приходилось обедать с «ушком» вместо хлеба, еще больше сидеть в темном корпусе под арестом за опоздание на ученье...

Его произвели в офицеры, дали роту, но он не оставлял игры.

Слава о нем, как о первом игроке, достигла столиц, а вскоре он и сам сделался профессиональным игроком.

Опоздав на какой-то важный смотр, где присутствие его было необходимо, Казаков, по предложению высшего начальства, до которого стали доходить слухи о нем как о биллиардном шулере, должен был выйти в отставку.

Ему некуда было больше идти, как в биллиардную. И пошла жизнь игрока.

То в кармане сотни рублей, то на другой день капитан пьет чай у маркеров и раздобывается «трешницей».

Когда своих денег не было подолгу, находились антрепренеры, водившие Казакова по биллиардным. Они давали денег на крупную, верную игру, брали из выигрыша себе львиную долю и давали капитану гроши «на харчи».

Он играл в клубах, был принят в порядочном обществе, одевался у лучших портных, жил в хорошем отеле и... вел тесную дружбу с маркерами и шулерами. Они сводили ему игру.

Шли годы. Слава его, как игрока, росла, известность его, как порядочного человека, падала.

Из клубных биллиардных он перебрался в лучшие трактиры; потом стал завсегдатаем трактиров средней руки.

И здесь узнали его. Приходилось сводить игру непосильную, себе в убыток.

Капитан после случайного крупного выигрыша бежал из столицы на юг и начал гастролировать по биллиардным. Лет в семь он объездил всю Россию и, наконец, снова появился в столице.

Но уж не тот, что прежде: состарился.

От прежнего джентльмена-капитана остались гордая,

военная осанка, седая роскошная шевелюра и сильно поношенный, но прекрасно сидевший черный сюртук.

Вот каким он явился в биллиардную бульварного трактира.

Играли на деньги два известных столичных игрока: старик, подслеповатый, лысый, и молодой маркер из соседнего трактира.

Маркер проигрывал и горячился, старик хладнокровно выигрывал партию за партией и с каждым ударом жаловался на свою старость и немощь.

— Ничего, голубушки мои, господа почтенные, не вижу, ста-арость пришла! — вздыхает старик и с треском «делает» трудный шар.

— Старый черт, кроме лузы ничего не видит! — сердится партнер.

— Подрезаю красненького.

— Тридцать пять, и очень досадно! — считает маркер.

— В угол.

— Не было. Никого играют, тридцать пять дожидают!

— Батюшки мои светы! Кого это я вижу! Сколько лет, сколько зим, голубушка Василий Яковлевич! Какими судьбами-с?

— На твою игру, Прохорыч, посмотреть приехал; из Нижнего теперь...

Прохорыч, живо кончив партию, бросил кий, и два старика, «собратья по оружию», жарко обнялись, а потом уселись за чай.

— Где побывал, Василий Яковлевич?

— Дурно кончил. Теперь из Нижнего, в больнице лежал месяца три, правая рука сломана, сам развинтился... Все болит, Прохорыч!

Прохорыч вздохнул и погладил бороду.

— Руку-то где повредил? — спросил он, помолчавши.

— В Нижнем, с татарином играл. Прикинулся, подлец, неумелым. Деньжат у меня а-ни-ни. Думал — наверное выиграю, как и всегда, а тут вышло иначе. Три красных стало за мной, да за партии четыре с полтиной. Татарин положил кий: дошлите, говорит, деньги! Так и так, говорю, повремените: я, мол, такой-то. Назвал себя.

А татарин-то себя назвал: а я, говорит, Садык... И руки у меня опустились...

— Садык, Садычка? Ну, на черта, Василий Яковлевич, налетел.

— Да, Садык. Деньги, кричит, мне подавай. Маркер за партии требует. Я было и наутек, да нет...

— Ну, что дальше, что?

— Избили, Прохорыч, да в окно выкинули... Со второго этажа в окно, на мощеный двор... Руку сломали... И надо же было!.. Н-да. Полежал я в больнице, вышел — вот один этот сюртучок на мне да узелочек с бельем. Собрали кое-что маркеры в Нижнем, отправили по железной дороге, билет купили. Дорогой же — другая беда, указ об отставке потерял — и теперь на бродяжном положении.

Капитан, за несколько минут перед тем гордо державший по военной привычке свою голову и стан, как-то осунулся.

— Ну, а игра, Василий Яковлевич, все та же?

Капитан встрепенулся.

— Не знаю; из больницы вышел, еще не пробовал. Недели две только руку с перевязки снял.

— Поди, похуже стала.

— А может, отстоялась. Когда я долго не играю — лучше игра. Думаю свести.

— Своди, что же — на красненькую... — Прохорыч незаметно сунул под блюдечко десятирублевку.

— Спасибо, старый друг, спасибо, — выручаешь в тяжкую минуту.

— Мы старую хлеб-соль не забываем!

Капитан взял кий в руки.

— За капитана держанье, держу за капитана красный билет! — послышалось во всех углах. Посыпались на столы кредитки...

Капитан гордо выпрямился.

Его партнер, известный игрок Свистун, молодой мальчик, начал партию. Ловко, «тонким зефиром», его шар скользнул по боку пирамидки и вернулся назад.

Капитан оперся на борт, красиво согнул свой тонкий, стройный стан, долго целился и необычайно сильным

ударом «в лоб» первого шара пирамиды разбил все шары, а своего красного вернул на прежнее место. Удар был поразительный.

— Браво, капитан, браво! — аплодировала, восхищаясь, биллиардная.

Но капитану было не до того. Он схватился левой рукой за правую и бледный, как мертвец, со стоном опустился на стул.

Свистун сделал удар — и не отыгрался. Его шар встал посередине биллиарда, как раз под всей партией. Стоило положить одного шара и выиграть всё.

А капитан, удививший минуту тому назад биллиардную своим былым знаменитым «капитанским» ударом, продолжал стонать, сидя на стуле.

Вся биллиардная столпилась около него.

— Рука моя... рука... Умираю... Она сломана! — стонал капитан.

Ему дали воды. Он немного оправился и помутившимися глазами смотрел на окружающих.

— Играйте, играйте, ваш удар! — требовал Свистун и державшие за него.

— Пусть другой играет, он не может, видите, болен! — говорили противники.

— А болен, не берись! Мы тоже деньги ставили.

— Послушай, Свистун, я стою подо всей партией, разойдемся! — посмотрев на биллиард, промолвил капитан.

— Играйте-с!

Капитан, бледный, с туманным взором, закусив от боли губу, положил правую руку за борт сюртука, встал, взял в левую руку кий и промахнулся.

Свистун с удара сделал партию и получил деньги.

Капитан без чувств лежал на стуле и стонал.

Кто-то, уплачивая проигрыш, обругал его «старым вором, бродягой».

Его выгнали, больного, измученного, из биллиардной и отобрали у него последние деньги. На улице бедняка подняли дворники и отправили в приемный покой. Прошло несколько месяцев; о капитане никто ничего не слыхал, и его почти забыли. Прошло еще около года. До биллиардной стали достигать слухи о капитане, буд-

то он живет где-то в ночлежном доме и питается милостыней.

Это было верно: капитан действительно жил в ночлежном приюте, а по утрам становился на паперть вместе с нищими, между которыми он известен за «безрукого барина». По вечерам его видали сидящим в билліардных грязных трактиров.

Он поседел, осунулся, стан его согнулся, а жалкие лохмотья и ампутированная рука сделали его совсем непохожим на былого щеголя-капитана.

НЕУДАЧНИК

— Вы, батенька мой, зачем пожаловали? — Этими словами в прихожей классической гимназии остановил инспектор Тыква входившего гимназиста Корпелкина.

— Как, куда? В классы, Евдоким Леонидович!

— Зачем это?

— Как зачем? На переэкзаменовку!

— Поздно-с! Вчера совет вас исключил, переэкзаменовка вам не разрешена, можете завтра прийти за получением бумаг...

— Как? Почему не разрешена переэкзаменовка? Ведь у меня только одна двойка и то из латинского... Отчего же Куропаткина и Субботина вчера переэкзаменовали? У них по две двойки...

— Не знаю-с, завтра получите бумаги.

Корпелкин вышел. Слезы и злость душили его.

— Господи, да что же я за несчастный такой? Из-за пустой двойки... И почему это других допустили до переэкзаменовки, а меня нет? А я имел больше права, у меня одна двойка... да за что же, за что!

На другой день ему были выданы из гимназии бумаги.

* * *

Прошло около пяти лет после этого случая. Корпелкин, сын бедных родителей, жил дома, перебиваясь кой-как дешевыми уроками, которые давали ему рублей около восьми в месяц. Первые два года, впрочем, он горя-

чо принялся готовиться в университет, хотел держать экзамен, причем сильно рассчитывал на обещанный урок у одного купца, чтобы добыть необходимые на поездку деньги, но урок этот перебил его бывший товарищ по гимназии Субботин.

Прошло еще три года после этого. Университет забылся, о продолжении ученья и помину нет — жить стало нечем, пришлось искать места. Эти поиски продолжались около года, во время которого предлагал дальний родственник, исправник, поступить в урядники, но молодой человек, претендовавший поступить в университет, отказался, за что, впрочем, от родителей получил нагоняй.

Наконец, по хлопотам одного знакомого секретаря управления железной дороги, приятеля его отца, ему было обещано место помощника счетовода при управлении.

В назначенный день в передней управления сидели двое: маленький, невзрачный молодой человек, с птичьей запуганной физиономией, и рослый, бородатый мужчина, с апломбом говоривший, с апломбом двигавшийся.

— Господа, пожалуйте к управляющему! — заявил им чиновник, и через пять минут оба стояли перед управляющим дорогою.

— Господин Ловитвин, — обратился он к бородатому, — я вас назначаю помощником счетовода, а вас, господин Корпелкин, в статистику, на тридцать пять рублей в месяц. Прошу служить аккуратно, быть исправным!

— Господин управляющий, мне обещали...

Но управляющий взглянул в лицо Корпелкина, както презрительно улыбнулся вместо ответа, повернулся спиной и вышел...

* * *

Богато и весело справлял свои именины секретарь управления Станислав Францевич Пулькевский. Его просторная чистенькая квартирка была переполнена гостями. Две комнаты были заняты карточными столами, на которых «винтили» и «стучали» чиновники посолиднее, а молодежь отплясывала в зале. Два железнодорожных сторожа обносили барышень фруктами и чаем.

Станислав Францевич не жалел угощенья... Да и жалеть-то нельзя было: на вечерах этих он лицом показывал свой товар, трех дочерей: Клементину, Марию и Цецилию. Старшей было двадцать два года, младшей — восемнадцать лет. Веселились все, танцевали... Только в углу, как «мрачный демон, дух изгнанья», сидел Корпелкин, не отрывая глаз от Клементины, в которую был влюблен и уже считался женихом ее...

А смущал его армейский подпоручик, не отходивший от Климочки, как мысленно называл ее Корпелкин, и танцевавший с ней все танцы. Она тоже умильно нежничала с военным и только раз, да и то как-то презрительно, как показалось Корпелкину, взглянула в тот угол, где сидел страдалец.

— Клементина Станиславовна! Позвольте вас просить на тур вальса! — как-то робко заявил ей, наконец, Корпелкин, улучив минуту, когда она, усталая после кадрили, сидела в углу и обмахивалась батистовым платком.

— Видите, я...— начала было она, но подлетевший подпоручик выручил ее.

— Клементина Станиславовна, позвольте...

— Да, с удовольствием,— не дала договорить Климочка, и новая пара закружилась по зале.

Ни слова более не сказал Корпелкин; пробравшись потихоньку в переднюю, он оделся и ушел домой.

* * *

— Вася, слышал? Станислав Францевич дочь вчера просватал! — на другой день в конторе заявил ему товарищ Колушкин.

— Вчера?!

— Да, и шампанское пили! Клементину Станиславовну, за офицера, что с ней танцевал.

— Как? Что? За этого офицера?.. Ты не шутишь? Нет?..

— Да воть хоть самого спроси. Что за шутки, и свадьба в ноябре назначена...

— Свадьба?.. Нет, этого не может быть... что ты... нет!..

— Честное слово! Мы приглашены на свадьбу, уж невеста меня и в шафера выбрала...

Прошедший мимо управляющий прекратил дальнейший разговор.

* * *

— Боже мой, боже мой!.. Что же это такое? Что я за несчастный такой?.. Ничего-то, ничего в жизни не удается мне!.. Наконец она!.. Она, по-видимому интересовавшаяся мною, променяла меня на какого-то офицерика... А ведь вместе росли... Еще в гимназии мечтали о нашем будущем счастии... И отец, определяя меня на службу к себе, намекал на это... И вдруг офицер этот... А чем я, спрашивается, хуже его? А вот нет, не везет... И наградой обошли... Когда директор назначал награды, призвал нас, посмотрел сначала на Ловитвина, потом на меня — и назначил ему сто рублей, а мне тридцать... Отчего это? Так вот, не понравился что-то, а отчего — сам не придумаю... Отчего же в самом деле? И всегда ведь так... Разве я меньше стою, чем другие? Работаю меньше? — вслух рассуждал Корпелкин, шлепая по грязи... Он то и дело оступался и попадал в лужи, но не замечал ничего и рассуждал сам с собою до тех пор, пока не наткнулся на церковную ограду. Церковь была освещена ярко. У подъезда стояли богатые кареты... Сквозь раскрытые форточки окон неслось «Исаия ликуй».

— Пойти хоть на чужое счастье посмотреть, если свое не удается.

В церкви была толпа, давка.

— Куда лезешь,— остановил его околоточный.

— В церковь! — ответил он.

— Говорят, нельзя...— И его кто-то вытолкнул из церкви...

* * *

«Приидите все несчастные и обрящете здесь покой души», — написал какой-то местный юморист-завсегдатай на почерневших дверях погребка красным карандашом. Надпись эта существует, полустершаяся, неразборчивая, давно, ее все обитатели погребка знают наизусть.

Погребок этот замечательный. Он стоит в укромном уголке бойкой, оживленной ночью и днем разгульной улицы, и в него не заглядывает всевидящее око полиции.

В погребке особая жизнь, гармонирующая с обстановкой.

Прямо от входа, в первой комнате, стоит буфет, сзади которого на полках красуется коллекция вин и водок. На буфете горой поднялся бочонок и стоят на подносе стаканчики, так как погребок, вопреки существующим законам, по неисповедимой воле судеб, доказывающей, что нет правил без исключений, торгует круглые сутки распивочно и навынос... Снаружи все прилично, сравнительно чисто. За буфетом стоит солидный, со степенной бородой буфетчик, бесстрастно, никогда не изменяя своей холодной физиономии, смотрящий на окружающее.

Двери то и дело отворяются. Вбежит извозчик, распояшется, достанет пятак и, не говоря ни слова, хлопнет его об стойку. Буфетчик ловким движением руки сгребет этот пятак в ящик, нальет стакан и наклонится за прилавок. В руках его появляется полупудовая, черная, как сапог, печенка, кусочек которой он стукнет о прилавок и пододвинет его к извозчику. За извозчиком вбежит весь согнувшийся сапожник с колодками под мышкой.

— Опохмелите, Афанасий Афанасьевич! — попросит он и загремит колодками по прилавку.

Опять безмолвно наливается стакан водки, режется кусок печенки, и сапожные колодки исчезают за буфет...

И так с утра до утра...

Неизменным завсегдатаем погребка сделался и Корпелкин. С утра он сидел в задней темной комнате, известной под именем «клоповника», вместе с десятком оборванцев, голодных, опухших от пьянства, грязных...

Было утро. Один за другим оборванцы наполняли «клоповник».

Они проходили поодиночке мимо буфетчика, униженно кланялись, глядя в его бесстрастное, холодное лицо, и садились в «клоповник». Затем шли разговоры, где бы добыть на еду, на водку.

— Петька, давай перекатим твою поддевку, может

бумажку дадут! — предлагал босой, в одной рубахе, оборванец своему соседу в кафтане.

— Отчепись; по тваму, што ли, дойти?.. Вылицевали уж меня, нечего сказать... — протестует Петька.

— Сейчас водочки бы, Петя... Стюденю потом на пятак... А стюдень хороший, свежий... С хрящом, знаешь...

— Ну тебя!..

— И хренку дадут... Хорошо...

— Убирайся... Ни за что... К крестной в воскресенье пойду... Она жалованье получит...

— Да мы найдем надеть-то... А сейчас, понимаешь, стюдню. По баночке, и стюдню...

— Петька, а ты не ломайся, это не по-товарицки...— вмешался третий оборванец.

— Стюдень-то све-жай...

А Корпелкин сидел в углу и связывал веревкой развалившийся опорок, подобрав под себя босую ногу...

Он был погружен в свое занятие и не обращал внимания на окружающее.

— Ишь ты, проклятый, как его угораздило лопнуть-то... Н-да!..

Он связал опорок и посмотрел на него.

— Ладно, потерпит,— решил он.

«А у Климочки тогда были розовые ботинки... Каблучок с выемкой... Тоже розовый...»— вдруг пришло на ум Корпелкину. Он зажмурил глаза...

«В каких же она ботинках венчалась? Должно быть, в белых... Всегда в белых венчаются. Должно быть...»

Вспомнил он, как его не пустили в церковь, как он пошел в трактир, напился пьян, неделю без просыпу пил, как его выгнали со службы за пьянство и как он, спустив с себя приличное платье, стал завсегдатаем погребка... Вот уж с лишком год, как он день сидит в нем, а на ночь выходит на угол улицы и протягивает руку за пятаком на ночлег, если не получает его от загулявшего в погребке гостя или если товарищи по «клоповнику» не раздобудутся деньгами.

Старые товарищи раза три одевали его с ног до головы, но он возвращался в погребок, пропивал все и оставался, по местному выражению, «в сменке до седьмого колена», то есть в опорках и рваной рубахе... Раз

ему дали занятие в конторе у инженера. Он проработал месяц, получил десять рублей. Его неудержимо влекло в погребок похвастаться перед товарищами по «клоповнику», что он на месте, хорошо одет и получает жалованье.

— А, барин, ишь ты! Поздравляем! — встретили его оборванцы, даже сам буфетчик руку подал и взглянул как-то странно на его костюм, будто оценивая его. Потом Корпелкин угостил всех на радостях водкой, а сам долго не хотел пить больше одной рюмки, но не вытерпел. К полуночи все его платье очутилось за буфетом, а он сам, размахивая руками, кричал, сидя в углу:

— Н-ну их, подлецов... Кланяться за свой труд... Не хочу, подлецы! Эксплуататоры! Десять рублей в месяц... Ну, в трущобе я... В трущобе... А вы, франты, не в трущобе... а? Да черти вас возьми... Холуи... Я здесь зато сам по себе... Я никого не боюсь... Я голоден — меня накормят... Опохмелят... У меня есть — я накормлю... Вот это по-товарищески... А вы... Тьфу! Вы только едите друг друга... Ради прибавки жалованья, ради заслуг каких-то продаете других, топите их... как меня утопили... За что меня? А? За что?! — кричал Корпелкин, валясь на пол...

Пьяный, он всегда ругался и кричал в том же духе, а трезвый ни с кем не говорил ни слова, а только и думал, как бы добыть водки, чтоб напиться и ругаться.

— Вчера бы гривенник дали, а теперь и пятака не дадут! — посмотрел он опять на опорки.

Потом опять мелькнули в его воображении стройные ножки в розовых ботинках. Он посмотрел на единственный в «клоповнике» стол. Петька сидел в одной рубахе и наливал в стакан из штофа водку. Перед ним стоял студень с хреном.

— Эй, барин, подходи, твой черед, мы уж опохмелились! — крикнул он пьяным голосом Корпелкину.

Корпелкин подошел и взял стакан.

— И стюдень хароша-ай! — причмокивал оборванец, тыча грязной рукой в жидкую, бурую массу...

ПОТЕРЯВШИЙ ПОЧВУ

Подпоручик Иванов вышел в отставку и с Кавказа, где квартировал его полк, приехал в один из городов средней России. Еще будучи юнкером, он получал от своей единственной родственницы, старушки тетки, жившей в этом городе, небольшие суммы денег и теперь, бросив службу «по служебным недоразумениям», приехал к тетке, чтобы пока, до новой должности, пережить трудное время. Дорóгой Иванов скромно мечтал о какой-нибудь должности на железной дороге или в конторе, о чистенькой комнатке, о женитьбе.

Но предположения его не сбылись. Тетка умерла несколько лет тому назад, и он, совершенно одинокий, очутился в чужом городе без средств, без знания жизни.

За короткое время розысков Иванов потратил несколько рублей, бывших при нем, и распродал остатки гардероба; у него осталось одно военное, сильно поношенное пальто и то без погон, которые он не имел права носить в отставке и продал барышнику «на выжигу». Дошло до того, что хозяин гостиницы, где остановился Иванов, без церемонии выгнал его за неплатеж нескольких рублей, и он вышел на улицу полуголодный, оскорбленный... За неделю, даже накануне, он и не мечтал о таком положении, в каком очутился.

Он начал заходить из магазина в магазин, из конторы в контору, просил занятий, рассказывал обстоятельства,

заставившие его искать работы, и всюду получал отказ то в притворно вежливой, то в грубой форме.

Один купец, повертев в руках приказ об его отставке, предложил поступить в швейцары к подъезду.

— Двери будешь отворять, калоши, платье снимать... жалованья пять, да чайных с красненькую набежит, а к празднику и с четвертную, только услужить смоги!

Иванов счел это предложение за глумление и ушел, сопровождаемый насмешками.

Заходил он на железную дорогу, в кондуктора просился, но здесь ему прямо сказали, что без особой протекции высшего начальства мест не дают никому.

Последняя надежда лопнула, и он бесцельно бродил по улицам, шлепая по лужам, образовавшимся за два дня оттепели...

— Куда же идти? — поминутно задавал он себе вопрос и не находил ответа.

Мысли, одна нелепее другой, несбыточные надежды мелькали в его голове:

«Что бы я нашел сейчас на улице тысячу рублей?.. Оделся бы щеголем, квартирку бы нанял... Кабинет, чтобы выходил окнами на полдень... Шторы сделаю, как у командира полка, суровые, с синей отделкой... Непременно с синей...» Потом мысли его вдруг перескакивают: он в бою, бросается со взводом на дымящийся редут, захватывает неприятельское знамя...

Его поздравляет отрядный командир; целует, навешивает ему с себя на грудь беленький крестик... Он уже ощущает крестик у себя на груди...

— Эй, берегись! — раздается голос извозчика и разрушает сладкие мечты.

Иванов вдруг огляделся и почему-то устыдился своего военного, форменного пальто,— того самого пальто, надев которое два года тому назад в первый раз, при производстве, он воображал себя на верху счастья и с презрением оглядывал всех «штафирок».

А теперь ему самому казалось, что все на него смотрят, как на не годного никуда человека, потерявшего почву бездомника.

Он при каждом случайно остановившемся на нем взгляде прохожего как-то терялся и отворачивался.

Оборванный рабочий, несший мешок щепок, своим взглядом также сконфузил Иванова.

«Отчего это этот оборванец идет гордо, не стыдится, а мне стыдно своего пальто, еще очень приличного?»— задавал себе вопрос Иванов.

«Оттого, что рабочий, если его спросят, чем он занимается, ответит: «Работаю», а если его спросят, где он живет, он назовет свой угол... Вот отчего...» — думал Иванов и шел вперед без цели...

Он еще больше ослаб, утратил последнюю энергию. Зимняя оттепель способствовала этому, а голодный желудок усиливал нравственное страдание. Он в сотый раз ощупывал свои пустые карманы, лазил за подкладку пальто, мечтая разыскать завалившуюся, может быть, монету. Наконец, снял ремень, которым был подпоясан, и продал его за семь копеек в съестной лавке.

Он вспомнил, что при въезде в город видел ряд постоялых дворов. Пятак он оставил в кармане для уплаты за ночлег, а за две копейки купил мерзлого хлеба и, спрятав в карман, ломал по кусочкам и ел из горсти. Это подкрепило силы. Проходя мимо часового магазина, он взглянул в окно. Большие стенные часы показывали семь. Было еще рано идти на постоялый двор, и Иванов зашел в биллиардную. Комната была полна народом. Шла крупная интересная игра. Публика внимательно следила за каждым ударом двух знаменитых игроков.

Иванов, игравший когда-то сам, увлекся, и, сидя около печки, пригрелся и забыл обо всем...

Однако игра кончилась. Кукушка выскочила из часов и прохрипела одиннадцать раз.

Боясь опоздать на ночлег, Иванов с трудом расстался с теплым углом светлой, веселой комнаты и вышел на улицу.

Подмерзло. Крупными хлопьями, напоминавшими куски ваты, валил снег, густым пологом спускаясь на улицу и ослепляя глаза.

Иванов долго шел, спрашивал прохожих и, наконец, добрался, окоченев от холода, до окраины. Ворота одного из постоялых дворов были не заперты. Он вошел в кухню.

— Переночевать бы у вас, — обратился он к двор-

нику, аппетитно евшему жирные щи с крошеной солониной.

— С лошадью? — спросил дворник.

— У меня лошади нет... я один...

— Один? Без лошадей не пускаем... Мы уж учены... обкрадывали...

— Рядом ступай, там и жуликов пускают! — послышался голос с полатей.

И еще новый голос энергично прибавил:

— Гони его к лешему, Федот, по шее его!..

Иванов вышел.

Из теплой избы, с запахом горячих щей, он опять очутился на улице.

Он постоял на улице, посмотрел, цел ли пятак в кармане, подошел к соседним воротам и долго прислушивался. Было тихо, только слышалось фырканье лошадей и изредка удар копыт о полозья саней.

Он начал стучаться и стучал долго.

— Кто тут? — отозвались наконец со двора.

— Пустите переночевать!

— Двор полон, лошади негде поставить!

Дверь отворилась. На пороге стоял дворник.

— Я заплачу... Вот пять копеек...

— Уходи, пока ребра целы, жулье... Ишь, ворище, барабанит, будто домой пришел!

Дверь с треском захлопнулась.

Измученный, голодный, оскорбленный, Иванов скорее упал, чем сел на занесенную снегом лавочку у ворот. В голове шумело, ноги коченели, руки не попадали в рукава... Он сидел. Глаза невольно начали слипаться... Иванов сознавал, что ему надо идти, но не в силах был подняться... Он понемногу замирал...

Удар часового колокола вывел его на момент из забытья... Бьют часы... Он считает: один... два... три... четыре... пять...

Звуки все учащаются... Он считает двенадцать, тринадцать... четырнадцать... двадцать... Все чаще и чаще бьют удары колокола... Пожарный набат... Зарево перед ним... Вот он около пожара... Пылает трехэтажный дом... Пламя длинными языками вырывается из окон третьего этажа...

Вдруг в одном окне показывается стройная женская фигура в голубом платье... Она умоляет о помощи... ломает в отчаянии руки... К окну подставлена лестница, но никто из пожарных не осмеливается лезть в огонь. А фигура в окне продолжает умолять о помощи... Ее роскошную пепельную косу уже охватывает пламенем... Тогда он, Иванов, бросается в огонь и спасает. Он чувствует приятную тяжесть на своем плече, слышит аплодисменты, одобрения толпы... Руки его обожжены, концы пальцев ноют, но он чувствует себя в блаженном состоянии... Вот он вместе со спасенной красавицей уже в комнате. Самовар стоит на столе. Сквозь голубой полусвет он видит ее, роскошную блондинку; признательно, с любовью, смотрит она ему в глаза... Ему бесконечно хорошо, только ноют обожженные пальцы рук...

Он засыпает на мягком голубом диване...

Вдруг странную, непонятную боль ощущает он в голове, во всем теле... Он пробует открыть глаза, встать, но не может пошевелиться... Он чувствует только, что кто-то обхватил железными ладонями его голову и безжалостно вертит уши... Боль невыносимая...

Иванов старается спросить, что с ним делают, но с языка срывается стон. В ответ слышны слова: «Жив еще, три шибче!»

И опять началась та же ужасная пытка...

Наконец, он открыл глаза. Перед ним стояли люди в шубах и солдатских шинелях. Один тер ему обеими руками уши, а двое других оттирали снегом руки, и еще кто-то держал перед лицом фонарь...

— Вали на извозчика, да вези пьянчугу в больницу, вишь, весь обморозился!.. — проговорил оттиравший уши, и Иванова взвалили в извозчичьи сани...

В городе в том же году появился молодой нищий на костылях, без пальцев на обеих руках. Он не просил у прохожих, а только на несколько минут останавливался на темных перекрестках и, получив несколько копеек, уходил в свой угол.

Трущоба приобрела себе еще одну жертву...

В ТУННЕЛЕ АРТЕЗИАНСКОГО КОЛОДЦА

Мой проводник зажег свечу.

Перед нами зияло черное отверстие подземной штольни, обложенное досками. Над ним спускался канат с крючком. Кругом весь пол был усыпан влажными осколками и грязью, вытащенной из земли. У самого края ямы стоял на рельсах пустой вагончик, облепленный той же грязью. Слева ямы спускалась деревянная, коленчатая лестница с перилами и мало-помалу уходила в мрак подземелья. С каждым шагом вниз пламя свечи становилось все ярче и ярче и вырисовывало на бревенчатой стене силуэты. Дневной свет не без борьбы уступал свое место слабому пламени свечки. Через минуту кругом стало темно, как в заколоченном гробу.

С каждым шагом, с каждой ступенькой вниз меня обдавало все более и более холодной, до кости пронизывающей сыростью. А тихо было, как в могиле. Только ручей под ногами шумел, да вторили ему десятки ручейков, выбивавшихся из каменной стены. Передо мною был низкий и, казалось, бесконечный темный коридор. Я взглянул вверх. Над головой виднелось узенькое окошечко синеватого дневного света — это было отверстие шахты, через которое мы спустились. Узкая лестница уходила вверх какими-то странно освещенными зигзагами и серебрилась на самом верхнем колене.

Через секунду открылось четырехугольное отверстие

горизонтального прохода, проложенного динамитом. Это — штольня. Вход напоминал мрачное отверстие египетской пирамиды с резко очерченными прямолинейными контурами; впереди был мрак, подземный мрак, свойственный пещерам. Самое черное сукно все-таки носит на себе следы дневного света. А здесь было в полном смысле отсутствие луча, полнейший нуль солнечного света.

Мерцавшая и почти ежеминутно тухнувшая в руках у меня свечка слабо озаряла сырые, каменные с деревянными рамами стены, с которых капала мелкими струйками вода. Вдруг что-то загремело впереди, и в темной дали обрисовалась черная масса, двигавшаяся навстречу. Это был вагончик. Он с грохотом прокатился мимо нас и замолк. Опять та же мертвая тишь. Стало жутко.

Бревенчатые стены штольни и потолок стали теряться, контуры стушевались, и мы оказались снова в темноте. Мне показалось, что свеча моего проводника потухла, — но я ошибался. Он обернулся ко мне, и я увидел крохотное пламя, лениво обвивавшее фитиль. Справа и слева на пространстве немного более двух протянутых рук частым палисадом стояли бревна, подпиравшие верхние балки потолка. Между ними сквозили острые камни стенки туннеля. Они были покрыты какой-то липкой слизью.

Под ногами журчала вода.

— Вот градусник. Показывает всегда семь градусов, зимой и летом. Еще зимой теплее бывает... Босяки раза два приходили, ночевать просились, зимою-то... А ведь нынче у нас июль...

Вдруг свечка погасла.

Впереди, верстах как будто в двух, горела какая-то тусклая, красно-желтая звезда, но горела без лучей, резко очерченным овалом. Через десять шагов мы уже были около нее; двухверстное расстояние оказалось оптическим обманом. Это была масляная лампочка.

Мы миновали лампу. Вдали передо мной опять такой же точкой заалелся огонек. Это была другая лампа. Начали слышаться впереди нас глухие удары, которые вдруг сменились страшным, раздавшимся над головой

грохотом, будто каменный свод готов был рухнуть: это над нами по мостовой проехала пролетка.

Дышать было нечем. Воздуха было мало. Я знал, что его качают особенным аппаратом (Рутта) на мостовой Никсло-Воробинского переулка, но не ведал, много ли еще идти вперед для того, чтобы дойти до устья благодетельной трубы.

Вдали, откуда-то из преисподней, послышались неясные, глухие голоса. Они звучали так, как будто люди говорили, плотно зажавши рот руками. Среди нас отдавалось эхо этих голосов. На душе стало как-то веселее. Почувствовалось, что мы не одни в этом подземелье, что есть еще живые существа, еще люди. Раздавались мерные, глухие удары.

Блеснули еще две звездочки, но еще тусклее. Значит, впереди еще меньше кислорода, дышать будет еще труднее. Наконец, как в тумане, показалась желтая стена, около которой стояли и копошились темные человеческие фигуры.

Это были рабочие.

Почва под ногами менялась, то выступала из воды, то снова погружалась в нее. Местами бревна расступались и открывали зиявшее отверстие — лагунку, в которую прятались рабочие при взрыве динамитом твердой породы. Это западня.

Не успел я заглянуть в нее, как до меня донеслось:

— Ставь патроны. Эй, кто там, ступай в западню, сейчас подпалим... [1]

— Вот сюда, — торопливо толкнул меня в западню мой проводник.

Рабочие зажгли фитили и побежали к западне, тяжело хлопая по воде. Мы все плотно прижались к стене, а один стал закрывать отверстие деревянной ставней. До нас доносился сухой треск горящих фитилей.

Я из любопытства немного отодвинул ставню и просунул голову, но рабочий быстро отодвинул меня назад.

— Куда суешься — убьет! Во какие сахары полетят.

---

[1] Это командовал производитель взрывов Павел Львович Николаенко, все взрывы производились только им одним, не отлучавшимся из шахты, когда там были работы. Это был подземный житель.

Не успел он вымолвить, как раздался страшный треск, за ним другой, потом третий, затем оглушительный грохот каких-то сталкивавшихся масс,—и мимо нас пролетела целая груда осколков и глыб.

Динамит сделал свое дело.

Сильным ударом камня вышибло нашу ставню и отбросило ее на середину туннеля.

Мы вышли из западни. И без того душный воздух был теперь наполнен густыми клубами динамитных паров и пылью. Лампы погасли. Мы очутились в полном мраке. Выйдя из западни, мы ощутили только одно — глубокую, густую темь. Эта темь была так густа, что осенняя ночь в сравнении с ней казалась сумерками. Дышалось тяжело. Ощупью, по колено в воде, стараясь не сбиться с деревянной настилки, мы пошли к камере. Я попробовал зажечь спичку, но она погасла. Пришлось ожидать, пока вентилятор очистит воздух.

Мина была взорвана.

Человеческий гений и труд завоевали еще один шаг...

* * *

Таково было дело в июле.

Теперь, в декабре, подземная галерея представляет совсем иной вид. Работы окончены, и из-под земли широким столбом из железной трубы льется чистая, прозрачная, как кристалл, вода и по желобам стекает в Яузу. Количество воды не только оправдало, но даже превзошло ожидания: из недр земли ежедневно вытекает на божий свет двести шестьдесят тысяч ведер.

Темная галерея утратила свой прежний мрачный вид. Запах динамита и копоти едва заметен. Стены стали менее скользкими и слизистыми, рельсы сняты и заменены ровным, гладким полом, занимающим большую половину штольни. Другая половина занята желобами. Нижний желоб, высеченный в камне, отводит артезианскую и грунтовую воду в реку, а верхний, меньший, с избытком снабжает чистой водою резервуар, помещенный у начала штольни. В резервуар опущен насос, выходящий на поверхность земли и предоставленный в распоряжение публики.

Самое место выхода воды из труб при известном освещении представляет прелестную картину: вода поднимается прозрачным столбом и концентрическим водопадом падает в ящик, выложенный свинцом. Вторая труба артезианского колодца, идущая вверх, служит вентилятором.

Тридцатимесячная работа гномов кончилась и увенчалась полным успехом.

Неведомо для мира копались они под землей на тринадцатисаженной глубине, редко видя солнечный свет, редко дыша чистым воздухом. Удары их молотков и грохот взрывов не были слышны на земле, и очень немногие знали об их работе.

Пройдут года, вода будет течь обильной струей, но вряд ли кому придет в голову желание узнать, каких трудов и усилий стоило добыть ее из камня...

Ничтожные гномы сделали, однако, свое дело.

1881. Москва

ПОЛЧАСА В КАТАКОМБАХ

Неглинка — это арестованная в подземной темнице река, когда-то катившая свои светлые струи среди дремучих лесов, а потом среди возникающей столицы в такую же чистую, но более широкую Москву-реку.

Но века шли, столица развивалась все более и более, и вместе с тем все более и более зеленели струи чистой Неглинки, сделавшейся мало-помалу такою же клоакой, какою теперь мы видим сестру Неглинки — Яузу.

Наконец, Неглинка из ключевой речки сделалась местом отброса всех нечистот столицы и уже заражала окружающий воздух. За то ее лишили этого воздуха и заключили в темницу. По руслу ее, на протяжении трех верст, от так называемой Самотеки до впадения в Москву-реку, настлали в два ряда деревянный пол, утвержденный на глубоко вбитых в дно сваях, и покрыли речку толстым каменным сводом.

С тех пор побежали почерневшие струи Неглинки, смешавшиеся с нечистотами, не видя света божьего, до самой реки.

И она стала мстить столице за свое заточение. Она, когда полили дожди, перестала принимать в себя воду, и обширные озера образовались на улицах, затопляя жилье бедняков — подвалы.

Пришлось принять против упорства Неглинки серьезные меры, и инженеры взялись за это дело.

В 1886 году, осенью, было приступлено к работам.

В это время мне вздумалось осмотреть эту реку-заточницу, эти ужасные подземные катакомбы.

Тогда только что приступили к работам по постройке канала.

Двое рабочих подняли на улице железную решетку колодца, в который стекают вода и нечистоты с улиц. Образовалось глубокое, четырехугольное, с каменными, покрытыми грязью стенами отверстие, настолько узкое, что с трудом в него можно было опуститься. Туда спустили длинную лестницу. Один из рабочих зажег бензиновую лампочку и, держа ее в одной руке, а другой придерживаясь за лестницу, начал спускаться.

Из отверстия валил зловонный пар. Рабочий спустился. Послышалось внизу глухое падение тяжелого тела в воду и затем голос, как из склепа:

— Что же, лезь, что ли!

Это относилось ко мне. Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал опускаться.

Локти и плечи задевали за стенки трубы. Руками приходилось крепко держаться за грязные ступени отвесно стоящей качающейся лестницы, поддерживаемой, впрочем, сверху рабочим, остававшимся наверху.

С каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее. Становилось жутко. Наконец, послышался подо мной шум воды и хлюпанье.

Я посмотрел наверх. Мне виден был только четырехугольник голубого, яркого неба и улыбающееся лицо рабочего, державшего лестницу.

Холодная, до кости пронизывающая сырость охватила меня. Наконец, я спустился на последнюю ступень и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя воды...

— Опускайся смелей; становись, неглубоко тутотка! — глухо, гробовым голосом сказал мне рабочий.

Я встал на дно, и холодная сырость воды, бившейся о мои колени, проникла сквозь сапоги.

— Лампочка погасла, нет ли спички, я подмочил свои, — опять из глубины тьмы заговорил голос.

Спичек у меня не оказалось, рабочий вновь полез на-

верх за ними. Я остался совершенно один в этом дальном склепе и прошел, по колено в бурлящей воде, шагов десять.

Остановился. Кругом меня был страшный подземный мрак, свойственный могилам. Мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие солнечного света. Я повертывал голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал. Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод — и нервно отдернул руку... Даже страшно стало.

Тихо было, только внизу журчала вода. Каждая секунда ожидания рабочего с огнем мне казалась вечностью. Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на гул водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы.

Это оказался сток нечистот и воды с улицы.

За шумом водопада я не слыхал, как ко мне подошел рабочий и ткнул меня в спину.

Я обернулся.

В руках его была лампочка в пять рожков, но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались красными звездочками, без лучей, ничего почти не освещавшими, не могшими побороть и фута этого непроницаемого мрака, мрака могилы.

Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопады стоков с улиц, гудевшие под ногами.

Вдруг страшный грохот, будто от рушащихся зданий, заставил меня вздрогнуть.

— Что это такое? Обрушилось что? — испуганным голосом спросил я.

— Это мы из-под бульвара под мостовую вышли, по площади телега проехала, ну и загремело.

Потом все чаще и чаще над моей головой гремели экипажи, но так гремели и так страшно отдавался этот гром в подземелье, что хотя я и знал безопасность этого грома, но все-таки становилось жутко.

С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью.

Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную, жидкую грязь, местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти прямо. В одном из таких заносов я наткнулся на что-то мягкое. При свете лампочки мне удалось рассмотреть до половины занесенный илом труп громадного дога. Он лежал сверх стока.

— И люди, полагать надо, здесь упокоены есть,— пояснил мне спутник.

— Люди?! — удивился я.

— Надо полагать; мало ли в грачевских притонах пропадает, и в Неглинку спускали... Опять воры, ежели полиция ловила, прятались сюда... А долго ли тут и погибнуть... Чуть обрушился, и готов.

Мы продолжали идти, боязливо ощупывая дно ногой, перед тем как сделать шаг.

Впереди нас показалось несколько красноватых, чуть видных звездочек, мерцавших где-то далеко, далеко.

— А далеко еще? С полверсты будет? — спросил я.

— Да вот и пришли.

Огонек, казавшийся мне за полверсты, был в пяти шагах от меня. Так непроницаем подземный мрак.

Далее идти было невозможно. Дно канала занесено чуть не на сажень разными обломками, тиной, вязкой грязью, и далее двигаться приходилось ползком. Притом я так устал дышать зловонием реки, что захотелось поскорее выйти из этой могилы на свет божий.

Я остановился у люка наверх и снова увидал четырехугольник голубого неба. Я пробыл в катакомбах полчаса, но эти полчаса показались мне вечностью. Я выбрался наверх и долго не мог надышаться чистым воздухом, долго не мог смотреть на свет...

Недавно я вновь сделал подземную прогулку и не мог узнать Неглинного канала: теперь это громадный трехверстный коридор, с оштукатуренным потолком и стенами и с выстланным тесаным камнем дном. Всюду можно идти во весь рост и, подняв руку, нельзя достать верхнего свода. От старого остался только тот же непроглядный мрак, зловоние и пронизывающий до костей могильный холод...

В БОЮ

(Рассказ нищего)

Тусклая висячая лампочка, пущенная в полсвета, слабо освещала внутренность коечной квартиры.

Это была большая, высокая комната, с обвалившимися остатками лепной работы на почерневшем потолке, с грязными, оборванными обоями. По стенам стояли самодельные кровати — доски на деревянных козлах.

На кроватях виднелись фигуры спящих. В темном углу из-под груды разноцветного тряпья выставилась седая борода и лысая голова, блестевшая от лампы.

Как раз под лампой, среди комнаты, за большим столом, на котором громоздилась груда суконного тряпья, сидело четверо. Старик портной в больших круглых очках согнулся над шитьем и внимательно слушал рассказ солдата, изредка постукивавшего деревянной ногой по полу. Тут же за столом сидели два молодых парня и делали папиросы на продажу.

Солдат курил папиросы и рассказывал о своем прошлом, о том, как он на службу из конторщиков попал, охотой пошел, как его ранили, как потом отставку получил и как в нищие попал.

— Что делать, — говорил он, — выписали меня из гошпиталя... Родных никого... Пристанища нет... Я к тому, к другому... Так и так, мол, нельзя ли местишко... А он, кому говорил-то, посмотрит на ногу, покачает го-

ловой, даст там пятак — гривенник, и шабаш... Рубля два в другой раз наподают... Плюнул это я места искать... В приют было раз зашел, прошусь, значит, раненый, говорю.

— А ты, солдатик, от кого? От генерала прислан? — спрашивает меня швейцар.

— Нет, — говорю, — сам по себе, я заслуженный...

Швейцар махнул рукой и говорит:

— Зря, брат, просишься! Ступай лучше, здесь без рекомендации не примут.

— Как, — говорю, — не примут? Обязаны, я раненый, ноги нет...

Смеется швейцар. А сам толстый такой, щеки лоснятся.

— Чего смеешься? — спрашиваю я.

— Раненый? Эх, брат ты мой, много раненых тут ходит, да берут-то мало... Лучше брось и хлопотать, коли знакомства нет...

Тут какой-то генерал прошел, швейцар бросился раздевать его, и я ушел... Еще кой-куда совался — везде отход... Ну, братцы вы мои, и начал я милостинку сбирать и перебиваюсь благодаря бога... Куда я больше годен без ноги-то?.. Посбираешь, придешь на койку... Сыт, тепло... Старое времечко вспомнишь, и жив тем... Ведь и я, голубчики мои, удалой был в свое время... Эх, да и времечко же было, вспомнить любо! Охотой, братцы вы мои, на войну-то я пошел. На Кавказ нас погнали. Шли мы горами да ущельями, недели две шли. Казбек-гору видели с вековечными снегами и в духанах водку фруктовую, вонючую пили... С песнями больше шли.

Жара стояла смертельная, горы, пыль, кремнем раскаленным пахнет, люди измучились, растянулись, а чуть команда: «Песенники, вперед», и ожило все, подтянулось. Загремит по горам раскатистая, лихая песня, хошь и не особенно складная, а себя другим видишь. Вот здесь, в России, на ученьях солдатских песни все про бой да про походы поются, а там, в бою-то, в чужой стороне, в горах диких, про наши поля да луга, да про березку кудрявую, да про милых сердцу поются:

Ой, не ласково приняла,
Ой, огорчила ты меня!

Хватит, бывало, запевала, весь в поту и в пыли, заломив шапку на затылок, и сердце захолонет, и слеза по пыльной щеке сбежит и грязной каплей скатится на насквозь пропотевший ремень ранца... Да забывчивость-то не надолго... Запевала уж другую выводит:

Гремит слава трубой,
Мы дралися за Лабой;
По горам твоим, Кавказ,
Уж гремит слава об нас!

Подхватишь — и печаль-тоска вон из сердца.

Пришли наконец в отряд. И места же! Направо — море, налево и впереди — горы и леса по тем горам дремучие. Не такие леса, как у нас, не сосны, не ели, а все граб, пальма, грецкие орехи, инжир, на котором винные ягоды растут, и все это виноградником да колючкой переплетено. Проклятая эта колючка, сколько народу в ней погибло! Запутался раз, и шабаш, не выйдешь, как когтями зацепит; и чем больше ты вертишься, тем больше цепляет она тебя... Фруктов там разных — чего хочешь, того просишь. Цветы опять: магнолий-цветок в лесу растет, и всякой другой. Хорошо! Только насчет лихорадки да змей страшно... Опять скорпионы с тарантулом, вроде как не то пауки, не то раки, народ насмерть жалят... Ночь придет — чекалки (шакалы, по-нашему) песню свою затянут... Таково жалобно, будто хоронят кого...

Стоим это ночью в цепи... Темь — зги не видно... Тихо... Только справа где-то, внизу, море рокочет... И чем шибче бьются валы, тем спокойнее на душе. Знаешь, когда бурный прибой, то и неприятель на берег с судов не высадится, значит — со стороны моря не бойся, только вперед гляди-поглядывай.

А впереди темь...

Такая темь, будто у тебя глаза закрыты... На слух больше неприятеля ловишь...

Жутко первое время было в цепи стоять... Чего-чего не придумаешь... И убьют-то тебя, и в плен возьмут, и шкуру с живого драть будут, и на кол посадят... А потом в привычку вошло, и думушки нет: стоишь да послушиваешь, да житье-бытье российское вспоминаешь...

Привык я малость в цепи стоять, а там в охотники выбрали, стали посылать в секреты да на разведку.

Умирать буду, не забуду, как нас в охотники выбирали.

Выстроили весь отряд четырехугольником, а в отряде-то тысяч десять народу. Стали, ждем — стоим. Отрядный генерал на середину выехал, поздоровался: «Здорово, братцы!» — «Здравия желаем, ваше превосходительство!» — гаркнули. Объехал нас и выслал адъютанта. Красавец офицер, на вороном коне, с «егорьем» на груди.

Выехал адъютант и скомандовал «смиррно!». Потом такую речь повел, — каждое слово по гроб не забуду!

— Братцы-товарищи! Все мы пришли сюда на смертный бой с неприятелем и за веру, царя и отечество готовы пожертвовать жизнью своей. Здесь десять тысяч храбрецов, готовых в бой. Нам надо выбрать шестьсот охотников. Помните, братцы-товарищи, что охотники идут на верную смерть, и мало того на смерть, на муку, на пытки. Если охотника пошлют в турецкий лагерь, где с него с живого сдерут кожу, где его посадят на кол, — он должен идти. Если охотнику прикажут стать под выстрел — он должен стать и умереть. Никто из охотников не увидит своих родных, своей родной России: он должен умереть здесь, под пулей и кинжалом неумолимого врага. У охотника нет надежды на спасение: еще раз повторяю — никто из них не увидит России, не увидит семьи... Итак, друзья, нам нужны шестьсот человек, обрекающих себя на смерть, шестьсот охотников.

Адъютант смолк.

Оглянулся я: у солдат лица как-то разгорелися, глаза заблистали. Направо от меня, рядом, стояли пешие казаки в длинных черкесках и высоких черных папахах, заломленных на затылок... Как вкопанные, будто не им говорят, стояли они.

Адъютант еще раз скомандовал «смирно» и громким голосом крикнул:

— Желающие в охотники — шаг вперед..

Я взглянул на казаков. Как один человек, все они сделали шаг вперед и остановились так же спокойно, как и были.

И наши зашевелились, многие вышли вперед...

Не помню, как и что, но я тоже очутился впереди.

Много лишних в охотники вышло. Вместо шестисот-то, тысячи впереди очутились. По жеребью выбрали шестьсот, а остальных в запас записали, на случай, ежели тех перебьют.

Стали мы жить отдельно, по-охотницки.

Сняли сапоги, поршни — вроде как башмаки — из буйволовой кожи надели, кошки на пояс повесили: когти будто железные сделаны, — если в дождик в гору идти, так под подошвы подвязывали, ну, и не склизко: идем по мокрой глине, как по лестнице.

Жара началась особенная: чуть вечер, весь отряд спать располагается, а мы вперед до утра, за турецким лагерем следить, своих беречь, да если что у неприятеля плохо лежит — скот ли распущен, лошади ли в недосмотре, часовые ли зазевались — все нам, охотничкам, годилось. И якши и яман — все клади в карман! И скоту, и домашним вещам, и оружию, и часовому — всем настоящее место нахаживали.

Каждую-то ночь таким манером...

Больших дел все не было. Ждали мы ждали да и дождались же! Часов так около четырех утра...

Дежурным я при балаганах в эту ночь оставался. Вдруг слышу, тревогу вызывают, а со стороны турецкого лагеря мелкой дробью ружейные выстрелы: та-даа-та-та, та-та, та-та, та-та, трр...

Наша команда уже выстроилась и бегом помчалась вниз, к цепи.

Сзади нас, в лагерях, суматоха: войска выбегали из балаганов... С гор — неприятель... Вот первая пуля просвистала над головою... Потом другая, третья — как шмели. Одна из черных полосок впереди вдруг остановилась на полугоре. Что-то задвигалось, ярко блеснуло на солнце, и четыре больших белых клуба поднялись к облакам... Бау... бу... бу... бау... — загромыхали орудия, зашуршали и завыли гранаты над головою... Одна около нас хлопнулась, бац! Как молонька сверкнула из нее, а потом завизжали осколки, дым нас окутал... Юнкер со мной шел, — гляжу, вскрикнул и упал... Лежит на спине, разбросал руки... Я было наклонился поднять, да уж

поздно: грудь вся изуродована, кровь, клочки мяса да сукна...

— Носилки... носилки, — слышно кругом, а там — команда: «Бегом марш», и снова мы помчались... Около раненых оставили четверых.

Еще пуще завыли, зашипели над нами гранаты и засвистали пули... А мы все бежали, все бежали...

Вот и цепь...

Нас рассыпали; залегли мы в кусты — и началась лихая перестрелка.

Неприятель стрелял через нас, и наши сзади стреляли, тоже через нас. Сущий ад кругом! Солнышка от дыму не видать... Ружейные выстрелы кругом — как хлопушки... та-та-та-та-та. Пули визжат да посвистывают на все голоса, — как на пчельнике! Орудия и с той и другой стороны: бо-у, бу-бу-боу-бу-бу, боу!.. Гранаты рвутся одна за другой: тах-тах, только осколки от них воют...

Еще из команды двоих убили...

А бой все сильнее разгорался, — то и дело подносили к нам патронные ящики... Ствол моей берданки совсем горячим стал.

Долго продолжалась перестрелка и, наконец, перешла в наступление.

Сначала один горнист, где-то далеко, затрубил чуть слышно, меж гулом выстрелов: та-та-та-та, та-ти та-та, та-ти, та-та, та-ти-тата, та, та, та, а потом, все ближе и ближе, на разные голоса и другие горнисты заиграли наступление... Выстрелы сделались еще чаще... Среди нас громыхала артиллерия, и, как на ученье, в ногу, шли колонны... Когда они поравнялись с нами, раздалась команда: «Пальба батальонами»... Присоединились мы кучками к надвинувшимся войскам...

Дым как-то реже стал, ветерок с моря потянул, и перед нами открылась неприятельская твердыня, — замелькали красные фески, заблистали ружья...

«Батальон, пли!» — раздалась команда, и грянул залп... Вместе с тем грянули и наши орудия. Опять залп, опять орудия, опять залп... Неприятельские выстрелы стихли, наши горнисты заиграли атаку... Раздалась команда: «Шагом марш!» Та-да, та-да-та-да, та-да-та-та-а, та-ди-та-ди, та-ди-та-да, та-та-а, все чаще, и чаще, и

чаще гремела музыка, все быстрее и быстрее шли мы, и все чаще и чаще падали в наших рядах люди.

А мы шли. Что со мной было — не знаю... Но сердце трепетало, каждая жилка дрожала, — я ничего, ровно ничего не боялся... Вот уж несколько десятков сажен до неприятельской батареи, исчезающей в дыму, сквозь который только и мелькают красные молнии огня, а нас все меньше и меньше... Вот музыка замолкла — только один уцелевший горнист, неистово покрывая выстрелы, как перед смертью, наяривал отчаянное та-да-та-да-та-да-та-да... А вот и команда: «Ура!»... Мы ждали «ура!».

— Урра! — загремели мы в ответ и бросились на молнию выстрелов, на гребне высокого вала...

Я перепрыгнул ров, не помня себя... Перед самыми глазами ослепил и оглушил меня выстрел, блеснул ятаган над головой и — фигура в красной феске... Я всадил штык в эту фигуру; сзади, вместе с ней, нас столкнули наступавшие, и мы оба полетели в ров... Урра!.. Алла!.. Стоны раненых, выстрелы ружей, хрип умирающих слышались мне, а я лежал, придавленный окровавленной фигурой в красной феске... Вдали гремело: бау-бу, бу-бау!..

* * *

В квартире уже никто не спал... Все ночлежники поднялись на своих койках и слушали солдата.

Лишь из-под груды разноцветного тряпья блестела седая борода и лысая голова старого нищего.

ГРЕЗЫ

Ей снился сон...

Вот она надевает коротенькое коричневое платье и черный фартук. Она торопится и никак не может застегнуть сзади фартук.

— Соня, Соня! — кричит она и топает своей маленькой ножкой.

Но Соня не слышит...

— Соня!

В соседней комнате раздаются частые, легкие шаги, и вбегает полненькая, розовая, с большими черными глазами девочка лет десяти.

— Соня, да застегни же мне фартук...

Соня застегивает и бежит. Она тоже торопится...

Снился ей затем публичный акт, ряды гимназисток, чопорные классные дамы, стоящие перед своими классами, покрытый красным сукном стол, а за ним генералы в звездах, а посередине их сама начальница, также сухая, как щепка, седая, со сдвинутыми бровями и гордо щурящимися глазами.

— Екатерина Казанова! — провозгласил кривой секретарь педагогического совета, которого звали Камбала.

Она выходит.

Начальница и седой генерал поздравляют ее и подают

ей большой атласный лист и коробочку с тяжелым желтым кружком.

— Счастливица Казанова, золотую медаль получила... Вот счастье... Поздравляем... Желаем всего лучшего... — слышится всюду.

Она сама кланяется гимназисткам, но вдруг коричневые платья их и беленькие личики исчезают... Контуры их еще обрисовываются в тумане, а из-за контуров выплывает что-то зеленое...

Это зеленое все более и более заливает пространство. Уж можно рассмотреть листья и стволы деревьев.

У корней деревьев еще видны коричневые платьица и много, много ножек...

Но и они сливаются с зеленью...

Перед глазами выступает старый липовый сад. Клумбы цветов, скамейка...

На скамейке сидит девушка в розовом платье, рядом молодой брюнет... Глаза у него большие, черные, как ночь, томные... Только как-то странно напущены верхние веки, отчего глаза кажутся будто двухэтажными... В них играет луч солнца, освещающий толстые, пухлые ярко-красные губы, с черными, как стрелки, закрученными блестящими усиками.

Девушка в розовом платье так и впивается глазами в брюнета... Тот говорит о вечной любви, о бесполезных и вышедших из моды обрядностях, без которых хорошо люди живут, о взаимном труде, о...

Этот сон сменяется новым...

Шумная улица многолюдной столицы, голубой свет электрических фонарей. Она стоит у роскошного отеля и смотрит в окна. А там, сквозь зеркальные стекла, видны кружащиеся в вальсе пары и между ними знакомые двухэтажные глаза и выхоленные усики над ярко-красными губами. У него та же улыбка, то же заискивающее выражение глаз, как было тогда в саду.

Она вспоминает выражение его глаз совершенно другое...

Глаза его начали меняться уже в вагоне, по дороге в столицу, куда они вдвоем, в отдельном купе, ехали искать, как он говорил там, в саду, «света знаний, истины и труда».

Все чаще и чаще с того времени стал являться этот взгляд вместо прежнего ласкающего, затем тон голоса перешел сначала в небрежный, а потом в грубый...

Только раз по прибытии в столицу она видела его прежнюю улыбку, прежний взгляд.

В этот день ее золотую медаль, этот желтый кружочек в коробочке, которому так все завидовали в актовом зале, он унес куда-то и явился вечером в щегольской черной паре, а затем начал исчезать из номера с утра и приходить ночью.

Из заискивающего прежде, он сделался окончательно гордым, недоступным, злым.

Он получил место секретаря при каком-то благотворительном обществе.

А она сидела в номере целый день одна, в черном поношенном платье.

Ей нездоровилось. Выходить она уже давно не могла.

Все хуже и хуже он относился к ней...

Она плакала целыми днями.

Из дома ей пришло только одно письмо от сестренки Сони, которая писала, что отец проклял ее.

Вскоре за получением письма брюнет ее бросил.

Перед этим он долго говорил о столичной жизни и ее требованиях, об увлечениях юности, о карьере общественного деятеля и, наконец, сказал:

— Мы не созданы друг для друга, наши дороги разные... Ты поезжай домой к отцу, а я...

И с тех пор они не видались.

Как сквозь туман, видит она седую старушку, ухаживающую за ней, за больной, помнит она страшную боль, когда будто рвут ее на части, затем спокойное, блаженное забытье, сквозь которое, как райская музыка, слышится ей нежный крик ребенка...

А затем холодная осенняя ночь, она одна, совершенно одна на улице, — потом толпа, электрический свет, блестящий бал, кружащиеся под звуки вальса пары и знакомая улыбка.

— Жених, жених! — слышится в толпе, когда он появился у окна...

Ей ужасно хочется увидеть невесту... У ней озябли

ноги, она дрожит сама от холода, а все стоит и не отводит от окна глаз.

Вот, наконец, он подходит к окну и знакомыми томными глазами нежно смотрит на свою даму...

Потом ей снился высокий мост с железной решеткой, свист ветра, непроглядный мрак, черная пропасть реки, плескавшейся о каменные устои.

Она несколько раз становилась на эту решетку, вновь слезала с нее на деревянную настилку моста и прислушивалась к плеску волн...

Потом промелькнули перед ней незнакомые лица, тройки, мчавшиеся за город, попойки и тяжелое пробуждение от них.

Вот она видит эстраду гостиницы; на эстраде хор в парчовых сарафанах, на ней — такой же сарафан...

Развеселившаяся публика слушает залихватскую песню:

А бумажечки все новенькие,
Двадцатипятирублевенькие...

Но опять мрак закутывает блестящую эстраду, веселая песня постепенно переходит в звуки хриплых, пьяных голосов, слившихся с звуками ревущей скрипки и кларнета, стук стаканов и бутылок...

Вместо блестящей эстрады ей видится низкая комната, освещенная двумя висячими лампами, пьяные мастеровые, нарумяненные женщины...

Одну из них бьют и выталкивают на улицу...

Снится ей отдельное купе вагона... Поезд мчится... вагон мерно покачивается, он смотрит на нее прежним, ласковым взором, говорит ей о вечной любви, о взаимном труде... Ей холодно... Она просит его поскорей закрыть окно, откуда дует холодный ветер.

А вагон все покачивается и усыпляет ее крепче, крепче...

* * *

В «холодную» при полицейском доме вошел толстый смотритель.

— Кого еще привезли? — спросил он городового.

— Девку какую-то... Вон и билет ее, за чулком на-

шли... Подняли у трактира в Безымянке... Насилу довезли, сани маленькие, сугробы, лошадь не везет...

На мокром полу «холодной», разметав руки и закрыв глаза, лежала женщина в вылинявшем зеленом шерстяном платье... Набеленное, испитое лицо ее было избито. Смотритель взглянул на желтую бумажку, которую ему подал городовой.

— А, опять старая знакомая, Катька Казанова... Эк, повадилась! Ну, запри ее...

Смотритель вышел. Вслед ему заскрипел тяжелый засов двери...



МОИ СКИТАНИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО

Ушкуйник и запорожец. Мать и бабушка. Азбука. В лесах дремучих. Вологда в 60-х годах. Политическая ссылка. Нигилисты и народники. Губернские власти. Аристократическое воспитание. Охота на медведя. Матрос Китаев. Гимназия. Цирк и театр. «Идиот». Учителя и сальтомортале.

Бесконечные дремучие, девственные леса вологодские сливаются на севере с тундрой, берегом Ледовитого океана, на востоке, через Уральский хребет, с сибирской тайгой, которой, кажется, и конца-края нет, а на западе опять до моря тянутся леса да болота, болота да леса.

И одна главная дорога с юга на север, до Белого моря, до Архангельска — это Северная Двина. Дорога летняя. Зимняя дорога, по которой из Архангельска зимой рыбу возят, шла вдоль Двины, через села и деревни. Народ селился, конечно, ближе к пути, к рекам, а там, дальше глушь беспросветная да болота непролазные, диким зверем населенные... Да и народ такой же дикий блудился от рождения до веку в этих лесах... Недаром говорили:

— Вологжане в трех соснах заблудились.

И отвечали на это вологжане:

— Всяк заблудится! Сосна от сосны верст со сто, а меж соснами лесок строевой.

Родился я в лесном хуторе за Кубенским озером и часть детства своего провел в дремучих домшинских ле-

сах, где по волокам да болотам непроходимым медведи пешком ходят, а волки стаями волочатся.

В Домшине пробегала через леса дремучие быстрая речонка Тошня, а за ней, среди вековых лесов, болота. А за этими болотами скиты раскольничьи [1], куда доступ был только зимой, по тайным нарубкам на деревьях, которые чужому и не приметить, а летом на шестах пробираться приходилось, да и то в знакомых местах, а то попадешь в болотное окно, сразу провалишься — и конец. А то чуть с кочки оступишься — тина засосет, не выпустит сверху человека и затянет.

На шестах пробирались. Подойдешь к болоту в сопровождении своего, знаемого человека, а он откуда-то из-под кореньев шесты трехсаженные несет.

Возьмешь два шеста, просунешь по пути следования по болоту один шест, а потом параллельно ему, на аршин расстояния — другой, станешь на четвереньки — ногами на одном шесте, а руками на другом — и ползешь боком вперед, передвигаешь ноги по одному шесту и руки, иногда по локоть в воде, по другому. Дойдешь до конца шестов — на одном стоишь, а другой вперед двигаешь. И это был единственный путь в раскольничьи скиты, где уж очень хорошими пряниками горячими с сотовым медом угощала меня мать Манефа.

Разбросаны эти скиты были за болотами на высоких местах, красной сосной поросших. Когда они появились — никто и не помнил, а старики и старухи были в них здесь родившиеся и никуда больше не ходившие... В белых рубахах, в лаптях. Волосы подстрижены спереди челкой, а на затылке круглые проплешины до кожи выстрижены — «гуменышко» — называли они это стриженое место. Бороды у них косматые, никогда их ножницы не касались — и ногти на ногах и руках черные да закорузлые, вокруг пальцев закрюченные, отроду не стриглись. А потому, что они веровали, что рай находится на высокой горе, и после смерти надо карабкаться вверх, чтобы до него добраться, — а тут ногти-то и будут нужны [2].

---

[1] Люди древнего благочестия — звали они себя.

[2] Легенды искания рая с 12-го века.

Так все веровали и никто не стриг ногтей.

Чистота в избах была удивительная. Освещение — лучина в светце. По вечерам женщины сидят на лавках, прядут «куделю» и поют духовные стихи. Посуда своей работы, деревянная и глиняная. Но чашка и ложка были у каждого своя, и если кто-нибудь посторонний, не их веры, поел из чашки или попил от ковша, то она считалась поганой, «обмирщенной», и пряталась отдельно.

Я раза три был у матери Манефы — ее сын Трефилий Спиридоньевич был другом моего «дядьки», беглого матроса, старика Китаева, который и водил меня в этот скит...

— Смотаемся в поморский волок,— скажет бывало он мне, и я радовался.

Волок — другого слова у древних раскольников для леса не было. Лесом они называли бревна да доски.

Да и вообще в те времена и крестьяне так говорили. Бывало спросишь:

— Далеко ли до Ватланова?

— Волок да волок — да Ватланово.

— Волок да волок — да Вологда.

Это значит, надо пройти лес, потом поле и деревушку, а за ней опять лес, опять волок.

Откуда это слово — а это слово самое что ни есть древнее. В древней Руси назывались так сухие пути, соединяющие две водные системы, где товары, а иногда и лодки переволакивали от реки до реки.

Но в Вологодской губернии тогда каждый лес звался волоком. Да и верно: взять хоть поморский этот скит, куда ни на какой телеге не проедешь, а через болота всякий груз приходилось на себе волочь или на волокушах — нечто вроде саней, без полозьев, из мелких деревьев. Нарубят, свяжут за комли, а на верхушки, которые не затонут, груз кладут. Вот это и волок.

— Не бегай в волок, волк в волоке,— говорят ребятишкам.

Вологда. Корень этого слова, думаю, волок и только волок.

Вологда существовала еще до основания Москвы —

это известно по истории. Она была основана выходцами из Новгорода. А почему названа Вологда — рисуется мне так.

Было на месте настоящего города тогда поселеньице, где жили новгородцы, которое, может быть, и названия не имело. И вернулся непроходимыми лесами оттуда в Новгород какой-нибудь поселенец и рассказывает, как туда добраться.

— Волок да волок, волок да волок, а там и жилье.

И невольно остается в памяти слушающего музыка слов, и безымянное жилье стало: — Вологда.

— Волок да волок...

* * *

Родился я в глухих Сямских лесах Вологодской губернии, где отец после окончания курса семинарии был помощником управляющего лесным имением графа Олсуфьева, а управляющим был черноморский казак Петро Иванович Усатый, в 40-х годах променявший кубанские плавни на леса севера и одновременно фамилию Усатый на Мусатов, так, по крайней мере, адресовали ему письма из барской конторы, между тем как на письмах с Кубани значилось Усатому. Его отец, запорожец, после разгрома Сечи в 1775 г. Екатериной ушел на Кубань, где обзавелся семейством и где вырос Петр Иванович, участвовавший в покорении Кавказа. С Кубани сюда он прибыл с женой и малолетней дочкой к Олсуфьеву, тоже участнику кавказских войн. Отец мой, новгородец с Белоозера, через год после службы в имении женился на шестнадцатилетней дочери его Надежде Петровне.

Наша семья жила очень дружно. Отец и дед были завзятые охотники и рыболовы, первые медвежатники на всю округу, в одиночку с рогатиной ходили на медведя. Дед чуть не саженного роста, сухой, жилистый, носил всегда свою черкесскую косматую папаху и никогда никаких шуб, кроме лисьей, домоткацкого сукна чамарки и грубой свитки, которая была так широка, что ею можно было покрыть лошадь с ногами и головой.

Моя бабушка, Прасковья Борисовна, и моя мать, Надежда Петровна, сидя по вечерам за работой, причем мама вышивала, а бабушка плела кружева, пели казачьи песни, а мама иногда читала вслух Пушкина и Лермонтова. Она и сама писала стихи. У нее была сафьянная тетрадка со стихами, которую после ее кончины так и не нашли, а при жизни она ее никому не показывала и читала только, когда мы были втроем. Может быть, она сожгла ее во время болезни? Я хорошо помню одно из стихотворений про звездочку, которая упала с неба и погибла на земле.

Дед мой любил слушать Пушкина и особенно Рылеева, тетрадка со стихами которого, тогда запрещенными, была у отца с семинарских времен. Отец тоже часто читал нам вслух стихи, а дед, слушая Пушкина, говаривал, что Дмитрий Самозванец был, действительно, запорожский казак и на престол его посадили запорожцы. Это он слышал от своих отца и деда и других стариков.

Бежал в сечь запорожскую,
Владеть конем и саблей научился...

Бывало, читает отец, а дед положит свою ручищу на книгу, всю ее закроет ладонью и скажет:

— Верно! — И начнет свой рассказ о запорожцах.

Много лет спустя, будучи на турецкой войне, среди кубанцев-пластунов, я слыхал эту интереснейшую легенду, переходившую у них из поколения в поколение, подтверждающую пребывание в Сечи Лжедимитрия: когда на коронацию Димитрия, рассказывали старики кубанцы, прибыли наши запорожцы почетными гостями, то их расположили возле самого Красного крыльца, откуда выходил царь. Ему подвели коня, а рядом поставили скамейку, с которой царь, поддерживаемый боярами, должен был садиться.

— Вышел царь. Мы глядим на него и шепчемся, — рассказывали депутаты своим детям.

— Знакомое лицо и ухватка. Где-то мы его видали...

Спустился царь с крыльца, отмахнул рукой бояр, пнул скамейку, положил руку на холку да прямо, без стремени прыг в седло — и как врос.

И все разом:

— Це наш Грицко!

А он мигнул нам: помалкивай, мол. Да и поехал.

И вспомнил я тогда на войне моего деда, и вспоминаю я сейчас слова старого казака и привожу их дословно. Впоследствии этот рассказ подтвердил мне знаменитый кубанец Степан Кухаренко.

* * *

Учиться читать я начал лет пяти. Дед добыл откуда-то азбуку, которую я помню и сейчас до мелочей. Каждая буква была с рисунком во всю страницу, и каждый рисунок изображал непременно разносчика: А (тогда написано было «аз») — апельсины. Стоит малый в поддевке с лотком апельсинов на голове. Буки — торговец блинами, Веди — ветчина, мужик с окороком и т. д. На некоторых страницах три буквы на одной. Например: У, Ферт, Хер — изображен торговец в шляпе гречневиком с корзиной и подпись: «У меня Французские Хлебы». Далее следуют страницы складов: Буки-Аз — ба, Веди-Аз — ва, Глаголь-Аз — га. А еще далее нравоучительное изречение вроде следующего:

«Перед особами высшего нас состояния должно показывать, что чувствуешь к ним почтение, а с низшими надо обходиться особенно кротко и дружелюбно, ибо ничто так не отвращает от нас других, как грубое обхождение».

В конце книги молитвы, заповеди и краткая священная история с картинками. Особенно эффектен дьявол с рогами, копытами и козлиной бородой, летящий вверх тормашками с горы в преисподнюю.

Вскоре купил мне дед на сельской ярмарке другую азбуку, которая была еще интереснее. У первой буквы А изображен мужик, ведущий на веревке козу, и подпись: «Аз. Антон козу ведет».

Дальше под буквой Д изображено дерево, в ствол которого вставлен желоб, и по желобу течет струей в бочку жидкость. Подписано: «Добро. Деревянное масло».

Под буквой С — пальмовый лес, луна, показывающая, что дело происходит ночью, и на переднем плане

спит стоя, прислонясь к дереву, огромный слон, с хоботом и клыками, как и быть должно слону, а внизу два голых негра ручной пилой подпиливают пальму у корня, а за ними десяток негров с веревками и крючьями. Под картиной объяснение: «Слово. Слон, величайшее из животных, но столь неуклюжее, что не может ложиться и спит стоя, прислонясь к дереву, отчего и называется слон. Этим пользуются дикие люди, которые подпиливают дерево, слон падает и не может встать, тут дикари связывают его веревками и берут».

Дальше в этой книге, обильной картинками, также священная история.

На горе Арарат стоит ковчег в виде огромной барки, из которой Ной выгоняет длинной палкой всевозможных животных от верблюда до обезьян.

Помнится еще картинка: облака, а по ним на паре рысаков в развевающихся одеждах мчится, стоя на колеснице, Илья пророк... Далее берег моря, наполовину из воды высунулся кит, а из его пасти весело вылезает пророк Иона.

Хорошо помню, что одна из этих азбук была напечатана в Москве, имела синюю обложку, а вторая — красную с изображением восходящего солнца.

Потом меня стала учить читать мать по хрестоматии Галахова, заучивать стихотворения и писать с прописи, тоже нравоучительного содержания.

Других азбук тогда не было, и надо полагать, что Лев Толстой, Тургенев и Чернышевский учились тоже по этим азбукам.

* * *

Отец вскоре получил место чиновника в губернском правлении, пришлось переезжать в Вологду, а бабушка и дед не захотели жить в лесу одни и тоже переехали с нами. У деда были скоплены небольшие средства. Это было за год до объявления воли во время крепостного права. Крестьяне устроили нам трогательные проводы, потому что дед и отец пользовались особенной любовью. За все время управления дедом глухим лесным имением, где даже барского дома не было, никто не был

телесно наказан, никто не был обижен, хотя кругом свистали розги, и управляющими, особенно из немцев, без очереди сдавались люди в солдаты, а то и в Сибирь ссылались. Здесь в нашу глушь не показывались даже местные власти, а сами помещики ограничивались получением оброка да съестных припасов и дичи к рождеству, а сами и в глаза не видали своего имения, в котором дед был полным властелином и, воспитанный волей казачьей, не признавал крепостного права: жили по-казачьи, запросто и без чинов.

В Вологде мы жили на Калашной улице в доме купца Крылова, которого звали Василием Ивановичем. И это я помню только потому, что он бывал именинник под новый год и в первый раз рождественскую елку я увидел у него. На лето мы уезжали с матерью и дедом в имение «Светелки», принадлежащее Наталии Александровне Назимовой.

Она была, как все говорили в Вологде, нигилистка, ходила стриженая и дружила с нигилистами. «Светелки» — крохотное именьице в домшинских непроходимых лесах, тянущихся чуть ли не до Белого моря, стояло на берегу лесной речки Тошни, за которой ютились раскольничьи скиты, куда добраться можно только было по затесам, меткам на деревьях.

Назимова, дочь генерала, была родственница исправника Беляева и родственница Разнатовских, родовитых дворян, отец которых был когда-то другом и сослуживцем Сперанского и занимал важное место в Петербурге. Он за несколько лет до моего рождения умер, а семья переселилась в Вологду, где у них было имение. Несмотря на родственные связи, все-таки Назимовой пришлось эмигрировать в Швейцарию вместе с доктором Коробовым, жившим в Вологде под строжайшим надзором властей. С тех пор ни она, ни Коробов в Вологде не бывали. В это время умерла моя бабка, а вскоре затем, когда мне минуло восемь лет, и моя мать, после сильной простуды.

Мы продолжали жить в той же квартире с дедом и отцом, а на лето опять уезжали в «Светелки», где я и дед пропадали на охоте, где дичи всякой было невероятное количество, а подальше, к скитам, медведи, как

говорил дед, пешком ходили. В «Светелках» у нас жил тогда и беглый матрос Китаев, мой воспитатель, знаменитый охотник, друг отца и деда с давних времен.

Еще при жизни матери отец подарил мне настоящее небольшое ружье мелкого калибра заграничной фабрики с золотой насечкой, дальнобойное и верное. Отец получил ружье для меня от Н. Д. Неелова, старика, постоянно жившего в Вологде в своем большом барском доме, наискось от нашей квартиры. Я бывал у него с отцом и хорошо помню его кабинет в антресолях с библиотечными шкафами красного дерева, наполненными иностранными книгами, о которых я после уже узнал, что все они были масонские и что сам Неелов, долго живший за границей, был масон. Он умер в конце 60-х годов столетним стариком, ни у кого не бывал и никого, кроме моего отца и помещика Межакова, своего друга, охотника и собачника, не принимал у себя, и все время читал старые книги, сидя в своем кресле в кабинете.

На охоту в «Светелки» приезжал и родственник Назимовой, Николай Разнатовский, отставной гусар, удалец и страстный охотник. Он меня обучал верховой езде и возил в имение своей жены, помнится, «Несвойское», где были прекрасные конюшни и много собак. Его жена, Наталья Васильевна, урожденная Буланина, тоже любила охоту и была наездницей. Носились мы как безумные по полям да лугам — плетень не плетень, ров не ров — вдвоем с тетенькой, лихо сидевшей на казачьем седле — дамских седел не признавала, — она на своем арабе Неджеде, а я на дядином стиплере Огоньке. Николай Ильич еще приезжал в город на день или на два, а Наталья Васильевна никогда: уж слишком большое внимание всего города привлекала она. Красавица в полном смысле этого слова, стройная, с энергичными движениями и глубокими карими глазами, иногда сверкавшими блеском изумруда. На левой щеке, пониже глаза на матово-бронзовой коже темнело правильно очерченное в виде мышки, небольшое пятнышко, покрытое серенькой шерсткой.

Но главной причиной городских разговоров было ее правое ухо, раздвоенное в верхней части, будто кусочек

его аккуратно вырезан. Историю этого уха знала вся Вологда и знал Петербург.

Николай Ильич Разнатовский поссорился с женой при гостях, в числе которых была тетка моей мачехи, только кончившая институт и собиравшаяся уезжать из Петербурга в Вологду. Она так рассказывала об этом.

— После обеда мы пили кофе в кабинете. Коля вспылил на Натали, вскочил из-за стола, выхватил пистолет и показал жене.

— Стреляй! Ну, стреляй! — поднялась со стула Натали, сверкая глазами, и застыла в выжидательной позе.

Грянул выстрел. Звякнула разбитая ваза, мы замерли от страшной неожиданности. Кто-то в испуге крикнул «доктора», входивший лакей что-то уронил и выбежал из двери...

— Не надо доктора! Я только ухо поцарапал,— и Коля бросился к жене, подавая ей со стола салфетку.

А она, весело улыбаясь, зажала окровавленное ухо салфеткой, а другой рукой обняла мужа и сказала:

— Я, милый Коля, больше не буду! — И супруги расцеловались.

Что значило это «не буду», так до сих пор никто и не знает. Дело разбиралось в Петербургском окружном суде, пускали по билетам. Натали показала, что она, веря в искусство мужа, сама предложила стрелять в нее, и Коля заявил, что стрелял наверняка, именно желая отстрелить кончик уха.

Защитник потребовал, чтобы суд проверил искусство подсудимого, и, действительно, был сделан перерыв, назначена экспертиза, и Коля на расстоянии десяти шагов всадил четыре пули в четырех тузов, которые держать в руках вызвалась Натали, но ее предложение было отклонено. Такая легенда ходила в городе.

* * *

Суд оправдал дядю, он вышел в отставку, супруги поселились в вологодском имении, вот тогда-то я у них и бывал.

Когда отец мой женился на Марье Ильиничне Разнатовской, жизнь моя перевернулась. Умер мой дед, и по

летам я жил в Деревеньке, небольшой усадьбе моей новой бабушки Марфы Яковлевны Разнатовской, добродушнейшей полной старушки, совсем непохожей на важную помещицу-барыню. Она любила хорошо поесть и целое лето проводила со своими дворовыми, еще так недавно бывшими крепостными, варила варенья, соленья и разные вкусные заготовки на зиму. Воза банок отправлялись в Вологду. Бывшие крепостные не желали оставлять старую барыню, и всех их ей пришлось одевать и кормить до самой смерти. Туда же после смерти моего деда поселился и Китаев. Это был мой дядька, развивавший меня физически. Он учил меня лазить по деревьям, обучал плаванию, гимнастике и тем стремительным приемам, которыми я побеждал не только сверстников, а и великовозрастных.

— Храни тайно. Никому не показывай приемов, а то они силу потеряют,— наставлял меня Китаев, и я слушал его. Но о нем будет речь особо.

* * *

Итак, со смертью моей матери перевернулась моя жизнь. Моя мачеха, добрая, воспитанная и ласковая, полюбила меня действительно как сына и занялась моим воспитанием, отучая меня от дикости первобытных привычек. С первых же дней посадила меня за французский учебник, кормя в это время конфетами. Я скоро осилил эту премудрость и, подготовленный, поступил в первый класс гимназии, но «светские» манеры после моего гувернера Китаева долго мне не давались, хотя я уже говорил по-французски. Особенно это почувствовалось в то время, когда отец с матерью уехали года на два в город Никольск на новую службу по судебному ведомству, а я переселился в семью Разнатовских. Вот тут-то мне досталось от двух сестер матери, институток: и сел не так, и встал не так, и ешь, как мужик! Допекали меня милые тетеньки. Как-то летом, у бабушки в усадьбе, младшая Разнатовская, Катя, которую все звали красавицей, оставила меня без последнего блюда. Обедаем. Сама бабушка Марфа Яковлевна, две тетеньки, я и призреваемая дама, важная и деревянная, Матильда Ивановна,

сидевшая справа от меня, а слева красавица Катя. По обыкновению та и другая то и дело пияли меня: не ешь с ножа, и не ломай хлеб на скатерть, и ложку не держи, как мужик... За столом прислуживал бывший крепостной, одновременно и повар, и столовый лакей, плешивый Афраф. Какое это имя и было ли у него другое — я не знаю. В кухне его звали Афрафий Петрович. Афраф, стройный, с седыми баками, в коломенковой ливрее, чистый и вылощенный, никогда ни слова не говорил за столом, а только мастерски подавал кушанья и убирал из-под носу тарелки иногда с недоеденным вкусным куском, так что я при приближении бесшумного Афрафа оглядывался и запихивал в рот огромный последний кусок, что вызывало шипение тетенек и сравнение меня то с собакой, то с крокодилом. Бабушка была глуховата, не слышала их замечания, а когда слышала, заступалась за меня и увещевала по-французски тетенек.

Вот съели суп. Подали отбивные телячьи котлеты с зеленым горошком... Поставили огромное блюдо душистой малины, мелкий сахар в вазах и два хрустальных кувшина с взбитыми сливками — мое самое любимое лакомство. Я старался около котлеты, отрезая от кости кусочки мяса, так как глодать кость за столом не полагалось. Я не заметил, как бесшумный Афраф стал убирать тарелки, и его рука в нитяной перчатке уже потянулась за моей, а горошек я еще не трогал, оставив его, как лакомство, и когда рука Афрафа простерлась над тарелкой, я ухватил десертную ложку, приготовленную для малины, помог пальцами захватить в нее горошек и благополучно отправил его в рот, уронив два стручка на скатерть. Ловко убрав упавший стручок, Афраф поставил передо мной глубокую расписанную тарелку для малины, а тетенька ему:

— Афраф, переверните тарелку Владимиру Алексеевичу, он оставлен без сладкого блюда,— и рука Афрафа перевернула вверх дном тарелку, а ложку, только что положенную мной на скатерть, он убрал.

Я замер на минуту, затем вскочил со стула, перевернулся задом к столу и с размаха хлюпнул на перевернутую тарелку, которая разлетелась вдребезги, и под вопли и крики тетенек выскочил через балкон в сад и убе-

жал в малинник, где досыта наелся душистой малины под крики звавших меня тетенек... Я вернулся поздно ночью, а наутро надо мной тетеньки затеяли экзекуцию и присутствовали при порке, которую совершали надо мной, надо сказать, очень нежно, старый Афраф и мой друг — кучер Ванька Брязгин.

Защитником моим был Николай Разнатовский, иногда наезжавший из имения, да живший вместе с нами его брат, Семен Ильич, служивший на телеграфе, простой, милый человек, а во время каникул — третий брат, Саша Разнатовский, студент петербургского университета; тот прямо подружился со мной, гимназистом 2-го класса.

С гимназией иногда у меня бывали нелады: все хорошо, да математика давалась плохо, из-за нее приходилось оставаться на второй год в классах. Еще со второго класса я увлекся цирком и за две зимы стал недурным акробатом и наездником. Конечно, и это отозвалось на занятиях, но уследить за мной было некому. Во время приезда Саши Разнатовского, он репетировал меня, но в конце концов исчез бесследно. Было известно, что он тоже замешан в политику и в один прекрасный день он уехал в Петербург и провалился как сквозь землю — никакие розыски не помогли. В семье Разнатовских, по крайней мере при мне, с тех пор не упоминали имени Саши, а ссыльный Николай Михайлович Васильев, мой репетитор, говорил, что Саша бежал за границу и переменил имя. И до сих пор я не знаю, куда девался Саша Разнатовский.

* * *

В это время Вологда была полна политическими ссыльными. Здесь были и по делу Чернышевского, и «Молодой России», и нигилисты, и народники. Всех их звали обыватели одним словом «нигилисты». Были здесь тогда П. Л. Лавров и Н. В. Шелгунов, первого, впрочем, скоро выслали из Вологды в уездный городишко Грязовец, откуда ему при помощи богатого помещика Н. А. Кудрявого был устроен благополучный побег в Швейцарию. Дом Кудрявого был как раз против окон гимназии, и во флигеле этого дома жили ссыльные, к которым очень благоволила семья Кудрявых, а жена Кудрявого, Мария Фе-

доровна, покровительствовала им открыто, и на ее вечерах, среди губернской знати, обязательно присутствовали важнейшие из ссыльных.

Вообще, тогда отношение к политическим во всех слоях общества было самое дружественное, а ссыльным полякам, которых после польского восстания 1863 года было наслано много, покровительствовал сам губернатор, заядлый поляк Станислав Фомич Хоминский. Ради них ему приходилось волей-неволей покровительствовать и русским политическим.

Ходили нигилисты в пледах, очках обязательно и широкополых шляпах, а народники — в красных рубахах, поддевках, смазных сапогах, также носили очки синие или дымчатые, и тоже длинные, по плечам, волосы. И те и другие были обязательно вооружены самодельными дубинами — лучшими считались можжевеловые, которые добывали в дремучих домшинских лесах.

Нигилистки коротко стриглись, носили такие же очки, красные рубахи-косоворотки, короткие черные юбки и черные маленькие шляпки, вроде кучерских.

М. Ф. Кудрявая, по инициативе и при участии ссыльных, в своем подгородном имении завела большую молочную ферму, где ссыльные жили и работали. Выписаны были коровы-холмогорки, дело поставлено было широко, и в продаже впервые в городе появилось сливочное и сметанное масло в фунтовых формах с надписью «Кудрявая». Вскоре это масло стало поступать в большом количестве в Москву, в Ярославль и другие города. Для Вологды цена за фунт 25 копеек казалась дорогой — и масло это подавать на стол считалось особым шиком. Эта ферма была родоначальницей знаменитого и доныне вологодского масляного производства. Всякий ссыльный считал своим долгом первый визит сделать Кудрявой и нередко поселялся на ее ферме. Впоследствии, в 1882 году, приехав в Вологду, я застал во флигеле Кудрявой живших там Германа Лопатина и Евтихия Карпова, драматурга, находившихся здесь в ссылке.

Исправником в Вологде был А. И. Саблин. Его дети были Михаил (впоследствии сотрудник «Русских ведомостей»), юрист Александр и Николай, застрелившийся в Тележной улице в Петербурге после «1-го марта» в мо-

мент ареста. В то время все трое были студентами, числились неблагонадежными, и отец, бывший под влиянием сыновей, мирволил политическим. Помощником исправника был П. В. Беляев, женатый на Анне Михайловне Васильевой, два брата которой, Николай и Александр, высланные в Вологду, ярые народники, с дубинами и в красных рубахах, и были, сперва один, а потом другой, моими репетиторами. Они жили у сестры, которая собирала у себя ссыльную молодежь и даже остриглась и надела синие очки, но проносила только один день — муж попросил снять.

— Сними, а то надо мной и так уже смеются!

При такой сочувствующей власти ссыльные не стеснялись.

Была еще крупная власть — это полицмейстер, полковник А. Д. Суворов, бывший кавалерист, прогусаривший свое имение и попавший на эту должность по протекции. Страстный псовый охотник, не признававший ничего, кроме охоты, лошадей, театра и товарищеских пирушек, непременно с жженкой и пуншем. Он носился на шикарной паре с отлетом по городу, кнутиком подхлестывал пристяжную, сам не зная куда и зачем — только не в полицейское управление.

Как-то февральской вьюжной ночью, при переезде через реку Вологду, в его сани вскочил волк (они стаями бегали по реке и по окраинам). Лихой охотник, он принял ловкой хваткой волка за уши, навалился на него, приехал с ним на двор театра, где сострунил его, поручил полицейским караулить и, как ни в чем не бывало, звякнул шпорами в зрительном зале и занял свое обычное кресло в первом ряду. Попал он к четвертому акту «Гамлета». В последнем антракте публика, узнав о волке, надела шубы, устремилась на двор смотреть на это диво и уж в театр не возвращалась — последний акт смотрел только один Суворов в пустом театре.

Ну, какое дело Суворову до ссыльных? Если же таковые встречались у собутыльников за столом — среди гостей,— то при встречах он раскланивался с ними как со знакомыми. Больше половины вологжан-студентов были высланы за политику из столицы и жили у своих родных — и весь город был настроен революционно.

* * *

Около того же времени исчез сын богатого вологодского помещика, Левашов, большой друг Саши, часто бывавший у нас. Про него потом говорили, что он ушел в народ, даже кто-то видел его на Волге в армяке и в лаптях, ехавшего вниз на пароходе среди рабочих. Мне Левашов очень памятен — от него первого я услыхал новое о Стеньке Разине, о котором до той поры я знал, что он был разбойник и его за это проклинают анафемой в церквах великим постом. В гимназии о нем учили тоже не больше этого.

Я как-то зашел в комнату Саши — он жил совершенно отдельно на антресолях. Там сидели Саша, Н. А. Назимова, Левашов, оба неразлучные братья Васильевы и наш гимназист седьмого класса, тоже народник, Кичин, пили домашнюю поляничную наливку и шумно разговаривали. Дали мне рюмку наливки, и Наталья Александровна усадила меня рядом с собой на диван.

Меня вообще в разговорах не стеснялись. Саша и мой репетитор Николай Васильев раз навсегда предупредили меня, чтобы я молчал о том, что слышу, и что все это мне для будущего надо знать. Конечно, я тоже гордо чувствовал себя заговорщиком, хотя мало что понимал. Я как раз пришел к разговору о Стеньке. Левашов говорил о нем с таким увлечением, что я сидел, раскрыв рот. Помню:

— Анафеме предали! Не анафеме, а памятник ему поставить надо! И дождемся, будет памятник! И не один еще Стенька Разин, будет их много, в каждой деревне свой Стенька Разин найдется, в каждой казачьей станице сыщется,— а на Волге сколько их! Только надо, чтобы их еще больше было, надо потом слить их — да и ахнуть! Вот только тогда-то все ненужное к черту полетит!

Это был последний раз, когда я видел Сашу и Левашова.

Этот день крепко засел у меня в голове, и потом все чаще и чаще просвещал меня Васильев, но я все-таки мало понимал. Меня тянуло больше к охоте. Читал я тоже мало, и если увлекался, то более всего Майн-Ридом и Купером. Газет тоже никогда не читал, у нас получал-

ся «Сын Отечества», а я и в руки его не брал. Увидел раз в столе у отца «Колокол» и, зная, что он запрещенный, начал читать, нашел скучным, непонятным и бережно положил обратно. Слушал я умного много, но понимал все по-своему, и даже скучал, слушая непонятные разговоры.

Кружок ссыльных, в августе месяце, когда наши жили в деревне, собирался в нашем глухом саду при квартире. Я в августе жил в городе, так как начинались занятия. Весело проводили в этом саду время, пили пиво, песни пели, особенно про Стеньку Разина я любил; потом играли в городки на дворе, боролись, возились. Здесь я чувствовал себя в своей компании, отличался цирковыми акробатическими штуками, а в борьбе легко побеждал бородатых народников, конечно, пользуясь приемами, о которых они не имели понятия.

Мне было пятнадцать лет, выглядел я по сложению много старше. И вот как-то раз, ловким обычным приемом, я перебросил через голову боровшегося со мной толстяка Обнорского, и он, вставая, указал на меня:

— Вот он, живой Никитушка Ломов!

— Ушкуйник!— сказал Васильев.

А ушкуйником меня прозвали в гимназии по случаю того, что я в прошлом году убил медведя.

Вышло это так. Осенью мне удалось убить из-под гончих на охоте у Разнатовского матерого волка. Ясно, что после волка захотелось и медведя убить. Я к нему, прошу его:

— Дядя Коля, возьми меня на медведя!

— Да ты с ума сошел? А что наши-то скажут?

Дядя по своему обыкновению выругался, прошелся раза два по комнате и сказал:

— Ладно. Про медведя молчи, а я скажу им, что мы в субботу на лосей едем, а у меня в Домшине берлоги обложены.

* * *

Мы долго ехали на прекрасной тройке во время вьюги, потом в какой-то деревнюшке, не помню уж названия, оставили тройку, и мужик на розвальнях еще верст двенадцать по глухому бору тащил нас до лесной сто-

рожки, где мы и выспались, а утром, позавтракав, пошли. Дядя мне дал свой штуцер, из которого я стрелял не раз в цель.

Долго, помню, шли мы на лыжах по старому лыжному следу. Наконец остановились у целой горы бурелома. Место кругом было заранее вытоптано, так что можно ходить без лыж. Меня поставили близ толстой сосны, как раз шагах в восьми от вывороченного и занесенного снегом корня дерева. Под ним-то и была берлога. Дядя стал правее, левее помещик-охотник Ираклион Корчагин, а сзади меня, должно быть, для моей безопасности, Китаев с рогатиной в руках и ножом за поясом. Когда все было готово, лесник влез на кучу бурелома и начал тыкать длинным шестом под коренья вывороченной вековой ели. Сначала щелкнули взводы курков... Потом дядя, улыбаясь, сказал мне:

— Смотри, целься в лопатку, не промахнись,— это твой медведь, целься, не горячись.

— Не зевай,— мигнул мне Корчагин.

Вдруг под снегом раздалось рычанье, а потом рев... Лесник, упершись шестом в снег, прямо с дерева перепрыгнул к нам на утоптанное место. В тот же момент из-под снега выросла почти до половины громадная фигура медведя. Я, не отдавая себе отчета, прицелился и спустил оба курка.

Гром выстрела и страшный рев... Я стоял, облокотясь о сосну, ни жив ни мертв и сразу ничего не видел сквозь дым.

— Браво, молодец! Наповал! — послышался голос дяди, а из берлоги рявкнул Китаев:— Есть!

Когда он успел туда прыгнуть, я и не видал. А медведя не было. Только виднелась громадная яма в снегу, из которой шел легкий пар, и показалась спина и голова Китаева. Разбросали снег, Китаев и лесник вытащили громадного зверя, в нем было, как сразу определил Китаев, и оказалось верно,— шестнадцать пудов. Обе пули попали в сердце. Меня поздравляли, целовали, дивились на меня мужики, а я все еще не верил, что именно я, один я, убил медведя!

Но зато ни один триумфатор не испытывал того, что ощущал я, когда ехал городом, сидя на санях вдвоем с

громадным зверем и Китаевым на козлах. Около гимназии меня окружили товарищи, расспросам конца не было, и потом как я гордился, когда на меня указывали и говорили: «Медведя убил!» А учитель истории Н. Я. Соболев на другой день, войдя в класс, сказал, обращаясь ко мне:

— Здравствуй, ушкуйник! Поздравляю!

Так и пошло — ушкуйник. Да только не надолго!

Ушкуйник-то ушкуйником, а вот кто такой Никитушка Ломов,— заинтересовало меня. Когда я спросил об этом Николая Васильева, то он сказал мне: «Погоди, узнаешь!»— И через несколько дней принес мне запрещенную тогда книгу Чернышевского «Что делать?».

Я зачитался этим романом. Неведомый Никитушка Ломов, Рахметов, который пошел в бурлаки и спал на гвоздях, чтобы закалить себя, стал моей мечтой, моим вторым героем. Первым же героем все-таки был матрос Китаев.

* * *

Матрос Китаев. Впрочем, это было только его деревенское прозвище, данное ему по причине того, что он долго жил в бегах в Японии и в Китае. Это был квадратный человек, как в ширину, так и вверх, с длинными, огромными обезьяньими ручищами и сутулый. Ему было лет шестьдесят, но десяток мужиков с ним не мог сладить: он их брал, как котят, и отбрасывал от себя далеко, ругаясь неистово не то по-японски, не то по-китайски, что, впрочем, очень смахивало на некоторые и русские слова.

Я смотрел на Китаева, как на сказочного богатыря, и он меня очень любил, обучал гимнастике, плаванию, лазанью по деревьям и некоторым невиданным тогда приемам, происхождение которых я постиг десятки лет спустя, узнав тайны джиу-джитсу. Я, начитавшись Купера и Майн-Рида, был в восторге от Китаева, перед которым все американские герои казались мне маленькими. И действительно, они били медведей пулей, а Китаев резал их один на один ножом. Намотав на левую руку овчинный полушубок, он выманивал, растревожив палкой, медведя из берлоги, и когда тот, вылезая, вставал на зад-

ние лапы, отчаянный охотник совал ему в пасть с левой руки шубу, а ножом в правой руке наносил смертельный удар в сердце или в живот.

Мы были неразлучны. Он показывал приемы борьбы, бокса, клал на ладонь, один на другой, два камня и ударом ребра ладони разбивал их или жонглировал бревнами, приготовленными для стройки сарая. По вечерам рассказывал мне о своих странствиях вокруг света, о жизни в бегах в Японии и на необитаемом острове. Не врал старик никогда. И к чему ему врать, если его жизнь была так разнообразна и интересна! Многое, конечно, из его рассказов, так напоминавших Робинзона, я позабыл. Бытовые подробности японской жизни меня, тогда искавшего только сказочного героизма, не интересовали, а вот историю его корабельной жизни и побега я и теперь помню до мелочей, тем более, что через много лет я встретил человека, который играл большую роль в судьбе Китаева во время самого разгара его отчаянной жизни.

Надо теперь пояснить, что Китаев был совсем не Китаев, а Василий Югов, крепостной, барской волей сданный не в очередь в солдаты и записанный под фамилией Югов в честь реки Юг, на которой он родился. Тогда вологжан особенно охотно брали в матросы. Васька Югов скоро стал известен, как первый силач и отчаянная голова во всем флоте. При спуске на берег в заграничных гаванях Васька в одиночку разбивал таверны и уродовал в драках матросов иностранных кораблей, всегда счастливо успевая спасаться и являться иногда вплавь на свой корабль, часто стоявший в нескольких верстах от берега на рейде. Ему всыпали сотни линьков, гоняли сквозь строй, а при первом отпуске на берег повторялась та же история с эпилогом из линьков — и все как с гуся вода.

Так рассказывал Китаев:

— Бились со мной, бились на всех кораблях и присудили меня послать к Фофану на усмирение. Одного имени Фофана все, и офицеры и матросы, боялись. Он и вокруг света сколько раз хаживал и в Ледовитом океане за китом плавал. Такого зверя, как Фофан, отродясь на свете не бывало: драл собственноручно, меньше семи зубов

с маху не вышибал, да еще райские сады на своем корабле устраивал.

Китаев улыбался своим беззубым ртом. Зубов у него не было: половину в рекрутстве выбили да в драках по разным гаваням, а остатки Фофан доколотил. Однако отсутствие зубов не мешало Китаеву есть не только хлеб и мясо, но и орехи щелкать, челюсти у него давно закостенели и вполне заменяли зубы.

— А райские сады Фофан так устраивал: возьмет да и развесит провинившихся матросов в веревочных мешках по реям... Висим и болтаемся... Это первое наказание у него было. Я болтался-болтался как мышь на нитке... Ну, привык, ничего — заместо качели, только скрюченный сидишь, неудобно малость.

И он, скорчившись, показал ту позу, в какой в мешках сиживал.

— Фофан был рыжий, так, моего роста и такой же широкий, здоровущий и красный из лица, как медная кастрюля, вроде индейца. Пригнали меня к нему как раз накануне отхода из Кронштадта в Камчатку. Судно, как стеклышко, огнем горит — надраили. Привели меня к Фофану, а он уже знает.

— Васька Югов?— спрашивает.

— Есть!— отвечаю.

— Крузенштерн,— а я у Крузенштерна на последнем судне был,— не справился с тобой, так я справлюсь.— И мигнул боцману. Ну, сразу за здраю-желаю полсотни горячих всыпали. Дело привычное, я и глазом не моргнул, отмолчался. Понравилось Фофану. Встаю, обеими руками, согнувшись, подтягиваю штаны, а он мне:

— Молодец, Югов.

Бросил я штаны, вытянулся по швам и отвечаю: есть! А штаны-то и упали. Еще больше это понравилось Фофану, что штаны позабыл для ради дисциплины.

— На сальник!— командует мне Фофан.

А потом и давай меня по вантам, как кошку, гонять. Ну, дело знакомое, везде первым марсовым был, понравился... С час гонял — а мне что! Похвалил меня Фофан и гаркнул:

— Будешь безобразничать — до кости шкуру спущу!

И спускал. Вот, то есть как, за всякие пустяки

в мешках на реи подвешивал. Прямо зверь был. Убить его не раз матросы собирались, да боялись подступиться.

Фофан меня лупил за всякую малость. Уже просто человек такой был, что не мог не зверствовать. И вышло от этого его характера вот какое дело. У берегов Японии, у островов каких-то, Фофан приказал выпороть за что-то молодого матроса, а он болен был, с мачты упал и кровью харкал. Я и вступись за него, говорю, сталобыть, Фофану, что лучше меня, мол, порите, а не его, он не вынесет... И взбеленился зверяга...

— Бунт? Под арест его. К расстрелу!— Орет, и пена от злобы у рта.

Бросили меня в люк, а я и уснул. Расстреляют-то завтра, а я пока высплюсь.

Вдруг меня кто-то будит:

— Дядя Василий, тебя завтра расстреляют, беги,— земля видна, доплывешь.

Гляжу, а это тот самый матрос, которого наказать хотели... Оказывается, все-таки Фофан простил его по болезни... Поцеловал я его, вышел на палубу; ночь темная, волны гудят, свищут, море злое, да все-таки лучше расстрела... Нырнул на счастье, да и очутился на необитаемом острове... Потом ушел в Японию с ихними рыбаками, а через два года на «Палладу» попал, потом в Китай и в Россию вернулся.

* * *

Директором гимназии был И. И. Красов. В первый раз я его увидел в классе так:

— Иван Иванович... Иван Иванович...— зашептал класс и смолк.

Я еще не знал, кто такой Иван Иванович, но слышал тяжелые, слоновьи шаги по коридору, и при каждом шаге вздрагивала стеклянная дверь нашего класса. Шаги смолкли, и в открытой двери появился сначала синий громадный шар с блестящими пуговицами, затем белая-белая коротенькая ручка и, наконец, синий шар сделал какое-то смешное движение, пролез в дверь и, вместе с ним, появилась добродушная физиономия с длинным

утиным носом и едва заметными сонными глазками. Из-под шара и руки, опершейся на косяк, показалась не то тарелка киселя, не то громадное голое колено и выскочила маленькая старческая бритая фигура инспектора Игнатьева с седой бахромой под большими ушами. И ринулся маленький, семеня ножками, к доске, и вытащил из-за нее спрятавшегося Клишина.

— Уж тут себе... Уж тут себе... На колени, мерзавец!..

— Иван Иванович, простите... Иван Львович...— то в одну, то в другую сторону оборачивался с колен лунообразный купеческий сынок Клишин.

— Иван Иванович... У меня штаны новые — отец драться будет.

— Потому что... да, да, да...— тоненьким тенорком раскатился Иван Иванович и, повернувшись, стал вправлять свой живот в дверь, избоченился и скрылся.

— Уж тут себе... Уж тут себе... Вставай, скотина... Не тебя жалею, лупетка толстая, штанов твоих родительских...— И засеменил за директором.

— Го-го-го... го-го-го... — раскатился басом зырянин Забоев. Четырехугольная фигура, четырехугольное лицо, четырехугольные лоб и нос. В первом классе он сидел 6 лет. Приезжал из Сольвычегодского уезда по зимам, за тысячу верст, на оленях, его отец-зырянин, совершенный дикарь, останавливался за заставой на всполье, в сорокаградусные морозы, и сын ходил к нему ночевать и есть сырое мороженое оленье мясо. В этом же году его выгнали за скандал: он пьяный ночью побросал с соборного моста в реку патруль из четырех солдат, вместе с ружьями. А Клишин вышел из гимназии перед рождеством и той же зимой женился. Таких великовозрастных было много в первом классе. Конечно, все они были пороты. Хотя телесное наказание было уже запрещено в гимназиях, но у нас сторожа Онисим и Андрей каждое воскресенье устраивали «парти плезиры» на всполье, в тундру, специально для заготовления розог, которые и хранили в погребе.

— Чтобы свежие были!

Употреблять их приходилось все-таки редко, но традиции велись. Оба сторожа, николаевские солдаты, ни-

когда не могли себе представить, что можно ребят не пороть.

— Ум выгонять надо оттуда, чтобы он в голову шел,— совершенно безапелляционно заявил Онисим и сокрушался, что «мало порют ныне».

Мой отец тоже признавал этот способ воспитания, хотя мы с ним были вместе с тем большими друзьями ходили на охоту и по нескольку дней, товарищами, проводили в лесах и болотах. В 12 лет я отлично стрелял и дробью и пулей, ездил верхом и был неутомим на лыжах. Но все-таки я был такой безобразник, что будь у меня такой сын теперь, в XX веке, я, несмотря ни на что, обязательно порол бы его.

Когда отец женился во второй раз, муштровала меня аристократическая родня мачехи, ее сестры, да какая-то баронесса Матильда Ивановна, с коричневым старым псом Жужу!.. В первый раз меня выпороли за то, что я, купив сусального золота, вызолотил и высеребрил Жужу такие места, которые у собак совершенно не принято золотить и серебрить.

* * *

Сидели все на балконе и пили кофе Были гости. Матильда Ивановна сухая, чопорная, в шелковой косынке, что-то вязала. Вдруг вбегает Жужу, на минутку садится, взвизгивает, вертится, поднимает ногу и тщетно старается слизнуть золото, а оно так и горит. Что тут было! Меня тетеньки поймали в саду, привели дворню и выпороли в беседке. Одна из тетенек, дева не первой свежести, собственноручно нарвала крапивы и велела ввязать ее в розги. Потом я ей за это жестоко отомстил. Стал к нам ездить офицер, за которого она вышла потом замуж. По вечерам они уходили в старую беседку, в ту самую, где меня пороли, и мирно беседовали вдвоем. Я проломал гнилую крышу у беседки утром, а вечером, когда они сидели на диване и объяснялись в любви, я влез на соседний высокий забор и в эту дыру на крыше, прямо на голову влюбленных, высыпал целую корзину наловленных в пруде крупных жирных лягушек, штук сто! Визг тети и оранье испуганного храброго вояки-же-

ниха, гордившегося медалью за усмирение Польши, я услышал уже из конца чужого сада. Мне за это ничего не было. Жених и невеста молчали об этом факте, и много лет спустя я, будучи уже самостоятельным, сознался тете, с которой подружился. Оказывается, что лягушки-то и устроили ее будущую счастливую семейную жизнь. Это был лягушечий период. Справа от нашего дома жил мальчик Костя. За то, что он фискалил и жаловался на меня, я посадил его в чан, где на дне была вода и куда я накидал полсотни лягушек. Конечно, Костя пожаловался, и я был сечен долго и больно. Это было требование отца Кости, старого бритого чиновника, ходившего в фризовой шинели и засаленном форменном картузе. Эту шинель потом я, в отместку за порку, всю разрисовал масляной охрой, все кругами, кругами. Догадывались, но уличить меня не смели. Для исполнения цели надо было рано утром влезть из сада в окно и в сенцах, где висела шинель, поработать над ней. Через неделю шинель поотчистили, но желтые круги все-таки были видны даже через улицу.

— Хорошенькие воспоминания детства: только одни шалости, а где же ученье?

— Извольте. Ученье? Да, собственно говоря, ученья-то у меня было мало.

Молодой ум вечно кипел сомнениями. Учишь в законе божием, что кит проглотил пророка Иону, а в то же время учитель естественной истории Камбала рассказывает, что у кита такое маленькое горло, что он может глотать только мелкую рыбешку. Я к отцу Николаю. Рассказываю.

— И выходишь ты дурак! И кто тебя учит этой ереси — тоже дурак выходит. Сказано: во чреве китове три дня и три нощи. А если еще будешь спрашивать глупости — в карцер. Написано в книге и учи. Что, глупее тебя, что ли, святые-то отцы, оболтус ты эдакий?

— А Камбала — тот свое.

— И сравнению не подлежит! Это обыкновенный кит, и он может только глотать малую рыбешку, а тот был кит другой, кит библейский — тот и пророка может. А ты дурак, за неподобающие вопросы выйди из класса!

И в конце концов, иногда при круглых пятерках по предметам, стояло три с минусом за поведение. Да еще на грех стал я стихи писать. И немало пострадал за это...

* * *

В театр впервые я попал зимой 1865 года, и о театре до того времени не имел никакого понятия, разве, кроме того, что читал афиши на стенах и заборах. Дома у нас никогда не говорили о театре и не посещали его, а мы, гимназисты первого класса, только дрались на кулачки и делали каверзы учителям и сторожу Онисиму.

В один прекрасный день я вернулся из гимназии, и тетя сказала мне:

— Сегодня я беру тебя в театр, у нас ложа,— и указала на огромный зеленый лист мягкой бумаги, висевший на стене, где я издали прочел:

— «Идиот».

А потом подошел и прочел всю афишу, буквы которой до сих пор горят у меня в памяти, как начертанные огненные слова на стене дворца Валтасара.

«Вологда. С дозволения начальства. Труппой известных артистов в бенефис Мельникова представлена будет трагедия в 5-ти действиях «Идиот, или Тайна Гейдельбергского замка». Далее действующие лица, а затем и «Дон Ранудо де Калибрадос, или Что за честь, коли нечего есть», при участии известного артиста Докучаева».

Вот только эти два лица и остались тогда в моей памяти, и с обоими из них я впоследствии не раз встречался и вспоминал то огромное впечатление, которое они на меня тогда произвели. И говорил мне тогда Мельников:

— Не удивительно, батенька! Такого Идиота, как я, вы не увидите. Нас только на всю Россию и есть два Идиота — я да Погонин.

Действительно, Идиот был коронной ролью того и другого. Мельников был знаменитостью и Докучаев тоже.

Так вот какие две знаменитости того времени произвели на меня впечатление и заставили полюбить театр.

Когда мы пришли в зрительный зал, зажигали только еще свечи и лампы. Мы сидели в литерной бельэтажа,

сбоку. Входила публика. В первый ряд прошел толстенный директор нашей гимназии И. И. Красов в форменном сюртуке, за ним петушком пробежал курчавый, как пудель, француз Ранси. Полицмейстер с огромными усами, какой-то генерал, похожий на Суворова, и мой отец стояли, прислонясь к загородке оркестра, и важно оглядывали публику, пока играла музыка, и потом все они сели в первом ряду... Вдруг поднялся занавес — и я обомлел. Грозные серые своды огромной тюрьмы, и по ней мечется с визгом и воем, иногда останавливаясь и воздевая руки к решетчатому окну, несчастный, бледный юноша, с волосами по плечам, с лицом мертвеца. У него ноги голые до колен, на нем грязная длинная женская рубашка с оборванным подолом и лохмотьями вместо коротких рукавов... И вот эта-то самая первая сцена особенно поразила меня, и я во все время учебного года носился во время перемен по классу, воздевая руки кверху, и играл Идиота, повторяя сцены по требованию товарищей. Это так интересовало класс, что многие, никогда не бывавшие в театре, пошли на «Идиота» и давали потом представление в классе. После окончания пьесы Мельникова вызывали без конца, и, когда еще раз вызвали его перед началом водевиля и он вышел в сюртуке, я успокоился, убедившись, что это он «только представлял нарочно». Окончательно же успокоился на водевиле и выучил распевать товарищей некоторые запомнившиеся куплеты:

Нужно поручительство, —
Где порук найти, —
Ваше покровительство
Может нас спасти...

И после «Идиота» в классе копировал Докучаева, передавая важность дон Ранудо... И это увлечение театром продолжалось до следующего учебного года, когда я увлекся цирком и ради сальто-морталей забыл Идиота и важного дон Ранудо.

Представление «Царь Максемьян» солдатами в казармах в 1866 году произвело на наших гимназистов впечатление неотразимое, и много фраз из этого произведения долго были ходячими, а некоторые сцены мы разыг-

рывали в антрактах. Представление это было всего только один раз, и гимназистов было человек десять, попавших на «Максемьяна» только благодаря тому, что они были или дети, или знакомые гарнизонных офицеров. Зато мы, то есть каждый из этого десятка, были героями дня в классе, и нас заставляли разыгрывать сцены и рассказывать о виденном и слышанном.

— Не подходи ко мне с отвагою, а то проколю тебя сею шпагою, — повторяли мы ежедневно и много лет при всяком удобном случае, причем шпагу изображала ручка или карандаш.

* * *

Из учителей останется в памяти у всех моих товарищей, которые еще есть в живых, учитель естественной истории Порфирий Леонидович, прозванный Камбалой.

Это был длинный, худой, косой и лопоухий субъект, при ходьбе качавшийся в обе стороны. Удивительный мечтатель. Он вечно витал в эмпиреях, а может быть, вечно был влюблен. Никогда не садился на кафедру. Ему сносили кресло к первой парте, где он и располагался. Сядет, обоймет журнал, закатит косые глаза в потолок и переносится в другой мир, как только ученик начнет отвечать. В мечтательном состоянии так и летели четверки и пятерки. Только надо было знать первые строки спрашиваемого урока, а там — барабань, что хочешь: он, уловив первые слова, уже ничего не слышит.

— Гиляровский.

Выхожу.

— Собака!

— Собака, Порфирий Леонидович.

— Собака!

— Собака — Canis familiaris.

— Вер-рно!..

И закатит глаза.

— Собака — Canis familiaris!.. Достигает величины семи футов, покровы тела мохнатые, иногда может летать по воздуху, потому что окунь водится в речных болотах отдаленной Аравии, где съедает косточки кокосов, питаю-

щихся белугами или овчарками, волкодавами, бульдогами, догами, барбосками, моськами и канисами фамилиарисами...

Он прислушивается на момент.

— Собака, Порфирий Леонидович, водится в северных странах, у самоедов, где они поедают друг друга среди долины ровной, на гладкой высоте, причем торопливо не свивают долговечного гнезда... Собака считается лучшим другом человека... Я кончил, Порфирий Леонидович.

— А?.. Что?.. Кончил?

— Собака считается лучшим другом человека...

— Чело-ве-ека... О-ох!..

И закатит глаза.

— Хорошо, садись.

— Засецкий — окунь!

— Окунь, Порфирий Леонидович.

— Окунь!

— Окунь — Perca fluviatilis. Водится в реках и озерах средней России.

Засецкий, первый ученик, отвечает великолепно и получает ту же пятерку, что и я... Класс уже приучен, и что ни ври,— смеется тихо, чтобы не помешать товарищу. Так преподавалась естественная история. Изучали мышей и крыс. Мы принесли с десяток мышей и мышат, опустили их в форточку между окнами, и они во мху, уложенном вместо ваты, жили прекрасно. На веревочке спускали им баночки с водой, молоко и бросали всякую снедь. И когда раз Камбала, поймав в незнании урока случайно остановившегося посреди ответа ученика, на него раскричался и грозил единицей, — мы отвлекли его гнев указанием на мышей. Камбала расчувствовался и долго рассказывал, стоя у окна, о мышах, потом перешел на муравьев, на слонов, и, наконец, когда уже раздался звонок к перемене, сказал:

— Милые зверьки... Только, я думаю, что их сторожа разгонят...

— Да мы, Порфирий Леонидович, не покажем их...

Но как раз в эту минуту влетел инспектор, удивившийся, что после звонка перемены класс не выходит,— и пошла катавасия! К утру мышей не было.

— Гадов развели, озорники беспутые,— ругал нас сторож Онисим.

Но на класс кары не последовало. А сидели раз два часа без обеда всем классом за другое; тогда я был еще в первом классе. Зима была холодная. Нежностей, вроде нехождения в класс, не полагалось. В 40 градусов с лишком мы также бегали в гимназию, раза два по дороге оттирая снегом отмороженные носы и щеки, в чем также нередко помогали нам те же сторожа Онисим и Андрей, относясь к помороженным с отеческой нежностью. Бывали морозы и такие, что падали на землю замерзшие вороны и галки. И вот кто-то из наших второклассников принес в сумке пару замерзших ворон и, конечно, в класс, в парту. Птицы отогрелись, рванулись — и прямо в окно. Загремели стекла двойных рам, класс наполнился холодом, а птицы улетели. Тогда отпустили всех по домам, а на другой день второй класс и нас почему-то продержали два часа после занятий. За что наш класс,— так и не знаю. Но с тех пор в морозы больше 40 градусов нас отпускали обратно. Распорядиться же не приходить в 40 градусов совершенно в гимназию было нельзя, потому что на весь наш губернский город едва ли был десяток градусников у самых важных лиц. Обыкновенные обыватели о градусниках и понятия не имели. Вешать же на каланчах морозные флаги никто и не додумался тогда.

Кроме Камбалы, человека безусловно доброго и любимого нами, нельзя не вспомнить двух учителей, которых мы все не любили. Это были чопорные и важные иностранцы, совершенно непохожие на всех остальных наших милых чиновников, в засаленных синих сюртуках и фраках, редко бритых, говоривших на «о». Влетали нам от них иногда и легкие подзатыльники, и наказания в виде стояния на коленях. Но все это делалось просто, мило, по-отечески, без злобы и холодности. Учитель французского языка м-р Ранси, всегда в чистой манишке и новом синем фраке, курчавый, как пудель, говорят, был на родине парикмахером. Его терпеть не могли. Немец Робст ни слова не знал по-русски, кроме: «Пошель, на уколь, свинь рюски», и производил впечатление самого тупоголового колбасника. Первые его уроки были

утром, три раза во втором классе и три раза в третьем. Для первого начала, когда он появился в нашей гимназии, ему в третьем классе прочли вместо молитвы: «Чижик, чижик, где ты был» и т. д.

Это было в понедельник. Второй класс узнал — и тоже «чижика» закатил. Так продолжалось с месяц. Вдруг на наш первый урок вместе с немцем ввалился директор.

— Читай молитву, — приказал он первому ученику.

И тот начал читать молитву перед учением. Немец изумленно вытаращил белые глаза и спросил:

— Пашиму не тшиджик-тшиджик?

Дело разъяснилось, и вышел скандал. Конечно, я сидел в карцере, хотя ни разу не читал ни молитвы, ни «чижика». В том же году, весной, во второй половине, к экзаменам приехал попечитель округа князь Ливен. Железной дороги не было, и по телеграфу заблаговременно, то есть накануне приезда, узнало начальство о его прибытии. Пошли мытье и чистка. Нас выстраивали в классе и осматривали пуговицы. Мундиры с красными воротниками с шитьем за год перед этим отменили, и мы ходили в черных сюртуках с синими петлицами. Выстроили нас всех в актовом зале. Осмотрели маленьких. Подошли к шестому и седьмому классам директор с инспектором и заволновались, зажестикулировали. И смешно на них, маленьких да пузатеньких, было смотреть перед строем рослых бородатых юношей. Бородатые были и в младших классах. Так, во втором классе был старожил Гудвил, более похожий по длинным локонам и бородище на соборного дьякона.

— Потому что... Потому что... Я... да... да... Остричься!.. — визжал директор.

— Уж тут себе... Уж тут себе... Обриться!.. — вторил Тыква.

Инспектора звали Тыквой за его лысую голову. И посыпались угрозы выгнать, истолочь в порошок, выпороть и обрить на барабане всякого, кто завтра на попечительский смотр не обреется и не острижется. Приехал попечитель, длинный и бритый. И предстали перед ним старшие классы, высокие и бритые — в полумасках. Загорелые лица и белые подбородки и верхние губы свежеобритые... Смешные физиономии были,

* * *

Из того, что я учил и кто учил, осталось в памяти мало хорошего. Только историк и географ Николай Яковлевич Соболев был яркой звездочкой в мертвом пространстве. Он учил шутя и требовал, чтобы ученики не покупали пособий и учебников, а слушали его. И все великолепно знали историю и географию.

— Ну, так какое же, Ордин, озеро в Индии и какие и сколько рек впадают в него?

— Там... мо... мо... Индийский океан...

— Не океан, а только озеро... Так забыл, Ордин?

— Забыл, Николай Яковлевич. У меня книжки нет.

— На что книжка? Все равно забудешь... Да и не трудно забыть — слова мудреные, дикие... Озеро называется Манасаровар, а реки — Пенджаб, что значит пятиречье... Слова тебе эти трудны, а вот ты припомни: пиджак и мы на самоваре. Ну, не забудешь? Галахов! Какую ты Новую Гвинею начертил на доске? Это, братец, окорок, а не Новая Гвинея... Помни, Новая Гвинея похожа на скверного, одноногого гуся... А ты окорок.

В третьем классе явился Соболев на первый урок русской истории и спросил:

— Книжки еще не покупали?

— Не покупали.

— И не покупайте, это не история, в ней только и говорится, что такой-то царь побил такого-то, такой-то князь такого-то и больше ничего... Истории развития народа и страны там и нет.

И Соболев нам рассказывает русскую историю, давая записывать имена и хронологические даты, очень ловко играя на цифрах, что весьма легко запоминалось.

— Что было в 1380 году?

Ответишь.

— А ровно через сто лет?

Все хорошо запоминалось. И самое светлое воспоминание осталось о Соболеве. Учитель русского языка, франтик Билевич, завитой и раздушенный, в полную противоположность всем другим учителям, был предметом насмешек за его щегольство.

— Они всё женятся! — охарактеризовал его Онисим.

Действительно, это был «жених из ножевой линии» и плохо преподавал русский язык. Мне от него доставалось за стихотворения-шутки, которыми занимались в гимназии двое: я и мой одноклассник и неразлучный друг Андреев Дмитрий. Первые силачи в классе и первые драчуны, мы вечно ходили в разорванных мундирах, дрались всюду и писали злые шутки на учителей. Все преступления нам прощались, но за эпиграммы нам тайно мстили, придираясь к рваным мундирам.

* * *

Вдруг совершенно неожиданно, в два-три дня по осени выросло на городской площади высокое круглое деревянное здание необъятной высоты.

ЦИРК АРАБА-КАБИЛА ГУССЕЙН БЕН-ГАМО

Я в дикий восторг пришел. Настоящего араба увижу, да еще араба-кабила, да еще — Гуссейн Бен-Гамо!..

И все, что училось и читалось о бедуинах и об арабах и о верблюдах, которые питаются после глотающих финики арабов косточками, и самум, и Сахара — все при этой вывеске мелькнуло в памяти, и одна картина ярче другой засверкала в воображении. И вдруг узнаю, что сам араб-кабил с женой и сыном живут рядом с нами. Какой-то черномазый мальчишка ударил палкой нашу черную Жучку. Та завизжала. Я догнал мальчишку, свалил его и побил. Оказалось, что это Оська, сын араба-кабила. Мы подружились. Он родился в России и не имел понятия ни об арабах, ни об Аравии. Отец был обруселый араб, а мать совсем русская. Оська учился раньше в школе и только что его отец стал обучать цирковому искусству. Два раза в неделю, по средам и пятницам с 9 часов утра до 2 часов дня, а по понедельникам и четвергам с 4 часов вечера до 6 часов отец Оську обучал. Араб-кабил был польщен, что я подружился с его сыном, и начал нас вместе «выламывать». Я был ловчее и сильнее Оськи, и через два месяца мы оба отлично работали на трапеции, делали сальто-мортале и прыгали

без ошибки на скаку на лошадь и с лошади. В то доброе старое время не было разных предательских кондуитов и никто не интересовался — пропускают уроки или нет. Сказал: голова болела или отец не пустил — и конец, проверок никаких. И вот в два года я постиг, не теряя гимназических успехов, тайны циркового искусства, но таил это про себя. Оська уже работал в спектаклях («Малолетний Осман»), а я только смотрел, гордо сознавая, что я лучше Оськи все сделаю. Впоследствии не раз в жизни мне пригодилось цирковое воспитание, не меньше гимназии. О своих успехах я молчал и знание берег про себя. Впрочем, раз вышел курьез. Это было на страстной неделе, перед причастием. Один, в передней гимназии, я делал сальто-мортале. Только что, перевернувшись, встал на ноги, — передо мной законоучитель, стоит и крестит меня.

— Окаянный, как это они тебя переворачивают? А ну-ка еще!..

— Я не буду, отец Николай, простите.

— Вот и не будешь теперь!.. Вчера только исповедывались, а они уже вселились!

А сам крестит.

— Нет, ты мне скажи, отчего нечистая сила тебя эдак крутит?

Я сделал двойное. Батя совсем растерялся.

— Свят, свят... Да это ты никак сам...

— Сам.

— А ну-ка!

Я еще сделал.

— Премудрость... Вот что, Гиляровский, на пасхе заходи ко мне, матушка да ребята мои пусть посмотрят...

— Отец Николай, уж вы не рассказывайте никому...

— Ладно, ладно... Приходи на второй день. Куличом накормим. Яйца с ребятами покатаешь. Ишь ты, окаянный! Сам дошел... А я думал уж — они в тебя, нечистые, вселились, да поворачивают... Крутят тебя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В НАРОД

Побег из дома. Холера на Волге. В бурлацкой лямке. Аравушка. Улан и Костыга. Пудель. Понизовая вольница. Крючники. Разбойная станица. Артель атамана Репки. Красный жилет и сафьянная кобылка. Средство от холеры. Арест Репки. На выручку атамана. Холера и пьяный козел. Приезд отца. Встреча на пароходе. Кисмет!

Это был июнь 1871 года. Холера уже началась. Когда я пришел пешком из Вологды в Ярославль, там участились холерные случаи, которые, главным образом, проявлялись среди прибрежного рабочего народа, среди зимогоров-грузчиков. Холера помогла мне выполнить заветное желание попасть именно в бурлаки, да еще в лямочники, в те самые, о которых Некрасов сказал: «То бурлаки идут бичевой...»

Я ходил по Тверицам, любовался красотой нагорного Ярославля, по ту сторону Волги, дымившими у пристаней пассажирскими пароходами, то белыми, то розовыми, караваном баржей, тянувшихся на буксире... А где же бурлаки?

Я спрашивал об этом на пристанях — надо мной смеялись. Только один старик, лежавший на штабелях теса, выгруженного на берег, сказал мне, что народом редко водят суда теперь, тащат только маленькие унжаки и коломенки, а старинных расшив что-то давно уже не видать, как в старину было.

— Вот только одна вчера такая вечером пришла, настоящая расшива, и сейчас, так версты на две выше Твериц, стоит; тут у нас бурлацкая перемена спокон веку была, аравушка на базар сходит, сутки, а то и двое, отдохнет. Вон гляди!..

И указал он мне на четверых загорелых оборванцев в лаптях, выходивших из кабака. Они вышли со штофом в руках и направились к нам; их должно быть, привлекли эти груды сложенного теса.

— Дедушка, можно у вас тут выпить и закусить?

— Да пейте, кто мешает!

— Вот спасибо, и тебе поднесем!

Молодой малый, белесоватый и длинный, в синих узких портках и новых лаптях, снял с шеи огромную вязку кренделей. Другой, коренастый мужик, вытащил жестяную кружку, третий выворотил из-за пазухи вареную печенку с хороший каравай, а четвертый, с черной бородой и огромными бровями, стал наливать вино, и первый стакан поднесли деду, который на зов подошел к ним.

— А этот малый с тобой, что ли?— мигнул черный на меня.

— Так, работенку подыскивает...

— Ведь вы с той расшивы?

— Оттоль! — И поманил меня к себе. — Седай!

Черный осмотрел меня с головы до ног и поднес вина. Я в ответ вынул из кармана около рубля меди и серебра, отсчитал полтинник и предложил поставить штоф от меня.

— Вот, гляди, ребята, это все мое состояние. Пропьем, а потом уж вы меня в артель возьмите, надо и лямку попробовать... Прямо говорить буду, деваться некуда, работы никакой не знаю, служил в цирке, да пришлось уйти, и паспорт там остался.

— А на кой ляд он нам?

— Ну что ж, ладно! Айда с нами, по заре выходим.

Мы пили, закусывали, разговаривали... Принесли еще штоф и допили.

— Айда-те на базар, сейчас тебя обрядить надо... Коньки брось, на липовую машину станем!

Я ликовал. Зашли в кабак, захватили еще штоф, два каравая ситного, продали на базаре за два рубля мои

сапоги, купили онучи, три пары липовых лаптей и весьма любовно указали мне, как надо обуваться, заставив меня три раза разуться и обуться. И ах! как легко после тяжелой дороги от Вологды до Ярославля показались мне лапти, о чем я и сообщил бурлакам.

— Нога-то как в трактире! Я вот сроду не носил сапогов,— утешил меня длинный малый.

* * *

Приняла меня аравушка без расспросов, будто пришел свой человек. По бурлацкому статуту не подобает расспрашивать, кто ты, да откуда.

Садись, да обедай, да в лямку впрягайся! А откуда ты, никому дела нет. Накормили меня ужином, кашицей с соленой судачиной, а потом я улегся вместе с другими на песке около прикола, на котором был намотан конец бичевы, а другой конец высоко над водой поднимался к вершине мачты. Я уснул, а кругом еще разговаривали бурлаки, да шумела и ругалась одна пьяная кучка, распивавшая вино. Я заснул как убитый, сунув лицо в песок — уж очень комары и мошкара одолевали, особенно, когда дым от костра несся в другую сторону.

Я проснулся от толчка в бок и голоса над головой:

— Вставай, ребятушки, встава-ай...

Песок отсырел... Дрожь проняла все тело... Только что рассвело... Травка не колыхнется, роса на листочке поблескивает... Ветерок пошевеливает белый туман над рекой... Вдали расшива кажется совсем черной...

— Подходи к отвальной!

Около приказчика с железным ведром выстраивалась шеренга вставших с холодного песка бурлаков с заспанными лицами, кто расправлял наболелые кости, кто стучал от утреннего холода зубами.

Согреться стаканом сивухи — у всех было единой целью и надеждой. Выпивали... Отходили... Солили ломти хлеба и завтракали... Кое-кто запивал из Волги в нападку водой с песочком и тут же умывался, утираясь кто рукавом, кто полой кафтана. Потом одежду, а кто запасливый, так и рогожу, на которой спал, валили в лодку, и приказчик увозил бурлацкое имущество к посуди-

не. Ветерок зарябил реку... Согнал туман... Засверкали первые лучи восходящего солнца, а вместе с ним и ветерок затих... Волга — как зеркало... Бурлаки столпились возле прикола, вокруг бичевы, приноравливаясь к лямке.

— Хомутайсь! — рявкнул косной с посудины...

Стали запрягаться, а косной ревел:

— Залогу!..

Якорные подъехали на лодке к буйку, выбрали канаты, затянули «Дубинушку», и, наконец, якорь показал из воды свои черные рога...

— Ходу, ребятушки, ходу! — надрывался косной.

— Ой, дубинушка, ухнем, ой, лесовая, подернем, подернем, да ух, ух, ух...

Расшива неслышно зашевелилась.

— Ой, пошла, пошла, пошла...

А расшива еще только шевелилась и не двигалась... Аравушка топталась на месте, скрипнула мачта...

— Ой, пошла, пошла, пошла...

* * *

То мы хлюпали по болоту, то путались в кустах.

Ну и шахма! Вся тальником заросла. То в болото, то в воду лезь.

Ругался «шишка» Иван Костыга, старинный бурлак, из низовых.

— На то ты и «гусак», чтобы дорогу-путь держать,— сказал «подшишечный» Улан, тоже бывалый.

— Да нешто это наш бичевник!.. Пароходы съели бурлака... Только наш Пантюха все еще по старой вере.

— Недаром кормился и отец мой и я. Душу свою нечистому не отдам. Что такое пароходы? Кто их возит? Души утопленников колеса вертят, а нечистые их огнем палят...

Этот разговор я слышал еще накануне, после ужина. Путина, в которую я попал, была случайная. Только один на всей Волге старый «хозяин» Пантелей из-за Утки-Майны водил суда народом, по старинке.

Короткие путины, конечно, еще были: народом поднимали или унжаки с посудой или паузки с камнем, и наша единственная уцелевшая на Волге Крымзенская

расшива была анахронизмом. Она была старше Ивана Костыги, который от Утки-Майны до Рыбны больше двадцати путин сделал у Пантюхи, и потому с презрением смотрел и на пароходы и на всех нас, которых бурлаками не считал. Мне посчастливилось, он меня сразу поставил третьим, за подшишечным Уланом, сказав:

— Здоров малый,— этот сдержить!

И Улан подтвердил: сдержить!

И приходилось сдерживать,— инда икры болели, грудь ломило и глаза наливались кровью.

— Суводь [1], робя, держись. О-го-го-го...— загремело с расшивы, попавшей в водоворот.

И на повороте Волги, когда мы переваливали песчаную косу, сразу натянулась бичева, и нас рвануло назад.

— Над-дай, робя, у-ух! — грянул Костыга, когда мы на момент остановились и кое-кто упал.

— Над-дай! Не засарива-ай!..— ревел косной с прясла.

Сдержали. Двинулись, качаясь и задыхаясь... В глазах потемнело, а встречное течение — суводь — еще крутило посудину.

— Федька, пудиля!— хрипел Костыга.

И сзади меня чудный высокий тенор затянул звонко и приказательно:

— Белый пудель шаговит...

— Шаговит, шаговит...— отозвалась на разные голоса ватага, и я тоже с ней.

И установившись в такт шага, утопая в песке, мы уже пели черного пуделя.

— Черный пудель шаговит, шаговит... Черный пудель шаговит, шаговит.

И пели, пока не побороли встречное течение.

А тут еще десяток мальчишек с песчаного обрывистого яра дразнили нас:

— Аравушка! аравушка! обсери берега!

Но старые бурлаки не обижались, и никакого внимания на них.

— Что верно, то верно, время холерное!

---

[1] Суводь — порыв встречного течения.

— Правдой не задразнишь,— кивнул на них Улан.

Обессиленно двигались. Бичева захлюпала по воде. Расшива сошла со стержня...

— Не зас-сарива-ай!.. — И бичева натягивалась.

— Еще ветру нет, а то искупало бы!— обернулся ко мне Улан.

— Почему Улан?— допытывался я после у него. Оказывается, давно это было — остановили они шайкой тройку под Казанью на большой дороге, и по дележу ему достался кожаный ящик. Пришел он в кабак на пристани, открыл,— а в ящике всего-навсего только и оказалась уланская каска.

— Ну и смеху было! Так с тех пор и прозвали Уланом.

Смеется, рассказывает.

Когда был попутный ветер — ставили пару и шли легко и скоро, торопком, чтобы не засаривать в воду бичеву.

* * *

Давно миновали Толгу — монастырь на острове.

Солнце закатывалось, потемнела река, пояснел песок, а тальники зеленые в черную полосу слились.

— Засобачивай!

И гремела якорная цепь в ответ.

Булькнули якоря на расшиве... Мы распряглись, отхлеснули чебурки лямочные и отдыхали. А недалеко от берега два костра пылали и два котла кипятились. Кашевар часа за два раньше на завозне прибыл и ужин варил. Водолив приплыл с хлебом с расшивы.

— Мой руки, да за хлеб — за соль!

Сели на песке кучками по восьмеро на чашку. Сперва хлебали с хлебом «юшку», то есть жидкий навар из пшена с «поденьем», льняным черным маслом, а потом густую пшенную «ройку» с ним же. А чтобы сухое пшено в рот лезло, зачерпнули около берега в чашки воды: ложка каши — ложка воды, а то ройка крута и суха, в глотке стоит. Доели. Туман забелел кругом. Все жались под дым, а то комар заел. Онучи и лапти сушили. Я в первый раз в жизни надел лапти и нашел, что удобнее обуви и не придумаешь: легко и мягко.

Кое-кто из стариков уехал ночевать на расшиву.

Федя затянул было «Вниз по матушке...» — да не вышло. Никто не подтянул. И замер голос, прокатившись по реке и повторившись в лесном овраге...

А над нами, на горе, выли барские собаки в Подберезном.

Рядом со мной старый бурлак, седой и почему-то безухий, тихо рассказывал сказку об атамане Рукше, который с бурлаками и казаками персидскую землю завоевал... Кто это завоевал? Кто этот Рукша? Уж не Стенька ли Разин? Рукша тоже персидскую царевну увез.

Скоро все заснули.

Моя первая ночь на Волге. Устал, а не спалось. Измучился, а душа ликовала, и ни клочка раскаяния, что я бросил дом, гимназию, семью, сонную жизнь и ушел в бурлаки. Я даже благодарил Чернышевского, который и сунул меня на Волгу своим романом «Что делать?».

* * *

— Заря зарю догоняет!— вспомнил я деда, когда восток белеть начал, и заснул на песке как убитый.

И как не хотелось вставать, когда утром водолив еще до солнышка орал:

— Э-ге-гей. Вставай, робя... Рыбна не близко еще...

Холодный песок и туман сделали свое дело: зубы стучали, глаза слипались, кости и мускулы ныли.

А около водолива два малых с четвертной водки и стаканом.

— Подходь, робя. С отвалом!

Выпили по стакану, пожевали хлеба, промыли глаза — рукавом кто, а кто подолом рубахи вытерлись...

Лодка подвезла бичеву. К водоливу подошел Костыга.

— Ты, никак, не с расшивы пришел? Опять, что ли?

— Двоих... Одного, который в Ярославле побывшился, сегодня ночью прикащиков племянник, мальчонко... Вонища в казенке у нас. Вон за косой, в тальниках, в песке закопали... Я оттуда прямо сюда...

— Н-да! Ишь ты, какая моровая язва пришла.

— Рыбаки сказывали, что в Рыбне не судом народ валит. Холера, говорят.

— И допрежь бывала она... Всяко видали... По всей Волге могилы-то бурлацкие. Взять Ширмокшанский перекат... Там, бывало, десятками в одну яму валили...

* * *

Уж я после узнал, что меня взяли в ватагу в Ярославле вместо умершего от холеры, тело которого спрятали на расшиве под кичкой — хоронить в городе боялись, как бы задержки от полиции не было... Старые бурлаки, люди с бурным прошлым и с юности без всяких паспортов, молчали: им полиция опаснее холеры. У половины бурлаков паспортов не было. Зато хозяин уж особенно ласков стал: три раза в день водку подносил — с отвалом, с привалом и для здоровья.

Закусили хлебца с водицей: кто нападкой попил, кто горсткой — все равно с песочком.

— Отда-ва-ай!..

«Дернем-подернем, да ух-ух-ух!» — неслось по Волге, и якорь стукнул по борту расшивы.

— Не засарива-ай! О-го-го-го!

— Ходу, брательники, ходу!

— Ой, дубинушка — ухнем. Ой, зеленая, подернем, подернем — да ух!

Зашевелилась посудина... Потоптались минутку, покачались и зашагали по песку молча. Солнце не показывалось, а только еще рассыпало золотой венец лучей.

Трудно шли. Грустно шли. Не раскачались еще...

Укачала — уваляла,
Нашей силушки не стало... —

затягивает Федя, а за ним и мы:

О-о-ох... О-о-ох...
Ухнем да ухнем... У-у-у-х!..
Укачала — уваляла,
Нашей силушки не стало...

Солнце вылезло и ослепило. На душе повеселело. Посудина шла спокойно, боковой ветерок не мешал. На

расшиве поставили парус. Сперва полоскал — потом надулся, и как гигантская утка боком, но плавно покачивалась посудина, и бичева иногда хлопала по воде.

— Ходу, ходу! Не засаривай!

И опять то натягивалась бичева, то лямки свободно отделялись от груди.

Молодой вятский парень, сзади меня, уже не раз бегавший в кусты, бледный и позеленевший, со стоном упал... Отцепили ему на ходу лямку — молча обошли лежачего.

— Лодку! Подбери недужного! — крикнул гусак расшиве.

И сразу окликнул нас:

— Гляди! Суводь! Пуделя!

* * *

Особый народ были старые бурлаки. Шли они на Волгу — вольной жизнью пожить. Сегодняшним днем жили, будет день, будет хлеб!

Я сдружился с Костыгой, более тридцати путин сделавшим в лямке по Волге. О прошлом лично своем он говорил урывками. Вообще, разговоров о себе в бурлачестве было мало — во время хода не заговоришь, а ночь спишь как убитый... Но вот нам пришлось близ Яковлевского оврага за ветром простоять двое суток. Добыли вина, попили порядочно, и две ночи Костыга мне о былом рассказывал...

— Эх, кабы да старое вернуть, когда этих пароходищ было мало! Разве такой тогда бурлак был? Что теперь бурлак? Из-за хлеба бьется! А прежде бурлак вольной жизни искал. Конечно, пока в лямке, под хозяином идешь, послухмян будь... Так разве для этого тогда в бурлаки шли, как теперь, чтобы получить путинные да по домам разбрестись? Но и дома-то своего у нашего брата не было... Хошь до меня доведись. Сжег я барина и на Волгу... Имя свое забыл: Костыга да Костыга... А Костыгу вся бурлацкая Волга знает. У самого Репки есаулом был... Вот это атаман! А тоже, когда в лямке, и он, и я хозяину подчинялись — пока в Нижнем али в Рыбне расчет не получишь. А как получили расчет — мы уже не лямошники, а станишники! Раздобудем в Рыбне завоз-

ню, соберем станицу верную, так, человек десять, и махить на низ... А там по островам еще бурлаки деловые, знаёмые найдутся — глядь, около Камы у нас станица в полсотни, а то и больше... Косовыми разживемся с птицей — парусом... Репка, конечно, атаманом... Его все боялись, а хозяева уважали... Если Репка в лямке — значит посудина дойдет до места... Бывало-че идем в лямке, а на нас разбойная станица налетает, так, лодки две, а то три... Издаля атаман ревет на носу:

— Ложись, дьяволы!

Ну, конечно, бурлаку своя жизнь дороже хозяйского добра. Лодка атаманская дальше к посудине летит:

— Залогу!

Испуганный хозяин или прикащик видит, что ничего не поделаешь, бросит якорь, а бурлаки лягут носом вниз... Им что? Ежели не послушаешь,— самих перебьют да разденут донага... И лежат, а станица очищает хозяйское добро да деньги пытает у прикащика. Ну, с Репкой не то: как увидит атаман Репку впереди — он завсегда первым, гусаком ходил, — так и отчаливает... Раз атаман Дятел, уж на что злой, сунулся на нашу ватагу, дело было под Балымерами, высадился, да и набросился на нас. Так Репка всю станицу разнес, мы все за ним, как один, пошли, а Дятла самого и еще троих насмерть уложили в драке... Тогда две лодки у них отобрали, а добра всякого, еды и одежы было уйма, да вина два бочонка... Ну, это мы подуванили... С той поры ватагу, где был Репка, не трогали... Ну вот, значит, мы соберем станицу так человек в полсотни и все берем: как увидит аравушка Репку-атамана, так сразу тут же носом в песок. Зато мы бурлаков никогда не трогали, а только уж на посуде дочиста все забирали. Ой и добра и денег к концу лета наберем...

Увлекается Костыга — а о себе мало: все Репка да Репка.

— Кончилась воля бурлацкая. Все мужички деревенские, у которых жена да хозяйствишко... Мало нас, вольных, осталось. Вот Улан да Федя, да еще косной Никашка... Эти с нами хаживали.

А как-то Костыга и сказал мне:

— Знаешь что? Хочется старинку вспомнить, разок еще гульнуть. Ты, я гляжу, тоже гулящий... Хошь и молод, а из тебя прок выйдет. Дойдем до Рыбны, а там соберем станицу да махнем на низ, а там уж у меня коечто на примете найдется. С деньгами будем.

А потом задумался и сказал:

— Эх, Репка, Репка. Вот ежели его бы — ну прямо по шапке золота на рыло... Пропал Репка... Годов восемь назад его взяли, заковали и за бугры отправили... Кто он — не дознались...

И начал он мне рассказывать о Репке:

— Годов тридцать атаманствовал он, а лямки никогда не покидал, с весны в лямке, а после путины станицу поведет... У него и сейчас есть поклажи зарытые. Ему золото плевать... Лето на Волге, а зимой у него притон есть, то на Иргизе, то на Черемшане... У раскольников на Черемшане свою избу выстроил, там жена была у него... Раз я у него зимовал. Почет ему ото всех. Зимой постепенному живет, чашкой-ложкой отмахивается, а как снег таять начал — туча тучей ходит... А потом и уйдет на Волгу...

— И знали раскольники — зачем идет?

— И ни-ни. Никто не знал. Звали его там Василий Ивановичем. А что он — Репка, и не думали. Уж после воли как-то летом полиция и войска на скит нагрянули, а раскольники в особой избе сожгли сами себя. И жена Репки тоже сгорела. А он опять с нами на Волге, как ни в чем не бывало... Вот он какой, Репка! И все к нему с уважением, прикащики судовые шапку перед ним ломали, всяк к себе зовет, а там власти береговые быдто и не видят его — знали, кто тронет Репку, тому живым не быть: коли не он сам, так за него пришибут...

* * *

И часто по ночам отходим мы вдвоем от ватаги, и все говорит, говорит, видя, с каким вниманием я слушал его... Да и поговорить-то ему хотелось, много на сердце было всего, всю жизнь молчал, а тут во мне учуял верного человека. И каждый раз кончал разговор:

— Помалкивай. Быдто слова не слышал. Сболтнешь раньше, пойдет блекотанье, ничего не выйдет, а то и беду наживешь... Станицу собирать надо сразу, чтобы не остыли... Наметим, стало быть, кого надо, припасем лодку — да сразу и ухнем...

Надо сразу! Первое дело, не давать раздумываться. А в лодку сели, атамана выбрали, поклялись стоять всяк за свою станицу и слушаться атамана — дело пойдет. Ни один станишник еще своему слову не изменял.

Увлекался старый бурлак.

— Молчок! До Рыбны ни словечка... Там теперь много нашего брата, крючничают... Такую станицу подберем... Эх, Репки нет!

Этот разговор был на последней перемене перед самым Рыбинском...

— Ну, так идешь с нами?

— Ладно, иду, — ответил я, и мы ударили по рукам. — Иду!

— Ладно.

И прижал Костыга палец к губам — рот запечатал.

А мне вспомнился Левашов и Стенька Разин.

* * *

Рассчитались с хозяином. Угостил он водкой, поклонился нам старик в ноги:

— Не оставьте напередки, братики, на наш хлеб-соль, на нашу кашу!

И мы ему поклонились в ноги: уж такой обычай старинный бурлацкий был.

Понадевали сумки лямошники, все больше мужички костромские были,— «узкая порка», и пошли на пароходную пристань, к домам пробираться, а я, Костыга, Федя и косной прямо в трактир, где крючники собирались. Народу еще было мало. Мы заняли стол перед открытым окном, выходящим на Волгу, где в десять рядов стояли суда с хлебом и сотни грузчиков с кулями и мешками быстро, как муравьи, сбегали по сходням, сверкая крюком, бежали обратно за новым грузом. Спросили штоф сивухи, рубца, воблы да яичницу в два десятка яиц заказали.

— С привалом!
— С привалом!

Не успели налить по второму стакану, как три широкоплечих богатыря в красных жилетках, обшитых галуном, и рваных картузах ввалились в трактир. Как сумасшедший вскочил Костыга, чуть стол не опрокинул. Улан за ним... Обнимаются, целуются... и с ними, и с Федей...

— Петля! Балабурда!! Вы откуда, дьяволы?

Составили стол. Сели. Я молчал. Пришедшие на меня покосились и тоже молчали — да выручил Костыга:

— Это свой... Мой дружок, Алеша Бешеный.

Нужно сказать, что я и в дальнейшем везде назывался именем и отчеством моего отца, Алексей Иванов, нарочно выбрав это имя, чтобы как-нибудь не спутаться, а Бешеный меня прозвали за то, что я к концу путины совершенно пришел в силу и на отдыхе то на какую-нибудь сосну влезу, то вскарабкаюсь на обрыв, то за Волгу сплаваю, на руках пройду или тешу ватагу, откалывая сальто-мортале, да еще переборол всех по урокам Китаева. Пришедшие мне пожали своими железными лапами руку.

— Удалой станишник выйдет! — похвалил меня Костыга.

— Жидковат... Ручонка-то бабья, — сказал Балабурда.

Мне это показалось обидно. На столе лежала сдача — полового за горячими кренделями и за махоркой посылали. Я взял пятиалтынный и на глазах у всех согнул его пополам — уроки Китаева — и отдал Балабурде:

— Разогни-ка!

Дико посмотрели на меня, а Балабурда своими огромными ручищами вертел пятиалтынный.

— Ну тя к лешему, дьявол! — и бросил.

Петля попробовал — не вышло. Тогда третий, молодой малый, не помню его имени, попробовал, потом закусил зубами и разогнул.

— Зубами. А ты руками разогни, — захохотал Улан.

Я взял монету, еще раз согнул ее, пирожком сложил и отдал Балабурде, не проронив ни слова. Это произвело огромный эффект и сделало меня равноправным.

* * *

Пили, ели, спросили еще два штофа, но все были совершенно трезвы. Я тогда пил еще мало, и это мне в вину не ставили:

— Хошь пьешь — не хошь, как хошь, нам же лучше, вина больше останется.

Пили и ели молча. Потом, когда уже кончали третий штоф и доедали третью яичницу, Костыга и говорит, наклонясь, полушепотом:

— Вот што, робя! Мы станицу затираем. Идете с нами?

— Какая сейчас станица, ежели пароходы груз забрали. А ежели сунуться куда вглубь, народу много надо... Где его на большую станицу соберешь? — сказал Петля.

— Опять холера... теперь никакие богатства ни к чему... а с деньгами издыхать страшно.

— А ты носи медный пятак на гайтане, а то просто в лапте, никакая холера к тебе не пристанет...— посоветовал Костыга.— Первое средство, старинное... Холера только меди и боится, черемшанские старики сказывали.

Как-то на минуту все смолкли. А Петля нам вдруг:

— Брось станицу! Поступай к нам в артель крючничать.

— А ну вас! Пойду я крючничать!— рассердился Костыга.

— Ишь ты какой. Почище тебя крючничают. У нас сам Репка за старшего.

— Как, Репка?!— и Костыга звякнул кулачищем по столу так, что посуда запрыгала.

— Да так, сам атаман Репка...— подтвердили слова Петли его товарищи.

* * *

И выяснилось, что Петля встретил Репку весной в Самаре, куда он только что прибыл из Сибири, убежав из тюрьмы, и пробирался на Черемшаны, где в лесу у него была зарыта «поклажа» — золото и серебро. Разудалый Петля уговорил его «веселья для ради» поехать в Рыбну покрючничать — «все на народе»,— а на зиму и

в скит можно. И вот Репка и Петля захватили с собой слонявшегося по пристани Балабурду, добывшего где-то даже паспорт, подходящий по приметам, и все втроем прибыли в Рыбинск. В Рыбинске были хозяйские артели грузчиков, т. е. работали от хозяина за жалованье. К хозяевам обращались судовщики с заказом выгружать хлеб, который приходил то насыпью в судах, а то в кулях и мешках. В артелях грузчиков главной силой считались «батыри»; их обязанность была выносить с судна уже готовые кули и мешки на берег. Сюда брались самые ловкие и самые сильные: куль муки 9 пудов, куль соли 12 пудов и полукуль 6 пудов. Конечно, хозяева брали львиную долю и наживали с каждого рабочего иногда половину его заработка. Работать от хозяина Репке было не к лицу; он привык сам верховодить и атаманствовать над удалыми станицами и всю добычу рискованных набегов поровну тырбанить между товарищами. Собрал он здесь при помощи Петли и Балабурды человек сорок знакомых бурлаков и грузчиков, отобрав самых лучших, головку, основал неслыханную дотоль артель, которая работает скорее, берет дешевле, а товарищи получают вдвое больше, чем у хозяина. Репка, получая с хозяина деньги, целиком их приносит в артель и делит поровну и по заслугам: батыри, конечно, получают больше, а засыпка и выставка [1], у которых работа легкая, — меньше. И сам он получает столько же, сколько батырь, потому что работает наравне с ними, несмотря на свои почти семьдесят лет, еще шутки шутит: то два куля принесет, то на куль посадит здоровенного приказчика и, на диво всем, легко сбежит с ним по зыбкой сходне... Артель Репки щеголяла и наружным видом: на всех батырях были жилетки красного сукна, обшитые то золотым, то серебряным, смотря по степени силы, галуном, а на спине сафьянные кобылки, на которые ставили куль. Через плечо у каждого железный крюк. Артель Репки держалась обособленно, имела свой общий котел и питалась лучше всех других рабочих. Попасть в эту артель было почти невозможно. Только, когда разыгралась холера, приш-

---

[1] Засыпка — хлеб в кули насыпает, а выставка — уставляет кули, чтобы батырю брать удобно.

лось добавлять народу. Вот в эту-то артель нам и предложили вступить... Костыга и Улан сперва отказались, хотя имя Репки заставило задуматься удал-добрых молодцев. Но и это, пожалуй, не удержало бы Костыгу, уже нашего атамана, и быть бы мне в разбойной станице — да только несчастье с Репкой спасло меня от этого.

Далее нам Петля рассказал, что на Репку, конечно, взъелись все конкуренты-хозяева, которых рабочие начали попрекать новой артелью, и лучшие батыри перешли в нее. Нашлись предатели, которые хозяевам рассказали о том, кто такой Репка, и за два дня до нашего прихода в Рыбинск Репку подкараулили одного в городе, арестовали его, напав целой толпой городовых, заключили в тюремный замок, в одиночку, заковав в кандалы. И постановили старые его товарищи и станишники — во что бы то ни стало вызволить своего атамана. Через подкуп писаря в тюрьме узнали они, что Репку отправят в Ярославль только зимой, чтобы судить в окружном суде. И постановили его выручить, а для этого продолжали вести артель, чтобы заработать денег, напасть на конвой и спасти своего атамана. Только тут Костыга отложил свою затею. Мы поступили в артель. Паспортов ни у кого не было, да и полиция тогда не смела сунуться на пристани, во-первых, потому, чтобы не распугать грузчиков, без которых все хлебное дело пропадет, а во-вторых, боялись холеры. Кроме Репки,—и то в городе взяли его,— так никого из нас и не тронули.

* * *

Дня через три я уже лихо справлялся с девятипудовыми кулями муки и, хотя первое время болела спина, а особенно икры ног, через неделю получил повышение: мне предложили обшить жилет золотым галуном. Я весь влился в артель и, проработав с месяц, стал чернее араба, набил железные мускулы и не знал устали. Питались великолепно... По завету Репки не пили сырой воды и пива, ничего, кроме водки-перцовки и чаю. Ели из котла горячую пищу, а в трактире только яичницу, и в нашей артели умерло всего трое — два засыпки и батырь не из важных. Заработки батыря первой степени были от 10 до

12 рублей в день, и я, при каждой получке, по пяти рублей отдавал Петле, собиравшему деньги на побег атамана. Да я никакого значения деньгам не придавал, а тосковал только о том, что наша станица с Костыгой не состоялась, а бессмысленное таскание кулей ради заработка все на одном и том же месте мне стало прискучать. Да еще эта холера. То и дело видишь во время работы, как поднимают на берегу людей и замертво тащат их в больницу, а по ночам подъезжают к берегу телеги с трупами, которые перегружают при свете луны в большие лодки и отвозят через Волгу зарывать в песках на той стороне или на острове.

Только и развлечения было, что в орлянку играли. Припомню один веселый эпизод из этой удалой нашей жизни среди кольца смерти. От 12 до 2 было время обеда. На берегу кипели котлы, и каждая артель питалась особо. По случаю холеры перед обедом пили перцовку. Сядем, принесут четвертную бутыль и чайный стакан. Как только сели артели за обед, на берегу появлялся огромный рыжий козел, принадлежавший пожарной команде. Козел был горький пьяница. Обыкновенно подходит к обедающим в то время, когда водку пьют, стоит, трясет бородой и блеет. Все его знали и первый стакан обыкновенно вливали ему в глотку. Выпьет у одних, идет к другой артели за угощеньем, и так весь берег обойдет, а потом исчезает вдребезги пьяный. И нельзя было не угостить козла. Обязательно первый стакан ему,— а не поднести — налетит и разобьет бутыль рогами.

* * *

Куда бы повернула моя судьба — не знаю, если бы не вышло следующего: проработав около месяца в артели Репки, я, жалея отца моего и мачеху, написал-таки им письмо, в котором рассказал в нескольких строках, что прошел бурлаком Волгу, что работаю в Рыбинске крючником, здоров, в деньгах не нуждаюсь, всем доволен и к зиме приеду домой.

Как-то после обеда артель пошла отдыхать, я надел козловые с красными отворотами и медными подковками сапоги, новую шапку и жилетку праздничную и пошел в

город, в баню, где я аккуратно мылся, в номере, холодной водой каждое воскресенье, потому что около пристаней Волги противно да и опасно было по случаю холеры купаться. Поскорее вымылся, переоделся во все чистое, и в своей красной жилетке с золотым галуном иду по главной улице. Вдруг шагах в двадцати от меня из подъезда гостиницы сходит на тротуар знакомая фигура: высокий человек с усами, лаковые сапоги, красная рубаха, шинель внакидку и белая форменная фуражка. Я, не помня себя от радости, подбегаю к нему:

— Папа, здравствуй!

Он поднял вверх руки и на всю улицу хохочет:

— Ах, черт тебя дери! Вот так мундир! Ну и молодчик!

Мы обнялись, поцеловались и пошли к нему в номер.

— Я только что приехал и тебя искать пошел.

Отец меня осматривал, ощупывал, становил рядом с собой перед зеркалом и любовался:

— Ну и молодчик!

Заказали завтрак, подали водки и вина.

— Я уже обедал. Сейчас на работу... Пойдем вместе!

— Ну, это ты брось. Поедем домой. Покажись дома, а там поезжай куда хочешь. Держать тебя не буду. Ведь ты и без всякого вида живешь?

— На что мне вид! Твоей фамилии я не срамлю, я здесь Алексей Иванов.

— Умно. Ну, закусим да и поедем.

Я в чистом номере, чистый, в перспективе поездка на пароходе, чего я еще не испытывал и о чем мечтал.

— Ладно, поедем. Только сбегаю, прощусь с товарищами, славные ребята, да возьму скарб из мурьи.

— Плюнь на скарб! Товарищи не хватятся, подумают, что сбежал или от холеры умер.

— Там у меня сотенный билет в кафтане зашит.

— Ну и оставь его товарищам на пропой души. Добром помянут. А пока пойдем в магазин купить платье.

Пошли. Отец заставил меня снять кобылку. Я запрятал ее под диван и вышел в одной рубахе. В магазине готового платья купил поддевку, но отцу я заплатить не позволил — у меня было около ста рублей денег. Заку-

сив, мы поехали на пароход «Велизарий», который уже дал первый свисток. За полчаса перед тем ушел «Самолет».

Вдруг отец вспомнил, входя на пароход:

— А ведь красную жилетку твою забыли!.. Куда ты ее засунул? Я не видал...

— Да под диван.

— Экая жалость! Навек бы сохранил память.

Мы сидели за чаем на палубе. Разудало засвистал третий. Видим, с берега бежит офицер в белом кителе, с маленькой сумочкой и шинелью, переброшенной через руку. Он ловко перебежал с пристани на пароход по одной сходне, так как другую уже успели отнять. Поздоровавшись с капитаном за руку, он легко влетел по лестнице на палубу — и прямо к отцу. Поздоровались. Оказались старые знакомые.

— Садись, капитан, чай пить.

— С удовольствием... Никак отдышаться не могу... Опоздал... И вот пришлось ехать на этом проклятом «Велизарии»... А я торопился на «Самолет». Никогда с этим купцом не поехал бы... Жизнь дороже.

— А что?

— Не знаете?

В это время был подан третий стакан для чаю. Отец нас познакомил:

— Капитан Егоров.

Продолжался разговор о «Велизарии». Оказывается, пароход принадлежит купцу Тихомирову, который, когда напьется, сгоняет капитана с рубки и сам командует пароходом, и во что бы то ни стало старается перегнать уходящий из Рыбинска «Самолет» на полчаса раньше по расписанию, и бывали случаи, что догонял и перегонял, приводя в ужас несчастных пассажиров.

— Шуруй! Сала в топку! Шуруй!

Неистово орет с капитанского мостика. Пароход содрогается от непомерного хода, а он все орет:

— Шуруй! Сала в топку!

На его счастье оказалось, что Тихомиров накануне остался в Ярославле, и пассажиры успокоились...

Мы мило беседовали. Отец рассказал капитану, что мы были в гостях в имении, и, указав на меня, сказал:

— Все лето рыбачил да охотился сынок-то, видите, каким арабом стал.

И тут же добавил, что я вышел из гимназии и не знаю еще, куда определиться.

— Да поступайте же к нам в полк, в юнкера... Из вас прекрасный юнкер будет. И к отцу близко — в Ярославле стоим.

После недолгих разговоров, тут же было решено, что мы остановимся в Ярославле, и завтра же Егоров устроит мое поступление.

— Вот хорошо, что вы опоздали на «Самолет», а то я никогда и не думал быть военным,— сказал я.

— Кисмет! — улыбнулся Егоров.

Он служил прежде на Кавказе и любил щегольнуть словечком.

— Да-с, кисмет! По-турецки значит — судьба.

«Кисмет!» — подумал и я и часто потом вспоминал это слово «кисмет».

* * *

Я сидел один на носу парохода и смотрел на каждое еще так недавно исшаганное местечко, вспоминал всякую мелочь, и все время неотступно меня преследовала песня бурлацкая:

Эх, матушка Волга,
Широка и долга,
Укачала — уваляла,
Нашей силушки не стало...

И свои кое-какие стишинки мерцали в голове... Я пошел в буфет, добыл карандаш, бумаги и, сидя на якорном канате, — отец и Егоров после завтрака ушли по каютам спать,— переживал недавнее и писал строку за строкой мои первые стихи, если не считать гимназических шуток и эпиграмм на учителей... А в промежутки между написанным неотступно врывалось:

Укачала — уваляла,
Нашей силушки не стало...

Элегическое настроение иногда сменялось порывом. Я вскакивал, прыгал наверх к рулевому, и в голове бодро звучало:

Белый пудель шаговит, шаговит...

И далее, в трудные миги моей жизни, там, где требовался подъем порыва, звучал бодряще и зажигал «белый пудель», а «черный пудель» требовал упорства и поддерживал настроение порыва...

Вот здесь, в тальниках, под песчаной осыпью схоронили вятского паренька... Вот тут тоже закопали... Видишь знакомые места, и что-то неприятное в голове... Не сообразить... А потом опять звучит: «Черный пудель шаговит, шаговит...»

С упорством черного пуделя я добивался во время путины, на переменах и ночевках у всех бурлаков — откуда взялся этот черный пудель. Один ответ:

— Испокон так поют.

— Я еще ее молодым певал, — подтвердил седой Кузьмич, чуть не столетний, беззубый и шамкающий. Он еще до Наполеона в лямке хаживал и со всеми старыми разбойничьими атаманами то дрался за хозяйское добро, то дружил, как с Репкой, которого уважал за правду. И теперь он, бывший судовой приказчик, каждую путину от Утки-Майны до Рыбинска ходил на расшиве. Он только грелся на солнышке и радовался всему знакомому кругом. Старик хозяин, у отца которого еще служил Кузьмич, брал его, одинокого, с собой в путину, потому что лучшего удовольствия доставить ему нельзя было. Назад из Рыбинска до Утки-Майны оба старика спускались в лодке, так как грехом считали ездить «на нечистой силе, пароходе, чертовой водяной телеге, колеса на которой крутят души грешных утопленников».

* * *

— Так искони веки вечинские пуделя пели! Уж оченно подручно: белый — рванешь, черный — устроишься... И пойдешь, и пойдешь, и все под ногу.

— Так, но меня интересует самое слово пудель. Почему именно пудель, а не лягаш, не мордаш, не волкодав...

— Потому что мордаши медведей рвут за причинное место, волкодавы волков давят... У нашего барина такая охота была... То собаки,— а это пудель.

— Да ведь пудель тоже собака, — говорю.

— Ка-ак?.. А ну-ка, скажи еще... Я недослышал...

Разговор происходил в яркий, солнечный полдень. На горячем песке грел свои старые кости Кузьмич, и с нами сидел его старый друг Костыга и бывалый Улан. Улан курил трубку, мы с Костыгой табачок костромской понюхивали, а раскольник Кузьмич сторонился дыму от трубки: «нечистому ладан возжигаешь» — говорил Улану, а нам замечал, что табак — сатанинское зелье, за которое нюхарям на том свете дьяволы ноздри повыжгут и что этого зелья даже пес не нюхает... С последним я согласился и повторил старику, что пудель — это собака, порода такая. Оживился он, задергался весь и говорит:

— Врешь ты все! Наша песня исконная, родная... А ты ко псу применяешь. Грех тебе!

— Что-то, Алеша, ты заливаешь. Как это, песня — и пес?— сказал Костыга.

Но меня выручил Улан и доказал, что пудель — собака.

И уж очень грустил Кузьмич:

— Вот он, грех-то! Как нечистый-то запутал! Про пса смердящего пели,— а не знали...

Потом встрепенулся:

— Врешь ты все... — и зашамкал, помня мотив: — Белый пудель шаговит...

И снова, отдохнув, перешел на собачью тему:

— Вот Собака-барин, так это был. И сейчас так перемена зовется, к Костроме туда, Собака-барин.

Кто не знает Собаку-барина!

Старики бурлаки еще помнили Собаку-барина. Называли даже его фамилию. Но я ее не упомнил, какая-то неяркая. Его имение было на высоком берегу Волги, между Ярославлем и Костромой. Помещик держал псарню и на проходящих мимо имения бурлаков спускал собак. Его и прозвали Собака-барин, а после него кличка так и осталась, перемена — Собака-барин!

* * *

Я писал, отрывался, вспоминал на переменах, как во время дневки мы помогали рыбакам тащить невод, получали ведрами за труды рыбу и варили «юшку»... Все вспоминалось, и лились стихи строка за строкой, пока не

подошел проснувшийся отец, а с ним и капитан Егоров. Я их увидел издали и спрятал бумагу в карман.

После, уже в Ярославле, при расставаньи с отцом, когда дело поступления в полк было улажено, а он поехал в Вологду за моими бумагами, я отдал ему оригинал моего стихотворения «Бурлаки», написанного на «Велизарии».

Грубовато оно было, слишком специально, много чисто бурлацких слов. Я тогда и не мечтал, что когда-нибудь оно будет напечатано. Отдал отцу — и забыл его. Только лет через восемь я взял его у отца, поотделал слегка и в 1882 году напечатал в журнале «Москва», дававшем в этот год премии — картину «Бурлаки на Волге».

А когда в 1894 году я издал «Забытую тетрадь», мой первый сборник стихов, эти самые «Бурлаки» по цензурным условиям были изъяты и появились в следующих изданиях «Забытой тетради»...

Отец остался очень доволен, а его друзья, политические ссыльные, братья Васильевы, переписывали стихи и прямо поздравляли отца и гордились тем, что он пустил меня в народ, первого из Вологды... Потом многие ушли в народ, в том числе и младший Васильев, Александр, который был арестован и выслан в Архангельский уезд, куда-то к Белому морю...

* * *

Потом какой-то критик, разбирая «Забытую тетрадь» и расхваливая в ней лирику, выругал «Бурлаков». «Какая-то рубленая грубая проза с неприятными словами, чтобы перевести которые, надо бурлацкий лексикон издать»...

Отец просил меня, расставаясь, подробно описать мою бурлацкую жизнь и прислать ему непременно, но новые впечатления отодвинули меня от всякого писания, и только в 1874 году я отчасти исполнил желание отца. Летом 1874 года, между Костромой и Нижним, я сел писать о бурлаках, но сейчас же перешел на более свежие впечатления. Из бурлаков передо мной стоял величественный Репка и ужасы только что оставленного мной белильного завода.

Но писать правду было очень рискованно, о себе писать прямо-таки опасно, и я мои переживания изложил в форме беллетристики — «Обреченные», рассказ из жизни рабочих. Начал на пароходе, а кончил у себя в нумеришке, в Нижнем на ярмарке, и послал отцу с наказом никому его не показывать. И понял отец, что Луговский — его «блудный сын», и написал он это мне. В 1882 году, прогостив рождественские праздники в родительском доме, я взял у него этот очерк и целиком напечатал его в «Русских ведомостях» в 1885 году.

* * *

Это было мое первое произведение, после которого до 1881 года, кроме стихов и песен, я не писал больше ничего.

Да и до писания ли было в той кипучей моей жизни!

Началось с того, что, надев юнкерский мундир, я даже отцу писал только по нескольку строк, а казарменная обстановка не позволила бы писать, если и хотелось бы.

Да и не хотелось тогда писать.

Да и до того ли было! Взять хоть полк. Ведь это был 1871 год, а в полку не то, что солдаты, и мы, юнкера, и понятия не имели, что идет франко-прусская война, что в Париже коммуна... Жили своей казарменной жизнью и, кроме разве как в трактир, да и то редко, никуда не ходили, нигде не бывали, никого не видали, а в трактирах в те времена ни одной газеты не получалось — да и читать их все равно никто бы не стал...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В ПОЛКУ

Житье солдатское. Офицерство. Казармы. Юнкера. Подпоручик Ярилов. Подземный карцер. Словесность. Крендель в шубе. Порка. Побег Орлова. Юнкерское училище в Москве. Ребенок в Лефортовском саду. Отставка.

Я был принят в полк вольноопределяющимся 3 сентября 1871 года. Это был год военных реформ: до сего времени были в полках юнкера с узенькими золотыми тесемками вдоль погон и унтер-офицерскими галунами на мундире. С этого года юнкеров переименовали в вольноопределяющихся, им оставили галуны на воротнике и рукавах мундира, а вместо золотых продольных на погонах галунов нашили из белой тесьмы поперечные басончики. Через два года службы вольноопределяющихся отсылали в Москву и Казань в юнкерские училища, где снова им возвращали золотые басоны. В полку вольноопределяющиеся были на правах унтер-офицеров: их не гоняли на черные работы, но они несли всю остальную солдатскую службу полностью и первые три месяца считались рядовыми, а потом правили службу младших унтер-офицеров. В этом же году в полку заменили шестилинейные винтовки, заряжавшиеся с дула, винтовками системы Крнка, которые заряжались в казенной части. Затем уничтожили наспинные ранцы из телячьей шкуры, мехом вверх, на которых прежде в походе накатывались свернутые толстым жгутом шинели, что было и тяжело, и

громоздко, и неудобно. Их заменили холщовыми сумами, через правое плечо, а шинель стали скатывать и надевать хомутом через левое плечо. Кроме того, заменили жестяные манерки для воды, прикреплявшиеся сзади ранца, медными котелками с крышкой, в которых можно было даже щи варить. Вооружение вводилось не сразу: у некоторых батальонов были еще ружья, заряжавшиеся с дула, «на восемь темпов».

И вот я в полку. Был назначен в шестую роту капитана Вольского, отличавшегося от другого офицерства необычайной мягкостью и полным отсутствием бурбонства. Его рота была лучшая в полку, и любили его солдаты, которых он никогда не отдавал под суд и редко наказывал, так как наказывать было не за что. Бывали самовольные отлучки, редкие случаи пьянства, но буйств и краж не было. По крайней мере за время моей службы у Вольского ни один солдат им не был отдан под суд. Он как-то по-особенному обращался с ротой. Был такой случай: солдатик Велиткин спьяна украл у соседа по нарам, новобранца Уткина, кошелек с двумя рублями. Его поймали с поличным, фельдфебель написал рапорт об отдании его под суд и арест, который вечером и передал для подписи командиру роты. В восемь часов утра Вольский вошел, как всегда, в казарму, где рота уже выстроилась с ружьями перед выходом на ученье. При входе фельдфебель скомандовал: «Смирно!», «Глаза направо!»

— Здорово ребята, кроме Велиткина!

— Здравия желаем, ваше благородие... — весело отчеканила рота, не разобрав, в чем дело.

Как аукнется, так и откликнется. Вольский всегда здоровался веселым голосом, и весело ему они отвечали. Командир полка Беляев, старый, усталый человек, здоровался глухо, протяжно:

— Здор-ово, ребята, нежинцы.

— Здраю желаем, васка-бродие...

Невольно в тон отвечал ему полк глухо и без солдатской лихости.

Вышла рота на ученье на казарменный плац. После ружейных приемов и построений рота прошла перед Вольским развернутым фронтом.

— Хорошо, ребята! Спасибо всем, кроме Велиткина.

На вечернем учении повторилось то же. Рота поняла, в чем дело. Велиткин пришел с ученья туча-тучей, лег на нары лицом в соломенную подушку и на ужин не ходил. Солдаты шептались, но никто ему не сказал слова. Дело начальства наказывать, а смеяться над бедой грех — такие были старые солдатские традиции. Был у нас барабанщик, невзрачный и злополучный с виду, еврей Шлема Финкельштейн. Его перевели к нам из пятой роты, где над ним издевались командир и фельдфебель, а здесь его приняли как товарища.

Выстроил Вольский роту, прочитал ей подходящее нравоучение о равенстве всех носящих солдатский мундир, и слово «жид» забылось, а Финкельштейна, так как фамилию было трудно выговаривать, все солдаты звали ласково: Шлема.

Надо сказать, что Шлема был первый еврей, которого я в жизни своей видал: в Вологде в те времена не было ни одного еврея, а в бурлацкой ватаге и среди крючников в Рыбинске и подавно не было ни одного.

Велиткин лежал целый день. Наконец, в девять часов обычная поверка. Рота выстроилась. Вошел Вольский.

— Здорово, шестая рота, кроме Велиткина!

— Здравия желаем, ваше благородие...

Велиткин, высокого роста, стоял на правом фланге третьим, почти рядом с ротным командиром. Вдруг он вырвался из строя и бросился к Вольскому. Преступление страшнейшее, караемое чуть не расстрелом. Не успели мы прийти в себя, как Велиткин упал на колени перед Вольским и слезным голосом взвыл:

— Ваше благородие, отдайте меня под суд, пусть расстреляют лучше!

Улыбнулся Вольский.

— Встань. Отдавать тебя под суд я не буду. Думаю, что ты уже исправился.

— Отродясь, ваше благородие, не буду, простите меня!

— Проси прощения у того, кого обидел.

— Он, ваше благородие, больше не будет, он уже плакал передо мной, — ответил из фронта Уткин.

— Прощаю и я. Марш во фронт! — А потом обратился к нам: — Ребята, чтобы об этом случае забыть, будто

никогда его и не было. Да чтоб в других ротах никто не знал!

Впоследствии Велиткина рота выбрала артельщиком для покупки мяса и приварка для ротного котла, а потом он был произведен в унтер-офицеры.

Этот случай, бывший вскоре после моего поступления, как-то особенно хорошо подействовал на мою психику, и я исполнился уважения и любви к товарищам солдатам.

Слово «вольноопределяющийся» еще не вошло в обиход, и нас все звали по-старому юнкерами, а молодые офицеры даже подавали нам руку. С солдатами мы жили дружно, они нас берегли и любили, что проявлялось в первые дни службы, когда юнкеров назначали начальниками унтер-офицерского караула в какую-нибудь тюрьму или в какое-нибудь учреждение. Здесь солдаты учили нас, ничего не знавших, как поступать, и никогда не подводили.

Юнкеров в нашей роте было пятеро. Нам отвели в конце казармы нары, отдельные, за аркой, где с нами вместе помещались также четыре старших музыканта из музыкантской команды и барабанщик Шлема, который привязался к нам и исполнял все наши поручения, за что в роте его и прозвали «юнкарский камчадал». Он был весьма расторопен и все успевал делать, бегал нам за водкой, конечно, тайно от всех, приносил к ужину тушоной картошки от баб, сидевших на корчагах, около ворот казармы, умел продать старый мундир или сапоги на толкучке, пришить пуговицу и починить штаны. Платье и сапоги мы должны были чистить сами, это было требование Вольского. Помещались мы на нарах, все вповалку, каждый над своим ящиком в нарах, аршина полтора шириной. У некоторых были свои присланные из дома подушки, а другие спали на тюфяках, набитых соломой. Одеяла были только у тех, кто получал их тоже из дома, да и они то исчезали, то снова появлялись. Шлема по нашей просьбе иногда закладывал их и снова выкупал. Когда не было одеяла, мы покрывались, как и все солдаты, у которых одеял почти не было, своими шинелями.

— Солдатик, ты на чем спишь?

— На шинели.

— А укрылся чем?
— Шинелью.
— А в головах у тебя что?
— Шинель.
— Дай мне одну, я замерз.
— Да у меня всего одна!

Никто из нас никогда не читал ничего, кроме гарнизонного устава. Других книг не было, а солдаты о газетах даже и не знали, что они издаются для чтения, а не для собачьих ножек под махорку или для завертывания селедок.

Интересы наши далее казарменной жизни не простирались. Из всех нас был только один юноша, Митя Денисов, который имел в городе одинокую старушку бабушку, у которой и проводил все свободное время и в наших выпивках и гулянках не участвовал. Так и звали его красной девушкой. Мы еще ходили иногда в трактиры, я играл на биллиарде, чему выучился еще у дяди Разнатовского в его имении. В трактирах тогда тоже не получалось газет, и я за время службы не прочитал ни одной книги, ни одного журнала В казарму было запрещено приносить журналы и газеты, да никто ими и не интересовался. В театр ходить было не на что, а цирка в эти два года почему-то не было в Ярославле. Раз только посчастливилось завести знакомство в семейном доме, да окончилось это знакомство как-то уж очень глупо.

На Власьевской улице, в большом двухэтажном доме жила семья Пуховых. Сам Пухов, пожилой чиновник, и брат его — помощник капитана на Самолетском пароходе, служивший когда-то юнкером. Оба рода дворянского, но простые, гостеприимные, особенно младший, Федор Федорович, холостяк, любивший и выпить и погулять. Дом, благодаря тому, что старший Пухов был женат на дочери петербургского сенатора, был поставлен по-барски, и попасть на вечер к Пуховым,— а они давались раза два в год для невыданных замуж дочек — было нелегко. Федя Пухов принимал нас, меня, Калинина и Розанова, бывшего семинариста, очень красивого и ловкого. Мы обыкновенно сидели внизу у него в кабинете, а Розанов играл на гитаре и подпевал басом. Были у него мы

три раза, а на четвертый не пришлось. В последний раз мы пришли в восемь часов вечера, когда уже начали в дом съезжаться гости на танцевальный вечер для барышень. Все-таки Федя нас не отпустил:

— Пусть они там пируют, а мы здесь посидим.

Сидим, пьем, играем на гитаре. Вдруг спускается сам Пухов.

— Господа, да что же вы танцевать не идете? Пойдемте!

— Мы не танцуем.

— Да и притом видите, какие у нас сапоги? Мы не пойдем.

Так и отказались, а были уже на втором взводе.

— А вы танцуете?— спросил он Розанова, взглянув на его чистенький мундирчик, лаковые сапоги и красивое лицо.

— Немного, кадриль знаю.

— Ну вот на кадриль нам и не хватает кавалеров.

Увел. Розанов пошел, пошатываясь. Мы сидим, выпиваем. Сверху пришли еще два нетанцующих чиновника, приятели Феди. Вдруг стук на лестнице. Как безумный влетает Розанов, хватает шапку, надевает тесак и испуганно шепчет нам:

— Бежим скорее, беда случилась!

И исчез.

Мы торопливо, перед изумленными чиновниками, тоже надели свои тесаки и брали кепи, как вдруг с хохотом вваливается Федя.

— Что такое случилось?— спрашиваю.

— Да ничего особенного. Розанов спьяна надурил... А вы снимайте тесаки, ничего... Сюда никто не придет.

— Да в чем же дело?

— В фанты играли... Соня загадывала первый слог, надо ответить второй. А он своим басом на весь зал рявкнул такое, что ха-ха-ха!

И закатился.

Мы ушли и больше не бывали. А Розанов, которому так нравилась Соня, оправдывался:

— Загляделся на нее, да и сам не знаю, что сказал, а вышло здорово, в рифму... Рядом со мной стоял шпак во фраке. Она к нему, говорит первый слог, он ей второй,

она ко мне, другой задает слог, я и сам не знаю, как я ей ахнул тот же слог, что он сказал... Не подходящее вышло. Я бегом из зала!

* * *

Рота вставала рано. В пять часов утра раздавался голос дневального:

— Шоштая рота, вставай!

А Шлема Финкельштейн наяривал на барабане утреннюю зорю. Сквозь густой пар казарменного воздуха мерцали красноватым потухающим пламенем висячие лампы с закоптелыми дочерна за ночь стеклами и поднимались с нар темные фигуры товарищей. Некоторые, уже набрав в рот воды, бегали по усыпанному опилками полу, наливали изо рта в горсть воду и умывались. Дядькам и унтер-офицерам подавали умываться из ковшей над грудой опилок.

Некоторые из старых любили самый процесс умывания и с видимым наслаждением доставали из своих сундуков тканые полотенца, присланные из деревни, и утирались. Штрафованный солдатик Пономарев, пропивавший всегда все, кроме казенных вещей, утирался полой шинели или суконным башлыком. Полотенца у него никогда не было...

— Ишь, лодырь, полотенца собственного своего не имеет,— заметил ему раз взводный.

— Так что, где же я возьму, Трифон Терентьич? Из дому не получаю денег, а человек я не мастеровой.

— Лодырь ты, дармоед, вот что. У исправного солдата всегда все есть; хоть Мошкина взять для примеру.

Мошкин, солдатик из пермских, со скопческим, безусым лицом, встал с нар и почтительно вытянулся перед взводным.

— Мошкин от нас же наживается, по пятаку с гривенника проценты берет... А тут на девять-то гривен жалованья в треть, да на две копейки банных не разгуляешься...

— Не разгуляешься!— поддержал Ежов.

Ежов считался в роте «справным» и «занятным» солдатом. Первый эпитет ему прилагали за то, что у него все было чистенькое, и мундир, кроме казенного, срочно-

го, свой имел, и законное число белья и пар шесть портянок. На инспекторские смотры постоянно одолжались у него, чтобы для счета в ранец положить, ротные бедняки, вроде Пономарева, и портянками и бельем. «Занятным» называли Ежова унтер-офицеры за его способность к фронтовой службе, к гимнастике и словесности, обыкновенно плохо дающейся солдатам.

— Садись на словесность! — бывало командует взводный офицер из кантонистов, дослужившийся годам к пятидесяти до поручика, Иван Иванович Ярилов.

И садится рота кто на окно, кто на нары, кто на скамейки.

— Митюхин, что есть солдат?

— Солдат есть имя общее, именитое, солдат всякий носит от анирала до рядового...— вяло мнется Митюхин и замолкает.

— Врешь, дневальным на два наряда! Что есть солдат, Пономарев?

— Солдат есть имя общее, знаменитое, носит имя солдата...— весело отчеканивает спрашиваемый.

— Врешь! Не носит имя солдата, а имя солдата носит. Ежов, что есть солдат?

— Солдат есть имя общее, знаменитое, имя солдата носит всякий военный служащий от генерала до последнего рядового.

— Молодец!

Далее следовали вопросы, что есть присяга, часовой, знамя и, наконец, сигнал. Для этого призывался горнист, который дудил в рожок сигналы, а Ярилов спрашивал поочередно, какой сигнал что значит, и заставлял проиграть его на губах или спеть словами.

— Сурков, играй наступление! Раз, два, три!— хлопал в ладоши Ярилов.

— Та-ти-та-та, та-ти-та-та, та-ти-та-ти-та-ти-та-та-та!

— Верно, весь взвод!

И взвод поет хором: «За царя и Русь святую уничтожим мы любую рать врагов!». Если взвод пел верно, то поручик, весь сияющий, острил:

— У нас, ребята, при Николае Павлыче так певали: «У тятеньки, у маменьки просил солдат говядинки, дай, дай, дай!»

Взвод хохотал, а старик не унимался, он каждый сигнал пел по-своему.

— А ну-ка, ребята, играй четвертой роте.

— Та-та-ти-а-тат-та-да-да!

— Словами!

— «Вот зовут четвертый взвод», — поют солдаты.

— А у нас так певали: «Наста-ссия-попадья», а то еще: «Отрубили кошке хвост!»

Смеется, ликует, глядя на улыбающихся солдат.

Одного не выносил Ярилов — это если на заданный вопрос солдат молчал.

— Ври, да говори! — требовал он.

Из-за этого «ври, да говори» бывало не мало курьезов. Солдаты сами иногда молчали, рискуя сказать невпопад, что могло быть опаснее, чем дежурство не в очередь или стойка на прикладе. Но это касалось собственно перечислений имен царского дома и высшего начальства, где и сам Ярилов требовал ответа без ошибки и подсказывал даже, чтобы не получилось чего-нибудь вроде оскорбления величества.

— Пономарев! Кто выше начальника дивизии?

— Командующий войсками Московского военного округа, — чеканит ловкий солдат.

— А кто он такое?

— Его превосходительство. Генерал-адъютант, генерал-лейтенант...

— Ну?.. Не знаешь?

— Знаю, да по-нашему, по-русски.

— Ну!

— Генерал-адъютант, генерал-лейтенант...

— Ну!

— Крендель в шубе!

Уж через много лет, будучи в Москве, я слыхал, что Гильденштуббе называли именно так, как окрестил его Пономарев: Крендель в шубе!

* * *

За словесностью шло фехтование на штыках, после которого солдаты, спускаясь с лестницы, держались за стенку, ноги не гнутся! Учителем фехтования был при-

слан из учебного батальона унтер-офицер Ермилов, великий мастер своего дела.

— Помни, ребята,— объяснял Ермилов на уроке,— ежели к примеру фихтуешь, так и фихтуй умственно, потому фихтование в бою — вещь есть первая, а главное, помни, что колоть неприятеля надо на полном выпаде, в грудь, коротким ударом, и коротко назад из груди у его штык вырви... Помни: из груди коротко назад, чтоб он рукой не схватил... Вот так! Р-раз — полный выпад и р-раз — коротко назад. Потом р-раз — два, р-раз — два, ногой притопни, устрашай его, неприятеля, р-раз — д-два!

А у кого неправильная боевая стойка, Ермилов из себя выходит:

— Чего тебя скрючило? Живот, что ли, болит, сиволапый! Ты вольготно держись, как генерал в карете развались, а ты, как баба над подойником... Гусь на проволоке!

* * *

Мы жили на солдатском положении, только пользовались большей свободой. На нас смотрело начальство сквозь пальцы, ходили в трактир играть на биллиарде, удирая после поверки, а порою выпивали. В лагерях было строже. Лагерь был за Ярославлем, на высоком берегу Волги, наискосок от того места за Волгой, где я в первый раз в бурлацкую лямку впрягся.

Не помню, за какую проделку я попал в лагерный карцер. Вот мерзость! Это была глубокая яма в три аршина длины и два ширины, вырытая в земле, причем стены были земляные, не обшитые даже досками, а над ними небольшой сруб, с крошечным окошечком на низкой-низкой дверке. Из крыши торчала деревянная труба-вентилятор. Пол состоял из нескольких досок, хлюпавших в воде, на нем стояли козлы с деревянными досками и прибитым к ним поленом — постель и подушка. Во время дождя и долго после по стенам струилась вода, вылезали дождевые черви и падали на постель, а по полу прыгали лягушки.

Это наказание называлось — строгий карцер. Пища — фунт солдатского хлеба и кружка воды в сутки. Сидели в нем от суток до месяца — последний срок по пригово-

ру суда. Я просидел сутки в жаркий день после ночного дождя, и ужас этих суток до сих пор помню. Кроме карцера, суд присуждал еще иногда к порке. Последнее — если провинившийся солдат состоял в разряде штрафованных. Штрафованного мог наказывать десятью ударами розог ротный, двадцатью пятью — батальонный и пятидесятью — командир полка в дисциплинарном порядке.

Вольский никогда никого не наказывал, а в полку были ротные, любители этого способа воспитания. Я раз видел, как наказывали по суду. Это в полку называлось конфирмацией.

* * *

Орлов сидел под арестом, присужденный полковым судом к пятидесяти ударам розог «за побег и промотание казенных вещей».

— Уж и вешши: рваная шинелишка, вроде облака, серая, да скрозная, и притупея еще перегорелой кожи!— объяснял наш солдат, конвоировавший в суд Орлова.

Побег у него был первый, а самовольных отлучек не перечтешь.

— Опять Орлов за водой ушел,— говорили солдаты.

Обыкновенно он исчезал из лагерей. Зимой это был самый аккуратный служака, но чуть лед на Волге прошел — заскучает, ходит из угла в угол, мучится, а как перешли в лагерь,— он недалеко от Полушкиной рощи, над самой рекой,— Орлова нет, как нет. Дня через три-четыре явится веселый, отсидит, и опять за службу. Последняя его отлучка была в прошлом году, в июне. Отсидел он две недели в подземном карцере и прямо из-под ареста вышел на стрельбу. Там мы разговорились.

— Куда же ты отлучался, запил где-нибудь?

— Нет, просто так, водой потянуло: вышел после учения на Волгу, сижу на бережку под лагерем... Пароходики бегут — посвистывают, баржи за ними ползут, на баржах народ кашу варит, косовушки парусом мелькают... Смолой от снастей потягивает... А надо мной в лагерях барабан: «Тра-та-та, тра-та-та», по пустому-то месту!.. И пошел я вниз по песочку, как матушка Волга бежит... Иду да иду... Посижу, водички попью — и опять иду... «Тра-та-та, тра-та-та» еще в ушах в памяти, а уж

и города давно не видать и солнышко в воде тонет, всю Волгу вызолотило... Остановился и думаю: на поверку опоздал, все равно, до утра уж, ответ один. А на бережку, на песочке, огонек — ватага юшку варит. Я к ним: «Мир беседе, рыбачки честные»... Подсел я к казану... А в нем так белым ключом и бьет!.. Ушицы похлебали... Разговорились, так, мол, и так, дальше — больше, да четыре дня и ночи и проработал я у них. Потом вернулся в лагерь, фельдфебелю две стерлядки и налима принес, да на грех на Шептуна наткнулся: «Что это у тебя? Откуда рыба? Украл?..» Я ему и покаялся. Стерлядок он отобрал себе, а меня прямо в карцыю. Чего ему только надо было, ненавистному!

* * *

И не раз бывало это с Орловым — уйдет дня на два, на три; вернется тихий да послушный, все вещи целы — ну, легкое наказание; взводный его, Иван Иванович Ярилов, душу солдатскую понимал, и все по-хорошему кончалось, и Орлову дослужить до бессрочного только год оставалось.

И вот завтра его порют. Утром мы собрались во второй батальон на конфирмацию. Солдаты выстроены в каре,— оставлено только место для прохода. Посередине две кучи длинных березовых розог, перевязанных пучками. Придут офицеры, взглянут на розги и выйдут из казармы на крыльцо. Пришел и Шептун. Сутуловатый, приземистый, исподлобья взглянул он своими неподвижными рыбьими глазами на строй, подошел к розгам, взял пучок, свистнул им два раза в воздухе и, бережно положив, прошел в фельдфебельскую канцелярию.

— Злорадный этот Шептун. И чего только ему надо везде нос совать.

— Этим и жив, носом да язычком: нанюхает — и к начальству... С самим начальником дивизии знаком!

— При милости на кухне задом жар раздувает!

— А дома, денщики сказывают, хуже аспида, поедом ест, всю семью измурдовал...

Разговаривала около нас кучка капральных.

— Смирр-но! — загремел фельдфебель.

В подтянувшееся каре вошли ефрейторы и батальонный командир, майор — «Кобылья Голова», общий любимец, добрейший человек, из простых солдат. Прозвание же ему дали солдаты в первый день, как он появился перед фронтом, за его длинную, лошадиную голову. В настоящее время он исправлял должность командира полка. Приняв рапорт дежурного, он приказал ротному:

— Приступите, но без особых церемоний и как-нибудь поскорее!

Двое конвойных с ружьями ввели в середину каре Орлова. Он шел, потупившись. Его широкое, сухое, загорелое лицо, слегка тронутое оспой, было бледно. Несколько минут чтения приговора нам казались бесконечными. И майор, и офицеры старались не глядеть ни на Орлова, ни на нас. Только ротный капитан Ярилов, дослужившийся из кантонистов и помнивший еще «сквозь строй» и шпицрутены на своей спине, хладнокровно, без суеты, распоряжался приготовлениями.

— Ну, брат, Орлов, раздевайся! Делать нечего,—суд присудил, надо!

Орлов разделся. Свернутую шинель положил под голову и лег. Два солдатика, по приказу Ярилова, держали его за ноги, два — за плечи.

— Иван Иванович, посадите ему на голову солдата!— высунулся Шептун.

Орлов поднял кверху голову, сверкнул своими большими серыми глазами на Шептуна и дрожащим голосом крикнул:

— Не надо! Совсем не надо держать, я не пошевелюсь.

— Попробуйте, оставьте его одного,— сказал майор. Солдаты отошли. Доктор Глебов попробовал пульс и, взглянув на майора, тихо шепнул:

— Можно, здоров.

— Ну, ребята, начинай, а я считать буду,— обратился Ярилов к двум ефрейторам, стоявшим с пучками по обе стороны Орлова.

— Р-раз.

— А-ах!— раздалось в строю.

Большинство молодых офицеров отвернулось. Майор отвел в сторону красавца-бакенбардиста Павлова,

командира первой роты, и стал ему показывать какую-то бумагу. Оба внимательно смотрели ее, а я, случайно взглянув, заметил, что майор держал ее вверх ногами.

— Два... Три... Четыре...—методически считал Ярилов.

Орлов закусил зубами шинель и запрятал голову в сукно. Наказывали слабо, хотя на покрасневшем теле вспухали синие полосы, лопавшиеся при новом ударе.

— Ре-же! Креп-че!— крикнул Шептун, следивший с налитыми кровью глазами за каждым ударом.

Невольно два удара после его восклицания вышли очень сильными, и кровь брызнула на пол.

— Мм-мм... гм... — раздался стон из-под шинели.

— Розги переменить! Свежие!— забыв все, вопил Шептун.

У барабанщика Шлемы Финкельштейна глаза сделались совсем круглыми, нос вытянулся, и барабанные палки запрыгали нервной дробью.

— Господин штабс-капитан! Извольте отправиться под арест.

Покрасневший, с вытянутой шеей, от чего голова майора стала еще более похожа на лошадиную, загремел огромный майор на Шептуна. Все замерло. Даже поднятые розги на момент остановились в воздухе и тихо опустились на тело.

— Двадцать три... Двадцать четыре...— невозмутимо считал Ярилов.

— Извольте идти за адъютантом в полковую канцелярию и ждать меня!

Побледневший и перетрусивший Шептун иноходью заторопился за адъютантом.

— Слушаюсь, господин майор!..— щелкая зубами, пробормотал он, уходя.

— Что, кончили, капитан? Сколько еще?

— Двадцать три осталось...

— Ну поскорей, поскорей...

Орлов молчал, но каждый отдельный мускул его богатырской спины содрогался. В одной кучке раздался крик.

— Что такое?

— С Денисовым дурно!

Наш юнкер Митя Денисов упал в обморок. Его от-

несли в канцелярию. Суматоха была кстати,— отвлекла нас от зрелища.

— Орлов, вставай, братец. Вот молодец, лихо выдержал,—похвалил Ярилов торопливо одевавшегося Орлова.

Розги подхватили и унесли. На окровавленный пол бросили опилок. Орлов, застегиваясь, помутившимися глазами кого-то искал в толпе. Взгляд его упал на майора. Полузастегнув шинель, Орлов бросился перед ним на колени, обнял его ноги и зарыдал:

— Ваше... ваше... скоблагородие... Спасибо вам, отец родной.

— Ну, оставь, Орлов... Ведь ничего... Все забыто, прошло... Больше не будешь?.. Ступай в канцелярию, ступай! Макаров, дай ему водки, что ли... Ну, пойдем, пойдем...

И майор повел Орлова в канцелярию. В казарме стоял гул. Отдельно слышались слова:

— Доброта, молодчина, прямо отец.

— Из нашего брата, из мужиков, за одну храбрость дослужился... Ну и понимает человека!—говорил кто-то.

Ярилов подошел и стал про старину рассказывать:

— Что теперь! Вот тогда бы вы посмотрели, что было. У нас в учебном полку по тысяче палок всыпали... Привяжут к прикладам, да на ружьях и волокут полумертвого сквозь строй, а все бей! Бывало, тихо ударишь, пожалеешь человека, а сзади капральный чирк мелом по спине,— значит, самого вздуют. Взять хоть наше дело, кантонистское, закон был такой: девять забей на смерть, десятого живым представь. Ну, и представляли, выкуют. Ах, как меня пороли!

И действительно, Иван Иванович был выкован. Стройный, подтянутый, с нафабренными черными усами и наголо остриженной седой головой, он держался прямо, как деревянный солдатик, и был всегда одинаково неутомим, несмотря на свои полсотни лет.

— А это,— что Орлов? Пятьдесят мазков!

— Мазки! Кровищи-то на полу, хоть ложкой хлебай,— донеслось из толпы солдат.

— Эдак-то нас маленькими драли... Да вы, господа юнкера, думаете, что я Иван Иванович Ярилов? Да?

— Так точно.

— Так, да не точно. Я, братцы, и сам не знаю, кто я

такой есть. Не знаю ни роду, ни племени... Меня в мешке из Волынской губернии принесли в учебный полк.

— Как в мешке?

— Да так, в мешке. Ездили воинские команды по деревням с фургонами и ловили по задворкам еврейских ребятишек, благо их много. Схватят в мешок и в фургон. Многие помирали дорогой, а которые не помрут, привезут в казарму, окрестят, и вся недолга. Вот и кантонист.

— А родители-то узнавали деток?

— Родители!.. Хм... Никаких родителей. Недаром же мы песни пели: «Наши сестры — сабли востры»... И матки и батьки — все при нас в казарме... Так-то-с. А рассказываю вам затем, чтобы вы, молодые люди, помнили да и детям своим передали, как в николаевские времена солдат выколачивали... Вот у меня теперь офицерские погоны, а розог да палок я съел — конца-краю нет... Мне об это самое место начальство праведное целую рощу перевело... Так полосовали, не вроде Орлова, которого добрая душа, майор, как сына родного обласкал... А нас, бывало, выпорют, да в госпиталь на носилках или просто на нары бросят — лежи и молчи, пока подсохнет.

— Вы ужасы рассказываете, Иван Иванович.

— А и не все ужасы. Было и хорошее. Например, наказанного никто попрекнуть не посмеет, не как теперь. Вот у меня в роте штрафованного солдатика одного фельдфебель дубленой шкурой назвал... Словом он попрекнул, хуже порки обидел... Этого у нас прежде не бывало: тело наказывай, а души не трожь!

— И фельдфебель это?

— Да, я его сменил и под арест: над чужой бедой не смейся!.. Прежде этого не было, а наказание по закону, закон переступить нельзя. Плачешь, бывало, да бьешь.

— Вот Шептун бы тогда в своей тарелке был! — заметил кто-то.

— Таких у нас не бывало. Да такой и не уцелел бы. Да и у нас ему не место. Эй, Коля! — крикнул он Павлову.

Русые баки, освещенные славными голубыми глазами, повернулись к нему.

— Дело, брат, есть. До свиданья, молодежь моя милая.

Вокруг Ярилова и Павлова образовался кружок офицеров. Шел горячий разговор. До нас долетели отрывистые фразы:

— Итак, никто не подает ему руки.

— Не отвечать на поклон.

— Ну, что такое,— горячился Павлов,— я просто вызову его и пристрелю... Мерзавцев бить надо...

— Ненормальный он, господа, согласитесь сами, разве нормальный человек так над своей семьей зверствовать будет...— доказывал доктор Глебов.

— По вашему всё — ненормальный, а по-нашему — зловредный и мерзавец, и я сейчас посылаю к нему секундантов.

— Нет, просто руки не подавать... Выкурим...

Из канцелярии выходил довольный и улыбающийся майор. Офицеры его окружили.

* * *

А Орлов бежал тотчас же после наказания. Так и пропал без вести.

— За водой ушел,— как говорили после в полку.

Вспомнились мне его слова:

— На низы бы податься, к Астрахани, на ватагах поработать... Приволье там у нас, знай, работай, а кто такой ты есть да откуда пришел, никто не спросит. Вот ежели что, так подавайся к нам туда!

Звал он меня.

И ушел он, должно быть, за водой: как вода сверху по Волге до моря Хвалынского, так и он за ней подался...

* * *

Первые месяцы моей службы нас обучали маршировать, ружейным приемам. Я постиг с первых уроков всю эту немудрую науку, а благодаря цирку на уроках гимнастики показывал такие чудеса, что сразу заинтересовал полк. Месяца через три открылась учебная команда, куда поступали все вольноопределяющиеся и лучшие солдаты, готовившиеся быть унтер-офицерами. Там нас положительно замучил муштровкой начальник команды капитан Иковский, совершенно противоположный Воль-

скому. Он давал затрещины простым солдатам, а ругался, как я и на Волге не слыхивал. Он ненавидел нас, юнкеров, которым не только что в рыло заехать, но еще «вы» должен был говорить.

— Эй вы!— крикнет, замолчит на полуслове, шевеля беззвучно челюстями, но понятно всем, что он родителей поминает. — Эй вы, определяющиеся! Вольно! Кор-ровы!!.

А чуть кто-нибудь ошибется в строю, вызовет перед линией фронта и командует:

— На плечо! Кругом!.. В карцер на двое суток, шагом марш!— И юнкер шагает в карцер.

Его все боялись. Меня он любил, как лучшего строевика, тем более, что по представлению Вольского я был командиром полка назначен взводным, старшим капральным, носил не два, а три лычка на погонах и за болезнью фельдфебеля Макарова занимал больше месяца его должность; но в ротную канцелярию, где жил Макаров, «не переезжал» и продолжал жить на своих нарах, и только фельдфебельский камчадал каждое утро еще до свету, пока я спал, чистил мои фельдфебельские, достаточно стоптанные, сапоги, а ротный писарь Рачковский, когда я приходил заниматься в канцелярию, угощал меня чаем из фельдфебельского самовара. Это было уже на второй год моей службы в полку.

Пробыл я лагери, пробыл вторую зиму в учебной команде, но уже в должности капрального, командовал взводом, затем отбыл следующие лагери, а после лагерей нас, юнкеров, отправили кого в Казанское, а кого в Московское юнкерское училище. С моими друзьями Калининым и Павловым, с которыми мы вместе прожили на нарах, меня разлучили: их отправили в Казань, а я был удостоен чести быть направленным в Московское юнкерское училище.

* * *

Вместо грязных нар в Николомокринских казармах Ярославля я очутился в роскошном дворце Московского юнкерского училища в Лефортове и сплю на кровати с чистым бельем.

Дисциплина была железная, свободы никакой, только

по воскресеньям отпускали в город до девяти часов вечера. Опозданий не полагалось. Будние дни были распределены по часам, ученье до упаду, и часто, чистя сапоги в уборной еще до свету при керосиновой коптилке, вспоминал я свои нары, своего Шлему, который, еще затемно получив от нас пятак и огромный чайник, бежал в лавочку и трактир, покупал «на две чаю, на две сахару, на копейку кипятку», и мы наслаждались перед ученьем чаем с черным хлебом.

Здесь нас ставили на молитву, вели строем вниз в столовую и давали жидкого казенного чаю по кружке с небольшим кусочком хлеба. А потом ученье, ученье целый день! Развлечений никаких. Никто из нас не бывал в театре, потому что на это, кроме денег, требовалось особое разрешение. Всякие газеты и журналы были запрещены, да, впрочем, нас они и не интересовали. На меня начальство обратило внимание, как на хорошего строевика и гимнаста, и, судя по приему начальства, мечта каждого из юнкеров быть прапорщиком мне казалась достижимой.

Но как всегда в моей прежней и будущей жизни, случайность бросила меня на другую дорогу.

Я продолжал переписываться с отцом. Писал ему подробные письма, картины солдатской жизни, иногда по десять страниц. Эти письма мне потом пригодились как литературный материал. Описал я ему и училищную жизнь, и в ответ мне, отец написал, что в Никольском переулке, не помню теперь в чьем-то доме, около церкви Николы-Плотника, живет его добрый приятель, известный московский адвокат Тубенталь. Написал он мне, что в случае крайней нужды в деньгах я могу обратиться к нему. Нужда скоро явилась. Выпивала юнкерация здорово. По трактирам не ходили, а доставали водку завода Гревсмюль в складе, покупали хлеба и колбасы и отправлялись в глухие уголки Лефортовского огромного сада и роскошествовали на раскинутых шинелях. Покупали поочередно, у кого есть деньги, пропивали часы, вторые мундиры — жили весело. И вот в минуту «карманной невзгоды» вспомнил я об адвокате Тубентале, и с товарищем юнкером в одно прекрасное солнечное воскресенье отправились мы занимать деньги, на которые я

задумал справить день своего рождения, 26 ноября, о чем оповестил моих друзей. Мы перешли мост, вышли на Гороховую. Как сейчас помню — горбатый старик извозчик на ободранной кляче, запряженной в «калибер», экипаж, напоминающий гитару, лежащую на четырех колесах. Я никогда еще не ездил на таком инструменте и стал нанимать извозчика в Никольский переулок, на Арбат. Но когда он запросил страшную, по нашим тогдашним средствам, сумму, то мы решили идти пешком.

— Гривенник хочешь? — рискнул мой товарищ.

— Меньше двоегривенного не поеду, — заявил извозчик, и мы пошли.

Помню, как шли по Покровке, по Ильинке, попали на Арбат. Все меня занимало, все удивляло. Я в первый раз шел по Москве. Добрались до Николы-Плотника, и, наконец, я позвонил у парадного Тубенталя. Мой товарищ остался ждать на улице, а меня провели в кабинет. Любезно и мило встретил меня приятель отца, небольшой, рыжеватый человек, предложил чаю, но я отказался. Я слишком волновался, потому что решил занять огромную сумму, 25 рублей, и не знал, как решительнее сказать это. Поговорили об отце, о службе, и наконец я прямо выпалил:

— Одолжите мне 25 рублей. Я напишу отцу, и он вышлет вам.

— Пожалуйста... Может быть, больше надо, пожалуйста, не стесняйтесь...

— Нет, больше не надо.

Я чувствовал себя на седьмом небе и, получив деньги, начал прощаться.

— Погодите, позавтракайте у меня...

— Нет, меня товарищ на улице ждет.

— Так можно его позвать к нам.

— Нет, уж я пойду в училище.

Милый Тубенталь очаровал меня своей любезностью, и через четверть века вспомнил я в Москве, при встрече с ним, эту нашу первую встречу.

Бомбой выскочив из подъезда, я показал товарищу кредитку.

— Костя, живем!

— Ох, пьем! А мне уж есть хочется.

Так и не пришлось мне угостить моих приятелей 26 ноября... В этот же день, возвращаясь домой после завтрака на Арбатской площади, в пирожной лавке, мы встретили компанию возвращавшихся из отпуска наших юнкеров, попали в трактир «Амстердам» на Немецком рынке, и к 8 часам вечера от четвертной бумажки у меня в кармане осталась мелочь. Когда мы подходили к училищу, чтобы явиться к сроку, к 9 часам, я, решив, что еще есть свободные полчаса, свернул налево и пошел в сад. Было совершенно темно, кой-где на главной аллее изредка двигались прохожие и гуляющие, но на боковых дорожках было совершенно пусто. В голове у меня еще изрядно шумело после возлияний в трактире, и я жадно вдыхал осенний воздух в глухих аллеях госпитального старинного сада. Сделав несколько кругов, я пошел в училище, чувствуя себя достаточно освежившимся. Вдруг передо мной промелькнула какая-то фигура и скрылась направо в кустах, шурша ветвями и сухими листьями. В полной темноте я не рассмотрел ничего. Потом шум шагов на минуту затих, снова раздался и замолк в глубине. Я прислушался, остановившись на дорожке, и уже двинулся из сада, как вдруг в кустах, именно там, где скрылась фигура, услыхал детский плач. Я остановился — ребенок продолжал плакать близко-близко, как показалось, в кустах около самой дорожки рядом со мной.

— Кто здесь?— окликнул я несколько раз и, не получив ответа, шагнул в кусты. Что-то белеет на земле. Я нагнулся, и прямо передо мною лежал завернутый в белое одеяльце младенец и слабо кричал. Я еще раз окликнул, но мне никто не ответил.

Подкинутый ребенок!

Та фигура, которая мелькнула передо мной, по всей вероятности, за мной следила раньше и, сообразив, что я военный, значит, человек, которому можно доверять, в глухом месте сада бросила ребенка так, чтобы я его заметил, и скрылась. Я сообразил это сразу и, будучи вполне уверен, что подкинувшая ребенка,— бесспорно, ведь это сделала женщина,— находится вблизи, я еще раз крикнул:

— Кто здесь? Чей ребенок?

Ответа не последовало. Мне жаль стало и ребенка и его мать, подкинувшую его в надежде, что младенец нашедшим не будет брошен, и я взял осторожно ребенка на руки. Он сразу замолк. Я решил сделать, что мог, и, держа ребенка на руках в пустынной, темной аллее, громко сказал:

— Я знаю, что вы, подкинувшая ребенка, здесь близко и слышите меня. Я взял его, снесу в полицейскую часть (тогда участков не было, а были части и кварталы) и передам его квартальному. Слышите? Я ухожу с ребенком в часть!

И понес ребенка по глухой, заросшей дорожке, направляясь к воротам сада. Ни одной живой души не встретил, у ворот не оказалось сторожа, на улицах ни полицейского, ни извозчика. Один я, в солдатской шинели с юнкерскими погонами и плачущим ребенком в белом тканьевом одеяльце на руках. Направо мост — налево здание юнкерского училища. Как пройти в часть — не знаю. Фонари на улицах не горят — должно быть, по думскому календарю в эту непроглядную ночь числилась луна, а в лунную ночь освещение фонарями не полагается. Приветливо налево горели окна юнкерского училища и фонарь против подъезда. Я как рыцарь на распутье: пойдешь в часть с ребенком — опоздаешь к поверке — в карцер попадешь; пойдешь в училище с ребенком — нечто невозможное, неслыханное — полный скандал, хуже карцера; оставить ребенка на улице или подкинуть его в чей-нибудь дом — это уже преступление.

А ребенок тихо стонет. И зашагал я к подъезду и через три минуты в дежурной комнате стоял перед дежурным офицером, с которым разговаривал ротный командир капитан Юнаков.

Часы били девять. Держа в левой руке ребенка, я правую взял под козырек и отрапортовал:

— Честь имею явиться, из отпуска прибыл.

Оба офицера были заняты разговором. Я стою.

— Ступайте же в роту,— сказал мне дежурный.

Я повернулся налево кругом и сообразил: снесу младенца в роту и расскажу все, как было. И уже рисовал картину, какой произведу эффект.

А другая мысль в голове: надо доложить дежурному,

но при Юнакове, строгом командире, страшно. Опять на распутье, но меня вывел из этого заплакавший младенец.

— Э-то что? — вскрикнул Юнаков, и оба они с дежурным выразили на своих лицах удивление, будто черта увидали.

И я рассказал все дело, как оно было. Юнаков подошел и обнюхал меня.

— Да вы пьяны.

— Никак нет, господин капитан, водку пил, но не пьян.

— Кажется, не пьян, но водкой пахнет,— согласился ротный командир.

В это время в подъезд вошли два юнкера, опоздавшие на десять минут, но их Юнаков без принятия рапорта прямо послал наверх, а меня и ребенка загородил своей широкой спиной. Юнаков послал сторожа за квартальным, но потом вернул его и приказал мне:

— Раз уж вы вмешались в дело, сами и выпутывайтесь. Идите с ним в квартал... А ты осторожно неси ребенка,— приказал он сторожу.

В полиции, под Лефортовской каланчой, дежурный квартальный, расправившись с пьяными мастеровыми, которых, наконец, усадили за решетки, составил протокол «о неизвестно кому принадлежащем младенце, по видимости, мужского пола и нескольких дней от рождения, найденном юнкером Гиляровским, остановившимся по своей надобности в саду Лефортовского госпиталя и увидавшим оного младенца под кустом». Затем было написано постановление, и ребенка на извозчике немедленно отправили с мушкетером в воспитательный дом.

Часа через полтора я вернулся в училище, и дежурный по распоряжению Юнакова приказал мне никому не рассказывать о найденном ребенке, но на другой день все училище знало об этом и хохотало до упаду. Какое-то высшее начальство поставило это на вид начальнику училища, и ни с того ни с сего меня отчислили в полк «по распоряжению начальства без указания причины». Я чувствовал себя жестоко оскорбленным, и особенно мучило меня, что это был удар главным образом отцу. Я хотел уже из Москвы бежать в Ригу или Питер, наняться матросом на иностранное судно и скрыться за грани-

цу. Но у меня не было ни копейки в кармане, а продать было нечего. Был узелок с двумя переменами белья, и только.

Я прибыл в полк и явился к моему ротному командиру Вольскому; он меня позвал на квартиру, угостил чаем, и я ему под великим секретом рассказал всю историю с ребенком.

— Знаете что,— сказал он мне,— хоть и жаль вас, но я, собственно, очень рад, что вы вернулись,— вы у меня будете только что прибывших новобранцев обучать, а на будущий год мы вас пошлем в Казанское училище, и вы прямо поступите в последний класс,— я вас подготовлю.

Я как-то сразу утешился, а он еще аргумент привел:

— Знаете наших дядек, которых приставляют к рекрутам,— ведь грубые все. Вы видали, как обращаются с рекрутами... На что уж ротный писарь Рачковский, и тот дерет с рекрутов. Мне в прошлом году жаловались: призвал рекрута из богатеньких и приказывает ему:

«Беги, купи мне штоф водки, цельную колбасу, кренделей, пару пива, четверку чаю и фунт сахару... Вот тебе деньги»,— и дает копейку.

«Слушаю-сь,— отвечает рекрут, догадавшись, в чем дело, повертывается и идет, а Рачковский ему вслед: — Не забудь рупь сдачи принести!»

Да разве он один такой! Каждый дядька так обращается с рекрутами,— они уж знают этот обычай. А я что сделаю!!

* * *

Я все-таки вышел ободренным и пришел на свои нары. Рота меня встретила сочувственно, а Шлема даже на свои деньги купил мне водки и огурцов, чтобы поздравить с приездом.

На нарах, кроме двух моих старых товарищей, не отправленных в училище, явились еще три юнкера, и мой приезд был встречен весело. Но все-таки я думал об отце, и вместе с тем засела мысль о побеге за границу в качестве матроса и мечталось даже о приключениях Робинзона. В конце концов я решил уйти со службы и «податься» в Астрахань.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЗИМОГОРЫ

Без крова и паспорта. Наследство Аракчеева. Загадочный дядька. Беглый пожарный. По морозцу. Иван Елкин. Украденный половик. Починка часов. Пропитая усадьба. Опять Ярославль. Будилов притон.

Стыдно было исключенному из училища! Пошел в канцелярию, взял у Рачковского лист бумаги и на другой день подал докладную записку об отставке Вольскому, которого я просил даже не уговаривать. Опять он пригласил меня к себе, напоил и накормил, но решения я не переменил, и через два дня мне вручили послужной список, в котором была строка, что я из юнкерского училища уволен и препровожден обратно в полк за неуспехи в науках и неудовлетворительное поведение. Дали мне еще аттестат из гимназии и метрическое свидетельство и 2 рубля 35 копеек причитающегося мне жалованья и еще каких-то денег...

Мне стыдно было являться в роту, и я воспользовался тем, что люди были на учебных занятиях, взял узелок с бельем и стеганую ватную старую куртку, которую в холод надевал под мундир.

Зашел в канцелярию к Рачковскому, написал письмо отцу и сказал, что поступаю в цирк.

«Куда идти? Где прожить до весны? А там в Рыбну, крючником», — решил я.

* * *

Я не имел права носить шинель и погоны, потому что вольноопределяющиеся, выходя в отставку, возвращались в «первобытное состояние без права именоваться воинским званием». Закусив в трактире, я пошел на базар, где сменял шинель, совершенно новую, из гвардейского сукна, сшитую мне отцом перед поступлением в училище, и такой же мундир из хорошего сукна на ватное потрепанное пальто; кепи сменял, прибавив полтину, на ватную старую шапку и, поддев вниз теплую душегрейку, посмотрел: зимогор! Рвань рванью. Только сапоги и штаны с кантом новые. Куда же идти? Где ночевать? В «Русский пир» или к Лондрону и другие трактиры вблизи казармы до девяти часов показаться нельзя — юнкера и солдаты ходят.

Рядом с «Русским пиром» был трактир Лондрона, отставного солдата из кантонистов, любителя кулачных боев. В Ярославле часто по зимам в праздники дрались — с одной стороны городские, с другой — фабричные, главным образом с корзинкинской фабрики. Бойцы-распорядители собирались у Лондрона, который немало тратил денег, нанимая бойцов. Несмотря на строгость, в боях принимали участие и солдаты обозной роты, которым мирволил командир роты капитан Морянинов, человек пожилой, огромной физической силы, в дни юности любитель боев, сожалевший в наших беседах, что мундир не позволяет ему самому участвовать в рядах; но тем не менее он вместе с Лондроном в больших санях всегда выезжал на бои, становился где-нибудь в поле на горке и наблюдал издали. Он волновался страшно, дрожал, скрежетал зубами, и раз, когда городских гнали фабричные по полю к городу, он, одетый в нагольный тулуп и самоедскую шапку, выскочил из саней, пересек дорогу бегущим и заорал своим страшным голосом:

— Ар-рнауты! Стой! Вперед! — бросился, увлек за собой наших, и город прогнал фабричных.

Из полка ходили еще только двое: я и Ларион Орлов. Лондрон нас переодевал в короткие полушубки. Орлову платил по пяти рублей в случае нашей победы, а меня угощал, верил в долг деньги и подарил недорогие, с себя,

серебряные часы, когда на мостике, близ фабрики Корзинкина, главный боец той стороны знаменитый в то время Ванька Гарный во главе своих начал гнать наших с моста и мне удалось сбить его с ног. Когда увидали, что атаман упал, фабричные ошалели, и мы их без труда расколотили и погнали. Лондрон и Морянинов ликовали. Вот в десятом часу вечера и отправился я к Лондрону, надеясь, что даст переночевать. Это был единственный мой хороший знакомый в Ярославле. Вхожу. Иду к буфету и с ужасом узнаю от буфетчика Семена Васильевича, что старик лежит в больнице, где ему сделали операцию. Семен меня угостил ужином, я ему рассказал о своей отставке, и он мне разрешил переночевать на диване в биллиардной.

* * *

На другой день я встретился с моим другом, юнкером Павликом Калининым, и он позвал меня в казарму обедать. Юнкера и солдаты встретили меня, «в вольном платье», дружелюбно, да только офицеры посмотрели косо, сказав, что вольные в казарму шляться не должны, и формалист-поручик Ярилов, делая какое-то замечание юнкерам, указал на меня, как на злой пример:

— До зимогора достукался!

И я, действительно, стал зимогором.

Так в Ярославле и вообще в верхневолжских городах зовут тех, которых в Москве именуют хитровцами, в Самаре — горчичниками, в Саратове — галаховцами, а в Харькове — раклами, и всюду — «золотая рота».

Пообедав с юнкерами, я ходил по городу, забегал в биллиардную Лондрона и соседнего трактира «Русский пир», где по вечерам шла оживленная игра на биллиарде в так называемую «фортунку», впоследствии запрещенную. Фортунка состояла из 25 клеточек в ящике, который становился на биллиард, и игравший маленьким костяным шариком должен был попасть в «старшую» клетку. Играло всегда не менее десяти человек, и ставки были разные, от пятака до полтинника, иногда до рубля.

Незадолго передо мной вышел в отставку фельдфебель 8-й роты Страхов, снял квартиру в подвале в Ни-

китском переулке со своей женой Марией Игнатьевной и ребенком и собирался поступить куда-то на место. В полку были мы с ним дружны, и я отправился в Никитский переулок, думая пока у него пожить. Прихожу и вижу каких-то баб и двух портных, мучающихся с похмелья. Оказалось, что Страхов недавно совсем выехал в деревню вместе с женой. Я дал портным двугривенный на опохмелку и выпросил себе разрешение переночевать у них ночь, а сам пошел в «Русский пир», думая встретиться с кем-нибудь из юнкеров; их в трактире не оказалось. Я зашел в биллиардную и сел между довольно-таки подозрительными завсегдатаями, «припевающими», как зовут их игроки. Потом пошел в карточную рядом с биллиардной, где играли в карты, в «банковку». И вот входит высокий, молодой щеголь, с которым я когда-то играл на биллиарде и не раз он пил вино в нашей юнкерской компании. Его приняли игроки довольно подобострастно и предложили играть, но он, взглянув, что игра была мелкая, на медные деньги, отказался и начал всматриваться в меня. Я готов был провалиться сквозь землю благодаря своему костюму.

— Извините, кажется, вы зимой юнкером были и мы с вами играли и ужинали?

— Да... вот в отставке...

— Бросили службу?.. Ну что же, хорошо... Вот я зашел сюда, деваться некуда, и здесь тоже никого... игра дешевая... Пойдемте в общий зал... Вообще вы не ходите в эту комнату, там шулера...

И объяснил мне тайну банковки с подрезанными картами.

Подали водку, икру. Потом солянку из стерляди и пару рябчиков.

— Приехал с завода, удрал от отца,— поразгуляться, поиграть... Вы знаете, я очень люблю игру... Чуть что — сейчас сюда... А сейчас я с одной дамой на денек приехал и по привычке на минуту забежал сюда.

В этот день я первый раз в жизни ел солянку из стерляди. Выпили бутылку лафита, поболтали. Я рассказал моему собеседнику, что живу у приятеля в ожидании места, и затем попрощались.

— Позвольте мне вас довезти до дома,— предложил

он мне, нанимая извозчика в лучшую в городе Кокуевскую гостиницу.

— Нет, спасибо, рядом живу... Вон тут...

Он уехал, а я сунул в карман руки и... нашел в правом кармане рублевую бумажку, а в ней два двугривенных и два пятиалтынных. И когда мне успел их сунуть мой собеседник, так и до сих пор не понимаю Но сделал это он необычайно ловко и совершенно кстати.

Я тотчас же вернулся в трактир, взял бутылку водки, в лавочке купил 2 фунта кренделей и фунт постного сахару для портных и для баб. Я пришел к ним, когда они, переругиваясь, собирались спать, но когда я портным выставил бутылку, а бабам — лакомство, то стал первым гостем.

Уснул на полу. Мне подостлали какое-то тряпье, под голову баба дала свернутую шубку, от которой пахло керосином. Я долго не спал и проснулся, когда уже рассвело и на шестке кипятили чугунок для чая.

* * *

Утром я пошел искать какого-нибудь места, перебегая с тротуара на тротуар или заходя во дворы, когда встречал какого-нибудь товарища по полку или знакомого офицера — солдат я не стеснялся, солдат не осудит, а еще позавидует поддевке и пальтишку — вольный стал!

* * *

Где-где я не был, и в магазинах, и в конторах, и в гостиницы заходил, все искал место «по письменной части». Рассказывать приключения этой голодной недели и скучно, и неинтересно: кто из людей в поисках места не испытывал этого и не испытывает теперь. В лучшем случае — вежливый отказ, а то на дерзость приходилось натыкаться:

— Шляются тут. Того и гляди, стащут что...

Наконец повезло. Возвращаюсь в город с вокзала, где мне добрый человек, услыхав мою просьбу, сказал, что без протекции и не думай попасть.

Вокзал тогда был один, Московский, и стоял, как и теперь стоит, за речкой Которослью.

От вокзала до Которосли, до Американского моста, как тогда мост этот назывался, расстояние большое, а на середине пути стоит ряд одноэтажных, казарменного типа, зданий — это военная прогимназия, переделанная из школы военных кантонистов, о воспитании которых в полку нам еще капитан Ярилов рассказывал. И он такую же школу прошел, основанную в аракчеевские времена. Да и долго еще по пограничным еврейским местечкам ездили отряды солдат с глухими фурами и ловили еврейских ребятишек, выбирая, которые поздоровее, сажали в фуры, привозили их в города и рассылали по учебным полкам, при которых состояли школы кантонистов. Здесь их крестили, давали имя и фамилию, какая на ум придет, но, впрочем, не мудрствовали, а более называли по имени крестного отца. Отсюда много меж кантонистов было Ивановых, Александровых и Николаевых...

Воспитывали жестоко и выковывали крепких людей, солдат, ничего не признававших, кроме дисциплины. Девизом воспитания был девиз, оставленный с аракчеевских времен школам кантонистов:

— Из десятка девять убей, а десятого представь.

И выдерживали такое воспитание только люди выносливости необыкновенной.

Вот около этого здания, против которого в загородке два сторожа кололи дрова, лениво чмокая колуном по полену, которое с одного размаха расколоть можно, я остановился и сказал:

— Братцы, дайте погреться, хоть пяток полешек расколоть, я замерз.

— Ну, ладно, погрейся, а я покурю.

И старый солдат с седыми баками дал мне колун, а сам закурил носогрейку.

Ну и показал я им, как колоть надо! Выбирал самые толстые, суковатые — сосновые были дрова, — и пока другой сторож возился с поленом, я расколол десяток...

— Ну и здоров, брат, ты! На-ко вот, покури.

И бакенбардист сунул мне трубку и взялся за топор.

Я для виду курнул раза три — и к другому:

— Давай, дядя, я еще бы погрелся, а ты покури.

— Я не курю. Я по-сухопутному.

Вынул из-за голенища берестяную тавлинку, постучал указательным пальцем по крышке, ударил тремя пальцами раза три сбоку, открыл, забрал в два пальца здоровую щепоть, склонил голову вправо, прищурил правый глаз, засунул в правую ноздрю.

— А ну-ка табачку носового, вспомни дедушку Мосолова, Луку с Петром, попадью с ведром!

Втянул табак в ноздрю, наклонил голову влево, закрыл левый глаз, всунул в левую ноздрю свежую щепоть и потянул, приговаривая:

— Клюшницу Марью, птишницу Дарью, косого звонаря, пономаря-нюхаря, дедушку Якова... — и подает мне: — Не угощаю всякого, а тебе почет.

Я вспомнил шутку старого нюхаря Костыги, захватил большую щепоть, засучил левый рукав, насыпал дорожку табаку от кисти к локтю, вынюхал ее правой ноздрей и то же повторил с правой рукой и левой ноздрей...

— Эге, да ты нашенский, нюхарь взаправдошной. Такого и угостить не жаль.

Подружились со стариком. Он мне рассказал, что этот табак с фабрики Николая Андреевича Вахрамеева, духовитый, фабрика вон там, недалече, за шошой, а то еще есть в Ярославле фабрика другого Вахрамеева и Дунаева, у тех табак позабористей, да не так духовит...

— Даром у меня табачок-то, на всех фабриках приятели, я к ним ко всем в гости хожу. Там все Мартыныча знают...

Я колол дрова, а он рассказывал, как прежде сам табак из махорки в деревянной ступе ухватом тер, что, впрочем, для меня не новость. Мой дед тоже этим занимался, и рецепт его удивительно вкусного табака у меня до сей поры цел.

— А ты сам откелева?

— Да вот места ищу, прежде конюхом в цирке был.

— А сам по-цирковому ломаться не умеешь?.. Страсть люблю цирк, — сказал Ульян, солдатик помоложе.

— Так, малость... Теперь не до ломанья, третий день не жрамши.

— А ты к нам наймайся. У нас вчерась одного за пьянство разочли... Дело немудрое: дрова колоть, печи топить, за опилками съездить на пристань да шваброй полы мыть...

Тут же меня представили вышедшему на улицу эконому, и он после двух-трех вопросов принял меня на пять рублей в месяц на казенных харчах.

И с каким же удовольствием я через час ужинал горячими щами и кашей с поджаренным салом! А наутро уж тер шваброй коридоры и гимнастическую залу, которую оставили за мной на постоянную уборку...

Не утерпел я, вынес опилки, подмел пол — а там на турник и давай сан-туше крутить, а потом в воздухе сальто-мортале и встал на ноги...

И вдруг аплодисменты и крики.

Оглянулся — человек двадцать воспитанников старшего класса из коридора вывалили ко мне.

— Новый дядька! А ну-ка еще!.. еще!..

Я страшно переконфузился, захватил швабру и убежал.

И сразу разнесся по школе слух, что новый дядька замечательный гимнаст, и сторожа говорили, но не удивлялись, зная, что я служил в цирке.

На другой день во время большой перемены меня позвал учитель гимнастики, молодой поручик Денисов, и после разговоров привел меня в зал, где играли ученики, и заставил меня проделать приемы на турнике и на трапеции, и на параллельных брусьях; особенно поразило всех, что я поднимался на лестницу, притягиваясь на одной руке. Меня ощупывали, осматривали, и установилось за мной прозвище:

— Мускулястый дядька.

Денисов звал меня на уроки гимнастики и заставлял проделывать разные штуки.

А по утрам я таскал на себе кули опилок, мыл пол, колол дрова, вечером топил четыре голландских печи, на вьюшках которых школьники пекли картошку.

Ел досыта, по вечерам играл в «свои козыри» в «носки» и в «козла» со сторожами и уж радовался, что дождусь навигации и махну на низовья Волги в привольное житье...

С дядьками сдружился, врал им разную околесицу, и больше все-таки молчал, памятуя завет отца, у которого была любимая пословица:

— Язык твой — враг твой, прежде ума твоего рыщет.

А также и другой завет Китаева:

— Нашел — молчи, украл — молчи, потерял — молчи.

И объяснение его к этому:

— Скажешь, что нашел, — попросят поделиться, скажешь, что украл, — сам понимаешь, а скажешь, что потерял, — никто ничего, растеряха, тебе не поверит... Вот и помалкивай да чужое послухивай, что знаешь, то твое, про себя береги, а от другого дурака, может, что и умное услышишь. А главное, не спорь зря — пусть всяк свое брешет, пусть за ним последнее слово останется!

Никто мне, кажется, не помог так в жизни моей, как Китаев своим воспитанием. Сколько раз все его науки мне вспоминались, а главное, та сила и ловкость, которую он с детства во мне развил. Вот и здесь, в прогимназии, был такой случай. Китаев сгибал серебряную монету между пальцами, а мне тогда завидно было. И стал он мне развивать пальцы. Сперва выучил сгибать последние суставы, и стали они такие крепкие, что другой всей рукой последнего сустава не разогнет; потом начал учить постоянно мять концами пальцев жевку-резину — жевка была тогда в гимназии у нас в моде, а потом и гнуть кусочки жести и тонкого железа...

— Потом придет время, и гривенники гнуть будешь. Пока еще силы мало, а там будешь. А главное, силой не хвастайся, зная про себя, на всяк случай, и никому не рассказывай, как что делаешь, а как проболтаешься, и силушке твоей конец, такое заклятие я на тебя кладу...

И я поклялся старику, что исполню заветы.

В последнем классе я уже сгибал легко серебряные пятачки и с трудом гривенники, но не хвастался этим. Раз только, сидя вдвоем с отцом, согнул о стол серебряный пятачок, а он, просто, как будто это вещь уж самая обыкновенная, расправил его, да еще нравоучение прочитал:

— Не делай этих глупостей. За порчу казенной звонкой монеты в Сибирь ссылают.

* * *

Покойно жил, о паспорте никто не спрашивал. Дети меня любили и прямо вешались на меня.

Да созорничать дернула нелегкая.

Принес в воскресенье дрова, положил к печи, иду по коридору — вижу, класс отворен и на доске написаны мелом две строчки:

De ta tige dètachèe
Pauvre feuille dessechèe...

Это Келлер, только что переведенный в наказание сюда из военной гимназии, единственный, который знал французский язык во всей прогимназии, собрал маленькую группу учеников и в свободное время обучал их по-французски, конечно, без ведома начальства.

И дернула меня нелегкая продолжить это знакомое мне стихотворение, которое я еще в гимназии перевел из учебника Марго стихами по-русски.

Я взял мел и пишу:

Où, vas tu? Je n'en sais rien.
L'orage a brisé le chêne,
Qui...

И вдруг сзади голоса:

— Дядя Алексей по-французски пишет.

Окружили — что да как...

Наврал им, что меня учил гувернер сына нашего барина, и попросил никому не говорить этого:

— А то еще начальство заругается.

Решили не говорить и потащили меня в гимнастическую залу, где и рассказали:

— А наш учитель Денисов на месяц в Москву сегодня уезжает и с завтрашнего дня новый будет, тоже хороший гимнаст, подпоручик Павлов из Нежинского полка...

Гром будто над головой грянул. Павлов — мой взводный. Нет, надо бежать отсюда!

Я это решил и уж потешил собравшуюся группу моих поклонников цирковыми приемами, вплоть до сальто-мортале, чего я до сих пор еще здесь не показывал...

А потом давай их учить на руках ходить, — прошелся сам и показал им секрет, как можно скоро выучиться, становясь на руки около стенки, и забрасывать ноги через голову на стенку...

Закувыркались мои ребятки, и кое-кто уж постиг секрет и начал ходить... Радость их была неописуема.

У одного выпал серебряный гривенник, я поднял, отдаю:

— Нет, дядька Алексей, возьми его себе на табак.

Надо бы взять и поблагодарить, а я согнул его пополам, отдал и сказал:

— Возьми себе на память о дядьке...

В это время в коридоре показался надзиратель, чтобы нас выгнать в непоказанное время из залы, и я ушел.

Павлов... Потом гривенник... Начальство узнает... Вспомнились слова отца, что за порчу монеты — каторга...

И пошел к эконому попросить в счет жалованья два рубля, а затем уйти куда глаза глядят.

— Паспорт давай, — первым делом спросил он.

— Сейчас пойду на фатеру, принесу. Сегодня же принесу... Я хотел попросить у вас рублика три вперед...

— Принеси паспорт, тогда дам... На пока рубль.

— Сегодня принесу.

— Пойди и принеси... Без паспорта держать нельзя.

Опять на холоду, опять без квартиры, опять иду к моим пьяницам-портным... До слез жаль теплого, светлого угла, славных сослуживцев-сторожей, милых мальчиков... То-то обо мне разговору будет! [1]

* * *

На другой день, после первых опытов, я уже не ходил ни по магазинам, ни по учреждениям... Проходя мимо пожарной команды, увидел на лавочке перед воротами кучку пожарных с брандмейстером, иду прямо к нему и прошу места.

— А с лошадьми водиться умеешь?

— Да я конюх природный.

---

[1] С лишком через двадцать лет я узнал о том, что говорили тогда обо мне после моего исчезновения в прогимназии.

— Ступай в казарму. Васьков, возьми его.

Ужинаю щи со снятками и кашу. Сплю на нарах. Вдруг ночью тревога. Выбегаю вместе с другими и на линейке еду рядом с брандмейстером, длинным и сухим, с седеющей бородкой. Уж на ходу надеваю данный мне ременный пояс и прикрепляю топор. Оказывается, горит на Подъяческой улице публичный дом Кузьминишны, лучший во всем Ярославле. Крыша вся в дыму, из окон второго этажа полыхает огонь. Приставляем две лестницы. Брандмейстер, сверкая каской, вихрем взлетает на крышу, за ним я с топором и ствольщик с рукавом. По другой лестнице взлетают топорники и гремят ломами, раскрывая крышу. Листы железа громыхают вниз. Воды все еще не подают. Огонь охватывает весь угол, где снимают крышу, рвется из-под карниза и несется на нас, отрезая дорогу к лестнице. Ствольщик, вижу сквозь дым, спустился с пустым рукавом на несколько ступеней лестницы, защищаясь от хлынувшего на него огня... Я отрезан и от лестницы и от брандмейстера, который стоит на решетке и кричит топорникам:

— Спускайтесь вниз!

Но сам не успевает пробраться к лестнице и, вижу, проваливается. Я вижу его каску наравне с полураскрытой крышей... Невдалеке от него вырывается пламя... Он отчаянно кричит .. Еще громче кричит в ужасе публика внизу... Старик держится за железную решетку, которой обнесена крыша, сквозь дым сверкает его каска и кисти рук на решетке... Он висит над пылающим чердаком... Я с другой стороны крыши, по желобу, по ту сторону решетки ползу к нему, крича вниз народу:

— Лестницу сюда!

Подползаю. Успеваю вовремя перевалиться через решетку и вытащить его, совсем задыхающегося... Кладу рядом с решеткой... Ветер подул в другую сторону, и старик от чистого воздуха сразу опамятовался. Лестница подставлена. Помогаю ему спуститься. Спускаюсь сам, едва глядя задымленными глазами. Брандмейстера принимают на руки, в каске подают воды. А ствольщики уже влезли и заливают пылающий верхний этаж и чердаки.

Меня окружает публика... Пожарные... Брандмейстер, придя в себя, обнял и поцеловал меня... А я все еще в

себя не приду. К нам подходит полковник небольшого роста, полицмейстер Алкалаев-Карагеоргий, которого я издали видел в городе... Брандмейстер докладывает ему, что я его спас.

— Молодец, братец! Представим к медали.

Я вытянулся по-солдатски.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие.

И вдруг вижу, идет наша шестая рота с моим бывшим командиром, капитаном Вольским, во главе, назначенная «на случай пожара» для охраны имущества.

Я ныряю в толпу и убегаю.

Прощай, служба пожарная и медаль за спасение погибавших. Позора встречи с Вольским я не вынес и... ночевал у моих пьяных портных... Топор бросил в глухом переулке под забор.

И радовался, что не надел каску, которую мне совали пожарные, поехал в своей шапке... А то, что бы я делал с каской и без шапки? Утром проснулся весь черный, с ободранной рукой, с волосами, полными сажи. Насилу отмылся, а глаза еще были воспалены. Заработанный мной за службу в пожарных широкий ременный пояс служил мне много лет. Ах, какой был прочный ременный пояс с широкой медной пряжкой! Как он мне после пригодился, особенно в задонских степях табунных.

* *
*

И пришла мне ночью благодетельная мысль. Прошлой зимой приезжали в Ярославль два моих гимназических товарища-одноклассника, братья Поповы. Они разыскали меня в полку, кутили три дня, пропили все, деньги и свою пару лошадей с санями, и уехали на ямщике в свое имение, верстах в двадцати пяти от Ярославля под Романовом-Борисоглебском. Имение это они получили в наследство, бросили гимназию, вскоре после меня, и поселились в нем и живут безвыездно, охотясь и ловя рыбу. Они еще тогда уговаривали меня бросить службу и идти к ним в управляющие. Вспомнил я, что по Романовской дороге деревня Ковалево, а вправо, верстах в двух от нее, на берегу Волги, их имение Подберезное.

— Вот и место,— обрадовался я.

Съев из последних денег селянку и расстегай, я бодро и весело ранним утром зашагал первые версты. Солнце слепило глаза отблесками бриллиантиков бесконечной снежной поляны, сверкало на обындевевших ветках берез большака, нога скользила по хрустевшему снегу, который крепко замел след полозьев. Руки приходилось греть в карманах для того, чтобы теплой ладонью время от времени согревать мерзнувшие уши. Подхожу к деревне; обрадовался, увидев приветливую елку над новым домом на краю деревни.

Иван Елкин! Так звали в те времена народный клуб, убежище холодных и голодных — кабак. В деревнях никогда не вешали глупых вывесок с казенно-канцелярским названием «питейный дом», а просто ставили елку над крыльцом. Я был горд и ясен: в кармане у меня звякали три пятака, а перед глазами зеленела над снежной крышей елка, и я себя чувствовал настолько счастливым, насколько может себя чувствовать усталый путник, одетый при 20-градусном морозе почти так же легко, как одевались боги на Олимпе... Я прибавил шагу, и через минуту под моими ногами заскрипело крыльцо. В сенях я столкнулся с красивой бабой, в красном сарафане, которая постилала около дверей чистый половичок.

— Вытри ноги-то, пол мыли! — крикнула она мне.

Я исполнил ее желание и вошел в кабак. Чистый пол, чистые лавки, лампада у образа. На стойке бочонок с краном, на нем висят «крючки», медные казенные мерки для вина. Это — род кастрюлек с длинными ручками, мерой в штоф, полуштоф, косушку и шкалик. За стойкой полка, уставленная плечистыми четырехугольными полуштофами с красными наливками, желтыми и зелеными настойками. Тут были: ерофеич, перцовка, полыновка, малиновка, рябиновка и кабацкий ром, пахнущий сургучом. И все в полуштофах: тогда бутылок не было по кабакам. За стойкой одноглазый рыжий целовальник в красной рубахе уставлял посуду. В углу на лавке дремал оборванец в лаптях и сером подобии зипуна. Я подошел, вынул пятак и хлопнул им молча о стойку. Целовальник молча снял шкаличный крючок, нацедил водки из крана вровень с краями, ловко перелил в зеленый стакан с тол-

стым дном и подвинул его ко мне. Затем из-под стойки вытащил огромную бурую, твердую, как булыжник, печенку, отрезал «жеребьек», ткнул его в солонку и подвинул к деревянному кружку, на котором лежали кусочки хлеба. Вышла хозяйка.

— Глянь-ка, малый, да ты левое ухо отморозил.

— И впрямь отморозил... Давай-ка снегу.

Хозяйка через минуту вбежала с ковшом снега.

— Накося, ототри!.. Да щеку-то, глядь, щеку-то.

Я оттер. Щека и ухо у меня горели, и я с величайшим наслаждением опрокинул в рот стакан сивухи и начал закусывать хлебом с печенкой. Вдруг надо мной прогремел бас:

— И выходишь ты дурак, — а еще барин!

Передо мной стоял оборванец.

— Дурак, говорю. Жрать не умеешь! Не понимаешь того, что язык — орган вкуса, а ты как лопаешь? Без всякого для себя удовольствия!

— Нет, брат, с большим удовольствием, — отвечаю.

— А хочешь получить вдвое удовольствие? Поднеси мне шкалик, научу тебя, неразумного. Умираю, друг, с похмелья, а кривой черт не дает!—Лицо его было ужасно: опух, глаза красные, борода растрепана и весь дрожал. У меня оставалось еще два пятака на всю мою будущую жизнь, так как впереди ничего определенного не предвиделось. Вижу, человек жестоко мучится. Думаю, — рискнем. То ли бывало... Бог даст день, бог даст и деньги! И я хлопнул пятаками о стойку. Замелькали у кривого крючок, стаканы, нож и печенка. Хозяйка по жесту бродяги сняла с гвоздя полотенце и передала ему. Тот намотал конец полотенца на правую руку, другой конец перекинул через шею и взял в левую. Затем нагнулся, взял правой рукой стакан, а левой начал через шею тянуть вниз полотенце, поднимая, таким образом, как на блоке, правую руку со стаканом прямо ко рту. При его дрожащих руках такое приспособление было неизбежно. Наконец, стакан очутился у рта, и он, закрыв глаза, тянул вино, по-видимому, с величайшим отвращением.

Поставив пустой стакан, сбросил полотенце.

— Ой, спасибо!

И глаза повеселели — будто переродился сразу.

— А тебе, малый, не жаль будет уступить?.. Уж поправляй совсем!

Я видел его жадный взгляд на мой стакан и подвинул его.

— Пей.

И он уж без всякого полотенца слегка дрожащей рукой ловко схватил стакан и сразу проглотил вино. Только булькнуло.

— Спасибо. Теперь жив. Ты закусывай, а я есть не буду...

Я взял хлеб с печенкой и не успел положить в рот, как он ухватил меня за руку.

— Погоди. Я тебя обещал есть выучить... Дело просто. Это называется бутерброд, стало быть, хлеб внизу, а печенка сверху. Язык — орган вкуса. Так ты вот до сей поры зря жрал, а я тебя выучу, век благодарен будешь и других уму-разуму научишь. Вот как: возьми да переверни, клади бутерброд не хлебом на язык, а печенкой. Ну-ка!

Я исполнил его желание, и мне показалось очень вкусно. И при каждом бутерброде до сего времени я вспоминаю этот урок, данный мне пропойцей-зимогором в кабаке на Романовском тракте, за который я тогда заплатил всем моим наличным состоянием.

В кабак вошли два мужика и распорядились за столиком полуштофом, а зимогор предложил мне покурить. Я свернул собачью ножку и с удовольствием затянулся махоркой.

— Куда идешь? — спросил меня хозяин.

— Не видишь — на Кудыкину гору, чертей за хвост ловить, — огрызнулся на него бродяга. — Да твое ли это дело! Допрашивать-то твое дело? Ты кто такой?

— Да я к слову...

— За такие слова и в кабак к тебе никто ходить не будет...

— В Романов иду, — сказал я.

— Далеко. Ты, мал, поторапливайся. Ишь, метелица какая закурила...

Я пожал руку бродяге, поклонился целовальнику и вышел из теплого кабака на крыльцо. Ветер бросил мне снегом в лицо. Мне мелькнуло, что я теперь совсем уж

отморожу себе уши, и я вернулся в сени, схватил с пола чистый половичок, как башлыком укутал им голову и бодро выступил в путь. И скажу теперь, не будь этого половика, я не писал бы этих строк.

* * *

Стемнело, а я все шел и шел. Дорога большая, обсаженная еще при «матушке-Екатерине» березами; сбиться нельзя. Иногда нога уходила до колен в навитые по колее гребни снега.

Метель кончилась. Идти стало легче. Снег скрипел под ногами. Темь, тишина, одиночество. Половик спас меня — ни разу не пришлось оттирать ушей и щек.

Вот вдали огоньки... Темные контуры домов... Я чувствовал такую усталость, что, не будь этой деревни, кажется, упал бы и замерз. Предвкушая возможность вытянуться на лавке или хоть на полу в теплой избе, захожу в избу... в одну... в другую... в третью... Везде заперто, и в ответ на просьбу о ночлеге слышу ругательства. Захожу в четвертую — дверь оказалась незапертой. Коптит светец. Баба накрывает на стол. В переднем углу сидит седой старик, рядом бородатый мужик и мальчонка. Вошел и, помня уже раз испытанный когда-то урок, помолился на образ.

— Пустите переночевать, Христа ради.

— Дверь-то не заперла, лешая! — зыкнул на бабу бородатый.

— Не прогневайся, не пущаем... Иди себе с богом, откуда пришел... Иди уж!.. — затараторила баба.

— Замерз ведь я... Из Ярославля пешком иду.

— У меня этакий наслезник топор из-под лавки спер...

— Я ведь не вор какой... — пробовал защищаться я, снимая с шеи и стряхивая украденный половик.

Хозяйка несла из печи чашку со щами. Пахло грибами с капустой. Ломти хлеба лежали на столе.

— Фокыч, пущай он поисть, а там и уходит... А, Фокыч? — обратилась баба к рыжему.

— Садись, поешь уж. Только ночевать не пущу, — сказал рыжий, а старик указал мне место на скамье, где сесть.

Скинув половик и пальто, я уселся. Аромат райский ощущался от пара грибных щей. Едим молча. Еще подлили. Тепло. Приветливо потрескивает, слегка дымя, лучина в светце, падая мелкими головешками в лохань с водой. Тараканы желтые домовито ползают по Илье Муромцу и генералу Бакланову... Тепло им, как и мне. Хозяйка то и дело вставляет в железо высокого светца новую лучину... Ели кашу с зеленым льняным маслом. Кошка вскочила на лавку и начала тереться о стенку.

— Топор-то у меня стащил... И заперто было... Сидим это... перед рождеством дело... Поужинали... Вдруг стучит. Если бы знали, что бродяга, в жисть не отперли бы. «Кто это?» — спрашиваю. А он из-за двери-то: «Нет ли продажного холста?»

А холстина-то была у нас. Отпираю. Входит так, мужичонка.

«Тебе, спрашиваю, холста?», а он: «Милостиньку ради Христа! Пустите ночевать да обогреться».

Вижу, человек хороший... Ночевал... А утром, глядь, нету... Ни его нет, ни топора нет... Вот и пущай вашего брата!..

Кошка играла цепочкой стенных часов-ходиков, которые не шли.

Чтобы сколько-нибудь задержаться в теплой избе, я заговорил о часах.

— Давно стоят? — спрашиваю хозяина.

— С лета. Упали как-то, ну, и стали. А ты понимаешь в часах-то?

— Малость смыслю. У себя дома всегда часы сам чиню.

— Ну, паря. А ты бы наши-то посмотрел...

— Что же, я, пожалуй, посмотрю... Отвертка есть?

— Стамеска махонькая есть.

Подал стамеску. Хозяйка убрала со стола. С сердечным трепетом я снял со стены ходики и с серьезной физиономией осмотрел их и принялся за работу. Кое-что развинтил.

— Темновато при лучине-то... Уж я лучше утром...

Хозяйка подала платок, в который я собрал части часов.

Улегся я на лавке. Дед и мальчишка забрались на полати... Скоро все уснули. Тепло в избе. Я давно так крепко не спал, как на этой узкой скамье с сапогами в головах. Проснулся перед рассветом; еще все спали. Тихо взял из-под головы сапоги, обулся, накинул пальто и потихоньку вышел на улицу. Метель утихла. Небо звездное. Холодище страшенный. Вернулся бы назад, да вспомнил разобранные часы на столе в платочке и зашагал, завернув голову в кабацкий половик...

* * *

Деревня Ковалево. Спрашиваю у бабы с ведром у колодца, как пройти в Подберезное. Так называлось имение Поповых — цель моего стремления.

— А вот направо просекой, прямо и придешь. Только, гляди, дороги лесом нет, оттоле никто не ездит... Прямо к барскому дому подойдешь, недалече.

И пошел я мимо овинов к лесу, пошел просекой, утопал выше колена в снегу; было тихо, не особенно холодно и облачно. Это «недалече» мне показалось так версты в три. От меня валил пар, голова была мокрая, а я шагал и шагал. Вот, наконец, барский дом, с выбитыми рамами, с полуободранной крышей, с заколоченной жердями крест-накрест зияющей парадной дверью под обвалившимся зонтом крыльца. Следов нигде никаких. Налево от дома в почерневшем флигеле из трубы вьется дымок, а от флигеля тропочка в другую сторону от меня. Вхожу в большую избу, топится печь. Около шестка хлопочет старушка, типа пушкинской няни.

— Здравствуйте. Это Подберезное?

— Было оно Подберезное когда-то, да сплыло!

— А где Поповы живут?

— Э-эх! Были Поповы, да сплыли!

Горькую весть узнаю. Оказалось, что братья Поповы получили это имение года два назад в наследство от дяди, переехали сюда вдвоем и сразу закутили вовсю. Придут, бывало, в Ковалево, купят все штофы и полуштофы, что стоят на полках, с разными наливками и настойками — это для баб, а для мужчин ведро водки поставят. На закуску скупят в лавке все крендели, пряники и гуля-

ют. А то в Романов или Ярославль уедут — по неделям пьют. Уедут на своих лошадях, в своих экипажах, пропьют их в городе, а назад на наемных вернутся, в одних пальтишках... Сперва продали все добро из комнат, потом хлеб, скот — и все понемногу; нет денег на вино — корову сведут, диван продадут. Потом строевые деревья из лесу продавали потихоньку от начальства, потом осенью этой из дома продали двери да рамы — разорили все и уехали, а куда и сами не знаем.

Пришел с бутылкой постного масла ее муж, старик— оба бывшие крепостные этого имения. Он все подтвердил и еще разукрасил, что сказала старушка. Я в свою очередь рассказал, зачем пришел. Сердечно посожалели они меня, накормили пустыми щами, переночевал я у них в теплой избе, а утром чуть рассвело, напоив горячей водой с хлебом, старик отвел меня по чуть протоптанной им же стежке через глубокий овраг, который выходил на Волгу, в деревню Яковлевское, откуда была дорога в Ковалево. В деревне мы встретили выезжавшего на доброй лошаденке хорошо одетого крестьянина, который разговорился со стариком. Оказалось, что это приказчик местного богача Тихомирова, который шьет полушубки из лучших романовских овец на Москву и Ярославль. Старик рассказал про меня, и приказчик, ехавший в Ярославль, пожалел меня, поругал пьяниц Поповых и предложил довезти меня до Ярославля. Потом повернул лошадь к своему дому, вынес оттуда новый овчинный тулуп.

— Надень, а то замерзнешь.

Проезжая деревню, где я чинил часы, я закутался в тулуп и лежал в санях. Также и в кабак, где стащил половик, я отказался войти. Всю дорогу мы молчали — я не начинал, приказчик ни слова не спросил. На второй половине пути заехали в трактир. Приказчик, молчаливый и суровый, напоил меня чаем и досыта накормил домашними лепешками с картофелем на постном масле. По приезде в Ярославль приказчик высадил меня, я его поблагодарил, а он сказал только одно слово: «Прощавай!»

После хороших суток, проведенных у стариков в теплой хате, в когда-то красивом имении на гористом берегу Волги — я опять в Ярославле, где надо избегать встречи

с полковыми товарищами и думать, где бы переночевать и что бы поесть. Пошел на базар, чтобы сменять хорошие штаны на плохие или сапоги — денег в кармане ни копейки. Последний пятак за урок, как бутерброды есть, заплатил. Я прямо пошел на базар, где гостиница «Столбы». Посредине толкучки стоял одноэтажный промозглый длинный дом, трактир Будилова, притон всего бездомного и преступного люда, которые в те времена в честь его и назывались «будиловцами». Это был уже цвет ярославских зимогоров, летом работавших грузчиками на Волге, а зимами горевавших и бедовавших в будиловском трактире.

Сапоги я сменял на подшитые кожей старые валенки и получил рубль придачи и заказал чаю. В первый раз я видел такую зловонную, пьяную трущобу, набитую сплошь скупавшими у пьяных платье: снимает пальто или штаны — и тут же наденет рваную сменку... Минуту назад и я также переобувался в валенки... Я примостился в углу, у маленького столика, добрую половину которого занимал руками и головой спавший на стуле оборванец. Мне подали пару чаю за 5 копеек, у грязной торговки я купил на пятак кренделей и наслаждаюсь. В валенках тепло ногам на мокром полу, покрытом грязью. Мысли мелькают в голове — и ни на одной остановиться нельзя, но девять гривен в кармане успокаивают. Только вопрос, где ночевать? У Лондрона больше неудобно проситься. Где же? Кого спросить? Но все такие опухшие от пьянства разбойничьи рожи, что подступиться не хочется.

Пью чай, в голове думушка: где бы ночевать?.. Рассматриваю моего спящего соседа, но мне видна только кудлатая голова, вся в известке, да торчавшие из-под головы две руки, в которые он уткнулся лицом. Руки тоже со следами известки, въевшейся в кожу.

Пью, смотрю на оборванцев, шлепающих по сырому полу снежными опорками и лаптями... Вдруг стол качнулся. Голова зашевелилась, передо мной лицо желтое, опухшее. Пьяные глаза он уставил на меня и снова опустил голову. Я продолжал пить чай... Предзакатное солнышко на минуту осветило грязные окна притона. Сосед опять поднял голову, выпрямился и сел на стуле, постарался встать и опять хлюпнулся.

Потом взглянул на меня и сказал:

— На завод пора, а я, мотри, мал, того... — И стал шарить в карманах... Потом вынул две копейки, кинул их на стол. — Мотри, только один семик... добавь тройчак на шкалик... охмелюсь и пойду! — обратился он ко мне.

— Ладно.

Я спросил косушку. Подали ее, четырехугольную, и принесли стаканчик из зеленого стекла, шкаличного размера. Из косушки их выходило два. Деньги, гривенник, конечно, уплатил, как и раньше за чай, — вперед. Здесь такой обычай.

— Пей!

— Налей. Руки не годятся, расплещут.

Я налил. Он нагнулся над столом, обеими руками обхватил стакан, понемногу высосал вино и сразу пришел в себя.

— Ну вот я и жив! Спасибо, брательник...

— Ешь крендели, закусывай, — предлагаю.

— Не надо. А ты чего не пьешь? — спрашивает меня, а сам любовно косится на косушку.

— Сыпь! Я не буду.

— Во спасибо!.. А то не прохватило.

На этот раз он сам налил полный стакан, выпил смаху и крякнул:

— Теперь жив.

— Чайку?

— Коли милость твоя, и чайком бы погреться...

— Малай-й! — подозвал он полового. — Прибор к паре и на семик сахару... Да кипяточку, — и подвинул половому свои две копейки, лежавшие на столе.

Половой сунул в рот две копейки, схватил чайник и тотчас же принес два куска сахару, прибор и чайник с кипятком. Мой сосед молча пил до поту, ел баранки и, наконец, еще раз поблагодарив меня, спросил:

— А ты по какой ударяешь?

— Да по такой же! Вишь, зимогорю...

— Я тоже зимогор, уж десяток годов коло Будилова околачиваюсь, а сейчас при месте, у Сорокина, на белильном... Да вчера получка была, загулял... И шапку пропил... Как и дойду, не знаю...

Разговорились. Я между прочим сказал, что не знаю,

как прозимогорю до водополья, и что сегодня ночевать негде.

— Эка дура! Да на завод к нам! У Сорокина места хватит...

— Да я не знаю работы...

— В однорядь выучат... Напьемся чаю, да айда со мной. Сразу приделят к делу...

Он кое-что рассказал о заводе.

— У меня паспорта нет.

— А у кого он на заводе есть? Там паспортов не любят, рублем дороже в месяц плати... Айда!

Ввалилась торговка. На руке накинута разная трепанная одежонка, а на голове, сверх повязанного платка, картуз с разорванным пополам козырьком.

— Почем картуз? — спрашиваю.

— Гривенник.

— А гривну хошь...

— Добавь семишку, за пятак владай!

Я купил засаленный картуз и дал зимогору. Мы зашагали к Волге.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ОБРЕЧЕННЫЕ

Сытный ужин. Таинственный великан. Утро в казарме. Работа в пекле. Схватка с разбойником. Суслик. Сказка и бывальщина. Собака во щах. Встреча с Уланом. Кто был Иван Иванович. Смерть атамана Репки. Опять на Волге.

Вспомню белильный завод так, как он есть. Приходится заглянуть лет на десяток вперед. Дело в том, что я его раз уж описывал, но не совсем так, как было. В 1885 году, когда я уже занял место в литературе, в «Русских ведомостях» я поместил очерк из жизни рабочих «Обреченные». Подробнее об этом дальше, а пока я скажу, что «Обреченные» — это беллетристический рассказ с ярким и верным описанием ужасов этого завода, где все имена и фамилии изменены и не назван даже самый город, где был этот завод, а главные действующие лица заменены другими, — словом, написан так, чтобы и узнать нельзя было, что одно из действующих лиц — я, самолично, а другое главное лицо рассказа совсем не такое, как оно описано, только разве наружность сохранена... Печатался этот рассказ в такие времена, когда правду говорить было нельзя, а о себе мне надо было и совсем молчать.

А правда была такая.

Вечереет. Снежок порошит. Подходим к заводу. Это ряд обнесенных забором по берегу Волги, как раз против пароходных пристаней, невысоких зданий.

Мой спутник постучал в калитку. Вышел усатый старик-сторож.

— Фокыч, я новенького привел...

— Ну-к што ж... Веди в контору, там Юханцев, он запишет.

Приходим в контору. За столом пишет высокий рыжий солдатского типа человек. Стали у дверей.

— Тебе что, Ванька?

— Вот новенького привел.

Юханцев оценил меня взглядом.

— Ладно. В кубовщики. Как тебя писать-то?

— Алексей Иванов.

— Давай паспорт.

— У меня нет.

— Ладно. Четыре рубля в месяц. Отведи его, Ваня, в казарму.

А потом ко мне обратился:

— Поешь, выспись, завтра в пять на работу. Шастай!

Третья казарма — длинное, когда-то желтое, грязное и закоптелое здание, с побитыми в рамах стеклами, откуда валил пар... Голоса гудели внутри... Я отворил дверь. Удушливо-смрадный пар и шум голосов на минуту ошеломил меня, и я остановился в дверях.

— Лещай, чего распахнул! Небось, лошадей воровал, хлевы затворял!

Услыхал я окрик и вошел.

Большая казарма. Кругом столы, обсаженные народом. В углу, налево, печка с дымящимися котлами. На одном сидит кашевар и разливает в чашки щи. Направо, под лестницей, гуськом, один за одним, в рваных рубахах и опорках на босу ногу вереницей стоят люди, подвигаясь по очереди к приказчику, который черпает из большой деревянной чашки водку и подносит по стакану каждому.

— Эй, ты, новенький, подходи! — крикнул он мне.

Я становлюсь в очередь и тоже получаю стакан сивухи и сажусь к крайней чашке, за которой сидело девять человек.

Здоровенный рыжий безусый малый крошит говядину на столе и горстями валит во щи. Я напустился на горячие щи.

— Ишь ты, с воли-то пришел, как хрястает, поглядеть любо! — замечает старичонка с козлиной бородкой.

— А тебе завидно, ворона дохлая?

— Не завидно, а все-таки...

Свалили в чашку говядину. Сбегали к кашевару, добавили щей. Рыжий постучал ложкой.

— Таскай со всем!

Вкусно пахли щи, но и с говядиной ели лениво. Так и не доели, вылили. Наложили пшенной каши с салом... Я жадно ел, а другие только вид делали.

— Что это никто каши не ест? — спросил я соседа.

— Приелась. Погоди с недельку, здесь поработаешь — и тебя от еды отвалит... Я похлеще тебя ашал, как с воли пришел, а теперь и глядеть противно.

А я прожил на заводе слишком четыре месяца, а ел все время так же, как и сегодня: счастье подвезло.

Понемногу все отваливались и уходили наверх по широкой лестнице в казарму. Я все еще не мог расстаться с кашей. Со мной рядом сидел — только ничего не ел — огромный старик, который сразу, как только я вошел, поразил меня своей фигурой. Почти саженного роста, с густыми волосами в скобку, с длинной бородой, вдоль которой двумя ручьями пробегали во всю ее длину серебряные усы.

А лицо землисто-желтое, истомленное, с полупотухшими глубокими серыми глазами... Его огромная ручища с полосками белил в морщинах, казалось, могла закрыть чашку...

Он сидел, молчал, а потом этой жесткой, как железо, рукой похлопал меня по плечу.

— Кушай на здоровье. Будешь есть — будешь жив... Главное, ешь больше. Здесь все в еде...

— А вот ты, дедушка, не ешь.

— Мне не к чему... Я умирать собираюсь, а тебе еще жить да жить надо... Гляжу я на тебя и радуюсь. По душе ты мне сразу пришелся...

— Спасибо, дедушка, и ты мне тоже... А то ведь у меня здесь все чужие.

— Здесь все друг другу чужие, пока не помрут... А отсюда живы редко выходят. Работа легкая, часа два-три утром, столько же вечером, кормят сытно, а тут тебе и

конец... Ну эта легкая-то работа и манит всякого... Мужик сюда мало идет, вреды боится, а уж если идет какой, так либо забулдыга, либо пропоец... Здесь больше отставной солдат работает али никчемушный служащий, что от дела отбился. Кому сунуться некуда... С голоду да с холоду... Да наш брат, гиляй бездомный, который, как медведь, любит летом волю, а зимой нору...

— Нет, я только до весны... С первым пароходом убегу...

— Все, брательник, так думают. А как пойдут колики да завалы, от хлеба отобьет — другое запоешь... Ну да ладно, об этом подумаем... Ужо увидим.

— А сколько тебе годков, дедушка?

Старик поднял голову, и глаза его сверкнули на меня.

— Без малого слишком около того...

И опять положил пудовую ручищу на мое далеко не слабое плечо.

— А ты, вот што: ежели хошь дружить со мной, так не трави меня, не спрашивай, кто да что, да как, да откеля... Я того, брательник, не люблю... Ну, понял? Ты, я вижу, молодой да умный... Может, я с тобой с первым и балакаю. Ну, понял?

— Ладно, понял, так и будет.

— А звать меня Иваном, и отец Иван был.

— А меня Алексей Иванов.

— Ну вот, оба Иванычи! — и как-то нутром засмеялся.

— Ведь я тебя не спрашиваю, кто ты, да что ты? А нешто я не вижу, что твое место не здесь... Мое так здесь, я свое отхватал, будя. Понял?

— Понял.

— А теперь спать пойдем, около меня на нарах слободно, дружок спал, в больницу отправили вчера. Вот захвати сосновое поленце в голову, заместо подушки — и айда.

И сильно хромая, стал подниматься по лестнице.

Измученный последними тревожными днями, я скоро заснул на новой подушке, которая приятно пахла в вонючей казарме сосновой корой... А такой роскоши — вытянуться в тепле во весь рост — я давно не испытывал.

Эта ночь была величайшим блаженством. Главное — ноги вытянуть, не скрючившись спать!

Сквозь сон я услыхал звонкий стук и вместе с тем колокол в соседней с заводом церкви. Звонили к заутрени, а в казарме сторож стучал деревянной колотушкой и нараспев кричал:

— Подымайтесь на работу, ребятушки, подымайсь!

— Эх, каторга жизнь... А-а-а... — зевал кто-то спросонья.

— На работу, ребятушки, на работу-у!

— Чего горланишь, дармоед сорокинский?

— Что ты, окромчадал, что ли, орешь! — слышались недовольные голоса с поминанием родителей до седьмого колена. И над всем загремело:

— На пожаре ты, что ли, дьявол!

Это рявкнул на сторожа вскочивший с нар во весь свой огромный рост Сашка, атаман казармы, буян и пьяница.

— Встал, так и не буду. Чего ругаешься? — испуганно проворчал сторож, пятясь к лестнице.

Недалеко от меня в углу заколыхалась груда разноцветных лохмотьев, и из-под нее показалась совершенно лысая голова и опухшее желтое лицо с клочком седых волос под нижней губой.

— Гляди, сам паршивый козел из помойной ямы вылезает, становись, ребята! — загрохотал Сашка.

Ему в ответ засмеялись. Козел ругался и бормотал что-то...

Понемногу все поднялись, поодиночке друг за другом спустились вниз, умывались на ходу, набирая в рот воды и разливая по полу, чтобы для порядка в одном месте не мочить, затем поднимались по лестнице в казарму, утирались кто подолом рубахи, кто грязным кафтаном.

Некоторые прямо из кухни, не умываясь, шли в кубочную, на другой конец двора. Я пошел за Иваном. На дворе было темно, метель слепила глаза и жгла еще не проснувшееся горячее тело.

Некоторые кубовщики бежали в одних рубахах и опорках.

— Все равно околевать-то! — ответил мне один, которому я участливо заметил, что холодно...

— Сейчас согреемся! — утешил меня Иваныч, отворяя дверь в низкое здание кубочной, и через сени прошли в страшно жаркую, с сухим жгучим воздухом палату.

— Тепло, потому клейкие кубики выходят, а им жар нужен.

Длинная, низкая палата вся занята рядом стоек для выдвижных полок, или, вернее, рамок с полотняным дном, на котором лежит «товар» для просушки. Перед каждыми тремя стойками стоит неглубокий ящик на ножках в виде стола. Ящик этот так и называется—стол. В этих столах лежали большие белые овалы. Это и есть кубики, которые предстояло нам резать.

Иваныч подал мне нож, особого устройства, напоминающий большой скобль, только с одной длинной рукоятью посредине.

— Вот это и есть нож, которым надо резать кубики мелко, чтобы ковалков не было. Потом, когда кубики изрежем, разложим их на рамы, ссыпем другие и сложим в кубики. А теперь скидай с себя рубаху.

Скинул и сам. Я любовался сухой фигурой этого мастодонта. Широкие могучие кости, еле обтянутые кожей, с остатками высохших мускулов. Страшной силы, по-видимому, был этот человек. А он полюбовался на меня и одобрительно сказал:

— Тебе пять кубиков изрезать нипочем. Ну, гляди!

Показал мне прием, начал резать, но клейкий кубик, смассовавшийся в цемент, плохо поддавался, приходилось сперва скоблить. Начал я. Дело пошло сразу. Не успел Иваныч изрезать половину, как я кончил и принялся за вторую. Пот с меня лил градом. Ладонь правой руки раскраснелась, и в ней чувствовалась острая боль — предвестник мозолей.

Вдруг Иваныч бросил нож, схватился за живот и застонал:

— Опять схватило... Колики проклятые...

Я усадил его на окно, взял его нож и, пока он мучился, изрезал оба его кубика и кончил свой, второй... Старик пришел в себя и удивился, что работа сделана.

— Спасибо. Вот спасибо! А теперь, Алеша, завяжи се-

бе рот тряпицей, чтобы пыли при ссыпке не глотать... Вот так.

Мы завязали рты грязными тряпками и стали пересыпать в столы с рам высохший «товар» на место изрезанного, который рассыпали на рамы для сушки. Для каждого кубика десять рам. Белая свинцовая пыль наполнила комнату. Затем «товар» был смочен на столах «в плепорцию водицей», сложен в кубики и плотно убит.

Работа окончена. Мы омылись в чанах с опалово-белой свинцовой водой и возвратились в казармы.

Сегодняшняя работа была особенно трудная, на очереди были уже зрелые, клейкие кубики, которые готовы для поступления в литейную. Сначала «товар» в кубочную поступает зеленый. Это пережженный свинец, и зеленые кубики режутся легко, почти рассыпаются. Потом они делаются серыми, затем белыми, а потом уже клейкими.

* * *

Мы кончили работу в 10 утра, и из кубочной Иваныч повел меня на другой конец двора, где здоровенный мужик раскалывал колуном пополам толстенные чурбаки дров.

— Тимоша, заместо Василия еще никого не нашел?

— Нет еще... Сашку хотел звать, да уж очень озорной... Больше никого нет, все кволые...

— А вот парня-то возьми... Здоровенный...

— Дело... Так вали!

Я удивленно посмотрел, а старик и поясняет:

— Дрова-то колоть умеешь?

— Ну еще бы, — отвечаю.

— Так вот и работай с ним... Часа три работы в день... И здоров будешь, работа на дворе, а то в казарме пропадешь.

— Спасибо, это мне по руке...

Взял колун и расшиб несколько самых крупных суковатых кругляков.

— Спасибо!

— Пятнадцать в месяц, — предложил Тимоша.

Это был у меня второй день на заводе.

* * *

Тимошу я полюбил. Он костромич. Случайно попал на завод, и ему посчастливилось не попасть в кубочную, а сделаться истопником. И с ним-то я проработал зиму колкой и возкой дров, что меня положительно спасло.

Тимоша думал прожить зиму на заводе, а весной с первым пароходом уехать в Рыбинск крючничать. Он одинокий бобыль, молодой, красивый и сильный. Дома одна старуха-мать и бедная избенка, а заветная мечта его была — заработать двести рублей, обстроиться и жениться на работнице богатого соседа, с которой они давно сговорились.

Работа закипела — за себя и старика кубики режу, а с Тимошей дрова колем и возим на салазках на двенадцать печей для литейщиков. Сперва болели все кости, а через неделю втянулся, окреп и на зависть злюке Вороне ел за пятерых, а старик Иваныч уступал мне свой стакан водки: он не пил ничего. Так и потекли однообразно день за днем. Дело подходило к весне. Иваныч стал чаще кашлять, припадки, колики повторялись, он задыхался и жаловался, что «нутро болит». Его землистое лицо почернело, как-то жутко загорались иногда глубокие глаза в черных впадинах...

И за все время он не сказал почти ни с кем ни слова, ни на что не отзывался. Драка ли в казарме, пьянство ли, а он как не его дело, лежит и молчит.

Мы разговаривали только о текущем, не заглядывая друг другу в прошлое. Любил он только сказки слушать — у нас сказочник был, бродяжка неведомый. Суслик звать. Кто он — никому было не известно, да и никто не интересовался этим: Суслик да Суслик.

Бывалый человек этот старик Суслик — и тоже, кроме сказок, живого слова не добьешься. А зато как рассказывал! Старую-престарую сказку, ну хоть о Бабе-Яге расскажет, а выходит что-то новое. Чего-чего тут не приплетет он!

— Суслик, а ты бывальщинку скажи.

— Ладно. Про что тебе бывальщинку?

— А про разбойников...

И пойдет он рассказывать — жуть берет. И про

Стеньку Разина, и про Ермака Тимофеевича, и про тружеников в Жигулях-горах, как они в своих пещерах разбойничков укрывали... До свету, иной раз, рассказывает. И первый молчаливый слушатель — Иваныч... Ляжет на брюхо во всю свою длину, упрет на ручищи голову и глядит на Суслика... И Суслик только будто для него одного рассказывает, на него одного глядит... И в одно время у них — уж сколько я наблюдал — глаза вместе загораются... Кончится бывальщина... Тяжело вздохнет Иваныч, ляжет и долго-долго не спит...

— Хорошие сказки Суслик рассказывает,— сказал я как-то старику, а он посмотрел на меня как-то особенно.

— Не сказки, а бывальщины. Правду говорит, да не договаривает. То ли бывало... Э-эх...— отвернулся и замолчал.

Хворал все больше и больше, а все просил не отправлять в больницу. Я за него резал его кубики и с кем-нибудь из товарищей из других пар ссыпал и его и свои на рамы. Все мне охотно помогали, особенно Суслик,— старика любила и уважала вся казарма.

* * *

Был апрель месяц. Накануне мы получили жалованье и, как всегда, загуляли. После получки, обыкновенно, правильной работы не бывает дня два. Получив жалованье, лохматые кубовщики тотчас же отправляются на рынок, закупают белье, одежонку, обувь — и прямо, одевшись на рынке, отправляются в Будилов трактир и по другим кабакам, пропивают сначала деньги, а потом спускают платье и в «сменке до седьмого колена» попадают под шары и приводятся на другой день полицейскими на завод, где контора уплачивает тайную мзду квартальному за удостоверение беспаспортных. Большая же часть их и не покупает никакой одежды, а прямо пропивает жалованье.

День был холодный, и оборванцы не пошли на базар. Пили дома, пили до дикости. Дым коромыслом стоял: гармоника, пляска, песни, драка... Внизу в кухне заядлые игроки дулись в «фильку и бардадыма», гремя ме-

дяками. Иваныч, совершенно больной, лежал на своем месте. Он и жалованье не ходил получать и не ел ничего дня четыре. Живой скелет лежал.

Было пять часов вечера. Я сидел рядом с Иванычем и держал его горячую руку, что ему было приятно. Он молчал уже несколько дней.

В казарму ввалился Сашка с двумя пьяными старожилами завода. Сашка был трезвее других, пиликал на гармошке, и все трое горланили что-то несуразное.

Я слышал, как дрожит рука Иваныча, какое страдание на его лице, но он молчит. Ужасно молчит.

— Сашка, ори тише, видишь, больной здесь! — крикнул я.

— А ты что мне за указчик? Ты знаешь, кто я! — заревел Сашка, давно уже злившийся на меня.

Он выхватил нож и прыгнул к нам на нары.

— Убью!

Это был один момент. Я успел схватить его правую руку, припомнив один прием Китаева, — и нож воткнулся в нары, а вывернутая рука Сашки хрустнула, и он с воем упал на Иваныча, который застонал.

Я сбросил Сашку на пол. Все смолкло — и сразу все заревели:

— Бей его, каторжника! Добей его!..

И кто-то бросился добивать. Я прикрикнул и отогнал.

— Это наше с ним дело, никто не суйся!

Сашка со страшным лицом поднялся и бросился вниз по лестнице.

Только его и видели. Сашка исчез навсегда.

После Сашки как-то невольно я сделался атаманом казармы.

Оказалось, что обиженный сторож донес на него полиции, которая дозналась, что он убийца, беглый каторжник, приходила за ним, когда его не было, и обещала еще прийти. Ему об этом шепнул сторож у ворот...

Вскоре Иваныча почти без чувств отвезли в больницу. На другой день в ту же больницу отвезли и Суслика, который как-то сразу заболел. Через несколько дней я пошел старика навестить, и тут вышло со мной нечто уж совсем несуразное, что перевернуло опять мою жизнь.

* * *

Одевшись, насколько было возможно, прилично, я отправился в больницу навестить старика... Это, конечно, было не без риска, так как при больнице было арестантское отделение, куда я, служа в полку, не раз ходил начальником караула, знал многих, и неприятная встреча для меня была обеспечена. Но я не мог оставить так старика. И я пошел. Больница, помнится, была в загородном саду, на самой окраине города. День был жаркий... Лед прошел, на Волге раздавались гудки пароходов. Я уже собирался уехать вниз по Волге, да не мог, не повидавшись с моим другом.

Иду я вдоль длинного забора по окраинной улице, поросшей зеленой травой. За забором строится новый дом. Шум, голоса... Из-под ворот вырывается собачонка... Как сейчас вижу, желтая, длинная, на коротеньких ножках, дворняжка с неимоверно толстым хвостом в виде кренделя. Бросается на меня, лает. Я на нее махнул, а она вцепилась мне в ногу и не отпускает, рвет мои новые штаны. Я схватил ее за хвост и перебросил через забор...

Что там вышло! Кто-то взвизгнул, потом сразу заорали на все манеры десятки голосов, и я, чуя недоброе, бросился бежать...

— Собаку в щи кинул! — визжал кто-то за забором.

За мной человек десять каменщиков в фартуках с кирками... А навстречу приказчик из Муранова трактира, который меня узнал. Я перемахнул через другой забор в какой-то сад, потом выскочил в переулок, еще куда-то и очутился за городом.

Не простили бы мне каменщики собаку, попавшую в чашку горячих щей!

Тут было не до больницы, притом штанина располосана до голого тела... Все бы благополучно, да приказчик из Муранова трактира скажет, что я рабочий с сорокинского завода. И придет полиция разыскивать. Думаю: «Нет, бежать!..»

А там пароходы посвистывают...

Я вернулся перед самым обедом домой, отпер сундук, вынул из него сорок рублей, сундука не запер и ушел.

На базаре сменял пальтишко на хорошую поддевку, купил картуз, в лавке мне зашили штаны — и очутился я на берегу Волги, еще не вошедшей в берега. Уже второй раз просвистал розоватый пароходик «Удалой».

* * *

Я взял билет и вышел с парохода, чтобы купить чего-нибудь съестного на дорогу. Остановившись у торговки, я увидал плотного старика-оборванца, и лицо мне показалось знакомым. Когда же он крикнул на торговку, предлагая ей пятак за три воблы вместо шести копеек, я подошел к нему, толкнул в плечо и шепнул:

— Улан?

— Алеша! Далеко ли?

— На низ пробираюсь. А ты как?

— Третьего дня атамана схоронили...

— Какого?

— Один у нас, небось, атаман был — Репка.

— Как, Репку?

И рассказал мне, что тогда осенью, когда я уехал из Рыбинска, они с Костыгой устроили-таки побег Репке за большие деньги из острога, а потом все втроем убежали в пошехонские леса, в поморские скиты, где Костыга остался доживать свой век, а Улан и Репка поехали на Черемшан Репкину поклажу искать. Добрались до Ярославля, остановились подработать на выгрузке дров деньжонок, да беда приключилась: Репка оступился и вывихнул себе ногу. Месяца два пролежал в пустой барже, оброс бородой, похудел. А тут холода настали, замерзла Волга, и нанялись они в кубовщики на белильный завод, да там и застряли. К лету думали попасть в Черемшан, да оба обессилели и на вторую зиму застряли... Так и жили вдвоем душа в душу с атаманом.

— Рождеством я заболел, — рассказывал Улан, — отправили меня с завода в больницу, а там конвойный солдат признал меня, и попал я в острог как бродяга. Так до сего времени и провалялся в тюремной больнице, да и убежал оттуда из сада, где больные арестанты гуляют... Простое дело — подлез под забор и драла... Пролежал в саду до потемок, да в Будилов, там за халат эту смен-

ку добыл. Потом на завод узнать о Репке—сказали, что в больнице лежит. Сторож Фокыч шапчонку да штаны мне дал... Я в больницу вчера.

«Где тут с сорокинского завода старик Иван Иванов?» — спрашиваю.

«Вчера похоронили», — ответили.

— Как Иван Иванов с сорокинского завода?

— Ну да, он записался так и все время так жил... Бородищу во какую отрастил — ни в жисть не узнать, допреж одни усы носил.

Тут только я понял, что мой друг был знаменитый Репка. Но не подал никакого вида. Не знаю, удержался ли бы дальше, но загудел третий свисток...

— Счастливо, кланяйся матушке-Волге низовой... А я буду пробираться к Костыге, там и жизнь кончу!

Мы крепко обнялись, расцеловались...

Я отвернулся, вынул десять рублей, дал ему и побежал на пароход.

— Костыге кланяйся!..

— Прощавай, Алеша. Спасибо. Доеду, — крикнул он мне, когда я уже стоял на палубе. Но я не отвечал — только шапку снял и поклонился. И долго не мог прийти в себя: чудесный Репка, сыгравший два раза роль в моей судьбе, занял всего меня.

* * *

Ну, разве мог я тогда написать то, что рассказываю о себе здесь?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ТЮРЬМА И ВОЛЯ

Арест. Важный государственный преступник. Завтрак у полицмейстера. Жандарм в золотом пенсне. Чудесная находка. Астраханский майдан. Встреча с Орловым. Атаман Ваняга и его шайка. По Волге на косовушке. Ночь в камышовом лабиринте. Возвращение с добычей. Разбойничий пир. Побег. В задонских степях. На зимовке. Красавица-казачка. Опять жандарм в золотом пенсне. Прощай, степь! Цирк и новая жизнь.

В Казань пришел пароход в 9 часов. Отходит в 3 часа. Я в город на время остановки. Закусив в дешевом трактире, пошел обозревать достопримечательности, не имея никакого дальнейшего плана. В кармане у меня был кошелек с деньгами, на мне новая поддевка и красная рубаха, и я чувствовал себя превеликолепно. Иду по какому-то переулку и вдруг услышал отчаянный крик нескольких голосов:

— Держи его, дьявола! Держи, держи его!

Откуда-то из-за угла вынырнул молодой человек в красной рубахе и поддевке и промчался мимо, чуть с ног меня не сшиб. У него из рук упала пачка бумаг, которую я хотел поднять и уже нагнулся, как из-за угла с гиком налетели на меня два мужика и городовой и схватили. Я ровно ничего не понял, и первое, что я сделал, так это дал по затрещине мужикам, которые отлетели на мостовую, но городовой и еще сбежавшиеся люди, в том числе квартальный, схватили меня.

— Не убежишь!

— Да я и бежать не думаю, — отвечаю.

— Это не он, тот туда убежал, — вступился за меня прохожий с чрезвычайно знакомым лицом.

Разъяснилось, что я — не тот, которого они ловили, хотя на мне тоже была красная рубаха.

— Да вон у него бумаги в руках, вашебродие, — указал городовой на поднятую пачку.

— Это я сейчас поднял, мимо меня пробежал человек, обронил, и я поднял.

— Гляди, мол, тоже рубаха то красная, тоже, должно, из ефтих! — раздумывал вслух дворник, которого я сшиб на мостовую.

— А ты кто будешь? Откуда? — спросил квартальный.

Тогда я только понял весь ужас моего положения и молчал.

— Тащи его в часть, там узнаем, — приказал квартальный, рассматривая отобранные у меня чужие бумаги.

— Да это прокламации! Тащи его, дьявола... Мы тебе там покажем. Из той же партии, что бежавший...

Половина толпы бегом бросилась за убежавшим, а меня повели в участок. Я решил молчать и ждать случая бежать. Объявлять свое имя я не хотел — хоть на виселицу.

На улице меня провожала толпа. В первый раз в жизни я был зол на всех — перегрыз бы горло, разбросал и убежал. На все вопросы городовых я молчал. Они вели меня под руки, и я не сопротивлялся.

Огромное здание полицейского управления с высоченной каланчой. Меня ввели в пустую канцелярию. По случаю воскресного дня никого не было, но появились коротенький квартальный и какой-то ярыга с гусиным пером за ухом.

— Ты кто такой? А? — обратился ко мне квартальный.

— Прежде напой, накорми, а потом спрашивай, — весело ответил я.

Но в это время вбежал тот квартальный, который меня арестовал, и спросил:

— Полицмейстер здесь? Доложите, по важному делу... Государственные преступники.

Квартальные пошептались, и один из них пошел налево в дверь, а меня в это время обыскали, взяли кошелек с деньгами, бумаг у меня не было, конечно, никаких.

Из двери вышел огромный бравый полковник с бакенбардами.

— Вот этот самый, вашевскобродие!

— А! Вы кто такой? — очень вежливо обратился ко мне полковник, но тут подскочил квартальный.

— Я уж спрашивал, да отвечает, прежде, мол, его напой, накорми, потом спрашивай.

Полковник улыбнулся.

— Правда это?

— Конечно! На Руси такой обычай у добрых людей есть, — ответил я, уже успокоившись.

Ведь я рисковал только головой, а она недорога была мне, лишь бы отца не подвести.

— Совершенно верно! Я понимаю это и понимаю, что вы не хотите говорить при всех. Пожалуйте в кабинет.

— Прикажете конвой-с?

— Никаких. Оставайтесь здесь.

Спустились, окруженные полицейскими, этажом ниже и вошли в кабинет. Налево стоял огромный медведь и держал поднос с визитными карточками. Я остановился и залюбовался.

— Хорош?

— Да, пудов на шестнадцать!

— Совершенно верно. Сам убил, шестнадцать пудов. А вы охотник? Где же охотились?

— Еще мальчиком был, так одного с берлоги такого взял.

— С берлоги? Это интересно... Садитесь, пожалуйста.

Стол стоял поперек комнаты, на стенах портреты царей — больше ничего. Я уселся по одну сторону стола, а он напротив меня — в кресло и вынул большой револьвер кольт.

— А я вот сначала с рогатиной, а потом дострелил вот из этого.

— Кольт? Великолепные револьверы.

— Да вы настоящий охотник! Где же вы охотились? В Сибири? Ах, хорошая охота в Сибири, там много медведей!

Я молчал. Он пододвинул мне папиросы. Я закурил.

— В Сибири охотились?

— Нет.

— Где же?

— Все равно, полковник, я вам своего имени не скажу, и кто, и откуда я — не узнаете. Я решил, что мне оправдаться нельзя.

— Почему же? Ведь вы ни в чем не обвиняетесь, вас задержали случайно, и вы являетесь как свидетель, не более.

— Извольте. Я бежал из дома и не желаю, чтобы мои родители знали, где я и, наконец, что я попал в полицию. Вы на моем месте поступили бы, уверен я, так же, так как не хотели бы беспокоить отца и мать.

— Вы, пожалуй, правы. . Мы еще поговорим, а пока закусим. Вы не прочь выпить рюмку водки?

Полицмейстер не сделал никакого движения, но вдруг из двери появился квартальный:

— Изволите требовать?

— Нет. Но подождите здесь... Я сейчас распоряжусь о завтраке: теперь адмиральский час.

И он, показав рукой на часы, бившие 12, исчез в другую дверь, предварительно заперев в стол кольт. Квартальный молчал. Я курил третью папиросу нехотя.

Вошел лакей с подносом и живо накрыл стол у окна на три прибора.

Другой денщик тащил водку и закуску. За ним вошел полковник.

— Пожалуйте, — пригласил он меня барским жестом и добавил: — Сейчас еще мой родственник придет, гостит у меня проездом здесь.

Не успел полковник налить первую рюмку, как вошел полковник-жандарм, звеня шпорами. Седая голова, черные усы, черные брови, золотое пенсне. Полицмейстер пробормотал какую-то фамилию, а меня представил так — охотник, медвежатник.

— Очень приятно, молодой человек!

И сел. Я сообразил, что меня приняли, действитель-

но, за какую-то видную птицу, и решил поддерживать это положение.

— Пожалуйте, — пододвинул он мне рюмку.

— Извините, уж если хотите угощать, так позвольте мне выпить так, как я обыкновенно пью.

Я взял чайный стакан, налил его до краев, чокнулся с полковниками и с удовольствием выпил за один дух. Мне это было необходимо, чтобы успокоить напряженные нервы. Полковники пришли в восторг, а жандарм умилился:

— Знаете что, молодой человек. Я пьяница, Ташкент брал, Мишку Хлудова перепивал, и сам Михаил Григорьевич Черняев, уж на что молодчина был, дивился, как я пью... А таких, извините, пьяниц, извините, еще не видал.

Я принял комплимент и сказал:

— Рюмками воробья причащать, а стаканчиками кумонька угощать...

— Браво, браво...

Я с жадностью ел селедку, икру, съел две котлеты с макаронами и еще, налив два раза по полстакану, чокнулся с полковничьими рюмками и окончательно овладел собой. Хмеля ни в одном глазу. Принесли бутылку пива и кувшин квасу.

— Вам квасу?

— Нет, я пива. Пецольдовское пиво я очень люблю,— сказал я, прочитав ярлык на бутылке.

— А я пива с водкой не мешаю, — сказал жандарм.

Я выпил бутылку пива, жадно наливал стакан за стаканом. Полковники переглянулись.

— Кофе и коньяк!

Лакей исчез. Я закурил.

— Ну, что сын? — обратился он к жандарму.

— Весной кончает Николаевское кавалерийское, думаю, что будет назначен в конный полк, из первых идет...

Лакей подал по чашке черного кофе и графинчик с коньяком.

У меня явилось желание озорничать.

— Надеюсь, теперь от рюмки не откажетесь?

— Откажусь, полковник. Я не меняю своих убеждений.

— Но ведь нельзя же коньяк пить стаканом.

— Да, в гостях неудобно.

— Я не к тому... Я очень рад... Я ведь только одну рюмку пью.

Я налил две рюмки.

— И я только одну, — сказал жандарм.

— А я уж остатки... Разрешите.

Из графинчика вышло немного больше половины стакана. Я выпил и закусил сахаром.

— Великолепный коньяк, — похвалил я, а сам до тех пор никогда коньяку и не пробовал.

Полковники смотрели на меня и молчали. Я захотел их вывести из молчания.

— Теперь, полковник, вы меня напоили и накормили, так уж, по доброму русскому обычаю, спать уложите, а там завтра уж и спрашивайте. Сегодня я отвечать не буду, сыт, пьян и спать хочу...

По лицу полицмейстера пробежала тучка, и на лице блеснули морщинки недовольства, а жандарм спросил:

— Вы сами откуда?

— Приезжий, как и вы здесь, и, как и вы, сейчас гость полковника, а через несколько минут буду арестантом. И больше я вам ничего не скажу.

У жандарма заходила нижняя челюсть, будто он грозил меня изжевать. Потом он быстро встал и сказал:

— Коля, я к тебе пойду! — и поклонившись, злой походкой пошел во внутренние покои. Полицмейстер вышел за ним. Я взял из салатника столовую ложку, свернул ее штопором и сунул под салфетку.

— Простите, — извинился он, садясь за стол. — Я вижу в вас, безусловно, человека хорошего общества, почему-то скрывающего свое имя. И скажу вам откровенно, что вы подозреваетесь в серьезном... не скажу преступлении, но... вот у вас прокламации оказались. Вы мне очень нравитесь, но я—власть исполнительная... Конечно, вы догадались, что все будет зависеть от жандармского полковника...

— ...который, кажется, рассердился. Не выдержал до конца своей роли.

— Да, он человек нервный, ранен в голову... И завтра вам придется говорить с ним, а сегодня я принужден вас

продержать до утра — извините уж, это распоряжение полковника — под стражей...

— Я чувствую это, полковник; благодарю вас за милое отношение ко мне и извиняюсь, что я не скажу своего имени, хоть повесьте меня.

Я встал и поклонился. Опять явился квартальный, и величественный жест полковника показал квартальному, что ему делать.

Полковник мне не подал руки, сухо поклонившись. Проходя мимо медведя, я погладил его по огромной лапе и сказал:

— Думал ли, Миша, что в полицию попадешь!

Мне отдали шапку и повели куда-то наверх на чердак.

— Пожалуйте сюда! — уже вежливо, не тем тоном, как утром, указал мне квартальный какую-то закуту.

Я вошел. Дверь заперлась, лязгнул замок и щелкнул ключ. Мебель состояла из двух составленных рядом скамеек с огромным еловым поленом, исправляющим должность подушки. У двери закута была высока, а к окну спускалась крыша. Посредине, четырехугольником, обыкновенное слуховое окно, но с железной решеткой. После треволнений и сытного завтрака мне первым делом хотелось спать и ровно ничего больше.

«Утро вечера мудренее!» — подумал я засыпая.

Проснулся ночью. Прямо в окно светила полная луна. Я поднимаю голову — больно, приклеились волосы к выступившей на полене смоле. Встал. Хочется пить. Тихо кругом. Подтягиваюсь к окну. Рамы нет — только решетки, две поперечные и две продольные, из ржавых железных прутьев. Я встал на колени на нечто вроде подоконника и просунул голову в широкое отверстие. Вдали Волга... Пароход где-то просвистал. По дамбе стучат телеги. А в городе сонно, тихо. Внизу, подо мной, на пожарном дворе лошадь иногда стукнет ногой. Против окна торчат концы пожарной лестницы. Устал в неудобной позе, хочу ее переменить, пробую вынуть голову, а она не вылезает... Упираюсь шеей в верхнюю перекладину и слышу треск — поддается тонкое железо кибитки слухового окна. Наконец, вынимаю голову, прилаживаюсь и начинаю поднимать верх. Потрескивая, перекладина поднимается, а за ней вылезают снизу из гнилого

косяка и прутья решетки. Наконец, освобождаю голову, примащиваюсь поудобнее и, высвободив из нижней рамы прутья, отгибаю наружу решетку. Окно открыто, пролезть легко. Спускаюсь вниз, одеваюсь, поднимаюсь и вылезаю на крышу. Сползаю к лестнице, она поросла мохом от старости. Смотрю вниз. Ворота открыты. Пожарный-дежурный на скамейке, и храп его ясно слышен. Спускаюсь. Одна ступенька треснула. Я ползу в обхват.

Прохожу мимо пожарного в отворенные ворота и важно шагаю по улице вниз, направляясь к дамбе. Жажда мучит. Вспоминаю, что деньги у меня отобрали. И вот чудо: подле тротуара что-то блестит. Вижу — дамский перламутровый кошелек. Поднимаю. Два двугривенных! Ободряюсь, шагаю по дамбе. Заалелся восток, а когда я подошел к дамбе и пошел по ней, перегоняя воза, засверкало солнышко... Пароход свистит два раза — значит отходит. Пристань уже ожила. В балагане покупаю фунт ситного и пью кружку кислого квасу прямо из бочки. Открываю кошелек — двугривенных нет. Лежит белая бумажка. Открываю другое отделение, беру двугривенный и расплачиваюсь. Интересуюсь бумажкой — оказывается, второе чудо: двадцатипятирублевка. Эге, думаю я, еще не пропал! Обращаюсь к торговцу:

— Возьму целый ситный, если разменяешь четвертную.

— Давай!

Беру ситный, иду на пристань, покупаю билет третьего класса до Астрахани, покупаю у бабы воблу и целого гуся жареного за рубль.

Пароход товаро-пассажирский. Народу мало. Везут какие-то тюки и ящики. Настроение чудесное... Душа ликует...

* * *

Астрахань. Пристань забита народом.

> Какая смесь одежд и лиц,
> Племен, наречий, состояний...

Солнце пекло смертно. Пылища какая-то белая, мелкая, как мука, слепит глаза по пустым немощеным улицам, где на заборах и крышах сидят вороны. Никого-

шеньки. Окна от жары завешены. Кое-где в тени возле стен отлеживаются в пыли оборванцы.

На зловонном майдане, набитом отбросами всех стран и народов, я первым делом сменял мою суконную поддевку на серый почти новый сермяжный зипун, получив трешницу придачи, расположился около торговки съестным в стоячку обедать. Не успел я поднести ложку мутной серой лапши ко рту, как передо мной выросла богатырская фигура, на голову выше меня, с рыжим чубом... Взглянул — серые знакомые глаза... А еще знакомее показалось мне шадровитое лицо... Не успел я рта открыть, как великан обнял меня.

— Барин? Да это вы!..

— Я, Лавруша...

— Ну, нет, я не Лавруша уж, а Ваня, Ваняга...

— Ну, и я не барин, а Алеша... Алексей Иванов...

— Брось это! — вырвал он у меня чашку, кинул пятак торговке и потащил.— Со свиданием селяночки хлебанем.

* * *

Орлов после порки благополучно бежал в Астрахань — иногда работал на рыбных ватагах, иногда вольной жизнью жил. То денег полные карманы, то опять догола пропьется. Кем он не был за это время: и навожчиком, и резальщиком, и засольщиком, и уходил в море... А потом запил и спутался с разбойным людом...

Я поселился в слободе, у Орлова. Большая хата на пустыре, пол земляной, кошмы для постелей. Лушка, толстая немая баба, кухарка и калмык Доржа. Еды всякой вволю: и баранина, и рыба разная, обед и ужин горячие. К хате пристроен большой чулан, а в нем всякая всячина съестная: и мука, и масло, и бочка с соленой промысловой осетриной, вся залитая доверху тузлуком, в который я как-то, споткнувшись в темноте, попал обеими руками до плеч, и мой новый зипун с месяц рыбищей соленой разил.

Уж очень я был обижен, а оказывается, что к счастью!

С нами жил еще любимый подручный Орлова — Ноздря. Неуклюжий, сутулый, ноги калмыцкие — коле-

сом, глаза безумные, нос кверху глядит, а из-под вывороченных ноздрей усы щетиной торчат. Всегда молчит и только приказания Орлова исполняет. У него только два ответа на все: «ну-к што ж» и «ладно».

Скажи ему Орлов, примерно:

— Видишь, купец у лабаза стоит?

— Ну-к што ж!

— Пойди, дай ему по морде!

— Ладно.

И пойдет и даст, и рассуждать не будет, для чего это надо: про то атаману знать!

— Золото, а не человек, — хвалил мне его Орлов, — только одна беда — пьян напьется и давай лупить ни с того ни с сего, почем зря, всякого, приходится глядеть за ним и, чуть что, связать и в чулан. Проспится и не обидится — про то атаману знать, скажет.

На другой день к обеду явилось новое лицо: мужичище саженного роста, обветрелое, как старый кирпич, зловещее лицо, в курчавых волосах копной и в бороде торчат метелки от камыша. Сел, выпил с нами водки, ест и молчит. И Орлов тоже молчит — уж у них обычай ничего не спрашивать — коли что надо, сам всякий скажет. Это традиция.

— Ну, Ваняга, сделано, я сейчас оттуда на челночишнике... Жулябу и Басашку с товаром оставил на Свиной Крепи, а сам за тобой: надо косовушку, в челноке насилу перевезли все.

* * *

Волга была неспокойная. Моряна развела волну, и большая, легкая и совкая костромская косовушка скользила и резала мохнатые гребни валов под умелой рукой Козлика — так не к лицу звали этого огромного страховида. По обе стороны Волги прорезали стены камышей в два человеческих роста вышины, то широкие, то узкие протоки, окружающие острова, мысы, косы...

Козлик разбирался в них, как в знакомых улицах города, когда мы свернули в один из них и весла в тихой воде задевали иногда камыши, шуршавшие метелками, а

из-под носа лодки уплывали ничего не боящиеся стада уток.

Странное впечатление производили эти протоки: будто плывешь по аллее тропического сада... Тишина иногда нарушается всплеском большой рыбины, потрескиванием камышей и какими-то странными звуками...

— Что это? — спрашиваю.

— Дикие свиньи свою водяную картошку ищут.

Какую водяную картошку, я так и не спросил, уж очень неразговорчивый народ!

Иногда только они перекидывались какими-то непонятными мне короткими фразами. Иногда Орлов вынимал из ящика штоф водки и связку баранок. Молча пили, молча передавали посуду дальше и жевали баранки. Мы двигались в холодном густом тумане бесшумными веслами.

Уверенно Козлик направлял лодку, знал, куда надо, в этой сети путаных протоков среди однообразных аллей камыша.

Я дремал на средней лавочке вместо севшего за меня в весла Ноздри.

Вдруг оглушительный свист... Еще два коротких, ответный свист, и лодка прорезала полосу камыша, отделявшего от протока заливчик, на берегу которого, на острове ли, на мысу ли, торчали над прибрежным камышом ветлы-раскоряки — их можно уже рассмотреть сквозь посветлевший, зеленоватый от взошедшей луны, туман.

Из-под ветел появились два человека — один высокий, другой низкий.

Они, видимо, спросонья продрогли и щелкали зубами. Молча им Орлов сунул штоф, и только допив его, заговорили. Их никто не спрашивал.

Все молчали, когда они пили.

Привязали лодку к ветле. Вышли.

— Вот! — сказал большой, указывая на огромные мешки и на три длинных толстых свертка в рогожах.

Козлик докладывал Орлову:

— То из той клети, знаешь, и эти балыки с мочаловского вешала. Вот ведерко с икрой еще...

Погрузившись, мы все шестеро уселись и молча по-

плыли среди камышей и выбрались на стихшую Волгу... Было страшно холодно. Туман зеленел над нами. По ту сторону Волги, за черной водой еще чернее воды линия камышей. Плыли и молчали. Ведь что-то крупное было сделано, это чувствовалось, но все молчали: сделано дело, что зря болтать!

Вот оно где: «нашел — молчи, украл — молчи, потерял — молчи!»

* * *

Должно быть, около полудня я проснулся весь мокрый от пота — на мне лежал бараний тулуп. Голова болела страшно. Я не шевелился и не подавал голоса. Вся компания уже завтракала и молча выпивала. Слышалось только чавканье и стук бутылки о край стакана. На скамье и на полу передо мной разложены шубы, ковер, платья разные — и тут же три пустых мешка. Потом опять все уложили в мешки и унесли. Я уснул и проснулся к вечеру. Немая подошла, пощупала мою голову и радостно заулыбалась, глядя мне в глаза. Потом сделала страдальческую физиономию, затряслась, потом пальцами правой руки по ладони левой изобразила, что кто-то бежит, махнула рукой к двери, топнула ногой и плюнула вслед. А потом указала на воротник тулупа и погладила его.

Понимать надо: согрелся, и лихорадка перестала трясти и убежала. Потом подала мне умыться, поставила на стол хлеб и ведро, которое мы привезли. Открыла крышку — там почти полведра икры зернистой.

Ввалилась вся команда. Подали еще ложек, хлеба и связку воблы. Налили стаканы, выпили.

— Ешь, а ты икру-то хлебай ложкой!

Я пил и ел полными ложками чудную икру.

Все остальные закусывали воблой.

— Ваня, а ты же икру? — спросил я.

— Обрыдла. Это тебе в охотку.

Подали жареную баранину и еще четвертную поставили на стол.

Пьянствовали ребята всю ночь. Откровенные разговоры разговаривали. Козлик что-то начинал петь, но

никто не подтягивал, и он смолкал. Шумели... дрались... А я спал мертвым сном. Проснулся чуть свет — все спят вповалку. В углу храпел связанный по рукам и ногам Ноздря. У Орлова все лицо в крови. Я встал, тихо оделся и пошел на пристань.

* * *

В Царицыне пароход грузится часов шесть. Я вышел на берег, поел у баб печеных яиц и жареной рыбы.

Иду по берегу вдоль каравана. На песке стоят три чудных лошади в попонах, а четвертую сводят по сходням с баржи.. И ее поставили к этим. Так и горят их золотистые породистые головы на полуденном солнце.

— Что, хороши? — спросил меня старый казак в шапке блином и с серьгой в ухе.

— Ах, как хороши! Так бы и не ушел от них.

Он подошел ко мне близко и понюхал.

— Ты что, с промыслов?

— Да, из Астрахани, еду работы искать.

— Вот я и унюхал... А ты по какой части?

— В цирке служил.

— Наездник? Вот такого-то мне и надо. Можешь до Великокняжеской лошадей со мной вести?

— С радостью.

И повели мы золотых персидских жеребцов в донские табуны и довели благополучно, и я в степи счастье свое нашел. А не попади я зипуном в тузлук — не унюхал бы меня старый казак Гаврило Руфич, и не видел бы я степей задонских, и не писал бы этих строк!

— Кисмет!

... Степи. Незабвенное время. Степь заслонила и прошлое и будущее. Жил текущим днем, беззаботно. Едешь один на коне и радуешься.

Все гладь и гладь... Не видно края...
Ни кустика, ни деревца...
Кружит орел, крылом сверкая...
И степь, и небо без конца...

Вспоминается детство. Леса дремучие... За каждым деревом, за каждым кустиком кроется опасность... Трес-

нет хворост под ногой, и вздрогнешь... И охота в лесу какая-то подлая, из-за угла... Взять медведя... Лежит сонный медведь в берлоге, мирно лапу сосет. И его, полусонного, выгоняют охотники из берлоги... Он в себя не придет, чуть высунется — или изрешетят пулями, или на рогатину врасплох возьмут. А капканы для зверя! А ямы, покрытые хворостом с острыми кольями внизу, на которые падает зверь!.. Подлая охота — все исподтишка, тихомолком... А степь — не то. Здесь все открыто — и сам ты весь на виду... Здесь воля и удаль. Возьми-ка волка в угон, с одной плетью! И возьмешь начистоту, один на один.

Степь да небо. И мнет зеленую траву полудикий сын этой же степи, конь калмыцкий. Он только что взят из табуна и седлался всего в третий раз... Дрожит, боится, мечется в стороны, рвется вперед и тянет своей мохнатой шеей повод, так тянет, что моя привычная рука устала и по временам чувствуется боль...

А кругом — степь да небо! Зеленый океан внизу и голубая беспредельность вверху. Чудное сочетание цветов... Пространство необозримое...

И я один, один с послушным мне диким конем чувствую себя властелином необъятного простора. Разве только

Строгих стрепетов стремительная стая
Сорвется с треском из-под стремени коня...

Ни души кругом.

Ни души в этой степи, только что скинувшей снежный покров, степи, разбившей оковы льда, зеленеющей, благоуханной.

Я надышаться не могу. В этом воздухе все: свобода, творчество, счастье, призыв к жизни, размах души...

Привстал на стременах, оглянулся вокруг — все тот же бесконечный зеленый океан... Неоглядный, величественный, грозный...

И хочется борьбы...

И я бессознательно ударом плети резнул моего свободного сына степей...

Взвизгнул дико он от боли, вздрогнул так, что я почуял эту дрожь, почувствовал, как он сложился в одно

мгновение в комок, сгорбатил свою спину, потом вытянулся и пошел, и пошел!

Кругом ветер свищет, звенит рассекаемая ногами и грудью высокая трава, справа и слева хороводом кружится и глухо стонет земля под ударами крепких копыт его стальных, упругих, некованых ног.

Заложил уши... фырчит... и несется, как от смерти...

Еще удар плети... Еще чаще стучат копыта... Еще сильнее свист ветра... Дышать тяжело...

И несет меня скакун по глади бесконечной, и чувствую я его силу могучую, и чувствую, что вся его сила у меня в пальцах левой руки... Я властелин его, дикого богатыря, я властелин бесконечного пространства. Мчусь вперед, вперед, сам не зная куда и не думая об этом...

Здесь только я, степь да небо.

* * *

Я в юности не мало шлялся
В степях безбрежных на коне,
От снежной бури укрывался
Не раз в калмыцком джулуне.
Как хорошо в степи целинной!
Какой простор... Какая тишь...
Дон тихо вьется лентой длинной,
Шумит таинственно камыш...
Порой, как бешеный, проскачет
Казак с арканом на руке.
За мглою марево маячит.
Табун мелькает вдалеке...
Толока пыльная. Пасется
Овец отара... Стая псов...
Из-под коня порой сорвется
Со звоном пара стрепетов...
Все гладь и гладь... Не видно края...
Ни кустика, ни деревца...
Кружит орел, крылом сверкая...
И степь и небо без конца...

Чем дальше углубляешься в степь, тем ближе подвигаешься к доисторическому прошлому. Будто во времена Батыя живешь, когда очутишься за Гремячей, в калмыцких улусах и когда доберешься до Дербентов, в степи Астраханские! Там уж совсем скифы, в полной неприкосновенности, как в первые годы нашествия Батыя,

когда монголы заняли дикие степи между низовьями Волги и Дона. Только в Азии, в глубинах Монголии сохранились родичи наших калмыков, которые также кочуют, как и наши, не изменившие своего образа жизни с первой половины XVII века, когда они пришли из Джунгарии и прочно осели здесь. Как и тогда, так и теперь в этой дикой пустыне им нужен только простор, где можно культивировать свое богатство, свое оружие, свое продовольствие — лошадь. Степь да лошадь — все для калмыка, и жизнь и радость. Родился в степи, выкормлен на кобыльем молоке, всю жизнь ест конину, пьет кумыс, пьянствует ракой, водкой из кобыльего молока, закусывает бозой-сыром из него же, одет весь в конскую и баранью шкуру. Живет при лошади и на лошади. Просидеть двое-трое суток, не слезая с седла, для него обычно.

Калмыки люди совершенно свободные и в калмыцких степях имеют свои куски земли или служат при чьих-либо табунах из рода в род, как единственные знатоки табунного дела. Они записаны в казаки и отбывают воинскую повинность, гордо нося казачью фуражку и серьгу в левом ухе. Служа при табунах, они поселяются в кибитках, верстах в трех от зимовника, имеют свой скот и живут своей дикой жизнью в своих диких степях.

Есть калмыки и оседлые, занимаются хлебопашеством и садоводством, но я буду говорить только о кочевых, живущих степью.

* * *

Это не те степи, которые описаны Гоголем.

Только два месяца, март и апрель, до начала мая необозримые, гладкие, как тарелка, равнины сплошь цветут ярким зелено-красным ковром.

В половине мая стараются закончить сенокос — и на это время оживает голая степь косцами, стремящимися отовсюду на короткое время получить огромный заработок... А с половины мая яркое солнце печет невыносимо, степь выгорает, дождей не бывает месяца по два—по три, суховей, северо-восточный раскаленный ветер, в несколь-

ко дней выжигает всякую растительность, а комары, мошкара, слепни и оводы тучами носятся и мучат табуны, пасущиеся на высохшей траве. И так до конца августа...

В этих степях, между Доном с севера и Егорлыком с юга, паслось до 100 тысяч лошадей: это Сальский округ.

Эти степи принадлежали войску Донскому и сдавались, для порядка, арендаторам по три копейки за десятину с обязательством доставить известное количество лошадей. Разводить скот и, главное, овец было запрещено, чтобы не портить степи — овца лошадь съест, говорили калмыки. Овца, более даже, чем рогатый скот, выбивает степь и разносит заразные болезни.

Степь, где паслись отары овец, превращается в голодную толоку, на которой трава не вырастает. Таков скотопрогонный тракт через Сальский округ из Ставрополя до Нахичевани.

Другое дело верблюды, которыми пользуются в степи как рабочей силой.

В степи не дозволялось селиться. Вследствие этого на всем громадном пространстве степей донского коневодства не было ни усадеб, ни деревень, ни церквей. Только кочевали калмыки и далеко-далеко один от другого стояли зимовники коневодов, состоявшие из одного-двух домов, пары мазанок, сарая, конюшни. Сено и солома огромными скирдами высились над степями и служили единственной защитой для табунов во время сильных зимних буранов, шурганов, по-местному, таких, о каких на севере и не слыхали. Только привычный табунщик, калмык, и выдерживал их. Трудна для калмыка зима, осень—август, сентябрь и октябрь — лучшее время после весны, а с ноября снег занесет степь и лежит до марта. Бывают снега небольшие, когда «тебенить», т. е. доставать траву, раскапывать снег копытами, лошадям легко даже из-под полуаршинного снега. Трогательная картина: пасется на снегу табун, возле маток стоят жеребята и ждут, пока для них матка отгребет снег копытом до травы.

Но бывают гнилые зимы, с оттепелями, дождями и гололедицей. Это гибель для табунов — лед не пробьешь, и лошади голодают. Мороза лошадь не боится — оброс-

шие, как медведь, густой шерстью, бродят табуны в открытой степи всю зиму и тут же, с конца февраля, жеребятся. Но плохо для лошадей в бураны. Иногда они продолжаются неделями — и день и ночь метет, ничего за два шага не видно: и сыпет, и кружит, и рвет, и заносит моментально.

Вот где начинается каторжная служба табунщика.

Девиз калмыка такой: табун ушля — я ушля. Табун пропал — я пропал.

Никогда, ни в какую вьюгу калмык не оставит табуна. Табун надо держать против ветра, а по ветру уйдет невесть куда и погибнет. Целыми сутками, день и ночь, стоят три-четыре калмыка перед табуном, уговаривая и окрикивая его. Если долго не идет смена, калмыки по нескольку суток проводят в седле, питаясь мерзлой кониной и иногда засыпая на лошади. Проведя такую работу, калмык сменяется и добирается до джулуна. Это маленькие кибиточки при табунах, специально для табунщиков. Зачастую калмыка закоченелого снимают с лошади, снимают заледеневшее платье, все сшитое шерстью вниз, к голому телу. Ему подносят деревянный ковш горячего конского сала из непрерывно кипящего котла. Он выпивает, согревается, и через несколько часов богатырского сна в джулуне он снова на коне перед табуном.

У коневодов богатых калмыков лошади ниже средних. Это потому, что они не приливают чистой крови. Но зато у них крепки их «дербеты». Дербеты — настоящая калмыцкая лошадь, такая же дикая и малорослая и железная, как ее владелец. Зато уж никакая степная метель, никакие лишения не страшны ей. Дикая степь выработала их, диких, не боящихся ничего. Длинная грубая шерсть и необыкновенно толстая кожа спасают этих лошадей и от укуса насекомых, и от климатических невзгод. Лошади казацких зимовников породистее и крупнее. У них много арабской и персидской крови. В начале прошлого столетия, во время персидских и кавказских войн, каждый казак добывал себе прекрасную лошадь и приводил ее к себе в табуны. Ходит легенда о коне Карнаушке. Во время персидского похода понравилась казакам

лошадь одного коневода — богатого перса. Их командир сторговал лошадь за 12 000 рублей и пошел уже платить, но лошадь пропала. Вернулся полк на Дон, а лошадь уж в табуне у него. Оказалось, что казаки выкрали и увели этого золотистого красавца. Много от него пошло ценных лошадей, особенно в зимовниках Иловайских, где он стоял.

Так образовалась знаменитая персидско-донская порода, которая впоследствии в соединении с английской чистокровной лошадью дала чудный скаковой материал. Особенно им славился завод Подкопаева — патриарха донских коневодов. Он умер в очень преклонных годах в начале столетия. У него было тавро: сердце, пронзенное стрелой.

Лошади, на левой лопатке которых стояло «сердце, пронзенное стрелой», ценились на Дону, а потом и по всей России очень дорого. Подкопаевский зимовник был безусловно лучший из всех донских зимовников.

Помню одну поездку к Подкопаеву в конце октября. Пятьдесят верст от станицы Великокняжеской, раз только переменив лошадей на Пишванском зимовнике и час пробыв на Михайловском, мы отмахали в пять часов по «ременной», гладко укатанной дороге. Даже пыли не было — всю ее ветрами выдуло и унесло куда-то. Степь бурая, особенно юртовая, все выбито, вытоптано, даже от бурьяна остались только огрызки стебля. Иногда только зеленеют оазисы сладкого корня, травы, которую лошади не едят.

Тихо. Безлюдье полное. Только пташки — ржанки отпархивают в сторону с дороги. Стаи гусей тянут над самой землей. Стали ватажиться, готовиться к отлету. Степь понемногу оживает. Замелькали скирды, калмык помчался куда-то на золотистой лошади.

— Околел в седле, — вспоминаются мне слова покойного старого друга — казака, так характеризовавшего калмыцкую езду.

Табунщик, расседлав усталую лошадь, отпускает ее и на первую, попавшуюся под руки, накидывает уздечку, оседлает, несмотря на то, что она бьется и артачится, и через минуту «околел в седле» и помчался.

* * *

Степь загорелась!

Вот еще степной ужас, особенно опасный в летние жары, когда трава высохла до излома и довольно одной искры, чтобы степь вспыхнула и пламя на десятки верст неслось огненной стеной все сильнее и неотразимее, потому что при пожаре всегда начинается ураган. При первом запахе дыма табуны начинают в тревоге метаться и мчатся очертя голову от огня. Летит и птица. Бежит всякий зверь: и заяц, и волк, и лошадь — все в общей куче.

* * *

Скирды сена, хлеба и зимовники если уцелевают, то только потому, что они опаханы в несколько рядов широкими бороздами, — а табуны беспомощны. Горят нередко и скирды. И за десятки верст, увидя пожар, стремятся табунщики и все обитатели степи, наперерез огню, тушить его, проходят борозды плугами, причем нередко гибнут лошади и даже люди. Вот тут калмыки незаменимы: они бросаются впереди пожара, зажигают встречную траву и наконец по самому пламени возят длинные полосы мокрой кошмы, обжигаясь и задыхаясь от дыма.

Страшная вещь пожар в степи!

* * *

Обжился я на зимовнике и полюбил степь больше всего на свете, должно быть дедовская кровь сказалась. На всю жизнь полюбил и часто бросал Москву для степных поездок по коннозаводским делам.

И много-много, и в газетах, и в спортивных журналах я писал о степях, — даже один очерк степной жизни попал в хрестоматию.

Хозяин зимовника — старик и его жена были почти безграмотны, в доме не водилось никаких журналов, газет и книг, даже коннозаводских: он не признавал никаких новшеств, улучшал породу лошадей арабскими и золотистыми персидскими жеребцами, не признавал ан-

глийских — от них дети цыбатые, говорил, — а рысаков ругательски ругал: купеческая лошадь, сырость разводят! Даже ветеринарам не хотел верить — лошадей лечил сам да его главный помощник, калмык Клык. Имени его никто не знал, а Клыком его звали потому, что из рассеченной верхней губы торчал огромный желтый клык. Лошади были великолепные и шли нарасхват даже в гвардейские полки. В доме был подвал с домашними наливками и винами, вплоть до шампанского, — это угощение для покупателей-офицеров, заживавшихся у него иногда по неделям. Стол был простой, готовила сама Анна Степановна, а помогала ей ее родная племянница подросток Женя, красавица-казачка, лет пятнадцати.

Брови черные дугой,
Глаза с поволокой...

Она с утра до ночи металась по хозяйству, ключи от всего носила у себя на поясе и везде поспевала. Высокая, тонкая, еще несложившаяся, совсем ребенок в жизни — в своей комнате в куклы играла — она обещала быть красавицей. Она была почти безграмотна, но прекрасно знала лошадей и сама была лихой наездницей. На своем легком казачьем седле с серебряным убором, подаренным ей соседом-коневодом, знаменитым Подкопаевым, она в свободное время одна-одинешенька носилась от косяка к косяку, что было весьма рискованно: не раз приходилось ускакивать от разозленного косячного жеребца. Меня она очень любила, хотя разговаривать нам было некогда, и конца-краю радости ее не было, когда осенью, в день ее рождения, я подарил ей свой счастливый перламутровый кошелек, который с самой Казани во всех опасностях я сумел сберечь.

Меня она почтительно звала Алексеем Ивановичем, а сам старик, а по его примеру и табунщики, звали Алешей — ни усов, ни бороды у меня не было, — а потом, когда я занял на зимовке более высокое положение, калмыки и рабочие стали звать Иванычем, а в случае каких-нибудь просьб, Алексеем Ивановичем. По приходе на зимовник я первое время жил в общей казарме, но скоро хозяева дали мне отдельную комнату; обедать я стал с ними, и никто из товарищей на это не обижался, тем бо-

лее, что я все-таки от них не отдалялся и большую часть времени проводил в артели — в доме скучно мне было.

А главным образом, уважали меня за знание лошади, разные выкрутасы джигитовки и вольтижировки и за то, что сразу постиг объездку неуков и ловко владел арканом.

Хозяин же ценил меня за то, что при осмотре лошадей офицерами, говорившими между собой иногда по-французски, я переводил ему их оценку лошадей, что, конечно, давало барыш.

Ну, какому же черту — не то что гвардейскому офицеру — придет на ум, что черный и пропахший лошадиным потом, с заскорузлыми руками табунщик понимает по-французски!..

* * *

Хорошо мне жилось, никуда меня даже не тянуло отсюда, так хорошо! Да скоро эта светлая полоса моей жизни оборвалась, как всегда, совершенно неожиданно. Отдыхал я как-то после обеда в своей комнате, у окна, а наискось у своего окна стояла Женя улыбаясь и показывала мне мой подарок, перламутровый кошелек, а потом и крикнула:

— Кто-то к нам едет!

Вдали по степи клубилась пыль по Великокняжеской дороге — показалась коляска, запряженная четверней: значит, покупатели, значит, табун показывать, лошадей арканить. Я наскоро стал одеваться в лучшее платье, надел легкие козловые сапоги, взглянул в окно — и обмер. Коляска подкатывала к крыльцу, где уже стояли встречавшие, а в коляске молодой офицер в белой гвардейской фуражке, а рядом с ним — незабвенная фигура — жандармский полковник, с седой головой, черными усами и над черными бровями знакомое золотое пенсне горит на солнце...

Из коляски вынули два больших чемодана — значит, не на день приехали, отсюда будут другие зимовники объезжать, а жить у нас.

Это часто бывало.

Сверкнула передо мной казанская история вплоть до медведя с визитными карточками.

Пока встречали гостей, пока выносили чемоданы, я схватил свитку, вынул из стола деньги — рублей сто накопилось от жалованья и крупных чаевых за показ лошадей, нырнул из окошка в сад, а потом скрылся в камышах и зашагал по бережку в степь...

А там шумный Ростов. В цирке суета — ведут лошадей на вокзал, цирк едет в Воронеж. Аким Никитин сломал руку, меня с радостью принимают... Из Воронежа едем в Саратов на зимний сезон. В Тамбове я случайно опаздываю на поезд — ждать следующего дня — и опять новая жизнь!

— Кисмет!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ТЕАТР

Антрепренер Григорьев. На отдыхе. Сад Сервье в Саратове. Далматов и Давыдов. Андреев-Бурлак. Вести с войны. Гаевская. Капитан Фофанов. Горацио в казармах.

В конце шестидесятых, в начале семидесятых годов в Тамбове славился антрепренер Григорий Иванович Григорьев. Настоящая фамилия его была Аносов. Он был родом из воронежских купцов, но, еще будучи юношей, почувствовал «божественный ужас»: бросил прилавок, родительский дом и пошел впроголодь странствовать с бродячей труппой, пока через много лет не получил наследство после родителей. К этому времени он уже играл первые роли резонеров и решил сам содержать театр. Сначала он стал во главе бродячей труппы, играл по казачьим станицам на Дону, на ярмарках, в уездных городках Тамбовской и Воронежской губернии, потом снял театр на зиму сначала в Урюпине и Борисоглебске, а затем в губернском Тамбове. Вскоре после 1861 года наступили времена, когда помещики проедали выкупные, полученные за свои имения. Между ними были крупные меценаты, державшие театры и не жалевшие денег на приглашение лучших сил тогдашней сцены. Семейства тамбовских дворян, Ознобишиных, Алексеевых и Сатиных, покровительствовали театру, а Ил. Ив. Ознобишин был даже автором нескольких пьес,

имевших успех. Князь К. К. Грузинский, московский актер-любитель, под псевдонимом Звездочкина, сам держал театр, чередуясь с Г. И. Григорьевым, когда последний возвращался в Тамбов из своих поездок по мелким городам, которые он больше любил, чем солидную антрепризу в Тамбове.

В 1875 году, когда цирк переезжал из Воронежа в Саратов, я был в Тамбове в театре на галерке, зашел в соседний с театром актерский ресторан Пустовалова. Там случилась драка, во время которой какие-то загулявшие базарные торговцы бросились за что-то бить Васю Григорьева и его товарища, выходного актера Евстигнеева, которых я и не видел никогда прежде. Я заступился, избил и выгнал из ресторана буянов.

И в эту ночь я переночевал на ящиках в подвале вместе с Евстигнеевым, а на другой день был принят выходным актером.

Окончился сезон. Мне опять захотелось простора и разгула. Я имел приглашение на летний сезон в Минск и Смоленск, а тут подвернулся старый знакомый, казак Боков, с которым я познакомился еще во время циркового сезона, и предложил мне ехать к нему на Дон, под Таганрог. Оттуда мы поехали в Кабарду покупать для его коневодства производителей.

Опять новые знакомства... Побывал у кабардинцев Урузбиевых, поднимался на Эльбрус, потом опять очутился на Волге и случайно на пароходе прочел в газете, что в Саратове играет первоклассная труппа под управлением старого актера А. И. Погонина, с которым я служил в Тамбове у Григорьева. В Саратове я пошел прямо на репетицию в сад Сервье на окраине, где был прекрасный летний театр, и сразу был принят на вторые роли. Первые персонажи были тогда еще тоже молодежь: В. П. Далматов, В. Н. Давыдов, уже начинавшие входить в славу, В. Н. Андреев-Бурлак, уже окончательно поступивший из капитанов парохода в актеры, известность — Аркадий Большаков, драматическая А. А. Стрельская, затем Майерова, жена талантливого музыканта-дирижера А. С. Кондрашова, Очкина, Александрова. Первым драматическим любовником и опереточным певцом был молодой красавец Инсарский, ему в драме дублировал

Никольский, впоследствии артист Александринского театра... Труппа была большая и хорошая. Все жили в недорогих квартирах местных обывателей, большинство столовалось в театральном буфете, где все вместе обедали после репетиции и потом уже расходились по квартирам. Я жил неподалеку от театра с маленькими актерами Кариным и Симоновым. Первый был горький пьяница, второй — ухажер писарского типа.

У меня было особое развлечение. Далеко за городом, под Лысой горой, были пустыри оврагов, населенных летом галаховцами, перекочевавшими из ночлежного дома Галахова на эту самую летнюю дачу. Здесь целый день кипела игра в орлянку. Пьянство, скандалы, драки. Играли и эти оборванцы, и бурлаки, и грузчики, а по воскресеньям шли толпами разные служащие из города и обитатели «Тараканьих выползков», этой бедняцкой окраины города. По воскресеньям, если посмотреть с горки, всюду шевелятся круглые толпы орлянщиков. То они наклоняются одновременно все к земле — ставят деньги в круг или получают выигрыши, то смотрят в небо, задрав головы, следя за полетом брошенного метчиком пятака, и стремительно бросаются в сторону, где хлопнулся о землю пятак. Если выпал орел, то метчик один наклоняется и загребает все деньги, а остальные готовят новые ставки, кладут новые стопки серебра или медяков, причем серебро кладется сверху, чтобы сразу было видно, сколько денег. Метчик оглядывает кучки и, если ему не по силам, просит часть снять, а если хватает в кармане денег на расплату, заявляет:

— Еду за все!

Плюнет на орла — примета такая, — потрет его о подошву сапога, чтобы блестел ярче, и запустит умелою рукою крутящийся с визгом в воздухе пятак, чуть видно его, а публика опять головы кверху.

— Дождя просят! — острят неиграющие любители.

Вот я по старой бродяжной привычке любил ходить «дождя просить». Метал я ловко, и мне за эту метку особенно охотно ставили: «без обману — игра на счастье».

Но и обман бывал: были пятаки, в Саратове, в остроге их один арестант работал, с пружиною внутри: как

бы ни хлопнулся, а обязательно перевернется, орлом кверху упадет. Об этом слух уже был, и редкий метчик решится под Лысой горой таким пятаком метать. А пользуются им у незнающих пришлых мужиков, а если здесь заметят — разорвут на части тут же, что и бывало.

После репетиции ходил играть в орлянку, иногда приносил полные карманы медяков и серебра, а иногда, конечно, и проигрывал. После спектакля — тоже развлечение. Ужинаем компанией и разные шутки шутим. Прежде с нами ужинал Далматов, шутник не последний, а смирился, как начал ухаживать за Стрельской; ужинал с ней вдвоем на отдельном столике или в палатке на кругу. И вздумали мы как-то подшутить над ним. Сговорились за столом, сидя за ужином, я, Давыдов, Большаков, Андреев-Бурлак да Инсарский. Большаков взял мою табакерку, пошел к себе в уборную в театр, нам сказал, чтобы мы выходили, когда пойдет парочка домой, и следовали издали за ней. Вечер был туманный, по небу ходили тучки, а дождя не было. Встала парочка, пошла к выходу под руку, мы за ней. Стрельская на соседней улице нанимала хорошенькую дачку в три комнаты, где жила со своей горничной. Единственная дверь выходила прямо в сад на дорожку, усыпанную песком и окруженную сиренью.

Идет парочка под руку, мы сзади... Вдруг нас перегоняет рваный старичишка с букетом цветов.

— Сейчас начнется! — шепнул он нам. Перегоняет парочку и предлагает купить цветы. Парочка остановилась у самых ворот. Далматов дает деньги, оба исчезают за загородкой. Мы стоим у забора. Стрельская чихает и смеется. Что-то говорят, но слов не слышно. Наконец, зверски начинает чихать Далматов, раз, два, три...

— Ах, мерзавцы! — гремит Далматов и продолжает чихать на весь сад. Мы исчезаем. На другой день, как ни в чем не бывало, Далматов пришел на репетицию, мы тоже ему вида не подали, хотя он подозрительно посматривал на мою табакерку, на Большакова и на Давыдова. Много после я рассказал ему о проделке, да много-много лет спустя, незадолго до смерти В. Н. Давыдова, сидя в уборной А. И. Южина в Малом театре, мы вспоминали прошлое. Давыдов напомнил:

— А помнишь, Володя, как мы твоим табаком в Саратове Далматова со Стрельской угостили?

Смеялся я над Далматовым, но и со мной случилось нечто подобное. У нас в труппе служила выходной актрисой Гаевская, красивая, изящная барышня, из хорошей семьи, поступившая на сцену из любви к театру без жалованья, так как родители были со средствами. Это было первое существо женского пола, на которое я обратил внимание. В гимназии я был в той группе товарищей, которая презирала женский пол, называя всех под одну бирку «бабьем», а тех учеников, которые назначали свидания гимназисткам и дежурили около женской гимназии ради этих свиданий, мы презирали еще больше. Ни на какие балы с танцами мы не ходили, а если приходилось иногда бывать, то демонстративно не танцевали, да и танцевать-то из нас никто не умел. У меня же была особая ненависть к женщинам благодаря красавицам тетушкам Разнатовским, институткам, которые до выхода своего замуж терзали меня за мужицкие манеры и придумывали для меня всякие наказания.

Ну, как же после этого не возненавидеть женский пол!

На Волге в бурлаках и крючниках мы и в глаза не видали женщин, а в полку видели только грязных баб, сидевших на корчагах с лапшой и картошкой около казарменных ворот, да гуляющих девок по трактирам, намазанных и хриплых, соприкосновения с которыми наша юнкерская компания прямо-таки боялась, особенно наслушавшись увещаний полкового доктора Глебова.

Служа потом у Григорьева, опять как-то у нас была компания особая, а Вася Григорьев, влюбленный платонически в инженю Лебедеву, вздыхал и угощал нас водкой, чтобы только поговорить о предмете сердца.

* * *

Итак, первое существо женского пола была Гаевская, на которую я и внимание обратил только потому, что за ней начал ухаживать Симонов, а потом комик Большаков позволял себе ее ухватывать за подбородок и хлопать по плечу в виде шутки. И вот как-то я увидел во

время репетиции, что Симонов, не заметив меня, подошел к Гаевской, стоявшей с ролью под лампой между кулис, и попытался ее обнять. Она вскрикнула:

— Что вы, как смеете!

Я молча прыгнул из-за кулис, схватил его за горло, прижал к стене, дал пощечину и стал драть за уши. На шум прибежали со сцены все репетировавшие, в том числе и Большаков.

— Если когда-нибудь ты или кто-нибудь еще позволит обидеть Гаевскую — ребра переломаю! — и ушел в буфет.

Как рукой сняло. Вечером я извинился перед Гаевской и с той поры после спектакля стал ее всегда провожать домой, подружился с ней, но никогда даже не предложил ей руки, провожая.

Отношения были самые строгие, хотя она мне очень понравилась. Впрочем, это скоро все кончилось, я ушел на войну. Но до этого я познакомился с ее семьей и бывал у них, бросил и орлянку и все мои прежние развлечения.

Первая встреча была такова.

Я вошел. В столовой кипел самовар и за столом сидел с трубкой во рту седой старик с четырехугольным бронзовым лицом и седой бородой, росшей густо только снизу подбородка. Одет он был в дорогой шелковый, китайской материи халат, на котором красовался офицерский Георгий. Рядом мать Гаевской, с которой Гаевская познакомила меня в театре.

— Мой муж, — представила она мне его. — Очень рады гостю!

Я назвал себя.

— А я — капитан Фофанов.

Познакомились. За чаем разговорились. Конечно, я поинтересовался Георгием.

— За двадцать пять кампаний. Недаром достал. Поработал — и отдыхаю... Двадцать лет в отставке, а вчера восемьдесят стукнуло.

— Скажите, капитан, был ли у вас когда-нибудь на корабле матрос Югов, не помните?

— Югов! Васька Югов!

В слове Югов он сделал ударение на последнем слоге.

— Был ли? Да я этого мерзавца никогда не забуду! А вы почем его знаете?

— Да десять лет назад он служил у моего отца...

— Десять лет. Не может этого быть?!

И я описал офицеру Китаева.

— Как? Так Васька Югов жив? Вот мерзавец! Он только это и мог — никто больше! Как же он жив, когда я его списал с корабля утонувшим! Ну, ну и мерзавец. Лиза, слышишь? Этот мерзавец жив... Молодец, не ожидал. Ну, как, здоров еще он?

Я рассказал подробно все, что знал о Югове, а Фофанов все время восклицал, перемешивая слова:

— Мерзавец!

— Молодец!

Наконец спросил:

— А про меня Васька не вспоминал?

— Вспоминал и говорит, что вы — извините, капитан, — зверь были, а командир прекрасный, он вас очень любил.

— Вер-р-но, вер-р-но... Если бы я не был зверь, так не сидел бы здесь и этого не имел.

Он указал на георгиевский крест.

— Да разве с такими Васьками Юговыми можно быть не зверем? Я ж службу требовал, дисциплину держал.

Он стукнул мохнатым кулачищем по столу.

— Ах, мерзавец! А вы знаете, что лучшего матроса у меня не бывало. Он меня в Индии от смерти спас. И силища была, и отчаянный же. Представьте себе, этот мерр-завец из толпы дикарей, напавших на нас, голыми руками индийского раджу выхватил как щенка и на шлюпку притащил. Уж исполосовал я это индийское чудище линьками! Черт с ним, что король, никого я никогда не боялся... только... Ваську Югова боялся... Его боялся... Что с него, дьявола, взять? Схватит и перервет пополам человека... Ему все равно, а потом казни... Раз против меня, под Японией было, у Ослиных островов бунт затеял, против меня пошел. Я его хотел расстрелять, запер в трюм, а он, черт его знает как, пропал с

корабля... Все на другой день перерыли до синь пороха, а его не нашли. До Ослиных островов было несколько миль, да они сплошной камень, в бурунах, погода свежая... Думать нельзя было... Так и решили, что Васька утонул, и списал я его утонувшим.

— А вот оказалось, доплыл до берега, — сказал я.

— Про кого ни скажи, что пять миль при норд-осте в ноябре там проплывет, — не поверю никому... Опять же Ослиные острова — дикие скалы, подойти нельзя... Один только Васька и мог... Ну, и дьявол!

Много рассказывал мне Фофанов, до поздней ночи, но ничего не доканчивал и все сводил на восклицание:

— Ну, Васька! Ну, мерзавец!

При прощании обратился ко мне с просьбой:

— Если увидите Ваську, пришлите ко мне. Озолочу мерзавца. А все-таки выпорю за побег!

И каждый раз, когда я приходил к Фофанову, старик много мне рассказывал, и, между прочим, в его рассказах, пересыпаемых морскими терминами, повторялось то, что я когда-то слыхал от матроса Китаева. Старик читал газеты и, главным образом, конечно, говорил о войне, указывал ошибки военачальников и всех ругал, а я не возражал ему и только слушал. Я отдыхал в этой семье под эти рассказы, а с Ксенией Владимировной наши разговоры были о театре, о Москве, об актерах, о Кружке. О своей бродячей жизни, о своих приключениях я и не упоминал ей, да ее, кроме театра, ничто не интересовало. Мы засиживались с ней вдвоем в уютной столовой нередко до свету. Поужинав часов в десять, старик вставал и говорил:

— Посиди, Володя, с Зинушей, а мы, старики, на койку.

Почему Ксению Владимировну звали Зиной дома, так я и до сего времени не знаю.

Так и шел сезон по-хорошему; особенно как-то тепло относились ко мне А. А. Стрельская, старуха Очкина, имевшая в Саратове свой дом, и Майерова с мужем, с которым мы дружили.

В театре обратили внимание на Гаевскую. Погонин стал давать ей роли, и она понемногу выигралась и ликовала. Некоторые актеры, особенно Давыдов и Боль-

шаков, посмеивались надо мной по случаю Гаевской, но негромко: урок Симонову был памятен.

Я стал почище одеваться, т. е. снял свою поддевку и картуз и завел пиджак и фетровую шляпу с большими полями, только с косовороткой и высокими щегольскими сапогами на медных подковах никак не мог расстаться. Хорошо и покойно мне жилось в Саратове. Далматов и Давыдов мечтали о будущем и в порыве дружбы говорили мне, что всегда будем служить вместе, что меня они от себя не отпустят, что вечно будем друзьями. В городе было покойно, народ ходил в театр, только толки о войне, конечно, занимали все умы. Я тоже читал газеты и очень волновался, что я не там, не в действующей армии, — но здесь друзья, сцена, Гаевская со своими родителями...

15 июля я и Давыдов лихо отпраздновали после репетиции свои именины в саду, а вечером у Фофановых мне именины справили старики: и пирог, и икра, и чудная вишневая домашняя наливка.

* * *

Война была в разгаре. На фронт требовались все новые и новые силы, было вывешено объявление о новом наборе и принятии в Думе добровольцев. Об этом Фофанов прочел в газете, и это было темой разговора за завтраком, который мы кончили в два часа, и я оттуда отправился прямо в театр, где была объявлена считка новой пьесы для бенефиса Большакова. Это была суббота 16 июля. Только что вышел, встречаю Инсарского в очень веселом настроении: подвыпил у кого-то у знакомых и торопился на считку.

— Время еще есть, посмотрим, что в Думе делается, — предложил я. Пошли.

Около Думы народ. Идет заседание. Пробрались в зал. Речь о войне, о помощи раненым. Какой-то выхоленный, жирный, так пудов на восемь, гласный, нервно поправляя золотое пенсне, возбужденно, с привизгом, предлагает желающим «добровольно положить живот свой за веру, царя и отечество», в защиту угнетенных славян, и сулит за это земные блага и царство небесное, указывая рукой прямой путь в небесное царство через пра-

вую от его руки дверь, на которой написано: «Прием добровольцев».

— Юрка, пойдем на войну! — шепчу я разгоревшемуся от вина и от зажигательной речи Инсарскому.

— А ты пойдешь?

— Куда ты, туда и я!

И мы потихоньку вошли в дверь, где во второй комнате за столом сидели два думских служащих купеческого вида.

— Здесь в добровольцы? — спрашиваю.

— Пожалуйте-с... Здесь...

— А много записалось?

— Один только пока.

— Ладно, пиши меня.

— И меня!

Подсунули бумагу. Я, затем Инсарский расписались и адрес на театр дали, а сами тотчас же исчезли, чтобы не возбуждать любопытства, и прямо в театр. Считка началась. Мы молчали. Вечер был свободный, я провел его у Фофановых, но ни слова не сказал. Утром в 10 часов репетиция, вечером спектакль. Идет «Гамлет», которого играет Далматов, Инсарский — Горацио, я — Лаэрта. Роль эту мне дали по просьбе Далматова, которого я учил фехтовать. Полония играл Давыдов, так как Андреев-Бурлак уехал в Симбирск к родным на две недели. Во время репетиции является гарнизонный солдат с книжкой, а в ней повестка мне и Инсарскому.

— По распоряжению командира резервного батальона в 9 часов утра в понедельник явиться в казармы...

С Инсарским чуть дурно не сделалось, — он по пьяному делу никакого значения не придал подписке. А на беду и молодая жена его была на репетиции; когда узнала — в обморок... Привели в чувство, плачет:

— Юра... Юра... Зачем они тебя?

— Сам не знаю, вот пошел я с этим чертом и записались оба, — указывает на меня...

В городе шел разговор: «актеры пошли на войну»... В газетах появилось известие...

«Гамлет» сделал полный сбор. Аплодисментами встречали Инсарского, устроили овацию после спектакля нам обоим.

На другой день в 9 утра я пришел в казармы. Опухший, должно быть, от бессонной ночи Инсарский пришел вслед за мной.

— Черт знает, что ты со мной сделал!.. Дома—ужас!

* * *

Заперли нас в казармы. Потребовали документы, а у меня никаких. Телеграфирую отцу: высылает копию метрического свидетельства, так как и метрику и послужной список, выданный из Нежинского полка, я тогда еще выбросил. В письме отец благодарил меня, поздравлял и прислал четвертной билет на дорогу.

Я сказал своему ротному командиру, что служил юнкером в Нежинском полку, знаю фронт, но требовать послужного списка за краткостью времени не буду, а пойду рядовым. Об этом узнал командир батальона и все офицеры. Оказались общие знакомые нежинцы, и на первом же учении я был признан лучшим фронтовиком и сразу получил отделение новобранцев для обучения. В числе их попался ко мне также и Инсарский. Через два дня мы были уже в солдатских мундирах. Каким смешным и неуклюжим казался мне Инсарский, которого я привык видеть в костюме короля, рыцаря, придворного или во фраке. Он мастерски его носил! И вот теперь скрюченный Инсарский, согнувшийся под ружьем, топчется в шеренге таких же неуклюжих новобранцев — мне как на смех попались немцы-колонисты, плохо говорившие и понимавшие по-русски, да и по-немецки с ними не столкуешься, — свой жаргон!

— Пферд, — говоришь ему, указывая на лошадь, а он глаза вытаращит и молчит, и отрицательно головой мотает. Оказывается, по-ихнему лошадь зовется не «пферд», а «кауль» — вот и учи таких чертей. А через 10 дней назначено выступление на войну, на Кавказ, в 41-ю дивизию, резервом которой состоял наш Саратовский батальон.

Далматов, Давыдов и еще кое-кто из труппы приходили издали смотреть на ученье и очень жалели Инсарского.

А. И. Погонин, человек общества, хороший знако-

мый губернатора, хлопотал об Инсарском, и нам командир батальона, сам ли или по губернаторской просьбе, разрешил не ночевать в казармах, играть в театре, только к 6 часам утра обязательно являться на ученье и до 6 вечера проводить день в казармах. Дней через пять Инсарский заболел и его отправили в госпиталь — у него сделалась течь из уха.

Я в 6 часов уходил в театр, а если не занят, то к Фофановым, где очень радовался за меня старый морской волк, радовался, что я иду на войну, делал мне разные поучения, которые в дальнейшем не прошли бесследно. До слез печалилась Гаевская со своей доброй мамой. В труппе после рассказов Далматова и других, видевших меня обучающим солдат, на меня смотрели, как на героя, поили, угощали и платили жалованье. Я играл раза три в неделю.

Последний спектакль, в котором я участвовал, пятница 29 июля — бенефис Большакова. На другой день наш эшелон выступал в Турцию.

В комедии Александрова «Вокруг огня не летай» мне были назначены две небольшие роли, но экстренно пришлось сыграть Гуратова (отставной полковник в мундире), вместо Андреева-Бурлака, который накануне бенефиса телеграфировал, что на сутки опоздает и приедет в субботу. Почти все офицеры батальона, которым со дня моего поступления щедро давались контрамарки, присутствовали со своими семьями на этом прощальном спектакле, и меня, рядового их батальона в полковничьем мундире, вызывали почем зря. Весь театр, впрочем, знал, что завтра я еду на войну, ну и чествовали вовсю.

Поезд отходил в два часа дня, но эшелон в 12 уже сидел в товарных вагонах и распевал песни. Среди провожающих было много немцев-колонистов, и к часу собралась вся труппа провожать меня: нарочно репетицию отложили. Все с пакетами, с корзинами. Старик Фофанов прислал оплетенную огромную бутыль, еще в старину привезенную им из Индии, наполненную теперь его домашней вишневкой.

Погонин почему-то привез ящик дорогих сигар, хотя знал, что я не курю, а нюхаю табак; мать Гаевской —

домашний паштет с курицей и целую корзину печенья, а Гаевская — коробку почтовой бумаги, карандаш и кожаную записную книжку с золотой подковой, Давыдов и Далматов — огромную корзину с водкой, винами и закусками от всей труппы.

Мы заняли ползала у буфета, смешались с офицерами, пили донское; Далматов угостил настоящим шампанским, и, наконец, толпой двинулись к платформе после второго звонка. Вдруг шум, толкотня, и к нашему вагону 2-го класса — я и начальник эшелона прапорщик Прутников занимали купе в этом вагоне, единственном среди товарного состава поезда, — и в толпу врывается, хромая, Андреев-Бурлак с двухаршинным балыком под мышкой и корзинкой вина.

— Прямо с парохода, чуть не опоздал!

Инсарский, обнимая меня, плакал.

Он накануне вышел из лазарета, где комиссия признала его негодным к военной службе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА

Наш эшелон. Пешком через Кавказ. Шулера во Млетах. В Турции. Встреча в отряде. Костя Попов. Капитан Карганов. Хаджи-Мурат. Пластунская команда. Охотничий курган. Отбитый десант. Англичанин в шлюпке. Последнее сражение. Конец войны. Охота на башибузуков. Обиженный Инал Асланов. Домой!

Наш эшелон был сто человек, а в Тамбове и Воронеже прибавилось еще сто человек, и начальник последних, подпоручик Архальский, удалец хоть куда, веселый и шумный, как старший в чине, принял у Прутникова командование всем эшелоном, хотя был моложе его годами и, кроме того, Прутников до военной службы кончил университет. Чины и старшинство тогда очень почитались. Самый нижний чин это был рядовой, получавший 90 копеек жалованья в треть и ежемесячно по 2 копейки на баню, которые хранились в полковом денежном ящике и выдавались только накануне бани — солдат тогда пускали в баню за 2 копейки.

— Солдат, где твои вещи?

— Вот все тут, — вынимает деревянную ложку из-за голенища.

— А где твои деньги?

— На подводе везут в денежном ящике.

Следующий чин — ефрейтор, получавший в треть 95 копеек.

Во время войны жалованье утраивалось — 2 р. 70 к. в треть. Только что произведенные два ефрейтора входят в трактир чай пить, глядят и видят — рядовые тоже чай пьют... И важно говорит один ефрейтор другому: «На какие это деньги рядовщина гуляет? Вот мы, ефрейторы, другое дело».

Дней через пять мы были во Владикавказе, где к нашей партии прибавилось еще солдат, и мы пошли пешком форсированным маршем по Военно-Грузинской дороге. Во Владикавказе я купил великолепный дагестанский кинжал, бурку и чувяки с коговицами, в которых так легко и удобно было идти, даже, пожалуй, лучше, чем в лаптях.

После Пушкина и Лермонтова писать о Кавказе, а особенно о Военно-Грузинской дороге, — перо не поднимается... Я о себе скажу одно — ликовал я, радовался и веселился. Несмотря на страшную жару и пыль, забегая вперед, лазил по горам, а иногда откалывал такого опасного козла, что измученные и запыленные солдаты отдыхали за смехом. Так же я дурил когда-то и на Волге в бурлацкой артели, и здесь, почуя волю, я был такой же бешеный, как и тогда. На станции Гудаут я познакомился с двумя грузинами, гимназистами последнего класса тифлисской гимназии. Они возвращались в Тифлис с каникул и предложили мне идти с ними прямой дорогой до станции Млеты.

— Только под гору спустимся, тут и Млеты, а дорогой больше 20 верст. Солдаты придут к вечеру, а мы через час будем там.

Партия строилась к походу, и, не сказавшись никому, я ушел с гимназистами в противоположную сторону, и мы вскоре оказались на страшном обрыве, под которым дома, люди и лошади казались игрушечными, а Терек — узенькой ленточкой.

— Вот и Млеты, давай спускаться.

Когда я взглянул вниз, сердце захолонуло, я подумал, что мои гимназисты шутят.

— Мы всегда тут ходим, — сказал младший, красавец мальчуган. — Сегодня хорошо, сухо... Первым я, вы вторым, а за вами брат, —и спустился вниз по чуть заметной стежке в мелком кустарнике. Я чувствовал, что

сердце у меня колотится... Ноги будто дрожат... И мелькнула в памяти гнилая лестница моей казанской тюрьмы. Я шагнул раз, два, поддерживаясь за кустарник, а подо мной быстро и легко спускается мальчик... Когда кустарник по временам исчезает, на голых камнях я висну над пропастью, одним плечом касаясь скалы, нога над бездной, а сверху грузин напевает какой-то веселый мотив. Я скоро овладеваю собой, привыкаю к высоте и через какие-нибудь четверть часа стою внизу и задираю голову на отвесную желтую стену, с которой мы спустились. «Ну вот, видите, как близко?» — сказал мне шедший за мной грузин. И таким тоном сказал, будто бы мы по бульвару прогулялись. Через несколько минут мы сидели в духане за шашлыком и кахетинским вином, которое нацедил нам в кувшин духанщик прямо из огромного бурдюка. Все это я видел в первый раз, все меня занимало, а мои молодые спутники были так милы, что я с этого момента полюбил грузин, а затем, познакомясь и с другими кавказскими народностями, я полюбил всех этих горных орлов, смелых, благородных и всегда отзывчивых. По дороге мимо нас двигались на огромных сонных буйволах со скрипом несуразные арбы, с огромными колесами и никогда не мазанными осями, крутившимися вместе с колесами. Как раз против нас к станции подъехала пара в фаэтоне, и из него вышли два восточных человека, один в интендантском сюртуке с капитанскими погонами, а другой штатский.

— Сандро, видишь, Асамат с кем-то.

— Должно быть, опять убежал.

И рассказал, что капитан вовсе не офицер, а известный шулер Асамат и только мундир надевает, чтобы обыгрывать публику, что весной он был арестован чуть ли не за убийство и, должно быть, бежал из острога.

После обеда мы дружески расстались, мои молодые товарищи наняли лошадей и поехали в Тифлис, а я гулял по станции, по берегу Терека, пока, наконец, увидал высоко на горе поднимающуюся пыль, и пошел навстречу своему эшелону. Товарищи удивились, увидав меня, было много разговоров, думали, что я сбежал, особенно были поражены они, когда я показал ту дорогу, по которой спускался. Солдат поместили в казармах, а офи-

церам дали большой номер с четырьмя кроватями, куда пригласили и меня. Доканчивая балык Андреева-Бурлака и уцелевшие напитки, мы расположились ко сну. Я скоро уснул и проснулся около полуночи. Прутников не спал, встревоженно ходил по комнате и сказал мне, что Архальский играет в другом номере в карты с каким-то офицером и штатским и, кажется, проигрывает. Я сразу сообразил, что шулера нашли-таки жертву, и, одевшись, попросил Прутникова остаться, а сам пошел к игрокам, сунув в карман револьвер Архальского. В довольно большом номере посреди стоял стол с двумя свечами по углам. Рядом столик с вином, чуреком, зеленью и сыром. Архальский, весь бледный, дрожащей рукой делал ставки. Игра велась в самую первобытную, трущобную азартную игру — банковку, состоящую в том, что банкомет раскладывает колоду на три кучки. Понтирующие ставят, каждый на свою кучку, деньги, и получает выигрыш тот, у кого нижняя карта открывается крупнее, а если — шанс банкомета — в какой-нибудь кучке окажется карта одинаковая с банкометом, то он забирает свою ставку. Тайну этой игры я постиг еще в Ярославле. Банк держал Асамат. Когда я вошел, штатский крикнул на меня:

— Пошел вон, ты видишь, офицеры здесь!

— Андрей Николаевич, я к вам, не спится...

Архальский объяснил, что я его товарищ юнкер, и меня пригласили выпить стакан вина. Я сел. Игра продолжалась

— Хочешь, ставь, — предложил мне офицер.

— Что ж, можно, — и я вынул из кармана пачку кредиток. — Вот только посмотрю, в чем игра: я ее не знаю. И стал наблюдать. Архальский ставил то 10, то 20 рублей на кучку, ставил такие же куши и третий партнер... Несколько раз по 5 рублей бросил я и выиграл рублей двадцать. Вот Архальский бросил 50 рублей, я — 10, и вдруг банкомет открыл десятку и загреб все деньги. У нас тоже оказались две десятки. Потом ставили понемногу, но как только Архальский усилит куш, а за ним и я, или открываются четыре десятки, или у банкомета оказывается туз, и он забирает весь выигрыш. Это повторялось каждый раз, когда наши куши были круп-

ными. Архальский дрожал и бледнел. Я знал, что он проигрывал казенные деньги, на которые должен вести эшелон... Перед банкометом росла груда, из которой торчали три новеньких сторублевки, еще не измятых, которые я видел у Архальского в бумажнике.

— Владимир Алексеевич, у вас есть деньги? — спросил меня Архальский.

— Сколько угодно, не беспокойтесь, сейчас отыграемся.

Я вскочил со стула, левой рукой схватил груду кредиток у офицера, а его ударил кулаком между глаз и в тот же момент наотмашь смазал штатского и положил в карман карты Асамата вместе с остальными деньгами его товарища. Оба полетели на пол вместе со стульями. Архальский соскочил как сумасшедший и ловит меня за руку, что-то бормочет.

— Что такое? Что такое? Разбой? — весь бледный приподнялся Асамат, а другой еще лежал на полу без движения. Я вынул револьвер, два раза щелкнул взведенный курок смит-и-весона. Минута молчания.

— Асамат, наконец-то, я тебя, мерзавец, поймал. Поручик, — обратился я к Архальскому, — зовите коменданта и солдат, вас обыгрывали наверняка, карты подрезаны, это беглые арестанты. Зови скорей! — крикнул я Архальскому.

Асамат в жалком виде стоит, подняв руки, и умоляет:

— Тише, тише, отдай мои деньги, только мои.

Другой его товарищ ползет к окну. Я, не опуская револьвера, взял под руку Архальского, вытолкнул его в коридор, ввел в свой номер, где крепко спал Прутников, и разбудил его. Только тут Архальский пришел в себя и сказал:

— Ведь вы же офицера ударили?

Я объяснил ему, какой это был офицер.

— Они жаловаться будут.

— Кому? Кто? Да их уже, я думаю, след простыл.

Я высыпал скомканные деньги из кармана на стол, а сам пошел в номер Асамата. Номер был пуст, окно отворено. На столе стояли две бутылки вина, которые, конечно, я захватил с собой, и, уходя, запер номер, а ключ положил в карман. Вино привело в чувство Архальско-

го, который сознался, что проиграл казенных денег почти пятьсот рублей и около ста своих. Мы пили вино, а Прутников смотрел, слушал, ровно ничего не понимая, и разводил руками, глядя на деньги, а потом стал их считать. Я отдал Архальскому шестьсот рублей, а мне за хлопоты осталось двести. Архальский обнимал меня, целовал, плакал, смеялся и все на тему «я бы застрелился».

Нервы были подняты, ночь мы не спали, в четыре часа пришел дежурный с докладом, что кашица готова и люди завтракают, и в пять, когда все еще спали, эшелон двинулся дальше. Дорогой Архальский все время оглядывался — вот-вот погоня. Но, конечно, никакой погони не было.

Во Мцхетах мы разделились. Архальский со своими солдатами ушел на Тифлис и дальше в Карс, а мы направились в Кутаис, чтобы идти на Озургеты, в Рионский отряд. О происшествии на станции никто из солдат не знал, а что подумал комендант и прислуга об убежавших через окно, это уж их дело. И дело было сделано без особого шума в какие-нибудь три минуты.

* * *

Война. Писать свои переживания или описывать геройские подвиги — это и скучно и старо. Переживания мог писать глубокий Гаршин, попавший прямо из столиц, из интеллигентной жизни в кровавую обстановку, а у меня, кажется, никаких особых переживаний и не было. Служба в полку приучила меня к дисциплине, к солдатской обстановке, жизнь бурлацкая да бродяжная выбросила из моего лексикона слова: страх, ужас, страдание, усталость, а окружающие солдаты и казаки казались мне скромными институтками сравнительно с моими прежними товарищами, вроде Орлова и Ноздри, Костыги, Улана и других удалых добрых молодцев. На войне для укрощения моего озорства было поле широкое. Мне повезло с места, и вышло так, что война для меня оказалась приятным препровождением времени, напоминавшим мне и детство, когда пропадал на охоте с Китаевым, и жизнь бродяжную. Мне повезло. Прутников получил у кутаисского воинского начальника назначение вести свою команду в 120 человек в 41-ю дивизию, по тридцати че-

ловек в каждый из четырех полков, а сам был назначен в 161-й Александропольский, куда постарался зачислить и меня.

В Кутаисе мы пробыли два дня; я в это время снялся в своей новой черкеске и послал три карточки в Россию — отцу, Гаевской и Далматову. Посланная отцу карточка цела у меня по сие время. Походным порядком шагали мы в Гурии до ее столицы, Озургет. Там в гостинице «Атряд» я пил чудное розовое вино типа известного немецкого «асманхейзера», но только ароматнее и нежнее. Оно было местное и называлось «вино гуриели». Вот мы на позиции, на Муха-Эстате. Направо Черное море открылось перед нами, впереди неприступные Цихидзири, чертова крепость, а влево лесистые дикие горы Аджарии.

В день прихода нас встретили все офицеры и командир полка седой грузин князь Абашидзе, принявший рапорт от Прутникова. Тут же нас разбили по ротам, я попал в 12-ю стрелковую. Смотрю и глазам не верю: длинный, выше всех на полторы головы подпоручик Николин, мой товарищ по Московскому юнкерскому училищу, с которым мы рядом спали и выпивали!

— Николай Николаевич,—позвал я Прутникова,—скажи обо мне вон тому длинному подпоручику, это мой товарищ Николин, чтобы он подошел к старому знакомому.

Прутников что-то начал рассказывать ему и собравшимся офицерам, говорил довольно долго, указывая на меня; Николин бросился ко мне, мы обнялись и поцеловались, забыв дисциплину. Впрочем, я был в новой черкеске без погон, а не в солдатском мундире. Тогда многие из призванных стариков пришли еще в вольном платье. Николин вывел меня в сторону, нас окружили офицеры, которые уже знали, что я бывший юнкер, известный артист. Прутников после истории в Млетах прямо благоговел передо мной. Николин представил меня, как своего товарища по юнкерскому училищу, и мне пришлось объяснить, почему я пришел рядовым. Седой капитан Карганов, командир моей 12-й роты, огромный туземец с георгиевским крестом, подал мне руку и сказал:

— Очень рад, что вы ко мне, хорошо послужим, — и подозвал юного прапорщика, розового, как девушка.

— Вы, Костя, в палатке один; возьмите к себе юнкера, веселей будет.

— Попов, — отрекомендовался он мне, — очень буду рад.

Так прекрасно встретили меня в полку, и никто из прибывших со мной солдат не косился на это: они видели, как провожали меня в Саратове, видели, как относился ко мне начальник эшелона, и прониклись уважением после того, когда во Млетах я спустился со скалы. И так я попал в общество офицеров и жил в палатке Кости Попова. Полюбил меня Карганов и в тот же вечер пришел к нам в палатку с двумя бутылками прекрасного кахетинского, много говорил о своих боевых делах, о знаменитом Бакланове, который его любил, и, между прочим, рассказал, как у него из-под носа убежал знаменитый абрек Хаджи-Мурат, которого он под строгим конвоем вел в Тифлис.

— Пан-ымаешь, вниз головой со скалы, в кусты нырнул, загрэмел по камням, сам, сам слышал... Меня за него чуть под суд не отдали... Приказано было мне достать его живым или мертвым... Мы и мертвого не нашли... Знаем, что убился, пробовал спускаться, тело искать, нельзя спускаться, обрыв, а внизу глубина, дна не видно... Так и написали в рапорте, что убился в бездонной пропасти... Чуть под суд не отдали.

Ни я, ни Костя, слушавшие с восторгом бесхитростный рассказ старого кавказского вояки, не знали тогда, кто такой был Хаджи-Мурат, абрек, да абрек.

— Потом, — продолжал Карганов, — все-таки я его доколотил. Можете себе представить, год прошел, а вдруг опять Хаджи-Мурат со своими абреками появился, и сказал мне командир: «Ты его упустил, ты его и лови, ты один его в лицо знаешь»... Ну и теперь я не пойму, как он тогда жив остался! Долго я его искал, особый отряд джигитов для него был назначен, одним таким отрядом командовал я, ну нашел. Вот за него тогда это и получил, — указал он на Георгия.

* * *

Десятки лет прошло с тех пор. Костя Попов служил на Западе в каком-то пехотном полку и переписывался

со мной. Между прочим, он был женат на сестре знаменитого ныне народного артиста В. И. Качалова, и когда, тогда еще молодой, первый раз он приехал в Москву, то он привез из Вильны мне письмо от Кости.

Впоследствии Костя Попов, уже в капитанском чине, заезжал ко мне в Москву, и в разговоре напоминал о Карганове.

— Ты не забыл Карганова, нашего ротного?.. Помнишь, как он абрека упустил, а потом добил его?

— Конечно, помню.

— А знаешь, кто этот абрек был?

— Вот не знаю.

— Так прочитай Льва Толстого «Хаджи-Мурат».

И действительно, там Карганов, наш Карганов! И почти слово в слово я прочитал у Льва Николаевича его рассказ, слышанный мной в 1877 году на позиции Муха-Эстата от самого Карганова, моего командира.

У Карганова в роте я пробыл около недели, тоска страшная, сражений давно не было. Только впереди отряда бывали частые схватки охотников. Под палящим солнцем учили присланных из Саратова новобранцев. Я как-то перед фронтом показал отчетливые ружейные приемы, и меня никто не беспокоил. Ходил к нам Николин, и мы втроем гуляли по лагерю, и мне они рассказывали расположение позиции.

— Вот это Хуцубани... там турки пока сидят, господствующие позиции, мы раз в июне ее заняли, да нас оттуда опять выгнали, а рядом с ним, полевее, вот эта лесная гора в виде сахарной головы называется «Охотничий курган», его нашли охотники-пластуны, человек двадцать, ночью отбили у турок без выстрела, всех перерезали и заняли... Мы не успели послать им подкрепления, а через три дня пришли наши на смену, и там оказалось 18 трупов наших пластунов, над ними турки жестоко надругались. Турок мы опять выгнали, а теперь опять там стоят наши охотники, и с той поры курган называется «Охотничьим»... Опасное место, на отлете от нас, к туркам очень близко... Да ничего, там такой народец подобрали, который ничего не боится.

Рассказал мне Николин, как в самом начале выбирали пластунов-охотников: выстроили отряд и вызвали

желающих умирать, таких, кому жизнь не дорога, всех готовых идти на верную смерть, да еще предупредили, что ни один охотник-пластун родины своей не увидит. Много их перебили за войну, а все-таки охотники находились. Зато житье у них привольное, одеты кто в чем, ни перед каким начальством шапки зря не ломают и крестов им за отличие больше дают.

Так мы мило проводили время. Прислали нашим саратовцам обмундировку, сапоги выдали, и мне мундира рядового так и не пришлось надеть. Как-то вечером зашел к Карганову его друг и старый товарищ, начальник охотников Лешко. Здоровенный малый, хохол, с проседью, и только в чине поручика: три раза был разжалован и каждый раз за боевые отличия производился в офицеры. На черкеске его, кроме двух солдатских, белел Георгий уже офицерский, полученный недавно. Карганов позвал пить вино меня и Попова. Сидели до утра, всякий свое рассказывал. Я разболтался про службу в полку, про крючничество и про бурлачество и по пьяному делу силу с Лешко попробовали да на «ты» выпили.

— Каргаша, ты мне его отдай в охотничью команду.

— Дядя, отпусти меня, — прошусь я.

Карганова весь отряд любил и дядей звал.

— Да иди, хоть и жаль тебя, а ты там по месту, таких чертей там ищут.

Лешко подал на другой день рапорт командиру полка, и в тот же день я распростился со своими друзьями и очутился на Охотничьем кургане.

В полку были винтовки старого образца, системы Карле, с бумажными патронами, которые при переправе через реку намокали и в ствол не лезли, а у нас легкие берданки с медными патронами, 18 штук которых я вставил в мою черкеску вместо щегольских серебряных газырей. Вместо сапог я обулся в поршни из буйволовой кожи, которые пришлось надевать мокрыми, чтобы по ноге сели, а на пояс повесил кошки — железные пластинки с острыми шипами и ремнями, которые и прикручивались к ноге, к подошвам, шипами наружу. Поршни нам были необходимы, чтобы подкрадываться к туркам неслышно, а кошки — по горам лазить, чтобы нога не скользила, особенно в дождь.

Помощник командира был поручик нашего полка Виноградов, удалец хоть куда, но серьезный и молчаливый. Мы подружились, а там я сошелся и со всеми товарищами, для которых жизнь — копейка... Лучшей компании я для себя и подыскать бы не мог. Оборванцы и удальцы, беззаветные, но не та подлая рвань, пьяная и предательская, что в шайке Орлова, а действительно, «удал-добры молодцы». Через неделю и я стал оборванцем, благодаря колючкам, этому отвратительному кустарнику с острыми шипами, которым все леса кругом переплетены: одно спасение от него — кинжал. Захватит в одном месте за сукно — стоп. Повернулся в другую — третьим зацепило, и ни шагу. Только кинжал и спасал, — секи ветки и иди смело. От колючки, от ночного лежания в секретах, от ползания около неприятеля во всякую погоду моя новенькая черкеска стала рванью. Когда через неделю я урвался на часок к Карганову и Попову, последний даже ахнул от удивления, увидя меня в таком виде, а Карганов одобрительно сказал:

— Вот тэпэрь ты джигит настоящий.

Весело жили. Каждую ночь в секретах да на разведках под самыми неприятельскими цепями, лежим по кустам да папоротникам, то за цепь переберемся, то часового особым пластунским приемом бесшумно снимем и живенько в отряд доставим для допроса... А чтобы часового взять, приходилось речку горную Кинтриши вброд по шею переходить и обратно с часовым тем же путем пробираться уже втроем — за часовым всегда охотились вдвоем. Дрожит несчастный, а под кинжалом лезет в воду. Никогда ни одному часовому пленному мы никакого вреда не сделали: идет как баран, видит, что не убежишь. На эти операции посылали охотников самых ловких, а главное сильных, всегда вдвоем, а иногда и по трое. Надо снять часового без шума. Веселое занятие — та же охота, только пожутче, а вот в этом-то и удовольствие.

Здесь некогда было задумываться и скучать, не то, что там, в лагерях, где по неделям, а то и по месяцам не было никаких сражений, офицеры играли в карты, солдаты тайком в кустах в орлянку, у кого деньги есть, а то валялись в балаганах и скучали, скучали... Особенно,

когда осенью зарядит иногда на неделю, а то и две, дождь, если ветер подует из мокрого угла, от Батума. А у нас задумываться было некогда. Кормили хорошо, усиленную порцию мяса на котел отпускали, каши не впроед и двойную порцию спирта. Спирт был какой-то желтый, говорят, местный, кавказский, но вкусный и очень крепкий. Бывало, сгоряча забудешь и хватишь залпом стакан, как водку, а потом спроси, «какой губернии», ни за что не ответишь. Чай тоже еще не был тогда введен в войсках, мы по утрам кипятили в котелках воду на костре и запускали в кипяток сухари — вот и чай. Питались больше сухарями, хлеб печеный привозили иногда из Озургет, иногда пекли в отряде, и нам доставляли ковригами. Как-то в отряд привезли муку, разрезали кули, а в муке черви кишат. Все-таки хлеб пекли из нее.

— Ничего, — говорили хлебопеки,— солдат не собака, все съест, нюхать не станет.

И ели, и не нюхали.

* * *

Рионский отряд после того, как мы взяли Кабулеты, стал называться Кабулетским. Вправо от Муха-Эстаты и Хуцубани, которую отбили у турок, до самого моря тянулись леса и болота. Назад, к России, к северу от Озургет до самого моря тянулись леса на болотистой почве, бывшее дно моря. Это последнее выяснилось воочию на посту Цисквили на берегу моря, близ глубокой болотистой речки Чолок, поросшей камышами и до войны бывшей границей с Турцией. Цисквили была тогда пограничным постом, и с начала войны там стояли две роты, чтобы охранять Озургеты от турецкого десанта. Кругом болота, узкая песчаная полоса берега, и в море выдавалась огромная лагуна, заросшая камышом и кугой, обнесенная валами песку со стороны моря, как бы краями чаши, такими высокими валами, что волны не поднимались выше их, а весь берег вправо и влево был низким местом, ниже уровня моря, а дальше в непроходимых лесах, на громадном пространстве на север до реки Риона и далее до города Поти, в лесах были огромные озера-болота, место зимовки перелетных птиц. Эти озера зимой кишели гусями, утками, бакланами, но достать их

было невозможно из-за непроходимых трясин. В некоторых местах, покрытых кустарником, особенно по берегу Чолока, росли некрупные лавровые деревья, и когда солдаты в начале войны проходили этими местами, то набили свои сумки лавровым листом.

— В России он дорог.

Два взвода одиннадцатой роты покойно и скучно стояли с начала войны на посту Цисквили и болели малярией в этом болоте, дышавшем туманами. Это была ужасная стоянка в полном молчании. Солдаты развлекались только тем, что из растущих в лесах пальм делали ложки и вырезали разные фигурки. Раз только и было развлечение: как-то мы со своего кургана увидали два корабля, шедшие к берегу и прямо на нас. В отряде тревога: десант. Корабли шли на Цисквили, остановились так в верстах в двух от нее, сделали несколько выстрелов по посту и ушли. Огромные снаряды не рвались, попадая в болото, разорвались только два, да и то далеко от солдат. Странно, что в это время наши противники в своих окопах сидели без выстрела, и мы им тоже не отвечали. Но все-таки это нас заставило насторожиться, а командир батальона гурийцев, кажется князь Гуриели, знающий местность, доложил начальнику отряда генералу Оклобжио, что надо опасаться десанта немного севернее Цисквили, на реке Супси, впадающей в море, по которой можно добраться до самого Кутаиса и отрезать Озургеты и наш отряд. А на Супси до сих пор и поста не было. Позаботились об этом: послали поручика Кочетова со взводом, приказали выстроить из жердей и болотной куги балаганы, как это было на Цисквили и кое-где у нас в лагере. Кроме того, в помощь Кочетову назначили из нашей пластунской команды четырех, под моей командой. Но мы ушли только через 10 дней, так как турки как-то вели себя непокойно и ни с того ни с сего начинали пальбу то тут, то там. Пришлось усилить секреты и разведку, и вся команда по ночам была в разведке под самым туркой. Только через десять дней, когда, по-видимому, все успокоилось, послали нас. Со мной пошли лучшие удальцы: Карасюта, Енетка и Галей-Галямов, татарин с Камы, лесоруб и охотник по зверю. Первые двое неутомимые ходоки, лошадь перегонят, а тата-

рин незаменимый разведчик с глазами лучше бинокля и слухом дикого зверя, все трое великолепные стрелки. Мы вышли до солнышка, пообедали в Цисквили, где наткнулись на одно смешное происшествие: на берегу ночью выкинуло дохлого дельфина, должно быть убитого во время перестрелки с кораблями. Солдаты изрезали его на куски, топили в своих котелках жир, чтобы мазать сапоги. В теплый туманный день вонь в лагере стояла нестерпимая, а солдатам все-таки развлечение, хотя котелки провоняли и долго пахли рыбой.

Второе — грустное: нам показали осколок снаряда, который после бомбардировки солдаты нашли в лесу около дороги в Озургеты, привязали на палку, понесли, как чудище двухпудовое с хороший самовар величиной, и, подходя к лагерю, уронили его на землю: двоих разорвало взрывом, — это единственные жертвы недавней бомбардировки.

Дорогу на Супси нам показали так:

— Идите все по берегу, пока не наткнетесь на пост.

— А сколько примерно верст?

— Да часа в три дойдете. Только идите по мокрому песку, не сворачивайте в лес, а то как попадете на траву, провалитесь, засосет.

Мы шли очень легко по мокрому песку, твердо убитому волнами, и часа через два-три наткнулись на бивак. Никто даже нас не окликнул, и мы появились у берегового балагана, около которого сидела кучка солдат и играла в карты, в «носки», а стоящие вокруг хохотали, когда выигравший хлестал по носу проигравшего с веселыми прибаутками. Увидав нас, все ошалели, шарахнулись, а один бросился бежать и заорал во все горло:

— В ружье!

И не трудно было нас, оборванных, без погон, в папахах и поршнях, испугаться: никакого приличного солдатского вида нет. Я успел окликнуть их, и они успокоились.

— Пластуны, милости просим!

Кочетова, с которым уже встречались в отряде, я разбудил. Он целыми днями слонялся по лесу или спал. Я принес с собой три бутылки спирта, и мы пробеседовали далеко за полночь. Он жаловался на тоскливую болот-

ную стоянку, где, кроме бакланов да бабы-птицы, разгуливавшей по песчаной косе недалеко от бивуака, ничего не увидишь. Развлечения — охота на бакланов и только, а ночью кругом чекалки завывают, за душу тянут...

Между прочим, мы ужинали жареным бакланом, и чтобы не пахнул рыбой, его на ночь зарывали в землю перед тем, как жарить.

Я уснул в балагане на своей бурке. Вдруг, чуть свет, будят.

— Ваш-бродь, так что неприятель морем наступает, корабли идут.

Мы побежали, не одеваясь. Глядим, вдали в море какие-то два пятнышка. Около нашего балагана собрались солдаты.

— Галям, ты видишь? — спрашиваю.

— Два корабля, во какой дым валит.

Я, дальнозоркий, вижу только два темных пятнышка. Кочетов принес бинокль, но в бинокль я вижу немного больше, чем простым глазом. Мы с Кочетовым обсуждаем план защиты позиции, если будет десант, и постановляем: биться до конца в случае высадки десанта и послать бегом сообщить на Цисквили, где есть телеграф с Озургетами. Корабли приближались, Галям уже видит:

— Много народу на кораблях, вся палуба полный.

— Должно быть, десант, — говорит Кочетов, но тоже, как и все остальные, народа не видит даже в бинокль.

Но вот показались дымки, все ближе и ближе пароходы, один становится боком, видим на палубе народ, другой пароход немного подальше также становится к нам бортом. Мы оделись. Кочетов уже распорядился расположением солдат на случай десанта и велел потушить костры, где готовился обед. С моря нашего лагеря не видно, он расположен в лощине на песчаном большом плато, поросшем высоким кустарником, и шагах в двадцати от берега насыпаны два песчаных вала, замаскированных кустарником. Это работа Кочетова. Нас пятьдесят человек. Солдаты Кочетова вооружены старыми «карле», винтовками с боем не более 1 000 шагов. У нас великолепные берданки и у каждого по 120 патронов, а у меня 136. Пароходы стоят. Вдруг на одном из них дымок, бабахнуло, над нами высоко завыл снаряд и замер в ле-

су... Другой, третий, и все высокие перелеты. Уложили солдат по валу, я в середине между взводами, рядом со мной Кочетов. Приказано замереть, чтобы о присутствии войск здесь неприятель не догадался.

А выстрелы гремели. Один снаряд шлепнулся в вал и зарылся в песке под самым носом у нас. Один разорвался недалеко от балагана, это был пятнадцатый по счету. Бомбардировка продолжалась больше часу. Солдатам весело, шутят, рады — уж очень здесь тоска одолела. Кочетов серьезен, обсуждает план действия.

— Ежели в случае, что десант...

— Лодки спускают, — говорит Галям.

Еще четыре «самовара» провыли над нами и замолкли в лесу, должно быть в болото шлепнулись.

А вот и десант... С ближайшего парохода спускаются две шлюпки, полные солдат. Можно рассмотреть фески.

— До моей команды не стрелять, — говорит Кочетов.

Обсуждаем: подпустить на двести шагов и открывать огонь после трех залпов в одиночку на прицел, а там опять залп, по команде.

— Бить наверняка, уйти всегда успеем!

— Зачем уйти? Штыками будем! — горячится Галям и возбуждает смех своим акцентом.

Две шлюпки двигаются одна за другой саженях в трехстах от нас, кивают красные фески гребцов, поблескивают ружья сидящих в шлюпках... На носу в первой шлюпке стоит с биноклем фигура в красном мундире и в серой высокой шляпе.

— Англичанин,— шепчет мне Кочетов и жалеет, что у него нет берданки.

Солдаты лежат, прицелившись, но дистанция слишком велика для винтовок старого образца. Ждут команды «пли». Вдруг на левом фланге грянул выстрел, а за ним вразброд все захлопали.

— Дьяволы! — бесновался Кочетов, но уже дело было непоправимо. А он все-таки командует: — Пальба взводом, взвод пли...

И после нескольких удачных дружных залпов кричит:

— Лупи на выбор, если долетит... Прицел на пятьсот шагов.

Для наших берданок это не было страшно. В лодках

суматоха, гребцы выбывают из строя, их сменяют другие, но все-таки лодки улепетывают. С ближайшего корабля спускают им на помощь две шлюпки, из них пересаживаются в первые новые гребцы; наши дальнобойные берданки догоняют их пулями... Англичанин, уплывший первым, давно уже, надо полагать, у всех на мушках сидел. Через несколько минут все четыре лодки поднимаются на корабль. Наши берданки продолжают посылать пулю за пулей.

Вот на другом закружились белые дымки, опять заухало, опять завыли «самовары», затрещал лес, раздались два-три далеких взрыва, первый корабль отошел дальше, и на нем опять заклубились дымки. После пятнадцати выстрелов корабли ушли в глубь моря... Ни один из выстрелов не достиг цели, даже близ лагеря не легло ни одной гранаты. Солдаты, как бешеные, прыгали по берегу, орали, ругались и радовались победе. Кочетов написал короткий рапорт об отбитии десанта и требовал прислать хоть одно орудие на всякий случай. Когда оно было получено, я с моими охотниками вернулся к своей части.

* * *

Последний большой бой в нашем отряде был 18 января, несмотря на то что 17 января уже было заключено перемирие, о котором телеграмма к нам пришла с опозданием на сутки с лишком. Новый командующий отрядом, назначенный вместо генерала Оклобжио, А. В. Комаров задумал во что бы то ни стало штурмовать неприступные Цихидзири, и в ночь на 18 января весь отряд выступил на эту нелепую попытку.

Охотникам было поручено снять часовых, и мы, вброд перебравшись через ледяную воду Кинтриши, бесшумно выполнили приказание, несмотря на обледеневшие горы и снежную вьюгу, пронесшуюся вечером.

Ночь была лунная и крепко морозная. Войско все-таки переправилось благополучно. Наш правый фланг уже продвинулся к Столовой горе, сильной позиции, укрепленной, как говорили, английскими инженерами: глубокие рвы, каждое место перед укреплениями отлично обстреливается, на высоких батареях орудия, а перед рва-

ми страшные завалы из переплетенных проволоками огромных деревьев, наваленных ветвями вперед. Промокшие насквозь во время переправы, в обледеневшей одежде, мы тихо подвигаемся. Вдруг на левом фланге выстрел, другой... целый град... Где-то грянуло орудие, и засверкали турецкие позиции изломанными линиями огоньков с брустверов Самебы и Кверики... Где-то влево слышно наше «ура», начался штурм... Ринулись и мы в атаку, очищая кинжалами дорогу в засеке. Столовая гора засветилась огнями и грохотом... Мы бросились в штыки на ошалевших от неожиданности турок, и Столовая гора была наша...

Бой кипел на всем фронте при ярко восходящем солнце на безоблачном небе; позиция была наша; защитники Столовой горы, которые остались в живых, бежали. Картина обычная: трупы, стоны раненых, полковой доктор Решетов и его фельдшера — руки по локоть в крови... Между убитыми и ранеными было много арабистанцев, этого лучшего войска у турок. Рослые красавцы в своих белых плащах с широкими коричневыми полосами. Мы накинули такие плащи на наше промокшее платье и согревались в них. Впоследствии я этот самый плащ привез в Россию, подарил Далматову, и он в нем играл в Пензе Отелло и Мурзука.

Бой кончился около полудня; день был жаркий, журчали ручьи от таящего снега, и голубели подснежники.

К вечеру весь отряд, хоронивший убитых в братских могилах, узнал, что получена телеграмма о перемирии, состоявшемся накануне в Сан-Стефано. Приди она вовремя — боя бы не было, не погибли бы полторы тысячи храбрецов, а у турок много больше. Были бы целы два любимых генерала Шелеметев и Шаликов, был бы цел мой молодой друг, товарищ по юнкерскому училищу подпоручик Николин: он погиб благодаря своему росту в самом начале наступления, пуля попала ему в лоб. Едва не попал в плен штабс-капитан Ленкоранского полка Линевич[1], слишком зарвавшийся вперед, но его отбили у турок наши охотники.

Но все было забыто: отряд ликовал — война кончена.

---

[1] Впоследствии главнокомандующий во время японской войны.

* * *

Заключили мир, войска уводили в глубь России, но только третьего сентября 1878 года я получил отставку, так как был в «охотниках» и нас держали под ружьем, потому что башибузуки наводняли горы и приходилось воевать с ними в одиночку в горных лесных трущобах, ползая по скалам, вися над пропастями. Мне это занятие было интереснее, чем сама война. Охота за башибузуками была увлекательна и напоминала рассказы Майн-Рида или Фенимора Купера. Вот это была война полная приключений, для нас более настоящая война, чем минувшая. Ходили маленькими отрядами по 5 человек, стычки с башибузуками были чуть не ежедневно. А по взглядам начальства это была какая-то полувойна. Это наши удальцы с огорчением узнали только тогда, когда нам за действительно боевые отличия прислали на пластунскую команду вместо георгиевских крестов серебряные медали на георгиевских лентах с надписью «За храбрость», с портретом государя, на что особенно обиделся наш удалой джигит Инал Асланов, седой горец, магометанин, с начала войны лихо дравшийся с турками.

На шестьдесят оставшихся в живых человек, почти за пять месяцев отчаянной боевой работы, за разгон шаек, за десятки взятых в плен и перебитых в схватках башибузуков, за наши потери ранеными и убитыми, нам прислали восемь медалей, которые мы распределили между особенно храбрыми, не имевшими еще за войну георгиевских крестов; хотя эти последние, также отличившиеся, и теперь тоже стоили наград, но они ничего не получили, во-первых, потому, что эта награда была ниже креста, а во-вторых, чтобы не обидеть совсем не награжденных товарищей. Восьмерым храбрецам даны были медали, семеро из них радовались как дети, а Инал Асланов ругательски ругался и приставал к нам:

— Пачему тэбэ дали крест с джигитом на коне, а мэнэ миндал с царским мордам? — очень обижался старик.

3 сентября нас уволили, а 5 сентября я был в городе Поти, откуда на пароходе выехал в Россию через Таганрог.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

АКТЕРСТВО

Таганрог. Дома у отца. Письмо Далматова. Пензенский театр. В. А. Сологуб. Бенефис и визиты. Мейерхольд. Оскорбление жандарма. В вагоне с быками. М. И. Свободина и Далматов. Сезон в Пензе. «Особые приметы». Л. И. Горсткин. Как ставить «Гамлета».

В Таганроге прямо с пристани я попал на спектакль, в уборную М. П. Яковлева, знаменитого трагика, с которым встречался в Москве. Здесь познакомился с его сыном Сашей, и потом много лет спустя эта наша встреча ему пригодилась.

Когда я занимал уже хорошее положение в московской печати, ко мне зашел Саша Яковлев в какую-то тяжелую для него минуту жизни. Я не помню уже, что именно с ним случилось, но знаю, что положение его было далеко не из важных. Я обрадовался ему, он у меня прожил несколько дней и в тот же сезон служил у Корша, где вскоре стал премьером и имел огромный успех. Не помню его судьбу дальше, уж очень много разных встреч и впечатлений было у меня, а если я его вспомнил, так это потому, что после войны это была первая встреча за кулисами, где мне тут же и предложили остаться в труппе, но я отговорился желанием повидаться с отцом и отправился в Вологду, и по пути заехал в Воронеж, где в театре Матковского служила Гаевская.

Явился домой ровно в полночь к великой радости отца, которому в числе гостинцев я привез в подарок лучшего турецкого табаку, добытого мною в Кабулетах. От отца я получил в подарок дедовскую серебряную табакерку.

— Береги, она счастливая! — сказал мне отец.

Недолго я пробыл дома. Вскоре получил письмо от Далматова из Пензы, помеченное 5 октября 1878 года, которое храню и до сих пор. Он пишет:

«Мне говорили, что Вы уже получили отставку, если это так, то приезжайте ко мне трудиться... Я думаю, что отец доволен Вашим поступком — он заслуживает признательности и похвалы. Что касается до меня, то в случае неустойки я к Вашим услугам. Хотя я и вновь обзавелся семейством, но это нисколько не мешает мне не забывать старых товарищей».

И вот я в Пензе. С вокзала в театр я приехал на «удобке». Это специально пензенский экипаж вроде извозчичьей пролетки без рессор, с продольным толстым брусом, отделявшим ноги одного пассажира от другого. На пензенских грязных и гористых улицах всякий другой экипаж поломался бы, — но почему его назвали «удобка» — не знаю. Разве потому, что на брус садился, скорчившись в три погибели, третий пассажир?

В 9 утра я подъехал к театру. Это старинный барский дом на Троицкой улице, принадлежавший старому барину в полном смысле этого слова, Льву Ивановичу Горсткину, жившему со своей семьей в половине дома, выходившей в сад, а театр выходил на улицу, и выходили на улицу огромные окна квартиры Далматова, состоящей из роскошного кабинета и спальни. Высокий кабинет с лепными работами и росписью на потолке. Старинная мебель... Посредине этой огромной комнаты большой круглый стол красного дерева, заваленный пьесами, афишами, газетами. Над ним, как раз над серединой, висела толстая бронзовая цепь, оканчивавшаяся огромным крюком, на высоте не больше полутора аршин над столом. Наверно, здесь была люстра когда-то, а теперь на крюке висела запыленная турецкая феска, которую я послал Далматову с войны в ответ на его посылку с гостинцами, полученную мной в отряде.

Дверь мне отпер старый-престарый, с облезлыми рыжими волосами и такими же усами отставной солдат, сторож Григорьич, который, увидя меня в бурке, черкеске и папахе, вытянулся по-военному и провел в кабинет, где Далматов — он жил в это время один — пил чай и разбирался в бумагах. Чисто выбритый, надушенный, в дорогом халате, он вскочил, бросился ко мне целоваться...

Григорьич поставил на стол к кипящему самовару прибор и — сам догадался — выставил из шкафа графин с коньяком.

После чаю с разговорами Далматов усадил меня за письменный стол, и началось составление афиши на воскресенье. Идут «Разбойники» Шиллера. Карл — Далматов.

— А вы сыграете Швейцера (тогда мы еще были на «вы»).

И против Швейцера пишет: «Гиляровский».

Я протестую и прошу поставить мой старый рязанский псевдоним — Луганский.

— Нет, надо позвучнее! — говорит Далматов и указывает пальцем на лежащую на столе книжку: «Тарантас», соч. гр. В. А. Сологуба.

И зачеркнув мою фамилию, молча пишет: «Швейцер — Сологуб».

— Как хорошо! И тоже В. А.! Великолепно, за графа принимать будут.

Так этот псевдоним и остался на много лет, хотя за графа меня никто не принимал. Я служил под ним и в Пензе, и на другое лето у Кузнецова в Воронеже, где играл с М. Н. Ермоловой и О. А. Правдиным, приезжавшими на гастроли. Уже через много лет, при встрече в Москве, когда я уже и сцену давно бросил, О. А. Правдин, к великому удивлению окружающих, при первой московской встрече, назвал меня по-старому Сологубом и в доказательство вынул из бумажника визитную карточку «В. А. Сологуб» с графской короной, причем эта корона и заглавные буквы были сделаны самым бесцензурным манером. Этих карточек целую пачку нарисовал мне в Воронеже, литографировал и подарил служивший тогда со мной актер Вязовский. Одна из них попала к Прав-

дину, и даже во время немецкой войны как-то при встрече он сказал мне:

— А твою карточку, Сологуб, до сего времени храню!

И так я стал Сологубом и в воскресенье играл Швейцера. Труппа была дружная, все милые, милые люди. Далматов так и носился со мной. Хотя я нанял квартирку в две комнатки недалеко от театра, даже потом завел двух собак, щенками подобранных на улице, Дуньку и Зулуса, а с Далматовым не расставался и зачастую ночевал у него. Посредине сцены я устроил себе для развлечения трапецию, которая поднималась только во время спектакля, а остальное время болталась над сценой, и я поминутно давал на ней акробатические представления, часто мешая репетировать, — и никто не смел мне замечание сделать — может быть, потому, что я за сезон набил такую мускулатуру, что подступиться было рискованно.

Я пользовался общей любовью и, конечно, никогда ни с кем не ссорился, кроме единственного случая за все время, когда одного франта резонера, пытавшегося совратить с пути молоденькую актрису, я отвел в сторону и прочитал ему такую нотацию, с некоторым обещанием, что на другой день он не явился в театр, послал отказ и уехал из Пензы...

Играл я вторые роли, играл все, что дают, добросовестно исполнял их и был, кроме того, помощником режиссера. Пьесы ставились наскоро, с двух, редко с трех репетиций, иногда считая в это число и считку. В неделю приходилось разучивать две, а то и три роли.

Жилось спокойно и весело, а после войны и моей бродяжной жизни я жил роскошно, как никогда до того времени не жил.

Вспоминается мне мой бенефис. Выпустил Далматов за неделю анонс о моем бенефисе, преподнес мне пачку роскошно напечатанных маленьких программ, что делалось тогда редко, и предложил, по обычаю местному, объехать меценатов и пригласить всех, начиная с губернатора, у которого я по поручению Далматова уже режиссировал домашний спектакль.

И вот, после анонса, дней за пять до бенефиса, облек-

ся я, сняв черкеску, в черную пару, нанял лучшего лихача, единственного на всю Пензу, Ивана Никитина, и с программами и книжкой билетов, уже не в «удобке», а в коляске, отправился скрепя сердце первым делом к губернатору. Тут мне посчастливилось в подъезде встретить Лидию Арсеньевну...

Губернатором был А. А. Татищев, штатский генерал, огромный, толстый, с лошадиной физиономией, что еще увеличивало его важность. Его жена была важнейшая губернаторша, но у них жила и подруга ее по Смольному, Лидия Арсеньевна, которая в делах управления губернией была выше губернаторши, да чуть ли не самого губернатора.

Встретив ее, выходившую на прогулку, я ей дал программу с просьбой пожаловать на бенефис и спросил, могу ли видеть Александра Александровича.

— Он в канцелярии. Не стоит вам беспокоиться, я скажу, что были и приглашали нас... Обязательно будем...

И действительно были в своей бесплатной губернаторской ложе и прислали в день бенефиса в кассу на мое имя конверт с губернаторской визитной карточкой и приложением новой четвертной за ложу.

Окрыленный еду на Московскую улицу, в магазин купца Варенцова, содержателя, кроме того, лучшей гостиницы, где я часто играл на бильярде.

Сухо меня встретил купчина, но обещал быть, а билет не взял. Тоже и соседний магазинщик Будылин. Еду к богатому портному Корабельщикову, которому еще не уплатил за сюртук.

— Ладно. Спрошу жену... Пожалуй, оставьте ложу в счет долга...

Это меня обидело. Я вышел, сел на Ивана Никитина, поехал завтракать в ресторан Кошелева. Отпустил лихача и вошел. В зале встречаю нашего буфетчика Румеля, рассказываю ему о бенефисе, и он прямо тащит меня к своему столу, за которым сидит высокий, могучий человек с большой русой бородой: фигура такая, что прямо нормандского викинга пиши.

— Мейерхольд. Сологуб, Владимир Алексеевич, наш артист, — познакомил нас Румель.

Мейерхольд заулыбался:

— Очень, очень рад. Будем завтракать.

И сразу налил всем по большой рюмке водки из бутылки, на которой было написано: «Углевка», завода Э. Ф. Мейерхольд, Пенза».

Ах, и водка была хороша! Такой, как «Углевка», никогда я нигде не пил — ни у Смирнова Петра, ни у вдовы Поповой, хотя ее «вдовья слеза», как Москва называла эту водку, была лучше смирновской.

«Углевка» и «удобка» — два специально местные пензенские слова, нигде больше мной не слыханные, — незабвенны!

За завтрак Мейерхольд мне не позволил заплатить.

— За этим столом платить не полагается, вы — мой гость.

И неловко мне после этого было предложить ему билет, да Румель выручил, рассказав о бенефисе.

— Пожалуйста, мне ложу... бельэтаж. Поближе к сцене...

Я вынул еще непочатую книжку билетов, отрезал 1-й номер бельэтажа, рядом с губернаторской ложей, и вручил:

— Почин. Только первый билет.

— О, у меня рука легкая, — и вынул из бумажника двадцатипятирублевку.

Я позвал полового, и посылаю его разменять деньги.

— Нет... Нет... Никакой сдачи. У нас по-русски говорят: почин сдачи не дает. На счастье!.. — И взяв у полового деньги, свернул их и положил передо мной.

— Спасибо. Теперь я больше ни к кому не поеду.

— Зачем так?

— Ни-за что не поеду. Будь, что будет!

— Вот дайте мне несколько афиш, я их всем знакомым раздам... Все придут.

Я дал ему пачку программ и распрощался. Вышел на подъезд, и вдруг выходят из магазина два красавца-татарина, братья Кулахметьевы, парфюмеры, мои знакомые по театру. Поздоровались. Рассказываю о бенефисе.

— Будем, все будем, — говорит старший, а младший его перебивает:

— Поедем к нам обедать.

А у тротуара санки стоят. Младший что-то сказал кучеру-татарину, тот соскочил и вожжи передал хозяину.

— Садись с братом, я вас прокачу.

И через несколько минут бешеной езды рысак примчал нас в загородный дом Кулахметьевых, с огромным садом. Тут же помещались их парфюмерная фабрика и мыловаренный завод.

Обстановка квартиры роскошная, европейская. Сервировка тоже, стол прекрасный, вина от Леве. Обедали мы по-холостому. Семья обедает раньше. Особенно мне понравились пельмени.

— Из молодого жеребеночка! — сказал старший брат и пояснил: — Жеребятинка замораживается, строгается ножом, лучку, перчику, соли, а сырые пельмени опять замораживаются, и мороженые — в кипяток.

С нами был еще молодой татарин Ибрагим Баишев, тоже театрал, и был еще главный управляющий фабрикой и парфюмер француз Рошет...

Все купили билеты: две ложи бельэтажа — Кулахметьевы — Рошета пригласили к себе в ложу — и Баишев билет первого ряда. Еще 50 рублей в кармане! Я победителем приехал к Далматову. Рассказал все и отдал книгу билетов.

— Никуда не поеду, ну их всех к дьяволу!

Сбор у меня был хороший и без этого. Это единственный раз я «ездил с бенефисом». Было это на второй год моей службы у Далматова, в первый год я бенефиса не имел. В последующие годы все бенефицианты по моему примеру ездили с визитом к Мейерхольду, и он никогда не отказывался, брал ложу, крупно платил и сделался меценатом.

* * *

Окончив благополучно сезон, мы поехали втроем: Далматов и Свободина в купе первого класса, а я один в третьем, без всякого багажа, потому что единственный чемодан пошел вместе с далматовским багажом. На станции Муравьево, когда уже начало темнеть, я забежал в буфет выпить пива и не слыхал третьего звонка. Гляжу, поезд пошел. Я мчусь по платформе, чтобы до-

гнать последний вагон, уже довольно быстро двигающийся, как чувствую, что меня в то самое время, когда я уже протянул руку, чтобы схватиться за стойку и прыгнуть на площадку, кто-то схватывает, облапив сзади.

Момент, поезд недосягаем, а передо мной огромный жандарм читает мне нравоучение.

Представьте себе мою досаду: мои уехали — я один! Первое, что я сделал, не раздумывая, с почерку — это хватил кулаком жандарма по физиономии и он загремел на рельсы с высокой платформы... Второе, сообразив мгновенно, что это пахнет бедой серьезной, я спрыгнул и бросился бежать поперек путей, желая проскочить под товарным поездом, пропускавшим наш пассажирский...

Слышу гвалт, шум и вопли около жандарма, которого поднимают сторожа. Один с фонарем. Я переползаю под вагоном на противоположную сторону, взглядываю наверх и вижу, что надо мной вагон с быками, боковые двери которого заложены брусьями. Моментально, пользуясь темнотой, проползаю между брусьями в вагон, пробираюсь между быков — их оказалось в вагоне только пять — в задний угол вагона, забираю у них сено, снимаю пальто, посыпаю на него сено и, так замаскировавшись, ложусь на пол в углу...

Тихо. Быки постукивают копытами и жуют жвачку... Я прислушиваюсь. На станции беготня... Шум... То стихает... То опять... Раздается звонок... Мимо по платформе пробегают люди... Свисток паровоза... длинный... с перерывами... Грохот железа... Рвануло вагон раз... два... и колеса захлопали по стрелкам... Я успокоился и сразу заснул. Проснулся от какой-то тишины... Светает... Соображаю, где я... Красные калмыцкие быки... Огромные, рогастые... Поезд стоит. Я встаю, оправляюсь. Вешаю на спину быка пальто и шляпой чищу его... Потом надеваю... выглядываю из вагона... Заря алеет. Скоро солнышко взойдет... Вижу кругом нескончаемые ряды вагонов, значит большая станция... Ощупываю карманы — все цело: и бумажник и кошелек... Еще раз выглядываю — ни души... Отодвигаю один запор и приготовляюсь прыгнуть, как вдруг над самым ухом свистит па-

ровоз... Я вздрогнул, но все-таки спрыгнул на песок, и мой поезд загремел цепями, захлопал буферами и двинулся.

Пробираюсь под вагонами, и передо мною длиннейшая платформа. Ряжск! Как раз здесь пересадка на Пензу... Гордо иду в зал первого класса и прямо к буфету — жажда страшная. Пью пиво и ем бутерброды. У буфета никого... Наконец, появляются носильщики. Будят пассажиров... И вижу в другом конце зала поднимающуюся из-за стенки дивана фигуру Далматова... Лечу! Мария Ивановна, откинувшись к стенке, только просыпается... Я подхожу к ним... У обоих — глаза круглые от удивления.

— Сологуб! — оба сразу.

— Я самолично.

— А я хотел телеграмму дать в поезд. Думал, не случилось ли что... Или, может быть, проспал... Все искали... Ведь мы здесь с 12 часов. Через час еще наш поезд.

— А я отговорила дать телеграмму, — сказала Свободина, и я ее поблагодарил за свое спасение.

* * *

В этот сезон 1879/80 года репертуар был самый разнообразный,— иногда по две, а то и по три пьесы новых ставили в неделю. Работы масса, учили роли иногда и днем и ночью. Играть приходилось все. Раз вышел такой случай: идет «Гроза»; уж 8 часов; все одеты, а старухи Онихимовской — играет сумасшедшую барыню — нет и нет! Начали спектакль; думали, приедет. В конце первого акта приходит посланный и передает письмо от мужа Онихимовской, который сообщает, что жена лежит вся в жару и встать не может. Единственная надежда — вторая старуха Яковлева. Посылаем — дома нет, и где она — не знают. Далматов бесится... Спектакль продолжается. Послали за любительницей Рудольф.

Я иду в костюмерную, добываю костюм; парикмахер Шишков приносит седой парик, я потихоньку гримируюсь, запершись у себя в уборной, и слышу, как рядом со мной бесится Далматов и все справляется о Рудольф.

Акт кончается, я вхожу в уборную Далматова, где застаю М. И. Свободину и актера Виноградского.

Вхожу, стучу костылем и говорю:

— Все в огне гореть будете неугасимом!..

Ошалели все трое, да как прыснут со смеху...

А Далматов, нахохотавшись, сделал серьезное лицо и запер уборную.

— Тише. А то узнают тебя — ведь на сцене расхохочутся... Сиди здесь да молчи.

С этого дня мы перешли с ним на «ты».

Он вышел и говорит выпускающему Макарову и кому-то из актеров:

— Рудольф приехала! У меня в уборной одевается.

Как бы то ни было, а сумасшедшую барыню я сыграл, и многие за кулисами, пока я не вышел со сцены, не выпрямился и не заговорил своим голосом, даже и внимания не обратили, а публика так и не узнала. Уже после похохотали все.

Сезон был веселый. Далматов и Свободина пользовались огромным успехом. Пенза видала Далматова во всевозможных ролях, и так как в репертуар входила оперетка, то он играл и губернатора в «Птичках певчих» и Мурзука в «Жирофле-Жирофля», в моем арабском плаще, который я подарил ему. Видела Далматова Пенза и в «Агасфере», в жесточайшей трагедии Висковатова «Казнь безбожному», состоявшей из 27 картин. Шла она в бенефис актера Конакова, и для любимого старика в ней участвовали все первые персонажи от Свободиной-Барышевой до опереточной примадонны Раичевой включительно. Трехаршинная афиша красными и синими буквами сделала полный сбор, тем более, что на ней значились всевозможные ужасы, и заканчивалась эта афиша так: «Картина 27 и последняя: Страшный суд и Воскресение мертвых. В заключение всей труппой будет исполнен «камаринский». И воскресшие плясали, а с ними и суфлер Модестов, вылезший с книгой и со свечкой из будки.

Бенефисы Далматова и Свободиной-Барышевой собирали всю аристократию, и ложи бенуара блистали бриллиантами и черными парами, а бельэтаж — форменными платьями и мундирами учащейся молодежи. Ин-

ститутоκ и гимназисток приводили только на эти бенефисы, но раз вышло кое-что неладное. В бенефис Далматова шел «Обрыв» Гончарова. Страстная сцена между Марком Волоховым и Верой, исполненная прекрасно Далматовым и Свободиной, кончается тем, что Волохов уносит Веру в лес... Вдруг страшенный пьяный бас грянул с галерки:

— Так ее!.. — и загоготал на весь театр.

Все взоры на галерку, и кто-то крикнул, узнав по голосу:

— Да это отец протодьякон!

Аплодисменты... Свистки... Гвалт...

А протодьякон, любитель театра, подбиравший обыкновенно для спектакля волосы в воротник, был полицией выведен и, кажется, был «взыскан за мракобесие».

* * *

Сезон 1879/80 года закончился блестяще; актеры заработали хорошо, и вся труппа на следующую зиму осталась у Далматова почти в полном составе: никому не хотелось уезжать из гостеприимной Пензы.

Пенза явилась опять повторным кругом моей жизни. Я бросил трактирную жизнь и дурачества, вроде подвешивания квартального на крюк, где была люстра когда-то, что описано со слов Далматова у Амфитеатрова в его воспоминаниях, и стал бывать в семейных домах, где собиралась славная учащаяся молодежь.

Часть труппы разъехалась на лето, нас осталось немного. Лето играли кое-как товариществом в Пензенском ботаническом казенном саду, прекрасно поставленном ученым садоводом Баумом, который умер несколько лет назад. Семья Баума была одной из театральных пензенских семей. Две дочери Баум выступали с успехом на пензенской сцене. Одна из них умерла, а другая окончательно перешла на сцену и стала известной в свое время инженю Дубровиной. Она уже в год окончания гимназии удачно дебютировала в роли слепой в «Двух сиротках». Особенно часто я бывал в семье у Баум. В первый раз я попал к ним, провожая после спектакля нашу артистку Баум-Дубровину и ее неразлучную подругу —

гимназистку М. И. М — ну, дававшую уроки дочери М. И. Свободиной, и был приглашен зайти на чай. С той поры свободные вечера я часто проводил у них и окончательно бросил мой гулевой порядок жизни и даже ударился в лирику, вместо моих прежних разудалых бурлацких песен. Десятилетняя сестра нашей артистки, Маруся, моя внимательная слушательница, сказала как-то мне за чаем:

— Знаете, Сологуб, вы — талант!

— Спасибо, Маруся.

— Да, талант... только не на сцене... Вы — поэт.

Это меня тогда немного обидело, — я мнил себя актером, а после вспомнил и теперь с удовольствием вспоминаю эти слова...

Другая театральная семья — это была семья Горсткиных, но там были более серьезные беседы, даже скорее какие-то учено-театральные заседания. Происходили они в полухудожественном, в полумасонском кабинете-библиотеке владельца дома, Льва Ивановича Горсткина, высокообразованного старика, долго жившего за границей, знакомого с Герценом, Огаревым, о которых он любил вспоминать, и увлекавшегося в юности масонством. Под старость он был небогат и существовал только арендой за театр.

Вот у него-то в кабинете, заставленном шкафами книг и выходившем окнами и балконом в сад над речкой Пензяткой, и бывали время от времени заседания. На них присутствовали из актеров: Свободина, Далматов, молодой Градов, бывший харьковский студент, и я.

Горсткин заранее назначал нам день и намечал предмет беседы, выбирая темой какой-нибудь прошедший или готовящийся спектакль, и предлагал нам пользоваться его старинной библиотекой. Для новых изданий я был записан в библиотеке Умнова.

* * *

Одна из серьезных бесед началась анекдотом. Служил у нас первым любовником некоторое время актер Белов и потребовал, чтобы Далматов разрешил ему сыграть в свой бенефис Гамлета. Далматов разрешил. Бе-

лов сыграл скверно, но сбор сорвал. Настоящая фамилия Белова была Бочарников. Он крестьянин Тамбовской губернии, малограмотный. С ним я путешествовал пешком из Моршанска в Кирсанов в труппе Григорьева.

После бенефиса вышел срок его паспорта, и он принес старый паспорт Далматову, чтобы переслать в волость с приложением трех рублей на новый «плакат», выдававшийся на год. Далматов поручил это мне. Читаю паспорт и вижу, что в рубрике «особые приметы» ничего нет. Я пишу: «Скверно играет Гамлета» — и посылаю паспорт денежным письмом в волость.

Через несколько дней паспорт возвращается. Труппа вся на сцене. Я выделываю, по обыкновению, разные штуки на трапеции. Белову подают письмо. Он распечатывает, читает, потом вскакивает и орет дико:

— Подлецы! Подлецы!

И бросается к Далматову:

— Василий Пантелеймонович! Вы посылали мой паспорт?

— Сологуб посылал.

Я чувствую, что будет дело, соскакиваю с трапеции и становлюсь в грозную позу.

Белов ко мне, но остановился... Глядит на меня, да как заплачет... Уж насилу я его успокоил, дав слово, что этого никто не узнает... Но узнали все-таки помимо меня: зачем-то понадобился паспорт в контору театра, и там прочли, а потом узнал Далматов и все: против «особых примет» надпись на новом паспорте была повторена: «Скверно играет Гамлета».

Причем «Гамлета» написано через ять!

Вот на этом спектакле Горсткин пригласил нас на следующую субботу — по субботам спектаклей не было — поговорить о Гамлете. Горсткин прочел нам целое исследование о Гамлете; говорил много Далматов, Градов, и еще был выслушан один карандашный набросок, который озадачил присутствующих и на который после споров и разговоров Лев Иванович положил резолюцию:

«Оригинально, но великого Шекспира уродовать нельзя... А все-таки это хорошо».

А Далматов увлекся им. Привожу его целиком:

— Мне хочется разойтись с Шекспиром, который так

много дал из английского быта. А уж как ставят у нас — позор. Я помню, в чьем-то переводе вставлены, кажется неправильно по Шекспиру, строки, но, по-моему, это именно то, что надо:

В белых перьях, статный воин,
Первый в Дании боец...

Иначе я Гамлета не представляю. Недурно он дрался на мечах, не на рапирах, нет, а на мечах. Ловко приколол Полония. Это боец. И кругом не те придворные шаркуны из танцзала!.. Все окружающие Гамлета, все — это:

Ряд норманнов удалых,
Как в масках, в шлемах пудовых,
С своей тяжелой алебардой.

Такие же, как и Гамлет.

И Розенкранц с Гильденштерном, неумело берущие от Гамлета грубыми ручищами флейту, конечно, не умеют на ней играть. И у королевы короткое платье и грубые ноги, а на голове корона, которую привезли из какого-то набега предки и по ее образцу выковали дома из полпуда золота такую же для короля. И Гамлет, и Гораций, и стража в первом акте в волчьих и медвежьих мехах сверх лат... У короля великолепный, грабленный где-то, может быть, византийский или римский трон, привезенный удальцами вместе с короной... Пятном он стоит в королевской зале, потому что эта зала не короля, и король не король, а викинг, атаман пиратов. В зале кроме очага — ни куска камня. Все постройки из потемневшего векового дуба, грубо, на веки сколоченные. Приемная зала, где трон, — потолок с толстыми матицами, подпертыми разными бревнами, мебель — дубовые скамьи и неподъемно толстые табуреты дубовые.

Оленя ранили стрелой...

И наши Гамлеты таращатся чуть не на венский стул в своих туфельках и трико и бросают эту героическую фразу:

Оленя ранили стрелой...

Мой Гамлет в лосиновых сапожищах и в тюленьей, шерстью вверх, куртке, с размаху, безотчетным порывом

прыгает тигром на табурет дубовый, который не опрокинешь, и в тон этого прыжка гремят слова зверски-злорадно, вслед удирающему королю в пурпурной, тоже ограбленной где-то мантии, — слова:

Оленя ранили стрелой...

Никаких трико. Никаких туфель. Никаких шпор. На корабле шпоры не носят!

Меч с длинной, крестом, рукоятью, чтобы обеими руками рубануть. Алебарды — эти морские топоры, при абордаже рубящие и канаты и человека с головы до пояса... Обеими руками... В свалке не до фехтования. Только руби... А для этого мечи и тяжелые алебарды для двух рук.

...Как в масках, в шлемах пудовых.

А у молодых из-под них кудри, как лен светлые. Север. И во всем север, дикий север дикого серого моря. Я удивляюсь, почему у Шекспира при короле не было шута? Ведь был же шут — «бедный Иорик». Нужен и живой такой же Иорик. Может быть и арапчик, вывезенный из дальних стран вместе с добычей, и обезьяна в клетке. Опять флейта? Дудка, а не флейта! Дудками и барабанами встречают Фортинбрасса.

Все это львы да леопарды,
Орлы, медведи, ястреба...

...а не шаркуны придворные, танцующие менуэт вокруг мечтателя, неврастеника и кисейной барышни Офелии, как раз ему «под кадрель». Нет, это —

Первый в Дании боец!

Удалой и лукавый, разбойник морской, как все остальные окружающие, начиная с короля и кончая могильщиком.

Единственно «светлый луч в зверином мраке» — Офелия — чистая душа, не выдержавшая ужаса окружающего ее, когда открылись ее глаза. Всю дикую мерзость придворных интриг и преступлений дал Шекспир, а мы изобразили изящный королевский двор — лоск изобразили мы! Изобразить надо все эти мерзости в стиле по-

лудикого варварства, хитрость хищного зверя в каждом лице, грубую ложь и дикую силу, среди которых затравливаемый зверь — Гамлет, «первый в Дании боец», полный благородных порывов, борется притворством и хитростью с таким же орудием врага, обычным тогда орудием войны удалых северян, где сила и хитрость — оружие...

А у нас — неврастеник в трусиках! И это:

Первый в Дании боец!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В МОСКВЕ

Театр А. А. Бренко. Встреча в Кремле. Пушкинский театр в парке. Тургенев в театре. А. Н. Островский и Бурлак. Московские литераторы. Мое первое стихотворение в «Будильнике». Как оно написано. Скворцовы номера. Гимнастическое общество.

В Москве артистка Малого театра А. А. Бренко, жена известного присяжного поверенного и лучшего в то время музыкального критика, работавшего в «Русских ведомостях», О. Я. Левенсона, открыла в помещении Солодовниковского пассажа первый русский частный театр в Москве.

До того времени столица в отношении театров жила по регламенту Екатерины II, запрещавшему, во избежание конкуренции императорским театрам, на всех других сценах «пляски, пение, представление комедиантов и скоморохов».

А. А. Бренко выхлопотала после долгих трудов первый частный театр в Москве, благодаря содействию графа И. И. Воронцова-Дашкова, который, поздравляя г-жу Бренко с разрешением, сказал ей:

— История русского театра и нам с вами отведет одну страничку.

Может быть, в будущем, а пока что-то мало писали об этом крупнейшем факте театральной русской истории.

А. А. Бренко ставила в Солодовниковском театре пьесы целиком и в костюмах, называя все-таки на афише: «сцены из пьес». Театр ломился от публики.

Труппа была до того в Москве невиданная. П. А. Стрепетова получала 500 руб. за выход, М. И. Писарев — 900 руб. в месяц, Понизовский, Немирова-Ральф, Рыбчинская, Глама-Мещерская, Градов-Соколов и пр. Потом Бурлак. Он попал случайно.

Градов-Соколов в какой-то пьесе «обыграл» Писарева. Последний обозлился и предложил Бренко выписать Андреева-Бурлака, о котором уже шла слава.

— С Градовым играть не могу. Это балаган какой-то. Не могу, — возмущался Писарев выходками актера.

С огромным успехом дебютировал Бурлак в Москве и сразу занял первое место на сцене.

* * *

Закончив пензенский сезон 1880/81 года, я приехал в конце поста в Москву для ангажемента. В пасхальную заутреню я в первый раз отправился в Кремль. Пробился к соборам... Народ заполнил площадь...

Все ждут, когда колокола
Могуче грянут за Иваном
Безлунной полночью в ответ,
И засверкают над туманом
Колосья гаснущих ракет.

Тюкнули первой трелью перед боем часы на Спасской башне, и в тот же миг заглохли под могучим ударом Ивановского колокола... Все в Кремле гудело — и медь, и воздух, и ухали пушки с Тайницкой башни, и змейками бежали по стенам и куполам живые огоньки пороховых ниток, зажигая плошки и стаканчики. Мерцающие огоньки их озаряли клубящиеся дымки, а над ними хлопали, взрывались и рассыпались колосья гаснущих ракет... На темном фоне Москвы сверкали всеми цветами церкви и колокольни от бенгальских огней, и, казалось, двигались от их живого, огненного дыма... Пропадали во мраке и снова, освещенные новой вспышкой, вырастали, и сверкали, и колыхались...

Я стоял у крыльца Архангельского собора; я знал, что там собираются в этот час знаменитости московской сцены и некоторые писатели. Им нет места в Успенском соборе, туда входят только одетые в парадные мундиры высших рангов власти предержащие...

Но и те из заслуженных артистов, которые бы имели право и даже по рангу обязаны были бы быть в Успенском, все-таки никогда не меняли этих стоптанных каменных плит вековечного крыльца на огни и золото парада.

Самарин, Шумский, Садовский, Горбунов, всегда приезжающие на эту ночь из Петербурга, а посредине их А. Н. Островский и Н. А. Чаев... Дальше, отдельной группой, художники — Маковский, Неврев, Суриков и Пукирев, головой всех выше певец Хохлов в своей обычной позе Демона со скрещенными на груди руками... Со многими я был еще знаком с Артистического кружка, но сознавал, что здесь мне еще очень рано занимать место близко к светилам... Я издали любовался этим созвездием. Вдруг вижу, ковыляет серединой площади старый приятель Андреев-Бурлак с молодой красивой дамой под руку. Это была А. А. Бренко. Познакомились.

* * *

И вот я служу у А. А. Бренко. Бурлак — режиссер и полный властитель, несмотря на свою любовь к выпивке, умел вести театр и был, когда надо для пользы дела, ловким дипломатом.

Понадобилась новая пьеса. Бренко обратилась к А. А. Потехину, который и дал ей «Выгодное предприятие», но с тем, чтобы его дочь, артистка-любительница, была взята на сцену. Условие было принято, г-же Потехиной дали роль Аксюши в «Лесе», которая у нее шла очень плохо, чему способствовала и ее картавость. После Аксюши начали воздерживаться давать роли Потехиной, а она все требовала — и непременно героинь.

А. А. Потехин пожаловался А. Н. Островскому и попросил его повлиять на Бренко. А. Н. Островский посылает письмо и просит А. А. Бренко приехать к нему.

Догадываясь, в чем дело, Анна Алексеевна посылает

Бурлака. Тот приезжает. Островский встречает его сухо.

— Э... Э... Что это... дочь почтенного драматурга обходите? Потрудитесь ей давать роли.

— Мы ей даем, Александр Николаевич, — отвечает Бурлак.

— Что даете? Героинь давайте...

— Вот и на днях ей роль готовим дать... «Грозу» вашу ставим, так ей постановили дать Катерину.

— Катерину? Кому? Потехиной? Нет, уж вы от этого избавьте. Кому хотите, да не ей. Ведь она 36 букв русской азбуки не выговаривает!

Бурлак хохотал, рассказывая труппе разговор с Островским.

Так отделались от Потехиной, которая впоследствии в Малом театре, перейдя на старух, сделалась прекрасной актрисой.

А. Н. Островский любил Бурлака, хотя он безбожно перевирал роли. Играли «Лес». В директорской ложе сидел Островский. Во время сцены Несчастливцева и Счастливцева, когда на реплику первого должен быть выход, — артиста опоздали выпустить. Писарев сконфузился, злился и не знает, что делать. Бурлак подбегает к нему с папироской в зубах и, хлопая его по плечу, фамильярно говорит одно слово:

— Пренебреги.

Замешательство скрыто, публика ничего не замечает, а Островский после спектакля потребовал в ложу пьесу и вставил в сцену слово «пренебреги».

А Бурлаку сказал:

— Хорошо вы играете «Лес». Только это «Лес» не мой. Я этого не писал... А хорошо!

В присутствии А. Н. Островского, в гостиной А. А. Бренко, В. Н. Бурлак прочел как-то рассказ Мармеладова. Впечатление произвел огромное, но наотрез отказался читать его со сцены.

— Боюсь, прямо боюсь, — объяснил он свой отказ.

Наконец, бенефис Бурлака. А. А. Бренко без его ведома поставила в афише: «В. Н. Андреев-Бурлак прочтет рассказ Мармеладова» — и показала ему афишу. Вскипятился Бурлак:

— Я ухожу! К черту и бенефис и театр. Ухожу!

И вдруг опустился в кресло и, старый моряк, видавший виды, — разрыдался.

Его долго уговаривали Островский, Бренко, Писарев, Глама и другие. Наконец, он пришел в себя, согласился читать, но говорил:

— Боюсь я его читать!

Однако прочел великолепно и успех имел грандиозный. С этого бенефиса и начал читать рассказ Мармеладова.

На лето Бренко сняла у казны старый деревянный Петровский театр, много лет стоявший в забросе. Это огромное здание, похожее на Большой театр, но только без колонн, находилось на незастроенной площади парка, справа от аллеи, ведущей от шоссе, где теперь последняя станция трамвая к Мавритании. Бренко его отремонтировала, обнесла забором часть парка и устроила сад с рестораном. Вся труппа Пушкинского театра играла здесь лето 1881 года. Я поселился в театре на правах управляющего и, кроме того, играл в нескольких пьесах. Так, в «Царе Борисе» неизменно атамана Хлопку, а по болезни Валентинова — Петра в «Лесе»; Несчастливцева играл М. И. Писарев, Аркашку — Андреев-Бурлак и Аксюшу — Глама-Мещерская. Как-то я был свободен и стоял у кассы. Шел «Лес». Вдруг ко мне подлетает муж Бренко, О. Я Левенсон, и говорит:

— Сейчас войдет И. С. Тургенев, проводите его, пожалуйста, в нашу директорскую ложу.

Второй акт только что начался. В дверях показалась высокая фигура маститого писателя. С ним рядом шел красивый брюнет с седыми висками, в золотых очках. Я веду их в коридор:

— Иван Сергеевич, пожалуйте сюда, в директорскую ложу.

Он благодарит, жмет руку. Его спутник называет себя:

— Дмитриев.

Оба вошли в ложу — я в партер. А там уже шепот: «Тургенев в театре...»

В антракт Тургенев выглянул из ложи, а вся публика встала и обнажила головы. Он молча раскланялся и ис-

чез за занавеской, больше не показывался и уехал перед самым концом последнего акта незаметно. Дмитриев остался, мы пошли в сад. Пришел Андреев-Бурлак с редактором «Будильника» Н. П. Кичеевым, и мы сели ужинать вчетвером. Поговорили о спектакле, о Тургеневе, и вдруг Бурлак начал собеседникам рекомендовать меня, как ходившего в народ, как в Саратове провожали меня на войну, и вдруг обратился к Кичееву:

— Николай Петрович, а он, кроме того, поэт, возьми его под свое покровительство. У него и сейчас в кармане новые стихи; он мне сегодня читал их.

От неожиданности я растерялся.

— Не стесняйся, давай читай.

Я вынул стихи, написанные несколько дней назад, и по просьбе Кичеева прочел их.

Кичеев взял их у меня, спрятал в бумажник, сказав:

— Прекрасные стихи, напечатаем.

А Дмитриев попросил меня прочесть еще раз, очень расхвалил и дал мне свою карточку: «Андрей Михайлович Дмитриев (Барон Галкин), Б. Дмитровка, нумера Бучумова».

— Завтра я весь вечер дома, рад буду, если зайдете.

На другой день я засиделся у Дмитриева далеко за полночь. Он и его жена, Анна Михайловна, такая же прекрасная и добрая, как он сам, приняли меня приветливо... Кое-что я рассказал им из моих скитаний, взяв слово хранить это в тайне: тогда я очень боялся моего прошлого.

— Вы должны писать! Обязаны! Вы столько видели, такое богатейшее прошлое, какого ни у одного писателя не было. Пишите, а я готов помочь вам печатать. А нас навещайте почаще.

Прошла неделя со дня этой встречи. В субботу — тогда по субботам спектаклей не было — мы репетировали «Царя Бориса», так как приехал В. В. Чарский, который должен был чередоваться с М. И. Писаревым.

Вдруг вваливается Бурлак, — он только что окончил сцену с Киреевым и Борисовским.

— Пойдем-ка в буфет. Угощай коньяком. Видел?

И он мне подал завтрашний номер «Будильника», от

30 августа 1881 г., еще пахнущий свежей краской. А в нем мои стихи и подписаны «Вл. Г—ий.

Это был самый потрясающий момент в моей богатейшей приключениями и событиями жизни. Это мое торжество из торжеств. А тут еще Бурлак сказал, что Кичеев просит прислать для «Будильника» и стихов, и прозы еще. Я ликовал. И в самом деле думалось: я, еще так недавно беспаспортный бродяга, ночевавший зимой в ночлежках и летом под лодкой да в степных бурьянах, сотни раз бывший на границе той или другой погибели, и вдруг...

И нюхаю, нюхаю свежую типографскую краску, и смотрю не насмотрюсь на мои, мои ведь, напечатанные строки...

Итак, я начал с Волги, Дона и Разина.

Разина Стеньки товарищи славные
Волгой владели до моря широкого...

* * *

Стихотворение это, открывшее мне дверь в литературу, написано было так.

На углу Моховой и Воздвиженки были знаменитые в то время «Скворцовы нумера», занимавшие огромный дом, выходивший на обе улицы, и, кроме того, высокий надворный флигель, тоже состоящий из сотни номеров, более мелких. Все номера сдавались помесячно, и квартиранты жили в нем десятками лет: родились, вырастали, старились. И никогда никого добродушный хозяин старик Скворцов не выселял за неплатеж. Другой жилец чуть не год ходит без должности, а потом получит место и снова живет, снова платит. Старик Скворцов говаривал:

— Со всяким бывает. Надо человеку перевернуться дать.

В надворном флигеле жили служащие, старушки на пенсии с моськами и болонками и мелкие актеры казенных театров. В главном же доме тоже десятилетиями квартировали учителя, профессора, адвокаты, более крупные служащие и чиновники. Так, помню, там жил профессор-гинеколог Шатерников, известный детский

врач В. Ф. Томас, сотрудник «Русских ведомостей» доктор В. А. Воробьев. Тихие были номера. Жили скромно. Кто готовил на керосинке, кто брал готовые очень дешевые и очень хорошие обеды из кухни при номерах.

А многие флигельные питались чайком и закусками.

Вот в третьем этаже этого флигеля и остановилась приехавшая из Пензы молодая артистка Е. О. Дубровина-Баум в ожидании поступления на зимний сезон.

15 июля я решил отпраздновать мои именины у нее. Этот день я не был занят и сказал А. А. Бренко, что на спектакле не буду.

Закупив закусок, сластей и бутылку автандиловского розоватого кахетинского, я в 8 часов вечера был в «Скворцовых нумерах», в крошечной комнате с одним окном, где уже за только что поданным самоваром сидела Дубровина и ее подруга, начинающая артистка Бронская. Обрадовались, что я свои именины справляю у них, а когда я развязал кулек, то уж радости и конца не было. Пили, ели, наслаждались и даже по глотку вина выпили, хотя оно не понравилось.

Да, надо сказать, что я купил вино для себя. Дам вообще я никогда не угощал вином, это было моим всегдашним и неизменным правилом...

Два раза меняли самовар, и болтали, болтали без умолку. Вспоминали с Дубровиной-Баум Пензу, первый дебют, Далматова, Свободину, ее подругу М. И. М., только что кончившую 8 классов гимназии. Дубровина читала монологи из пьес и стихи, — прекрасно читала... Читал и я отрывки своей поэмы, написанной еще тогда на Волге, — «Бурлаки», и невольно с них перешел на рассказы из своей бродяжной жизни, поразив моих слушательниц, не знавших, как и никто почти, моего прошлого.

А Бронская прекрасно прочитала лермонтовское:

Тучки небесные, вечные странники...

И несколько раз задумчиво повторяла первый куплет, как только смолкал разговор...

И все трое мы повторяли почему-то:

Тучки небесные, вечные странники...

Пробило полночь... Мы сидели у открытого окна и говорили.

А меня так и преследовали «тучки небесные, вечные странники».

— Напишите стихи на память, — начали меня просить мои собеседницы.

— Вот бумага, карандаш... Пишите... А мы помолчим...

Они отошли, сели на диван и замолчали...

Я расположился на окне, но не знал, что писать, в голове лермонтовский мотив мешался с воспоминаниями о бродяжной Волге...

Тучки небесные, вечные странники... —

написал я в начале страницы.

Потом отделил это чертой и начал:

Все-то мне грезится Волга широкая...

Эти стихи были напечатаны в «Будильнике».

* * *

В Москве существовала школа гимнастики и фехтования, основанная стариком Пуаре, после него она перешла к А. И. Постникову и Т. П. Тарасову. Первый — знаменитый гимнаст и конькобежец, второй — солдат образцового учебного батальона, Тарас Тарасов, на вид вроде моего дядьки Китаева, только повыше и потолще. Это непобедимый московский боец на штыках и эспадронах.

Я случайно забрел в этот зал в то время, когда Тарасов вгонял в седьмой пот гренадерского поручика, бравшего уроки штыкового боя. Познакомился с Постниковым и О. И. Селецким, любителем фехтования. Когда Тарасов отпустил своего ученика, я предложил ему пофехтовать. Надели нагрудники, маски и заработали штыками. Тарасов, сначала неглижировавший, бился как с учеником, но получил неожиданную пару ударов, спохватился, и бой пошел вовсю и кончился, конечно, победой Тарасова, но которую он за победу и не счел,

Когда же я ему сказал, что я учился в полку у Ермилова, он сразу ожил.

— Конопатый такой? Чернявый? Федором звать. Он в Нежинском полку, на вторительную службу пошел.

— Да, у него три нашивки.

— Мы вместе в учебном полку были... Хороший боец. Ну вот теперь я понимаю, что вы такой.

Постников удивился моим гимнастическим трюкам. Я, конечно, умолчал о цирке, и хорошо сделал.

Я продолжал заходить в школу, увлекся эспадронами, на которых Тарасов сперва бил меня, как хотел.

А тем временем из маленькой школы вышло дело. О. И. Селецкий, служивший в конторе пароходства братьев Каменских, собрал нас, посетителей школы, и предложил нам подписать выработанный им устав Русского гимнастического общества.

И хорошо, что я промолчал о цирке: в уставе параграф, воспрещающий быть членом общества лицам, выступавшим за вознаграждение на аренах.

Устав разрешили. Кроме небольшой кучки нас, гимнастов и фехтовальщиков, набрали и мертвых душ, и в списке первых учредителей общества появились члены из разных знакомых Селецкого, в том числе его хозяева братья Каменские и другие разные московские купцы, в том числе еще молодые тогда дети Тимофея Саввича Морозова, Савва и Сергей, записанные только для того, чтобы они помогли деньгами на организацию дела. Обратился Селецкий к ним с просьбой дать заимообразно обществу тысячу рублей на оборудование зала. О разговоре с Саввой нам Селецкий так передавал:

— Сидим с Саввой в директорском кабинете в отцовском кресле. Посмотрел в напечатанном списке членов свою фамилию и говорит: «Очень, очень-с хорошо-с... очень-с рад-с... успеха желаю-с...». Я ему о тысяче рублей заимообразно... Как кипятком его ошпарил! Он откинулся к спинке кресла, поднял обе руки против головы, ладонями наружу, как на иконах молящихся святых изображают, закатив вверх свои калмыцкие глаза, и елейно зашептал:

— Не могу-с! И не говорите-с об этом-с. Все, что

хотите, но я принципиально дал себе слово не давать взаймы денег. Принципиально-с.

Встал и протянул мне руку. Так молча и расстались. Выхожу из кабинета в коридор, встречаю Сергея Тимофеевича, рассказываю сцену с братом. Он покачал головой и говорит:

— Сейчас я не могу... А вы заходите завтра в эти часы ко мне. Впрочем, нет, пойдемте.

Завел меня в другой кабинет, попросил подождать и тотчас же вернулся и подает увесистый конверт.

— Здесь тысяча... Желаю успеха.

Я предлагаю написать вексель или расписку.

— Ничего не надо. Делом интересуюсь... Будут в обществе деньги — и без векселя отдадите...

И Селецкий вынул из конверта десять сотенных.

Оборудовали на Страстном бульваре в доме Редлих прекрасный зал, и дело пошло. Лет через пять возвратили Сергею 500 рублей, а в 1896 году я, будучи председателем совета общества, отвез ему и остальные 500 рублей, получив в этом расписку, которая и поныне у меня.

В числе членов-учредителей был и Антон Чехов, плативший взнос и не занимавшийся. Моя первая встреча с ним была в зале; он пришел с Селецким в то время, когда мы бились с Тарасовым на эспадронах. Тут нас и познакомили. Я и внимания не обратил, с кем меня познакомил Селецкий, потом уже Чехов мне сам напомнил.

Впоследствии на наше гимнастическое общество обратила свое благосклонное внимание полиция. Начальник охранного отделения Бердяев сказал председателю общества при встрече на скачках:

— Школа гимнастов! Знаем мы, что знаем. В Риме тоже была школа Спартака... Нет, у нас это не пройдет.

Гимнастические классы тогда у нас были по вторникам, четвергам и субботам от восьми до десяти вечера. В числе помощников Постникова и Тарасова был великолепный молодой гимнаст П. И. Постников, впоследствии известный хирург. В числе учеников находились два брата Дуровы, Анатолий и Владимир. Уж отсюда они пошли в цирк и стали входить в славу с первых дней появления на арене.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

С БУРЛАКОМ НА ВОЛГЕ

Артистическое турне по Волге. Губа смеется. Обрыдла. Рискованная встреча. Завтрак у полицмейстера. Серебряная ложка. Бурлак хохочет.

Весной 1883 года Бурлак пришел ко мне и пригласил меня поступить в организованное им товарищество для летней поездки по Волге.

Это был 1883 год — вторая половина апреля. Москва почти на военном положении, обыски, аресты — готовятся к коронации Александра III, которая назначена на 14 мая. Гостиницы переполняются всевозможными приезжими, частные дома и квартиры снимаются под разные посольства и депутации.

22 апреля труппа выехала в Ярославль, где при полных сборах сыграла весь свой репертуар.

Последние два спектакля, как было и далее во всех городах, я не играл, а выехал в Кострому готовить театр.

Вот Тверицы, где я нанялся в бурлаки... Вот здесь я расстался с Костыгой... Вот тюремное здание белильного завода.

Меня провожали актеры, приветствовали платками и шляпами с берега, а я преважно с капитанского мостика отмахивался им новенькой панамой, а в голову лезло:

Белый пудель шаговит, шаговит...

Любовался чудным видом Ярославля, лучшим из видов на Волге.

Скрылся Ярославль. Пошли тальники, сакмы да ухвостья. Голова кругом идет от воспоминаний.

Всю Волгу я проехал со всеми удобствами пассажира первого класса, но почти всегда один. Труппа обыкновенно приезжала после меня, я был передовым. Кроме подготовки театра к спектаклю, в городах я делал визиты в редакцию местной газеты. Прием мне всюду был прекрасный: во-первых, все симпатизировали нашему турне, во-вторых, в редакциях встречали меня, как столичного литератора и поэта, — я в эти два года печатал массу стихотворений в целом ряде журналов и газет — «Будильник», «Осколки», «Москва», «Развлечение».

Кроме статей о нашем театре, прямо надо говорить, реклам, я давал в газеты, по просьбам редакций, стихи и наброски.

Никогда я не писал так азартно, как в это лето на пароходе. Из меня, простите за выражение, перли стихи. И ничего удивительного: еду в первый раз в жизни в первом классе по тем местам, где разбойничали и тянули лямку мои друзья Репка и Костыга, где мы с Орловым выгребали в камышах... где... Довольно.

В конце концов я рад был, что ехал один, а не с труппой.

Не проболтаешься..

Ехал и молчал, молчал как убитый.

«Нашел — молчи, украл — молчи, потерял — молчи». Этот завет я блюл строго, и только благодаря этому я теперь имею счастье писать эти строки.

Я молчал, и все мои переживания прошлого выходили в строках и успокаивали меня, вполне вознаграждая за вечное молчание.

Под шум пароходных колес, под крики чаек да под грохот бури низовой писал я и отдыхал.

Тогда на пароходе я написал кусочки моего Стеньки Разина, вылившегося потом в поэму и в драму, написал кусочки воспоминаний о бродяжной жизни, которую вы уже прочли выше. Писал и переживал.

Через борт водой холодной
Плещут беляки.
Ветер свищет, Волга стонет,
Буря нам с руки.

Да, я молчал. Десятки лет молчал.

Только два человека знали кое-что из моего прошлого... Кое-что.

Но эти люди были особые: Вася Васильев — народник, друг народовольцев, счастливо удравший вовремя. А не удалось бы ему удрать, так процесс был бы не 193, а 194-х. (Васильев — псевдоним. Его настоящая фамилия Шведевенгер. Но в паспорте — Васильев.)

Вася умел молчать как никто, конспиратор по натуре и привычке.

Другой Вася, Андреев-Бурлак, был рыцарь, рыцарь слова.

Оба знали и молчали.

* * *

А испытаний было не мало. Помню случай в Астрахани, когда мы уже закончили нашу блестящую поездку. Труппа уехала обратно в Москву, а мы с Бурлаком и Ильковым решили проехать в Баку, а потом через Кавказ домой, попутно устраивая дивертисменты.

Андреев-Бурлак читал «Записки сумасшедшего», «Рассказ Мармеладова» и свои сочинения, Ильков — сцены из народного быта, а я — стихи.

Три дня прогуляли мы в Астрахани, а потом были в Баку, Тифлисе, Владикавказе, хорошо заработали, а деньги привез домой только скупердяй Ильков.

Проводив своих, я и Бурлак в Астрахани загуляли вовсю. Между прочим, подружились с крупным купцом Мочаловым, у которого были свои рыбные промыслы.

С тем самым Мочаловым, у которого десять лет тому назад околачивался на ватагах Орлов, а потом он...

А мы у него в притоне, где я прожил пять дней и откуда бежал, обжирались до отвала мочаловской икрой.

Об этом и кое-каких других астраханских похождениях, конечно и об Орлове, я рассказывал в минуты откровенности Бурлаку. Рассказал ему подробно, как пили водку и жрали мочаловскую икру.

— Чего икру не жрешь? — спрашиваю Орлова.

— Обрыдла. Вобла ужовистее.

Я рассказал этот случай. Уж очень слова интересные. Бурлак даже записал их в книжку и в рассказ вставил. Но дело не в том.

На другой день после этого рассказа заявился к нам утром Мочалов и предложил поехать на ватагу.

— Юшки похлебать да стерляжьей жарехи почавкать.

На крошечном собственном пароходике мы добрались до его промысла. Первым делом из садка вытащили огромнейшего икряного осетра, при нас же его взрезали, целую гору икры бросили на грохотку, протерли и подали нам в медном луженом ведре, для закуски к водке, пока уху из стерлядей варили да на угольях жареху стерляжью на вертелах, как шашлык, из аршинных стерлядей готовили.

Мочалов наложил нам по полной тарелке серой ароматной икры, подал подогретый калач и столовые ложки. Выпиваем. Икру я и Бурлак едим, как кашу.

— И тогда также ложками хлебали? — спросил меня Бурлак, улыбаясь во всю губу.

— Только деревянными! — ответил я.

Пьем, чокаемся, а Мочалов, глядим, икры не ест, а ободрал воблу, предварительно помолотив ее о сапог, рвет пальцами и запихивает жирное волокно в рот.

— Что же ты икру? — спрашивает Бурлак.

— Обрыдла! Я только воблу... Гляди какая. Подледная!

— Так обрыдла, говоришь?

Долго хохотали мы после.

А был случай, когда Бурлак до упаду хохотал. Этот случай был в Казани.

Казань Бурлаку свой город. Он уроженец Симбирска, был студентом Казанского университета, не кончил, поступил в пароходство, был капитаном парохода «Бурлак» — отсюда его фамилия по сцене. Настоящая фамилия его Андреев. На Волге тогда капитанов Андреевых было три, и для отличия к фамилиям прибавляли название парохода. Были Андреев-Велизарий, Андреев-Ольга и Андреев-Бурлак. Потом он бросил капитанство и поступил на сцену.

Я знал капитана Андреева-Ольгу, здоровенного моряка с седыми баками. Его так и звали Ольга, и он 11 июля, на Ольгу, именины даже свои неуклонно справлял.

10 мая труппа еще играла в Нижнем, а я с Андреевым-Бурлаком приехал в Казань устраивать уже снятый по телеграмме городской театр. Первый спектакль был 14 мая, в день коронации Александра III.

Сидим мы вдвоем в номере и на целую неделю составляем афиши. Кроме нас, играют в Казани еще две труппы, одна в Панаевском саду, а другая в Адмиралтейской слободке.

Составили афишу. На 14 мая «Горькая судьбина», дальше «Светит, да не греет», а там «Кручина», «Иудушка», «Лес»...

— Ну, теперь едем к полицмейстеру. Николай Хрисанфович Мосолов, генерал, мой старый приятель. Едем!

— Едем.

А сам думаю: вдруг опять тот же полицмейстер, что меня завтраком угощал! И решил, что этого быть не может, так как полицмейстеры меняются часто. Подъезжаем к полиции. Все знакомо, все прошлое мелькнуло ярко. Вот окно на крыше, под самой каланчой, из которого я удрал... Такая же фигура дремлющего пожарного у ворот. Все то же самое. Вошли через парадное крыльцо, а не через дежурку, как тогда. Доложили. Входим в кабинет. Знакомый медведь стоит с подносом, на котором лежат визитные карточки, и важная фигура в генеральском мундире приветливо спешит нам навстречу, протягивая обе руки Андрееву-Бурлаку. Обнялись. Расцеловались. Говорят на «ты». Ужас! Тот самый, который меня арестовал. Только уже не полковник, а генерал, поседевший и обрюзгший. Нас представили.

— Очень... Очень рад... Друзья моих друзей — мои друзья... Пойдемте закусить.

Я улыбнулся. Ну, думаю, друзья!

— Пока подпиши-ка афишу, Коля.

Сидим. Мосолов взял афишу и читает:

— 14-го «Горькая судьбина»... 14-го?! Это, Вася, неудобно, перемени, поставь что-нибудь другое... Ну, «Лес», что ли.

— Это почему?

— Да, знаешь, в день коронации и вдруг «Горькая судьбина»... Пусть она на второй, на третий день идет. Только не в первый.

— Ну, «Светит, да не греет», — с серьезным видом предлагает Бурлак, а губа смеется.

— Это хорошо. А там после, что хочешь, ставь.

Я переменил числа, и Мосолов подписал афиши, а потом со стола взял пачку афиш, данных для подписи, и показал афишу Панаевского театра, перечеркнутую красными чернилами.

— Каковы идиоты?! Вдруг «Не в свои сани не садись»! Это в день коронации Александра III. Понимаешь, Александ-ра третьего!

— Почему же нельзя? Ведь «Не в свои сани...» такая уж скромная пьеса.

— А ты не догадался? Ведь Александр III коронуется... А разве его к царствованию готовили? Он занимает место умершего брата цесаревича Николая... Ну, понял?

— А ведь верно, что он не в свои сани садится?

Сделал Бурлак серьезную физиономию, а губа смеется...

— Ну вот видишь, ты не смекнул, а я додумался...

И в день коронации шло у нас «Светит, да не греет», а в слободе «Ворона в павлиньих перьях» и «Недоросль»...

Нарочно не придумаешь!

Мы прошли через две комнаты, где картины были завешены и мебель стояла в чехлах.

— По-холостяцкому закусим! Садитесь, господа.

В один миг были поставлены для нас два прибора на накрытом для одного хозяина столе, появилась селедка, балык и зернистая икра в целом бочонке. Налили по рюмке.

— Коля, ты ему стаканчик!.. Он рюмок не признает.

И Бурлак налил мне полный стаканчик, поданный для лафита. Мне захотелось поозорничать. Прошлый завтрак мелькнул передо мной до самых мелочей.

— Рюмками воробья причащать, — припомнил я сказанную в тот завтрак шутку.

— Иже вместий — вместит. Кушайте на здоровье... Еще холодненькой подадут.

— Это я в турецкую кампанию выучился. Спирт стаканами пили.

— Да, вы были на войне! В каких делах?

Я рассказал, Бурлак добавлял. Генерал с уважением посмотрел на георгиевскую ленточку в петлице, а меня так и подмывает поозорничать.

К соусу подали столовую ложку, ту самую, которую я тогда свернул.

— Кто это, генерал, вам так ложку изуродовал, — спросил я и, не дожидаясь ответа, раскрутил ее обратно. Обомлел генерал.

— Второго вижу... Знаете, даже жаль, что вы ее раскрутили, я очень берегу эту память... Если бы вы знали...

— Так поправлю, — и я обратно скрутил ложку, как была.

Бурлак смеется.

— Он везде ложки крутит... Вот на пароходе тоже две скрутил...

— Н-да-с... Вы знаете историю этой ложки? Лет десять назад арестовали неизвестного агитатора с возмутительными прокламациями. Помнишь, это был 1874 год, когда они ходили народ бунтовать. Привели ко мне, вижу, птица крупная, призываю для допроса, а он шуточки, анекдотики, еще завтрака просит. Я его с собой за стол в кабинете усадил да пригласил жандармского полковника. Так он всю водку и весь коньяк стаканом вылакал. Я ему подливаю, думаю, проговорится. А он даже имени своего не назвал. Оказался медвежатником, должно быть, каналья, в Сибири медведей бить выучился, рассказывал обо всем, а потом спать попросился да ночью и удрал. Разломал ручищами железную решетку в окне на чердаке, исковеркал всю и бежал. Вот это он ложку свернул... Таких мерзавцев я еще не видал. Пришлось бы мне отдуваться, да спасибо полковнику, дело затушил...

— Поймали его потом? — спрашиваю я.

— Как в воду канул. Потом, наверно, поймали... Наверное уж в Сибири, а то, может, и повесили. Опаснейший фрукт.

— А какой он на вид? Богатырь? — допытывался я. А самому хотелось сказать, что решетки в окне были тонкие и подоконник гнилой.

— Какой богатырь. Так, обыкновенный человек. Ну, вроде вас... и рука такая же маленькая, как у вас...

Генерал пристально посмотрел на меня, как бы вспоминая.

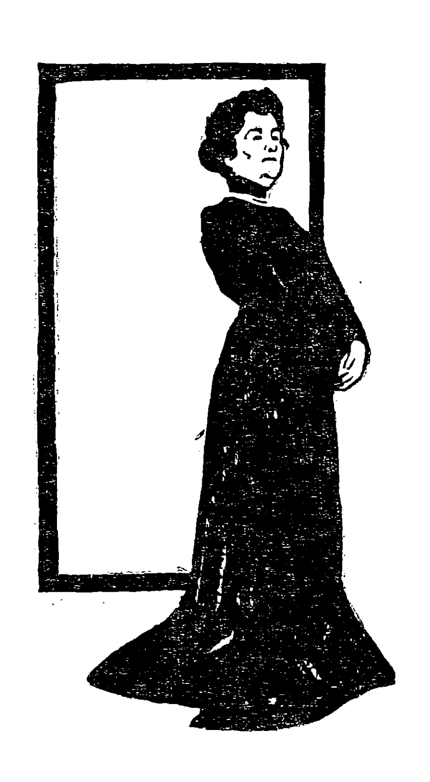
Этим наш разговор и кончился. Я чувствовал, что старое забыто, и, прощаясь, при выходе из кабинета не мог не созорничать. Хлопая медведя по плечу, я все-таки сказал, как и тогда:

— Бедный Мишка, попал-таки в полицию!

Вернувшись в номер, я рассказал и прошлое и настоящее во всех подробностях Бурлаку, и он, валяясь по дивану, хохотал с полчаса и отпивался содовой.

Этой поездкой я закончил мою театральную карьеру и сделался настоящим репортером.

1927 год. Картино.



ЛЮДИ ТЕАТРА

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

«Люди театра» — это не исследование. Это просто воспоминания о тех, с кем я встречался, когда еще сам был человеком театра.

Вернее сказать, это — описание моих театральных скитаний, вспоминая о которых я молодею на полвека. Рассказываю своим внимательным слушателям в часы интимных бесед и вижу, что этим доставляю им удовольствие, а себе вдвое. А потом уже пишу почти теми же словами, как рассказывал.

Ни в этих рассказах, ни в записях никакой выдумки нет (я так много интересного видел в жизни). Я просто беру людей, события, картины, как их помню, и подаю их в полной неприкосновенности, без всяких соусов и гарниров.

Так же создавалась книга, самая любимая из всех написанных мною, — «Мои скитания».

Люди театра — это те, которые живут театром, начиная от знаменитых актеров и кончая театральными плотниками и даже переписчиками пьес и ролей, ютившимися в ночлежках «Хитровки».

Много я знал на своем веку театрального люда: с кем дружил, с кем служил, перевидел почти всех знаменитостей. И вот на фоне жизни того времени, когда театры еще освещались керосиновыми лампами, попробую дать фигуры моих современников.

О великих людях тогдашней сцены все известно из их биографий, из рецензий, из мемуаров. Писать о них, только о них, — значит, повторяться.

Они, так же как и все остальные люди театра, по большей части попадали на сцену случайно и «выплыли наверхи».

Тогда в театр не поступали, а именно попадали, как попадают под суд, под поезд, в тюрьму.

Как попадали люди в театр, как они жили, что окружало их, как иногда они бросали сцену и почему-то вновь возвращались в театр, — вот что я хочу показать в моей «повести актерской жизни».

А для этого приходится писать о себе, рассказать, как я попал на сцену, уходил и снова возвращался в ту среду, которая теперь панорамой развертывается перед моими глазами.

В книге пройдут и великие знаменитости и никому неведомые, безыменные, и все они составят людей театра. Пройдут тут и такие, которые ничего общего с театром не имели, и даже такие, которые слово «театр» не слыхали, но все они необходимы для обрисовки моментов, пережитых одним из людей театра, без которых он не был бы тем, чем он был.

«Люди театра» — это повесть только с настоящими именами, датами и местами действия, повесть о действительных событиях, со списанной с натуры обстановкой, с рядом описаний картин или записанных тогда по горячим следам в форме дневников, писем или воспоминаний, вынутых из памяти автора — действующего лица, представляющего собою одного из «людей театра».

Москва. Январь 1935 г.

ВАСЯ

«Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда». Эти строки Лермонтова я вспомнил осенью 1875 года в приемной антрепренера театра, в большой комнате с деревянными диванами и стульями.

На стене висела наклеенная на серый коленкор, засиженная мухами карта России, по которой, от скуки ожидания, я и путешествовал пальцем между надписями «Воронеж», «Саратов», «Козлов» и все никак не находил Тамбова: его не было. Там, где, по моим знаниям, он должен был находиться, красовался сделанный порыжелыми чернилами треугольник, через который проходили линии железной дороги на Саратов и Рязань.

На верху карты стояла размашистая подпись: «Михаил Докучаев ушел в Москву в Ильин день».

Вернулся мой путешествующий по карте палец из Рыбинска в Ярославль. Вспомнились ужасы белильного завода... Мысленно проехал по Волге до Каспия... В дербентские и задонские степи ткнулся, а мысль вернулась в Казань. Опять вспомнился арест, взломанная решетка, побег. И злые глаза допрашивавшего седого жандармского полковника, глядевшие на меня через золотое пенсне над черными бровями... Жутко стало, а в этот момент скрипнула дверь, и я даже вздрогнул.

Из кабинета антрепренера вышел его сын, мой новый

друг, стройный юноша, мой ровесник по годам, с крупными красивыми чертами лица и волнистой темно-русой шевелюрой. Он старался правой рукой прощипнуть чуть пробивающиеся усики.

* * *

В Тамбов я попал из Воронежа с нашим цирком, ехавшим в Саратов. Цирк с лошадьми и возами обстановки грузился в товарный поезд, который должен был отойти в два часа ночи. Окончив погрузку часов около десяти вечера, я пошел в город поужинать и зашел в маленький ресторанчик Пустовалова в нижнем этаже большого кирпичного неоштукатуренного здания театра.

Подойдя к двери, я услышал шум драки. Действительно, шло побоище. Как оказалось после, пятеро базарных торговцев и соборных певчих избивали пятерых актеров, и победа была на стороне первых. Прислуга и хозяин сочувствовали актерам, но боялись подступиться к буйствующим. Особенно пугал их огромного роста косматый буян, оравший неистовым басом. Я увидел тот момент свалки, когда этот верзила схватил за горло прижатого к стене юношу, замахнулся над ним кулаком и орал: «Убью щенка!»

В один момент, поняв, в чем дело, я прыгнул, свалил с ног буяна и тем же махом двух его товарищей. Картина в один миг переменилась: прислуга бросилась на помощь актерам, и мы общими силами вытолкали хулиганов за дверь.

И пошел пир. Отбитый мною юноша, общий любимец, был сын антрепренера театра Григорьева, а с ним его друзья актеры и театральный машинист Ваня Семилетов. Хозяин ресторанчика Пустовалов поставил нам угощенье, и все благодарили меня. Часы пробили два, мой цирк уехал, — тогда только я спохватился и рассказал об этом за столом.

— Брось ты свой цирк, поступай в актеры, я попрошу отца, он тебя устроит, — уговаривал меня Григорьев.

И все остальные стали меня упрашивать.

А тут вспомнил я, что наш цирк собирался на весну в Казань, а потом в Нижний на ярмарку, а Казани, пос-

ле ареста, я боялся больше всего: допрашивавший меня жандарм с золотым пенсне, с черными бровями опять вырос предо мной. Вещей в багаже осталось у меня не богато, бумаг никаких. Имени моего в цирке не знали: Алексис да Алексис — и только. Поди ищи меня!

Переночевал я на ящике из-под вина в одной из подвальных комнат театра, а утром, в восемь часов, пришел ко мне чистенький и свежий Вася Григорьев. Одет я был прилично, в высоких козловых сапогах с модными тогда медными подковами и лаковыми отворотами, новый пиджак, летнее пальто, только рубаха — синяя косоворотка.

И вот я один в приемной. Вася ушел к отцу, и тот, как оказалось, посадил его за составление афиши, почему я так долго и путешествовал указательным перстом по карте России.

Васе я назвал свою настоящую фамилию, родину, сказал, что был в гимназии и увлекся цирком, а о других похождениях ни слова. Я был совершенно спокоен, что, если буду в театре, мой отец паспорт пришлет. А Вася дал мне слово, что своего отца он уговорит принять меня.

И когда вслед за Васей показалась могучая фигура Григорьева в бухарском халате нараспашку, когда я взглянул на его полное бритое лицо — сын на него как две капли воды был похож, те же добрые карие глаза и ласковая улыбка, — я сразу ожил.

Старик протянул мне большую мягкую руку и сказал:

— Пойдемте в столовую чай пить. Там уже собрались — все свои, а вы наш. В цирке служили?

— Да.

— Значит, вы настоящий артист... Сегодня вечером, для первого дебюта, мы вас вымажем сажей и выпустим негром. Пойдемте,— взял меня под руку, повел и представил шумевшим за чаем актерам и актрисам.

Меня встретили аплодисментами. Оказалось, что все знали вчерашнюю историю — Семилетов, Сережа Евстигнеев и Дорошка Рыбаков, участники побоища, уже за чаем все рассказали, а из меня сделали какого-то Еруслана Лазаревича.

Вечером шла «Хижина дяди Тома», и я в курчавом парике, вымазанный сажей, сказал мою первую фразу на сцене:

— Здравствуйте, дядя Том.

И даже не заметил, что стоявшие со мной статисты, солдаты Рязанского полка, также сказавшие, как и я, эту фразу, сняли парики из вязанки, принятые ими за шапки, раскланялись и надели их снова. Да и публика не заметила этого. Только Григорьев, игравший дядю Тома, в антракте, при всех надрал ухо Васе Григорьеву, который был помощником режиссера, и сказал, чтобы в другой раз объяснял статистам, что парики — одно, а шапки — другое.

* * *

Началась моя новая счастливая жизнь, так непохожая на предшествующие приключенческие годы, но имеющая с ними что-то общее: такая же вольная, такие же простые люди окружали меня — совершенно другие по обличью, по поступкам, по взглядам, но такие же хорошие товарищи.

Цирк, его «камрады», коверкавшие на иностранный лад русский язык, и иностранные женщины, с которыми я за все время сказал каких-нибудь десять слов, уже с первых дней показался мне чужим, а потом скучным. Увлекала только работа и появление перед публикой, а все остальное время пусто и нудно, все были друг другу чужими. А здесь с первого момента я сдружился со всеми, и все — от изящных артистов Песоцкого и Погонина до Ивана Ардальоныча Семилетова, машиниста, плотника и декоратора, почувствовавшего ко мне любовь и уважение после сцены в ресторане, — стали моими друзьями.

И сразу переродили меня женщины театра, вернув мне те манеры, которые были приобретены в дамском обществе двух тетенек, младших сестер моей мачехи, только что кончивших Смольный, и бабушки-сенаторши. Самого сенатора, опального вельможу, сослуживца и друга Сперанского, я уже не застал в живых. С тех пор как я ушел от них, за шесть лет, кроме семьи коневода,

я несколько дней видел близко только одну женщину — кухарку разбойничьей ватаги атамана Ваняги Орлова, да и та была глухонемая.

Пораженный и осчастливленный увиденным в театре добрейшего Григорьева, я стал человеком театра, преданным ему.

И дела было у меня немало. Григорию Ивановичу Григорьеву я понравился. На третий день он позвал меня к себе в кабинет, где был Вася, и сказал ему:

— Возьми своего друга в помощники и первым делом сделай из него сценариуса. Завтра идет «Свадьба Кречинского». Он будет следить за выходами. Пьеса легкая. Она у всех на слуху.

Он передал мне пьесу:

— Завтра на репетиции будете выпускать вы. Прочтите пьесу, запомните выхода. Вася объяснит.

Утром на репетиции и вечером на спектакле я благополучно справился с новым для меня делом, тем более, что все актеры знали свои выхода, — оставалось только следить по книге. Через неделю я справился с «Ревизором». Вася долго меня муштровал:

— Главное, следи за репликами отца, не задержи Добчинского и Бобчинского. Когда он только скажет: «Вдруг открылась дверь — и шасть», так в тот же миг выпускай их.

Сам я играл Держиморду и в костюме квартального следил за выходами. Меня выпустил Вася. Он отворил дверь и высунул меня на сцену, так что я чуть не запнулся. Загремел огромными сапожищами со шпорами и действительно рявкнул на весь театр: «Был по приказанию», за что «съел аплодисменты» и вызвал одобрительную улыбку городничего — Григорьева, зажавшего мягкой ладонью мне рот. Это была моя вторая фраза, произнесенная на сцене, в первой все-таки уже ответственной роли.

В следующем спектакле «Ревизора», перед рождеством, я уже играл Добчинского, и эта роль осталась за мной и далее. Вася играл почтмейстера, и мы оба по очереди следили за выходами.

Работы было довольно. Ежедневно читали пьесы. Библиотека Григорьева была большая. Кроме того, на

моей обязанности было выписывать, конечно, сперва под руководством Васи, костюмы и реквизит, иногда самый неожиданный.

Для какой-то обстановочной пьесы, кажется «Лукреции Борджиа», потребовалось двенадцать гробов, и я вместе с Васей и реквизитором ездил за ними на базар в гробовую лавку.

Мы сопровождали этот груз издали по главным улицам города, чтобы все видели, что его везут в театр. За нами бежали мальчишки, и к вечеру весь город говорил об этом.

Это была великолепная реклама, которую придумал бенефициант А. И. Славин.

Высокий и грузный, вращая большими темными глазами, он завывал баритоном, переходившим в бас, с небольшой хрипотцой Кузьму Рощина, Прокопа Ляпунова и других атаманов, имея главный успех на ярмарочных спектаклях.

Здесь он недурно исполнял роли благородных отцов и окончил мирно свое земное странствие в Москве, каким-то путем попав на небольшие роли в Малый театр. Иногда в ресторане Вельде или «Альпийской розе» он вспоминал свое прошлое, как он из бедного еврейского местечка на Волыни убежал от родителей с труппой бродячих комедиантов, где-то на ярмарке попал к Григорьеву и прижился у него на десятки лет.

* * *

В Тамбове на базарной площади, пахнувшей постоянно навозом, а в базарные дни шумной и пьяной, были лучшие тамбовские трактиры — Югова и Абакумыча. У последнего стояли два прекрасных фрейбергских бильярда, к которым и привел меня сыграть партию любитель бильярда Вася в первые дни моего приезда. Но сыграть нам не пришлось: на одном играл с каким-то баритоном в золотых очках местный домовладелец Морозов, в долгополом сюртуке и сапогах бутылками, а на другом — два почтенных, кругленьких, коротеньких старичка.

Один из них, в цветном, застегнутом наглухо до седой бородки жилете, с рубахой навыпуск, нестерпимо скрипел своими сапогами — тогда была мода носить сапоги со скрипом; другой, в прекрасно сшитом черном, весьма поношенном сюртуке, неслышно двигался в черных замшевых сапожках, осторожно ступая подагрическими ногами.

Орлиный профиль, коротко подстриженные черные с проседью усы на бритом матово-смуглом лице, освещенном ласковым взглядом черных глаз, остановили на себе мое внимание. Так неожиданно было в тамбовском базарном трактире встретить такой тип.

Он стоял, опершись на кий, и улыбнулся, когда его партнер не сумел положить почти висевший над лузой желтый шар.

— Забил ты меня, князь. Прямо забил... — И старичок в сапогах со скрипом крикнул маркеру: — Федька, теплые сапоги!

В это время человек, названный князем, увидел нас.

— А, Вася! Очень рад.

Вася представил меня князю как своего друга.

— Очень рад! Значит, нам новый товарищ! — И крепко пожал мне руку. — «Vos intimes — nos intimes!» «Ваши друзья — наши друзья!» Вася, заказывай вина! Икру зернистую и стерлядок сегодня Абакумыч получил. Садитесь. — Князь указал на стулья вокруг довольно большого «хозяйского» стола, на котором стояли на серебряном подносе с княжеским гербом пузатый чайник с розами и две низенькие трактирные чашечки, тоже с розами и золотым ободком внутри. На двух блюдечках лежали крупный изюм и сотовый мед.

На другой половине стола мигом явился графинчик с водкой, икра, балык, тарелки с княжескими гербами и серебряные ложки.

С Абакумыча маркер снял скрипучие сапоги и стал переобувать его в огромные серые валенки, толсто подшитые войлоком, а в это время вошел наш актер Островский, тоже пузатенький, но с лицом римского сенатора — прямо голова Юлия Цезаря!

— А... Василий Трофимович!.. Садись иди, водочку подали... икра...

— Нет, князинька, не могу... Не пью...

— Очень хорошо. Бери пример с меня: кроме чая с изюмом и медом — ничего.

— И рад бы, да не выходит! Попадет вожжа под хвост — и закручу на неделю! Вчера отпил. Вина видеть не могу!

— Ну, садись, садись!

Абакумыч переобулся. Вынул из кошелька гривенник за проигранную партию.

— На, получай. Становись, по двугривенному! Уж теперь я и взбутетеню вашу светлость! Идет по двугривенному?

— Идет!

Партнеры увлеклись. Абакумыч двигал огромные валенки и не торопился, обрадовавшись висячему, как тогда, над лузой шару. Островский закусил икры и балыка. Ему подали стакан и блюдечко малинового варенья, а нам бутылку розового кавказского вина, которое князь получил в подарок от своего друга из Озургет. Князь угощал им только лучших друзей и держал его в подвале Абакумыча, у которого и квартировал, когда подолгу живал в Тамбове. Островский был старый друг князя К. К. Имеретинского. При нем князь и попал в театр.

Этот сезон и великий пост мы провели вместе с князем в Тамбове, а через год дружески встретились с ним в Москве, в Артистическом кружке, действительным членом и даже одним из учредителей которого он состоял. Любопытный тип был светлейший князь К. К. Имеретинский.

В Кружке он также пил чаек с изюмом и медом, бывал на всех спектаклях и репетициях Кружка, на всех премьерах Малого театра, но в тот сезон сам не выступал на сцене: страдал астмой.

Из Петербурга к нему приехал его младший брат, блестящий гвардейский офицер, флигель-адъютант, придворная особа. Таким же важным лицом был прежде при царском дворе и наш князь. Оба эти светлейшие Имеретинские, как потомки грузинских царей, были особенно отличены и, по получении образования в пажеском корпусе, определены ко двору: старший, Константин, «числился» по гражданскому ведомству, а младший был

выпущен в гвардию. Оба красавцы, образованные да еще «царской крови», Имеретинские могли бы занять самые высокие места, чего и достиг младший, в конце концов ставший наместником в Польше. До чего мог бы дослужиться старший, носивший уже тогда, когда еще младший был пажем, высокое придворное звание шталмейстера, трудно сказать, но...

Страстный любитель лошадей, князь поехал как-то на самую знаменитую конскую ярмарку — Коренную — и там подружился с Василием Трофимовичем Островским, маленьким актером бродячей труппы Григорьева.

Эта ярмарка при Коренной пустыни Курской губернии еще в восьмидесятых годах поражала меня своей кипучей и пестрой суетой и необыкновенной обстановкой.

А вот какой она была в то время, когда еще при «крепостном праве» Григорьев приехал целым обозом со своей труппой перед началом ярмарки, чтобы успеть построить дощатый театр? С каким восторгом, будучи в подвыпитии, Островский рассказывал о тех счастливых днях его актерской юности в Коренной, где он в одну из ярмарок, будучи семинаристом, гостил у своего дяди, дьякона, побывал в театре Григорьева и по окончании ярмарки уехал вместе с труппой. Через год на той же ярмарке он пел Всеслава в «Аскольдовой могиле», к великому огорчению своих родных, примирившихся с совершившимся фактом только после того, как он познакомил своего дядю с блестящим князем Имеретинским за обедом в придворном дощатом здании, выстроенном дворцовым ведомством специально для своего представителя, приехавшего покупать лошадей для царских конюшен. Когда дьякон попал на обед и увидал своего племянника в кругу аристократии, первым другом блестящего князя, дьякон и вся родня «простили заблудного», которого до этого они мнили видеть архиереем. Все это живо и образно рисовал нам Василий Трофимович во время своих ежемесячных загулов.

Да и было что рисовать!

Сотни плотников и разного мастерового люда гремели топорами и визжали пилами. Строились вокруг постоянных ярмарочных зданий легкие дома для помещи-

ков, приезжавших на ярмарку со своими семьями и многочисленной дворней; река Тускарь белела купальнями.

«Панские ряды» в азиатском вкусе вновь красились и отделывались, триста деревянных лавок красовались в долине Тускари, а ларькам и счету не было. И все это кишело приезжими.

Во многих лавках и закрытых клетках пели соловьи, знаменитые курские соловьи, за которых любители платили сотни рублей. На развале — пряники, изюм, чернослив, шептала, урюк горами высились. Гармонисты, песенники, рожечники, гусляры—повсюду. Около материй толпились бабы в паневах, сарафанах и платках и модные дамы-помещицы. Коридор и полы лавок были мягки от свежего душистого сена и травы — душистой мяты и полыни.

В Панских рядах барыни отбирали целыми кучами куски материй и галантереи, и торговцы присылали их в помещичьи ставки и драли за них, сколько хотели.

Но самый центр был — конская ярмарка. Любители и коннозаводчики, десятки ремонтеров приезжали из всех гвардейских и армейских полков на эту ярмарку и безумно сорили деньгами. Все перемешалось, перепуталось: от крепостников до крепостных рабов, от артистов и музыкантов до сотен калек-нищих, слепых певцов и лирников. И все это наживало и по-своему богатело.

В первые дни на конскую ярмарку не допускались барышники и цыгане. Только когда уже налюбуются крэками заводов и накупят вдоволь помещики-коннозаводчики, навалятся и загудят барышники, захлопают бичами и заорут толпы цыган с нашпигованными разными, вплоть до скипидара и перца, снадобьями, резвыми на десять минут, взбодренными лошадками-калеками.

Насытившиеся покупками бары гуляли. Шампанское и заморские деликатесы лились реками и высились горами. Около барских ставок целый день стук ножей — десятки крепостных поваров стараются вовсю.

Много рассказывал Василий Трофимович о Коренной ярмарке и о том, как он с Имеретинским подружился.

— Труппа была у нас веселая и недурная. Мы только приготовили сцену и репетировали, как приехали придворные. Конюшни их были построены недалеко от те-

атра. Как-то на репетиции зашел молодой чиновник — это и был князинька. После репетиции пошли к нам обедать, тут же при театре. Жили мы попросту: большой стол в сенях, кухня рядом. Щи хлебали из общих чашек деревянными ложками. Помню, подали огромный противень — бараний бок с кашей. И князь с нами ест, угощали водкой — не пьет. А бараний бок ему понравился. Своего повара сейчас же прислал учиться, как его жарить. На другой день князь всей нашей труппе ответный обед закатил... Что было! И шампанское, и всяческие бламанжи, и рябчики, а посуда вся с царскими орлами, и служат нам лакеи в ливреях. Сперва молча ели, потом стали стихи читать, монологи, петь начали, а потом уже дошли до точки. А князь смеется да радуется... Пьяные подходят к нему, обнимаются, целуют по актерской привычке, а он ничего, на «ты» пили... Только он лимонад пил, вина не употреблял, упросить не могли... Нашим актрисам почтительно ручки целовал, и никакого ухаживанья! Как с придворными дамами обращался. Потом при прощании всем подарки поднес. Качевскому пенковую трубку дорогую, и сейчас она у него. Мне серебряный кавказский пояс, Григорию Ивановичу старинную стопу — цены нет. А на другой день опять на репетицию пришел. Да и зачастил. Репетицию всю просидит в кулисе с Григорием Ивановичем, пьесы брал читать. Вечером всегда в театре в своем обществе, а за кулисы забежит. Прямо жить без нас не мог! — закончил свой рассказ Островский.

После Коренной ярмарки князь увлекся театром, бросил придворную службу, переехал в Москву и неожиданно для «высочайшего двора», с которым он порвал все отношения, стал играть в любительских кружках.

На какие-то, не особенно крупные средства от княжеского имущества Имеретинский жил очень скромно. Он пользовался уважением и почетом среди тамбовского дворянства.

Со всеми актерами князь вел себя по-товарищески, со многими был на «ты». Звали его все «князь», но отнюдь не «ваша светлость», как звало его все тамбовское начальство. Тамбовский театр процветал, и публика относилась к нему и антрепренеру Григорьеву с особым

уважением. Здесь не было провинциальных ухаживателей, подносивших подарки хорошеньким женщинам, а не хорошим артисткам, не было «шлянья» в уборные ухажеров. За кулисы проходили только настоящие любители: Сатины, Ознобишины, из которых Илья Иванович, автор нескольких пьес и член Общества драматических писателей и Московского артистического кружка, был сам прекрасный актер.

В числе немногих, почетно принятых за кулисами, был начальник восемнадцатой дивизии генерал Карцев, впоследствии, в 1877 году, прославившийся тем, что дивизия под его командой первой перешла Дунай. В литературе Карцев известен своими мемуарами. Таким же любителем театра в Рязанском полку был и адъютант Эльснер, ставивший солдатские спектакли, для которых Григорьев давал ему костюмы. Эти спектакли всегда режиссировал кто-нибудь из наших актеров. На каждый спектакль своего театра Григорьев посылал в полк двадцать билетов на галерку и два билета в партер. Эльснер был первым офицером, получившим Георгия за то, что во главе своей роты перешел Дунай.

* * *

Как-то уже после того, как я познакомился с князем, я увидел в кабинете Григорьева прошлогоднюю афишу:

«В тамбовском театре под управлением К. К. Звездочкина в бенефис К. К. Звездочкина поставлена будет «Свадьба Кречинского». Роль Расплюева исполнит бенефициант».

Узнаю, что в прошлом году театр держал Звездочкин, известный московский любитель, и что этот Звездочкин и есть князь Имеретинский. Служить у него считалось за большое счастье: он первый повысил актерам жалованье до неслыханных дотоле размеров. Звездочкин три раза был антрепренером, неизбежно прогорал и снова жил то в Москве, то в Тамбове, где изредка выступал на сцене.

В Тамбове он останавливался у Абакумыча и был рад, когда ему удавалось «загнать Абакумыча в валеные сапоги» и выиграть у него гривенник на бильярде. Первый раз он снял театр на зиму у Григорьева, получив

откуда-то наследство, которое и ухлопал в один сезон. Потом еще два наследства потерял на антрепризе: несмотря на то, что тамбовская публика охотно посещала театр, расходов не окупали даже полные сборы.

И снова театр держал Григорьев, и снова около него ютились старые друзья-актеры, приходившие если не послужить, так пожить у старого друга.

Летом, вместо того чтобы отдыхать, Григорьев играл по маленьким городишкам и ярмаркам специально для того, чтобы прокормить своих старых друзей, много лет считавших и дом и театр Григорьева своими.

«А семья-то?.. Кто их кормить будет?.. Ведь двадцать душ, кроме тех, что придут!..»

Это был разговор только о друзьях-актерах, ядре его постоянной труппы, хотя половина их ни в одну труппу не была бы принята.

Собственно же семья у Григорьева была небольшая. Он сам, шестидесятилетний, могучий, не знающий устали старик, давно овдовел. Вторая, гражданская жена его, Анна Николаевна, настолько некрасивая, что ее даже на сцену выпускать было нельзя, и дочь ее лет двадцати двух, актриса на маленькие роли, Николаева, — обе почти незаметные существа, которые вели домашнее хозяйство, были скромны, молчаливы, ни с кем не ссорились и не сплетничали.

Григорий Иванович относился к ним ласково, как и ко всем своим, которым говорил, кроме самых близких, «вы», да еще прибавлял: «с», особенно когда кого застанет в подвыпитии.

«Вы что же-с, Иван Ардальоныч? Опять-с?..»

Чаще других усовещевал он Семилетова, который во хмелю был буен, но, чуть показывался Григорий Иванович, сразу же стихал как в воду опущенный.

Однако был случай, когда Григорьев его выгнал. Напившись в ресторанчике Пустовалова, Ваня поднялся наверх, где шла репетиция. Идет, шатаясь во все стороны, и угрожающе орет, размахивая кулачищем:

— Всех расшибу я до полушки! Начну с Адамовой головы!..

Репетировали «Ревизора». Григорьев был один из самых лучших городничих, каких когда-либо я видел. Он

сидел в кресле и вполголоса читал свой монолог: «Чего смеетесь? Над собой смеетесь!..»

Вдруг остановился, услыхав оранье, и голову поднял.

Я в первый и последний раз видел его таким, даже жутко стало. Все замерли, а Ванька ввалился уже на сцену и орет, никого и ничего не видя:

— Начну с Адамовой головы!..

— Нет, уж довольно-с, — как-то прошипел на весь театр Григорьев, вскочил с кресла и двинулся навстречу к Семилетову. — Довольно-с!..

И так мазнул по уху бросившегося на него с кулаком Ваньку, не узнававшего никого, что тот через рампу перелетел в оркестр и дико выл от боли, лежа между сломанными пюпитрами.

Григорий Иванович стоял и тяжело дышал, а на глазах слезы.

Все мы стали его успокаивать, усадили в кресло.

— Извините меня... В первый раз в жизни не сдержался... Ну, подумайте... За что же оскорблять женщину?.. Да еще не виноватую в том, что она такая.

После уж от Васи я узнал все. «Адамовой головой» кто-то со злости назвал Анну Николаевну, о чем до этого случая никто не знал. Действительно, бледная, с большими темными, очень глубоко сидящими добрыми глазами и с совершенно вдавленным носом, она была похожа издали на череп. Судя по лицу, можно было думать, что это результат известной болезни, но ее прекрасный голос сразу опровергал это подозрение.

И вот этот самый нос и сделал Анну Николаевну женой Григорьева. Единственная дочь небогатого воронежского торговца-вдовца, она была против воли выдана замуж через сваху за какого-то чиновника, который оказался пьяницей и бил жену нещадно, упрекая ее за то, что она не принесла ему приданого.

Когда дочке Анны Николаевны, Мане, было два года, умер ее отец, не оставивший после себя ничего, кроме долгов. Пьяный муж, озлобившись, схватил жену за косу и ударил ее лицом о печку, раздробив нос и изуродовав лицо. В тот же год его самого сослали по суду в Сибирь за кражу казенных денег.

Женщина осталась с дочкой — ни вдова, ни замуж-

няя, без куска хлеба. Это было в Воронеже, она жила в доме купца Аносова, дяди Григория Ивановича, куда последний приехал погостить. За год до этого, после рождения младшей дочери Нади, он похоронил жену. Кроме Нади, остались трехлетний Вася и пятилетняя Соня.

В семье дяди Григорий Иванович встретился с несчастной Анной Николаевной, которую с ее пятилетней дочкой приютили Аносовы — сами люди очень небогатые. Григорий Иванович предложил ей место воспитательницы своих детей и увез ее в Тамбов. Выбор оказался прекрасным. Анна Николаевна воспитала детей вместе со своей дочкой. Ее любимицей была старшая Соня, в полном смысле красавица, с великолепным голосом, который музыкальная мачеха, хорошая певица, развила в ней сама, и маленькая девочка стала вскоре в подходящих ролях выступать в театре отца, а Вася стал помощником режиссера.

Васю Григорьева никто не называл Василием Григорьевичем: Вася да Вася или Васенька, до самой его кончины уже в начале этого столетия, о которой я узнал в Москве от его друга Володи Кригера:

— Вася умер на днях, слышал? В Козлове, от угара, на своей постели... Истопили печь, рано закрыли, — рассказывал этот бодрый, всегда веселый человек, а у самого слезы градом.

И с кем из актеров, наших общих друзей, я в тот год да и после ни встречался, все мне сообщали с печалью: «Вася умер!»

Фамилии даже не называли, а только: Вася. И лились воспоминания о безвременно погибшем друге — добром, сердечном человеке. Женат был Вася на младшей из артистической семьи Талановых. Супруги никогда не разлучались, и в злополучный день — служили они в Козлове — жена была в театре, а он не был занят в пьесе, уснул дома, да так и не проснулся.

При воспоминании о Васе всегда передо мной встают яркие картины и типы моего первого театрального сезона в 1875 году.

Драматическая труппа была великолепная; кроме драмы, ставились оперетки и даже оперы.

Была поставлена и «Аскольдова могила». Торопку пел знаменитый в то время тенор Петруша Молодцов, а Неизвестного должен был петь Волгин-Кречетов, трагик. Так, по крайней мере, стояло в афише. Репетировали без Неизвестного. Наступил день спектакля, а на утренней репетиции Волгина-Кречетова нет.

— А как же Неизвестный? Ведь Волгин не приехал?— спрашивают Григория Ивановича.

Григорьев хитро улыбается.

— Ничего-с, репетируйте-с. Неизвестный придет-с... Он опытный, без репетиции споет.

Срепетировали без Неизвестного.

Вышли на спектакль. Гримируемся. А Волгина-Кречетова нет.

— Григорий Иванович, как же?.. Ведь Неизвестного нет... Отменим спектакль, — горячится режиссер Песоцкий.

— Он у меня-с остановился... Гримируется в моем кабинете. Волгин не приехал, так я другого пригласил.

— Анонсировать надо?

— Зачем же-с! Волгина здесь не знают, ну, за Волгина и сойдет-с. Это знаменитость, известный Неизвестный. Да вот он! Позвольте познакомить.

Перед нами стоял редкой красоты гигант с небольшой темной бородой и вьющимися кудрями по плечам. Шитый красный кафтан, накинутый на одно плечо, синий суконный охабень еще более увеличивали и без того огромную стройную фигуру.

Все мы так и ахнули, — что за сила, что за красота!

Театр был полон. Появление красавца Неизвестного вызвало шумные аплодисменты, а после первой арии театр дрожал и гудел. Во время арии случился курьез, который во всякое другое время вызвал бы хохот, но прекрасно пропетая ария захватила публику, и никто не обратил внимания на то, что «по волнам Днепра» в глубине сцены, «яко по суху», разгуливали две белые кошки.

Дня за три до «Аскольдовой могилы» ставилась в первый раз какая-то обстановочная пьеса, и на утренней репетиции к Васе подошел реквизитор Гольдберг за при-

казаниями. Вася, только что вернувшись из трактира Абакумыча, был навеселе и, вместе с нужными для спектакля вещами, шутки ради, выписал двенадцать белых кошек. Перед началом спектакля явился в режиссерскую Гольдберг.

— Василий Григорьевич, чисто белых только девять, а три с пятнышками.

— Что такое?

— Кошки. Вот ваша записка: «Двенадцать белых кошек». Ну, так во всем Тамбове только девять чисто белых оказалось... И то две кошки у просвирни взял, по рублю залогу оставил.

— Тащи их сюда.

Вася рассказал окружающим, как он пошутил, выписав кошек.

Явился Гольдберг с мешком. Мяуканье, визг!..

— Развязывай!

Вася схватил мешок и вытряхнул кошек. Те стаей бросились на сцену и довели до обморока какую-то актрису.

Гольдберг рвал на себе седые волосы, ругался. В два дня он переловил с помощью рабочих семь кошек, а пять так и остались жить в театре.

И вот две такие кошки путешествовали «по Днепру» в «Аскольдовой могиле».

* * *

С громадным успехом прошла опера благодаря Неизвестному и Торопке.

Занавес, после долгих вызовов, опустился, и Неизвестный ушел наверх, в квартиру антрепренера, заинтриговав всех.

— Кто? Кто? — только и разговоров было.

Мне раньше других пришлось узнать Неизвестного.

После спектакля я уснул на ящиках из-под вина, покрытых буркой, которые заменяли мне кровать.

Вдруг сквозь сон слышу в коридоре голосище Неизвестного:

Скоро полночь — час ужасный,
А Всеслава нет, как нет.

И сразу свет хлестнул в глаза.

— А вот и мы пришли, — загремел надо мною бас на мотив Аяксов из «Елены Прекрасной».

Предо мной стоял Вася с лампой, В. Т. Островский, Петя Молодцов с водкой, старый актер А. Д. Казаков с блюдом хлеба и огурцами и с колбасой в руках и Неизвестный в... лиловой рясе.

Кое-как все уселись и начали пить.

Неизвестный оказался дьяконом из соседнего города. Он знал назубок много опер, потому что ранее учился в Москве в семинарии, был певчим в архиерейском хоре и одновременно хористом в театре.

— Утром ангелов представлял, а ночью дьяволов изображал, — пояснил он.

Для него Григорьев и «Аскольдову могилу» ставил, а для Григорьева, по старой дружбе, дьякон рискнул сыграть.

Про этого дьякона мне пришлось слышать немало анекдотов. Скорее светский человек, чем духовный, «душа общества», он был веселый собеседник, любил посещать театры, пользуясь возможностью, благодаря знакомству с артистами, бывать за кулисами.

Раз он в своем городе попал в маскарад. Но широкое домино не скрыло его богатырской фигуры. Его узнали и окружили в маскараде; дамы наперерыв говорили одно и то же:

— А мы тебя, маска, знаем.

— Ну, а знаете, скажите.

— Отец дьякон.

Встал отец дьякон в позу и на весь зал рявкнул в ответ:

— Чуют правду!

* * *

В пачке запыленных афиш, висевших на стене комнаты В. Т. Островского, я увидал старую тамбовскую афишу: «Птички певчие» — бенефис А. Д. Давыдова. Роль Периколы исполнит С. Г. Бороздина».

— Это кто? — спросил я.

Островский поднялся со стула и разорвал афишу.

— Хорошо, что ты нашел ее. А то увидал бы Григорий

Иванович — беда... Не вздумай упомянуть при нем имя Сашки Давыдова да и Сони.

И рассказал мне тайну семьи Григорьевых.

С детства Сонечка, старшая дочь Григория Ивановича, играла на сцене. Однажды она выступила в роли Периколы в «Птичках певчих» вместе с приглашенным в труппу молодым, но уже известным Давыдовым. Успех ее был огромный. Оперетка тогда только начала входить в моду, а такой молодой Периколы, Булоты и Прекрасной Елены тамбовская публика не видела. Лучшего Париса, Пикколло и Рауля — Синей Бороды не было тогда ни в одном театре. О Давыдове и Бороздиной — так отец назвал свою Соню в честь знаменитой артистки — даже в столичной печати заговорили. Но не на радость все это было Григорьеву.

Картежник и гуляка, Давыдов был известен своими любовными похождениями. Соня, как и надо было ожидать, безумно влюбилась в него, и молодые люди тайно сошлись. На первой неделе поста дочь вдруг заявила отцу, что она уезжает с Давыдовым, и, несмотря на слезы и просьбы стариков, уехала.

Портреты дочери исчезли из кабинета отца. Все афиши с ее именем были сожжены.

— У меня-с одна дочь, Наденька, и она никогда не будет на сцене-с, — говаривал старик, продолжая свое театральное дело.

В семье имя Сони не упоминалось, а слава Бороздиной росла, и росли также слухи, что Давыдов дурно обращается с ней, чуть ли даже не бьет. Дурные вести получались в труппе, и, наконец, узнали, что Давыдов бросил Бороздину, променяв ее после большого карточного проигрыша на богатую купчиху, которая заплатила его долги, поставив условием, чтоб он разошелся с артисткой.

И тут же новый слух, еще более ужасный:

— Соня сошлась с Тамарой.

Это был второстепенный актер, игравший первые роли в разных южных городках, но более известный как аферист, игрок и сутенер.

Соня отвергала всех, с кем знакомил ее Тамара, за что он и бил ее смертным боем. Все это доходило до Там-

бова, а может быть, и до Григория Ивановича. Он и слова не говорил и только заставил Надю поклясться, что она никогда не пойдет на сцену.

И сдержала Надя свое слово, но все же театра не миновала. Вскоре она вышла замуж за режиссера Владыкина, прекрасного, образованного человека, который исполнил завещание Григорьева и ни разу не выпустил свою жену на сцену. Да и некогда ей было: с первого же года пошли дети, и вся она отдалась воспитанию их. Уже через много лет, проезжая через Киев, я был в театре Н. Н. Соловцева, который меня и познакомил со своим режиссером Владыкиным. Он произвел на меня прекрасное впечатление. Владыкин меня очень звал посетить его дом.

— Как вам будет рада Надя! Когда приезжает к нам в гости Вася, то у них только и разговора, что о вас, так что заглазно мы хорошо и давно знакомы.

Но с утренним поездом я должен был уехать в Москву, и не пришлось мне повидать Надю.

* * *

Вася Григорьев весь жил театром, никогда не стремился к славе, не искал ролей, играл добросовестно, все, что ему давали. Удавались ему роли простаков и вторые в оперетках. Голос был небольшой, весьма приятный тенор, пел, когда, как говорится, разойдется, под гитару, без устали. Самой любимой его была песня казанских и харьковских студентов «Избушка», которую выучил его петь Селиванов, бывший харьковский студент, потом известный драматический актер конца семидесятых годов. Еще будучи совсем молодым, он имел большой успех в провинции, особенно в Харькове, Киеве, Одессе и Воронеже, — учащаяся молодежь его «обожала». В Воронеже, где Вася гостил у своего дяди — деревенского мельника, он и познакомился с Селивановым. Тимоша (Селиванов) тогда был еще гимназистом последних классов, проводил каникулы у сельского учителя в соседнем селе, откуда ходил на мельницу ловить рыбу. Тут они и подружились. Вася пел арии из оперетт, а у своего друга выучил «Из-

бушку», которая на всю жизнь и осталась любимой песней Васи. У него же он выучился петь «Дубинушку» и по секрету мне, одному, наедине, шепотом напевал строчки:

Вырежем мы в заповедных лесах
На барскую спину дубину...

Впоследствии Селиванов, уже будучи в славе, на московском съезде сценических деятелей в 1886 году произнес с огромным успехом речь о положении провинциальных актеров. Только из-за этого смелого, по тогдашнему времени, выступления он не был принят в Малый театр, где ему был уже назначен дебют, кажется, в Чацком. Селиванову отказали в дебюте после его речей:

— Политику в императорских театрах разводить нельзя-с!

И с тех пор Селиванов окончательно застрял в провинции, охранка запретила ему въезд в Москву, а там и слухи о нем пропали. Вася получал от него приветствия через знакомых актеров и сам посылал их с теми, кто ехал служить в тот город, где был Селиванов, а потом следы его потерялись.

ПЕШКОМ ПО ШПАЛАМ

На первой неделе поста труппа дружески рассталась с Григорьевым, и половина ее «на слово» порешила служить у него следующую зиму. Контрактов у Григорьева никаких не полагалось, никаких условий не предлагалось. Как-то еще до меня один режиссер хотел вывесить печатные правила, которые привез с собой. Григорий Иванович прочитал их и ответил:

— Силой мил не будешь! Спрячьте-с!

Почти все поехали в Москву на великопостный актерский съезд, а «свои» — семья старых друзей-актеров — остались, и тут же была составлена маленькая труппа из десяти человек, с которой Григорьев обыкновенно ездил по ярмаркам и маленьким городкам. Для таких выездов была, кроме гардероба и обстановки, особая библиотека из ходовых пьес, очень умно сокращенных. По этой библиотеке все отобранные для нее пьесы, даже такие, как «Гамлет», «Ревизор» и «Разбойники» Шиллера, могли играть десять актеров. Все эти пьесы оставшейся труппой, кроме меня, новичка, были играны-переиграны и шли гладко, почти без суфлера.

Из новых актеров попал в нашу труппу Изорин.

Князь Имеретинский тоже уехал на великий пост в Москву. Абакумыч постом за грех считал всякую игру, и прекрасный фрейбергский бильярд, единственный в то время во всем Тамбове, с резиновыми бортами и на гри-

фельной доске, пустовал. Мы с Васей весь вечер до самого закрытия трактира, пахнувшего постным маслом, играли пустые партии и за это время так изощрили свое искусство, что домовладелец Василий Морозов и его друг, барин в золотых очках, Николай Назарыч, мне проигрывали партии «так на так». Через несколько лет я уже в Москве узнал, что это были крупные шулера. Первый в игрецком мире носил кличку Василь Морозыч Темный, а второй — Николай Назарыч Расплюев, но не тот, с которого писал Сухово-Кобылин.

Вечера с Васей мы проводили за бильярдом, а весь день с утра читали, не выходя из библиотеки. До григорьевской библиотеки, со времени гимназии, я ни одной книги в руки не брал и теперь читал без передышки. Пьяная компания перевелась. Евстигнеев опять поступил на телеграф, Дорошка Рыбаков женился на актрисе Орловой и с ней вошел в состав нашей летней труппы. Оба крошечного роста, невзрачные и удивительно скромные и благовоспитанные. Рассказывали, что, когда их венчали, священник сказал им вместо поучения:

— Любите друг друга, памятуя неукоснительно, что отдельно ни того, ни другого никто не полюбит!

Главный же закоперщик наших пьяных компаний Семилетов совершенно изменился после скандала с «Адамовой головой».

Изгнанный из театра перед уходом на донские гирла, где отец и братья его были рыбаками, Семилетов пришел к Анне Николаевне, бросился в ноги и стал просить прощенья. На эту сцену случайно вошел Григорьев, произошло объяснение, закончившееся тем, что Григорьев простил его. Ваня поклялся, что никогда в жизни ни капли хмельного не выпьет. И сдержал свое слово: пока жив был Григорий Иванович, он служил у него в театре.

Летний сезон у нас распределялся по трем городам. На пасху мы выехали в Борисоглебск по приглашению купца Иванова, скотопромышленника, выстроившего самый большой в городе дом — гостиницу с номерами — и в нем хорошенькую небольшую сцену.

Он часто наезжал в Тамбов то в театр, то на бега, где у него бежали лошади его завода, которых он сам

выезжал. Это был высокий молодой человек в собольей поддевке и такой же шапке, совсем удалой добрый молодец, единственный сын старообрядки-богачки. Тайком от матери он тратил деньги на театр, а так как деньги были на отчете, то театральные расходы он переводил на конскую охоту, которая ему не воспрещалась. Иванов показывал счет на двенадцать тысяч рублей, из которых ему было нужно две тысячи передать Григорьеву за наши спектакли. Вася этот счет списал для памяти:

«Расходы по охоте

Ездовые рукавицы с лесктрическими пробками для резвости на приз по 100 рублей, 6 пар — 600 рублей.

Копытная мазь из крокодилового нутра для твердости из Парижа и Лондона — 300 рублей.

Наглазники, чтобы лошади не бесились и не пугались, на 12 лошадей, по 20 рублей — 240 рублей.

Беговые дрожки из Москвы от Арбатского и разная сбруя — 2 550 рублей и т. д. и т. д.

Весь счет на сумму 12 528 рублей».

О театре — ни слова, а это ему вскочило в копеечку. Вся труппа жила в его новой гостинице — прекрасной, как в большом городе. Квартира и содержание всей труппы шли за счет Иванова. Все проходило по секрету от матери, безвыездно жившей в своем имении в окружении старообрядческих начетчиков и разных стариц, которых сын ублажал подарками, чтоб они не сплетничали матери о его забавах.

Сыграли мы десять спектаклей, и накануне отъезда Иванов дал прощальный обед, на котором присутствовали местные дворяне со своим предводителем.

Особый успех это время имел Изорин — новый актер в нашей труппе. Однажды в Тамбове Илья Иванович Ознобишин привел на репетицию изящного мужчину средних лет с проседью на висках и с белыми ниточками в красивых, выхоленных, коротко подстриженных усах. Накануне внезапно заболел, простудившись, Песоцкий, который должен был играть Жоржа д'Орси, француза, в комедии «Гувернер». Узнав о болезни Песоцкого, Ознобишин обещал доставить на другой день акте-

ра, который мог бы заменить Песоцкого, прекрасно игравшего эту роль.

Манеры, фигура, изящный французский выговор, знание роли нового актера поразили нас всех. На второй день масленицы ставили «Дон Сезара де Базан». На афише было объявлено, что заглавную роль исполнит Н. П. Изорин, выступавший в ней в Париже. Успех огромнейший. Я видел лучших актеров в этой роли, от Далматова до Петипа включительно, и все-таки считаю Изорина наилучшим, и Гувернера лучшего я тоже никогда не видывал. Впрочем, помню прекрасного Гувернера, которого я видел в 1876 году в Московском артистическом кружке, — это был тоже не профессиональный актер, а любитель. Фамилия его была Беляй.

На масленице Изорин выступал еще два раза в Карле Мооре. Когда в Тамбове кончился сезон, на прощальном ужине отъезжавшие на московский съезд предложили Изорину ехать с ними в Москву, где, по их словам, не только все антрепренеры с руками оторвут, но и Малый театр постарается его захватить.

Изорин встал, красивым жестом поднял бокал и сказал, что, пока Малый театр будет стараться его захватить, его успеют захватить другие, чего ему очень и очень не хочется...

— Рад бы в рай, да грехи не пускают, — ведь я из тех, кому запрещено «на выстрел подъезжать к столице»!

И обратился к Григорьеву:

— А вот если Григорий Иваныч возьмет меня на лето с собой в Моршанск, там я полноправный гражданин.

* * *

В Тамбове Изорин появился перед масленицей, мирно проживал у своего друга, стараясь меньше показываться в «высшем» обществе, где были у него и друзья и враги. Но враги не личные, а по политическим взглядам.

Последние, из старых крепостников, называли его якобинцем, а чиновники, имевшие от правительства по службе секретные циркуляры, знали, что дворянину

Николаю Петровичу Вышеславцеву, высланному из Парижа за участие в Коммуне в 1871 году, воспрещается министром внутренних дел проживание в столицах и губернских городах по всей Российской империи.

В Париже Н. П. Вышеславцев прожил в течение нескольких лет свое состояние и впоследствии был привлечен за участие в Коммуне, но, как русский дворянин известной фамилии, не был расстрелян, а только выслан. Когда он явился в Россию без гроша денег, родственники-помещики отшатнулись от «якобинца», и он проживал у своих друзей по их имениям.

* * *

Моршанск в то время был небольшим городком, известным хлебной торговлей; в нем жило много богатых купцов, среди которых были и миллионеры, как, например, скопцы Плотицыны. Подъезжающих к Моршанску встречали сотни ветряных мельниц, машущих крыльями день и ночь. Внутри города, по реке Цне, стояла когда-то громадная водяная «Кутайсовская» мельница со столетней плотиной, под которой был глубокий омут, и в нем водились огромнейшие сомы.

На берегу Цны, как раз против омута, в старинном барском саду, тогда уже перешедшем к одному из купцов-миллионеров, находился наш летний театр. Около театра, между фруктовыми деревьями, стоял обширный двухэтажный дом, окруженный террасами, куда выходили комнаты, отведенные труппе. Женатые имели отдельные комнаты на верхнем этаже, холостые помещались по двое и по трое. Там же, рядом с квартирой семьи Григорьева, была и большая столовая, но обедали мы больше на широкой террасе, примыкавшей к столовой.

Обед подавался ровно в два часа, после репетиции. Все садились за общий стол — на одной половине семейные, на другой — холостяки. У некоторых отдельные тарелки, свои серебряные ложки, а мы хлебали из общих чашек, куда крошили мясо, и брали его деревянными ложками только тогда, когда до дна кончали первую подачу щей и нам подливали вторую. На второе давали всякое жаркое: то целый баран на двух противнях, то

телячья нога, то гусь с картошкой или индюшка. По воскресеньям обязательно бывали пироги. Всем хозяйством заведовали Анна Николаевна и Надя, в свободное время варившие в саду на жаровнях огромное количество варенья на зиму.

Труппа все время пополнялась. Приходили из разных городов безвестные актеры.

— Григорий Иваныч, я к тебе, — заявляется «благородный отец» Никонов.

Или слышен голос комической старухи Бессоновой, знакомой Анны Николаевны:

— Мой-то мерзавец от меня с хористкой бежал!.. И гардероб весь она увезла, подлюга!

— Ступай наверх, сейчас обедать будем, или к Семилетову, он комнату укажет, — говорил Григорий Иванович Никонову.

— Бедная Марья Егоровна! Ах, он негодяй! Пойдем варенье варить!

Обнимутся, расцелуются.

Сборы были недурные. Особым успехом пользовался Изорин и, как всегда, Григорьев. Вася играл певучих простаков и водевили с молоденькой актрисой Ермиловой. Труппа была трезвая, разве только иногда Изорин «нарежется» дорогими винами — водки он не пил. Григорьев не давал ему денег на руки, а пару платья и пальто, сшитые у лучшего портного, выдали Изорину в счет жалованья, да неудачно: получил он платье в «запойную полосу», тут же его продал и приехал в сад из города с корзиной коньяку «Финь-Шампань» и бутылками шамбертена.

Так без пальто и проходил Изорин весь сезон, появляясь в своем заграничном плаще, ночью служившем ему одеялом, и в поношенной уже чесучовой паре, которую часто отдавал в стирку, а пока стирали, ходил на репетиции, эффектно задрапировавшись в тот же плащ. Наконец Григорьев сам привез ему от портного казинетовые штаны и пиджак.

Приехал еще Львов-Дитю и привез с собой Соню. Он нашел ее в самом несчастном положении в Липецке, в гостинице, где ее бросил Тамара, обобрав у нее даже последние кольца. Она была совершенно больна, и толь-

ко хозяин гостиницы, друг Григорьева, кормил, лечил ее и предлагал денег, чтобы доехать до Тамбова.

В это время Львов узнал о ее положении и поспешил к ней. Соня обрадовалась ему, как родному, и, узнав, что отец с труппой в Моршанске и что в Тамбове, кроме дворника Кузьмы с собакой Леберкой, в театре никого нет, решила поехать к отцу по совету Львова. Он проводил ее, — Соня была слаба и кашляла кровью.

Как-то в шесть часов утра Вася разбудил меня и рассказал, что Соня приехала безнадежно больная. Ее поместили в маленьком павильончике, где жили супруги Казаковы, а их перевели к нам в дом. Но и в этом уютном павильончике больной было неспокойно: с шести вечера до двух ночи гремел на эстраде военный оркестр вперемежку с разными рожечниками, гармонистами и другими шумными аттракционами. Григорий Иванович решил поместить Соню под Тамбовом, в имении своего друга доктора, но без себя не решался отпустить дочь в дорогу, а отъезд его срывал весь репертуар, державшийся отчасти и на нем.

Этот вопрос решила открытка Семилетова из Кирсанова: «Театр в порядке, освещение налажено, оркестр для антрактов имеется, квартиры для актеров приготовлены, афиши расклеены».

Сезон закончили с адресом Григорьеву от публики и подарками кое-кому из актеров. Григорьев с семьей, Казаковы и Львов-Дитю, который вынес Сонечку на руках в экипаж, выехали вечером, а мы, чтобы не обращать на себя внимания жителей, отправились в ночь до солнечного восхода. Не хотели разочаровать публику, еще вчера любовавшуюся блестящими грандами, лордами, маркизами и рыцарями, еще вчера поднесшую десятирублевый серебряный портсигар с надписью: «Великолепному Н. П. Изорину от благодарного Моршанска».

Миновав глухими, сонными улицами уже шумевший базар, проследовала наша телега, на которой сидели три дамы: хорошенькая Ермилова, куколка Рыбакова, ворчунья Бессонова, и величественный, в золотых очках Качевский — за кучера. А кругом мы — кто как, кто в чем... Миновав благополучно городскую заставу,

от которой остался еще один раскрашенный угольниками казенный столб бывшего шлагбаума, мы двинулись по степи, оживленной свистом тушканчиков. На утреннем ветерке мельницы там и тут, по всему горизонту, махали крыльями: большие, шатровые мельницы и маленькие избушки на курьих ножках с торчащим вбок воротом, которым мельник, весь в муке, подлаживал крылья под ветер. Навстречу нам тащились телеги с зерном. Возчики, мужики в серых понитках сверх домотканых рубах, снимали картузы или шляпы-гречушники и отвешивали поклоны. Долго стояли они, пораженные величием Изорина в шляпе Карла Моора с огромными полями и осанкой высокого юноши Белова, важничавшего перед встречными своей красно-желтой кофтой из блестящей парчи, в которой еще на днях Бессонова играла сваху в «Русской свадьбе». На голове у него была, тоже из реквизита, фуражка с красным околышем и кокардой, которую могли носить только дворяне и военные. Белов был крестьянин, сын кирсановского портного, работавшего иногда на приезжих актеров. Он убежал от отца в театр и играл у нас в Моршанске маленькие рольки. Впоследствии, года через три, Белов играл в Пензе Гамлета, а пока он гордо и важно откозыривал мужикам.

Изорин сначала вынимал из поднесенного портсигара папироски «Заря», два десятка которых купил в городе, а потом где-то в деревне раздобыл махорку и до самого Кирсанова искуривал уцелевшую в кармане какую-то роль, затягиваясь с наслаждением «собачьей ножкой», и напевал вполголоса: «Allons enfants de la patrie», благо в глухой степи некому запретить ни «Марсельезу» якобинцу, ни дворянскую фуражку сыну деревенского портного.

На наше счастье, все время погода была великолепная — ни дождей, ни обычного в то время жгучего суховея с астраханских и задонских степей. Ночи были теплые, тихие. Спали мы вповалку, разостлав на земле палатку, которую взяли на случай дождей. Утром мы раздували костерчик, кипятили чайник, днем варили обед, благо картошка даром (рыли в полях), а вечером так же ужинали. Было у нас пшено и греча — кулеш

варили с салом и ветчиной, иногда в редких деревнях покупали яйца, молоко, баранину, курицу. Когда перед отъездом мы попросили Григория Ивановича купить нам картошки (а она была пятиалтынный мера), то он сказал:

— Помилуйте-с, где же это видано, чтобы в августе картошку покупали? Ночью сами накопаете.

* * *

Ваня Семилетов нашел нам квартиры дешевые, удобные, а кто хотел — и с харчами. Сам он жил у отца Белова, которого и взял портным в театр. Некоторые актеры встали на квартиры к местным жителям, любителям драматического искусства. В Тамбов приехали Казаковы и Львов-Дитю. Григорий Иванович был у больной дочери. Его роли перешли к Львову, и он в день открытия играл Городничего в «Ревизоре».

Григорий Иванович, по традиции, каждый сезон открывал обязательно «Ревизором» всюду, будь то губернский город или ярмарочный театр. Для последнего у него был особый «Ревизор», так сильно сокращенный, что труппа в десять человек играла его.

Играли по нескольку ролей каждый, все было очень хорошо. Я играл Добчинского, купца Абдулина и Держиморду, то и дело переодеваясь за кулисами. Треуголка и шпага была одна. Входившие представляться чиновники брали их поочередно. Огромный Городничий повторял свою роль за суфлером, но это уже был не Качевский, его вытребовал Григорьев, а молодой прекрасный суфлер С. А. Андреев-Корсиков.

Вместо уехавшего в Тамбов Семилетова приехал новый декоратор, Яковлев-Чумак, попавший в театр из чумаков: в юности он на волах соль из Крыма возил.

Как бы то ни было, сезон закончился хорошо, труппа переехала в Тамбов, Андреев-Корсиков сманил меня в Рязань, куда получил ангажемент, и мы с ним зашагали по шпалам из Кирсанова в Рязань, ночуя под ставками снеговых щитов, сложенных избушкой, закусывали на станции всухомятку и баловались чайком у путевых сторожей.

От станций мы держались подальше, так как всех документов у нас было — по паре афиш с моим псевдонимом. Андреев-Корсиков мог указать любую фамилию на афише, так как он был безыменный суфлер. Паспортов у нас не было, а Андреев-Корсиков мог бояться всяких властей не меньше меня — недаром он сразу подружился с Изориным и распевал с ним «Марсельезу», которую никто кругом не понимал. Уж много после я узнал, что Андреев-Корсиков был народником и в Москве в начале семидесятых годов ютился в «Чернышах» то у Васильева-Шведевенгера, то у Мишла-Орфанова, а потом служил в Александринском театре и был выслан из Питера за хранение революционных изданий.

* * *

Шли хорошо до Тамбова, но там никого не застали— театр был заперт, и ресторан Пустовалова еще не открывался. Заняли у дворника Кузьмы два рубля и зашагали дальше по шпалам.

Я был одет в пиджак, красную рубаху и высокие сапоги. Корсиков являл жалкую фигуру в лаковых ботинках, шелковой, когда-то белой стеганой шляпе и взятой для тепла им у сердобольной или зазевавшейся кухарки ватной кацавейке с турецкими цветами. Дорогой питались желтыми огурцами у путевых сторожей, а иногда давали нам и хлебца. Шли весело. Ночевали на воздухе. Погода стояла, на наше счастье, теплая и ясная.

Перед Ряжском начались дожди. Здесь Корсиков, окончательно лишившийся лаковых ботинок, обезножил, и мы остановились в номере и стали ходить на вокзал, чтобы устроить как-нибудь проезд до Рязани.

Хозяин, видя наши костюмы, на другой же день стал требовать деньги и уже не давал самовара, из которого мы грелись простым кипятком с черным хлебом, так как о чае-сахаре мы могли только мечтать. Корсиков днем ушел и скрылся. Я ждал его весь день.

Наконец вечером ко мне стучат. Молчу. Слышу—посылают за полицией. Это единственно, чего я боялся, так как паспорта, как я уже говорил, никогда не имел и считал его совершенно излишним, раз я сам налицо.

На улице дождь, буря, темь непроглядная. Я открыл окно и, спустившись на руках сколько можно, спрыгнул в грязь со второго этажа — и с тех пор под этим гостеприимным кровом более не бывал.

Корсиков оказался в Рязани, куда уехал с случайно встреченным приятелем; впрочем, за это коварство я ему благодарен: он меня стеснял дорогой своей слабостью.

Весь мокрый, голодный, я вскочил на площадку отходившего товарного поезда и благополучно ехал всю ночь, только, подъезжая к станции, соскакивал на ходу, уходил вперед и, когда поезд двигался, снова садился.

Как бы то ни было, а до Рязани я добрался. Были сумерки, шел дождь. Подошвы давно износились — дошло до родительских, которые весьма и весьма страдали от несуразной рязанской мостовой.

Добрался до театра. Стучу. Заперто кругом. Стучу в первую попавшуюся дверь и слышу голос:

— Какого там дьявола леший носит?

Клянусь: ангельское пение не усладило бы так мой слух, как эта ругань.

— Семен, отпирай! — гаркнул я в ответ, услышав голос Корсикова.

— Володя, это ты? — как-то сконфуженно ответил мой Корсиков, отпирая дверь.

— Я, брат, я!

Мы вошли в уборную, где в золоченом деревянном канделябре из «Отелло» горел сальный огарок и освещал полбутылки водки, булку и колбасу. Оказалось, что Корсиков в громадном здании театра один-одинешенек. Антрепренер Воронин уехал в деревню, сторожа прогнали за пьянство.

Обменявшись рассказами о наших злоключениях, мы завалились спать. Корсиков в уборной устроил постель из пачек ролей и закрылся кацавейкой, а я завернулся в облака и море, сунул под голову крышку гроба из «Лукреции Борджиа» и уснул сном счастливого человека, достигшего своей цели.

Зажили мы вовсю. Андреев устроил меня помощником режиссера, и я, перезнакомившись со всей труппой, благополучно исполнял свою должность.

Славные в ней были люди, среди них имелись и крупные известности, как, например, Н. П. Киреев, его жена «гран-дам» Е. Н. Николаева-Кривская, актер-поэт Н. С. Стружкин, а нередко заезжали гастролеры из столиц. В числе последних была и служившая в Тамбове инженю Наталья Агафоновна Лебедева с мужем.

Они ехали в Москву служить в Московский артистический кружок, звали и меня с собой, обещая устроить. Впоследствии это приглашение мне очень пригодилось, а пока я остался в Рязани. Сборы были недурные, труппа хорошая, и все товарищи милые люди, кроме разве антрепренера Воронина, грубого и дерзкого человека. Театр был на имя его жены — пожилой актрисы. Фамилию ее я забыл, но помню, что она производила впечатление хорошо воспитанной женщины. Звали ее Марией Людвиговной. И как их свела судьба! Он был здоровенный, пузатый и усатый, с курчавыми волосами, с лицом цвета мулата и солдафонскими приемами. Бывший солдат, потом театральный буфетчик и, наконец, антрепренер. Как-то в иллюстрированном издании «Хижины дяди Тома» я видел картинку с надписью: «Замбо и Квимбо». Изображены на ней были два мулата с бичами в руках, и у каждого на сворке по огромному бульдогу. Морды собак походили на их хозяев, а Воронин походил на обоих этих палачей, терзавших негров.

И обращался Воронин с хористами, статистами и театральными рабочими, как Замбо и Квимбо с неграми, — затрещины сыпались направо и налево, и никто не возражал. Со мной, впрочем, он был очень вежлив, потому что Андреев, отрекомендовав меня, сказал, что я служил в цирке и был учителем гимнастики в полку, а я подтвердил это, умышленно при приветствии пожав ему руку так, что он закричал от боли и, растирая пальцы, сказал:

— Что же это вы кости ломаете!

— Извините, Владимир Павлович, это я так, потихонечку.

Крупных артистов он держал в руках благодаря самому зверскому контракту, какой я когда-либо видел.

В контракте было шестьдесят шесть пунктов. Целиком списываю с оригинала некоторые. Пункт 36-й: «Артисты обязаны брить усы, бороду и бакенбарды». Пункт 62-й: «Артисты не имеют права без письменного разрешения выезжать из города. Отлучаясь из своей квартиры, обязаны оставлять свой адрес, где их можно найти». Пункт 66-й: «Предпринимателю предоставляется право прекратить действие сего договора без ответственности, когда признаки беременности артистки станут заметными».

Весь контракт был сплетением юридических ухищрений, отдающих актера в руки антрепренера без всякой ответственности с его стороны.

И Воронин пользовался своей силой, редко натыкаясь на сопротивление.

Декоратором у него служил сын известного чтеца П. А. Никитина, Адам Павлович Никитин-Фабианский. Человек талантливый, остроумный и озорной. Воронинскую дерзость он долго сносил молчаливо, но в конце концов отомстил жестоко.

Для какой-то пьесы, «Орфея в аду» или «Казни безбожного», задняя декорация изображала ад: кипели грешники в котле, черти подкладывали дрова, в середине восседал на троне сам Вельзевул со своей свитой.

На репетиции декорацию осмотрели, все любовались, а Воронин даже поблагодарил художника.

Вечером спектакль. Сбор полный. На бенефис Воронина собралась почтить вся администрация во главе с губернатором, седые баки которого выглядывали из губернаторской ложи.

Перед самым началом акта Фабианский с красками и кистью вертелся у занавеса и бросал наскоро штрихи то там, то тут. На него никто не обратил внимания. Наконец зычный голос Воронина:

— Васенька, занавес!

Длинный, в люстриновой со сборками поддевке, какую носили старообрядцы, в смазных сапогах, молодой человек, с пробором на середине головы, бесшумно поднял занавес, и под ярким светом рампы загорелась замечательная декорация ада.

Бешеные аплодисменты. Губернатор высунулся из ложи, взглянул и спрятался. Театр гудел.

Публика увидела двух губернаторов: одного в ложе, а другого (с такими же точно баками) заседавшего на декорации на троне Вельзевула... Как живого! Рыжий, с раздвоенной бородой полицмейстер кипит в котле, а огромный курчавый дьяволище, живой портрет Воронина, подкладывает под котел дрова. В следующем котле благообразный городской голова, а вокруг Вельзевула чиновничий и вельможный персонаж города... Кончилось это огромным скандалом. Губернатор приказал арестовать декоратора, но его не нашли, а утром узнали, что он с начала спектакля укатил из города.

Вскоре укатить из города пришлось и мне по его примеру.

Как-то во время спектакля, в последнем антракте, Воронин за кулисами так ударил хориста Клюквина, что у него кровь носом пошла. За это от меня Воронин получил здоровую пощечину. Не успев еще встать с пола, он закричал:

— Позвать пристава!

Запахло протоколом, а при этом и паспорт спросят... вообще скандал!

Я надел пальто и вышел, ни с кем не попрощавшись. Зашел домой, — жил я у певчего недалеко от театра, — заплатил три рубля за квартиру, сказал, что еду в Саратов, распрощался дружески и ушел, захватив с собою свое имущество: узелок с переменой белья. Больше ничего не было. Аркашка Счастливцев был богаче меня — у него афиши были, а у меня и этого не было: афиши с фамилией Луганского, сыгравшего Добчинского, оставил в режиссерской. Вышел и направился к вокзалу, а навстречу мне длинная знакомая фигура шагает: Василий Иванович Солодов.

— Вася, рад, что встретил тебя... Ну, прощай, я на поезд... Удирать надо!

— С чего это? Из-за Воронина, что ли? Мало его били. В прошлом году Рахимов колотил... В третьем Докучаев измордовал и контракт разорвал...

— За полицией послал!

— Да он сам полиции боится. Ведь приставу за хло-

поты дать надо красненькую, а он за рубль удавится. Встал после плюхи, морда распухла — и пошел. Только сказал: «Этого разбойника не пускать в театр, прямо по шее гнать».

* * *

Вася Солодов — сын богатого, но совершенно серого купца, имевшего, кажется, лесной склад. Ему было тогда около двадцати лет, и он был страстный театрал — с детства бывал всегда в театре. Это был его университет, в который он попал прямо из трехклассного народного училища, где он кончил учение первым. Отец и дед не пустили его учиться дальше, а усадили за конторку на складе, доверив ему и кассу, в которой всегда водились тысячи. Они знали, кому верили: не пьет, не курит, не играет в карты, наряжаться не любит — лучшего кассира не придумаешь. Бывало, спросит у отца пять или десять рублей на театр или книги, ответ всегда один:

— Кассыя у тебя на руках, бери, сколько надыть. Все твое да мое.

Против театра ни отец, ни мать ничего не имели. Чтобы не беспокоил их поздним возвращением, ему в доме отделили квартирку, где он и завел библиотеку.

Театр был действительно его университетом: увидел, например, Вася драму «Борис Годунов» на сцене — сейчас Пушкина купил. После «Гамлета» — Шекспира выписал, после «Разбойников» — Шиллера приобрел и читал, читал.

В складе сидит, а книга в руках. Сначала ходил на галерку, потом до задних рядов партера дошел, а там, заведя дружбу с актерами, за кулисами своим человеком стал. Так и прижился. Перед началом спектакля он рабочим и бутафору помогал, а потом его главной бессменной работой было поднимать занавес, что он делал и ловко и бесшумно. Нуждающимся актерам деньжатами помогал, в случае серьезной необходимости и довольно крупно, но пьяницам не любил давать, да и не знался с ними. На репетициях бывать ему было некогда: в конторе служба, в спектакле — у занавеса, так что и в буфет он никогда не заглядывал.

Убедившись, что я решил ехать, Вася предложил зайти к нему и в Москву выехать с шестичасовым поездом. В уютных двух комнатах с книжными шкафами была печечка, из которой Вася вынул горшок щей с мясом, а из шкафа пирог с капустой и холодную телятину и поставил маленький самоварчик, который и вскипел, пока мы ужинали. Решили после ужина уснуть, да проговорили до пяти часов утра — спать некогда.

Мне стыдно было, что он знает больше меня пьес; он перевидал много знаменитостей, говорил о них, передавал свои впечатления об игре, рассказывал сюжеты пьес, которые я узнал много времени спустя.

На мой вопрос, почему он поднимает занавес, когда у него есть средства сидеть в партере, он ответил:

— Только не из жадности! Бывать за кулисами стоит не дешевле, а пожалуй, и подороже, а вот люблю я бывать за кулисами... Не потому, что кругом и короли, и царицы, и рыцари, и герои, с которыми запросто разговариваешь. Нет!.. Сперва, действительно, и это меня интересовало... Вдруг Иван Грозный тебе руку подает или Жанна д'Арк, в латах и золоченом шлеме, обращается с просьбой: «Васенька, застегните мне пряжку— самой не достать»... Дивно все это — вдруг в «Казни безбожника» сатана с рогами и хвостом перед выходом на сцену крестится... Нет, просто я привык за кулисами, передружился с актерами, своим человеком стал. В театре я образование получаю — это мой университет.

Уже на вокзале он дал мне двадцать пять рублей, и, когда я отказывался, он просил его не обижать.

— Спасибо. При первой же получке я вам вышлю, Васенька.

Он замахал руками, а потом прибавил:

— Вот в том-то и дело, что это не долг, а просто я прошу вас исполнить мое поручение. Я никому в долг не даю и вынутые из кармана деньги уже не считаю своими, а пускаю их в оборот — гулять по свету. С вами мы квиты. Но я вам их не дарю, конечно. Только вы их должны не мне, а кому-то другому... И я попрошу вас передать их только тогда, когда у вас будут свободные деньги.

— Да кому же, я не понимаю?

— А вот кому! Когда при деньгах вы встретите действительно хорошего человека, отдайте ему эти деньги или сразу все или несколькими частями — и, значит, мы квиты. А тех, которым вы дадите деньги, обяжете словом поступить так же, как вы. И пойдет наша четвертная по свету гулять много лет, а может, и разрастется. Ежели когда будет нужда в деньгах — пишите, еще вышлю. Всякое бывает на чужой стороне...

На прощанье сказал:

— Сейчас же черкните, как доехали, и адресок, где остановились.

ДОКУЧАЕВ

В тамбовском театре, в большом каменном здании, в нижнем этаже, была огромная кладовая с двумя широкими низкими окнами над самой землей: одно на юг, другое на запад. Эта кладовая называлась «старая бутафорская» и годами не отпиралась.

В старые времена, когда еще Григорьев ездил с своей труппой в летние месяцы на ярмарки, там хранилась бутафория и всякая рухлядь, которая путешествовала с актерами. Как-то великим постом Григорий Иванович позвал машиниста Семилетова:

— Вот ключ, отопри кладовку, да сперва протри снаружи левое окно. Там, под ним, в театральном уголке стоит белый китайский сундук... Помнишь? Мы его с собой возьмем в отъезд.

— Знаю, под колесом!

— А вы, — обратился он ко мне и Васе, — помогите ему вытащить сундук. Только не вздумайте огонь зажигать — там все сразу вспыхнет.

Крякнул ключ, завизжала окованная железом дверь, и мы очутились в потемках — только можно было разглядеть два окна: одно полутемное, заросшее паутиной, другое посветлее. И вся эта масса хлама была сплошь покрыта пылью, как одеялом, только слева непонятные контуры какие-то торчали. Около двери, налево, широкая полка, на ней сквозь пыль можно рас-

смотреть шлемы, короны, латы, конечно бумажные. Над ними висели такие же мечи, сабли, шестоперы.

Это и было начало театрального уголка... В другой половине, где хранились еще от постройки театра строительные материалы — листовое железо и деревянные рамы павильонов, — ничто не остановило внимания под сплошной пеленой пыли.

Вася тихо, стараясь не пылить, пробирался к светлому окну полуощупью.

Вдруг луч солнца ворвался в окно, и поднятая Васей пыль заплясала в широкой золотой полосе, осветившей серые контуры и чуть блеснувшей на кубках и доспехах.

Вася зачихал, выругался... Его звали «чистоплюй»: он по десять раз в день мыл руки, а когда пил водку, то последнюю каплю из рюмки обязательно выливал на ладонь и вытирал чистым платком. В кармане у него всегда были кусочки белой бумаги. Он никогда не возьмется за скобку двери иначе, как не обернув ее бумажкой. А тут такая пыль!

Вася так чихнул, что над головой его поднялась облаком пыль и густыми клубами, как бы из трубы, поползла по лучу. А Вася все чихал и ругался:

— Мордой в сатану угодил!

Солнце осветило над ним золотой трон и сидящую фигуру в блестящей короне, над которой торчали золотые рога. Вася продвинулся дальше, — и снова клуб пыли от крутнувшего огромнейшего широкого колеса, на котором поднялась и вновь опустилась в полумраке человеческая фигура: солнце до нее не дошло. Зато оно осветило огромного, красного сквозь пыль идола с лучами вокруг головы.

— Вот он и сундук, — слышу из тучи пыли.

— Помочь? — спрашиваю.

— Да он легкий, сейчас выну!

Дернул он из-под колеса, колесо закрутилось, и я увидел привязанную к нему промелькнувшую фигуру человека. Выпрастывая сундук, Вася толкнул идола, и тот во весь свой рост, вдвое выше человеческого, грохнулся. Загрохотало, затрещало ломавшееся дерево, зазвенело где-то внизу под ним разбитое стекло. Солнце скрылось, полоса живого золота исчезла, и в полумраке

из тучи пыли выполз Вася, таща за собой сундук, сам мохнатый и серый, как сатана, в которого он ткнулся мордой.

Задыхаясь, ругаясь и продолжая неистово чихать, он выбросил сундук в коридор и запер дверь.

Пока Вася отряхивался, я смахнул пыль с сундука. Он был белый, кожаный, с китайской надписью. Я и Вася, взявшись за медные ручки сундука, совершенно легкого, потащили его по лестнице, причем Вася обернул его ручку бумажкой и держал руку на отлете, чтобы костюмом не коснуться ноши. За стеной, отделявшей от кладовки наши актерские номерки, в испуге неистово лаяла Леберка, потревоженная неслыханным никогда грохотом. Я представил себе, как она лает, поджав свой «прут», как называют охотники хвост у понтера.

* * *

За вечерним чаем, как всегда, присутствовали друзья Григорьева: суфлер Ф. Ф. Качевский, А. Д. Казаков и В. Т. Островский.

— Григорий Иванович, что такое страшное колесище там? А в нем будто человек привязан.

— Это вот он привязан. — И Григорий Иванович указал пальцем на Казакова.

— Уж и я? Просто мое чучело, — ответил Казаков точь-в-точь тем же тоном, как он, играя Аркашку, отвечал Несчастливцеву на слова его: «Тебя четыре версты нагайками в Курске гнали». — «Уж и четыре?»

Точь-в-точь тот же самый тон и то же выражение лица.

— Ты расскажи лучше, как тебя колесовали, — не отставал Григорьев.

— Уж и колесовали? Никто меня не колесовал. — И, игнорируя Григорьева, Казаков обратился ко мне, как к человеку новому, и продолжал рассказывать давно известное другим собеседникам: — Играл я дон Педро; тогда еще я крепостным был. На сцене суд инквизиции. Присудили дон Педро колесовать. А вот это самое колесо в глубине сцены стоит, а кругом сбиры, полиция в

черных кафтанах, на голове черные колпаки, лица в черных масках. Среди них огромный палач весь в красном. И вот прямо от стола судей — они монахи и тоже в черных масках — повел меня палач к колесу. Сбиры нас окружили, незаметно от публики меня опустили в люк, а вместо меня приготовили чучело, одетое так же, как и я. Театр был летний, открытый; партер и ложи полны съехавшимися со всей губернии помещиками, кругом театра народищу видимо-невидимо, свои крепостные и соседи мужики. Мать мою и сестер — ведь я первейший придворный актер у нас считался — в партер усадили в углу, на скамейке вместе с семьями камердинера и дворецкого. Палач привязал дон Педро и крутнул колесо. «Санька-а-а-а!» — раздался вопль мамы, а за ней вой в народе. В партере и ложах с барынями истерики. В этот момент я уже разгримировался и стал разуваться, как ко мне в уборную вбежал сам Мосолов, схватил меня и в костюме, но без парика, одна нога в сапоге со шпорой, а другая босая, на сцену вытащил.

Как только увидали меня, зааплодировали, кто-то крикнул «ура». За ним все — и господа и народ кругом. Все «ура». Рев звериный! Да-с, такого успеха никогда я больше не имел.

— Как называлась эта пьеса? — спрашиваю.

— «Дон Педро, или Испанская инквизиция». Она самодельная. Мосолов ее из испанского романа переделал для своего театра и после спектакля сжег в камине.

— Я уж жалел, вот бы сборы делала, — перебил Григорий Иванович. — Лучше бы он пьесу мне прислал, а то десять возов рухляди: колесо и Перуна на отдельных дрогах везли.

— А сатану в кресле? — спрашиваю.

— Нет, сатана доморощенный, мы сами делали для «Казни безбожника».

— А Перун наш, — поторопился Казаков. — Потом Мосолов ставил «Крещение Руси, или Владимир Красное Солнышко». Декорации писать стали: Перуна сделали из огромнейшего осокоря, вырубленного в парке, да тут у барина с барыней вышла заворошка, она из ревности потребовала закрыть театр и распустить актеров.

Имущество все театральное свалили в сарай, труппу разогнали, кого на работы в дальние имения разослали, а я бежал...

Я слушал интереснейшие рассказы Казакова, а перед моими глазами еще стояла эта страшная бутафория с ее паутиной, контурами мохнатых серых ужасов: сатана, колесо, рухнувшая громада идола, потонувшая в пыли. Пахло мышами.

А Вася, когда мы уже принесли сундук, переодевались и мылись дома, заметил:

— Какой ужас! Вечером ни за что не пойду туда. Вельзевул этот, а над ним Перун, — так мне и кажется, что в окно кто-то лезет... лезет... Запри, кажется, меня на ночь туда — утром найдут бездыханным, как Хому Брута...

И сразу передо мною предстал гоголевский «Вий». Потом, когда уже я оставил Тамбов, у меня иногда по ночам галлюцинации обоняния бывали: пахнет мышами и тлением. Каждый раз передо мной вставал первый кусочек моей театральной юности: вспоминались мелочи первого сезона, как живые, вырастали товарищи актеры и первым делом Вася.

Вспоминался чай у Григорьева... и красноносый Казаков с его рассказами, и строгое лицо резонера В. Т. Островского. Помню до слова его спор за чаем с Казаковым, который восторгался Рыбаковым в роли Велизария.

— Нет, Милославский был лучше и величественнее. Ведь он был барон Фриденбург... и осанка...

— А как он тебя в «Велизарии» сконфузил? А? Ну-ка, расскажи молодому человеку.

— И горжусь этим...

Мы приготовились слушать, допив последний чай. В. Т. Островский поставил стакан на блюдечко, перевернул вверх дном и положил на дно кусочек сахара.

— Ну-с, это было еще перед волей, в Курске. Шел «Велизарий». Я играл Евтропия, да в монологе на первом слове и споткнулся. Молчу. Ни в зуб толкнуть. Пауза, неловкость. Суфлер растерялся. А Николай Карлович со своего трона ко мне, тем же своим тоном, будто продолжает свою роль: «Что же ты молчишь, Евтропий?

Иль роли ты не знаешь? Спроси суфлера, он тебе подскажет. Сенат и публика уж ждут тебя давно».

Не успел Островский договорить последнюю фразу, как отворилась дверь, и высокий тенор наполнил всю комнату:

«Богам во славу, князю в честь!»

Против меня у распахнутой двери стоял стройный высокий богатырь в щегольской поддевке и длинных сапогах. Серые глаза весело смотрели. Обе руки размахнулись вместе с последней высокой нотой и остановились над его седеющей курчавой головой. В левой — огромная жестяная банка, перевязанная бечевкой, а в правой — большой рогожный кулек.

— Миша! — раздалось встречное приветствие.

— Гриша! Это икорка сальянская!..

Банку поставил к ногам хозяина, а кулек положил на пол у стула перед хозяйкой, приложившись к ее руке.

— Стерлядок вам, Анна Николаевна, саратовские, пылкого мороза.

Поцелуи, объятия.

В это время Вася шепчет мне:

— Это вот тот самый — Докучаев. Помнишь, в «Свадьбе Кречинского» Расплюев жалуется: «После докучаевской трепки не жить».

Я так и обомлел. Пьеса эта прошла в сезон пять раз и была у меня на слуху.

— Могу я об этом его спросить, Вася?

— Не советую. В какой час попадешь!

— Михаил Павлович, позволите чайку, — спросила хозяйка.

— Гриша, чайку-то чайку, а что к чайку?

— А к чайку ромку. Еще осталось малость, никому не даю, на случай простуды берегу!

Докучаев как-то съежился, изменил лицо, задрожал, застучал зубами.

— Я ужасно простужен, — чуть не плачет.

— Сейчас вылечу, принесу, — наклонился к кульку и отступился. — Не поднимешь. Да ты пуд, что ли, привез?

— Да, около того, без малого с лишком... Извини, Гриша, уж сколько было.

Докучаев опрокинул бутылку в пустой чайный стакан, который оказался почти полным, затем поднял его и продекламировал:

Убей меня господь бог громом,
Не будь лихим я казаком,
Когда испорчу чай я ромом
Или испорчу чаем ром.

И залпом выпил.

* * *

Несмотря на просьбы Григорьева погостить, Докучаев отказался:

— Меня телеграммой вызвал Лаухин. Я у него режиссером, для Орла еду труппу составлять.

На другой день перед отъездом Докучаев спустился вниз к В. Т. Островскому, который звал его «дорожку погладить» и приготовил угощение.

Большая низенькая комната, увешанная афишами и венками. Вдруг Докучаев замолчал, поднял голову, озираясь:

— Это та самая комната?

— Да, — подтвердил В. Т. Островский.

— Какие подлецы!.. А жаль Гришу... Совсем зря погиб... — И, задумавшись, молча выпил.

— Еще!..

Я уже знал тайну этой комнаты. В ней был застрелен наповал ворвавшимся неожиданно гусаром актер Кулебякин.

Накануне он публично оскорбил офицеров, в том числе и этого гусара. И вот, рано утром, на другой день, гусар разбудил спавшего Кулебякина и, только что проснувшегося, еще в постели, уложил пистолетной пулей.

Как-то Кулебякин студентом однажды приехал на ярмарку в Урюпино покупать лошадь, прокутил деньги и, боясь отца, поступил к Григорьеву на сцену.

Огромного роста, силы необычайной и «голос, шуму вод подобный». В своих любимых ролях — Прокопия

Ляпунова, боярина Басенка, Кузьмы Рощина — он конкурировал с Н. Х. Рыбаковым.

Докучаев набивал «жуковским табаком» трубку на длинном чубуке. Вася молчал. Тут я и решился.

— Михаил Павлович... Кого здесь убили?

— Не знаешь? Ты не знаешь?

Он встал и загремел:

— «Его, властителя, героя, полубога...» Друга моего Гришу Кулебякина убили здесь... «Человек он был». «Орел, не вам чета»... Ты видишь меня? Хорош?.. Подковки гнул. А перед ним я был мальчишка и щенок. Кулачище — во! Вот Сухово-Кобылин всю правду, как было, написал... Только фамилию изменил, а похожа: Ку-ле-бя́-кин у него Семи-пя-дов. А мою фамилию целиком поставил: «После докучаевской трепки не жить!» После истории в Курске не жить!

Разошелся, глаза блестят. Голос гремит по комнате.

— А было это под Курском, на Коренной ярмарке... Тогда съезжались помещики из разных губерний, из Москвы коннозаводчики бывали, ремонтеры... Ну, конечно, и шулерам добыча, игры тысячные были... А мы в то лето с Гришей в Курске служили — поехали прокатиться на ярмарку... Я еще совсем молодым был. Деньги у меня были, только что бенефис взял. Приехали, — знакомых тьма... Закрутили... Захотелось в картишки. Оказалось, что с неделю здесь ответный банк мечет какой-то польский граф Красинский. Встретились со знакомым ремонтером, тоже поиграть к графу идет; взялся нас провести — пускают только знакомых. Большая мазанка в вишневом саду. Человек десять штатских и офицеров понтируют, кто сидит, кто стоит... Пол усыпан картами. На столе груды денег... Мечет банк франт с шелковистыми баками и усиками стрелкой. На руках кольца так и сверкают. Вправо толстяк с усами, помещичьего вида, следит за ставками, рассчитывается, а слева от банкомета боров этакий, еще толще, вроде Собакевича, в мундире. Оказалось после — исправник, тоже помогал рассчитываться. Кулебякин сел за стол и закурил сигару; он не любил карт. Я сразу зарвался, ставлю крупно, а карта за картой все подряд биты. «Пойдем, шулера», — шепчет мне Гриша. Я от него отмахиваюсь и ставлю.

Разгорячился. Опять все карты — крупная была ставка — биты. Подается новая колода карт. Вдруг вскакивает Гриша, схватывает через стол одной рукой банкомета, а другой руку его помощника и поднимает кверху: у каждого по колоде карт в руке, не успели перемениться: «Шулера, колоды меняют!» На момент все замерло, а он схватил одной рукой за горло толстяка и кулачищем начал его тыкать в морду и лупить по чем попало... Граф заорал: «Цо?.. Цо?.. Разбой здесь», — и ловит за руку Гришу. Тогда уж я его по морде... С ног долой... Кругом гвалт, стол опрокинулся, а Гриша прижал своего толстяка к стене, потянулся через стол и лупит по морде кулаком... Исправник бросился на меня... Я исправника в морду... Стол вверх ногами... Исправник прыгнул к окну и вылезает... Свалка... Графа бьют... Кто деньги с полу собирает... Исправник лезет в окно — высунул голову и плечи и застрял, лезет обратно, а я его за ноги и давай вперед пихать. Так забил, что ни взад, ни вперед... голова на улице, ноги здесь, а пузо застряло. Потом пришлось стену рубить, чтоб его достать. Когда я приехал зимой в Москву, все уже знали. Весь Малый театр говорил об этом. У Печкина в трактире меня актеры чествовали. Сам Михаил Семенович Щепкин просил рассказать, как все это было. А узнали потому, что на ярмарке были москвичи-коннозаводчики и спортсмены и рассказали раньше всю историю. Оказалось, что граф Красинский вовсе не граф был, а шулер.

* * *

Прошло много лет, и в конце прошлого столетия мы опять встретились в Москве. Докучаев гостил у меня несколько дней на даче в Быкове. Ему было около восьмидесяти лет, он еще бодрился, старался петь надтреснутым голосом арии, читал монологи из пьес и опять повторил как-то за вечерним чаем слышанный мной в Тамбове рассказ о «докучаевской трепке». Но говорил он уже без пафоса, без цитат из пьес. Быть может, там, в Тамбове, воодушевила его комната, где погиб его друг.

Я смотрел на эту руину былого богатыря и забияки и рядом с ним видел другого, возбужденного, могучего,

слышал тот незабвенный, огненный монолог. Самое интересное, что я услышал теперь от постаревшего Докучаева, был его отзыв о В. В. Самойлове.

— Это был лучший, единственный Кречинский... Глядя на Василия Васильевича, на его грим, фигуру, слушая его легкий польский акцент, я видел в нем живого «графа», когда вскочил тот из-за стола, угрожающе поднял руку с колодой карт... И вот в сцене с Нелькиным, когда Кречинский возвышает голос со словами: «Что? Сатисфакция?» — сцена на ярмарке встала передо мной: та же фигура, тот же голос, тот же презрительный жест... Да, это был великий артист. Придумать польский акцент, угадать жесты, грим... И как рад был Василий Васильевич, когда я зашел к нему в уборную и рассказал все, что говорю теперь вам... Он меня обнял, поцеловал и пригласил на другой день к себе обедать, а я запутался и не попал, потом уехал в провинцию и больше не видал его, и не видал больше на сцене ни одного хорошего Кречинского — перед Василием Васильевичем Самойловым каждый из них был мальчишка и щенок.

На другой день в вагоне дачного поезда, уже перед Москвой, я спросил:

— Встречался ли ты, Миша, с Сухово-Кобылиным? Уж очень он метко описал всю сцену.

— Нет, с ним не встречался. А может, он сам видел эту сцену? Наверное, бывал на ярмарке. Картежник он был и лошадник. У него в Москве были призовые лошади, сам он участвовал на московских скачках, первые призы выигрывал. А потом под Ярославлем у него имение было. А в Ярославле в то время жил и тот, с кого он Кречинского писал... Шулер Красинский за графа сперва себя выдавал. А вот этого толстяка, с которого он Расплюева писал, из которого Гриша тогда «дров и лучин нащепал», я встретил в Ярославле. Он был и шулер, и соборный певчий, и служил хористом в ярославском театре. Его там Егорка Быстров в шулерстве поймал. Из окна выкинули.

Последние слова он договорил, когда наш дачный поезд остановился у платформы Рязанского вокзала.

— Егорка Быстров сам игрок.

Наконец судьба Докучаева устроилась — и совершенно случайно. На Тверской встречаю как-то Федю Горева и зову его к себе на дачу.

— Не могу, завтра вечером в Питер еду.

— А у меня Докучаев гостит!

— Миша? Михаил Павлович? Да ну? Ведь благодаря ему я теперь и разговариваю с тобой. Кабы не он, и Горева не было бы, а торговал бы в Сумах Хведор Васильев ситцем.

Я рассказал ему, что старик бедствует.

— Так привози его мне завтра утром. Я живу в «Ливадии». Знаешь? Против «Чернышей». Там писатель Круглов живет, в соседнем номере.

* * *

Обрадовался старик, узнав о Гореве.

— Я его придумал. Мы играли тогда в Сумах. Вхожу в лавку — и обалдел. За прилавком стоит юноша неописуемой красоты. Фас — Парис, а в профиль — Юлий Цезарь... Представь себе, Юлий Цезарь, вместо боевого меча отмеривающий железным аршином ситец какой-то бабе и в чем-то неотразимо убеждающий ее. Голос звучный, красивый. Ну, я ему сейчас контрамарку. Велел за кулисы прийти. На другой день зашел к нему, познакомился с отцом. Красавец-старик, отставной солдат из кантонистов, родом с Волыни, мать местная... славная... Ну, дальше — больше. Сыграл у меня Федя Васильев несколько ролишек — я ему начитал, вижу — талантище. Увез с собой в Харьков, определил к Дюкову — и вот Горев.

Привез я на другой день старика к Гореву, и больше мы не видались. Горев в тот же день уехал с ним в Питер и определил его в приют для престарелых артистов.

Я слыхал от бывавших там, что старик блаженствует и веселит весь приют. Рассказывает про старину, поет арии из опереток и опер, песни, с балалайкой не расстается.

Артисты иногда собирались в большой столовой и устраивали концерт — кто во что горазд. Кто на рояле играл, кто пел, кто стихи читал. Расшевеливали и его.

— Ну-ка, Миша, тряхни стариной!

И Докучаев запевал своим высоким, но уже надтреснутым голосом. Дойдя до своей любимой арии Торопки, на высокой ноте обязательно петуха запускал и замолкал сконфуженно.

Тут обычно кто-нибудь ему кричал:

— Топорище!

И он вновь оживлялся — тряхнув балалайкой, топнув ногой, начинал звонко, с приплясом, выводить:

А и кости болят,
Все суставы говорят...

Пел и подплясывал... А когда заканчивал, раздавались аплодисменты. Но дамы делали вид, что не понимают, и только старуха Мурковская, бывшая гран-дам, лаская неразлучную с ней Моську, недовольно ворчала:

— И все врет, и все врет. Хвастунишка!

Придя в общежитие откуда-то навеселе, Миша появился в столовой с балалайкой и сразу запел:

Близко города Славянска...

И, как всегда, на верхней ноте голос оборвался, и по обыкновению кто-то крикнул:

— Топорище!

И он опять-таки, как всегда, лихо закончил последний куплет под аплодисменты и... грохнулся на пол.

Старое сердце не выдержало молодого порыва.

ДРУЗЬЯ

В старые времена не поступали в театр, а попадали, как попадают не в свой вагон, в тюрьму или под колеса поезда. А кто уж попал туда — там и оставался. Жизнь увлекательная, работа вольная, простота и перспектива яркого будущего, заманчивая и достижимая.

Здесь «великие» закулисного мира смотрят на мелкоту, как на младших товарищей по сцене, потому что и те и другие — люди театра. Ни безденежье, ни нужда, ни хождение пешком из города в город не затуманивали убежденного сознания людей театра, что они люди особенные. И смотрели они с высоты своего призрачного величия на сытых обывателей, как на людей ниже себя.

— Горд я, Аркашка, — говорил Несчастливцев, шагая пешком из Керчи в Вологду, встретив Счастливцева, шагавшего из Вологды в Керчь...

И пошли вместе старые друзья, с которыми я служил на одной сцене. Именно с них, с трагика Николая Хрисанфовича Рыбакова и комика Александра Дмитриевича Казакова, писал Островский героев своего «Леса».

— Для актера трактир есть вещь первая, — говорил Аркашка.

Я имел незабвенное удовольствие не раз сидеть с ними за одним столом в актерском трактире «Щербаки».

* * *

...Владимирка — большая дорога. По избитым колеям, окруженная конвоем, серединой дороги гремит кандалами партия арестантов. Солнце жарит... Ветер поднимает пыль. Путь дальний — из Московской пересыльной тюрьмы в Нерчинскую каторгу.

По обочине, под тенью берез, идут с палками и тощими котомками за плечами два человека. Один — огромный, в каком-то рваном плаще, ловко перекинутом через плечо, в порыжелой шляпе, с завернутым углом широких полей. Другой — маленький, тощий, в женской кофте, из-под которой бахромятся брюки над рыжими ботинками с любопытствующим пальцем.

Большой широко шагает с деловым видом, стараясь не обращать на себя внимания встречных. Другому не до встречных: он торопится догнать спутника. Рыжая бороденка мочалкой, мокрая и серая от пыли и пота, текущего струйками по лицу.

Но все-таки их заметили. Молодой парень первой шеренги, улыбаясь безусым губастым ртом, гремит наручниками, тыча в бок скованного с ним соседа, тоже, как и он, с обритой наполовину головой:

— Глянь-ка, актеры! Гы... гы!

— Не смейся, щенок! Может, сам хуже будешь!

Да ведь это было. Было. Николай Хрисанфович в семидесятых годах в «Щербаках» в дружеской компании рассказывал этот анекдот.

— Мы шли вот с Сашкой Казаковым из Владимира в Москву, меня вызвали в Малый, дебютировать в «Гамлете». Помнишь, Сашка? Ты тогда от своего барина бежал и слонялся со мной. Сколько я тебя выручал!

— Да-с, Николай Хрисанфыч. Ежели бы не вы, запорол бы меня барин.

— А как я тогда играл Гамлета! Это было в 1851 году. Как играл!

— А потом, когда вас приняли в Малый, вы плюнули и сказали: «Не хочу быть чиновником!» — И мы ушли... В Воронеж ушли... А там вы меня выкупили у барина.

Это подтверждение Казакова было нужно, потому что Рыбаков любил приврать. Казакова тогда уже знали как

известного провинциального комика, скромного и правдивого человека, и уважали его. Все знали и его прошлое, хотя он усиленно старался скрыть его.

Помещик Мосолов держал у себя в тамбовском имении театр, и Сашка Казаков, один из лучших актеров его крепостной труппы, крепко провинился перед барином тем, что сошелся с барской любовницей, крепостной актрисой. Барин выпорол его и пообещал запороть досмерти, если он еще позволит себе ухаживать. Грех случился. Барину донесли. Актрису он сослал в скотницы, а Казакова приказал отвести на конюшню пороть. Он вырвался, убежал, попал в труппу Григорьева, а потом уж Рыбаков оттуда увез его в Москву, выкупил на волю и много лет возил с собой.

* * *

О знаменитом Н. Х. Рыбакове, друге А. Н. Островского, остались только одни анекдоты и ничего больше. Когда-то я записывал рассказы старых актеров и собирал их.

В первые годы моей литературной работы журналы и газеты очень дорожили этим материалом, который охотно разрешался цензурой. Газета, печатавшая их, даже завела отдел для этого материала под рубрикой «Записки театральной крысы».

Вот что сохранилось в моей памяти о знаменитом Н. Х. Рыбакове.

Двадцать лет Рыбаков сердился на Москву. Двадцать лет он приезжал постом то в знаменитый «Белый зал», то в неизменные актерские «Щербаки», и двадцать лет упорно не хотел выступать на московских сценах, даже несмотря на просьбу своего друга А. Н. Островского.

И было на что рассердиться: в 1851 году Н. Х. Рыбаков удачно дебютировал в «Гамлете» и «Уголино» на сцене Малого театра Канцелярская переписка о приеме в штат затянулась на годы. Когда, наконец, последовало разрешение о принятии его на сцену, то Н. Х. Рыбаков махнул рукой: «Провались они, чиновники!»

И снова загремел по провинции.

В начале семидесятых годов в Москве, на Варварской площади, вырос Народный театр. Драматург Чаев, помнивший дебют Н. Х. Рыбакова в Малом театре, порекомендовал режиссеру А. Ф. Федотову пригласить Н. Х. Рыбакова в его труппу.

— Орало! Оралы нынче не в моде!

Эта фраза Федотова потом была увековечена А. Н. Островским.

— Да вы посмотрите, Александр Филиппович, сколько правды в нем, как он талантлив!

Н. Х. Рыбаков был приглашен на поспектакльную плату в двадцать пять рублей.

Народный театр открылся «Ревизором», и Н. Х. Рыбаков сыграл Землянику. Да так сыграл, что на каждую его реплику публика отвечала:

— Рыбаков, браво!

А на другой день в «Московских ведомостях» у Каткова появилась статья об открытии театра и отдельная о Н. Х. Рыбакове, заканчивающаяся словами: «Честь и слава Рыбакову!»

И сразу вырос в Москве Н. Х. Рыбаков во весь свой огромный рост.

Следующей пьесой шла «Бедность не порок». Любима Торцова играл лучший из Любимов Торцовых — артист Берг, а Гордея — Рыбаков.

В третьем акте, когда Гордей говорит: «Да что ж, я зверь, что ли?», публика забыла всех исполнителей и закатила несмолкаемую овацию Рыбакову.

В тот же вечер Берг отказался играть Любима, если Гордея будет играть Рыбаков.

С этого дня Берг и Рыбаков стали чередоваться в спектаклях «Бедность не порок».

Перешел Народный театр к князю Урусову и Танееву. Рыбаков занял в театре первое место. А. Н. Островский создал «с него» и для него «Лес». Николай Хрисанфович поставил в свой бенефис «Лес», где изображал самого себя в Несчастливцеве. Аркашку играл знаменитый Н. П. Киреев, чудный актер и талантливый писатель, переводчик Сарду.

Театр полон... Встреча — сплошная овация. Наконец слова Несчастливцева:

«Последний раз в Лебедяни играл я Велизария. Сам Николай Хрисанфович Рыбаков смотрел...»

Взрыв аплодисментов. Это был триумф невиданный. Но об этом забылось, а ходили только анекдоты о нем.

Рыбаков — богатырь, огромного роста, силы необычайной, но добрый и тихий, как ягненок.

И при славе первого светилы всегда был отзывчивый к «мелкоте». Шли к нему полуголодные «Аркашки», и отказа не было никому.

В Тамбове Николай Хрисанфович играл боярина Басенка в драме Н. Кукольника «Боярин Ф. В. Басенок». В одной из сцен Басенок схватывает шестопер и, размахивая им, читает свой бешеный монолог, от которого у публики мозги стынут: «Бык с бойни сорвался, тигр вырвался из клетки».

Мечется по сцене, угрожая палицей. Реквизитор, не позаботясь сделать палицу, принес из мастерской двухпудовый молот. С этим молотом провел всю сцену Рыбаков, а потом только выругал изящного и худенького режиссера Песоцкого:

— Тебе бы, дураку, такой молот дать!.. Посмотрел бы я!

Бывали с этим колоссом и такие случаи: в семидесятых годах, во время самарского голода, был в Москве, в Немчиновке, поставлен спектакль в пользу голодающих. Шло «Не в свои сани не садись». Русакова играл Николай Хрисанфович, а остальных изображал цвет московских любителей: В. А. Морозова (Дуню), П. А. Очкина, С. А. Кунин, Дм. Н. Попов и другие.

После утренней репетиции, в день спектакля, на товарищеском завтраке Николай Хрисанфович выпил «лишние полведра» и загулял.

Его отвезли домой. Жил он на Тверской, в доме графа Олсуфьева, в актерских меблирашках—«Чернышах».

Но оставаться дома Николай Хрисанфович не пожелал и собрался в трактир к Тестову. Несмотря ни на какие просьбы окружающих, надел шубу, шапку, калоши и вышел в коридор. Его стали останавливать друзья.

— Прочь! — загремело по коридору, и все отхлынули от «боярина Басенка».

На крик выбежала маленькая, кругленькая содержа-

тельница номеров Калинина и с визгом набросилась на Рыбакова:

— Ты что же это, безобразник? Чего орешь?.. Пошел назад! Ну, поворачивайся! — И впихнула растерявшегося гиганта в номер. — Шубу долой! Снял? Сапоги снимай!

Послушно разулся Николай Хрисанфович, а хозяйка взяла сапоги и вышла из номера. Все молчали и ждали грозы.

— Нет, какова? — добродушно рассмеялся Рыбаков и уснул до спектакля.

* * *

В числе московских друзей Николая Хрисанфовича был тогда юный Миша Садовский, сын его старого друга Прова Садовского. Все трое были друзья А. Н. Островского.

Миша родился уже в Москве. Сын Прова вырос в кругу талантов и знаменитостей; у его отца собиралось все лучшее из артистического и литературного мира, что только было в Москве: А. Н. Островский, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Ф. Писемский, А. А. Потехин, Н. С. Тихонравов, Аполлон Григорьев, Л. Мей, Н. А. Чаев и другие. Многие из них впоследствии стали друзьями Михаила Провыча.

И в этой среде из юноши-актера выработался талантливый писатель и переводчик.

В начале девяностых годов в Москве издавался Ф. А. Куманиным журнал «Артист», который очень любил Михаил Провыч.

Как-то зимой Михаил Провыч принес в редакцию «Артиста» свою рукопись, и собравшийся кружок сотрудников просил его прочесть что-нибудь из нее. Михаил Провыч прочел несколько отдельных сцен, которые то захватывали душу, то вызывали гомерический хохот.

— Вот так-то и Александр Николаевич Островский хохотал, когда я ему рассказывал эту быль, конечно, разукрашенную... Благодаря ему и рассказ этот «Дикий человек» я написал — это он потребовал.

Тогда Ф. А. Куманин и упросил Михаила Провыча упомянуть об этом в примечании к рассказу.

Примечание к рассказу было такое: «В конце семидесятых годов, в один из моих приездов к А. Н. Островскому в Щелыково, мы, по обыкновению, сидели с ним около мельницы с удочками; рыба не клевала; Александр Николаевич был скучен. Желая его развлечь, я принялся болтать всякий вздор и как-то незаметно перешел к рассказу о том, как некий бедный человек от нужды поступил в дикие. Пока я фантазировал на все лады, Александр Николаевич не спускал с меня глаз, и, когда я кончил фантастическое повествование, он взял с меня слово непременно написать этот рассказ. Несколько раз я пытался исполнить его желание, но все не удавалось. Теперь, написав его, я счел обязанностью посвятить мой первый беллетристический опыт памяти знаменитого драматурга и моего дорогого учителя».

После напечатания этого рассказа Общество любителей российской словесности почтило Михаила Провыча избранием его в свои действительные члены.

Всегда веселый, Михаил Провыч отмечал все интересное эпиграммами и экспромтами. Так, когда появился нелепый морозовский «замок» на Воздвиженке, он сказал:

Сей замок на меня наводит много дум,
И прошлого мне стало страшно жалко.
Где прежде царствовал свободный русский ум,
Там ныне царствует фабричная смекалка.

Когда управляющим театрами назначили вместо пехотного офицера Пчельникова кавалериста Теляковского, Михаил Провыч пустил следующее четверостишие:

Управляла когда-то пехота
Образцовым искусства рассадником,
А теперь управленья забота
Перешла почему-то ко всадникам...

Войдя как-то на репетицию в Малый театр, Михаил Провыч услыхал жестокий запах нафталина и тут же сказал:

Не житье нам, а малина,
Этот запах нафталина
Убеждает всех, что Боль
Выводил в театре моль.

Остроумны были многочисленные басни Михаила Провыча, писавшиеся им нередко на злобу дня и ходившие по рукам с его любимой подписью: «Хемницер П.».

Он владел пятью языками, в том числе испанским, и переводил пьесы без словаря.

Коренной москвич, он всей душой любил Москву, любил Россию и никогда не бывал за границей. Когда его приглашали за границу, он всегда отказывался и говорил:

— Я лучше поеду на Оку, на Волгу стерлядей да икру есть.

Чистый, самобытный москвич, он для шутки иногда любил сказать по-старомосковски:

— Я намедни его встретил у Трухмальных ворот, — и говорил это так, как будто иначе и нельзя сказать.

Сыну Михаила Провыча, тоже артисту Малого театра, Прову Михайловичу, я как-то, вспоминая отца и деда, сказал:

Пров велик и славен был,
Был велик и Михаил.
Слава их сверкает снова
Нам в таланте ярком Прова.

БУРЛАКИ

Рассветало, когда мы с Андреевым-Бурлаком вышли от А. А. Бренко. Народу на улицах было много. Несли освященные куличи и пасхи. По Тверской шел народ из Кремля. Ни одного извозчика, ни одного экипажа: шли и по тротуарам и посреди улиц. Квартира Бурлака находилась при театре в нижнем этаже, вход в нее был со двора.

Три хорошо обставленные комнаты, кабинет с кроватью, письменным столом и книжным шкафом, столовая с кожаной мебелью, большая комната с буфетом и двумя турецкими диванами и обширная прихожая, где за загородкой помещался его слуга Федор, старик, бывший камердинер его дяди.

Федор уже позаботился накрыть на стол: кулич и баба из булочной Филиппова, пасха, блюдо крашеных яиц и разные закуски. Федор не спал, он вернулся от заутрени и поддерживал огонь в кипевшем самоваре. Расцеловались со стариком.

— Вот, Федя, мой друг Владимир Алексеевич, будет жить у нас. Нравится? Ну, вот завтра и переезжай!

— Да я уж переехал. А чемодан завтра принесу!

Мы пили чай, второй раз разговелись, чтобы поддержать компанию старику, изображавшему хозяина дома.

На другой день я принес свой чемодан из соседних номеров Голяшкина, излюбленных актерами. Федор вы-

нул черную пару и белую полотняную и повесил в гардероб.

Увидел как-то Бурлак мои белые штаны.

— Пожалуй, они мне впору будут. Дай-ка померяю. . Хорошо, что увидал, а то бы никогда не собрался.., Федя, давай мерить.

Оказались впору.

— Широковаты немного, да это еще лучше!

Бурлак вышел в свой кабинет, а я разговаривал с Федей, который брился у окна в своей комнате. Он брился ежедневно, чисто, оставляя только маленькие бачки, разрезанные пополам белым полумесяцем, что очень шло к его строгому, еще свежему лицу с большим лбом, с наползшим мысом густых, коротко остриженных седых волос. Сухой, стройный, он красиво донашивал старые костюмы Бурлака, как будто они были на него сшиты.

— Матушка, пожалей о своем бедном дитятке! — вдруг раздался вопль сзади меня.

Я вскочил и ошалел. В двери кабинета стоял весь в белом человек, подняв руки кверху. Из-за его ладони мне не видно было лица.

— Ну вот, Володя... Сейчас поедем к Конарскому сниматься. Давно собирался, да все штанов не было!..

Мы поехали в Газетный переулок, к фотографу Конарскому. Там Бурлак переоделся, загримировался и снялся в десяти позах в «Записках сумасшедшего». Жутко было смотреть.

Бурлак подарил мне с разными надписями эту коллекцию кабинетных портретов, которые пропали во время моей бродяжной жизни.

Помню одну карточку, на обороте ее было написано: «Спасибо за твои штаны, получи их изображение, а штанов не отдам — в них всегда читать буду».

* * *

Зажили мы у Бурлака втроем по-хорошему, впрочем не надолго. Как-то мы пришли от А. А. Бренко рано и стали раздеваться. Вдруг звонок. Федя с кем-то говорит, спорит, и в столовую вваливается седой бородатый мужчина в поддевке и широкополой шляпе.

— Вася, что же это меня не пускают?

— Александр Иванович! Раздевайся, умывайся и входи. А ты, Федя, закусить накрой... да самоварчик... Это мой старый приятель... Александр Иванович Якушкин. Брат того народника, Павла Якушкина, которого Некрасов упоминает в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо»... Помнишь:

Павлуша Веретенников
С гармоникой в руке...

Этот тоже народник, точь-в-точь брат. Я с ним познакомился в Туле, года три назад, когда его вернули из Сибири. Живет в имении у родственницы, под Тулой, близ Черни. Я был у него там в гостях... Помню только имя этой старой дамы — Елизавета Мардарьевна.

Все это Василий Николаевич рассказал мне, пока гость сопел, фыркал и плескался, умываясь в прихожей.

* * *

Часа два просидели и проболтали. Оказалось, что Бурлак его вызвал письмом. Он рассказал о нем А. А. Бренко, а та предложила выписать старика: дадим ему место контролера.

В Сибири в ссылке Якушкин пробыл шестнадцать лет, а потом старика вернули в свою губернию, без права въезда в столицы. Это смущало его.

— В Москве-то меня не схапают?

— Ничего. Это уладим. Только, конечно, оденем тебя по-европейски.

Как-то Бурлак рассказал случай, за который в молодости был выслан из Москвы Павел Якушкин.

Попал Якушкин с кем-то из московских друзей на оперу «Жизнь за царя» в Большой театр. Билеты у них были в первом ряду. Якушкин был в козловых сапогах, в красной рубахе и щегольской синей поддевке.

Публика первых рядов косилась на него, но он сидел рядом со своим другом, весьма уважаемым известным профессором. Все бы шло хорошо, но в антракте они хо-

дили в буфет и прикладывались. Наконец, запели на сцене:

После битвы молодецкой
Получили мы царя...

Якушкин встал и, грозя кулаком на сцену, гаркнул на весь театр:

— Говорил вам, что драка до добра никогда не доведет...

* * *

Летом труппа А. А. Бренко играла в Петровском казенном театре. Огромное, несуразное здание с большой прекрасной сценой. Кругом обширный сад, огороженный глухим забором. В саду буфет и эстрада для оркестра военной музыки. Репертуар и труппа, как зимние.

Играли шесть дней в неделю; по субботам и накануне больших праздников спектакли не разрешались.

По субботам у А. А. Бренко, на ее даче около Соломенной сторожки, бывали многолюдные обеды, на которых присутствовали московские знаменитости, а в обыкновенные дни тоже садилось за стол человек пятнадцать своих, в том числе Якушкин, уже в черном пиджаке, и Васильев.

Они сразу сошлись: столько у них оказалось общих знакомых; кроме того, оба были народники. Иногда обедали и нелегальные из Петровской академии, никогда не являвшиеся на многолюдные субботние обеды.

Эти семейные обеды были особенно веселы: интересные люди — и все свои.

Здесь

...На свободное слово
Никто самовластно цепей не ковал...

Здесь Вася читал стихотворения Огарева и Рылеева. Бурлак смешил компанию рассказами о своей знаменитой губе, о которой поэт Минаев напечатал в левой газете тех дней, «Московском телеграфе», такой экспромт:

Москва славна Тверскою,
Фискалом М.Н.К.[1]
И нижнею губою
Актера Бурлака.

[1] М. Н. Катков.

Действительно, губа у Бурлака была особенная. На его красивом лице, освещенном прекрасными голубыми глазами, она, огромная и толстая, была, казалось, совсем некстати, но она умела выражать малейшее настроение ее обладателя: губа то смеялась, то сердилась, то плакала. Она плакала в «Записках сумасшедшего», она смеялась в «Аркашке», она сердилась в «Городничем», когда он цыкал злым шепотом на Держиморду, а в его рассказах она подчеркивала все слова, придавая им силу. Когда Бурлак молчал и слушал чей-нибудь разговор, я смотрел на губу и знал, что он думает. Когда надо было сдерживаться, его глаза ничего не выражали, лицо каменное, а губа говорит.

* * *

Мы познакомились с Бурлаком в 1877 году и сразу подружились, вместе служили в саратовском летнем театре, а потом уж окончательно сошлись у А. А. Бренко, несмотря на то, что он был актер, окруженный славой, а я — актер на маленькие роли.

Бурлаку я обязан тем, что он ввел меня в литературу и изменил путь моей жизни дружеским приглашением служить у Бренко. Отсюда все и пошло.

Не встреться я с Бурлаком в Кремле на пасхальной заутрени, служил бы я где-нибудь в уездных городишках на провинциальных сценах и в лучшем случае сделался бы сторублевым актером и ходил бы по шпалам. Ни о какой литературе и речи бы не было.

Мы оба бурлаки волжские. Я настоящий бурлак, лямочник, но во время службы в театре об этом никто, кроме него, не знал; только ему я открылся. Время было не то: после «первого марта», когда мы служили, и заикаться об этом было рискованно. А он носил громкую фамилию «Бурлак» открыто и прославил это красивое, могучее слово.

Именитые миллионеры считали за счастье пожать руку Бурлаку, да не очень-то он жаловал их.

У него вышла имевшая большой успех книжка «По Волге», полная бытовых сцен, жизненных и ярких. Он их читал на вечерах с огромным успехом.

В «Русской мысли» нашумел напечатанный в 1881 году рассказ «За отца». Рассказ проскочил сквозь цензуру безнаказанно только случайно: в нем описывалась не то Шлиссельбургская, не то Петропавловская крепость, где на стене крепости часовой узнает в бегущем арестанте своего отца.

Как я был счастлив получить от него переплетенную в красный сафьян книжку «По Волге» с надписью: «Моему другу и однокашнику-волгарю, бурлаку настоящему, Володе Гиляровскому от актера Бурлака».

Это он меня второй раз бурлаком назвал. В первый раз я услыхал от него это слово в 1883 году великим постом. Я тогда уже работал в газетах и жил в гостинице «Англия» на Тверской, рядом с Английским клубом. Накануне в трактире Саврасенкова я встретил в бильярдной письмоводителя из 2-го Арбатского участка, страстного игрока, с которым я не раз игрывал на бильярде. Ко мне он питал особое уважение потому, что я печатаюсь, а он преклонялся перед литераторами. Отвел он меня в дальний угол, мы заняли столик. Подали пиво.

— Я уж собрался к вам зайти, Владимир Алексеевич. Скажу вам неприятность, но под величайшим секретом. Если возможно, поскорее уезжайте из Москвы куда-нибудь. Да. В участке получена из охранного отделения секретная бумага о высылке из Москвы на время коронации неблагонадежных людей, и в числе их стоит и ваша фамилия. Вы живете в номерах «Англия»? Там указано это.

— За что же?

— Охранка что-нибудь пронюхала, может встречали вас в компании поднадзорных, может за то, что на нелегальных студенческих вечеринках читаете неподобное... Черт их знает, за что, а вышлют. Перед высылкой, может быть, обыск будет. Уезжайте, никому ничего не говорите, когда и куда едете.

* * *

Проснулся я на следующий день в отвратительном настроении: куда ехать и на что? Денег никаких. Придется месяца три где-нибудь прожить, а в кармане трешница, и продать нечего. Перебираю бумаги, уничтожаю

кое-какую нелегальщину. Вдруг стук в дверь. Я вздрогнул, оглянулся — и ожил.

— Ну вот, рад, что застал!

И глаза, и губы, и все лицо смеются. Вместо ожидаемого жандарма или шпика ко мне прихромал Василий Николаевич, никак уже не жданный.

— Я к тебе! Лето у тебя свободное? Хочешь на Волгу?.. Только не думай, не запрягу в лямку старого бурлака, а на пароходе в первом классе, да не вверх, как ты в лямке шел, а вниз побежим.

Что уж со мной было — сам не знаю. Но первым делом я рассказал во всех подробностях мой вчерашний разговор о высылке.

— Вот спасибо охранке, а то, пожалуй, не уговорил бы уехать. Значит, кончено, теперь на одном пароходе два бурлака побегут. Вниз по матушке по Волге... А пока вот тебе сто рублей на расходы, и сегодня же вечером привози чемодан ко мне. Федя как рад тебе будет!

* * *

Оказывается, Бурлак составил товарищество артистов для поездки по Волге. Труппа была собрана, репертуар составлен, маршрут выработан — объехать все поволжские города, начиная с Ярославля до Астрахани включительно.

— А вот тебе и список актеров.

Читаю и поражаюсь: Писарев, Глама-Мещерская, Свободина-Барышева...

— Одна? С Далматовым разошлась? Одна едет?

Читаю дальше: Очкина, Рютчи с женой, Шмитова-Козловская, Булычевцева, Скалон, Вася Васильев, конечно, привесок к Писареву. Читаю: Корнев — суфлер. Гиляровский — актер и распорядитель по административной части. Бурлак — главный режиссер и распорядитель по ведению всего дела.

Кроме провинциального актера Илькова, все артисты принадлежали к составу Русского драматического театра, выросшего на развалинах театра Бренко. Театр этот находился в Камергерском переулке, в том же доме, где теперь Московский Художественный театр.

— Роли уж распределены и розданы. Ты, кроме того, будешь передовым. Твоя обязанность выезжать раньше, снять театр и приготовить все к спектаклю: напечатать афиши, познакомиться с газетами.

— Сделано!

— Еще не составив труппы, я уж тебя наметил: Бурлак и выбрал бурлака на Волгу.

Вечером я переехал к Бурлаку и старался никуда не выходить, чтобы не угодить в охранку. Да и некогда было гулять: масса подготовительной работы, и, кроме того, я назубок учил данные мне роли.

Двадцатого апреля я выехал передовым в Ярославль, чтобы приготовить там театр, но там и готовить нечего было, нужно было только нанять номера. Театр держал толстяк-украинец Любимов-Деркач, матерый антрепренер, известный картежник. И ничем нельзя было больше обидеть его, как изменив одну только букву фамилии, назвать не Деркач, а Дергач. Слишком ясный намек и, как говорили, не безосновательный, хотя и Деркач — словечко не из красивых: истертый веник.

Прекрасный ярославский театр. Почти рядом с гостиницей «Столбы», из которой, говорят, в окно Расплюева выкинули.

Через три дня утром я встретил всю труппу на вокзале, а в воскресенье, при полном сборе, с громадным успехом прошел первый спектакль.

Последний спектакль, в котором я принимал участие, был «Лес». Я играл Петра и угощал изящнейшую Гламу-Мещерскую подсолнухами, вынимая их из кармана своей поддевки, и та с удовольствием их щелкала, а Бурлак потом сказал мне при всех:

— Ну и кренделек ты с семечками придумал. А ловко вышло!

Сыграв Петра, утром в девять часов я отправился на пароходе в Кострому, взглянул на пески левого берега Волги, где шагал впервые в лямке, на гору правого берега, на белильный завод.

В Костроме через три дня, все приготовив, встретил я на пристани труппу. В Костроме Аксюшу играла Мария Ивановна Свободина, с которой я не видался с Пензы, и мы, старые друзья, очень обрадовались друг другу.

Я ее тоже угощал семечками, а затем вся труппа от Ярославля до Астрахани запойно грызла их.

Результаты поездки по Волге были блестящи и в смысле успеха, и в смысле заработка актеров.

Среди наших светил самый большой успех имел Бурлак: помимо таланта, волгари встречали своего волгаря и как задушевного, доброго, компанейского человека.

Про него ходила масса анекдотов, популярность его была громадна. Он любил весело выпить, лихо гульнуть, посмеяться, пошутить, но так, чтобы никому его шутки обидны не были. И все же во время поездки по Волге он жестоко обидел актера Илькова. Прекрасный исполнитель характерных ролей, человек со средствами, совершенно одинокий, Ильков был скуп до крайности.

В Самаре он остановился из экономии вместе с Васей Васильевым, который был тоже скуповат. Все расходы по номеру они платили пополам и даже чай пили пополам — один день Вася заваривал свой чай, а другой Ильков свой, причем каждый имел свой сахар.

Как-то Бурлак и я отправились к Илькову по неотложному репертуарному делу, но не застали его дома. Вася предложил нам чай и налил по стакану. Я взял стоявшую на столе зеленую стеклянную сахарницу, хотел ее открыть, но Вася схватил меня за руку и закричал с испуганным видом:

— Не тронь, это сахар Илькова! Вот мой, клади его, вот этот.

— Да не все ли равно — твой сахар или Илькова?

— Да что ты! Там у него муха сидит.

Из дальнейшего рассказа Васи выяснилось, что Ильков, подозревая номерную прислугу в краже кусочного сахара, каждый раз, напившись чаю, ловил муху, сажал ее в сахарницу и закрывал крышкой.

У Бурлака губа удивленно оттопырилась, а потом он бешено расхохотался.

— Как откроет и мухи нет, значит, он и знает, что сахар воровали, — продолжал Вася.

Бурлак молча встал и начал ловить мух на окнах и на столе.

— Вот я ему удружу, доставлю удовольствие.

Изловив мух, Бурлак поодиночке сажал их в сахарницу и аккуратненько закрывал крышку.

Конечно, я помогал ему в этой затее, и даже Вася одну поймал:

— Пятнадцатая.

Вернувшись в театр, мы рассказали о проделке всей труппе. Вечером шел «Лес». Ильков, игравший Милонова, был очень сконфужен, потому что Вася рассказал ему за вечерним чаем о нашей шутке. Но никто не подавал виду, что знает о мухах. Ильков успокоился, но перед самым выходом Глама спросила его:

— Ильков, правда, что вы чай пьете с мухами?

Ильков не успел рта разинуть, как помощник режиссера вытолкнул его на сцену. Старый, опытный актер так сконфузился, что забыл свои слова и спутал сцену.

На другой день он переехал в отдельный номер, рассердившись на Васю, а Бурлаку пришлось из своего кармана приплачивать ту половину за номер, которую платил Ильков.

* * *

Бурлак был настоящий волгарь, он родился и вырос на Волге и скончался в 1888 году в Казани, куда приехал совершенно больным из своих бесчисленных скитаний по России.

Великолепный актер, блестящий рассказчик, талантливый писатель, добрый, жизнерадостный человек, он оставил яркий след в истории русского театра, перенеся на сцену произведения наших великих писателей, и не мечтавших, когда они писали, что мысли и слова их, иллюстрируемые живым человеком, предстанут на сцене перед публикой.

Бурлак первым стал читать в костюме и гриме «Записки сумасшедшего», рассказ Мармеладова, рассказ капитана Копейкина. Он основал Товарищество драматических артистов, которое в 1883 году объехало поволжские города с небывалым успехом, познакомило глухую провинцию с московскими знаменитостями.

Импровизатор и рассказчик Бурлак был неподражаемый. Все совершалось им легко, как бы между прочим,

в вихре жизни, в безалаберных порывах, окутанное сетью анекдотов, скрывающих глубину замысла и серьезность исполнения.

Василий Николаевич Андреев, сын небогатого помещика, симбирский дворянин, родился и вырос в имении отца на Волге и юношей поступил на буксирный пароход помощником капитана, а потом сам командовал пароходом.

О своем первом «театральном» выступлении он нам рассказывал следующее:

— Как-то из Нижнего — еще помощником капитана был — вез я с ярмарки купцов. Конечно, пили в дороге зло. Один из купцов, самарский миллионер, мужчина здоровеннейший, начал бить в каюте посуду и буянить так, что ко мне прибежали собутыльники с просьбой утихомирить «его степенство». Спускаюсь с мостика, заглядываю в каюту: народу человек восемь, все боятся, а купчина лупит бутылкой по тарелкам и неистово орет. Остальные тоже пьяные, но присмирели. Я отворил сразу дверь, да как крикну, глядя на него: «Пожар! Спасайся, кто может!» Буян первый выскочил, да споткнулся, растянулся на полу и встать не может. Его без чувств подняли и отнесли в каюту. На другой день, уже трезвый, входит купчина на мостик, хлопает по плечу, смотрит мне пристально в глаза и совершенно серьезно говорит: «Знаешь что? Брось ты это свое капитанство и поступай в актеры, большие деньги получать будешь. Как ты гаркнул вчера, когда я увидал твою испуганную рожу, не помня себя, бросился спасаться, а потом уж ничего не помню!» Позднее, уже зимой, как-то в клубе в Симбирске, я в своем кружке рассказывал этот случай, а с нами был Александр Андреевич Рассказов. Он ставил дивертисмент на клубной сцене и уговорил меня выйти на сцену и повторить рассказ.

Успех был громадный, и впоследствии Бурлак стал по зимам выступать в дивертисментах как рассказчик, сперва любителем, а потом попал он в Саратов в труппу Костромского. Так, шутя, начал свою блестящую карьеру Василий Николаевич Андреев-Бурлак.

ЯРКАЯ ЖИЗНЬ

Из всех театральных знаменитостей моей юности дольше других оставалась в живых А. А. Бренко. На моих глазах полвека сверкала ее жизнь в непрерывной борьбе, без минуты покоя. Это был путь яркой кометы, то ослепительной в зените, то исчезавшей, то снова выплывавшей между облаками и снова сверкавшей в прорывах грозовых туч.

В последний раз она особенно ярко сверкнула в 1924 году и затем стала угасать.

Я видел ее полвека назад в зените ее славы, видел ее потухающей и отгоревшей. Газеты и журналы 1924 года были полны описанием ее юбилея. Вся ее деятельность отмечена печатью, но меня, связанного с ней полувековой ничем не омраченной дружбой, неудержимо тянет показать кусочки ее творческой жизни.

Отметить юбилей А. А. Бренко собрались ее ученики, делегаты от рабочих организаций, члены драмкружка Пречистенских рабочих курсов. В переполненных ложах красные платочки, рабочая молодежь и красноармейцы.

Она, старушка, в ореоле седых волос, с еще свежим, добродушным лицом, сидит в кресле на сцене, принимает приветствия. Всерабис командировал театрального рецензента Э. М. Бескина. После блестящей речи он оглашает постановление Наркомпроса о даровании Анне Алексеевне Бренко звания заслуженной артистки.

Еще не успели отзвучать аплодисменты, как перед ней появляется молодой рабочий с целой охапкой цветов и кладет их к ногам юбилярши...

Одна депутация сменяет другую. Я чествую моего старого друга, вспоминая нашу молодость, в стихах:

...Десятки лет назад
Ей поклонялись две столицы,
В кружке блестящей этой жрицы
Встречал я знаменитых ряд:
Тургенев, Достоевский и Островский,
Успенский Глеб, Потехин Алексей,
Полонский, Юрьев, Михайловский,
Плещеев, Рубинштейн... Бывали все у ней.
Глаз Чехова, мерцающий и зоркий,
Глядит в восторге с высоты галерки
На сцену, где Далматов и Бурлак-Андреев,
Козельский, Писарев, и Глама, и Киреев,
Где Южин, юноша тогда, с студенческой скамьи
Уж крылья расправлял могучие свои.
И помню я ее в тяжелые годины,
Когда она была еще так молода,
Но в волосах снежились горькие седины,
Свидетели борьбы, и горя, и труда.
И знаю я ее среди рабочих,
Когда она им об искусстве говорит.
Каким восторгом блещут слушателей очи,
Как старый голос молодо звучит!
Зовет народ из мрака к просвещенью,
К познанью истины, добра и красоты.
Себя ты отдала народному служенью,
В твоих учениках живут твои мечты.

Первый раз я увидел А. А. Бренко в пасхальную заутреню при мерцающем свете, на миг ярко освещенную вспышкой бенгальского огня, — и первая мысль была:

«Ай да Вася! Какую красавицу подхватил!»

Она шла под руку с прихрамывавшим В. Н. Андреевым-Бурлаком, который сразу узнал меня и отрекомендовал своей даме, спросив раньше, откуда я приехал.

— Из Пензы, места искать,— ответил я.

— Значит, вы чужой в Москве? Ну, так пойдемте к нам разговляться, и будете наш. Поступайте ко мне в театр. Сто рублей в месяц устраивает вас?

Пришли пешком в Петровские линии. Квартира в бельэтаже роскошная, обстановка чудесная, дорогие

картины. Столовая блестит серебром и хрусталем, расцвечена крашеными яйцами и букетами в вазах. Общество все было в сборе, и ждали хозяйку дома.

После праздничных приветствий уселись за столом. Мужчины сверкали белоснежным бельем из-под черных сюртуков артистов и адвокатских фраков, а дамы, артистки,— роскошными модными платьями и драгоценностями. Только старуха Е. Ф. Красовская по-старинному была гладко причесана, и на ней была накинута настоящая персидская шаль, как я узнал потом, огромной цены, а на груди старомодного шелкового платья сверкала бриллиантами золотая лира, поднесенная ей в один из провинциальных бенефисов. Рядом с ней ее муж, второстепенный артист, всегда приглашавшийся на хорошее жалованье благодаря жене, которая с ним не расставалась.

— Красовская шестьсот и хвост полтораста — итого семьсот пятьдесят,— шутя считал, просматривая список жалованья, муж А. А. Бренко, Осип Яковлевич Левенсон, красивый, с черными баками, модный присяжный поверенный и лучший музыкальный критик того времени, работавший в «Русских ведомостях».

— Писарев восемьсот и привесок семьдесят пять... Это недорого,— улыбался он, читая дальше список.

Знаменитый Модест Иванович Писарев, лучший Несчастливцев, и Ананий Яковлев, игравший вместе со своей первой женой П. А. Стрепетовой «Горькую судьбину», подняли пьесу на такую высоту, какой она не достигала даже в Малом театре. Если огромный, красивый, могучий Писарев был прекрасен в этой роли, то Стрепетова, маленькая, немного сутулая, была неотразимо великолепна.

Величественный Писарев за столом сидел рядом со своей новой женой — молодой красавицей, изящной А. Я. Гламой-Мещерской. И она и Стрепетова служили у А. А. Бренко.

Рядом со мной сидел Василий Васильевич Васильев, крошечный, с черными кудрявыми волосами и маленькими черными глазенками, злобно и строго бегавшими из-под нависших бровей. М. И. Писарев всегда брал его с собой. Он служил всегда там, где служил Писарев.

В его кармане всегда имелись или свежие прокламации, или швейцарские издания, или последний номер «Народной воли», о чем знали только его друзья. Я с ним познакомился и подружился впервые еще в 1876 году, когда служил в Кружке, и не раз ночевал в его номеришке в «Чернышах», на Тверской.

Дружеская встреча с ним на разговенье у А. А. Бренко сразу подняла меня в глазах тех, кто знал Васю и кто знал, что он живет по паспорту клинского мещанина Васильева, а на самом деле он вовсе не Васильев, а Шведевенгер, скрывшийся из Петербурга во время обыска в Слепцовской коммуне в Эртелевом переулке. На месте того старого дома, где была эта коммуна, впоследствии А. А. Суворин выстроил огромный дворец для своей газеты «Новое время».

В. В. Шведевенгер во время ареста ухитрился бежать в Казань, встретился с Писаревым, а потом поступил на сцену вместе с ним, да так и остался выходным актером и вместе ярым пропагандистом. Он был связующим звеном между революционерами, ютившимися тогда в Петровском-Разумовском, и избранной компанией А. А. Бренко, которая щедро давала средства на помощь политическим заключенным и ссыльным.

Из присутствовавших за столом немногие знали о революционной деятельности Шведевенгера: из труппы — только Писарев, Стрепетова, Глама, суфлер Н. А. Корнев, а из гостей — С. А. Юрьев, седобородый, волосатый, подслеповатый, похожий на невыспавшегося Зевса переводчик пьесы «Фуэнте Овехуне» Лопе де Вега, нотариус И. А. Маурин — свой человек при театре Бренко, другой нотариус, Орлов, бежавший впоследствии в Швейцарию в связи с «первым марта», и адвокат Иогихес.

Знал еще о Васильеве Ф. А. Корш, товарищ О. Я. Левенсона с университетской скамьи, и, конечно, знал В. Н. Андреев-Бурлак.

Обо всем этом я услышал позднее, а теперь Вася меня знакомил в тихом разговоре с окружающими.

К одним — поклонение, к другим — злоба, причем глаза его свирепо смотрели.

Он улыбнулся, указывая на худющего, длинного, вечно вышучивавшего его актера Матрозова, и окрестил его:

— А это самарский голод!

От него я узнал о происхождении Пушкинского театра, который Бренко из скромности назвала на афише: «Театр близ памятника Пушкина». Он перечислял имена, рассказывал, что в середине семидесятых годов, перед турецкой войной, в Московском университете кончила юридический факультет компания франтов, записалась в помощники к известным адвокатам и сразу засверкала ярким либерализмом, выступая на суде. Молодые, красивые, они вошли желанными гостями в барские и купеческие дома и в результате женились на богатых невестах. Так, Ф. А. Корш женился на Шевелкиной, Левенсон — на артистке Малого театра А. А. Бренко, дочери помещика Челищева, которая свой псевдоним взяла в память какого-то своего предка чуть ли не времен Александра Невского.

Один из этой группы юристов, Шацкий, открыл типографию во флигеле во дворе Пушкинского театра, где много лет печатался журнал «Будильник». Иогихес сделался юрисконсультом Малкиеля, который во время русско-турецкой войны был поставщиком обуви на Задунайскую армию, нажил миллионы и «зашуровал» на всю Москву. Он и купил сразу два дома-дворца на Тверской.

Один дом — на углу Козицкого переулка, где в двадцатых годах был знаменитый салон Зинаиды Волконской, у которой бывал Пушкин. Потом, по преданию, в этом доме «водились черти», а затем владелец его князь Белосельский-Белозерский продал его Малкиелю. Он купил его на имя своей жены Нины Абрамовны, которая, узнав, что в доме был салон княгини Волконской, тоже затеяла у себя салон, но, кроме адвокатов, певцов и артистов, на ее журфиксах, с роскошным угощением, никого не бывало.

Второй дом — напротив, на углу Гнездниковского переулка, где тоже, по легендам, «черти водились», когда там был зверинец Крейцбурга.

Нина Абрамовна скоро уехала в Париж.

— В золотой карете там ездит! В газетах об этом пишут,— заговорили по Москве.

Во время журфиксов у Нины Абрамовны Иогихес познакомил Малкиеля со своим другом Левенсоном и его женой Бренко, которая в пассаже Солодовникова открыла свой театр и сразу, благодаря замечательно составленной Андреевым-Бурлаком труппе, стала успешно конкурировать с Малым театром: сборы были прекрасные.

Иогихес уговорил Малкиеля выстроить театр для Бренко. Пока Нина Абрамовна каталась по Парижу в золотой карете, старый нувориш, скучавший без журфиксов, весь отдался постройке театра, пригласив руководителем строительства известного архитектора М. Н. Чичагова. Вскоре вместо дома, где «водились черти», вырос роскошный театр. Мраморная лестница. Бронзовые золоченые перила, азиатские ковры, статуи в фойе, прекрасная сцена и зрительный зал. Так создался театр, который печать величала «Пушкинским», а вся Москва и вся провинция называла «Театром Бренко».

Безумные деньги тратились на труппу. Актеры получали неслыханное до сих пор жалованье. Обстановка и костюмы стоили сумасшедших денег. Огромные сборы не покрывали расходов. Их оплачивал увлекавшийся театром Малкиель, еще пока не знавший счета нажитым в два года войны миллионам. Но, наконец, Нина Абрамовна вернулась в Москву, и снова начались, но только раз в неделю, журфиксы. Приглашались уже только «первые персонажи».

Преобладали черные фраки адвокатов, защитников гостей салона, нуворишей в прошлом и будущем. Лилось шампанское. Бывший колонный зал Зинаиды Волконской уцелел, как был при ней, а наружный фасад дома был обезображен Малкиелем. Его изуродовали двумя огромными балконами, выходившими на Тверскую и изображавшими собою раковины с волнами лепных украшений.

Но должно быть, подрядчик-строитель скопеечничал и произвел лепку из плохого материала. Как-то в один из журфиксов, когда по Тверской еще гуляла публика, пировавшие были испуганы грохотом падения кирпич-

ных массивов и затем криками ужаса и стонами раненых: лепные украшения балкона рухнули на проходивших.

На другой день жадные тогда на сенсации газеты в подробностях сообщали о несчастном случае на Тверской, а воскресный фельетонист одной борзой газеты озаглавил свое произведение: «Дом из бумажных подметок». Он рисовал картины переходов по снежным Балканам войск в развалившихся сапогах: бумажные подметки отвалились, ноги отморожены, лазареты полны... Чего-чего уж тут не упоминалось! И в результате новое следствие. Адвокаты дождались работы... Тысячные взятки... Кредиторы, появившиеся за время безумных трат, пристали с ножом к горлу... Пошли взыскания... Дом, где помещался театр, был продан. Полные сборы театра А. А. Бренко не окупали производившихся расходов, и театр сразу прогорел.

А. А. Бренко осталась без копейки. Имущество мужа было описано за долги. Левенсон снова весь ушел в свою адвокатскую и литературную работу в «Русских ведомостях», продолжая выплачивать наседавшим кредиторам долги по театру.

Умер О. Я. Левенсон, окончательно замученный кредиторами. У А. А. Бренко было два сына. Младший сын, Володя, учился в гимназии, потом окончил Московский университет, стал присяжным поверенным, но его клиентура была небогатая, и он перебивался с трудом.

Я помню одну его блестящую защиту в 1907 году, где его подзащитным-рабочим, привлеченным по политическому делу, грозили каторжные работы, но он на суде добился полного оправдания всех. После революции он продолжал свою деятельность в коллегии защитников, но вскоре умер.

Старший сын, Жозя, был с детства ненормальный и доставлял много страданий Анне Алексеевне. Ненормальность перешла в буйное помешательство, и он умер во время одного припадка на руках матери.

После блеска московской жизни обстоятельства забросили А. А. Бренко в Киев, где она с несокрушимой энергией принялась за новую театрально-педагогическую работу. Результатом был выпуск ряда замечатель-

ных артистов. Известный режиссер А. П. Петровский был ее учеником.

Какую блестящую биографию можно написать о А. А. Бренко! Ее жизнь — тема для захватывающего романа.

* * *

Времена Пушкинского театра... И. С. Тургенев, А. Н. Островский, С. А. Юрьев, профессора, ученые, музыканты, артисты окружали Анну Алексеевну, бывали у нее в квартире.

За это время она стала известна и сама как драматург: восемь пьес ее шли на сцене. К ней приходили люди нуждавшиеся, и никому, пока у нее были средства, отказа не было. В ее гостиной устраивались вечера в пользу политических ссыльных, она много помогала учащейся молодежи.

* * *

А. А. Бренко как-то всегда жила на много лет вперед и доказала это своим последним трудом: созданием первого рабочего театра и первой рабочей бесплатной школы сценического искусства.

Зимой в 1905 году на сцене Художественного кружка ею была поставлена «Гроза», исполнителями которой были рабочие с заводов, все ее ученики, подготовленные за год в ее школе. Только Кабаниху она играла сама.

С огромным успехом прошел спектакль, и с той поры эта труппа, все пополняемая новыми учениками, исключительно из рабочих, начала играть по московским окраинным театрам, на фабриках и заводах. А студия под ее управлением давала все новые и новые силы.

* * *

Грянула революция. Нахлынула гражданская война, и шестидесятипятилетняя Анна Алексеевна Бренко со своей рабочей труппой в продолжение трех лет обслуживает Павелецкую железную дорогу, от Москвы до Раненбурга, работая неустанно с людьми и для людей, которым она отдает все свои силы.

После долгого перерыва я увидел Анну Алексеевну в 1921 году. Она жила в одной из комнат той же квартиры в переулочке близ Смоленского рынка, где еще недавно была ее рабочая студия.

Тогда в большом ободранном зале была небольшая сцена, на которой я застал ее, репетировавшую со своими учениками, сплошь рабочими, «На дне». Пьеса была показана в театре бывш. Корша в день празднования ее полувекового юбилея в 1924 году.

В последний раз я застал ее лежавшей на кровати. Она ласкала любимую кошку.

— Анна Алексеевна, узнали?

— Милый Гиляй, как же тебя не узнать? Слышу твой голос, а тебя не вижу, я совсем ослепла. Подойди сюда, поцелуй меня.

Мы расцеловались. Пошли воспоминания. Я принес ей папирос, коробку мармелада.

— Мармелад. Все-то ты помнишь. Помнишь, что всегда это было мое самое любимое лакомство... Помнишь, как мы чаек с мармеладцем пивали у Соломенной сторожки?

Не забыл.

А. И. ЮЖИН

Дача Бренко находилась в Петровском-Разумовском, у Соломенной сторожки. Тогда еще даже конки туда не было. Прекрасная дача, двухэтажная, богато обставленная. По субботам всегда гости: свои артисты, профессора, сотрудники журнала «Русская мысль», присяжные поверенные — товарищи Левенсона.

Между чаем и ужином — карт в этом доме не было — читали, Василий Николаевич Андреев-Бурлак рассказывал, М. Н. Климентова, недавно начавшая выступать на сцене и только что вышедшая замуж за С. А. Муромцева, пела. Однажды, не успели сесть за ужин, как вошли постоянные гости этих суббот: архитектор М. Н. Чичагов — строитель Пушкинского театра и общий друг артистов, П. А. Маурин — нотариус и театрал. Их встретили приветствиями и поднятыми бокалами, а они в ответ, оба в один голос:

— Бедного Пукирева паралич разбил!

— Полное одиночество и ни копейки в доме.

— Хорошо, что сюда приехали. Сейчас что-нибудь сделаем,— первой отозвалась Бренко.

— Да куда же, кроме вас, Анна Алексеевна.

Художник В. В. Пукирев только что вошел в славу. Его картина, имевшая огромный успех на выставке, облетела все иллюстрированные журналы. Ее, еще не конченную, видел в мастерской П. М. Третьяков, пришел в

восторг и тут же, «на корню», по его обычному выражению, купил для своей галереи. И сейчас эта картина там: «Неравный брак». Старый звездоносец-чинуша, высохший, как мумия, в орденах и ленте, и рядом юная невеста, и

...Священник старый
Кольца уж меняет
У неравной пары.

Церковь богато освещена. Среди разодетой публики, в стороне, скрестив руки на груди, — любимая поза красавца В. В. Пукирева, — безнадежно смотрит на венчание высокий, стройный молодой человек. Чиновник-родитель выдавал за старую мумию, своего начальника, единственную дочь — невесту, и художник дал в картине свой автопортрет. Это знала Москва.

На слова Бренко первым молча откликнулся редактор «Русской мысли» В. М. Лавров, вынув из кармана и положив на стол три «катерины» — три радужные сторублевки.

Сюртуки начали расстегиваться, зашуршали кредитки...

Встал редактор «Будильника», изящный Н. П. Кичеев.

— Должен вас предупредить, что из этого может ничего не выйти. Пукирев горд до щепетильности, он скорее умрет с голоду, чем согласится принять деньги и помощь по подписке.

Со сверкающими глазами поднялся широкоплечий, стройный Южин.

— Я глубоко понимаю вашего друга,— обратился он к Кичееву,— и предложил бы иной путь помощи: сделаем литературный вечер в его пользу. Это будет признательность публики любимому художнику, а собранную здесь сумму присоединим к сбору.

А. И. Южину устроили овацию. Я под шумок вышел в соседнюю комнату — кабинет Анны Алексеевны, где мы обыкновенно составляли с ней афиши,— сел за знакомый стол, и, когда окончил стихотворение «Неравный брак», ужин продолжался и обсуждалась программа вечера. Моего отсутствия, конечно, никто не заметил.

— Прошу минуту внимания, Александр Иванович

так меня увлек своей идеей вечера, что я написал стихи «Неравный брак», посвящаю их Пукиреву и прошу разрешения прочесть.

Прочитав, при аплодисментах, я их передал Южину.

— Дорогой Александр Иваныч, я прошу вас не отказать прочесть их на вечере.

Южин сорвался со стула, обнял меня, у обоих у нас были слезы на глазах. Это было мое первое знакомство с ним. Программа была тут же составлена — артисты были налицо.

Через несколько дней я получил программу на веленевой бумаге и пригласительный почетный билет от богача И. А. Кошелева, создателя «Русской мысли». Концерт был частный, билеты были распределены между знакомыми, цензуры никакой. Я ликовал. Еще бы, я, начинающий поэт, еще так недавно беспаспортный бродяга, и вдруг напечатано: «Стихотворение В. А. Гиляровского — прочтет А. И. Южин».

Жил я в это время на Тверской, в хороших меблированных комнатах «Англия», в доме Шаблыкина, рядом с Английским клубом, занимая довольно большой перегороженный номер. У меня в это время пребывал спившийся с кругу, бесквартирный поэт Андреев, печатавший недурные стихи в журналах под псевдонимом «Рамзай-Соколий».

Тайну этого псевдонима знал один я. Андреев был сын управляющего имением пензенского помещика Соловцова, державшего богатую псовую охоту. Лучшими собаками были два кобеля: густопсовый Рамзай, бравший волка в одиночку, и хортый англичанин Соколий, от которого ни один заяц не уходил.

Молодой Андреев стал участвовать в попойках с Соловцовым и за пьянство был исключен из гимназии.

После смерти отца Андреев поссорился с Соловцовым, ушел в Москву, попал хористом в общедоступный театр, познакомился с редакциями, стал изредка печататься, потом от пьянства потерял голос и обратился в хитрованца. В это-то время я его и приютил. В честь любимых им соловцовских собак и взял он свой псевдоним.

В день концерта, назначенного в девять часов, я с утра ушел на работу и прямо попал на большой пожар

у Рогожской, продолжавшийся весь день, а оттуда поехал в редакцию, где наскоро написал отчет, торопясь домой, чтобы переодеться для концерта.

Меня, еще пахнувшего дымом и непросохшего, встретили самые сердечные объятия и пьяные лобзания Васи Григорьева и Сережи Евстигнеева.

Друзья еще утром ввалились ко мне, проездом из Вологды в Тамбов. В Вологде лопнула антреприза Савина: они были без копейки в кармане, так что и за извозчика с вокзала заплатил коридорный Спирька, знавший Григорьева, останавливавшегося у меня ранее.

На круглом столе, без скатерти и тарелок, лежали калачи, булки, огурцы и нарезанная колбаса, стояла уже приходившая к концу четвертная бутыль водки и рюмки.

Рамзай-Соколий и Спирька никак не могли подняться с дивана. Пока я сбрасывал с себя сырое пальто, Спирька, шатаясь, подошел мне помогать, но я ни на что не обращал внимания, всем помышлением находясь на концерте, где А. И. Южин должен был читать мои стихи.

— Спирька, живо мне умыться, да приготовь черную пару! Почисти сюртук!

— Фю-ить!—свистнул он, указывая на пьяный стол.— Вот он, сертук-то!

Выяснилось, что, когда приехали нежданные гости, Рамзай-Соколий заложил за четыре рубля мой парадный сюртук. Спирька сбегал за водкой, и все четверо к моему приезду были уже на втором взводе. Все старались утешить меня, когда я потерял последнюю надежду, узнав, что ссудная касса закрывается в семь часов вечера... Вася, который был трезвее других, играл на гитаре и пел свою любимую студенческую песню:

Стою один я пред избушкой,
Кругом все тихо и темно,
И с этой бедною лачужкой
Так много дум сопряжено.

Потом многие из бывших на концерте при встречах спрашивали, почему меня не было:

— А мы вызывали, вызывали вас, автора!

Южин очень жалел, что меня не было.

— Мне пришлось выйти за вас и сказать публике, что автор стихотворения на пожаре у Рогожской, и это было встречено шумным приветствием. А сообщил об этом гласный думы Шамин, который два часа назад ехал мимо и видел вас рядом с брандмайором Потехиным: «Оба в саже, оба мокрые!»

С этих дней и началась наша, до самой кончины незабвенного Александра Ивановича Южина ничем ни разу не омраченная дружба.

Почти полвека постоянных летучих московских встреч, стремительных в кипении столичной жизни, между людьми соприкасающихся профессий. Самыми простыми и задушевными были те, где за стаканами кахетинского пели грузинские застольные песни.

Александр Иванович был председателем Грузинского общества. Вечера в пользу учащихся, устраиваемые этим Обществом, отличались такой простотой и красотой экзотики, с очаровательной лезгинкой, что самая разнообразная публика столицы битком набивала Колонный зал теперешнего Дома союзов, и половина ее не могла сдержаться, чтобы не хлопать в ладоши в такт лезгинки.

Приглашенных гостей встречали при входе в зал члены Общества и председатель Александр Иванович.

Вечер, посвященный Акакию Церетели. Группа студентов при входе в зал подносит букет из роз своему товарищу, студентке, переводчице поэта, и два депутата, в красных черкесках, провожают ее до ее кресла.

Самого Акакия Церетели Грузинское общество чествовало, справляя его юбилей, в Большом зале Литературно-художественного кружка, председателем которого тоже был Александр Иванович.

Ужин после заседания носил кавказский характер, с неизбежным «Мраволжамирир». Этой грузинской застольной песнью, чередовавшейся с чтением актерами стихов Акакия Церетели в русском переводе и с речами, чествовали старика-поэта до утра.

М. В. ЛЕНТОВСКИЙ

Над входом в театр «Эрмитаж» начертано было: «Сатира и мораль».

Это была оперетка М. В. Лентовского, но оперетка не такая, как была в Москве до него и после него.

У него в оперетке играли С. А. Бельская, О. О. Садовская, Зорина, Рюбан (псевдоним А. В. Лентовской, артистки Малого театра), О. И. Правдин, Родон, Давыдов, Фюрер, певец Большого театра.

Публика первых представлений Малого и Большого театров, не признававшая оперетки и фарса, заполняла зрительный зал театра Лентовского в бенефисы своих любимцев. В 1882 году, в первом году его блеска (год Всероссийской выставки), в саду «Эрмитаж», залитом (впервые в Москве) электричеством, кто-то в публике, указывая на статную фигуру М. В. Лентовского в белой чесучовой поддевке, бросил крылатое слово:

— Московский маг и чародей.

Слово это подхватили газеты, и это имя осталось за ним навсегда, но никто не знал, чего это имя ему стоило.

Лентовским любовались, его появление в саду привлекало все взгляды, его гордая фигура поражала энергией, и никто не знал, что, прячась от ламп Сименса и Гальске и ослепительных свечей Яблочкова в кустах за кассой, каждый день дежурят три черных ворона, три коршуна, «терзающие сердце Прометея».

Это были ростовщики. Они поочередно, день — один, день — другой, день — третий, забирали сполна сборы в кассе.

Как-то одного из них Лентовский увидал в компании своих знакомых, ужинавших в саду, среди публики. Сверкнул глазами, прошел мимо. В театре присутствовал «всесильный» генерал-губернатор князь Долгоруков. Лентовский торопился его встретить. Возвратившись обратно, он ищет глазами ростовщика, но стол уже опустел, а ростовщик разгуливает по берегу пруда с сигарой в зубах.

— Ты зачем здесь? Тебе сказано сидеть в кустах за кассой и не показывать своей морды в публике!

Тот ответил что-то резкое — и через минуту летел вверх ногами в пруд.

— Жуковский! Оболенский! — крикнул Лентовский своим помощникам.— Не пускать эту сволочь дальше кассы, они ходят сюда меня грабить, а не гулять!

Весь мокрый, в тине, без цилиндра, который так и остался плавать в пруду, обиженный богач бросился прямо в театр, в ложу Долгорукова, на балах которого бывал как почетный благотворитель. За ним бежал по саду толстый пристав, и догнал его, когда он уже отворял дверь в губернаторскую ложу.

— Это что такое? — удивился Долгоруков, но подоспевший Лентовский объяснил ему, как это было.— Ростовщик? И жаловаться! В каком вы виде! Пристав, отправьте его просушиться! — приказал Долгоруков.

Старый солдат исполнил приказание по-полицейски: продержал ростовщика до утра в застенке участка и, просохшего, утром отпустил домой.

И эти важные члены благотворительных обществ, домовладельцы и помещики, как дворовые собаки, пробирались сквозь контроль в кусты за кассу и караулили сборы!

А сборы были огромные, но расходы все-таки превышали их: уж очень широк был размах Лентовского.

Только «маг и волшебник» мог создать из развалин то, что сделал Лентовский в саду «Эрмитаж». Когда-то там было разрушенное барское владение с вековым парком, огромным прудом и остатками дворца; потом фран-

цуз Борель, ресторатор, устроил там немудрые гулянья с буфетом, эстрадой и небольшой цирковой ареной для гимнастов. Дело это не привилось и перебивалось «с хлеба на квас».

Приехал как-то в этот сад Лентовский. Осмотрел. На другой день привел с собой архитектора, кажется, Чичагова. Встал «в позу Петра Великого» и гордо сказал:

— Здесь будет город заложен!

Говорит, и то размахивает руками, будто рисует что-то, то чертит палкой на песке.

— Так!.. Так! «И запируем на просторе!..»

И вырос «Эрмитаж» среди задворков убогих домишек между Божедомским переулком и Самотекой, засверкал огнями электричества и ослепительных фейерверков, загремел оркестрами из знаменитых музыкантов!

* * *

Летний московский вечер. В саду «Эрмитаж» головка московской публики. Гремит музыка перед началом спектакля. На огромной высоте, среди ажура белых мачт и рей, летают и крутятся акробаты, над прудом протянут канат для «русского Блондека». На середине огромной площадки цветники с фонтаном, за столиками постоянные посетители «Эрмитажа». У каждого свой столик. Вот редактор «Московского листка» Пастухов со своими сотрудниками. Рядом за двумя составленными столами члены московской Английской колонии, прямые, натянутые, с неподвижными головами. По соседству гудит и чокается — кто шампанским, кто квасом — компания из Таганки, уже зарядившаяся где-то заранее. На углу, против стильного входа, сидит в одиночестве огромный полковник с аршинными черными усами. Он заложил ногу на ногу, курит сигару и ловко бросает кольца дыма на носок своего огромного лакового сапога. Это полицмейстер Огарев.

— Душечка, Николай Ильич, как это вы ловко, — замечает ему, улыбаясь, одна из трех проходящих шикарно одетых дам.

Он милостиво улыбается и продолжает свое занятие.

А кругом, как рыба в аквариуме, беспорядочно дви-

гается публика в ожидании представления. Среди них художники, артисты, певцы: всем им вход бесплатный.

Антон Павлович Чехов с братом Николаем, художником, работающим у Лентовского, вместе с архитектором Шехтелем стоят у тира и любуются одним своим приятелем, который без промаха сшибает гипсовые фигурки и гасит пулькой красные огоньки фигур.

В театре оркестр грянул увертюру, и все хлынули в театр. Серафима Бельская, Зорина, Лентовская, Волынская, Родон, Давыдов — прекрасные голоса, изящные манеры. Ни признака шаржа, а публика хохочет, весела и радостна.

«Сатира и мораль».

В антракте все движутся в фантастический театр. Там, где чуть ли не вчера стояли развалины старинных палат, поросшие травой и кустарником, мрачные и страшные при свете луны, теперь блеск разноцветного электричества — картина фантастическая... Кругом ложи в расщелинах стен, среди дикого винограда и хмеля, перед ними столики под шелковыми, выписанными из Китая зонтиками. А среди развалин — сцена, где идет представление. Откуда-то из-под земли гудит оркестр, а сверху, из-за развалин, плывет густо колокольный звон.

Над украшением «Эрмитажа» и его театров старались знаменитости: Карл Вальц, Гельцер, Левот, выписанный из Парижа, Наврозов, Шехтель, Николай Чехов, Бочаров.

Аплодисментам и восторгам публики нет конца. И всюду, среди этого шума и блеска, мелькает белая поддевка Лентовского, а за ним его адъютанты: отставной полковник Жуковский, старик князь Оболенский, важный и исполнительный, и не менее важный молодой и изящный барин Безобразов, тот самый, что впоследствии был «другом великих князей» и представителем царя в дальневосточной авантюре, кончившейся японской войной.

Безобразов тогда уже бывал в петербургских сферах, но всегда нуждался в деньгах и из-за этого выполнял разные поручения Лентовского, а иногда был у него просто на посылках.

— Жуковский, закажи ужин! Скажи Будакову, что Пастухова сегодня кормлю, — он знает его вкусы.

— А ты, князь, опять за уборными не смотришь... Посмотри-ка в павильоне что...

Остается на берегу пруда вдвоем с Безобразовым.

— Так завтра, значит, ты едешь в Париж. Посмотри там, нет ли хороших балерин... Там тебе приказ написан, все подробно. На телеграммы денег не жалей.

— Слушаю, Михаил Валентинович.

* * *

А утром я вижу в «Эрмитаже» на площадке перед театром то ползающую по песку, то вскакивающую, то размахивающую руками и снова ползущую вереницу хористов и статистов, впереди которой ползет и вскакивает в белой поддевке сам Лентовский. Он репетирует какую-то народную сцену в оперетке и учит статистов.

Лентовского рвут на части. Он всюду нужен, всюду сам, все к нему: то за распоряжением, то с просьбами... И великие, и малые, и начальство, и сторожа, и первые персонажи, и выходные... Лаконически отвечает на вопросы, решает коротко и сразу... После сверкающей бриллиантами важной Зориной, на которую накричал Лентовский, к нему подходит молоденькая хористочка и дрожит.

— Вам что?

— М...м...мм...

— Вам что?

— Михаил Контрамарович, дайте мне Валентиночку...

— Князь, дай ей Валентиночку! Да две: небось, с кавалером! — И снова на кого-то кричит.

М. В. Лентовский частенько бывал «обязан полицией о невыезде из Москвы».

В один прекрасный вечер он вылетел на воздушном шаре за пределы не только столицы, но даже и Московской губернии. Забеспокоились кредиторы, заявили в полицию, а один из самых злобных даже требовал, чтобы полиция привлекла его за нарушение подписки о невыезде.

Дело кончилось ничем, а Лентовский смеялся:

— Я не давал подписки о невылете.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПУБЛИКА

Каждый московский театр имел свою публику. Самая требовательная и строгая публика была в Малом театре. На первых представлениях всегда бывали одни и те же строгие, истинные любители искусства. Люди, повидавшие все лучшее за границей, они в состоянии были заплатить огромные деньги барышникам или при помощи связей и знакомств получить билеты из кассы.

И рецензенты тогда были строгие и важные. Они занимали места от второго до четвертого ряда: у каждой газеты свое кресло.

Важно и торжественно входили они в зрительный зал, когда уже вся публика сидела на своих местах. Как сейчас вижу: с биноклем, опершись на барьер, осматривает театр Н. П. Кичеев, стройный, вылощенный сотрудник «Новостей» Нотовича; рядом с ним, всегда неразлучно, А. Д. Курепин, фельетонист «Нового времени».

Вот идет на свое место небольшой, с палочкой, человечек. Это — С. Ф. Флеров, самый серьезный из рецензентов, писавший в «Московских ведомостях» под псевдонимом «С. Васильев»; к его статьям, всегда руководящим, очень прислушивались актеры.

Быстро, почти ощупью, как-то боком пробегал, в сопровождении капельдинера, седовласый С. А. Юрьев и садился рядом с таким же седовласым М. Н. Ремезовым — оба из «Русской мысли». Тут же сидел и А. П. Лу-

кин из «Русских ведомостей», Вл. И. Немирович-Данченко из «Русского курьера» и Н. О. Ракшанин из «Московского листка».

Это были присяжные рецензенты — гроза артистов, всегда одинаковые и неизменные на премьерах всех театров.

На первых представлениях Малого театра, кроме настоящих театралов, бывало и именитое московское купечество; их семьи блистали бриллиантами в ложах бельэтажа и бенуара. Публика с оглядкой, купечески осторожная: как бы не зааплодировать невпопад. Публика невыгодная для актеров и авторов.

В Большом театре на премьерах партер был занят барами, еще помнившими крепостное право, жалевшими прежнюю пору, брюзжащими на все настоящее и всем недовольными.

Зато верхи были шумливы и веселы. Истинные любители оперы, неудавшиеся певцы, студенты, ученики разных музыкально-вокальных школ, только что начавших появляться тогда в Москве, попадающие обыкновенно в театр по контрамаркам и по протекции капельдинеров.

> ...И шумит, и гудит, и не троньте его,
> Яко наг, яко благ, яко нет ничего...

В верхних ложах публика «наплывная». Верхняя ложа стойла пять рублей, и десяток приказчиков и конторщиков набивали ее «по полтине с носа» битком, стоя плотной стеной сзади сидящих дам, жующих яблоки и сосущих леденцы.

— И чего актеры поют, а не говорят, слов не разберешь! — жаловались посетители таких лож.

— Одна песня, а слов нет!

Ложи бенуара и бельэтажа сплошь занимались купечеством: публика Островского.

Иногда в арьерложе раздавался заглушенный выстрел; но публика не беспокоилась: все знали, что в верхней ложе жених из ножевой линии угощал невесту лимонадом.

Премьеры театра Корша переполнялись обыкновенно передовыми людьми: писатели, актеры и поклонники

писателей и актеров, спортсмены, приезжие из провинции на бега, среднее купечество и их дамы — все люди, любящие вволю посмеяться или пустить слезу в «забирательной драме», лучшая публика для актера и автора. Аплодисменты вплоть до топания ногами и крики при вызовах «бис, бис» то и дело.

«Отколупнет ли крендель» Градов-Соколов, закатит ли глаза томная Рыбчинская, рявкнет ли Соловцов или, как в барабан, лупит себя по груди Рощин-Инсаров, улыбнется ли, рублем подарит наивная Мартынова — на все отзыв от всей души, с шумом и грохотом.

В антрактах купеческие сынки перед зеркалом в уборной репетируют жесты изящного Петипа.

Сам Федор Адамович Корш ныряет среди публики, улыбается и радуется полному сбору.

Как-то священник соседней с театром церкви пожаловался Коршу, что народ мало ходит в церковь. А Корш ему:

— Репертуарчик старенький у вас! У меня вот каждая пятница — новинка, и всегда полно...

Весел Корш, весела публика, веселы актеры, дебютантам — благодать: как ни играй, успех обязательно.

В театре Родона — оперетка... Своя там публика. Пожившая, износившаяся — старые развратники, наблюдающие обнаженные торсы и рассматривающие в бинокли, не лопнуло ли где-нибудь трико у артистки. Публика, воспитанная в «Салошках», кафе-шантанах и в театральных маскарадах.

Были еще два театра — «Немчиновка» и «Секретаревка». Там играли кружки любителей. Много из этих кружков вышло хороших актеров, театры эти сдавались внаймы на спектакль. И каждый кружок имел свою публику.

Один из моих друзей — репортер — прямо по нюху, закрыв глаза, при входе в зал угадывал, какой кружок играет: рыбники ли, мясники ли, овощники ли из Охотного ряда. Какой торговец устраивает, такая у него и публика: свой дух, запах, как у гоголевского Петрушки. Особенно рыбники.

Помню курьез. В числе любителей был в Москве известный гробовщик Котов. Недурно играл. Поставил он

«Свадьбу Кречинского» и сам играл Кречинского. Зал бушевал, аплодируя после первого акта, ведь после каждого спектакля Котов угощал публику ужином — люди все были свои.

Наконец, второй акт. Вдруг неожиданно, запыхавшись, в шубе вбегает на сцену его приказчик и шепчет что-то Котову на ухо.

— Ну? Сейчас. Ступай отсюда!

— Да торопитесь, а то перехватят!

Кречинский сорвал сначала одну бакенбарду, потом другую и бросился, ни слова не говоря, бежать со сцены.

Оказалось, что умер один из богачей Хлудовых, и он побежал получить заказ.

Публика не обиделась: дело прежде всего!

И стали танцевать.

Но совершенно особенные картины можно было наблюдать в незадачливом детище М. В. Лентовского, в театре «Скоморох».

Театр этот назывался «народным», был основан на деньги московского купечества. Конечно, народным в настоящем смысле этого слова он не был. Чересчур высокая плата, хотя там были места от пяти копеек, а вовторых, обилие барышников делали его малодоступным не только для народа, но и для средней публики.

Не было и подходящего репертуара, но труппа была прекрасная, и посетители валили валом.

Публика ходила в «Скоморох» самая разнообразная: чуйки, кафтаны, тулупы, ротонды, платья декольте шелковые, шерстяные, ситцевые и сарафаны.

В фойе, в буфете дым стоял от разного табаку, до махорки включительно. В зрительном зале запах полушубка и смазных сапог.

В «купонах» на верхотуре сидят две хорошенькие модистки.

— Ах, какой душка Лентовский! — восклицает одна.

— Да надоела ты мне с ним! Целое утро Лентовский да Лентовский, давай лучше плешивых считать!

— Давай. Один, два, три!..

— Позвольте, Софья Терентьевна, от всего моего сердца предложить вам сей апельсин, — говорит воен-

ный писарек, вынимая из заднего кармана пару апельсинов.

— Ах, какой вы, Тихон Сидорович! Вечно собьет...

— Вы чем это изволите заниматься?

— Оставьте! Двадцать два, двадцать три...— ткнула пальцем Соня чуть не в самую плешивую голову сидевшего впереди их купца.

— Эфти вы насмешки лучше оставьте-с, постарше себя не тычьте, заведите свою плешь, да и тешьтесь. А насчет чужой рассуждение не разводите-с!

— Позвольте-с,— авторитетно заявляет писарь, поправляя «капуль»,— это-с, собственно, не касательно вашей плеши, а одна профанация насчет приятного препровождения времени.

— А тебя не спрашивают, не к тебе речь. Погоди, и твой капуль-то вылезет. Вот у меня Филька — приказчик есть. Тоже капулем чесался. Придет к паликмахтеру, да и говорит: остриги меня, чтобы при хозяине по-русски, а без хозяина а ля капуль выходило...

— Семьдесят два, семьдесят три, семьдесят четыре, семьдесят пять...

— А вы знаете, Софья Терентьевна, песенку про плешивых-с?

— Семьдесят девять... восемьдесят...

— Мы плешивых песенок не знаем. Впрочем, спойте.

— Извольте-с.

Плешь к плеши приходила,
Плешь плеши говорила:
Ты плешь, я плешь,
На плешь капнешь,
Плешь обваришь,
Что заговоришь...

— Не ожидала от вас таких глупостев, Тихон Сидорович, не ожидала-с...

— Что с дурака взять?— замечает плешивый купец.

— Сам дурак.

— Ну ты, сам дурак и выходишь!

— То есть, какое вы имеете полное право ругаться?

— Еще бьют дураков-то, да и плакать не велят.

— Восемьдесят один, восемьдесят два... восемьдесят три...

— Сиволапый мужик...
— Барин с Хитрова! Жулье!
— Кто? Я жулье?
— Известно, ты.
— Кто, я? Жулье?
— Жулье...
— Жулье? Господин околоточный, господин околоточный... Пожалте-с!

Околоточный грозит от входа пальцем. Поднимается занавес. В театре крики:

— Тише! Тише!

Слышится тихий шепот:

— Восемьдесят девять, девяносто, девяносто один...

ШКАМОРДА

Халтура существовала издавна, но под другими названиями, а то и совсем без названий: находились предприниматели, собирали труппу на один-два спектакля где-нибудь на фабрике по заказу и играли. Актеры получали разовые и ездили, причем первые персонажи во втором классе, а вторые — в третьем.

Родоначальницу халтурщиков я имел удовольствие знать лично. Это была особа неопределенных лет, без имени и отчества, бесшумно и таинственно появлявшаяся в сумерки на подъезде Артистического кружка (в Кружок ее не пускали), и тут, на лестнице, выуживала она тех, кто ей был нужен.

В своем рукавистом салопе и ушастом капоре она напоминала летучую мышь. Маленькая, юркая и беззубая.

Ее звали — Шкаморда.

Откуда такая фамилия? Она уверяла, что ее предок был Богдан Хмельницкий.

Как бы то ни было, а вместо нынешнего актерского термина «халтурить» в 1875 году в Москве существовал «шкамордить».

В том же году я служил помощником режиссера в Артистическом кружке. Антрепренерствовал тогда там артист Малого театра Н. Е. Вильде.

Кружок занимал все огромное помещение, ныне за-

нятое Центральным театром для детей, а перед этим там был знаменитый трактир Барсова с его Белым залом, выходившим окнами в Охотный и на Театральную площадь.

Этот зал во время великого поста занимали богатые актеры вплоть до закрытия трактира. Здесь часто бывал А. Н. Островский с П. М. Садовским и Н. Х. Рыбаковым.

В те времена великим постом было запрещено играть актерам, а Вильде выхлопотал себе разрешение «читать в костюмах сцены из пьес». Поэтому, конечно с разрешения всемогущего генерал-губернатора В. А. Долгорукова, «покровителя искусств», в Кружке полностью ставились пьесы, и постом сборы были полные. Играли все провинциальные знаменитости, съезжавшиеся в Москву для заключения контрактов.

Все остальные театры и в столицах и в провинции в это время молчали. Только предприимчивая Шкаморда ухитрялась по уездным городам и подмосковным фабрикам делать то же, что и Вильде: ставить сцены из пьес в костюмах. Она нанимала и возила актеров.

Крупнейшие артисты того времени ездили с ней в Серпухов, в Богородск, на фабрику Морозова, в Орехово-Зуево, в Коломну: и она хорошо зарабатывала и давала хорошо зарабатывать актерам.

Нуждающимся отдавала последний рубль, помогала больным артистам и порою сама голодала. Мне приходилось два раза ездить с нею в Коломну суфлировать, и она аккуратно платила по десяти рублей, кроме оплаты всех расходов.

Со строгим выбором брала Шкаморда актеров для своих поездок. Страшно боялась провинциальных трагиков. И после того как Волгин-Кречетов напился пьяным в Коломне и переломал — хорошо еще, что после спектакля,—все кулисы и декорации в театре купцов Фроловых и те подали в суд на Шкаморду, она уже «сцен из трагедий» не ставила и обходилась комедиями и водевилями.

Много потом появилось таких «Шкаморд» — устроителей спектаклей и концертов. Начатое забытой Шкамордой дело разрослось и сделалось весьма почтенным и солидным.

Особенно поддерживали развитие халтуры благотворители. Казенные театры запрещали выступать своим артистам на чужих сценах.

«Помилуйте, казенного жалованья не хватает на чай и сахар»,— приводили актеры слова Гоголя.

И им позволяли выступать, чтобы наработать «на чай и сахар», но только не под своими фамилиями.

На благотворительных вечерах до самой революции артисты выступали под сокращениями или под звездочками. И все знали, что под звездочками арию из «Онегина» исполнит Собинов, монологи Чацкого и Гамлета — А. И. Южин.

Поди-ка, сократи Южина! А вот других весьма узнаваемо сокращали: Д. Ал. Матов, Х. О. Хлов, П. Р. Авдин.

Помню отчет об одном таком частном благотворительном концерте, где всех расхваливали. Отчет заканчивался строками:

И даже некто П. И. Рогов
Поет как будто Пирогов.

Теперь наши артисты выступают свободно, без звездочек и сокращений.

А мне вспоминается неутомимая труженица с благородной душой: Шкаморда — мать халтуры.

НА ХИТРОВКЕ

В 1883 году И. И. Кланг начал издавать журнал «Москва», имевший успех благодаря цветным иллюстрациям. Там дебютировал молодой художник В. А. Симов. С этого журнала началась наша дружба. В 1933 году В. А. Симов прислал мне свой рисунок, изображавший ночлежку Хитрова рынка. Рисунок точно повторял декорации МХАТ в пьесе Горького «На дне».

На рисунке дата и надпись: «Дорогому другу дяде Гиляю, защитнику и спасителю души моей, едва не погибшей ради углубленного изучения нравов и невредимо извлеченной из недр хитровской ночлежки ради «Дна» в МХАТ в лето 1902 года. В. Симов».

Рисунок В. А. Симова напомнил мне эпизод в ночлежке, населенной людьми театра.

В начале восьмидесятых годов в Москве были только две театральные библиотеки. Одна — небольшая, скромно помещавшаяся в меблирашках в доме Васильева, в Столешниковом переулке, а другая, большая — на Тверской.

Первую содержал С. И. Напойкин, а вторую — С. Ф. Рассохин. Первая обслуживала главным образом московских любителей и немногих провинциальных антрепренеров, а вторая широко развернула свое дело по всей провинции, включительно до Сибири и Кавказа. Печатных пьес, кроме классических (да и те редко попада-

лись), тогда не было: они или переписывались, или литографировались. Этим специально занимался Рассохин. От него театры получали все пьесы вместе с расписанными ролями.

Библиотека на Тверской была в бельэтаже; филиальное же отделение, где велась вся переписка, помещалось в грязнейшей ночлежке Хитрова рынка, в доме Степанова. Здесь в нижнем этаже ютился самый разбойничий трактир «Каторга»... А в надворном флигеле, во втором этаже, в квартире номер шесть, состоявшей из огромной комнаты, разделенной сквозной дощатой перегородкой, одну половину занимали нищие, а другую — переписчики Рассохина. Они работали в экстренных случаях ночи напролет.

Огромнейшие деньги получала библиотека, наживая с заказчиков в десять раз больше, чем платила своим «писакам», как их звали на Хитровке.

За расписывание ролей они получали по тридцать пять копеек с акта, а акты бывали и в семь листов и в десять. Работа каторжная, в день можно написать шесть-семь листов, не больше. Заработок в день выходил от двадцати до тридцати копеек, а при самых выгодных условиях, то есть при малых актах, можно было написать копеек на сорок.

— Если пишем с листа,— рассказывал хитрован, бывший суфлер,— то получаем по пять копеек за лист, и тоже более восьми листов не напишешь. Эту работу мы считаем выгодною и очень рады, когда она нам попадается, но это бывает редко. Вся беда в том, что работа у нас не постоянная — нынче, завтра кое-что, а там дня два ничего нет. Куда хуже нищих! Они в другой половине нашей квартиры живут. Не житье им, а малина. Раза три в день пьяны бывают, выспятся и опять лопают. И кусочки им подают с купеческого стола, и одеты тепло — даром, что с виду лохмотья. День гуляют, а ночью дрыхнут так, что писать нам нельзя,— от воздуха лампа гаснет. А мы сидим босые и полуголодные и никак на одежонку не соберем... И покупать уж не стараешься — все равно пропьем. Я только что вырвался оттуда, дядя вчера нашел меня там босым, в одной рубашке, сводил в баню, постриг, как видишь. Послезавтра еду

с ним в Казань — он меня в театр опять пристроит. Там суфлер плохой.

— Может быть, ты меня сведешь? — спросил я его.

— Никак нельзя... Как попаду, опять застряну. Оттуда выхода нет: придется все пропить, там не выпустят... Со мной уже это бывало. А ты обязательно сходи. Придешь, увидишь, за столом сидят, или пишут, или водку пьют. Прямо к ним. Спроси там старшего, Ивана Артемьевича, скажи, что тебя из библиотеки прислали, просят работишку дать тебе... Да оденься как можно похуже. Иван Артемьевич у нас выборный, потрезвее других. Библиотека ему сдает на руки работу, ему и деньги уплачивает, а он уж рассчитывается с нами: все деньги делим поровну, а ему сорок копеек за ходьбу с каждой получки даем, кроме заработанной доли.

На другой день, в воскресенье, я пошел на Хитровку под вечер. Отыскал дом Степанова, нашел квартиру номер шесть, только что отворил туда дверь, как на меня пахнуло каким-то отвратительным, смешанным с копотью и табачным дымом, гнилым воздухом. Вследствие тусклого освещения я сразу ничего не мог разобрать: шум, спор, ругань, хохот и пение — все это смешалось в один общий гул и настолько меня поразило, что я не мог понять, каким образом мой приятель суфлер попал в такую ужасную трущобу.

Мой приход никого не удивил, и никто не полюбопытствовал о цели моего появления. Я стал осматриваться: это была огромная квадратная комната в пять окон; вокруг стен были сплошные нары, и на них в самых непринужденных позах кто сидел, кто лежал; некоторые чинили свои отрепья. Соседняя ночлежка, нищенская, была еще хуже. Там под нарами, на разостланных на полу грязных рогожах, ютились преимущественно женщины; тут же, на протянутых над нарами веревочках, сушились грязные тряпицы, юбки и другие принадлежности женского туалета. Пол был отвратительно грязен и блестел от мокроты. Нога ступала в мокрую грязь так же мягко, как на улице. Посреди комнаты за большим столом, под висячей лампой, сидело человек шесть, и казалось, они очень спешили сшивать какие-то тетради. Я подошел к столу и спросил об Иване Артемьевиче.

— Он болен,— усмехнувшись, ответил мне маленький рыженький человечек с быстрыми плутовскими глазками. — Нынче он не выходил из своих апартаментов, но труп его можете узреть вон там налево, под нарами, откуда — слышите? — раздается богатырский храп.

— Он справляет байрам,— пояснил мне другой, сидевший в темной рубашке с оторванным по локоть рукавом,— и если он вам нужен и вы в состоянии поднести ему стаканчик жизненного эликсиру, то он сейчас же явится к вам.

— Я послан к нему из библиотеки,— объяснил я,— и желал бы узнать относительно условий переписки.

— Ну, насчет этого вы сегодня вряд ли что узнаете, потому что Иван Артемьевич, говоря откровенно, нынче пьян; да и вообще, судя по вашему обличью — костюму,— вы не согласитесь работать с нами.

В это время подошел к столу высокий мужчина с усами, с лицом безжизненного цвета, одетый в коротенькую, не по росту, грязную донельзя рубашку, в таких же грязных кальсонах и босиком. Волосы его были растрепаны, глаза еле глядели из-под опухших красных век. Видно было, что он со страшного похмелья и только что встал от сна.

— Кто пришел из библиотеки?— спросил он хриплым голосом.— Деньги принесли? У кого деньги? Давайте порционные!

Между сидевшими за столом раздался смех. Высокий человек направился ко мне. Я, в нерешительности, хотел было отступить, но он, обходя стол, поскользнулся и, падая, задел меня.

— Ах, pardon,— проговорил он, вставая с полу и протянув ко мне свои мокрые от грязи руки,— я это нечаянно. Мне послышалось, что кто-то пришел из библиотеки, я и думал получить свои порционные.

Мне не хотелось говорить с пьяным, и, к моему удивлению, кто-то из-под нар отозвал этого господина к себе. Через минуту он уже пел, сжимая в руках стакан с водкой:

Всему на свете мера,
Всему есть свой конец,
Да здравствует мадера,
Веселие сердец.

— Кто это?— спросил я.— Знакомый голос!

— Один актер-любитель из дворян. Второй год у нас околачивается... Три раза брали его родные, одевали, как барина, а он опять к нам... Говорит на всех языках. В Париже прокутился... Пишет хорошо.

«Кто же это? Неужели...» — мелькало в памяти.

Перебила рассказ безносая нищенка: она высыпала на стол из мешка гору корок, ломтей черного хлеба и объедков пирогов.

— За все гривенник!

— Мы у нищих хлеб покупаем, втрое дешевле лавочного. Окуски пирогов попадаются... Вот, глядите, ватрушки уголок.

— Здесь и обедаете?

— Куда же мы, голые, пойдем? Одни опорки на четверых. У съемщицы харчимся, обед из четырех блюд четыре копейки, каждого кушанья на копейку; щей, супу, картошки и две каши. Хлеб свой, вот этот. За ночлег — пятак. Верит до получки. Сейчас деньги из библиотеки пришлют — разочтемся...

Мы смотрели на пляску пьяных нищих. Безносая топотала в стоптанных башмаках, развевая над головой рваным платком, а за ней, петушком, петушком, засеменил босой нищий, бросив свои два костыля на нары и привизгивая:

Ходи, барыня, смелей,
Музыканту веселей...

Потом явился из соседней ночлежки гармонист, и разноголосый хор заорал свою любимую:

Пьем и водку, пьем и ром,
Завтра по миру пойдем...

Изорин спал поперек нар, один опорок свалился на пол. Так и не пришлось мне поговорить со старым товарищем по сцене: когда я зашел через месяц, его опять разыскали друзья и увезли.

* * *

После этого первого посещения я стал иногда заходить к «писакам», и, если друзья просили меня показать им трущобы, я обязательно водил их всегда сюда, как

в самую скромную и безопасную квартиру, где меня очень уважали, звали по имени-отчеству, а иногда «дядя Гиляй», как я подписывался в журналах и газетах.

На Хитровке, в ее трех трактирах, журналы и газеты получались и читались за столами вслух, пока совсем истреплются. Взасос читалась уголовная и судебная хроника (особенно в трактире «Каторга»), и я не раз при этом чтении узнавал такие подробности, которые и не снились ни следователям, ни полиции, ни судьям. Меня не стеснялись, а тем, кто указывал на меня, как на чужого, говорили:

— Это наш, газетчик, он не лягнет.

На «Каторгу», к переписчикам, я водил раз Т. Л. Щепкину-Куперник.

Я познакомился с Татьяной Львовной за кулисами театра Корша. Она играла гимназиста и была очень хорошеньким мальчиком. В последнем антракте, перед водевилем, подошла ко мне вся сияющая, счастливая успехом барышня, и я сразу не узнал после гимназического мундира Т. Л. Щепкину-Куперник.

Спустя долгое время я с ней встретился в Малом театре. Она, начитавшись моих статей о трущобах, просила показать ей их и пригласила меня зайти к ней. Она занимала маленький флигелек по Божедомке вдвоем с артисткой Терьян и прислугой. Три небольшие уютные комнатки: картины, безделушки, портреты писателей. Вечера веселья, небольшой кружок одних и тех же знакомых молодых артисток. Пение, музыка и чтение. И только дамское общество. Я любил бывать там. Просьбу показать ей Хитровку я все отклонял — не хотелось ее окунать в грязь, но, наконец, уступил.

Татьяна Львовна одела очень скромную шубку, на голову дешевый шерстяной платок, а на ноги валенки. Я решил ей показать только переписчиков. Пока мы шли рынком мимо баб, торговавших с грязными фонарями на столах разной «благоухавшей» снедью, которую пожирали оборванцы, она поражалась и ужасалась. Да еще бы не ужасаться, после ее обычной жизни в уютном флигельке!

А тут:

— Иди, на грош горла отрежу.

— Тухлая.

— А тебе за семитку-то с лимоном? Пошел...

Дальше пьяная ругань и драка.

В трактире «Каторга» дерутся. Кого-то вышибают за дверь. Звон стекол... Вопли о помощи...

Мы исчезаем в темном проходе, выбираемся на внутренний двор, поднимаемся во второй этаж, я распахиваю дверь квартиры номер шесть. Пахнуло трущобой. Яркая висячая лампа освещает большой стол, за которым пишут, согнувшись, косматые, оборванные, полураздетые, с опухшими лицами, восемь переписчиков.

Подняли головы и радостно меня приветствуют.

— Мешать не буду... я вот зашел с молодой писательницей — показать ей, как ее пьесы переписывают.

Встали, кланяются.

— Очень рады... Мы уж кончили, последнюю страничку... А кто она? — спрашивает старик из военных писарей.

— Щепкина-Куперник.

— Твердо — люди![1] Недавно переписывали!

— Да, Татьяна Львовна.

И все внимание обращено на нее. Усадили. Разговаривают о пьесах, о театре. В соседней комнате за дощатой перегородкой ругаются и спорят пьяные нищие...

* * *

Шли годы. Шагнули в двадцатое столетие. М. Горький ставил «На дне», и меня В. И. Немирович-Данченко просил показать Хитровку для постановки пьесы. Назначен был день «похода», и я накануне зашел узнать, в той ли еще они квартире. Тот же флигель, та же квартира во втором этаже, те же лампочки-коптишки у нищих и большая висячая лампа с абажуром над рабочим столом. Кое-кто из стариков цел, но уже многих нет.

Работы в этот день не было. За столом сидел голый старик и зашивал рубаху. Мы были знакомы по прежним встречам на Хитровке. Съемщица квартиры пода-

---

[1] Ее инициалы по-славянски.

ла нам запечатанную белую бутылку водки «смирновки». Обыкновенно подавала она сивуху в толстых шампанских бутылках: они прочнее.

А перед нами —

Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,

глядя на нас жадным взором, стоял в одном нижнем белье и в опорках положительно Аполлон Бельведерский. Он был выше всех на голову, белые атлетические руки, на мизинце огромный холеный ноготь, какие тогда носили великосветские франты.

— Пригласи «барина»,— шепнул мне мой товарищ и поманил его рукой.

С улыбкой сквозь красивые усы и бородку он крепко пожал мне руку, сделал легкий поклон, щелкнул опорками пятку о пятку, как, по-видимому, привык делать в сапогах со шпорами, и отрекомендовался: поручик Попов. Думаю, что это был псевдоним. Уж очень он на меня свысока смотрел. Но когда мы выпили по четвертому стаканчику, закусывая соленым огурцом, нарезанным на газете, с кусочками печенки, он захмелел, снизошел до меня и разговорился.

— А знаете,— обратился он ко мне,— вот здесь мы с вами водку пьем, а я чрез неделю должен был баллотироваться в уездные предводители дворянства, и мое избрание обеспечено. Мой отец губернский предводитель, уважаемая личность...

Я слушал, глядя на него: верю, мол.

— Кроме отца, никто не знает, что я старый хивинец. Я здесь третий раз. Раз прожил на Хиве полгода, тоже пьесы переписывал. Отец разыскал и привез домой. Через год я опять попал сюда — и год прожил. Отец опять увез к себе в имение, и я уж было дома привык. Занимался хозяйством, танцевал, охотился, запои мои прекратились совершенно. Решил баллотироваться, а потом жениться. Я считался завидным женихом. Поехал на месяц в Крым и там, кроме легкого вина, ничего не пил. И вот, возвращаюсь из Крыма. Билет был прямо до Петербурга. Камердинер поехал с вещами в купе, а я пошел пешком с Курского к Николаевскому вокзалу.

Поезд отходит через два часа, в одиннадцать ночи. Пошел в «Славянский базар» поесть да с Лубянской площади вдруг и повернул на Солянку. Думаю: зайду на Хиву, в «вагончик», где я жил, угощу старых приятелей и прямо на курьерский, еще успею. А на другой день проснулся на нарах в одной рубашке... Друзья подпустили ко мне в водку «малинки». Даже сапог и шпор не оставили... Как рак на мели. Теперь переписываю пьесы — и счастлив.

Надо заметить, что он слегка картавил, заменяя букву «р» по-аристократически «г», пересыпал речь французскими словами, чокаясь, говорил «прозит» или «ол райт»— у него выходило «оль гайт».

Он, видимо, захмелел.

— Ничего, приедет отец, выручит,— сказал я.

— К черту! Опять ходить по струнке! Настоящая жизнь здесь. Ведь это прелесть что такое: ничем не стеснять ни себя, ни других, распустить себя до состояния дикого человека, чувствовать себя во всех действиях свободным. Ведь это роскошь! C'est superbe!

Он встал во весь рост, покачнулся, красивым жестом поднял стакан, сделал им приветственный полукруг, обвел всех сияющими глазами, чокнулся со мной и, грассируя, с улыбкой произнес:

— Алла верды!

* * *

От переписчиков я зашел в трактир «Каторга». Меня встретил буфетчик Семен Васильев, которого я знал здесь еще мальчиком-половым.

На моих глазах он превратился в буфетчика. Одет в пиджак, через шею серебряная цепь с передвижной подковой, с голубой эмалью, которую я еще помню на его хозяине Кулакове лет двадцать назад: это хозяйский подарок. Семка увел меня в свою каморку за посудным шкафом, принес бутылку елисеевского портвейна, две рюмки и пару антоновских яблок.

Семка был здесь много лет моим «собственным корреспондентом» и сообщал все тайные новости Хитрова рынка, во-первых, потому, что боялся меня, как бы я не «продернул» в газетах трактир, а во-вторых, потому, что

просто «обожал» писателя. Словом, это был у меня свой человек. Он старался изо всех сил рассказать всегда что-нибудь интересное, похвастаться передо мной своим всезнайством.

Ему давно было известно, что у меня много знакомых среди самых отчаянных обитателей подземелий «Утюга» и «Старого оврага», с которыми я за «семикаторжным» столом его трактира не раз водку пивал: и Беспалый, и Зеленщик, и Болдоха, и Степка Махалкин, родной брат Васьки Чуркина, меня не стеснялись, сами мне давали наперебой материал и гордились, перечитывая в газетах свои сообщения, от которых полиция приходила в ужас.

Из-за этого и сам трактирщик Кулаков меня подобострастно принимал, а уж Семка прямо в нитку передо мною тянулся. Он первым делом заявил мне, что теперь служит на отчете, а хозяин живет в своем имении и редко приезжает. Рассказывал о старых общих знакомых— кто сослан, кто на высидке, кто где «дельце обделал». Во время рассказа он на минутку отрывался к кассе получать деньги.

— А вчера ночью обход был... Человек двести разной шпаны набрали. Половина нищие, уже опять вернулись, остальные в пересыльной сидят... и эти придут... Из деловых, как всегда, никого — в «малине» отсиделись. А было что взять: с неделю назад из каторги вернулся Болдоха, а с ним Захарка... Вместе тогда за убийство судились и вместе бежали... Еще его за рост звали «Полтора Захара, с неделю ростом, два дни загнулось». Вы помните их?

— Болдоху хорошо знаю. Он мне сам рассказывал о Гуслицком сундуке, а я с его слов напечатал подробности... Небольшой, с усами, звали Сергей Антонов, помню...

— Теперь не узнаете. Носит подвесную бороду, а Безухий и ходит и спит, не снимая телячьей шапки с лопастями: ухо скрывает. Длинный, худющий, черная борода... вот они сейчас перед вами ушли от меня втроем. Злые. На какой хошь фарт пойдут. Я их, по старому приятству, сюда в каморку пускаю, пришли в бедственном положении, пока что в кредит доверяю. Болдохе сухими две красненьких дал... Как откажешь? Сейчас!

Вернувшись от кассы, сказал:

— Приодеться надо, ищут фарта, да еще не наклевывается. Харчатся и спят у Бардадыма.

— Это в вашем «Утюге», в подвале?

— Да, бывшая ночлежка. Золотого... там сокровенно, туда лягавые не сунутся.

— Знаю, ход со двора, внизу. А постарел Болдоха?

— Нет, все такой же бык, только седой, а бороду добыл рыжую.

* * *

Выйдя на площадь, под фонарем, я увидел оборванца, лицо которого показалось мне знакомым.

— Игнат,— окликнул я,— ты как попал?

— Как всегда, запил на две недели, запой прошел, а я уж месяц в Кулаковке околачиваюсь, не в чем на место явиться.

Обрадовался мне, слезы на глазах.

— Завтра утром заходи ко мне, я тебя одену.

— Не могу в этом виде днем. Позвольте вечером.

— Завтра вечером меня не будет дома, приходи послезавтра, а пока держи рублевку на харчи.

Мы расстались. Игната я давно знал. Он был коридорным в номерах Фальцфейна на Тверской. Честнейший человек, хотя знался с самыми что ни на есть разбойниками Хитрова рынка, куда два раза в год попадал: запьет, в пьяном виде сейчас же на Хитровку, в излюбленную ночлежку. Через две недели запой проходит, и если хитрованские друзья сработают какой-нибудь фарт, то приоденут его, и он снова на службе. Его излюбленное место было в ночлежке Бардадыма и у шулеров, которые обыгрывают по притонам и по рынкам в «черную и красную» или «три листа». Сам же он в карты никогда не играл.

* * *

На другой день, как мы условились раньше, я привел актеров Художественного театра к переписчикам. Они, раздетые и разутые, сидели в ожидании работы, которую Рассохин обещал прислать вечером. Лампа горела только в их «хазе», а в соседней было темно: нищие с

восьми часов улеглись, чтобы завтра рано встать и идти к ранней службе на церковную паперть.

Радость, когда я привел таких гостей, была неописуема. Я дал пять рублей, хозяйка квартиры подала нам «смирновки», а другим сивухи. По законам ночлежки водку обязаны покупать у хозяйки — это ее главный доход. Водка, конечно, всегда разбавлена водой, а за «смирновку» в запечатанном виде платилось вдвое.

Художник В. А. Симов с карандашом и альбомом и еще кое-кто сели за стол, а кто и стоял. Щегольские костюмы и рвань. Изящный В. И. Немирович-Данченко блистал своей красиво расчесанной бородой и с кем-то разговаривал.

В высокомерной позе, на том же самом месте, как и вчера, с красиво поднятым стаканом, полураздетый, но гордый, стоял рядом с К. С. Станиславским мой вчерашний собеседник — оба одного роста. Все «писаки» были еще совершенно трезвы, но с каждым стаканом лица разгорались и оживлялась беседа.

— Приветствую вас у себя, дорогие гости, — грассировал «барин», обращаясь к К. С. Станиславскому и обводя глазами других. — Вы с высоты своего театрального Олимпа спустились в нашу театральную преисподнюю. И вы это сделали совершенно правильно, потому что мы тоже, как и вы, люди театра. И вы и мы служим одному великому искусству — вы как боги, мы как подземные силы... Ол райт!

Он хлопнул залпом стакан.

К. С. Станиславский стал с ним говорить, перемешавшиеся лохмотья и шикарные костюмы склонились над столом и смотрели на рисунок Симова, слышались возгласы одобрения, только фигура чайки вызвала сомнение. Нешто это птица?

Ночлежка нищих нестерпимо зловонила и храпела. Я нюхал табак, стоя у двери, и около меня набралось человек десять любопытных из соседней ночлежки. Вдруг меня кто-то тронул за руку:

— Угостите табачком.

Оглядываюсь — Игнат. Он значительно смотрит на меня и кладет четыре пальца себе на губы. Жест для понимающего известный: молчи и слушай. И тотчас же

запускает щепоть в тавлинку, а рукой тихо и коротко дергает меня за рукав. Это значит: выйди за мною. А сам, понюхав, зажав рот, громко шепчет: «Ну, зачихаю»,— и выходит в коридор. Я тоже заряжаю нос, закрываю ладонью, чтобы тоже не помешать будто бы чиханьем, и иду за Игнатом. Очень уж у него были неспокойные глаза.

— Владимир Алексеевич, выкидывайтесь скорее с вашими гостями отсюда, да скорее, сей минутою, а то беда.

— Что такое?

— Жизнью вы все рискуете! Уводите своих... Вам накроют темную, будет драка, вас разденут. Ну, уходите. Как я уйду, так и вы за мною все...

Дальше в коротких словах он рассказал, что к ним в «малину» под ночлежкой Бардадыма пришел один «фартовый» и сказал, что к писакам богатые гости пришли. Болдоха из «Каторги» сразу шепчет соседу — Дылдой звать: «Ты Дылда, как мы войдем и я тебе мигну, лампу загаси, и мы темную накроем».

— Это он сказал тому беглому, что с собой из каторги привел, а меня послал: «Сейчас, Игнашка, погляди, что и как и стоющее ли дело». Уходите, я бегу, меня ждут...— и нырнул на лестницу.

Я на минуту задумался: врет или не врет Игнашка? Я уверен, что он не врет, но, может, преувеличивает. Я решил все-таки увести гостей и с этими мыслями пошел в ночлежку.

Вдруг слышу — по лестнице идут несколько человек, и сквозь решетку перил под лампой показалась длинная фигура в оленьей шапке. Подобные шапки носили в Вологде зыряне. Борода у него черная, как описал мне буфетчик. Да, это Безухий, которого называл Болдоха Дылдой. А вот и широкая, приземистая фигура Болдохи с бородой набоку.

Уходить поздно. Надо находить другой выход. Зная диспозицию нападения врага, вмиг соображаю и успокаиваюсь: первое дело следить за Дылдой и во что бы то ни стало не дать потушить лампу: «темная» не удастся, при огне не решатся. Болдоха носит бороду,— значит, трусит. Когда Болдоха меня узнает, я скажу ему, что узнал Безухого, открою секрет его шапки — и кампания

выиграна. А пока буду следить за каждым, кто из чужих полезет к столу, чтобы сорвать лампу. Главное — за Дылдой.

К. С. Станиславский все еще разговаривает с «барином». Бутылка сивухи гуляет по рукам толпящихся у двери. Это набежали любопытные из соседней ночлежки, подшибалы и папиросники,— народ смирный, а среди них пьяный мордастый громила Ванька Лошадь. Он завладел шампанкою, кое-кому плеснул в стаканчик, а сам, отбиваясь левой рукой, дудит из горлышка остатки.

Около В. А. Симова шум, кто-то задорным голосом упрекает его:

— Нешто это мой потрет? Пачиму такое одна щека черная? Где она у меня черная? Где? Гляди!

Кто за художника, кто за того... Голоса слились в споре. А пятеро «утюгов» с деловым видом протиснулись ближе и встали сзади налегших на стол спорщиков. На них никто никакого внимания: не до того — на столе водка.

Болдоху я бы и не узнал, если бы не привесная борода, которую он то и дело поправлял. Я его помню молодым парнем с усами: бороду брил, щеголь. Зато сразу узнал несуразного Дылду по его росту и шапке с ушами.

Я делал вид, что слушаю разговоры, а сам следил из-за чьей-то спины за «утюгами». Перешептываются, и глаза их бегают и прыгают по костюмам гостей: они делят заранее, кому и кого атаковать. Болдоха толкает в спину Безухого; тот боком, поднимаясь на носки, через плечи наклонившихся над столом, заглядывает на В. А. Симова, а сам подвигается вперед к лампе. Потом встал сзади тех, что навалились на стол со стороны нищенской перегородки со стоявшей вдоль нее широкой скамьей. Кое-кто стоит на ней коленами. Черная борода тихо подвигается над ними, болтаются желтые лопасти шапки. Там шумят и пьют водку. «Барин» со стаканом в руках что-то проповедует. А отдельно стоящие «утюги», видимо, волнуются и зыркают глазами. Только Болдоха исподлобья смотрит будто на пол и невозмутимо подкатывает внутрь длинные рукава рваного полушубка. Но центр внимания кучки и мой — Безухий, замерший в

стойке над лампой, как собака над дичью. Все дело — в нем.

Если схватить и оттащить его — затеется борьба, в это время кто-нибудь из кучки успеет, пользуясь суматохой, погасить лампу,— и свалки не миновать. Единственный исход — бесшумно уничтожить гасителя Дылду, а Болдоху — словом ушибить. Безухий уперся пальцами откинутой правой руки в перегородку, чтобы удержать равновесие, потянувшись левой к лампе. Грудь открыта... шея вытянута... Так и замер в этой позе.

За столом галдеж. На В. А. Симова навалились с руганью. Кто за него, кто против. Он испуганно побледнел и съежился. Ванька Лошадь с безумными глазами бросился к столу, бешено замахнулся над головой В. А. Симова бутылкой. Я издали только успел рявкнуть:

— Лошадь, стой!

Но в этот же миг сверкнула белая рука в рваном рукаве, блеснул длинный холеный ноготь мизинца. Как сейчас я вижу это и как сейчас слышу среди этого буйства спокойное:

— Pardon!— Бутылка уже была в руках «барина».

А под шум рука Дылды уже у лампы. Я отдернул его левой рукой на себя, а правой схватил на лету за горло и грохнул на скамью. Он — ни звука.

— Затырсь! Если пикнешь, шапку сорву. Где ухо? Ни звука, а то...

Все это было делом одного момента. Мелькнула в памяти моя бродяжная жизнь, рыбинский кабак, словесные рифмованные «импровизации» бурлака Петли, замечательный эффект их,— и я мгновенно решил воспользоваться его методом.

Я бросился с поднятым кулаком, встал рядом с Болдохой и строго шепнул ему:

— Бороду сорву. — И, обратясь к центру свалки, глядя на Ваньку Лошадь, который не мог вырваться из атлетических рук «барина», заорал диким голосом: — Стой, дьяволы!..— и пошел, и пошел.

Импровизация Петли с рядом новых добавлений так гремела, что даже разбудила нищих. А между новыми яркими терминами я поминал родителей от седьмого колена, шепча Болдохе:

— Степку Махалкина помнишь?..

— Тра-та-та...

— А Беспалова?.. А дьяконову кухарку на Кисловке?..

— Тра-та-та...

— А золото Савки? А Гуслицкий сундук?

— Мерзлую собаку...

— Ну, узнал ты меня, что ли, Антон?

Он глядит на меня безумными глазами, скривившаяся борода трясется.

— А Золотого? Помнишь, как его я прописал? Бороду поправь!

— Дядя? Это ты...

— Ну, и заткнись! К вам, сволочи, своих друзей, гостей привел, а вы что, сволота несчастная? А еще люди! Храпаидолы! Ну?!

Все стихло. Губы у многих шевелились, но слова рвались и не выходили.

— Не бойсь, не лягну,— шепнул я Болдохе... и закатился финальной тирадой, на которую неистовым голосом завизжала на меня нищенка, босая, в одной рубахе, среди сгрудившихся и тоже босых нищих, поднявшихся с логова:

— Окстись! Ведь завтра праздник, а ты...— и тоже меня руганула очень сочно.

Я снял с головы шапку, поклонился ей в пояс и весело крикнул:

— С праздничком, кума!

— Бгаво... бгаво...— зааплодировал первым «барин», а за ним переписчики, мои актеры, нищие и вся шатия, вплоть до «утюгов», заразилась их примером и хлопала в первый раз в жизни, не имея понятия о том, что это выражение одобрения.

Позднее столица восторгалась пьесой Горького и вызывала художника В. А. Симова за декорации, которые были точнейшей копией ночлежки Бардадыма, куда я его водил еще не раз после скандала у переписчиков.

ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА

В семидесятых годах прошлого века самым безлюдным местом в Москве была Театральная площадь, огороженная с четырех сторон пестрыми, казенного рисунка, столбами, и сквозь них был протянут толстый канат.

У австралийских дикарей были такие священные места, куда нога смертного не должна была ступить, и виноватый, преступивший закон, изданный жрецами, подвергался смертной казни за нарушение «табу».

Такое «табу» лежало на Театральной площади: оно было наложено командующим войсками Московского военного округа и соблюдалось преемственно с аракчеевских времен, с тою только разницей, что виновного не казнили, а отправляли в квартал (тогда еще «участков» не было, они введены с 1881 года), чего москвичи совершенно справедливо боялись.

— Насыпят по первое число, а то, гляди, и выпорют!

* * *

Удивительная площадь! Кусок занесенной неведомой силой мертвой тундры с нетронутым целинным снегом, огороженной казенными столбами и веревкой! Тундра во всей целомудренной неприкосновенности.

И это в то время, когда кругом кипела жизнь, гудел всегда полный народа Охотный ряд, калейдоскопом пе-

стрел широкий Китайский проезд, и парами, и одиночками, и гружеными возами, которые спускались от Лубянской площади, упирались в канат и поворачивали в сторону, то к Большому театру, то к Китайской стене, чтобы узким проездом протолкаться к Охотному ряду и дальше.

Думается, что лихой наездник Аполлон, правящий четверкой коней со своей колесницей над фронтоном театра, кричит: «Вот дураки! Чем зря кружиться, сняли бы с середнего пролета кусок веревки — и вся недолга!» И ругается греческий бог, как пьяный кучер, потому что он давно омосквичился, а в Москве все кучера пьяницы, а трезвых только два: один вот этот, на Большом театре, а другой на «Трухмальных» воротах у Тверской заставы, да и то потому, что тот не настоящий кучер, а «баба с калачом».

Вслед за старым москвичом, Аполлоном, уже вслух на всю улицу ругаются и все кучера, извозчики и ломовики. А богатеи, что на собственных выездах щеголяют, даже заикнуться не дерзают А замолчали они после того, как их выборных «отцов города», когда в заседании Думы они эту Аполлонову мысль об открытии одного пролета высказали, начальство так пугнуло, что душа в пятки ушла.

Командующий войсками генерал Гильденштубе велел передать городскому голове, что «в Думе пусть думают, что хотят, а говорить, что не полагается, — не сметь!»

На десять лет замолчала Дума, пока какой-то смелый главный опять не поднял этого Аполлонова вопроса об открытии пролета для удобства проезда. И снова получился такой же строгий оклик, хотя командующий войсками был другой генерал — Бреверн де ля Гарди.

И снова вся Москва продолжала кружить около каната.

Целинный снег все лежал и лежал целомудренной белой скатертью, а кругом каната ходили хожалые и будочники и наблюдали, чтоб кто-нибудь не нарушил «табу», и особенно следили, чтобы «канатные» прогуливались только рядом с канатом с одной стороны площади и не толкались у фонтана. Это уже они творили волю оберполицмейстера, издавшего приказ: «В виду соблю-

дения благоустройства строжайше запретить шляться проституткам Челышевских и Китайских бань по тротуарам и разрешить им хождение только по наружной стороне площади на три шага от каната и только с одной стороны, к Китайской стене выходящей».

Так и звали этих особ «канатными», и не было тогда хуже оскорбления, как ругать: «канатная».

Они состояли в полной власти будочников. Пост около каната по полиции считался наградой: туда посылали, как в допетровские времена воевод в отдаленные города «на кормежь».

Любоваться площадью и сценами около каната можно было из окон трактира знаменитого Тестова, числившегося, как писалось на его прейскурантах, «поставщиком двора его императорского высочества великого князя Владимира Александровича», посещавшего, как и другие высокопоставленные, трактир во время своих наездов в Москву.

Но «поставщика» и герб великокняжеский Тестов получил за доставление к великокняжескому двору своих, действительно замечательных, молочных поросят, выращиваемых каждый в особом ящике с перегородками, «чтобы он жирку не сбрыкнул».

Когда высокие гости приезжали к Тестову, швейцар бежал на пост к полицейскому:

— Гони своих канатных под Китайскую стену — начальство наехало!

И любовались гости из трактира на площадь белоснежную, безлюдную, не тронутую ногой человеческой.

Редко, редко, когда след по снегу появлялся. Находились энтузиасты, любители сильных ощущений, которые подлезали под канат, если, конечно, будочника близко нет, и стремглав перебегали площадь, что некоторым удавалось, и они после, указывая приятелям на следы, хвастались:

— Это я пробежал!

Десятки лет пустовала площадь. А кажись бы, чего искать лучше места для зимней прогулки детей! Но никогда следа детских ножек и салазок не появлялось там, потому что было строго приказано не пускать ребятишек мять казенный снег.

А все-таки снег мяли и следы на нем были, иногда одиночные, а то и групповые. Тут предержащая власть была бессильна. Да и что могла поделать полиция с собаками, которые, пробегая из Охотного или в Охотный прямым путем, иногда деловито останавливались у столба, балансируя на трех ногах, а четвертой, непременно задней, поддерживали столб, может быть из осторожности, чтобы не упал: вещь казенная. Мало ли что собака думает? Собаки умные! По крайней мере они учли, что безлюдная площадь — это самое удобное место для их свадеб, которые они и играли на виду у всех. Бывало, весь снег испетляют следами, а ничего не поделаешь!

Наконец открылся один пролет, пошла потом по нему конка, а затем трамвай, и в конце концов, вместо целинной снеговой тундры зимой, грязного болота осенью и весной и покрытой тучами пыли летом шоссированной площади, образовался чудный сквер — место отдыха москвичей и радость детям.

Круглый год гуляют дети там, где в старые годы устраивались раз или два в году парады войск и ради этих двух раз площадь была «пустопорожним местом», как писалось в казенных бумагах.

* * *

В первый раз я увидел площадь в декабре 1875 года, когда приехал в Москву из Рязани ночью и остановился у приятеля, актера Селиванова, в его номере, в «Челышах», так как у меня не было ни копейки денег.

На другой же день я пошел в Артистический кружок, где по рекомендации актеров Киреева и Лебедева был принят на службу помощником режиссера, и обосновался в столице.

До восьмого марта 1876 года я и внимания не обращал на площадь, а в этот день площадь осталась у меня в памяти навсегда.

Я вышел из актерского подъезда «Челышей», что против фонтана работы скульптора Витали. Было десять утра, а репетиция — в двенадцать. Я остановился на углу Китайского проезда и нашей гостиницы и впер-

вые подумал: сколько зря приходится крюку делать! То ли дело, если бы этого дурацкого каната не было: иди по диагонали прямо от подъезда гостиницы до подъезда Кружка! А то вот кружи по тротуарам Малого театра, а потом около подъезда Большого — ровно вдвое дальше! А главное, переходить среди беспорядочной езды по суетному Китайскому проезду! Потом уже его городская управа назвала Театральным, а народ доселе все Китайским зовет. Кроме Челышевских были на другой стороне, на углу Неглинного проезда, Китайские бани. Их потом переименовали в Центральные, а долго звали Китайскими.

* * *

Сейчас, когда я пишу это, в тысячный раз благодарю тот самый дурацкий канат: не будь его — я многое бы потерял в жизни.

День солнечный. Огороженная площадь бела от свежего снега, хотя на улицах снег уже обратился в ореховую халву.

Стою и любуюсь задрапированным снегом Аполлоном в колеснице на четверке коней. Он украшает фронтон Большого театра, поддерживаемый колоннами, из которых каждая весит двенадцать тысяч пудов или держит такой груз, как мне говорил когда-то архитектор М. Н. Чичагов. Любуюсь пролетавшим полицмейстером Араповым, то есть не им, а прекрасной рыжей парой, золотившейся на солнце. Коренник мчится призовой рысью, а красавица пристяжка изогнула шею кольцом, морда вниз: «землю ест!» На повороте с Петровки он переехал собачонку, сшиб с головы лоток у разносчика, и умчался, даже не оглянувшись.

За ним сверху, с Лубянки, мчались одиночки, пары, тащились ваньки — зимники на облезлых клячах, тоже ухитрявшиеся торопиться под горку. Обратно, из Охотного, встречные им, едут в гору обыкновенно тихо. Прополз сверху обоз, груженный мороженой рыбой. На паре битюгов везли громадную белугу, причем голова ее и туловище лежали на длинных дровнях, а хвост покоился на других, привязанных к задку первых.

— Белужина-то пудов на сто! — говорили в кучке остановившихся поглазеть на чудо природы.

Обоз застрял на повороте и задержал огромную древнюю карету с иконой Иверской божией матери. На козлах сидел кучер и дьячок, головы которых были повязаны у одного женским платком, а у другого башлыком, потому что в шапке считалось икону грех везти.

Лавина саней сверху продолжала спускаться. Показался большой возок на четверке вороных лошадей цугом с форейтором в монашеской скуфейке вместо шапки.

— Митрополит! — говорили остановившиеся прохожие, снимали шапки и кланялись возку, из окна которого митрополит в черной рясе с широкими рукавами и в белом клобуке с бриллиантовым крестом благословлял на обе стороны народ. Он ехал к Кремлю.

Но больше меня заинтересовал следующий выезд — карета на высоких круглых рессорах на паре старых-старых, но породистых крупных рысаков, с седым кучером в голубой бархатной шапке с четырьмя острыми углами. Рядом с ним такой же старый, министерского вида, с серебряными огромными баками, выездной лакей в цилиндре с золотым галуном, а над крышей кареты высились две шляпы, тоже с галуном, над серьезными лицами двух огромных гайдуков, начисто выбритых. Они стояли на запятках, сзади кареты, держась за широкие ременные поручни. Сквозь окна кареты мелькнул передо мной лиловый капор, выглядывающий из пушистого воротника.

— Любуетесь Москвой? — сказал остановившийся передо мной высокий человек с проседью, в тонком пальто и модной тогда между интеллигенцией драповой шапочке «пирожком», на манер сербской.

Он протянул мне руку, сбросив с нее вязаную перчатку.

— Здравствуйте, Петр Платоныч! — обрадовался я.

— Любуетесь Москвой? В эти часы для наблюдений место интересное! Ну где вы увидите таких? — и он указал по направлению кареты с лакеями. — Это, изволите ли видеть, крупная благотворительница, известная под кличкой «Обмакни». Она подписывает бумаги гусиным

пером и каждый раз передает перо своему секретарю, чтобы он обмакнул в чернила, и каждый раз говорит ему: «Обмакни». Ну, вот она как-то и подписала по ошибке под деловой бумагой вместо своей фамилии: «Обмакни». А вы, конечно, на репетицию?

— Да, но еще рано, вот и гуляю до двенадцати. День очень хорош, десять градусов.

— И прекрасно. Пойдемте в «Щербаки», и позвольте вас угостить расстегаем со свежей икрой.

* * *

Мы двинулись по тротуару Малого театра по направлению к «Щербакам», на Петровке против Кузнецкого моста. Этот трактир, в деревянном домике с антресолями, содержал старик Спиридон Степанович Щербаков, благодетель бедных актеров и друг всех знаменитостей артистического мира. Не успели сделать двух шагов, как сзади звякнули шпоры и раздался голос:

— Князь, я вас вчера на бенефисе видел!

— Здравствуйте, Иван Львович!

Перед моим спутником стоял жандарм в пальто с полковничьими погонами, в синей холодной фуражке. Я невольно застыл перед афишей на стене театра и сделал вид, что читаю, — уж очень меня поразил вид жандарма: паспорта у меня еще не было, а два побега недавних — на Волге и на Дону — так еще свежи были в памяти.

Я теперь не могу сказать, о чем была афиша: я делал вид, что читаю, а на самом деле прислушивался к разговору и помышлял, как бы провалиться сквозь землю, потому что бежать боялся: как бы не вызвать подозрения. До меня доносились отрывочные фразы полковника, на которые односложно, как-то сквозь зубы, будто нехотя, отвечал князь.

— Эту пьесу следует запретить. Довольно уж разной нигилятины и своей, а то еще переводная!.. Да там прямо призыв к бунту!.. Играла прекрасно... Ну да только и она все-таки с душком, читает на вечеринках запрещенные стихи, Некрасова читает!..

Князь что-то отвечал — я не расслышал.

— Ну, я тороплюсь... Дела неотложные...

Щелкнули шпоры — и высокая фигура в сером пальто замоталась по тропинке рядом с канатом.

— Это главный московский жандарм. Хитрая бестия! Идет к себе в канцелярию, — и Петр Платонович Мещерский указал на большое желтое здание рядом с домом Тестова, доходившее до угла Охотного. Это был дом Журавлева. Впоследствии, в восьмидесятых годах, он сломал его и выстроил «во всех стилях» пестрый домище, который сдал ресторатору Пинчеру под гостиницу. Дом этот, в том же виде, стоит и теперь, как и дом другой, напротив, гостиница «Метрополь», сооруженный «по-модерному» Саввой Ивановичем Мамонтовым на месте старинного барского дома Челышева.

Эту сторону площади изменили эти два дома. Зато другая — с Малым и Большим театром и дом Бронникова остались такими же, как и были прежде. Только владелец Шелапутин почти незаметно сделал в доме переделки по требованию М. В. Лентовского, снявшего под свой театр помещение закрывшегося Артистического кружка. Да вырос на месте старинной Александровской галереи универсальный магазин «Мюр и Мерилиз» — огненная печь из стекла и железа...

* * *

Петр Платонович Мещерский, которого жандарм называл «князем», был действительно потомок обедневшей княжеской семьи. Прекрасно образованный, он существовал переводами, литературным заработком, гонораром за свои пьесы и был некоторое время мировым судьей. Его камеру охотно посещали газетные репортеры, находившие интересный материал для газет.

Это был очень остроумный человек, судья, умевший большинство дел решать примирением сторон, никогда не давая в обиду бедняка, чем и прославился среди малоимущего населения столицы. Он никогда не позволял выбросить на улицу домовладельцу, какого бы высокого ранга тот ни был, семью бедняка за невзнос платы. Бывало, так пристыдит богатея, что тот откажется от иска. Если же какая-нибудь купчиха или ерепенистая барыня

судится с прислугой, то он так вышутит истицу, что вся камера покатывается со смеху. Он судил всегда по правде и в конце концов, снискав любовь и уважение населения, нажил себе врагов среди сослуживцев.

— Какой-то нигилист, а не князь! — шипели на него родовитые дворяне.

* * *

Опять скажу: если б не было каната на Театральной площади, я бы прямо прошел из «Челышей» в Кружок... Если б жандарм не задержал нас на три минуты, не было бы и другой знаменательной встречи и не было бы тех слов Петра Платоновича, которые на всю жизнь запечатлелись в моем сердце. Такие слова мог сказать только такой человек, как П. П. Мещерский.

Я с ним познакомился в первые дни моего поступления в Кружок, старшиной которого он был и ведал сценой. Он все вечера проводил в Кружке, приходя поздно только в те дни, когда в Малом театре бывали новые постановки. И всегда с актерами — будь они большие, будь они маленькие — днем завтракал в «Щербаках», а потом, когда они закрылись, в «Ливорно» и у Вельде, актерских ресторанчиках.

Его знали и любили все актеры, начиная с маленьких, и он был дружен с корифеями сцены, а в Малый театр приходил как домой. Его мнение об игре и постановке очень ценилось, и его указаний слушались знаменитости. Он был другом с Островским, Юрьевым, Чаевым, Лесковым, Горбуновым. Я видал его в их компании в Кружке неизменно, когда они бывали там. Он приходил рано, садился один за свой любимый стол у камина, рядом с буфетной комнатой, и вскоре к нему подсаживались и драматурги, и актеры, и литераторы. Он был центром для всех, а в «Щербаках» и «Ливорно», где постом все столы были заняты, садился куда придется, а пригласить Петра Платоновича к столу хотелось всякому, и он охотно знакомился с приезжими актерами, будь они первые персонажи или простые хористы.

Все знали театрала князя Мещерского, и все знали, что он не любит, когда его титулуют князем.

— У меня еще имя есть, Петром Платоновичем зовут, — говорил он кому-нибудь из новых знакомых, которые назовут его или князем, или — от чего он морщился — вашим сиятельством. Последнее он особенно не любил.

За глаза же, и даже в провинции, рассказывая о Москве, актеры хвастались, что у них есть друг в Москве — князь Мещерский. И правда — бедноте он был друг, и к концу поста, когда актеры проживались до копейки, он многим помогал деньгами из своих очень небольших средств.

Он был холост. Жил одиноко, в небольшом номере в доме Мосолова на Лубянке, поближе к Малому театру, который был для него все с его студенческих времен. Он не играл в карты, не кутил, и одна неизменная любовь его была к драматическому искусству и к перлу его — Малому театру. С юности до самой смерти он был верен Малому театру. Неизменное доказательство последнего — его автограф, который случайно уцелел в моих бумагах и лежит предо мною.

В 1908 году, в мой юбилей, я получил от него на полутора листах поздравление «В. А. Гиляровскому, старому театралу». Вот письмо, теплое и милое, написанное под его диктовку:

«Если Гиляровский хотя с малой сердечной теплотой вспомнит о нас, друзьях его детства, то для нас это будет очень приятно... Да, это было очень давно, то было раннею весною, когда мы, от всей души любя здешний Малый театр, в его славное время, были знакомы».

Письмо подписано: «Старый театрал, член Общества русских драматических писателей», и далее его собственноручная подпись дрожащей рукой, неровными буквами, без всякого нажима, сделанная, по-видимому, лежа: «Князь Петр Пл. Мещерский».

А внизу, опять чужой рукой: «Ново-Екатерининская больница».

Через некоторое время после получения письма я пошел навестить старого друга, которого не видал много лет, и не знал даже, жив ли он, но мне сказали, что его похоронили.

* * *

К театральному подъезду, скрипя железными шинами высоченных колес, дребезжа каждым винтиком, подползла облезлая театральная карета, запряженная парой разномастных «кабысдохов», из тех, о которых поется:

Были когда-то и мы рысаками.

Кучер, в рваном, линючем армяке, в вихрастой плешивой шапке, с подвязанной щекой, остановил своих дромадеров, по-видимому к великой их радости, у подъезда театра, и из кареты легко выпорхнула стройная девушка в короткой черной шубке с барашковым воротником и такой же низенькой шапочке, какие тогда носили учительницы.

Передо мной мелькнул освещенный солнцем нежный розовый профиль. Она быстро нырнула в подъезд, только остались в памяти серые валенки, сверкнувшие из-под черной юбки.

— Вы видели? — положив мне руку на плечо, сказал мне спутник.

— Славная барышня! Уж очень у нее движения легки... Вся радостью сияет.

— Еще бы, в балете была! Да не в том дело. А вот вы верно сказали — вся радостью сияет. Это она после вчерашнего. Вы знаете, кто это? Это восходящая, яркая звезда.

— Не знаю.

— Ну так знайте, что эту встречу вы не раз в жизни своей вспомните... Это наша будущая великая трагическая актриса. Я вчера только окончательно убедился в этом... Не забудьте же — это Ермолова.

Всю дорогу до «Щербаков» и сидя вдвоем за ранним завтраком еще в пустой почти зале он говорил — и я в первый раз в жизни был очарован таким человеком и таким разговором. Впрочем, я молчал, и, кажется, только единственный вопрос и предложил:

— О ком говорил жандарм? Кто это она «с душком»?

Задаю этот вопрос, а сам думаю с трепетом сердца: «Уж не Ермолова ли?»

Я вспомнил афишу «Овечий источник».

Именно о ней речь шла. Жандарм возмутился выбором для бенефиса такой революционной пьесы и припомнил ее участие на студенческих вечерах.

Князь продолжал о бенефисе. Рассказал сюжет «Овечьего источника», рассказал о детстве Ермоловой и ее дебюте, о ее нарастающем успехе.

— Только вчера я неопровержимо убедился в этом. Я вчера пережил такие восторженные моменты, да не один я, а весь театр; такие моменты, о каких до сих пор и в мечтах не было. Монолог Лауренции, обесчещенной командором ордена Колотавры, владельцем Овечьего источника, призывающей на сходке народ отомстить тирану, вызвал ураган восторга, какого никто не запомнит. Особенно слова ее в монологе:

Почти своими сдали вы руками
Овечку бедную волчице хитрой —

были произнесены с таким героическим энтузиазмом, какого никогда не слыхал даже Малый театр со времени, можете быть, Мочалова.

* * *

После завтрака Петр Платонович проводил меня до подъезда Кружка. С этого дня началась наша дружба, скоро, впрочем, кончившаяся, так как я на пасхе уехал на много лет в провинцию, ни разу не побывавши в этот сезон в Малом, потому что был занят все спектакли, а постом Малый театр закрывался.

Но все-таки постом я еще раз видел, и тоже издали, Ермолову. Это было у нас, на вечере Артистического кружка.

Не мало дней и ночей между первой и этой второй встречей я думал о Ермоловой, не мало переговорено было о ней за это время с Мещерским — и великолепный образ артистки всплыл передо мной в ряде картин. Год за годом, шаг за шагом...

Через двадцать лет, в 1896 году, в юбилейные дни Марии Николаевны я прочел ряд статей о первых годах ее жизни — и прочитанное показалось мне знакомым.

Я уже знал от Петра Платоновича, что пятилетняя

Ермолова, сидя в суфлерской будке со своим отцом, была полна восторгов среди сказочного мира сцены; увлекаясь каким-нибудь услышанным монологом, она, выучившись грамоте, учила его наизусть по пьесе, находившейся всегда у отца, как у суфлера, и, выучив, уходила в безлюдный угол старого, заброшенного кладбища, на которое смотрели окна бедного домишки, где росла Ермолова. Там, на этом пустыре, с вросшими в землю каменными гробницами, она одна декламировала монологи... Это грустное место было местом ее гулянья и первых сценических восторгов.

Девяти лет отец отдал ее в театральную школу, где на драму не обращалось внимания, а главным был балет. Танцевали целый день, с утра до вечера, и время от времени учениц посылали на спектакли Большого театра «к воде».

Не давались танцы кипевшей талантом девочке и не привлекали ее. Она продолжала неуклонно читать все новые и новые пьесы у отца, переписывала излюбленные монологи, а то и целые сцены — и учила, учила их. Отец мечтал перевести ее в драму и в свой бенефис, когда ей минуло тринадцать лет, выпустил в водевиле с пением, но дебют был неудачен.

Прошло еще три года. Отец попросил И. В. Самарина, и он, по дружбе, согласился поучить дочь, но через два-три дня от урока отказался и посоветовал оставить дочь в балете.

А она упорно не бросала своего. В училище, во время отдыха, она читала товаркам монологи и восхищала их.

Репетировали для бенефиса Н. М. Медведевой «Эмилию Галотти». Пьеса, по обыкновению, находилась у отца, и дочка, как и всегда, прочла ее, увлеклась, переписала и выучила роль Эмилии и опять в школе прочла товаркам.

Перед бенефисом заболела Г. Н. Федотова. Играть некому. Бенефис пропадает. Кто-то из школы шепнул Н. М. Медведевой о дочери суфлера, читавшей роль Эмилии. Медведева прослушала, ей понравилось, и 30 января 1870 года в бенефисе выступила молоденькая, неведомая кордебалетная ученица.

* *
*

С каким восторгом рассказывал мне все подробности Мещерский, очевидец первого триумфа Ермоловой. На его добрых серых глазах посверкивали слезы, когда он говорил об этом дебюте.

— С трепетом сердца я пришел в театр, но первое появление на сцене грациозной в своей простоте девушки очаровало зал, встретивший ее восторженными аплодисментами... Успех был огромный. На другой день все газеты были сплошной похвалой молодой артистке. Положение ее в труппе сразу упрочилось... А там что ни новая роль, то новый успех.

Ряд разнообразных ролей: и Марфинька в «Царской невесте», и Весна в «Снегурочке», и Катерина в «Грозе», и Альдара в «Сумасшествии от любви», Жанна Д'Арк, Лауренция...

Теперь, перечитав целые книги о Марии Николаевне, я вспоминаю Петра Платоновича, слышу его тихий, восторженный голос...

Вспомнил я первые те слова его и 2 мая 1920 года, в великий день всенародного чествования Марии Николаевны в Малом театре, через сорок лет вспомнил.

Я сидел на сцене среди депутаций и вместо приветственной речи, под влиянием общего восторга, памятуя вещее слово незабвенного Петра Платоновича, приветствовал великую артистку тут же на программе наброcанным экспромтом:

Полвека славы,
Красивой жизни
Одна, одна Вы
У нас в отчизне.
Без перемены
Тогда и ныне
Вы русской сцены
Одна богиня.
Одна, одна Вы
У нас в отчизне
В сияньи славы
Кипучей жизни!

И вспомнилось мне когда-то услышанное от П. П. Мещерского вещее слово.

— Это восходящая звезда!

Тогда для меня, еще молодого актера, увлеченного сценой, она уже явилась великой артисткой, хотя я увидел ее только на один миг: сверкнул и сейчас розовый профиль в морозный день на бриллиантовом фоне солнечного снега...

* * *

Через несколько дней совершенно неожиданно я увидел эту восходящую звезду в окружении светил, ярче всех засиявшую для меня.

Это было в Московском артистическом кружке.

По случаю болезни двух главных артистов отменили спектакль и решили заменить его музыкально-литературным вечером, программа которого была составлена на утренней репетиции, участвующие частью приглашены тут же, а если кто не явится, легко было заменить кем-нибудь из провинциальных известностей, из которых каждому было лестно выступить на московской сцене. А. М. Максимов сказал, что сегодня утром приехал в Москву И. Ф. Горбунов, который не откажется выступить с рассказом из народного быта, С. А. Бельская и В. И. Родон обещали дуэт из оперетки, Саша Давыдов споет цыганские песни, В. И. Путята прочтет монолог Чацкого, а П. П. Мещерский прямо с репетиции поехал в «Щербаки» пригласить своего друга — чтеца П. А. Никитина, слава о котором гремела в Москве, но на сцене в столице он ни разу не выступал, несмотря на постоянные приглашения и желание артистов Малого театра послушать его. В числе последних была и М. Н. Ермолова, сама прекрасная чтица, давно мечтавшая о Никитине.

Дирекция успокоилась, потому что такой состав сохранял сбор, ожидавшийся на отмененную «Злобу дня», драму Потехина, которая прошла с огромным успехом год назад в Малом театре, но почему-то была снята с репертуара. Главную женскую роль тогда в ней играла Ермолова. В провинции «Злоба дня» тоже делала сборы. Но особый успех она имела потому, что в ней был привлекателен аромат скандала.

Открыто говорили, что три действующие лица списаны с натуры: петербургский крупный делец барин

...ищев, московский миллионер, разбогатевший на железнодорожных подрядах Петр Ионыч Губонин и его сын Сережа, которого знали посетители модных ресторанов, как вообще знали там молодых купеческих сынков, не жалевших денег на удовольствия.

Потехин отнекивался, когда ему указывали, что он вывел известных людей, но ему трудно было оправдаться — в афише печатными буквами стояло опровержение, разбивавшее его самозащиту:

«Градищев — железнодорожный деятель, подрядчик Хлопонин и Сергей Петрович, сын его».

Какие созвучия фамилий! А главное вот — Сергей Петрович!

По пьесе Хлопонин хочет женить своего сына на дочери Градищева, в которую тот влюбился, но которая, в свою очередь, влюблена в другого. В этом и драма. Пользуясь запутанными обстоятельствами Градищева, который приехал к нему, товарищу по подрядам, с просьбой выручить его деньгами, Хлопонин обещает, но взамен просит выдать дочь за своего Сережу. Градищев считает себя оскорбленным таким предложением и рассерженный выходит из кабинета миллионера, не простившись с хозяином и хлопнув дверью. Оставшись один, Хлопонин расстегивает свой долгополый сюртук, вынимает толстый бумажник, хлопает по нему ладонью и самодовольно бросает вслед оскорбленному барину:

— Придешь!

Этот конец второго акта имел особенно бешеный успех в Москве.

Пьеса написана прекрасно, кончается драмой и смотрится великолепно.

— Как живой Петр Ионыч! — кинул кто-то на спектакле крылатое слово, и на другой день весь город, так и живущий сплетнями, задыхался от смеха:

— Как Губонина-то процыганили!

— Да что ты?

— И сюртук долгополый, и золотая цепь через шею, и сапоги бутылками! Ну как есть живой! И ухватка вся его! И Сережа его... Ну как есть купецкий сынок!

Губонин был крупный миллионер, начавший свою

деятельность сперва десятником при постройке Московско-Рязанской железной дороги, а потом подрядчиком, забравшим и земляные работы по поставке камня, и наконец, сделался владельцем крымской жемчужины — Гурзуфа.

— Это моя любовница, — говорил он про Гурзуф и распивал чаек под пушкинским кипарисом, под которым лично для себя беседку выстроил...

После его смерти наследники под этим кипарисом расплескивали, угощая друзей, «пену сладких вин» гурзуфских виноградников, пока не расплескали и самый Гурзуф и отцовские миллионы.

Да и не трудно было расплескать миллионы. Два сына Губонина были люди некоммерческие. Отцовское дело было с убытком ликвидировано. Гурзуф продан, из своего дома пришлось выехать на квартиру, и братьев разорили ростовщики. Первое время, пока еще были средства, братья жили широко. Благотворительные генералы и дамы-благотворительницы обирали их вовсю, да вообще у них никому отказу не было в деньгах.

Сейчас, когда я это пишу, жив в Москве старик, который рассказывает, что только благодаря младшему Губонину он не погиб.

В Москве в то время славился ростовщик А. Д. Кашин, кругом Гарпагона с него пиши. Огромного роста, сухой и костистый, в долгополом сюртуке, черномазый, с ястребиными глазами, он с часу дня до позднего вечера пребывал ежедневно в бильярдной Большой московской гостиницы, играл по рублику партию на бильярде, причем кия в руки не брал, а мазиком с «ярославским накатом». Игру он сводил наверняка, да кто из клиентов отказался бы проиграть ему рубль в ожидании от него переписки векселя. Он прямо царил в бильярдной и главенствовал.

— Вот туда-то я и пошел, — рассказывал старик.— Поставил в бланк, на векселе в восемьсот рублей, родственника выручил, — он возьми да умри! Значит, с меня получать. А я бухгалтером на ста рублях служил, семья большая, сбережений ни рубля, а вексель у Кашина. Вхожу в бильярдную. Он, длинный, стоит у биль-

ярда с мазиком в руках, зверски хохочет. А из-под бильярда вылазит красный весь толстяк в черном, измазанном пылью сюртуке, известный всей гулящей Москве бывший купец Емельянов, Иван Иванович. Он тогда уже был «на прогаре» и просил о переписке векселя, а Кашин над ним издевался. Проиграл, стало быть, он Кашину рубль и пролазку.

Оглянулся Кашин на меня, не дал мне даже поздороваться и кричит:

«Срок помнишь — хорошо! Ну становись по целковому, бери кий!»

«Да я сроду и в руках его не держал».

«Черт с тобой! Пойдем за мной».

Приводит в комнату рядом. Это, так сказать, его контора, зовет полового:

«Федя, дай чаю полпорции с медом. Получи с них».

Я заплатил полтинник.

«Ну, принес деньги? Давай».

«Нет у меня денег, выручите как-нибудь, Александр Данилыч!»

«Уж это ты судебного пристава проси, когда опишет...»

Я в ужасе, чуть не плачу — рассказываю о своих злоключениях, а он прихлебывает чай да только одно слово и говорит:

«Бывает... Бывает».

А потом встал, пошел в бильярдную — а там уж его ждут должники — и прямо за мазик. Я к нему с просьбой.

«Видишь, занят... Чего торопиться, еще завтра срок... Уходи с глаз».

Вышел я — себя не помню. Пошел наверх в зал, прямо сказать — водки выпить. Вхожу — народу еще не много, а машина что-то такое грустное играет... Вижу, за столиком сидит Губонин, младший брат. Завтракают... А у Петра Ионыча я когда-то работал, на дому проверял бухгалтерию, и вся семья меня знала, чаем поили, обедом кормили, когда я долго засижусь. Я поклонился.

«Петр Петрович! Садитесь завтракать... Я вот дожидаю приятеля. Не идет что-то».

Я сам не знаю, как сел и шапку на стол положил. Расспрашивает о семье, о детях, о делах. Отвечаю, что все хорошо, а у самого, чувствую, слезы текут... В конце концов я все ему рассказал и о векселе и сцену с Кашиным.

«Ну вот какие пустяки, о чем думать! — Вынул из кармана пачку радужных, взял мою шапку, сунул незаметно в нее и сказал: — Принеси же мне вексель от Кашина, да поскорее, чтобы завтрак не остыл... Иди же, иди же, после расскажешь».

Спустился вниз. Кашин кончил партию, на меня никакого внимания. Подхожу к нему, а он на меня:

«Сказал, уходи. Чего ты?»

Я уж смелости набрался даже до нахальства.

«Давай, — говорю, — вексель, вот деньги!» — Приоткрываю ему шапку...

Он схватил меня за руку, бросил мазик на бильярд и потащил меня в комнатку. Там стоял уж другой поднос с чаем и вазочка с вареньем клубничным, а вместо чашек стаканы. Это он каждого приходящего к нему заставлял спрашивать порцию чаю в угоду буфету — не даром хожу, мол!

Вытащил паук из бумажника пачку векселей и показывает мой.

«Давай вексель».

«Деньги на стол! У меня один первогильдейский вырвал вексель да в один миг слопал... Ухватил меня, держит и лопает...»

Я выложил деньги, он счел и отдал вексель. А потом сделал хитрую рожу:

«Ну и жулик же ты!»

При прощании сказал ласково:

«Ежели надо кредит, приходи, отказу тебе не будет».

Губонину я предложил выдать вексель на восемьсот рублей, а он отказался:

«Будут лишние деньги — отдадите, а если когда нужда, то к этому мерзавцу не обращайтесь».

Пришло время — Губонина векселя оказались у Кашина. Через несколько лет, когда я уже стал зарабатывать много, я возвратил мой долг в то время, когда уж совсем разорились наследники Губонина.

* * *

Хуже стало с наследством Кашина. Его судили за злостное ростовщичество и сослали в Олонецкую губернию, где он вскоре и умер, оставив после себя единственного сына, малого лет двадцати, которого держал, не отпуская от себя ни на шаг, в строгом повиновении, намереваясь сделать его продолжателем своего дела.

У отца другой клички для него не было в глаза и за глаза, как Данилка. Сухой, жилистый, черноглазый, ростом почти с отца и похожий на него во всем, оставшись круглым сиротой, Данилка — другого имени ни от кого ему и впоследствии не было — ошалел от богатства. Отец не давал ему ни рубля... Первым делом попал в бильярдную Московской гостиницы, где он просиживал целые дни при отце, и встретился там с кутилой Емельяновым, тем самым, которого отец заставлял лазить под бильярд. Не забыл Емельянов разорившего его ростовщика и отыгрался на его детище!

Попал с ним Данилка к «Яру», потом на бега, а там закружил с прожигателями жизни и аферистами. Поймали его на унаследованной им от отца скаредности и жадности к наживе.

Первым делом шулера, которые повели умелую атаку — сначала проигрывая мелкие суммы, а потом выигрывая тысячи... Втравили в беговую охоту, он завел рысистую конюшню, но призов выигрывал мало... Огромный дом у храма Христа Спасителя и другие дома отца были им спущены, векселя выкуплены за бесценок должниками, и в конце концов он трепался около ипподрома в довольно поношенном костюме, а потом смылся с горизонта, безумно и зло разбросав миллион в самых последних притонах столицы.

* * *

Сбор в Кружке на вечер был полный. Взявшие билеты на «Злобу дня» охотно остались на литературный вечер, на дивертисмент с такой интересной программой. Тогда были в моде дивертисменты, а в провинции особенно. Редкий бенефис обходился, чтобы после основной

пьесы не было дивертисмента. В те годы очень любили слушать чтение, и чтецы тогда были прекрасные. Читка стихов считалась большим искусством, идеал чтения — чтобы стиха слышно не было. Старая мода скандирования стихов гремевшими трагиками уже прошла, мелодекламация, скрывающая недостатки стиха, была не нужна, потому что стихи выбирались по Пушкину — «если брать рифму, бери лучшую», да и содержание выбиралось глубокое, а главное, по возможности или с протестом, или с гражданской скорбью, всегда со смыслом. Особенно слушался Некрасов.

В провинции дивертисменты имели больше успеха, чем в столицах, да и чтецов между провинциальными премьерами больше было. В семидесятых годах на обе столицы славился Монахов, но он был гораздо слабее провинциальной знаменитости — южного актера П. А. Никитина, производившего огромное впечатление своим, им впервые введенным, чтением «что стиха не слышно». Он был великолепный Чацкий, он не «играл», а «читал» Чацкого, но так «читал», что о его игре никто и не думал. Монолог «Не образумлюсь, виноват» вызывал бурю восторга с криками «бис».

П. А. Никитина Москва жаждала, но он упорно в ней отказывался выступать, хотя во время великопостных съездов актерских заезжал, бывал в Кружке, но на все просьбы выступить отказывался, хотя и упрашивали первые персонажи Малого театра, его друзья. Появление его имени на афише, вывешенной в залах Кружка, произвело впечатление.

Свободный день я провел у моих провинциальных друзей и явился в Кружок к восьми часам, ко второму звонку, когда зал был полон и все сидели на местах, боясь пропустить Никитина. Я прошел на свое место. По сцене — разодетые участники: фраки мужчин и открытые платья артисток и пиджаки старшин. На занавеси, как и во всех театрах, посреди сцены была прорезана дырочка, которая необходима режиссеру для соображения: как сбор, разместилась ли публика, можно ли начинать.

Две дырочки были пробиты в правой кулисе авансцены, где стояли табуретки и стул для помощника ре-

жиссера, — мое место в спектакле. Я рассматривал знакомых, которых узнал в Кружке и знал по провинции. Ко мне подошел П. П. Мещерский, сел на табурет и сказал:

— Ермолова здесь. Я отвел ей кресло, все хотят П. А. Никитина послушать. Собственно, я для нее больше и постарался пригласить Павлика. Он не любит выступать в Москве... Для нее только он и читает. В десять часов прямо из Кружка на поезд, только для нее и остался, уж я упросил.

— Где она?

— А узнайте!

— Вот против меня... Другой такой нет...

* * *

Программ печатных не было, и перед каждым выступлением режиссер Карташев анонсировал.

— Павел Александрович Никитин прочтет стихотворение из сборника «Живая струна», — начал он вечер.

Тогда для цензуры не назывались стихотворения, а прямо писали или анонсировали: «из сборника «Живая струна», так как сборник этот был единственный, допущенный цензурой для сцены.

Гром аплодисментов грянул в ответ. Особенно усердствовали провинциальные актеры, товарищи Никитина по сцене, и антрепренеры, съехавшиеся в Москву для заключения контрактов.

Здесь восседали и казанский Медведев, и орловский Лаухин, и самарский Новиков, и нижегородский Смольков, и ярославский Смирнов, бывший театральный ламповщик, ухитрившийся как-то жениться на дочери антрепренера и получивший после его смерти театр. Его звали «Потому что да-да-да» за поговорку, которую он повторял то и дело. У него, между прочим, в первый раз выступала М. Г. Савина.

Сидели здесь южные антрепренеры и между ними харьковский Иванов-Палач, безобиднейший человек, прозванный так за то, что это было его единственное ругательство, вырывавшееся у него в минуту крайнего раздражения...

— Палач! Палач! — кричал он на полицмейстера, запретившего какую-то пьесу...

Летом, когда перед спектаклем покажется туча, начинает рокотать гром и грозит дождь, который сорвет сбор, он влезал на крышу театра с иконой молить Илью пророка, чтобы он направил свою колесницу мимо Харькова, а если Илья пророк не слушал и дождь шел, он брал икону под мышку, грозил кулаком в тучи и с привизгом кричал:

— Палач! Палач!

А на другой день Илье пророку в знак покаяния молебен служил.

Первые ряды кресел занимали знаменитости сцены и литературы, постоянные посетители Кружка, а по среднему проходу клубочком катился, торопясь на свое место, приземистый Иван Федорович Горбунов, улыбался своим лунообразным, чисто выбритым лицом. Когда он приезжал из Петербурга, из Александринки, всегда проводил вечера в Кружке, а теперь обрадовался увидеть своего друга, с которым они не раз срывали лавры успеха в больших городах провинции — один как чтец, другой как рассказчик и автор сцен из народного быта.

Мне Мещерский шепнул на ухо:

— Вот взошла луна златая.

В этот момент поднялся занавес и показался стройный, высокий, можно сказать, величественный, знаменитый чтец.

Зал гудел и сразу смолк, положительно замер, когда, отвечая на привет легким наклоном головы, чтец остановился рядом с суфлерской будкой. Он на минуту как бы задумался... с чего начать?

— Поля! Поля! — раздался шепот и громче других голос Горбунова, занявшего свое место в первом ряду, между Г. Н. Федотовой и небрежно одетым маленьким человечком с русой бороденкой, спокойно дремавшим под гул аплодисментов. Это был драматург М. В. Кирилов-Корнеев, автор массы комедий, переводных и переделанных, которые чуть не ежедневно шли и в Малом, и в Кружке, и по всей провинции и давали ему большой заработок.

Сам же он всегда был без гроша — раздаст поло-

вину, а другую пропьет. А пьян он был постоянно, но всегда тих и безмолвен. Звали его за глаза Кирюшка-Корнюшка, но все любили его. Он напивался молча, придя в зрительный зал, неслышно дремал, а то и засыпал в кресле.

— Поля! Поля! — раскатился знакомый Москве громовой голос. Это гудел трагик Николай Хрисанфович Рыбаков. Он сидел в середине первого ряда со своим другом А. Н. Островским, который около гиганта казался маленьким.

Ермолова как раз сидела против меня, левее А. Н. Островского, между косматым С. А. Юрьевым и красавицей Рено, любительницей-артисткой, первой московской красавицей: строго правильные черты лица, глубокие черные глаза и недвижность классической статуи.

* * *

С благодарной улыбкой взглянул чтец на Николая Хрисанфовича, поздоровался глазами с Горбуновым и, когда смолкли аплодисменты, четким полушепотом, слышным во всех концах огромной залы, заявил:

— Поля! Стихотворение Майкова.

И полились чудные слова и звуки, дополняя одно другое, и рисовались ясные образы, рожденные словами поэта и переданные слушателям голосом чтеца.

Я невольно скольжу взором по первому ряду. Но одна Ермолова овладела всем моим вниманием. У Федотовой горят глаза. Недвижная, ни одним мускулом лица, может быть думая только о своей красоте, красуется Рено, сверкая бриллиантовой брошкой... А рядом с ней Ермолова, в темно-сером платье, боится пропустить каждый звук.

В телеге еду по холмам,
Порой для взора нет границ.
И все поля по сторонам,
И над полями стаи птиц.

Ермолова — вся внимание. Ее молодое лицо живет полной жизнью и отражает впечатления... Какая-то таинственная грусть нет-нет да и отразится в ее гла-

зах... И всегда, и впоследствии, до последней моей встречи, я видел эту грусть... Даже в ролях, когда ее голос и вся она кипела могучим, неповторимым призывом, как в Лауренции или в Жанне Д'Арк, я видел этот налет грусти.

Может быть, эти первые впечатления этого вечера оставили в моей памяти то, что поразило меня и осталось навсегда.

Родилась ли она с ней? Залегла ли она в тяжелые дни детства? Дни монологов в одиночестве на забытом кладбище?.. Но и теперь, после ее великой победы — недавнего бенефиса, когда именно жить да радоваться,— я видел мелькнувший налет этой таинственной грусти.

Я еду день, я еду два,
И все поля кругом, поля.
Мелькнет жилье, мелькнет едва,
А там поля, опять поля...

Слушая чтеца, думы и воспоминания ползут, цепляются одно за другое и переносят меня на необъятный простор безбрежных золотых нив... И все, кто слушает, видит воочию все то, что слито поэтом и неповторимым чтецом в мелодию созвучий.

Порой ручей, порой овраг,
А там поля, опять поля...

Я не свожу глаз с Ермоловой — она боится пропустить каждый звук. Она живет. Она едет по этим полям в полном одиночестве и радуется простору, волнам золотого моря колосьев, стаям птиц. Это я вижу в ее глазах, вижу, что для нее нет ничего окружающего ее, ни седого Юрьева, который возвеличил ее своей пьесой, ни Федотовой, которая не радуется новой звезде, ни Рено, с ее красотой, померкшей перед ней, полной жизни и свежести... Она смотрит вдаль... Видит только поля, поля, поля...

Порой ручей, порой овраг,
А там поля, кругом поля,
И в золотых опять волнах
С холма на холм взлетаю я...

Короткая пауза, и глаза чтеца все также смотрят, все также куда-то вдаль. Во все время чтения — ни малейшего движения, ни одного жеста, только лицо и глаза его недвижимо живут. Он спокойно передает словами то, что переживает, чувствует, ощущает.

Глядя вдаль, он спрашивает:

Но где же люди? —

и отвечает:

Ни души среди забытых деревень...

И потом так же спокойно рассказывает о встрече со стариком, который просит его подвезти. Предлагает ему сесть рядом с собой, но тот, бывший барский камердинер, после объявления воли выброшенный наследниками за старостью и недовольный всем, еще помнит барскую дисциплину и, отказавшись, садится рядом с ямщиком на облучок, ворчит и ругает все новое, даже волю.

Отживший мир в его лице,
Казалось, силы напрягал...

Идет разговор со стариком, который кивнул головой на молодого парня-ямщика.

И все мы, зрители, видим и ямщика и старого камердинера.

Глаза Ермоловой опять покрылись дымкой грусти, но это было уже в последний раз.

Сердито бросает старик:

Вот парень вам из молодых...
Спросите их,
Куда глядят? Чего хотят?

Парень в недоумении:

Никак желанное словцо
Не попадало на язык...
— Чего?.. он начал было вслух...
Да вдруг как кудрями встряхнет,
Да вдруг как свистнет во весь дух —
И тройка ринулась вперед!
Вперед, в пространство без конца...

Ермолова откидывается на спинку стула.

Мерцавшие зарницы сменились в ее глазах сверкнувшей молнией, будто она сама мчится на бешеной тройке:

Вперед, в пространство без конца...

А чтец, между тем, заканчивает:

Неслись! — Куда ж вас дьявол мчит? —
Вдруг сорвалось у старика.
А тот летит, лишь вдаль глядит,
А даль-то, даль как широка!

* * *

Зимний сезон кончился. Мне предстояло или остаться в летнем помещении Кружка в Москве, или уехать в Смоленск. И я бы угодил в начавшийся тогда набор добровольцев в Сербию, что наверное бы для меня добром не кончилось, да опять случай подвернулся. Встретил я казака Бокова, с которым я познакомился еще в цирковые времена, и позвал он меня к себе на Дон.

— Степь-то какая сейчас! Потом съездим на Кавказ, надо кабардинских маток купить! Поживем лето на зимовнике.

Неудержимо потянула меня степь-матушка.

Уехали мы со скорым поездом на другое утро — не простился ни с кем, и всю Москву забыл. Да до Москвы ли! За Воронежем степь с каждым часом все изумруднее... Дон засинел... А там первый раз в жизни издалека синь море увидал. Зимовник оказался благоустроенным. Семья Бокова приняла меня прекрасно... Опять я в табунах — только уж не табунщиком, а гостем. Живу — не нарадуюсь!

А все-таки иногда жуть берет: вдруг приедут Иловайский, Подкопаев, а то еще, чего гляди, мой хозяин, тоже сосед не дальний, пожалует и признает во мне своего беглого табунщика...

Разыграется фантазия — дойдет до жандарма, который на зимовник приезжал. Но скоро пришел этим думам конец.

Собрались мы с моим другом на Кавказ за лошадьми и покатили. С собой взяли двух казаков — лошадей вести.

А в Кабарде у Бокова знакомства большие, таскают нас как дорогих гостей из аула в аул, устраивают охоты, тамаши. Побывали даже в урусбнях на Эльбрусе, турью охоту горцы нам устроили.

Боков удалец хоть куда, но и мне почет не малый был: уж очень поразило их мое цирковое искусство, меткая стрельба да знание лошади — опыт прошлого. К горам, которые я впервые увидел, я скоро привык. Надо сказать, что Боков подарил мне еще на зимовнике свою черкеску, бурку, кинжал, — словом, одел меня настоящим кабардинцем и сам так же был одет. Боков взял со стены своего кабинета две нарезные двустволки — охота будет.

Недели три мы гуляли. Наконец Боков зовет домой ехать.

— Пора! Скоро дед именинник! Большой праздник будет... Весь Дон съедется! Из Черкасска приедут, а уж соседи все будут...

И сразу все настроение испортил:

«Узнают, да еще арестуют!»

Я промолчал — и решил удрать дорогой, поближе к Москве, и пристроиться где-нибудь в театре.

Так и решил, а вышло иначе. И хорошо вышло, как уж я после увидел.

На турьей охоте с нами был горец, который обратил мое внимание: ну совсем Аммалат-Бек из романа Марлинского или лермонтовский Казбич. Или, скорее, смесь того и другого. Видно только, что среди горцев он особа важная — стрелок и джигит удивительный, шашка, кинжал и газыри в золоте. На тамаши в глухом горном ауле, где была нам устроена охота, горцы на него смотрели с каким-то обожанием, держались почтительно и сами не начинали разговоров, и он больше молчал.

А разговорился он со мной. Оказывается, почти один из окружающих, он немного владел русским языком. Его заинтересовали некоторые мои цирковые штуки, и хотя он почти не задавал вопросов, но чувствовалось, что это горская гордость не позволяет ему проявлять любопытство. И я рассказал ему, что я актер, служил в цирке, охотник с детства и нехотя оставляю Кавказ, да кстати у меня и паспорта нет. Разоткровенничался.

Видимо, я его заинтересовал и понравился ему, потому что в заключение он сказал:

— Ти мэнэ кунак — я тэбэ кунак! Моя — твоя, твоя— моя!

И запили слова наши бузой.

* * *

Утром мы выехали чуть свет. Моего кунака уже не было, и на вопрос мой, где он, я получил в ответ одно слово: «Ушля».

И больше ничего не мог добиться.

Через два дня, рано утром, проснувшись в Пятигорске, в гостинице, я увидал на стене объявление, что драматической труппой Максимова-Христича открываются спектакли. И ожил сразу. За чаем я сказал Бокову, что я останусь на несколько спектаклей, а через две недели приеду к нему на зимовник, на чем мы и порешили. В девять часов со случайным попутчиком, офицером, окончившим лечение, Боков поехал в Россию. Я решил проводить друга, а потом идти на Машук, побывать на могиле Лермонтова, моего самого любимого поэта в гимназии, а затем отправиться к Максимову-Христичу.

Прощаясь еще в номере, Боков взял слово, что если не выйдет с театром, — ехать к нему.

* * *

Но не пришлось мне ни попасть в театр, ни поехать на зимовник Бокова и, первым делом, не подняться на могилу Лермонтова.

Тут случилось что-то необъяснимое. Я подходил уже к той тропинке, по которой надо взбираться в гору, как послышалась тропота и быстрой ходой меня догоняли три всадника на прекрасных гнедых кабардинках. Четвертую, такую же красавицу, с легким вьюком вели в поводу. Первая фигура показалась знакомой, и я узнал моего кунака. За ним два джигита, таких же высоких и стройных, как он, с лицами, будто выкованными из бронзы: один с седеющей острой бородкой, а другой молодой.

Кунак прямо с ходу осадил коня, что сделали, будто по команде, и спутники, остановился и подал мне по-русски руку.

Через несколько минут, шагах в пятидесяти от дороги, в густом кустарнике, мы сидели с кунаком на траве и я рассказывал ему свои обстоятельства.

— Ва! Мы кунаки! Мои деньги — твои деньги, мой лошадь — твой лошадь! — И предложил мне гулять с ним, пока я хочу. — Охотиться будем... Туда-сюда поедем. Хорошо будет.

Он мне говорил «ты», и я ему тоже.

— А как тебя звать? — спросил я.

Шевельнул он правой рукой, и вмиг вырос перед нами один из джигитов, который постарше, и он ему что-то сказал.

— Ага! — и еще несколько непонятных мне слов, приложив руку к голове и сердцу, произнес джигит.

— Ага! — отозвался ему громко мой кунак и при этом сделал такой жест ладонью, будто отрубил что.

— Ага — и больше ничего. Тэбэ я — кунак, им Ага. — Джигиты разостлали перед нами бурку, вынули из переметной сумы сыр, чурек, посудину и два серебряных стакана. Я залюбовался его лошадью: золотисто-гнедая с белой звездочкой между глаз и белой бабкой на левой ноге. Лошади с такой приметой ценятся у восточных народов: на такой Магомет ездил. Я молча созерцал красавицу, а он и говорит:

— Это мой лошадь, а это твой, тэбэ дару!

И опять незаметный жест правой рукой, и старый джигит вмиг развьючил лошадь — под буркой оказалось серебром отделанное седло с переметными сумами. Остальной вьюк они распределили на своих лошадей и по знаку Аги положили передо мной в чехле из бурки коротенькую магазинку винчестер.

— Это тэбэ!

Во вьюке еще остались две такие винтовки в чехлах. В первый раз в жизни я видел винчестер, и только через год с лишком много их попадало мне в руки на войне — ими были вооружены башибузуки.

— Хаирбулсын кунак! — искренне поблагодарил я его за подарок, пока единственным словом приветствия, ко-

торое слышал... Я любовался своей лошадью и радовался винтовке. Все это понравилось кунаку. Он приветливо улыбнулся и спросил:

— Едым?

— Едем, — согласился я.

— Едым!

Больше нечего было ответить. Спросить куда? Оскорбить кунака недоверием или, что еще хуже, показать свое любопытство.

И я улыбнулся, любуясь конем, и сказал еще раз:

— Едем!

А почему я улыбнулся? Да потому, что мне при этом пришла в голову старинная поговорка: «Ехать, так ехать, сказал попугай, когда его тащила кошка из клетки».

* * *

— Ти в городе не оставил каких-нибудь писем или бумаг?

— Только бурку.

Опять мигнул пальцем правой руки, и старик отторочил от седла легкую, как пуховое одеяло, бурку.

* * *

По каким только горным трущобам мы не ездили! Каких людей я не насмотрелся! Каких приключений не было! Всему этому будет, может быть, свое время, а пока я знаю, что благодаря этим встречам я не попал в Сербию, что непременно бы случилось, если б я вернулся в театр или попал на Дон.

* * *

Нальчик, столицу Кабарды, мы незаметно миновали поздно вечером. Проехали мимо лежащего рядом с Нальчиком Большого аула, где для местных князей светил огнями и гремел шумом тамаши, и заночевали в отдельной легкой постройке, кунацкой, на широких низких скамьях, обитых коврами. Огня не зажигали и перед рассветом выехали в путь, в страшное ущелье, которое перед нами зияло.

Вспоминаю Лермонтова:

Как трещина, жилище змея...

И действительно, бурно вьющийся излучинами Черек был этот бешеный змей, вырвавшийся из ледников Каштан-тау. Около полусотни километров сверкала изломами узкая трещина, и на всем ее протяжении не живет ни одного человеческого существа... Только там под ледниками, на другом берегу Черека, лепится к скалам заоблачный аул Безенги, а там, за ним, две вершины неведомого Каштан-тау, по обе стороны которого снега горного хребта и будто бы перевал, исстари известный в этом единственном в этих горах ауле под названием «Магометова дорога».

Должно быть, потому, что по ней, кроме Магомета, да и то по древним преданиям, никто не ходил... Да, как я уже после узнал, она была известна моему кунаку Аге и его джигитам, составлявшим как бы часть его.

Восход солнца мы встретили на конях, в ущелье.

Еще в самом начале, около Большого аула, где мы ночевали, были еще кое-какие признаки дороги, а потом уж мы четверо, один за другим, лепимся, через камни и трещины, по естественным карнизам, половиной тела вися над бездной, то балансируем на голых стремнинах, то продираемся среди цветущих рододендронов и всяких кустарников, а над нами висят и грабы, и дубы, и сосны, и под нами ревет и грохочет Черек, все ниже и ниже углубляясь, по мере того как мы поднимаемся.

Вырываются из-под ног огромные дикие индейки джостухи, звенят, вырываясь из кустов, фазаны, и дорога оглашается пением птиц... Высоко над нами парят огромные беркуты, носятся соколы. Раз медведь перелетел через нас. Да, я не шучу. Несчастный бурый, облезлый мишка высоко над нами пробирался по висевшим над бездной корням деревьев. Я было начал снимать винчестер, как вдруг раздался страшный рев, треск — и бедный, оборвавшийся зверь вместе с кустом, в клубах пыли сверкнул мимо нас, перелетел через нашу тропинку и загромыхал в бездну, где шум падения был заглушен ревом Черека. Ни Ага, ни его спутники не обратили на это никакого внимания, и лошади спокойно продолжали ле-

питься по неровному карнизу, хотя падение было в нескольких шагах впереди нас.

— Нас пугался, ма-ладая, — людей не видал, — пояснил мне Ага.

Это была одна из десятка фраз, слышанных мною за время нашего пятидесятикилометрового подъема до самой Чертовой лестницы, где ни один русский, ни один европеец до меня не бывал.

* * *

Вскоре за падением мишки мы сделали привал на довольно широкой горной долине, посредине которой — красота незабываемая — голубело перед нами довольно широкое озеро, голубое, как сапфир на солнце. На земле такого огромного правильного пространства голубого я никогда не видал: будто кусок прозрачного неба каким-то чудом лежал перед нами в этой каменной трещине, среди нависших скал. Но не только небо голубело, в нем сама вода оказалась голубая. Ага молча взял два больших белых камня и бросил в воду. Они из белых стали сразу темно-голубыми, синели и пропали в глубине темно-синими. Кругом пахло серой. Нукеры вынули из переметных сум холодную жареную баранину, чуреки, козий сыр, большие тыквенные горлянки с бау-бузой, этим чудным хмельным, чисто кабардинским напитком из меда и пшена, и две старинные, серебряные стопы с пероисским рисунком. Чудную голубую воду пить было нельзя — она пахла серой...

Ага пояснил мне, что дальше есть еще такие озера.

И действительно, оказалось выше, одно над другим, на протяжении нескольких километров три голубых озера с еще более сильным запахом серы...

Кончились горные поляны — и снова отвесные скалы с непроходимыми висячими кустарниками и узкими карнизами, иногда загроможденными камнями.

Наконец и этот путь прегражден: наша тропинка слева, так же как и все время пути, жалась к каменной скале, закрывавшей от нас небо, а справа кустарник. Мы прямо уперлись в скалу. Дальше некуда.

Ага, не останавливаясь, у самой скалы, загромоздившей нам путь, свернул молча, как всегда, направо в ку-

старник — и перед нами открылась бездна Черека с висящими стремнинами того берега. Он остановил лошадь, обернулся ко мне и, указывая вниз, объяснил, что «пайдем вниз, там мост, а там», указывая в небо, выше противоположной стены берега, — там и аул Безенги. Стал спускаться, откинувшись телом назад и предоставив лошади свою жизнь и дав ей полную свободу.

Это пострашнее, чем весь наш подъем. Но я знал, что лошадь горная не выдаст, а наши лошади, принадлежащие Аге, были именно такие, какие были необходимы этому удивительному горцу, окутанному непроницаемой тайной.

Глядя на его покойную фигуру, на молчаливых горцев, его нукеров, я чувствовал себя спокойным — да, собственно говоря, чего мне было бояться? Для кого мне себя беречь? А такая прогулка интересна, да еще впереди увлекательная охота на туров, новые места, новые люди и неизведанные ощущения. Нет, надо пользоваться случаем — едва ли что-нибудь более смелое и красивое повторится в жизни... А тут еще живы в глазах голубые озера, еще галлюцинация обоняния сохранила серный запах, а внизу с каждым шагом все яснее и яснее шум Черека!

Вдруг ясно услышал я блеяние, хотел остановить лошадь, но чуткий Ага не допустил меня окриком:

— Коша!

И в тот же момент сквозь раздвинутый его лошадью кустарник я увидал под нами полянку, а на ней стадо коз.

По примеру Аги мы остановились. Он перекинулся словом с пастухами. Они бросились к козам и через минуту надоили и подали ему и мне по чашке ароматного, густого молока. Это было и лакомство и оживило меня. Нукерам тоже дали после нас по чашке, и мы двинулись. Ага бросил мальчуганам горсть серебра, и те молча ему кланялись, прикладывая руку то ко лбу, то к груди.

Полянка кончилась, а Черек ревел все сильнее и сильнее. Вот уж он виден, весь белый от пены, мчавшейся непрерывным, курчавым взметом на узком пространстве между берегами. А вот и мост висит через пропасть.

Удивительный мост! Будто оторвали дно от плетеной корзины, увеличили его в сотню раз, перекинули каким-то чудом через огромный пролет и сверху наложили еще несколько таких же днищ... Внизу, глубоко под ним, ревет, клубясь белой косматой пеной, река, в которой воды не видно, — пена, пена и пена и облака брызг над ней.

Запах раскаленного кремня сменился приятной влажностью. У самого моста Ага, не оглянувшись даже на нас, спрыгнул на камни и, перекинув во всю длину повод через голову коня, взял его конец в левую руку и пошел по зыбкой плетушке.

Я вмиг повторил то же, что и Ага, и, перекинув повод, двинулся на мост. Но передо мной вырос старший джигит и парой непонятных слов, без всякого выражения на своем каменном лице, движением руки, ясно дал мне понять, что надо сперва пропустить первого, а потом идти одному, а там, мол, за тобой и мы поодиночке переправимся.

Когда Ага входил на противоположный берег, он рукой сделал мне знак — иди!

Я вступил на зыбучий плетень без всякого признака перил. Мне жутко показалось идти впереди коня с кончиком повода в руке. То ли дело, думалось, вести его под уздцы, все-таки не один идешь! Но было понятно, что для этого удобства мост был слишком узок, и я пошел самым обыкновенным шагом, не тихо и не скоро, так, как шел Ага, и ни разу не почувствовал, что повод натянулся: конь слишком знал свое дело и не мешал движению, будто его и нет, будто у меня один повод в руках.

Я знал, что в таких переправах нельзя смотреть вниз, особенно здесь, на грохочущие буруны, но приходилось смотреть под ноги, того и гляди, запнешься за торчащую ветку или нога попадет на какую-нибудь неровность зыбившегося подо мной висячего пути.

А Черек будто переливался под нами, то под двумя моими ногами, то под четырьмя ногами лошади. Впереди, на том берегу, недвижной статуей стоял красавец Ага, блестя золотым кинжалом на темной черкеске, смотря куда-то вверх по течению так, что глаз его я не видел. Это опять-таки прием бывалого горца: не мешать человеку своим взглядом. И это я понял, когда остановился рядом

с ним, когда перешел уже в полном покое и сказал ему, радостно улыбаясь:

— Хорошо здесь!

— Джигит! — ответил он, улыбнулся мне, показав белые ровные зубы из-под черных усов, и поправил рукой выбившуюся челку моей лошади. — Джигит! — еще раз похвалил меня и, кивнув головой кверху, сказал: — Там!

Нукеры перешли, осмотрели подпругу моего коня, и через минуту мы двигались в том же порядке вверх по течению, лепясь по узенькой тропинке, протоптанной козьим стадом на полотне каменной осыпи от отвесных скал к руслу Черека.

Дорожка зигзагами опускалась ниже, к воде, и скоро мост уже был высоко за нами. Спускаться было не легко, осыпь, миллионы мелких осколочков выветрившихся скал сплошь сползали под ногами, лошади со всадником приходилось делать много усилий, чтобы не сползти вместе с осыпью. Буруны пены были как раз под нами, и некоторое время лошади шли по мокрой осыпи, и нас слегка приятно охлаждало туманом мелких брызг.

Черек ревел оглушительно, кувыркая камни. Путь пошел кверху. Ага спрыгнул с лошади, перекинул через голову коня повод. Повторился переход по мосту. Но здесь идти было физически трудно: мелкий камень осыпи рассыпался и полз, а с ним ползли ноги в мягких чувяках.

И вот, представьте себе, держа в руках повод, который ни разу не натянула лошадь, справлявшаяся с осыпью лучше, чем нога человека, этот свободный повод был моей поддержкой, и я чувствовал с ним себя покойным. Может быть, потому, что рукам дело было? Правая с нагайкой, — баланс, левая — поддержка.

Через много-много лет, уже в начале этого века, я высоко над Москвой испытал подобное чувство еще ярче. Знаменитый тогда мой старый друг и ученик по гимнастике, авиатор Уточкин делал свои первые московские полеты на Ходынке на неуклюжем своем «фармане», напоминавшем торговый балаган с Сухаревки. Впереди — отгороженное место авиатора, сзади — совсем неотгороженная деревянная скамья обыкновенная, без спинки и ручек, табуретка, прибитая гвоздями к двум деревянным продольным балкам-полозьям — основанию аэроплана.

Чтобы сесть на эту табуретку, надо было пробраться между сети тонких проволок, что я и сделал с трудом, с моей широкой фигурой, и поместился на очень маленькой табуреточке, закрыв ее всю и поставив ноги на дощечку, для этой цели положенную поперек перекладин. Приветствия, пожелания провожающих в полет, который первый в Москве, в виде опыта, предложил мне по-дружески Уточкин... Потом рев пропеллера, тряска и прыжки колес по неровной Ходынке. Вдруг — чувство, что сердце встало и дыхание захватило: я оторвался от земли! Затем аппарат плавно двинулся по воздуху вверх. Ощущение, когда земля проваливается под ногами, я уже испытал и прежде, при подъеме на аэростате, но эта ужасная табуретка! Но эти — еще ужаснее! — проволоки, за которые при каждом крене поворота хочется схватиться, так и тянут руки к себе! Подо мной скачки... Я вижу толпы на трибунах. По зеленому кругу цветные камзолы жокеев, выезжающих на старт. А далее Москва, Москва с ее золотыми куполами, садами, кольцом Садовой. А все-таки жутко... Я уже омосковился, отвык от бродяжных рисков юности. То и дело руку тянет к погибельным проволокам.

И вдруг я нащупал в кармане табакерку, о которой забыл в тревоге полета.

И ожил! Вынул ее. Сжал в руках и чувствую, что держусь за что-то прочное, — и о проволоках забыл! Забыл о своей боязни, открыл, с величайшим наслаждением понюхал — и все время играл этой табакеркой, думая только, как бы не уронить ее, до тех пор пока опять не запрыгали колеса по земле и я не стал на твердую землю.

* * *

Подъем все продолжался... Только раз я почувствовал повод. Это на миг лошадь поскользнулась. Перед нами пещера в скале. Сверху рядом мелких каскадиков струятся ключи. Ага остановился, сказав, что надо отдохнуть — дорога будет трудная. Через минуту мы и лошади наслаждались великолепной холодной водой, может быть, бегущей из ледников Каштан-тау.

Все дно пещеры усыпано было голышами, какие по-

падались иногда и в осыпи, только здесь они поразили меня удивительными своими формами. Это был сыроватый известняк, которому, может быть, сотни тысячелетий придали совершенно правильные и причудливые формы, выточив, как самый лучший токарь, то в виде гитары, то круглым пирожком с правильными выпуклостями сверху и снизу, то полумесяцем, то фигурой человека на одной ноге — самые разнообразные формы, и на всех камешках следы вращательного движения — круговые полоски.

* * *

Голубые озера, причудливые камешки в каскадах пещеры и наконец я сам, как живой, перед собственными своими глазами, на розовом фоне позолоченных утренней зарей снегов. Чуть розовеет заря. Бездны еще хранят мрак ночи. Я пробираюсь с винтовкой наготове по турьей тропинке, по которой стадо должно возвратиться с ночного пастбища на недосягаемые выси ледника. Туман то розовел, то сгущался... Я остановился, прислушиваясь, и вдруг передо мной, над зияющей подо мной черной пропастью, появляется гигантская фигура человека, как бы парящего в воздухе. Я уже ясно вижу папаху, руку, опершуюся на винтовку, даже ногу, отставленную на камень...

Сердце захолонуло. Я все забыл: где я? что я? Я вижу себя стоящим в необъятном просторе: мрак бездны глубоко внизу, розовое золото двух снеговых вершин над моим, гигантских размеров, вторым я. Стою, не в силах пошевелиться. Второй я зачаровал меня, поглотил весь мир. Он начинает бледнеть и как будто таять.

Грянул выстрел, загрохотали горы, стадо обезумевших туров на миг сверкнуло надо мной по стремнинам...

Недосягаемые вершины таинственного Каштан-тау загорелись сплошным розовым алмазом в лучах невидимого еще солнца. Передо мной сверкнул огненными глазами не менее таинственный, чем Каштан-тау, мой кунак и с улыбкой указал на повисшего на скале убитого тура.

О турах я читал в естественной истории еще гимназистом, а об охоте на туров я слышал тогда же от друга моего отца, от старого и знаменитого на всю Вологодскую

губернию охотника Ираклиона Корчагина, в кабинете которого среди всевозможных охотничьих трофеев, вплоть до чучела барса, убитого им в молодые годы во время службы на Кавказе, были еще два огромных турьих рога, один как есть натуральный, а другой в серебре, служивший кубком. В него входило больше бутылки вина — и много удовольствия он доставлял своему владельцу. Когда на праздниках к нему съезжались гости, все хорошо уже изучившие этот кубок, а между ними являлся кто-нибудь новый, то ему за обедом подносили этот рог, наполненный или легким вином, или прекрасным домашним пивом. Помню, в Ильин день, при мне, обедал у него в числе гостей, гвардейский офицер, хваставшийся, что он всех перепьет. Ему Ираклион налил по его выбору лафиту.

Поднявшись во весь свой громадный рост, гвардеец захотел щегольнуть перед старыми охотниками-питухами — выпить залпом, приложил рог к губам и лихо опрокинул его...

И все содержимое хлынуло на грудь, и белый китель стал красным.

Общий хохот. Страшно рассвирепел гвардеец, запахло дуэлью, но все гости успокоили его что, мол, все это с ними было, а сам Ираклион налил в кубок тоже лафита и показал, как надо пить. Он приложил кубок к губам и, почти не поднимая, стал его слегка повертывать, отпивать понемногу и, не отрываясь, закончил все.

И десятки лет спустя этот случай меня выручил. Мне на Кавказе поднесли турий рог с кахетинским, тоже в надежде поглумиться, но я вспомнил Ираклиона и выпил кубок под пение «Мраволжамири» и аплодисменты.

Это было уже тогда, когда я повидал туров на заоблачных стремнинах Чеченских и Балкарских и под ледниками Эльбруса.

Я увидал их возвращающихся в свои неприступные ледники с водопоя и пастбища по узкому карнизу каменных скал. Впереди шел вожак, старый тур с огромными рогами, за ним поодиночке, друг за другом, неотрывно все стадо. Вожак иногда пугливо останавливался, поднимал голову, принюхивался и прислушивался, и снова двигался вперед. Стадо шло высоко надо мной и неминуе-

мо должно было выйти на нашу засаду, так как это единственная тропа, исключительно турья, снизу на ледник, где они должны быть при первых лучах солнца.

И видел я это стадо, перелетающее семифутовую бездонную трещину вслед за своим вожаком, распластавшимся на секунду в воздухе, с поджатыми ногами и вытянутой шеей, и ни секунды не задержавшимся на другой стороне трещины: он не перелетел, а скользнул через пропасть и исчез за скалой. И все стадо, все пятнадцать рыжих красавцев скользнули за ним, смело и уверенно, почти ровной гирляндой: еще не успел первый оставить точку опоры, как за ним летит следующий, на секунду займет место первого и вмиг исчезает... Так все один за другим! Картина неописуемая...

И наши винтовки молчали, потому что бесцельно было убивать над пропастью, недосягаемой для человека, и, кроме того, мы знали, что через несколько минут все стадо поднимется к нам, на свой обычный путь... Мы знали, что чуткий вожак не ожидает нашего присутствия, так как ветер дул не от нас, а снизу, откуда шли туры... И вот они так же степенно, в сотне шагов от нас идут вереницей, но стрелять нельзя: убьешь на узком карнизе — упадет в пропасть. Мы ждем, пока они выйдут на широкую площадку, вдавшуюся в глубь скал, изрытых пещерами. А за площадкой тропа переходит опять на узкий карниз, вплоть до ледника, порозовевшего уже на короне от лучей восходящего солнца.

Вместе с первым лучом переменился ветер. На секунду остановился вожак и стремглав ринулся вперед: тур почти никогда не возвращается назад — другого пути на родной ледник нет.

С быстротой метеора мелькнуло мимо нас стадо... Грянули выстрелы почти залпом, а потом еще четыре из наших винчестеров поодиночке, чтобы добить двух подранков. Остальные исчезли за углом скалы быстрее выстрелов магазинки. Охота была великолепная: четыре красавца козла лежали на камнях. Пятый, раненный, должно быть, слетел в пропасть и исчез из глаз в густом кустарнике на страшной глубине... Доставать его — и думать нечего.

Вот тут-то в первый раз я и осмотрел тура. Вожак был

ростом с годовалого теленка; огромные рога говорили о его почтенных годах. Он был темно-бурый, шерсть грубее, чем у остальных, грива гуще. Золотея на поднявшемся из-за гор солнце, они очень были похожи на рыжих светлобрюхих телят, только хвост, как у козы. И странно — копыта у них не жесткие, несмотря на то, что они вечно на камнях, а какие-то упругие, будто из твердой резины. Осмотрев эластичные раздвоенные копыта, я понял удивительный прыжок-полет через пропасть.

* * *

Рога вожатого имели поперечные ребра необыкновенно толстые. Глядя на них, можно было действительно поверить не раз слышанной даже от кавказских охотников легенде, что старый тур в минуту опасности бросается с огромной высоты, падает на рога и встает невредимым. Может быть, действительно таково их устройство, что оно распределяет и ослабляет силу удара? А эти парные поперечные ребра рога сломаться ему не дадут.

Одно мне пришлось наблюдать во время моих горных скитаний: я видел, как тур пробирался по отвесной скале и время от времени упирался рогом в стену, а иногда, должно быть уж в очень опасных местах, то наклонял, то поднимал голову, то вытягивал шею. Что рога ему служат балансом и поддержкой, это ясно.

И еще ясно, — что это его краса и рыцарские доспехи. Горные пастухи и старые охотники видели драки каменных козлов на их турнирах из-за обладания самкой.

* * *

Москва в первый раз увидала туров в восьмидесятых годах. Известный охотник городской инженер Н. М. Левазов, тот самый, который очистил Авгиевы конюшни Неглинки, основав Русский охотничий клуб, поехал на Кавказ охотиться под Эльбрусом и привез трех красавцев туров, из которых препаратор Бланк сделал великолепные чучела. Они и стояли в первом зале Охотничьего клуба вплоть до его закрытия уже после Октября. Но видеть их могли только члены и гости клуба.

Остальным москвичам приходилось знакомиться с турами в шашлычной Автандилова, заказавшего какому-то кавказскому предшественнику Коненкова вырубить и вырезать из одного куска граба большого тура на скале, который много лет, как живой, красовался в его заведении. Под ним нередко сиживал с друзьями Василий Осипович Ключевский, любитель выпить стакан доброго розоватого карданаха и съесть шашлык из настоящего карачаевского барашка.

Остальную Москву знакомил с туром грузинский винодел, тифлисский мещанин Сараджев, у которого такой же деревянный тур стоял в его московском складе на Лубянском проезде. Над дверями склада по сторонам вывески были изображены два красных тура и, кроме того, на всех его бутылках с настоящим виноградным коньяком и ликерами на виноградном спирте всегда изображался тур. Эта его торговая марка известна была всем питухам, которые требовали, приходя в винный магазин, «козла с тремя звездочками», и им торговец молча подавал сараджевский коньяк.

«До козла допились!» — ходила еще поговорка.

* * *

Конечно, все это я узнал много после, а в то время смотрел, как три горца, проводники ишаков из аула, где мы оставили лошадей, потрошили туров.

Ага дотронулся до моей руки мизинцем — он не любил лишних слов — и указал на самый верх скалы по другую сторону ущелья.

Там, освещенный солнцем, виднелся огромный орел стервятник, а над ним высоко-высоко кружил в воздухе еще один.

Указал Ага и молча стал перебирать четки. Это его любимое развлечение. Ни он, ни его джигиты, ни я — никто из нас не курил.

* * *

Какой беспроволочный телеграф у грифов? Появилась еще пара и кружила над нами...

С одного тура наполовину сняли шкуру. Вырезали

«суку», по-местному филей, и разложили костер для шашлыка. Этим занялись наши джигиты. Дрова предусмотрительно были привезены на осликах и свалены в довольно большой пещере, где стояли ишаки и где ночевали их вожатые. Это одна из пещер, которые служат гнездилищем для джостух и курочек — здесь они всегда выводят детей, здесь же ютятся в холодные, снежные зимы вместе с ними и туры. Они спускаются сюда с ледников и находят себе приют и питание: птицы им запасают корм — благодарные туры поедают собираемые на гнезда травы и ветки. Во время горных метелей и невыносимых морозов, не будь этих пещер, туры были бы обречены на гибель, и в свою очередь птицы голодали бы, если бы не кормили своих гостей, желудки которых отлично переваривали сухие ветки и бурьян.

* * *

Прошло около двадцати лет. В обманчивых снегах таинственного Каштан-тау погибли первые его исследователи — два англичанина и два проводника-швейцарца. Приезжавшие на розыски погибших из-за границы не нашли никаких следов. В 1889 году розыски продолжались.

Я приехал в Нальчик с женой и дочерью отдохнуть на лето, завел кунаков среди балкарских горцев и отправился с двумя из них к ним в гости, в их почти недоступные аулы.

Знакомое мне ущелье Черека уж стало не то: вместо головоломного карниза, по которому мы тогда бедовали, проложена дорога, по которой ездили арбы. Кое-где рабочие разделывали дорогу. В том самом месте, где мы тогда остановились перед скалой, заградившей путь, стояла рабочая казарма и жил инженер.

Скала была взорвана, и в пещере находился склад пороха и динамита. Дорога пока дошла только до этого места. Мы спустились к Череку, к мосту по «чертовой» лестнице, по отвесу, не тронутому инженерами. На том же месте стадо коз. Такой же мост из прутьев. Тот же подъем по осыпи, по тропинке, ведущей в Безенги, к леднику у Каштан-тау. Горцы сказали мне, что как начали

прокладывать дорогу, так туры исчезли. С той поры не был я в тех краях.

Не был я там, где в 1876 году в последний раз видел моих таинственных спутников.

В последний раз помню перед своими глазами плавные движения правой руки Аги с его толстым серебряным перстнем на большом пальце. Кольцо очень толстое, в виде веревки, с поперечными золотыми насечками. Меня всегда интересовало, почему он носит кольцо на большом пальце, но я, по обыкновению, не спрашивал его, а узнал через много времени, увидав стариков-горцев, носивших так же кольца.

Это старинная черкесская мода: у кремневых ружей были такие маленькие и тугие курки, что их без кольца трудно было взвести. Ружья стали другие, но мода перешла к детям. Потом я сам некоторое время щеголял старинным бронзовым кольцом на большом пальце, которое и подарил В. Е. Шмаровину, московскому собирателю редкостей.

Помню я плавные движения руки моего кунака в этот яркий солнечный день на грани ледника, по которому шла тропинка перевала.

Под нами был весь Кавказ с его снеговым хребтом, с пропастями, стремнинами, пиками, а ниже — с курчавой зеленью лесов. Вдали юг и восток были закрыты туманами, и Черное море сияло, как эмаль, а на севере пестрели леса, плавни, степи, беспредельные, местами подернутые мглой...

За солнечным днем наступила ясная морозная ночь, безмолвная, как и мои спутники. Я долго не спал, бездумно любуясь заоблачными пейзажами, где чередовался блеск снега с мраком пропастей. Надо мной особенно ярко горела звезда — я только что ее заметил и сразу перенесся в Москву. Вот я на Театральной площади, передо мной вышла из кареты девушка, мелькнуло ее улыбающееся личико, розовое на ярком солнце, и затем она исчезла в двери Малого театра... Опять я вижу серые валенки, опять я чувствую, прямо вот чувствую, ласковую руку Мещерского у себя на плече и сквозь сон слышу его слова о Ермоловой:

— Это восходящая звезда...

* * *

В полудремоте я любовался чудесными картинами... и проснулся: ничего не вижу, кругом грохот, меня подбросило, и я куда-то полетел.

В первый раз я очнулся в дымной сакле. Я лежал на полу на бурке и не мог пошевелиться — все болело. Седой черкес с ястребиным носом держал передо мной посудину и поил меня чем-то кислым, необыкновенно вкусным. Другой, помоложе, весь заросший волосами, что-то мне говорил. Я видел, что он шевелит губами, ласково смотрит на меня, но я ничего не понимал и опять заснул или потерял сознание — сам не знаю.

С каждым днем я поправлялся. Кроме парного молока, я ел шашлык из козленка с горячими чуреками, которые пек молодой черкес и еще два его пастушонка. Они пасли стадо на этом коше в жаркие месяцы.

Старик, который ухаживал за мной, оказался доктором. Он тоже черкес, как пастухи и мои кунаки. Он объяснялся со мной только знаками, мазал меня, массировал, перевязывал, и, когда я обращался к нему с вопросами, он показывал мне, что он не понимает и что говорить мне вредно. Это он показывал так: высовывал язык, что-то болтал, потом отрицательно качал головой, ложился на спину, закрывал глаза, складывал руки на груди, представляя мертвого, и, показывая на язык, говорил:

— Юклайка!

Это значит — умрешь, если будешь говорить.

И все заставлял пить парное молоко. Я уже начал понемногу сперва сидеть, потом с его помощью вставать и выходить раза два в день из сакли, посидеть на камне, подышать великолепным воздухом, полюбоваться на снега Эльбруса вверху и на зеленую полянку внизу, где бродило стадо чуть различимых коз.

Через неделю еще я уже выходил сам, спускался вместе с ним к стаду, пил там обязательно парное молоко и возвращался обедать — кисленький суп из вареного козленка, а потом уже и шашлык.

Я поправлялся и креп с каждым днем. Одно меня мучило: где мой кунак и как я попал сюда? Я это узнал, когда уже почувствовал, что ничего у меня не болит,

слабость проходит, головокружение не повторяется и мускулы вновь налились и стали твердыми.

После утренней прогулки к стаду мы поднялись по козьей тропке на скалу, к которой прилепилась, служа продолжением пещеры, наша сакля. Мой старик показал мне на север, где в пролетах между ледниками зеленели леса и далеко за ними маячила степь, своей дымкой сливаясь с горизонтом. Похлопал он меня по плечу; его строгие глаза развеселились, ястребиный нос сморщился, и все лицо осветилось улыбкой:

— Теперь ты совсем здоров и можешь говорить и слушать.

Я прямо ошалел и смотрю на него с раскрытым ртом.

— Не удивляйся, что я так хорошо говорю по-русски, — в молодости я долго жил в Тифлисе, там изучил вашу медицину, прибавив ее к своим горским знаниям. Мой отец тоже лечил своих.

А я все молчу — слушаю.

— Успокойся и слушай. Конечно, первое тебе интересно, где твой кунак?

— Да, но я больше удивляюсь...

— Никогда ничему не удивляйся. Мне твой кунак все рассказал о тебе и сказал, что надо. Тебе он кунак, а мне и всем нам он Ага — начальник. А ты его кунак, друг навек, и мы должны тебя беречь, как его брата.

— А где он? Жив?

— Да, теперь уж он у себя на Ингуре, туда он тебя вел, в свои аулы, в свои леса, где у него дом. Вот только обвал вас разлучил... Тебя сбросило вниз, а они уцелели. Тебя перенесли на этот кош, а сами через перевал ушли. Ты лежал без памяти. Ага послал за мной в мой аул, на Баксан. Он наш начальник. Вот все, что я могу тебе сказать. Он приказал тебя беречь и доставить в Россию. Еще предупреждаю тебя, что не показывайся в тех местах, где тебя видели с ним. Теперь его ищут, а если бы поймали,— казнили бы. Мне он говорил, что ты тоже от начальства русского прячешься. Вот поэтому он и велел тебя беречь. Я тебя сведу в степь к моим кунакам молоканам на хутор — там ты будешь в безопасности.

Я слушал как зачарованный.

— Меня зовут Самат.

* * *

Когда мы пообедали чихиртмой из дикой индейки, которую раздобыл пастушонок, и остались вдвоем в сакле, Самат вынул из кармана кожаный мешочек с ремнем и отдал мне:

— Здесь десять золотых и сто рублей бумажками — это тебе Ага на дорогу и на платье. Придется переодеться, может быть. Завтра я тебя выведу. Вот и все.

Я не знал даже, что ответить. Первое, что вышло:

— Милый доктор! И вы и Ага чудные люди, но какие разные! Он все молчит, слова не скажет, вы разговорчивый.

— Во-первых, это потому, что я доктор, долго жил с русскими. Ага же лицо очень важное, и ему приходится молчать и по своему положению и чтобы не сказать чего не надо. Больше я о нем не скажу ни слова.

Через три дня я был на коше у молокан, где Самат оказался своим человеком, и меня приняли как родного. Винтовку и почти сотню патронов я подарил старому молоканину — и радость его была безмерна: у них была одна гладкостволка, связанная проволокой. Самат, расцеловавшись со мной по-русски, исчез навсегда. На мои излияния чувств за спасение жизни и за все сделанное мне он ответил одним словом, уже на дороге, крепко пожав руку:

— Ага — твой кунак!

* * *

Между Большими Балканами с севера и Малыми с юга, защищенная от ветров, на десятки километров вдоль и километров на семь в поперечнике тянется знаменитая болгарская Долина роз, сплошь покрытая розовыми полями. В них вкраплены фруктовые сады, и весной эта единственная в мире долина удивляет глаз непрерывной розовой пеленой под самым горным хребтом Больших Балкан.

Холодным ветрам доступа нет. Теплый, нежный сквознячок вдоль долины, напоенный ароматом роз, обвевает небольшой городок Казанлык, весь пропитанный розовым маслом. Главный промысел жителей — добывание

розового масла, а богатство города — торговля им. Почти рядом с городком, вся в розах и садах, — большая деревня Шипка, а от нее поднимается дорога на Орлиное Гнездо, высшую точку Шипкинского перевала. Это и есть именно та самая Шипка, изображенная художником Верещагиным, — три солдата, занесенные снегом, и надпись: «На Шипке все спокойно».

В сентябре 1902 года Болгария праздновала двадцатипятилетний юбилей Шипки, на который были приглашены русские гости, участники шипкинских боев. Праздник прошел блестяще. Маневрами были повторены все главные сражения, точь-в-точь, как они были тогда.

Празднества закончились парадом на Шейновском поле. Тысяча народу кругом. Доисторические курганы, тянущиеся линией между Большими и Малыми Балканами, по знаменитой Долине роз и Шейновскому полю, представляли собой огромные букеты цветов. Жаркий солнечный день — все в цветных шляпках и платьях, дамы с букетами цветов и пестрыми зонтиками, военные гости в белых фуражках.

Я ходил и щелкал моим большим кодаком, увековечивая эту интересную картину и типы. Снял одного старого отставного фельдфебеля в мундире того времени.

— Ну что, — спросил я его, — переживаешь приятные воспоминания?

— Всяко бывало... А вот в этом городишке, — указывает на Казанлык, — после боя наш батальон ночевал. Когда мы встали на другой день, так солдаты натащили кувшины с розовым маслом и давай сапоги мазать...

В стороне от кургана одиноко стоял могучий и бодрый высокий старик. Его седая густая борода серебрилась на солнце и, расчесанная волосок к волоску, лежала на широких лацканах английского пальто. Что-то близко знакомое сверкнуло мне в этой стройной, энергичной фигуре и в его глубоких темных глазах, ласково взглянувших из-под седых бровей. Он поднял руку и, сделав отрицательный жест, сказал довольно чисто по-русски:

— Меня не надо, пожалуйста, не надо!

— Хорошо, не буду, если не хотите.

— Да, я не люблю этого. Никогда моего портрета не было и не будет.

Я убрал аппарат, и мы пошли к другому кургану. Я заинтересовался, почему он так хорошо говорит по-русски, и узнал, что он долго жил на русской границе. Мы разговорились о многом, и он мне рассказал следующее:

— Двадцать пять лет я не был здесь, и опять уеду отсюда. Так, приезжал посмотреть на знакомые места. С вами первым разговорился и больше ни с кем говорить не буду. Тогда я был в войске Сулеймана-паши, и вот здесь, — он указал себе под ноги, — здесь, на этом самом месте, я ел землю.

И он мне весьма поэтично нарисовал картину удивительную!

Сулейман-паша во что бы то ни стало хотел взять Шипкинский проход и завладеть отвесными скалами Орлиного Гнезда. Это было подвигом невозможным! Тогда упорный Сулейман вызвал три тысячи охотников для этой цели и «заклял» их.

Это было ночью. Три тысячи, и в числе их мой собеседник, стояли вокруг кургана.

Сулейман, весь в белом, встал на самом верху кургана, совершал богослужение и заклинал их.

Картина восхитительная: ночь, тишина, вдали огоньки бивачных костров, а на вершине кургана, перед упавшими ниц героями, белая фигура с воздетыми к небу руками произносит страшные заклинания.

И взял он с охотников клятву, что ни один из них не останется в живых, если не будет на вершине Орлиного Гнезда, а кто не будет там да уцелеет, тот будет проклят.

И поклялись все охотники умереть или достигнуть недоступной вершины каменного Орлиного Гнезда, — и ели землю...

И пошли они на другой день на штурм, и осталось от трех тысяч около сотни...

— И вы были на штурме? — спросил я старика.

— Я ел землю, я был на самом верху, на гребне Орлиного Гнезда, и был сброшен оттуда... И как счастливо упал! Я был уже на вершине Орлиного Гнезда, когда у защищавшихся не было патронов, не хватало даже камней. На самом гребне скалы меня столкнули трупом. Я, падая, ухватился за него, и мы вместе полетели в стрем-

нину. Ночью я пришел в себя, вылез из-под трупа и ушел к морю...

Мы сделали еще несколько шагов молча. Старик взял палку под мышку и стал перебирать четки, будто желая показать мне большой палец и серебряное кольцо с золотыми насечками.

Я поднял на него голову — глаза смеются. Он смотрит в сторону.

— Милый кунак, вы?! — обрадовался я.

— Кунак — нет «вы». Я тебя узнал и ждал, узнаешь ли ты меня. Если бы ты не узнал, так бы и расстались...

Мы целый час ходили между отдаленными курганами, а вдали маршировали войска, играла музыка.

— Я себя не узнал в этом костюме. Я в Стамбуле купил такое пальто: не хотел ехать в своем, чтобы не обращать внимания.

Много говорили о прошлом. Я рассказал ему о докторе Самате.

— Самат приходил ко мне на Ингур. Он сказал, что ты доставлен в безопасное место. Самат проводил нас до Трапезунда, потому что среди переселенцев были больные.

Оказывается, что Ага еще задолго до меня занимался переселением своих черкесов с Кавказа в Турцию, его выследили, и тогда мы пробирались к нему на Ингур, чтобы скрыться в его дебрях, и попали в обвал. Я узнал только теперь от него, что он с Саматом отправил целый аул, а сам уехал в Стамбул на войну. Через несколько лет он поехал на Кавказ, но те аулы, откуда он увел своих в Турцию, все еще стояли в развалинах.

Мы расстались уже на закате солнца. Он пошел в деревню Шипку, чтобы рано утром выехать в Бургос, а оттуда домой, в Стамбул, — он дал мне свой константинопольский адрес, — где Абадз-бей командует отрядом черкесов, а я отправился на другую сторону Шейновского поля, в свою палатку, в лагерь, разбитый для русских гостей.

Над Балканами голубовато лучилась яркая звезда на синем небе... Она мне всегда напоминает мою молодость.

Палатку мы занимали двое — я и художник А. П. Са-

фонов, родной брат художницы С. П. Кувшинниковой, которую описал Чехов. Его еще не было.

Я лежал в палатке один на кровати и смотрел в неспущенные полы моей палатки. На черном фоне Балкан внизу мелькали огоньки деревни Шипки и над ней, как венец горного массива, заоблачное Орлиное Гнездо, а над ним на синем звездном небе переливается голубым мерцанием та самая звезда, которую я видел после горной катастрофы...

Кольцо на большом пальце, четки, серебряная борода.

А передо мной Большие Балканы. Я уже их проехал верхом, и какими игрушечными кажутся мне они сравнительно с ледниковыми вершинами Эльбруса, Каштан-тау, Дых-тау. Живо передо мной встает ночной обвал.

Четверть века назад, когда седой Ага носил еще черную бороду, случилось это. С той поры я ни разу не представлял себе подробностей катастрофы. Помню только чудную, фантастическую картину ночи, а потом куда-то меня метнули, и я ухнул вниз... А седой Ага все так и стоит перед моими глазами. Беру тетрадку, карандаш, пробую пережить тот ужасный миг, но вот никак он мне не кажется ужасным, да не казался и тогда, когда я пришел в себя и лечился в полусакле-полупещере у пастухов. В том-то и дело, что понятия «ужас» я тогда, должно быть, не знал. Да оно и понятно — столько было всего пережито и все так счастливо сходило с рук, что я ровно ничего не боялся, а если пораздумать, то такая внезапная смерть, моментальная и в красивой обстановке, куда лучше виселицы или расстрела на заднем дворе, а перед этим еще тюрьма. А терять мне было нечего — и всегда я был уверен, что цел буду.

Так и дальше, в будущем. Или в опасности, например в горячей перестрелке, когда кругом валились люди, я думал (если только думал!), что не всех перебьют, хоть один да останется! Именно я останусь!

Держу тетрадку, карандаш. Вызываю в памяти красивые картины сверкающих ледников с причудливыми формами... Потом все рушится. Качается, падает... летит... кружится. И нет слов. Не удержишь на бумаге то, что едва мелькает в памяти... Вдали огоньки в деревне. Орлиное Гнездо на синем небе. Но как это бедно сравнительно

с красотой этих ледяных замков, колоннад и двух снежных вершин, врезающихся в такое же звездное небо! Слишком спокойные картины передо мной. Тихо мерцают звезды... Полный, самый эпический покой. Я лежу на кровати.

— ...Я лежал на скале Эльбруса... — Вдруг совершенно неожиданно выливается строчка почему-то стихов. Я не думал... Как-то смаху, без остановки и без поправки вытекло у меня это стихотворение. Оно, верно, отвечало картинам. Но эпически холодным. Я бросил тетрадку.

В это время вошел А. Ф. Сафонов.

— Ты что без огня лежишь?

И зажег свечку.

— Я сейчас из Казанлыка... у знакомых был. Вот получил подарки. — И выставил на стол четыре витиеватых, довольно грубой работы, но позолоченных флакона.—Два мне, два тебе. Ну-ка, капни в свою табакерку... По десять рублей флакон.

В палатке разлился аромат розы. Я забыл стихи, забыл незабвенную фигуру Аги, а встал передо мной давешний фельдфебель и за ним целый батальон солдат, старательно мажущий сапоги розовым маслом.

Над Орлиным Гнездом ярче всех переливалась голубым мерцанием восходящая звезда.

* * *

— Пароход бежит по Волге. Через забор глядит верблюд, — импровизирует на корме парохода высоким дискантом под немудрую гармошку молодой малый в поддевке и картузике, расположась на круге каната, а я сижу рядом, на другом круге, и, слушая его, убеждаюсь, что он поет с натуры: что видит, то и поет.

Наш товаро-пассажирский пароход тихо и лениво тянется вверх почти у самого песчаного берега. На неоглядном горизонте выгоревшей степи живой только один сюжет, вдохновивший импровизатора-гармониста. У самого берега одиноко стоит какая-то сараюшка, а изза дощатой загородки высится шея верблюда. Он жует и лениво поворачивает голову по мере движения парохода. Может быть, слушает шлепанье колес или гармош-

ку. Он не знает, что менестрель в поддевке, пропахшей рыбой, как и все мы, палубные пассажиры, проспавшие между кулями сухой воблы, вдохновленный верблюдом, поет про него, а другой пассажир, в такой же поддевке, только новенькой и подпоясанной кавказским поясом, через пятьдесят лет будет писать тоже о нем и его певце. Ведь на самом деле талантливый импровизатор — в двух строках обрисовано все, а главное, место уж очень точно обозначено: пароход «бежит» по Волге, и видно, что он «бежит» по низовой Волге, потому что уж выше Симбирска верблюда на Волге не увидишь.

Когда я спустя некоторое время, будучи уже на сцене в Саратове, за ужином после спектакля рассказал товарищам-актерам об этом импровизаторе и припомнил куплет о верблюде, все посмеялись и перешли на другие анекдоты. Только Далматов переспросил меня:

— Так вы говорите: через забор смотрит верблюд?

— Нет, «через забор глядит верблюд».

Далматов вынул из бокового кармана щегольской визитки сафьянную, тисненную золотом записную книжку, вынул из нее карандаш с ручкой слоновой кости и что-то записал. Но на это тогда никто не обратил внимания.

В Саратов я попал скоро после этой встречи с импровизатором, даже очень скоро — прямо с этого «дружининского» парохода, так что еще запах воблы от поддевки долго ощущал. А на пароход этот я попал в Царицыне, куда благополучно прибыл прямо из зеленчукских степей, из-под шатров снеговых вершин на далеком горизонте, и попал первым делом в Ростов, где облагообразился у парикмахера, купил прекрасные сапоги, тонкого сукна поддевку, сшитую, как тогда было модно, по-донскому, на манер чекменя. В Царицыне, увидав с великой радостью Волгу, вспомнил свою жизнь бурлацкую и в память Нюхаря Костыги, моего лямочного друга, купил берестяную с фольгой вятскую тавлинку, четверку костромского нюхательного табаку мятного — он летом хорош, мята в носу холодит, — понюхал и ожил!

Давным-давно я не нюхал, а последний год и табаку-то нюхательного в глаза не видал, забыл, что он существует. Зато обрадовался первой понюшке. Нюхаю и пою.

«Пароход бежит по Волге». Еду «вверх по матушке,

по Волге», а куда — сам не знаю. Разные мысли есть, но все вразброд, остановиться не на чем. Порадовал из Ростова отца письмецом, после очень, очень долгого молчания, и обещал приехать. Значит, путь открыт, а всетаки как-то не хочется еще пока... Если не приеду, отец скажет только: «Не перебесился еще!»

И он совершенно прав: не перебесился еще.

Садясь в Царицыне, я билет почему-то взял до Саратова. Оказалось, что именно так и надо было взять.

Спускаюсь с палубы вниз, в буфет, и окончательно убеждаюсь в этом, увидав на стене висящую афишу, где преогромными буквами было напечатано «Идиот». Подхожу ближе и читаю: «Идиот», и далее: «Тайны Гайдельбергского замка», драма в пяти действиях, перевод с немецкого». Оказывается, в Саратове в летнем театре Сервье играет труппа драматических артистов под управлением А. И. Погонина. Режиссер — Н. С. Песоцкий. Еще несколько знакомых фамилий — известный комик Большаков Аркаша и полуграмотный дубинообразный красавец купецкого рода Григорий Розанов. Розанов была его фамилия по сцене, а настоящая его фамилия — Дубинин. На дверях его квартиры в Тамбове висела напечатанная крупно его визитная карточка: «Артист Гр. Дубинин-Розанов». Пускай, мол, кто не знает, подумает: артист граф Дубинин-Розанов. А шутник Вася Григорьев взял и у нас на глазах исправил карточку. Вышло: «Артист граф Дубина-Роза». Так и осталось за ним Дубина-Роза, хотя он и заменил фамилию Розанов на Беляев. Он играл вторые роли «рубашечного» характера.

Со всеми ними я служил в 1875 году в Тамбовском театре у Г. П. Григорьева, где начал свою актерскую карьеру.

Прямо с парохода я отправился в театр Сервье на репетицию. Багажа у меня не было никакейного, кроме скромно отделанного серебряными бляшками сыромятного пояса, ловко стягивавшего мою поддевку, так, как еще недавно стягивал в осиную талию мою щегольскую черкеску. Пояс, подарок Аги, — это все, что уцелело от недавнего прошлого, если не считать нескольких золотых, которые я еще не успел растранжирить, будучи некоторое время в бродячем цирке.

Проходя мимо шляпного магазина, я зашел и купил чесучовый картуз военного образца, конечно без кокарды, и, довольный своим видом, остановился перед входом в сад, откуда доносились до меня звуки репетировавшего оркестра.

Улица, очень чистая и широкая, с садами, разделявшими между собой небольшие дома, была пуста. Только вдали виднелась знакомая фигура, в которой я сразу узнал Песоцкого. Прекрасный актер на роли холодных любовников, фатов, он и в жизни изящно одевался, носил небольшие усики, которые так шли к его матово-бледному, продолговатому лицу, которое или совсем не знало загара, или знало такие средства, с которыми загар не в силах был бороться, то есть перед которыми солнце пасовало.

— Николай Саввич! — остановил я его, когда он подошел к входу в сад.

— Ба! Какими судьбами? Рад вас видеть! После Тамбова мы ведь только в Кружке виделись. Что поделываете? Служите? — весело засыпал меня словами Песоцкий.

— Нет. Думаю, нельзя ли к вам.

— Ну вот и отлично. Кстати, у нас Никольский заболел. Вы вместо него сыграете Роллера...

Н. С. Песоцкий, взглянув на часы, взял меня под руку. Мы свернули с главной аллеи, в конце которой был виден театр, в глухую аллею.

— Да, Роллера. Вы кого тогда играли в Тамбове?

Мы сели на скамейку в густых зарослях жасмина.

— Прекрасно сыграете Роллера. Я еще его сокращу.

— Я помню пьесу, и Роллера помню. Еще гимназистом читал «Разбойников».

— То, что вы читали, и то, что мы играем, — вещи совершенно разные. Мы играем Шиллера по-летнему. Ну, да все равно. Словом, вы служите и сегодня играете Роллера.

— Очень вам благодарен, Николай Саввич!

— Вам, конечно, деньжата нужны? — спрашивает он меня. — Много дать не могу, но на расходы...

— Не беспокойтесь о деньгах, — перебил я его. — У меня еще хватит...

— Откуда вы сейчас таким бронзовым?

— С Кавказа да из степей...

— Прелесть! На Роллера и грима лучшего не надо! Только не вздумайте сегодня бриться, а то в полумаске очутитесь! Завтра побрейтесь. Идем! Яковлев звонит!

* * *

— А вот вам и Роллер! — представил меня Песоцкий собравшейся на сцене труппе.

Оказались старые сослуживцы и знакомые по Московскому артистическому кружку — и я дома. Песоцкий взял тетрадку, возвращенную Никольским, и, указывая мне, вычеркнул всю сцену первого акта и значительно сократил сцену во втором акте, оставив только самую эффектную суть. Суфлер повторил вымарки в писаной пьесе и передал мне роль, которой осталось странички полторы только во втором акте. Ремарка такая: Роллер вбегает без шляпы, в одной рубахе, изорванной в клочья, везде сквозит тело, на шее — веревочная петля.

* * *

После репетиции я обедал в саду в товарищеском кругу, и тут же нашел себе квартиру у двух актериков, Сименова и Карина, снимавших маленький дачный домик.

Суфлер дал мне пьесу, написанную четким, прекрасным почерком и перекрещенную карандашом всех цветов и вдобавок украшенную чернильными надписями и между строк и на полях разными почерками. На заглавном листе: «Разбойники». Трагедия Шиллера. В пяти действиях и двенадцати картинах». Имени переводчика не было. Вообще тогда, не раз участвуя в спектаклях в разных провинциальных театрах, я никогда не видел, чтобы играли по печатному экземпляру, и писанные — думаю, что с одного оригинала, именно такого же, какой я видел у Песоцкого, — были во всех театрах. Притом каждый Франц и каждый Карл имел свой экземпляр — и нередко со своими сокращениями и вставками, нередко с отсебятиной. Но все виденные мною экземпляры были

сценичны и весьма умело сокращены. Даже экземпляр, сокращенный «по-летнему», потому что летняя публика любит покороче, был весьма ловко сделан. Впоследствии, сравнивая такой экземпляр с переводами Сандунова, Кетчера и Достоевского, я находил в нем сцены совершенно для меня новые. Может быть, взятые с французского перевода «Разбойников» Шиллера или, скорее, переделки, переведенные потом по-русски Ивановым. Но что это делалось сценично, отрицать нельзя: масса выигрышных мест. Я на себе испытал это в Роллере. Песоцкий так умело сократил роль и дал мне несколько таких указаний, что я неожиданно имел крупный успех.

* * *

В первом акте я выходил Роллером без слов, одетый в черный плащ и шляпу. Одевался я в уборной Н. С. Песоцкого, который свою любимую роль Карла уступил молодому актеру Далматову. Песоцкий зашел ко мне, когда я, надев чулки и черные трусики, туго перехватив их широким поясом, обулся в легкие башмаки вместо тяжелых высоких сапог и почувствовал себя вновь джигитом и легким горцем и встал перед зеркалом.

— Какая красота! Вот такой и был Роллер! — услыхал я слова Песоцкого. — Знаете что: никакой рубашки, никакого верхнего платья! Только одна петля на шее. Какая красота! Откуда вы весь бронзовый? Какие мышцы!

— В степях загорел! Да в цирке немного поработал!

— Скоро выход, я иду в партер вас смотреть.

Перед самым выходом на сцену я прошел в дальнюю, глухую аллею сада, пробежался, сделал пяток сальто-мортале и, вернувшись, встал между кулисами, запыхавшись, с разгоревшимися глазами. Оглянул сцену, изображавшую разбойничий стан в лесу. Против меня, поправее суфлерской будки, атаман Карл с главарями, остальные разбойники — группами. Пятеро посредине сцены, между мной и Карлом, сидят около костра.

Сценарист Яковлев сверкнул на меня очками и предупредительно поднял руку, но я сам слушаю знакомые реплики, и в тот момент, когда Яковлев опустил руку, я рванулся на сцену, будто продолжаю дальний бег, пере-

прыгиваю группу около костра и еще через два прыжка останавливаюсь перед атаманом, высоко подняв руку, с веревочной петлей на шее, и отчеканиваю на высокой ноте:

— Я сорвался с виселицы!

Разбойники при моем появлении вскочили и остолбенели. Пауза удивления. Далматов глядит на меня восторженными глазами.

— Да, я сорвался с виселицы, прямо с виселицы, говорю вам! Дайте водки. (Подают флягу.) А-ах! С меня уже сорвали рубаху, накинули эту петлю. (Опять пью.)

Публика аплодирует.

* * *

Дебют был удачен. На другой день шла «Свадьба Кречинского». Я играл купца Щебнева и удостоился вызова. Вчера я выходил вместе с Далматовым под фамилией Никольского, а сегодня Погодин, не спросив меня, поставил мою настоящую фамилию, чему я, в конце концов, был рад. Мне стали давать роли, отношение товарищей прекрасное. Завелись приятные знакомства.

Сборы все время хорошие, несмотря на то, что все были увлечены войной и волновались, когда получались нерадостные известия. В один из призывов ополченцев я зашел случайно в думу, где был прием, и заявил — даже совсем неожиданно для себя — о желании идти охотником, почти так же, как моему кунаку Аге на его призыв ехать с ним «туда-сюда гулять» я ответил: «Едем».

Я телеграфировал отцу, что иду на войну; он мне выслал метрическое свидетельство, и с первым же эшелоном я отправился в действующую армию, на Кавказ.

По окончании войны начальство предложило мне продолжать службу, но в это время у меня в кармане лежало письмо от Далматова, приглашавшего меня ехать к нему в Пензу, в театр.

* * *

В Пензе я играл под псевдонимом Сологуба, был помощником режиссера и много работал вместе с Далматовым, который только что разошелся со своей третьей или, может быть, пятой женой и весь предался театру.

Между прочим, мы привели в порядок большую театральную библиотеку, на что уходило почти все свободное время. Впрочем, это не мешало нам написать вместе одну фривольную пьесу, а иногда кутнуть и гульнуть вовсю — вроде прогулки верхом на бочке отходников по одной из людных улиц Пензы, причем Далматов был в цилиндре и золотом пенсне. Это было на первой неделе поста, когда актеры уже уехали в Москву заключать контракты на следующий сезон, кроме тех, которые остались служить у Далматова на будущую зиму. Далматов никогда не ездил постом в Москву — он получал столько предложений, что мог всегда составить прекрасную труппу, сидя на месте.

Я, конечно, будучи его секретарем, помогал в этом наборе труппы и вел всю переписку. Он только важно, с шикарным росчерком подписывал: В. Лучич-Далматов.

Лучич была его настоящая фамилия. Он родом был далматинец, почему и взял такой псевдоним. Детство свое провел он в Кишиневе и Одессе и говорил, что один из его родственников занимал на юге какую-то важную должность и чуть ли не был другом Пушкина.

В. П. Далматов иногда рассказывал, как он в первые годы сценической деятельности голодал, ночевал на улице и ходил в поисках места пешком из города в город.

Прекрасный актер, он был такой же антрепренер. К нему охотно все шли служить, и не было случая, чтобы Далматов когда-нибудь не заплатил в срок.

Во время сезона в Пензу то и дело приезжали, а то, может быть, вернее даже, приходили пешком разные Крокодиловы-Нильские, Таракановы-Вяземские, и каждому давались деньги добраться до Москвы. Обыкновенно все они стремились в Москву. А если объявлялись бывшие сослуживцы, брал их Василий Пантелеймонович на службу в переполненную труппу. Авансами разоряли, а отказать никому не мог.

Театральные дела у него всегда шли прекрасно. Пенза тогда еще проедала остатки своих барских имений и меценатствовала. В бенефисы любимых актеров ложи бенуара блистали модными аристократками, а бельэтаж — форменными платьями и мундирами учащейся молодежи.

В этот сезон В. П. Далматов закончил свою пьесу «Труд и капитал», которая была, безусловно, запрещена и после уже, через несколько лет, шла под каким-то другим названием. В этот же год он начал повесть и вывел в ней актера-бродягу, который написал «Катехизис актера».

В эту повесть и особенно в «Катехизис» Далматов влил себя, написав: «Уважай труды других, и тебя будут уважать»; «Будучи сытым, не проходи равнодушно мимо голодного»; «Не сокращай жизни ближнего твоего ненавистью, завистью, обидами и предательством»; «Облегчай путь начинающим работникам сцены, если они стоят того»; «Актер, получающий жалованье и недобросовестно относящийся к делу, — тунеядец и вор»; «Антрепренер, не уплативший жалованья, — грабитель».

Это органические черты Далматова: таким я знал его в Саратове, Пензе и Воронеже...

* * *

Мы собирались с В. П. Далматовым идти завтракать, когда сторож Григорьич ввел в кабинет И. К. Казанцева, известного актера и антрепренера. С Далматовым они расцеловались, как старые друзья. Казанцев проездом из Самары в Москву заехал в Пензу, чтобы пригласить Далматова на летний сезон в Воронеж, где он снял театр.

В. П. Далматов отрекомендовал меня и предложил взять. В два слова кончили дело, и тут же пригласил И. К. Казанцев меня помощником режиссера.

Думалось, что меня он взял как привесок к В. П. Далматову, как кость или жилу, которую прибавляют как нагрузку к хорошему куску мяса.

— Ну, а теперь угостим дорогого гостя. Идите и заказывайте завтрак. Через десять минут буду, только Горсткину занесу деньги — сегодня срок аренды.

* * *

Яркий, солнечный день. Снег, тот самый весенний яркий снег, о котором говорят: «молодой за старым пришел», слепил глаза. Реомюр на стене театра показывал

семь градусов. Ноги скользили — лед здесь никогда не чистили с тротуаров, — и мы шли под руку ради взаимного страхования от падения. Налево сверкала алмазами белоснежная Соборная площадь, а по ней быстро шла наперерез нам, от церкви на Московскую улицу, стройная девушка в коротенькой черной шубке с барашковым воротником, на котором лежала роскошная коса. Из-под коричневой юбки сверкали серые ботики, а из-под каракулевой шапочки весело взглянули большие серые глаза на подбегавшую к ней с лаской собаку. Прекрасный цвет лица, легкие, энергичные движения обратили внимание Казанцева. Он толкнул меня локтем и сказал:

— Славная барышня... Таких только степь родит. Сила и радость! Вся розовая...

Я взглянул еще раз на нее, уже переходившую Московскую улицу, потом на Соборную площадь и ничего не ответил. Казанцев на миг мне показался Мещерским, Соборная площадь — Театральной...

* * *

Служу в Воронеже. Прекрасный летний театр, прекрасная труппа. Особый успех имеют Далматов и инженю М. И. Свободина-Барышова. Она, разойдясь со своим мужем, известным актером Свободиным-Козиенко, сошлась с Далматовым. Это была чудесная пара, на которую можно любоваться. С этого сезона они прожили неразлучно несколько лет. Их особенно принимала избалованная воронежская публика, — а сборов все-таки не было.

Чтоб заинтересовать здешнюю публику, перевидавшую знаменитостей-гастролеров, нужны или уж очень крупные имена, или какие-нибудь фортели, на что великие мастера были два воронежских зимних антрепренера — Воронков и Матковский, по нескольку лет один за другим державшие здесь театр. Они умели приглашать по вкусу публики гастролеров и соглашались на разные выдумки актеров, разрешая им разные вольности в свои бенефисы, и отговаривались в случае неудачи тем, что за свой бенефис отвечает актер.

Одна из неважных актрис, Любская, на свой бенефис поставила «Гамлета», сама его играла и сорвала полный сбор с публики, собравшейся посмотреть женщину-Гамлета и проводившей ее свистками и шиканьем.

Второй случай, давший огромный сбор, был в бенефис никудышнего актера Тамары, афериста и пройдохи, в свой бенефис имевшего наглость выступить тоже в роли Гамлета.

Надо сказать, что в эти годы огромным успехом пользовалась в провинции прекрасная опереточная актриса Ц. А. Райчева, гастролировавшая в Воронеже в «Птичках певчих» и «Елене Прекрасной».

В этот сезон она служила в Ростове-на-Дону, и об ее успехах писали обе воронежские газеты — «Телеграф» и «Дон», которые вообще отводили много места театру, перепечатывая известия из газет, благо материал вполне цензурный, весьма читабельный, а главное — бесплатный.

Выходит огромная афиша о бенефисе артиста Тамары: «Гамлет принц Датский. Трагедия Шекспира. В заглавной роли — бенефициант. При участии знаменитой артистки Цецилии Арнольдовны Райчевой, которая исполнит «Письмо Периколы»...

Об участии Райчевой напечатано красными буквами.

В списке исполнителей ролей ее нет. Офелия — Бороздина, королева — Микульская. «При чем Райчева?» — недоумевала публика. А бенефициант во фраке, на лучшем извозчике, носится по домам меценатов, «делает визиты», по лучшим магазинам, трактирам, клубам, и всучивает билеты, отвечая на все вопросы только одним:

— Приходите, увидите. Если не будет Райчевой — деньги обратно.

В день бенефиса Тамара едет утром на вокзал, встречает Райчеву, везет ее в лучшую гостиницу по людным улицам. Артистку узнают, видят, говорят о ней, и около театральной кассы толпится народ. К вечеру — аншлаг. При первом выходе бенефицианта встречают аплодисментами и полным молчанием после каждого акта и лучших монологов Гамлета. Тепло встретили Офелию, красавицу С. Г. Бороздину, дочь известного артиста

Г. И. Григорьева. Она только одна пока удостоилась аплодисментов и бисировала песнь Офелии.

Идут в молчании акт за актом. Думали сперва, что или Офелию или королеву будет играть Райчева, но и в королеве появилась Микульская. Где же Райчева? Стали заглядывать во время антрактов в кассу: как бы кассир не сбежал, но нет, он продает билеты на будущие спектакли. Большинство уже уверено, что смотрят спектакль даром: деньги обратно собираются требовать.

Пятый акт. Публика еще в антракте заняла места. Могильщики, старик и молодой парень, копают могилу. Приходят Гамлет и Горацио. Сцена с черепом Иорика. Наконец, хоронят Офелию. Все расходятся. Могильщики начинают закапывать могилу.

— До ночи не закопаешь! Оголодал, есть хочется. Внучка надула, обещала обед принести.

— Хорошо бы поесть... Э! Да вот и она с горки спускается. Слышь, поет?

Через минуту появляется Райчева в блестящем костюме Периколы с большой корзиной, покрытой салфеткой.

— Дедушка, вот я обед принесла!

— Ну, спасибо, внучка... Ставь сюда.

Публика бешено аплодирует.

— Браво! Райчева! Райчева!

Она открыла корзину и разложила еду.

— Кушайте!

Публика замерла. Ждет.

— Ну, внучка, мы будем есть, а ты нас потешь, спой что-нибудь веселенькое.

— Что бы вам спеть?

— А что обещала.

В оркестре — звуки арии из оперетты. Райчева выходит на авансцену и поет «Письмо Периколы».

Публика требует повторения. После второго раза Райчева уходит за кулисы. На вызовы публики ее выводил на сцену сам Гамлет...

К такой публике и приехала наша труппа. Серьезного репертуара и хороших постановок мало было: надо гастролеров из столицы!

И. С. Казанцев ездил в Москву и привез известие, что

через три дня приедут Ермолова и Правдин. В местных газетах появились заметки о гастролях.

Накануне во время спектакля было заявлено, что в десять утра приедут, а в одиннадцать репетиция, и предложено было желающим встретить Ермолову. Правдина почти никто не знал.

В первую голову, как помощнику режиссера, мне, конечно, надо было по обязанности, и уж как я стремился увидеть ее — ночью не спалось. Заснул при солнце, но был разбужен в семь часов.

— Пожар! Ваши уж проехали к реке!

В Воронеже этим летом образовалась вольная пожарная дружина, куда я тотчас по приезде записался топорником, не отказываясь работать и в городской команде.

На окраине горели два деревянных дома. Кругом близко стройка. Пожар опасный. Ветер сильный. Все-таки опасность миновала, и когда я посмотрел на часы,— половина одиннадцатого, значит, только на вокзал опоздал — встречу на сцене. Примчался на извозчике, вбежал в заднюю дверь, выходящую в сад, прямо на сцену, чтобы почиститься и умыться до начала репетиции, и — о, ужас! — на сцене народ. Первое, что я увидел среди кучки артистов, — это суфлера Модестова, задом влезавшего в будку, а около будки стоят Свободина, Далматов, Казанцев и еще кое-кто из артистов. Посредине их небольшой человечек в полосатой синей паре и панаме, а рядом Ермолова, свежая и розовая от легкого загара, в сером дорожном платье и легкой, простой соломенной кругленькой шляпе с черной лентой. Они разговаривали со Свободиной, которая была немного выше ее. Я сразу вспомнил и Артистический кружок, и Театральную площадь, и Мещерского — и совсем забыл, что я даже не умылся.

Я двинулся к группе, чтобы извиниться за опоздание. Потом узнал, что прямо с вокзала они поехали на репетицию, а вещи отослали в гостиницу.

Все это я пережил в момент, и при первых моих шагах раздался хохот и возгласы, где слышалось слово «пожарный». Все-таки я подошел, сорвал с головы фу-

ражку, извинился за опоздание. Смех в ответ на мой поклон, а потом Казанцев обратился ко мне со словами из «Птичек певчих»:

— Панателла, подите и умойте вашу физиономию, а потом я вас познакомлю с Марией Николаевной и Осипом Андреевичем.

А Свободина подставляет мне к лицу зеркальце:

— Посмотритесь!

Взглянул — весь в саже. Бросился как безумный назад, перепрыгнул через забор в сад моей квартиры и через десять минут извинялся с трепетом сердца перед М. Н. Ермоловой.

Она меня встретила прекрасно. Оказалось, что Далматов ей еще на вокзале рассказал обо мне и заинтересовал ее.

Когда группа актеров окружила на платформе М. Н. Ермолову, пока пассажиры торопились в буфет пить кофе (тогда еще вагонов-ресторанов не было), а аккуратный Осип Андреевич Правдин побежал наблюдать за выгрузкой багажа, к В. П. Далматову подошел небольшого роста офицер.

На белом кителе его выделялся красный темляк на кавказской шашке — «за храбрость».

— Мы немного знакомы. Тоже на вокзале. Помните, вы провожали с моим эшелоном на войну Гиляровского. Моя фамилия Прутников.

В. П. Далматов обрадовался, обнял его, представил товарищам и сказал:

— Гиляровский служит у нас, он сейчас должен приехать сюда. Поезд простоит долго. Да вы останьтесь у нас на денек-другой.

— Не могу, больную жену в Ессентуки везу.

Долго отвечал он на вопросы В. П. Далматова — все со вниманием слушали боевые воспоминания моего однополчанина.

Поезд ушел. Так мой друг меня и не видал, но его встреча с актерами сыграла свою роль: М. Н. Ермолова наверное никакого внимания не обратила бы на маленького актера Сологуба, если бы не эти рассказы на вокзале.

* * *

Как-то после одной из первых репетиций устроился общий завтрак в саду, которым мы чествовали московских гостей и на котором присутствовал завсегдатай театра, местный адвокат, не раз удачно выступавший в столичных судах, большой поклонник Малого театра и член Московского артистического кружка. Его речь имела за столом огромный успех. Он начал так:

Высоко передо мною
Славный Киев над Днепром,
Днепр сверкает под горою
Переливным серебром.

Это прекрасное стихотворение, в котором дальше поэт спрашивает:

— Вы откуда собралися,
Богомольцы, на поклон? —

относится также к Воронежу, переполненному, особенно в летнее время, тысячами богомольцев, идущих от московских чудотворцев к киевским мощам и встречно из Киева в Москву.

Воронеж никак миновать нельзя, и те и другие обязательно идут поставить свечечку и купить образок местного угодника Митрофания лишь потому, что Воронеж на пути стоит... Вы можете видеть этих пешком прошедших лапотников с пыльными котомками и стертыми посохами там, около монастыря, в таком же количестве, как и в Киеве. Но Воронеж богаче Киева, интереснее в другом отношении: потому что он стоит на перепутье, на линии железной дороги, соединяющей обе столицы с Кавказом и рядом южных городов. Наши знаменитые артисты в своих поездках никогда не минут перепутья... Кого-кого мы не видали из них... Служить в наш город благодаря удобству сообщения едут охотно со всех концов нашей необъятной шестой части света. Сейчас, в нашей скромной компании, можно продолжить стихотворение со строки «Вы откуда собралися», и каждый из вас скажет: да, я оттуда...

С поднятым бокалом оратор первым делом обратился к Н. Н. Синельникову, донскому казаку:

— Я оттуда, где струится
Тихий Дон, краса степей, —

и сразу повернулся лицом к сидящему с ним рядом Казанцеву:

— Я оттуда, где клубится
Беспредельный Енисей...

Казанцев встал, чокнулся и вскользь, чтоб не прервать речи, бросает:

— Иннокентием зовут, значит сибиряк.

— Край мой теплый брег Эвксина...

И не успел еще взглянуть на Далматова, как последний встал, и их бокалы встретились.

— Край мой брег тех дальних стран,
Где одна сплошная льдина
Оковала океан...

Он что-то ищет, но его выручает Вязовский, указывая на меня:

— Сологуб оттуда.

Чтоб не помешать, я принял привет и ответил, показывая дно стакана:

— Я от Камы многоводной...

И опять ищет глазами.

— Вакурат с нее! — отвечает Василий Вятский.

А барон Оберкас, сын сенатора, прекрасно игравший лакеев, ответил поклоном на строчку:

— Я от царственной Невы.

И уже наверняка адвокат чокается с приставшим заранее Правдиным, приятелем оратора:

— Я от Ладоги холодной...

Подняв голову и закинув седую гриву волос, красиво перегнувшись через стол, он обращается к Марии Николаевне:

— Я от матушки Москвы!

И закончил стихотворение... Да если и не закончил, то продолжать было нельзя — аплодисменты, чоканье. Все встали и с бокалами спешат к раскрасневшейся Марии Николаевне.

* * *

Мария Николаевна дружила только с М. И. Свободиной, изредка в свободные вечера, по субботам, она бывала у нее. Иногда бывали и мы у нее. Я говорю «мы», то есть Свободина, Далматов и я. Редко заходил Казанцев, но, переговорив о театральных делах, исчезал, а Правдин жил где-то на окраине у знакомого немца, и его видели мы только на спектаклях и репетициях. Экономный немец, он избегал наших завтраков и ужинов.

На наших вечеринках вчетвером, наговорившись о театре, переходили на стихи, и я делался как-то центром беседы среди этих знаменитостей.

В. П. Далматов обыкновенно рассказывал что-нибудь обо мне из того немногого, что он знал, а потом и я разбалтывался, конечно очень скромно, вечно памятуя лозунг моей жизни тогда: «Язык твой — враг твой, прежде ума твоего рыщет».

Марию Николаевну больше всего интересовала жизнь бурлаков и работа на белильном заводе, В. П. Далматова — картинки войны и приключения, М. И. Свободину...

Как-то Мария Николаевна попросила меня прочитать мое стихотворение «Бурлаки». Потом сама прочитала после моих рассказов о войне некрасовское «Внимая ужасам войны», а М. И. Свободина прочла свое любимое стихотворение, которое всегда читала в дивертисментах — и чудно читала,— «Скажи мне, ты любил на родине своей?» И, положив свою руку на мою, пытливо посмотрела на меня своими прекрасными темно-карими глазами:

— Обращаю к вам вопросом первую строчку стихов: «Скажи мне, ты любил на родине своей?..» В самом деле, вы поэт, значит любили?

— Какой я поэт! У меня только два стихотворения. Это да «Кузьма Орел» и несколько шуток.

— Ну есть же стихи о любви?

— Никогда этого слова я не написал.

— А вот, когда напишете это слово кому-нибудь в стихах, тогда ваша поэзия начнется, настоящим поэтом будете!

— Но разве мало прекрасных стихов без объяснений в любви? А гражданские мотивы? Томас Гуд, Некрасов. О, сколько поэтов! Песни о труде, о поруганной личности, наконец бурные призывы, как у Лопе де Вега и у нашего московского поэта Пальмина, ни разу не упомянувшего слово «любовь» и давшего бессмертный «Реквием».

— Так-то так. А все-таки моему сердцу ближе эти строки.— И опять обратилась ко мне: — «Скажи мне, ты любил на родине своей?..»

— Нет, не любил нигде. Пробовал, да не вышло. Перед войной познакомился в Саратове с одной маленькой актрисой Гаевской. Как рыцарь средних веков, сделал ее дамой сердца, переписывались с ней с войны. В дни, когда получалась в отрядной канцелярии почта, бегал за письмами для близости расстояния чуть ли не через цепь турецкую, обрываясь в колючках и рискуя попасть под пулю. Кстати, она служила здесь, в Воронеже, у Матковского. Кончилась война. Я поехал домой морем на Таганрог и далее. С нетерпением ждал Воронежа. С вокзала бегу на репетицию в театр. Ее вызывают мне. Выходит знакомая худенькая фигурка. Конфузливо подходит. Посмотрели мы друг на друга, разговор как-то не клеился. Нас выручил окрик со сцены, позвавший ее. Пожал я ей руку — не поцеловал, нет, да я вообще никогда еще, кроме матери, ни у кого руки не целовал — и уехал. Это было в прошлом году здесь. И переписка прекратилась.

М. И. Свободина в это время взяла мою записную книжку, которая лежала на столе передо мной, и что-то стала писать.

— Вот вам на память!

«Не понят ты людьми в халате драном. Поймут тебя они в кафтане златотканом».

И подпись — Мария Свободина.

Я прочел и пододвинул книжку Марии Николаевне. Она тоже взяла карандаш, и я прочел:

Вперед без страха и сомненья
На подвиг доблестный...

В тот же вечер Мария Николаевна дала мне свою фотографию с надписью: «Владимиру Гиляровскому — Мария Ермолова. Воронеж».

Книжка, вся истрепанная, полуразорванная, у меня еще цела с дорогими автографами, а карточку в девяностых годах взяла одна студентка и не отдала. Студентка эта давно уже доктор и служит в одной из детских больниц. Наверное, карточку хранит как зеницу ока. И на этом спасибо.

Мария Николаевна надписала карточку Гиляровскому, а не Сологубу, как меня звали все и как я писался в афишах. Она никогда не называла меня ни той, ни другой фамилией, а всегда Владимир Алексеевич. Для меня Мария Николаевна была недосягаемым светилом, мой кумир, каким она была для всей публики, а особенно для учащейся молодежи.

М. И. Свободина была любящей и любимой женой моего друга Далматова. Ни на один миг ни та, ни другая не внушали мне и мысли, что они красавицы женщины. Ни у той, ни у другой я не поцеловал руки. В то время я еще не поцеловал ни одной женщины и вообще ненавидел целоваться, что принято между актерами, а особенно пьяными. Когда кто-нибудь обнимал меня и лез целоваться, я обязательно подсовывал к его губам руку, которую он целовал, потом ругался, а тронуть меня, конечно, боялся. Так я и отучил моих друзей от поцелуев. Бледный призрак Гаевской — как впоследствии я узнал, что, когда я заезжал к ней в Воронеж, она была невестой — растаял, как растаял «второй я» над пропастью ледника. Профиль «восходящей звезды» погас, так как сама звезда была передо мной во всей своей славе... Дразнила воображение фигура девушки-степнячки в

гимназической форме, сменившая Театральную снеговую и солнечную площадь на такую же Соборную в Пензе. Но все это мимолетно и неясно мелькало иногда...

* * *

> Не понят ты людьми в халате драном.
> Поймут они тебя в кафтане златотканом.

Эти строки заставили меня задуматься, и я уже ясно понимал их неопровержимость, когда видел моих знаменитых собеседников, с напряженным вниманием слушающих меня.

— Вас не удовлетворит сцена,— вы будете писателем. Столько видеть и не писать нельзя,— как-то после моих рассказов сказала мне Мария Николаевна.

Впоследствии я не раз задумывался над этими словами, а передо мной сверкали зарницы гроз далеких.

«Вы поэт и будете поэтом, когда у вас напишется то слово. Помните Майкова: «Скажи мне, ты любил на родине своей?» — повторяла М. И. Свободина.

Ободряюще светила строчка: «Вперед без страха и сомненья на подвиг доблестный». Но в суете актерской и веселой жизни проходило и забывалось. Я жил данным моментом: театром в Воронеже.

Как-то около полудня я возвращался с небольшого пожара на окраине, шел глухой улочкой, окруженной небольшими домиками, и увидел на скамеечке перед воротами пожилую женщину, перед которой стояли две богомолки в лаптях и сумками за плечами. Рядом с ней сидела М. И. Свободина, которая меня окликнула и познакомила с сидевшей рядом.

— Анфиса Егоровна, подруга моей мамы.

— Очень рада... Я вас видела у Марии Николаевны. Да что здесь жариться, заходите, пожалуйста, в хатку, чай на столе.

Я было из вежливости, конечно, против своего желания, стал отказываться, а М. И. Свободина взяла меня под руку и повела.

В маленьком зальце с голубыми обоями и простеночным зеркалом стояли три круглые подушки для плетения

кружев. За двумя сидели две хорошенькие блондинки, тоже в голубых, как и обои, ситцевых платьицах, и погремливали чуть слышно коклюшками, выводя узоры кружева.

— А вот мои крестницы Маня и Оля, племянницы Анфисы Егоровны, а вот и мама их, Анна Егоровна.

Та поставила самовар и мигнула дочкам. Они исчезли и через минуту внесли два блюда с пирогами, оба круглые, в решетку. Один с рисом и цыплятами, а другой с черешнями. Вслед за сестрицами вошла Ермолова в светленьком простом платьице и в той самой шляпке, в которой играла учительницу в модной тогда пьесе Дьяченко «На пороге к делу».

Мария Николаевна удивленно посмотрела на меня, подавая мне руку. А Свободина сказала:

— Мы о нем много секретов знаем, пусть же и он знает наш секрет...

Выяснилось, что по воскресеньям обе они едят здесь пироги и беседуют с богомолками.

— Изучаем типы! — сказала М. И. Свободина, а М. Н. Ермолова добавила:

— Знакомимся с ужасами женской доли... Мне только здесь стал воочию понятен Некрасов и Писемский. Представьте себе, вот сейчас в садике сидит красавица женщина, целиком из «Горькой судьбины», муж из ревности убил у нее младенца и сам повесился в тюрьме... Вот она и размыкивает горе, третий год ходит по богомольям...

В садике пять богомолок пили чай с булками.

— Вот эта,— шепнула мне М. Н. Ермолова, указывая на действительно с красивыми чертами лица, исхудавшую и почерневшую от загара женщину.

Рядом с ней сидела крепко сложенная невысокая старуха со слезящимися глазами и темная, как закопченная икона. Она из Вологодской губернии, всю жизнь прожила в избе, которая топилась по-черному. Пошла раз в жизни отдохнуть от холода, голода и мужниных побоев в течение сорока лет. Пошла она размыкать свое горе, поделиться им с товарками-богомолками и грехи свои, которых и не было, рассказать исповеднику, услышать от него слово прощения. Этот тип со временем должен ис-

чезнуть с изменившимися условиями жизни. Она — лучшая иллюстрация к Некрасову:

Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг.

— Вы посмотрите, — не глядя на нее, говорила мне Мария Николаевна, изучившая ее до тонкости, — посмотрите на это красивое лицо, скорее цыганское, чем ярославское. Она из-под Ярославля. Эти две глубокие между бровями морщины неотвязной думы, эта безнадежность взгляда... Это не тоска, не грусть... Это трагедия... Это не лицо, а маска трагедии...

Если бы вы слышали, как она подробно рассказывала пережитые картины ужаса и свой грех, в котором она и виновата не была, но который ее мучил! Она чувствовала, что я понимаю ее, и выливала передо мной все, что угнетало ее душу, все, что она не могла рассказать комунибудь дома, даже своему священнику. И ни одной слезы, которая бы смыла этот ужас! Слезы смягчают и облегчают переживаемую боль, которая в ее взоре и лице. «И вот иду... Иду... За народом иду... У Троицы была. В Москве, в Киеве... Исповедаешься — полегчает... Богомолка есть горе-горькое, свое горе передо мной выплачет, а я ей свое — опять полегчает... Ежели бы не пошла — руки на себя наложила бы. Жить не для кого... И вот иду... иду... За народом иду... Куда народ, туда и я...»

Так запомнила М. Н. Ермолова каждое слово богомолки.

М. Н. Ермолова и М. И. Свободина остались в садике, а я ушел домой. До сих пор жалею, что мне не удалось повидать «Горькую судьбину» в Малом театре!

* * *

Гастроли М. Н. Ермоловой в Воронеже прошли при полных сборах почти во всех ее спектаклях. О. А. Правдин, недурный актер, имел тоже успех. В его бенефис были приставные стулья. Спектакль был обставлен прекрасно. Шла драма Аверкиева «Каширская старина», Марица — Ермолова, Василий — Далматов, любимец пуб-

лики, и Живуля — Правдин. Но этот спектакль не гремел такими неудержно шумными овациями, как бенефис Ермоловой и некоторые спектакли с ее участием, которые, по выражению московского жандарма Слезкина, были «с душком». Это «Овечий источник» или некоторые современные пьесы В. А. Дьяченко, как, например, «На пороге к делу», «Виноватая». Надо заметить, что Дьяченко, известный драматург, жил в Воронеже, где сам ставил свои пьесы, всегда на современные жгучие темы, и был любимцем местной публики, и особенно молодежи, так как все его пьесы были именно «с душком». Он умер в 1876 году, то есть года за три до нашего сезона, но пьесы его в Воронеже шли.

Пьеса «На пороге к делу», которая шла с Ермоловой в Малом театре, сделала в первые дни приезда гастролеров огромный сбор и показала публику совершенно особую.

— «Ермоловская» публика,— сказал И. К. Казанцев, и сразу поняли, какие пьесы ставить для этой публики. А если приходилось давать что-нибудь вроде «Каширской старины», то он вместо водевиля объявлял дивертисмент, где Ермолова читала стихи, те самые, которые в Москве стояли поперек горла жандармской власти.

Всегда такой дивертисмент привлекал «ермоловскую» публику. Тогда галерка, балкон и последние места партера были полны, и вызовы при громоподобных овациях были бесконечны.

В антрактах эта публика не осаждала буфет, а гуляла группами в глухих аллеях сада. Некоторые группы громко обсуждали игру артистов, спорили. Другие были не так шумны, но все же оживленны, держались свободно и вместе с тем скромно, даже серьезно. Зато гудели они в театре, после окончания спектакля вызывали по нескольку раз своих любимцев, а главное — Ермолову.

Большую аллею и площадку с фонтаном перед театром, где была эстрада для музыкантов, заполняла щегольская публика лож и партера. Модные туалеты дам, визитки молодых франтов да чесучовые широкие пиджаки и дорогие панамы богатых помещиков, приезжавших на спектакли Ермоловой из своих имений. А там, в даль-

них аллеях,— учащаяся молодежь, сельские учителя в широкополых шляпах, иногда черных, иногда местной работы из прочной соломы,— брылях. Большинство в очках, иногда синих; многие в поддевках, красных рубахах и яловых сапогах. Среди учительниц и их приезжающих на лето столичных подруг были некоторые с короткими волосами, некоторые в очках, и все в маленьких простых соломенных шляпах, точь-в-точь в какой Мария Николаевна играла учительницу в пьесе В. А. Дьяченко...

Все эти люди, и молодежь и пожилые, бородатые и волосатые, были с чрезвычайно серьезными лицами, будто они пришли не в летний театр развлекаться и веселиться, как публика у фонтана, а явились, по крайней мере, в университет слушать любимого профессора.

Из всей труппы только у Казанцева были знакомые среди этой публики, они молчаливо и любезно раскланивались.

Семнадцатого июня 1879 г. в бенефис М. Е. Ермоловой шел «Сверчок». Весь Воронеж чествовал любимую актрису — и вся «ермоловская» публика была налицо со своими двумя басами, не пропускавшими ни одного ее спектакля. При вызовах бенефициантки они гремели как никогда. Один бас — хоть сейчас «Демона» пой, а другой — не слыханная ни до ни после мною октавища... Он гудел будто откуда-то из-под земли, из склепа, из пропасти... Слышны были только: «Мо-оло-о-ва-а-а...» Треск аплодисментов и стук в пол палками, зонтами и ногами покрывали эти два чудовищных баса. Публика и мы, актеры, привыкли к ним и не интересовались ими. Слыхали, что это два богослова-семинариста, будущие протодьяконы. Но на этот раз на них было обращено внимание одним человеком, и я заметил это со своего наблюдательного поста, из дырочки в правой кулисе, откуда я рассматривал при опущенном занавесе публику в зале.

В этот вечер в первый раз на угловом кресле я увидел местного жандармского полковника и рядом с ним полицмейстера. Обыкновенно на этих казенных местах сидели разодетые дамы, жены, может быть, а мужья, как было слышно,— страстные картежники — предпочитали клуб.

Театр неистово вызывал бенефициантку. Первый ряд встал возле оркестра и, подняв высоко руки перед занавесом, аплодировал. Только два человека в белых кителях, опершись задом в барьер оркестра, задрали головы кверху, поворачивая их то вправо, где гудел один бас, то влево, откуда, как из пропасти, бучало: «во... а... ва... а... а». Бучало и заливало все.

По-видимому, высокого, с английским пробором на затылке, жандармского полковника заинтересовали эти басы, а полицмейстер, у которого был тоже пробор от уха до уха, что-то отвечал на вопросы жандарма, потом качнул головой: «слушаю, мол», и начал проталкиваться на своих коротеньких ножках к выходу.

В это время подняли занавес, и вышла на вызовы Ермолова, и жандарм, сверкая бриллиантом на мизинце холеной руки, начал как-то наискось хлопать ладонь о ладонь, но «на челе его высоком не отразилось ничего».

М. Н. Ермолову вызывали, подносили подарки... букеты... венки... С галерки сыпались пучки полевых цветов, а басы гудели.

В числе наших «карасей» — так в те годы повсюду актеры называли меценатов, ставивших актерам угощение,— был богатый человек, живший широко. Звали его Николай Николаевич, а фамилии его так и не знали. Я встретил его в Москве во время немецкой войны. Он обеднял и держал маленькую табачную лавочку с вывеской «Н. В. Васильев». А тогда он шиковал вовсю, закатывал актерам пикники, ужины и постоянно бывал за кулисами, причем ни за одной из актрис не ухаживал. В бенефис М. Н. Ермоловой он прислал свою коляску, чтобы отвезти ее из театра домой.

М. Н. Ермолова по окончании спектакля вышла из театра, сопровождаемая всей труппой, прошла по саду под приветствия шпалерами стоявшей публики. По выходе на улицу она была встречена новым громом аплодисментов. Коляска, убранная цветами, стояла без лошадей, вместо которых впряглась учащаяся молодежь обоего пола во главе с двумя гигантами в камлотовых, может быть из старых родительских ряс, пиджаках, своими басами покрывавших гудевшую улицу. Зажгли фа-

келы. Полиция прошествовала, но бенефициантку усадили вместе с ее горничной с большим узлом и при восторженных кликах довезли до гостиницы.

* * *

М. Н. Ермолова чувствовала, что здесь в Воронеже у нее есть своя публика, такая же, которая в Москве, на студенческих вечерах создала ее первые успехи, та же самая, которая восславила ее в «Овечьем источнике». Это та же учащаяся молодежь и радикально настроенная интеллигенция. Она удивлялась, что глухая провинция, Воронеж, моложе Москвы, и вдохновенно читала в дивертисментах то же, что читала на московских студенческих вечеринках. На афише помещалось: чтение из сборника «Живая струна». А читался и Плещеев, и Некрасов, и Пальмин...

Каждое ее выступление в дивертисментах была сплошная овация. С каким восторгом я слушал ее каждый раз! Такого чтения после П. А. Никитина я не слыхал никогда, и, слушая ее тогда и после, я будто вижу перед собой П. А. Никитина, слышу его голос, тон, переливы, и вижу перед собой меняющее выражение лицо и глаза Ермоловой, Ермоловой того дня, того незабвенного вечера, когда вскоре после бенефиса прочла она «Песню о рубашке» Томаса Гуда, затем некрасовское «Внимая ужасам войны». Публика неистово требовала еще и еще... Басы гудели. Она еще прочла плещеевское «Вперед без страха и сомненья»... Выходила на нескончаемые вызовы, показывала, что не в силах больше читать. Публика, видя ее усталую, а может быть чувствуя, что сильнее, чем «Вперед», уже ничего сказать нельзя, только благодарно, неистово приветствовала...

Когда она, откланиваясь, отступила в глубь сцены, вдруг раздалось с галерки:

— Реквием...

А вслед за ним, как эхо, «Реквием» повторилось еще несколько отдельными голосами в партере, и наконец рявкнул и бас сверху, по-семинарски смягчив первый слог. Театр на это непонятное для них слово ответил общим ревом: «Бис... бис...»

Как сейчас помню, Ермолова остановилась, благодарно взглянула, подняв голову к правому углу галерки, откуда рявкнул басище, расцвела как-то вся, засияла, подошла к рампе, поклонилась и встала. Лицо стало серьезным. Театр замер.

И полились чарующие звуки, и зазвучал безотказный призыв, и чуялась в голосе сила неотразимая... Это не Ермолова,— это Лауренция, призывающая к отмщению...

— Заиграло! — кивнул мне Казанцев головой, мигнув на зрительный зал, и выражение лица было точь-в-точь такое, какое я видел у него потом в пьесе Писемского «Самоуправцы», когда он, играя Девочкина, бросает это слово, сидя верхом на заборе и любуясь пламенем подожженного помещичьего дома.

Не плачьте над трупами павших борцов,
Погибших с оружьем в руках...
Не пойте над ними надгробных стихов,
Слезой не скверните их прах.
Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам,
Отдайте им лучший почет.
Шагайте без страха по мертвым телам,
Несите их знамя вперед...

Кованой сталью звенели и звали к бою звенящие слова:

Несите их знамя вперед...
С врагом их под знаменем тех же идей
Ведите их в бой... до конца...

Секундная пауза. Вместо грозного призыва в голосе и лице восторженный взгляд и убедительный полушепот:

Нет почести выше, нет тризны святей
Для тени, достойной борца.

Взрыв аплодисментов и приветствий слился в гул, заглушивший даже басы.

Уехала Ермолова — сборы упали. Басы исчезли. Только бенефис Вязовского сделал сбор, да и то, думается, потому, что на один спектакль приехала любимица воронежской публики Ц. А. Райчева, спевшая в дивертисменте несколько арий из оперетток. Да еще явился на

репетицию бенефиса человек небольшого роста с красиво подстриженной русой бородкой. Он предложил спеть в дивертисменте «Баркаролу» и принес с собой мандолину и тут же прорепетировал перед артистами.

Его поставили на афишу: «Певец Петров исполнит «Баркаролу». Сбор был недурной, виднелся в последний раз кой-кто из «ермоловской» публики. Гремел при вызовах один бас. Петров имел успех и, спевши, исчез. Мы его так и не видели. Потом приходил полицмейстер и справлялся, кто такой Петров, но ответа не получил: его не знал никто из нас, кроме Казанцева, но он уехал перед бенефисом Вязовского, передав театр нам, и мы доигрывали сезон довольно успешно сами.

* * *

«Реквием» имеет свою историю. Автор его — Лиодор Иванович Пальмин, поэт-сатирик, работавший у В. С. Курочкина в лучшее время «Искры». В восьмидесятых годах он писал всюду, не разбирая направлений издания, и везде пользовался одинаковым почетом. Печатал в «Русской мысли», у В. М. Лаврова и В. А. Гольцева, под своей полной фамилией стихи и переводы с польского и одновременно в «Московском листке», у Пастухова; печатался под псевдонимом «Трефовый король» «Марало Иерихонский» юмористические стихи, и у него же, в «Гусляре», подписывался полной фамилией. Писал он в «Будильнике», «Свет и тени», «Стрекозе» и «Осколках», и везде был грозой цензоров. Как его ни ловили, а он все-таки всучит такую закорюку, что цензору выговор влетит, а то и совсем в отставку. А раз закатил такую штуку, что цензура строжайше указала не сметь упоминать об этом.

В «Осколках» первого января 1883 года напечатано было его новогоднее стихотворение, весь сюжет которого состоял в шуточной игре слов на цифрах 2 и 3, а канвой служили 1882 и 1883 годы. Глубина злой шутки, о которой было строго запрещено упоминать, заключалась в том, что после Александра II вступил на престол Александр III.

Я не помню всего стихотворения, но у меня остался в

памяти куплет, которым заканчивалось это новогоднее стихотворение:

Кой черт, что два сменило три...
Пустою будет голова,
Когда она пуста внутри...
На ней хоть два,
На ней хоть три...

Когда потом Н. А. Лейкин, издатель «Осколков», укорял Пальмина, что он мог подвести журнал подобным стихотворением, то последний ответил: уверен, что ничего за это не будет, потому что отвечает цензор, который разрешает, а если уж такое несчастье и случилось, то ни Главное управление по делам печати, ни даже сам министр внутренних дел не осмелится привлечь цензора: это все равно, что признать, что царь — пустоголовый дурак. Таков был Пальмин.

В то время, когда я с ним подружился, то и дело встречаясь в редакции, это был невзрачный, небольшого роста человек, в синих очках, с лицом, изъеденным оспой, и всегда с «акцизным акцентом»: очень любил водочку и даже в кармане косушку носил, а когда ему на это укажут, отвечал: «Сердце останавливается.... Сделаешь глоточек, и опять застучит...» Пальмин знал только редакцию и трактир. В гости к знакомым не ходил и к себе никого не звал. Мне только посчастливилось у него частенько бывать. Мы жили целое лето на даче под Москвой, в Краскове, я на одном конце села, против церкви, а он на другом, рядом с трактиром. Иногда, когда он у меня изредка засидится, подвыпьет, это бывало к полуночи, то я шел его проводить, и уж никогда не отпустит без рюмки водки или стакана пива. Жена всегда ждет его, ругает, не стесняясь, при мне: опять напился. А сама уже тащит на стол угощенье и ставит три рюмки или три стакана — сама любила выпить и очень любила угостить. «Вы вот коклетку скушайте»,—уговаривает меня. «Сколько раз тебе говорю: не коклетку, а котлетку...» — «Вот если бы я тебе из кота ее сжарила, тогда котлета... А это, небось, говядина...»

Пойдет спор. Выпьем по две-три рюмки, я прощаюсь, а он увяжется проводить меня... Если дома не спят, опять его приходится угощать и провожать...

Как-то ночевал у меня Антоша Чехонте. Так мы всю ночь, будучи оба трезвые, провожали Лиодора, а он непременно нас, и так до света. Был ли он женат или просто много лет жил с этой женщиной, никто не знал. Он ее никак не рекомендовал, а она вела себя, как жена. Каждому приходящему совала лещом руку и сразу тащила на стол водку.

В такой обстановке Пальмин работал, иногда давал чудные вещи. Его стихотворение «Реквием» было написано давно, долго ходило по рукам, а потом как-то проскочило в сборник-декламатор «Живая струна», но в числе нескольких стихотворений было запрещено для чтения на сцене. Его разрешили для чтения только во время турецкой войны, полагая, что шагать по мертвым телам и нести знамя вперед относится к победе над турками, но цензура вскоре одумалась, запретила вновь для чтения на сцене и из следующих изданий «Живой струны» совсем выкинула.

* * *

— Куда ты, долгогривый, на плитувар заехал!

— Да я пешком иду!

Такой диалог происходил в заштатном городишке Тамбовской губернии, где не только тротуаров, а и мостовой даже на главной улице не было, а щегольнула там не слыханным дотоле в здешних местах словом супруга полицейского пристава, выслужившегося из городовых при охране губернаторского дома, где губернаторша поженила его на своей прачке, а губернатор произвел в квартальные.

Это было началом его карьеры. В заштатном городишке он вел себя важнее губернатора, даже жесты у своего прежнего Юпитера из Питера переинял: голову поднимет, подбородок, всегда плохо выбритый, выпятит, смотрит через плечо разговаривающего с ним, а пальцы правой руки за бортом мундира держит.

— Вот я те покажу! — взвизгнула приставиха, глядя на двигающуюся вдоль высокого дощатого забора деревенскую соломенную шляпу на косматой гриве.

Круглая, как шар, выкатилась приставиха за ворота

с метлой, поднятой на высоте соломенной шляпы, в намерении поразить дерзкого «наездника»...

Два огромных черных крыла взмахнули над шляпой, и косматое чудовище раскрыло обросшую волосами пасть с белыми зубами. Что-то рявкнуло, а затем захохотало раскатами грома. Пара свиней, блаженствовавших в луже по середине улицы, сперва удивленно хрюкнули, а потом бросились безумным бегом во двор полицейского квартала, с десяток кур, как будто и настоящие птицы, перелетело с улицы в сад, прохожие остановились, а приставиха вскрикнула — и хлоп в обморок.

На пронзительный вскрик и громоподобный хохот бежали через двор в расстегнутых кителях исправник и пристав, опрокинув стол с наливками, которыми они услаждались в вишневом садике.

Чудовище, увидав полицейские мундиры, по-видимому, испугалось, но продолжало свой путь под удивленные взгляды встречных, бежавших к кучке народа, окружающей приставиху.

— От бремени разрешается твоя супруга,— заявил приятелю исправник, бывший до полицейской службы военным фельдшером, и крикнул в собравшуюся толпу:— Беги-ка кто за Матвевной, скажи — к роженице!

Трое мальчишек стремительно бросились в соседнюю улицу, вслед им поползла городская дурочка-нищенка, напевая: «Погоди не роди, дай за бабушкой сходить», а исправник подавал медицинскую помощь.

Трое мальчишек забыли все, увлекшись кувыркающимися в воздухе турманами, которых гонял длинным шестом городской голова, балансируя на балкончике голубятника. Его лоснящееся от жиру бородатое лицо выражало и спортивный азарт и блаженство.

Эти чувства еще ярче отразились на чумазых мордочках мальчуганов, которые тут и застряли, забыв и о Матвевне, и о роженице, и об исправнике. А в это время исправник исправно исправлял обязанности акушерки, а пристав производил дознание о происшествии. Главного виновника пристав не успел допросить, он только увидел широченную спинищу, шляпу над косматой гривой и широченные рукава, которыми размахивало это чудовище, исчезая в повороте на главную улицу, стара-

ясь скрыться. Пристав все-таки узнал его, погрозил кулаком вслед:

— Ужо вот я тебя дошкурю! Не погляжу, что!

* * *

Этот рассказ я услыхал на Большой Дмитровке, за чайным столом, в комнатке при табачной лавочке Н. В. Васильева, куда я зашел за свежим чумаковским табаком.

В Воронеже во время гастролей М. Н. Ермоловой Н. В. Васильев, который числился в меценатах часто угощал актеров, и в его коляске отвозила публика артистку после бенефиса.

Теперь Н. В. Васильев, проторговавшись, держал в Москве табачную лавочку, куда я и зашел.

За столом сидело пятеро: сам хозяин, чистенький старичок, его старушка жена и два провинциала-покупателя, одетых — старик в долгополый сюртук и сапоги бутылками, а другой, высокий и могучий, в бобриковом пиджаке и синей рубахе-косоворотке. Оба из одного города, оба родились там и только позволяли себе выезжать за покупкой товара в Москву. Старший в молодости еще служил приказчиком в Воронеже, а младший после смерти отца, ставшего уже исправником, жил со своей матерью и женой в том же самом домике, где родился, держал тут же овощную лавку, и в Москву его жена отпускала только со своим отцом. Тесть звал своего зятя Павлушей, а тот почтительно именовал его Назаром Филипьевичем, а Васильев его звал Назарушкой, а тот его — Коля. Оба они, наперерыв, весьма образно рисовали житье-бытье заштатного города.

Наша беседа с Н. В. Васильевым началась с воспоминаний о воронежском сезоне, а потом стала общей. Особенно много знал о Воронеже старший, бывший в то время приказчиком в книжном магазине и имевший большое знакомство. Во время арестов в 1880 году книжный магазин закрыла полиция, а Назарушку вместе с его хозяином выслали на родину.

Во время разговора о Воронеже мелькали все неизвестные мне имена, и только нашлась одна знакомая

фигура. В памяти мелькнула картина: когда после бенефиса публика провожала М. Н. Ермолову и когда какой-то гигант впрягся в оглобли экипажа, а два квартальных и несколько городовых, в служебном рвении, захотели предупредить этот непредусмотренный способ передвижения и уцепились в него, то он рявкнул: «Бр-рысь!» — и как горох посыпалась полиция, а молодежь окружила коляску и повезла юбиляршу.

Это был семинарист богослов Саввушка, который заставил М. Н. Ермолову прочесть «Реквием». Он в будущем году кончал курс, и воронежский архиерей уже наметил его за необычайный голос и великанский рост в соборные протодьяконы прямо с семинарской скамьи. Но не удалось ему быть воронежским протодьяконом. Осенью этого года пошли в городе, никто тогда не знал почему, политические аресты, и в числе арестованных оказался и Саввушка. Так звали его все в память легендарного Саввушки, такого же богатыря, бывшего когда-то протодьяконом, от баса которого лампады потухали. Его посадили вместе с другими арестованными в тюрьму, но архиерей его выручил. Других сослали, а ему дали кончить курс, но жандармы разыскали за ним еще какую-то вину, и по неблагонадежности ему было запрещено жительство в Воронежской губернии. Хотели даже сослать его в Сибирь, но опять архиерей спас, и, конечно, оженив его, дали ему место в какое-то глухое село глухого уезда Тамбовской губернии, где он и зажил мирно, поражая своим голосом, слушать который приезжали любители.

Человек он был трезвый, дружил с учителем, интересовался чтением и больше всего любил ловить на удочку бирючей, эту вкусную рыбку, водящуюся в изобилии в реке Воронеже.

Его-то «дошкурить» и порешил пристав, отец только что рожденного Павлуши, бывший воронежский квартальный, один из тех, на которых гаркнул Саввушка «Брысь» и который впоследствии присутствовал на обыске и отправлял его в тюрьму.

Когда исправник великолепно выполнил обязанности акушерки и новорожденного мать кормила грудью, пристав поил сливянкой в беседке исправника и требовал,

чтобы дьякона Саввушку отдать под суд, что он вообще неподходящий и по политическим делам содержался.

Исправник что-то помозговал, и глаза его засветились:

— Э! Да о нем у меня бумага есть. По предписанию жандармского управления он отдан нам под негласный надзор. И он, и учитель от Троицы, и дачники с Хохловой мельницы! Мы сейчас обыск закатим, первым делом у него!

При обыске нашли роман «Что делать?» и старый номер «Земли и воли». Исправник получил награду.

Саввушка посидел в Воронежской тюрьме и был куда-то сослан.

* * *

Двадцатого февраля 1886 года — юбилей С. А. Юрьева, празднуется в Колонном зале «Эрмитажа». Глаголями стояли сверкающие серебром и цветами столы в окружении темной зелени лавров и пальм. Я был командирован редакцией «Русских ведомостей» дать отчет о юбилее, и когда явился, то уже все сидели за столом. По правую сторону юбиляра сидела Г. Н. Федотова, а по левую — М. Н. Ермолова. Обед был сервирован на сто пятьдесят персон. Здесь были все крупные представители ученой, литературной и артистической Москвы...

Речи лились. То и дело один за одним мелькали поднимающиеся ораторы: В. А. Гольцев, А. И. Чупров, В. И. Гирье, Ф. Н. Плевако, А. И. Веселовский, Г. А. Джаншиев, А. П. Ленский, А. И. Южин, Н. В. Бугаев. Представители всех направлений чествовали «человека сороковых годов», ученого, писателя, драматурга и искусствоведа. Либералы особенно подчеркивали его значение как переводчика Лопе де Вега, и тогда лавры юбиляра разделяла и Ермолова: подходившие ораторы приветствовали и юбиляра и Ермолову, чокались с ней, как с первоисполнительницей Лауренции на русской сцене. Юбилей этот был праздником для Ермоловой.

Старейшая представительница от Малого театра Г. Н. Федотова стушевывалась, хотя этого никто не подчеркивал: уж очень дипломатичны были наши ученые, но чувствовалось, что вторым лицом за Юрьевым здесь была Ермолова.

Закончились речи, задвигались стулья; из гостиной, убранной экзотикой и цветами, раздался звук рояля, и все двинулись туда, к кофе и ликерам.

Я, все время не спускавший глаз с Марии Николаевны, хотя загорожен был от нее спинами впереди сидевших, встал в то время, когда поднялась она. Увидав меня, она закивала мне головой.

— Неужели вы узнали меня? Ведь я с бородой...

— Конечно, узнала, у меня есть номер «Будильника» с вашим портретом, да потом, как же вас не узнать?..

Пока публика торопилась в гостиную, мы стояли у стола и разговаривали. Это была моя первая встреча после Воронежа, первая и единственная, явившаяся продолжением наших воронежских бесед. Никогда не забуду этого разговора во всех подробностях.

— Я все ждала от вас речи или экспромта, как в Воронеже, а вы все писали...

— В Воронеже свои, товарищи, а здесь — цвет Москвы!

— И вы не тот, что в Воронеже... Мне первый на вас указал Казанцев, потом Андреев-Бурлак рассказывал о своей поездке по Волге и о вас... Стихи ваши читаю в журналах. Прочла ваших «Обреченных» в «Русских ведомостях», то самое, что вы мне рассказывали о работе на белильных заводах.

Я стоял, молчал и был на седьмом небе...

— Помните Свободину... Ее предсказание сбылось... Знаю, что вы женаты... Одно из ваших стихотворений из «Осколков» о фабрике наизусть выучила, читала, да запретили...

Тут нас перебил В. А. Гольцев:

— А вас, Мария Николаевна, конечно, интервьюирует наш представитель прессы...

— Нет, Виктор Александрович... Просто старину вспоминаем, лет десять тому назад вместе в Воронеже служили и с тех пор не видались...

— Позвольте!.. Позвольте!..

Прислуга хлопотала, унося столы. Из гостиной слышно пение. Мы вошли туда в то время, когда дружными аплодисментами награждали артистку Большого театра М. Н. Климентову. М. Н. Ермолову сейчас же

окружили... Я отошел в сторону, но все-таки раза три урывками мне удалось поговорить с ней еще. Она восторгалась Воронежем.

— Какая там публика чуткая! Как далеко провинция опередила Москву... Меня особенно поразило: в дивертисменте меня заставили бисировать до усталости. Прочла мое любимое «Вперед без страха и сомненья». Это вы мне в книжку написали, храню...

Ну вот, прочла, вышла, раскланиваюсь и показываю руками, что устала, не могу больше. Публика поняла и не требует. Вдруг я слышу, кто-то с галерки, сдерживая голос, убедительно басит: «Реквием»! Я взглянула наверх, а там молодежь хлопает и кричит, и опять басовый полушепот покрывает голоса: «Реквием»! Потом еще три-четыре голоса: «Реквием»!

— Это я помню.

— Ну вот. Сама не знаю, как это вышло, но я прочла «Реквием». Уж очень меня поразило — откуда знают в Воронеже. Ведь я «Реквием» читала всего один раз, на вечеринке, на Пречистенке, студентам и курсисткам.

Нас опять перебили — подошел седобородый и подслеповатый С. А. Юрьев под руку с А. И. Южиным.

Последний мой разговор в этот вечер был такой. Я перехватил Марию Николаевну, когда она шла к чайному столу одна.

— Позвольте с вами попрощаться, Мария Николаевна, я бегу в редакцию, надо отчет писать!

— Ну, торопитесь... Только одна просьба — не пишите ничего, ничего не пишите в отчете обо мне. Искренняя просьба... Мне не могут простить Воронежа... Когда я приехала, все меня поздравляли с успехом, а Надежда Михайловна Медведева и говорит мне: «Ты, Машенька, там, болтают, будто запрещенные стихи читала...»

* * *

Шли годы, десятки лет... Мы встречались с Марией Николаевной на заседаниях Общества российской словесности, в маленьком круглом зале углового университетского здания, у ворот. Встречались иногда на разных юбилеях. Продолжительных разговоров не было. А все-

таки двумя словами перекинемся и о Воронеже. Только раз не вспомнили, и поэтому эта встреча памятна мне. Умер поэт А. Н. Плещеев. Хоронить его привезли в Москву, на Новодевичьем кладбище. Был холодный, ветреный день. Я приехал на вокзал к самому приходу поезда. Влетел на платформу, по обыкновению в распахнутой шубе. Встречающих было много. Первая, кого я увидел, была М. Н. Ермолова. Стихотворением Плещеева «Вперед» она заканчивала почти каждое выступление. М. Н. Ермолова стояла в группе кутающихся в шубы писателей и артистов.

Первым делом я подошел к ней. Здороваюсь, а она в ответ:

— Да застегнитесь, пожалуйста, такой холодина, простудитесь...

— Благодарю вас, Мария Николаевна, я не простужаюсь,— ответил я.

— Он чугунный, ему ни черта не сделается! — замычал Южин.

— И чугун трескается,— сказала Мария Николаевна.

Поезд подошел.

* * *

Моя последняя встреча с Марией Николаевной была в 1924 году, 12 января — считаю по старому стилю. Это был Татьянин день, московский студенческий праздник. Я пришел на именины к Татьяне Львовне Щепкиной-Куперник. Она жила в квартире М. Н. Ермоловой, в ее доме, на Тверском бульваре. Квартира в третьем этаже, вход из-под ворот, по скверной «черной» лестнице. Попадаю на кухню, называю свою фамилию и спрашиваю именинницу. Старушка проводила меня закоулками в гостиную. Обстановка старинная. Чай — по-имениннному, вокруг самовара, пироги домашние, корзинка с покупным пирожным, ваза с фруктами. За столом сидит Маргарита Николаевна, дочь Марии Николаевны. Именинница встречает меня. Только что я взял стакан с чаем, как входит та самая старушка, которая ввела меня, и говорит:

— Владимира Алексеевича просит Мария Николаевна к себе.

— Пойдемте, это уж особая честь, что Мария Николаевна просит к себе. И как узнала? — спросила Татьяна Львовна старушку.

— Да я сказала, что пришел Владимир Алексеевич, она велела позвать.

— Это для вас исключение. Мария Николаевна никого не принимает,— заметила одна из сидевших за столом.

Через темную комнату, дверь с теплой гардиной, а за ней уютная комната Марии Николаевны. Она поднимается с кресла и тихо идет навстречу. Сильно постаревшая, осунувшаяся, какой я себе ее даже и представить не мог. Идет с трудом, на лице радость и вместе с тем ее вечная грустная улыбка. Глаза усталые и добрые, добрые. Я поцеловал ее горячую, сухую руку, она мне положила левую руку на шею, поцеловала в голову.

— Спасибо, Танечка, за то, что привела его, и за то, что ты именинница... А то бы я его так и не увидела... Ведь он у меня здесь в первый раз.

— Я бы обязательно зашел повидать вас и, кроме того, поблагодарить за милое письмо, что вы мне прислали на мой юбилей месяц назад.

— Я бы сама пришла, да больна была. Вот на этом кресле, где вы сидите, всегда Островский сидел,— сказала она, опускаясь в кресло.— Танечка, ведь мы с ним старые друзья... Еще в Воронеже в семьдесят девятом году играли. Все такой же. Как сейчас помню нашу первую встречу на репетиции — Владимир Алексеевич с пожара приехал, весь в саже, так дымом, дымом от него!

И помахала рукой перед лицом, будто от дыма отмахивается. Говорит медленно, с трудом, а все улыбается.

Татьяна Львовна показывает мою книжку «Петербург».

— Вот от Владимира Алексеевича именинный подарок получила.

— А мне? Что же мне?..— торопливо обратилась ко мне Мария Николаевна.

На счастье, был у меня в кармане номер журнала «Огонек» с моим портретом и биографией, написанной Ю. Соболевым к моему юбилею.

— А вот и вам, Мария Николаевна!

— Ах, как хорошо! И портрет. А ты, Танечка, потом приди и почитай мне его книжку.

Она взяла со стола открытку со своим портретом в роли «Перед зарей» и дала мне.

Между прочим, она посмеялась моему четверостишию новогоднему:

С тех пор, как грянула свобода,
Мне все на свете трын-трава.
Я правлю в год два новых года
И два христовых рождества.

— Уж очень это хорошо у вас: «грянула свобода»... Именно она грянула. А ну-ка еще прочтите.

Я повторил.

— Ну еще раз.

Еще прочел. И она по-своему, по-ермоловски прочла нам наизусть.

— Боюсь, что могу забыть. Напишите своей рукой на журнале. Вот, на полях.

Я написал, и прошу:

— А вы, Мария Николаевна, на своей карточке число проставьте.

Она подписала: «12 января 1924 года» — под ранее написанным: «Вл. Ал. Гиляровскому на память о Воронеже».

— Ах, Воронеж, Воронеж! Какое время! Какие люди были!

Посидели еще, поговорили про старину, о Воронеже, о ее юбилее, о юбилее С. А. Юрьева, на котором мы первый раз встретились после Воронежа.

Прощаясь со мною, она встала, проводила, у самых дверей поцеловала меня в щеку и сказала:

— Ведь вот насмешил-таки меня, а я уж забыла, когда смеялась. Все тот же, все такой, как и был.

Это были последние слова, которые я слышал от Марии Николаевны, и думаю, что я был один из последних, кто видел ее улыбку и слышал искренний смех.

* * *

На том самом месте этой огромной, высокой церкви Большого Вознесения, у Никитских ворот, где сто лет назад под золотыми венцами стояли Александр Пушкин и Наталья Гончарова, высился весь в цветах и венках белый гроб, окруженный беспрерывно входящими и выходящими москвичами, пришедшими поклониться останкам своей любимицы, великой артистке Марии Ермоловой. Здесь собрались те, которые не будут иметь возможности завтра присутствовать на торжественной гражданской панихиде в Малом театре.

Церковь не вмещала всех желавших войти сразу, народ толпился на улице, ожидая очереди, и под ярким мартовским солнцем, и в сырую, холодную ночь, до тех пор, пока от церкви не двинулась процессия к Малому театру.

Мне удалось наблюдать это грандиозное, невиданное в Москве зрелище с подъезда в Столешниковом переулке...

В полночь послышалась музыка, на Советской площади засверкали дымящиеся красными прыгающими облаками факелы, красивыми бликами осветившие высокий белый катафалк, и белые попоны лошадей, и тысячную толпу народа... Процессия спускалась сверху вниз по переулку... Красные отблески играли и на белом катафалке, и на стенах домов. Живой багровый дым факелов казался огненным потоком, чем ближе, тем грознее. Прекрасный оркестр играл что-то классическое, при совершенном безмолвии переполнившего улицы народа. Музыка постепенно смолкала, факелы исчезали за поворотом на Петровку, а народ все еще шел, шел к Малому театру, окруженному также толпами встречающих...

* * *

Аполлон с высоты Большого театра мог видеть только живое, колеблющееся зарево от факелов, и облачка дыма поднимались до него, и он мог думать, что это ему опять приносят жертву, опять воскуряют фимиам, как и тогда, тысячелетия тому назад...

Как сапоги-скороходы,
Бежали за годами годы...

Память о тысячелетиях мелькнула только на минуту... Пронесло ветром дым, погасли факелы. Забыты жертвоприношения древние и забыт фимиам...

Сегодня он в бессонную ночь, возбужденный заревом факелов и жертвенным фимиамом, не уснул, как всегда, а вспомнил то, что он видел за это время, он, олимпийский бог, покровитель искусств, у которого вместо девяти муз осталась четверка лошадей и вместо лиры златострунной в руках — медные вожжи. На все он смотрел только через головы и спины лошадей, а что делалось кругом и внизу — не видал...

Помнит он белоснежный квадрат площади, обнесенной канатом, войска, марширующие два раза в году под музыку; видел он раз в год вырастающий в одну ночь и на одну только неделю еловый лес. Помнит он тучи пыли, несшиеся на него от куч мусора, наваленного на площади.

И клубятся перед ним картины прошлого.

Я смотрю на него снизу в этот сырой, туманный день, шлепая по лужам и талому снегу, растоптанному тысячами ног вчерашней факельной процессией на площади. Смотрю и вспоминаю то, что видел Аполлон за последние полвека, и грежу прошлым. Но мои грезы обширнее, потому что с высоты птичьего полета, и притом с одной стороны, величавому олимпийцу, сменившему по воле судеб свой божественный Олимп на фронтон Большого театра, ему казались все равными: вельможи и архиереи, купцы и купчихи на рысаках — и пеший люд всякого звания, состояния, и сытый, и голодный. Все, что было внизу, казалось ему мелким, не стоящим внимания, а нам он казался пустым и холодным. Нас больше интересовала кипевшая внизу жизнь.

Первое, что мелькнуло сейчас в моей памяти,— это солнечный мартовский день, снежное полотно, только что покрывшее за ночь площадь, фигура розовой под солнцем девушки, которая выпрыгнула из кареты и исчезла вот в этом самом подъезде Малого театра. «Вся радостно сияет! Восходящая звезда!»

И это было так давно...

* * *

Бежали за годами годы... Клубились воспоминания... Вспомнился вдруг чудесный серовский портрет Марии Николаевны, висевший в Литературно-художественном кружке, на Большой Дмитровке.

Мария Николаевна редко там бывала, разве только на юбилеях и чествованиях крупных лиц художественного мира. В чей-то юбилей я встретился с Марией Николаевной в Литературном кружке перед репинским портретом Льва Николаевича Толстого.

— На днях,— сказала она,— я прочла «Хаджи-Мурата», и в полном восторге, но самое сильное впечатление произвело на меня начало — описание репея. Ведь это первый цветок, который я захотела сорвать. Мне было тогда четыре года. Он вырос как раз перед нашим окном, на старом кладбище. Я вылезла из окна, в кровь исколола руки, а все-таки сорвала.

Погост. Театральная площадь. Погост... Подмосковное село Владыкино.

* * *

Подмосковное село Владыкино, одно из любимых дачных мест, в половине прошлого века было бедным погостом: церковка, кладбище, пяток домиков и речка Лихоборка, которая привлекала любителей удить рыбу. В числе их был капельдинер Малого театра. Он поселился там с семьей. Вслед за ним его приятель суфлер Н. А. Ермолов снял под дачу избушку на великую радость своей пятилетней дочки Маши, до того знавшей только погост возле церкви Спаса, близ Каретного ряда. Там стоял «домик крошечка, в три окошечка», во втором этаже которого жила просвирня, а в нижнем квартировал суфлер Н. А. Ермолов.

И по сию пору стоит тот домик в полной неприкосновенности, окруженный большими домами, выстроенными в конце прошлого столетия вокруг церкви; в те времена фасад домика выходил на церковный погост, а задние окна — на пустырь, поросший бурьяном вплоть до самой Неглинки. В незапамятные времена это место было

кладбищем во время моровой язвы, и до сих пор при земляных работах там находят кости.

Вот эта-то глухомань и была для маленькой Маши ее детским садом, куда она вылезала из окна вровень с землей. Отец, бывало, на репетиции, мать хлопочет по хозяйству, а Машенька гуляет одна-одинешенька. Рвет единственные цветы — колючий репей и в кровь руки исколет. Большие ливни вымывают иногда кости.

Радости жизни у ребенка были: днем пустырь и театр вечером. И долго так было. Когда с августа начинались театры, Машенька всю осень гуляла на своем пустыре.

Росло Владыкино с каждым годом. Росла Машенька, и когда сделалась актрисой, первым делом выстроила там дачу для родителей, и всю свою жизнь проводила в ней, каждое лето, за редким исключением — отъездов на гастроли и для лечения за границу. Так она полюбила свое Владыкино, что и похоронить себя завещала там.

Погост. Театральная площадь. Погост.

* * *

Биографы Марии Николаевны писали о ней, что она замкнутая и нелюдимая...

В Воронеже она такой не была. Всегда веселая и разговорчивая, в своей маленькой компании она любила слушать и говорить о театре, о литературе, о Москве, и меньше всего — о себе. Только раз, когда В. П. Далматов припомнил, что он познакомился с Шекспиром с десяти лет, она улыбнулась:

— А я с пяти!

И рассказала, как она нашла череп, как отец увидал это, вылез через окно и сказал, что это не игрушка и что надо положить его туда, где он лежал, потому что «человек он был».

— Взял у меня его, вытянул перед собой руку с черепом, смотрит на него и каким-то не своим голосом сказал протяжно и жалостно: «Бедный Йорик!» Потом зарыл его в землю, и больше разговоров об этом не было.

Все так же я хожу с отцом в театр, сижу с ним в будке, любуюсь блеском декораций, сверкающими костюма-

ми артистов; слушаю и не понимаю, а сама не только спросить, а пошевелиться боюсь, чтоб отцу не помешать. И вдруг — знакомая декорация: кладбище! Ну, точь-в-точь наше — и могилки, и памятники. Старик могилу копает, песню поет и выкидывает вместе с землей череп, такой же старый, каким я тогда играла. А около могилы два человека в черном. Уж после я узнала, что это Гамлет и Горацио. Я тогда ничего не понимала. Один из них наклоняется, поднимает череп, что-то говорит с могильщиком, становится так же и, выпрямив руку, как тогда отец, качает головой, глядит на него, ну, словом, все, как отец делал, и тем же протяжно-жалостным голосом, ну, точь-в-точь отец, говорит: «Бедный Йорик!»

АКТЕР ВОЛЬСКИЙ

У былого с настоящим
Непрерывное слиянье... —

Кто пишет о своем прошлом на девятом десятке бурно прожитых лет, тому это понятно.

Жаркий июльский день. Листок осины не шевельнется. Я сижу с тетрадкой и карандашом на моей любимой скамеечке в самом глухом углу «джунглей», над обрывом извилистого берега Москвы-реки.

А подо мною речные извилины,
Каменный берег с грозящими кручами,
Гнездятся в зарослях совы да филины,
Дремлют в оврагах с норами барсучьими...

Восьмое лето я сижу здесь до самой глубокой осени, отдыхая после шумной Москвы.

Какая тишина! Как будто жизнь забыта
В безлюдных дебрях, думы так легки...
Лишь под землею взрывы динамита:
То белый камень рвут под берегом реки...
Хованщина была здесь — и когда-то
Таились в зарослях раскольничьи скиты...

И теперь та же здесь глухомань, как и в те забытые времена.

Я еще не открывал тетрадки, не брал карандаша, об-

разы и думы о прошлом так мелькают, что ни одну не поймаешь на этом чудном фоне ароматной зелени.

Кругом орешник пышно вьется
Непроницаемой стеной,
И стадо за рекой пасется,
Рожок пастуший трелью льется
И повторяется рекой...

Нарушил тишину Дружок. Он бешено промчался по лесу и бросился ко мне, в радостях, что отыскал меня. Удивительный пес — всех пород! Длинный, на коротких кривых ногах, как крокодил,— это значит, что среди предков была такса. Его толстый, поленом, но все-таки круто загнутый хвост, указывает, что между предками водились и «надворные советники», а может быть северные лайки. Морда огромная, зубастая — точь-в-точь волк. Своим неожиданным и громким появлением он разбил прекрасную тишину и перенес меня в действительность. Дружок улегся сзади меня и молотил хвостищем, выражая свою радость. Я обернулся, чтобы его погладить. Передо мной белеют на зеленом фоне «три сестры» — три стройные, еще не старые, выросшие из одного корня березы, которые я, в память Антоши Чехонте, назвал так три года назад.

Это уже реально и останавливает внимание... А тут еще Дружок: «помесь дворняжек с крокодилами», вспоминаются слова Чехова.

Но эти образы исчезли... Снова тишина... тишина... Только пробившись сквозь столетние вершины дубов и кленов, солнечный луч

Заглянул полоской яркой
Под ореховые арки,
Где, темнея, зеленели
Их дремучие туннели...

Уснул Дружок. Еще мельтешится кое-что в тумане памяти, но что — разобрать не могу... Если бы кто-нибудь пришел и спросил, о чем я задумался, я, может быть, еще не упустил бы из внимания Чехова, вспомнил бы пустой какой-нибудь фактик, зацепился бы за него — и пошли бы, пошли воспоминания...

Пошевелился Дружок. Я оглянулся. Он поднял голову, насторожил ухо, глядит в туннель орешника, с лаем исчезает в кустах и ныряет сквозь загородку в стремнину оврага. Я спешу за ним, иду по густой траве, спотыкаюсь в ямку (в прошлом году осенью свиньи разрыли полянки в лесу) и чувствую жестокую боль в ступне правой ноги.

Хромая, возвращаюсь на скамеечку. Несмотря на боль, вспоминаю рассказ И. Ф. Горбунова о ямщике. «Кажинный раз на эфтом самом месте!» — оправдывался он, вывалив барина.

* * *

«Кажинный раз на эфтом самом месте!» Именно в ступне. Как чуть оступишься — болит. А последние три года старость сказалась — нога ноет, заменяя мне барометр, перед непогодой. Только три года, а ранее я не чувствовал никаких следов вывихов и переломов — все заросло, зажило, третий раз даже с разрывом сухожилий. Последнее было уже в этом столетии в Москве.

Боль была настолько сильна, что и прелесть окружающего перестала существовать для меня. А идти домой не могу — надо успокоиться. Шорох в овраге — и из-под самой кручи передо мной вынырнул Дружок, язык высунул, с него каплет: собака потеет языком. Он ткнулся в мою больную ногу и растянулся на траве. Боль напомнила мне первый вывих ровно шестьдесят лет назад в задонских степях, когда табунщик-калмык, с железными руками, приговаривал успокоительно:

— Ничего, бачка, в воскресенье гуляй.

Он ловко вправил мне свернутую в сторону ступню и только пожалел, что сапог пришлось разрезать.

В воскресенье, через три дня, я действительно гулял, а через неделю совершенно забыл о ноге и только вспомнил о ней года через два в Тамбове, и об этом тамбовском случае вспомнилось сейчас, когда я смотрел на Дружка и на «трех сестер».

* * *

Выплывают, кружатся и исчезают в памяти: Вася Григорьев, Чехов, записывающий «Каштанку» в свою записную книжку, мать Каштанки — Леберка, увеличив-

шая в год моего поступления в театр пятью щенками собачье население Тамбова,— несуразная Леберка, всех пород сразу, один из потомков которой, увековеченный Чеховым, стал артистом и на арене цирка и на сценах ярмарочных и уездных театров.

Леберка жила в то время со своими щенками в том самом темном подвальном коридоре театра, на который выходили двери комнаток, где жил В. Т. Островский и останавливались проезжие и проходящие актеры и куда выходила и моя каютка с пустыми ящиками из-под вина, моя постель в первые дни после приезда в Тамбов.

Леберка ютилась под лесенкой, откуда щенята расползались по коридору и взбирались на ступеньки. После спектакля, пробираясь ощупью домой, я отворил дверку в коридор и, уверенно ступая по знакомой лесенке из четырех ступеней, вдруг наступил на щенка. Визг. Испуганный лай Леберки и грохот моего падения произвели переполох. Островский, шатаясь, вышел на шум, а его поддерживал извозчик без шапки, с сальной свечкой в руке и кнутом за поясом халата.

Островский, на мое счастье, был в периоде своего загула, когда ему требовались слушатели, которым он читал стихи, монологи, рассказывал о своих успехах. Днем такие слушатели находились. Он угощал их в отдельных комнатках трактиров, но когда наступала ночь, нанимал извозчика по часам, лошадь ставилась на театральном дворе под навесом, а владелец ее зарабатывал по сорок копеек в час, сидя до рассвета в комнатке Василия Трофимовича за водкой, и закуской, причем сам хозяин закусывал только изюмом или клюквой.

Это были последние дни загула, и только благодаря этому мне вовремя была подана помощь, а то нивесть сколько пролежал бы я, так как нога не позволяла мне двигаться. В комнатах коридора в это время, кроме меня и В. Т. Островского, никто не жил. Пришли из ресторана буфетчик Пустовалов, Сережа Евстигнеев и Ваня Семилетов, который сейчас же убежал и привел фельдшера из пожарной команды... Опять операция, напомнившая мне калмыка. Забинтовав ногу, меня уложили на мои ящики. Василий Трофимович отпустил извозчика и переселился с водкой и закуской ко мне.

Я слышал сквозь сон пьяные монологи Велизария, Ричарда III и Жанны д'Арк, а потом крепко заснул и проснулся, когда уже светало, от холода.

В комнате я один, на столе пустая посуда, а из окна дует холодом и сыплет снег. Окно было разбито, стекла валялись на полу. Дворник стучал по раме, забивая окно доской. Оказалось, что свинья, случайно выпущенная из хлева извозчиком, выдавила боком мое окно.

Когда о происшествии узнал антрепренер Григорий Иванович Григорьев, он тотчас же спустился вниз и приказал Васе перевести меня в свою комнату, которая была вместе с библиотекой. Закулисный завсегдатай театра Эльснер, случайно узнав о моем падении, тотчас же привел полкового доктора, тоже страстного театрала, быстро уложившего ногу в лубок.

Я лежал и блаженствовал. Вася за мной ухаживал, как за братом, доставал мне книги из шкафа, и я читал запоем. Старик Григорьев заходил по два раза в день, его пятнадцатилетняя дочка, красавица Надя, приносила печенье и варенье к чаю, жена его Анна Николаевна — обед.

И все это благодаря Леберке и ее пострадавшему щенку, может быть, даже Каштанке. Из-за него меня Григорьев перевел в свою комнату-библиотеку, из-за него, наконец, я впервые познакомился с Шекспиром, из-за него я прочел массу книг, в том числе «Гамлета», и в бессонную ночь вообразил его по-своему, а через неделю увидел его на сцене, и какого Гамлета!.. Это было самое сильное впечатление первого года моего пребывания на сцене.

* * *

Побывали у меня все. Целый день народ. Столик перед кроватью был завален конфетами: подарки актрис — драматической Микульской, инженю Лебедевой, изящной Струковой и других.

В Струкову был, конечно, платонически и безнадежно, влюблен Вася, чего она не замечала. Уже десятки лет спустя я ее встретил в Москве, где она жила после смерти своего мужа Свободина (Козиенко), умершего

на сцене Александринского театра в 1892 году. От него у нее был сын Миша Свободин, талантливый молодой поэт, московский студент, застрелившийся неожиданно для всех. Я его встречал по ночам в игорных залах Художественного кружка. Он втянулся в игру, и, как говорили, проигрыш был причиной его гибели.

А тогда Струкова была совсем молоденькой. Она только что начинала свою сценическую жизнь, и ее театральным обучением руководил Песоцкий, который в то время, когда я лежал, проходил с нею Офелию. Эта первая крупная роль удалась ей прекрасно.

Она сидела на моей кровати вместе с другими и все время, ни на кого не обращая внимания, мурлыкала чуть слышно арию Офелии. А Вася из уголка с дивана глядел на нее влюбленными глазами. Я только тут и узнал, что Вольский в свой бенефис ставит «Гамлета».

Я никогда не видал и не читал «Гамлета». Вася вынул из шкафа тоненькую, в потрепанном дешевом переплете печатную книжку, всю исчерканную, и дал только до утра — утром первая репетиция. Я прочел с восторгом, как говорится, взасос, ночью раза три зажигал свечку и перечитывал некоторые места.

С Васей вечером я не успел поговорить о «Гамлете», не знал, в каких костюмах играть его будут, в какой обстановке.

Еще в гимназии я много перечитал рыцарских романов, начиная с «Айвенго», интересовался скандинавами и нарисовал себе в этом духе и «Гамлета» и двор короля, полудикого морского разбойника, украшавшего свой дворец звериными шкурами и драгоценностями, награбленными во время набегов на богатые города Средиземного моря.

Я не обратил внимания на описание дуэли Гамлета с Лаэртом, а только уж ночью, еще раз перечитав дуэль, удивился, что они дерутся на рапирах, а не на мечах.

Долго об этом думал, вспомнил «Трех мушкетеров» и, рисуя себе великана Портоса, решил, что по руке ему рапира тяжелая, а не те мышеколки, на которых дерутся теперь на уроках фехтования. Значит, такая рапира будет и у Гамлета, ведь он просит себе рапиру потяжелее.

«Первый в Дании боец». Удалой морской разбойник, силач, хоть и учился за границей, а все такой же викинг, корсар... Так я решил.

* * *

Актер Ф. К. Вольский хоть и был ростом немного выше среднего, но вся его фигура, энергичная походка и каждое движение обнаруживали в нем большую силу и гимнастическую ловкость. Свежее строгое лицо с легким румянцем, выразительные серые глаза и переливной голос, то полный нежности, то неотразимо грозный, смотря по исполняемой роли.

Вольский получил высшее образование и пользовался, несмотря на свою молодость (ему было тридцать лет), полным уважением труппы. Он был прекрасным актером, и почему он не попал на императорскую сцену — непонятно. Его амплуа — первый любовник и герой.

Проснувшись на другой день около десяти утра, я издали увидел его в отворенную дверь и залюбовался им: «Да, это Гамлет... «Первый в Дании боец».

— Позволите? — обратился он ко мне.

— Милости просим, Федор Каллистратович!

— Я на одну минуту... за книгой, репетиция начинается.

— Как мне жаль, что я не увижу вас в Гамлете...

— Почему же? Мы вас перенесем в первую кулису... Увидите, увидите, я устрою. Я хочу, чтобы вы видели меня в моей любимой роли.— Взял книгу и своими неслышными шагами вышел, потом повернулся ко мне и, мило улыбаясь, сказал: — Вы «Гамлета» увидите! — И так же неслышно исчез в глубине следующей комнаты.

* * *

Через три дня мне сняли гипс, забинтовали ногу и велели лежать, а еще через три дня меня транспортировали перед началом спектакля в оркестр, где устроили мне преудобнейшее сиденье рядом с «турецким барабаном».

Я видел «Гамлета» — и, если б не Вольский, разочаровался бы в постановке. Я ждал того, что надумал ночью. Я ждал — и вспомнились мне строки Майкова,

Ряд норманнов удалых,
Как в масках, шлемах пудовых,
С своей тяжелой алебардой.

А тут что? Какие-то тонконогие испанцы в кружевах и чулочках с мышеколками сбоку. Расшаркиваются среди королевских палат с золочеными тонконогими, как и сами эти придворные, стульями и столиками, в первом акте, в шелковых чулочках и туфельках, гордо расхаживают зимой на открытой террасе...

Жалел я, что Офелию дали изящной и хрупкой институтке Струковой, а не Наталии Агафоновне Лебедевой из типа русских женщин, полных сил и энергии, из таких, о которых сказал Некрасов:

Есть женщины в русских селеньях...

где

Я представлял себе Офелию вроде Жанны д'Арк. И только один Гамлет Ф. К. Вольский явился таким, каким я накануне представлял Гамлета по песне Офелии:

В белых перьях, статный воин,
Первый в Дании боец...

На нем не было белых перьев. Одет он был по традиции, как все Гамлеты одеваются, в некое подобие испанского костюма, только черное трико на ногах и черный колет, в опушении меха, что и очень красиво и пахнет севером. На голове опять-таки не испанский ток, а некоторое его подобие, с чуть заметной меховой опушкой, плотно облегающий голову до самых ушей, сдвинутый на затылок и придающий строгому лицу, напоминающему римского воина, открытое выражение смелости и непреклонности. Это был викинг в испанском костюме, и шпага его была длиннее и шире шпаг придворных.

Как ярко подчеркивали его силу и непреклонность рыцарскую извивавшиеся в поклонах, в сиреневых чулочках на тонких ногах Розенкранц и Гильденштерн.

Вольский сам тоже подчеркивал это. В первом же акте я порадовался и сказал про себя: «Да, это Гамлет, какого я представлял себе тогда ночью».

Гамлет-Вольский в сопровождении двух приставленных к нему королем его друзей, Горацио и Марчелло, вышел на террасу, где появлялась тень отца. Он одним взмахом накинул на себя тяжелый плащ, который сразу красиво задрапировал его фигуру.

Только один Южин так красиво умел драпироваться в плащ и римскую тогу.

Горацио и Марчелло стали Гамлету поперек дороги:

Марчелло. Вы не пойдете, принц!

Гамлет. Руки прочь!

Горацио. Послушайтесь! Мы не пустим вас!

Гамлет. Судьба меня зовет и каждую малейшую жилку делает такой же мощной, как мышцы льва немейского. Пустите же...

Вольский расправил плащ, красиво повисший на левом плече, и правой рукой отстранил Горацио. Горацио играл Новосельский, родной брат Вольского, на голову выше его, а Марчелло — такой же высокий Никольский.

Гамлет. Все зовет! Пустите! Клянусь небом, я сделаю призраком того, кто станет удерживать! Прочь!

Гамлет-Вольский буквально отшвыривает двух рыцарей и величественно и смело идет к тени.

Это «первый в Дании боец», это сын короля-викинга, Гамлет, это — принц Датский.

* * *

Король и королева в смущенье встали с трона и поспешно ушли. За ними в суматохе кинулся весь двор. Сцена опустела. Гамлет, рядом с Горацио, стоял, откинув обе руки назад, слегка подавшись корпусом вперед: тигр, готовый ринуться на добычу. Он подвинул левую ногу, голова его ушла в плечи, и, когда толстяк-придворный последним торопливо исчез в кулисе, Гамлет, с середины сцены, одним могучим прыжком перелетел на подножие трона. Он выбросил руку вслед ушедшим. Его лица не было видно, но я чувствовал по застывшей на миг позе и стремительности прыжка его взгляд тор-

жествующего победителя. Продолжалось ли это несколько секунд или несколько минут, но театр замер... не дышал.

Вдруг Гамлет-Вольский выпрямился, повернулся к Горацио, стоявшему почти на авансцене спиной к публике. Его глаза цвета серого моря от расширенных зрачков сверкали черными алмазами, блестели огнем победы... И громовым голосом, единственный раз во всей пьесе, он с торжествующей улыбкой бросил:

— Оленя ранили стрелой!

Был ли это клич победы или внезапной радости, как у Колумба, увидевшего новую землю, но театр обомлел. Когда же через минуту публика пришла в себя, грянули аплодисменты, перешедшие в грохот и дикий вой.

* * *

Я видел всех знаменитостей за полвека, я видел и слышал овации в самые торжественные моменты жизни сцены, но все это покрывалось для меня этими пережитыми минутами, может быть, потому, что я был тогда молод и весь жил театром.

* * *

Кончился тамбовский сезон. Почти все уехали в Москву на обычный великопостный съезд актеров для заключения контрактов с антрепренерами к предстоящим сезонам. Остались только друзья Григорьева да остался на неделю Вольский с семьей. Ему не надо было ехать в Москву: Григорьев уже пригласил его на следующую зиму; Вольского вообще приглашали телеграммами заранее.

Летние сезоны Вольский никогда не служил и, окончив зимний, ехал на весну и лето к своему отцу, в его имение, занимался хозяйством, охотился, готовил новые роли. Он остался по просьбе губернаторши, чтоб участвовать в воскресенье на второй неделе поста в литературном вечере, который устраивался в пользу какого-то приюта.

Литературный вечер был в губернаторском доме. На

правой стороне эстрады в зале, ярко освещенном люстрами и настенными бра, стоял буль-столик с двумя канделябрами по двенадцати свечей в каждом, а для чтеца был поставлен тяжелый старинный стул красного дерева с бронзой, с невысокой спинкой.

Тамбовское дворянство наполнило зал. Помещики из своих имений съехались с семьями. Шуршали шелка, звенели шпоры. Дамы в закрытых платьях, мужчины в сюртуках: танцев по случаю поста не было.

Вечер открыл чтением своей новой комедии местный писатель-драматург Ознобишин. Фамилия Вольского стояла последней в программе, что было сделано с его разрешения.

— А то после вас все боятся читать!

Читали. Пели. Публика иногда позевывала, все ждали Вольского. Появление его, в изящном черном сюртуке, было встречено дружными аплодисментами.

Вольский читал отрывки из Тургенева и на «бис» — монолог Чацкого, а публика продолжала аплодировать, хотя и видела, что артист устал. Прочел он наизусть «Тройку» Гоголя, что окончательно привело в восторг слушателей, аплодисментами не пускавших артиста со сцены. Чуть Вольский делал шаг назад, аплодисменты раздавались громче.

Вдруг из глубины зала, слева от сцены, послышался нежный, робкий, молящий голос:

— Гамлета! Быть или не быть!

Это, по-видимому, ответило желанию всех, и зал застонал:

— Быть или не быть!!! Гамлета!!! Гамлета!!!

Ознобишин, скрывший меня от публики перед началом вечера в артистической комнате, сам принес стул за левую кулису, на авансцену, и я ближе всех мог видеть лицо Вольского. Он действительно устал, но при требовании Гамлета улыбнулся, подошел к столу, из хрустального графина налил воды и выпил. Публика аплодировала, приняв это за согласие.

Затем он двумя пальцами взял за ушко спинки тяжелый стул и, без всякого усилия приподняв его, красивым движением поставил перед собой, ближе к авансцене.

От восторга тамбовские помещики, сплошь охотники и лихие наездники, даже ногами затопали, но гудевший зал замер в один миг, когда Вольский вытянутыми руками облокотился на спинку стула и легким, почти незаметным наклоном головы, скорее своими ясными глазами цвета северного моря дал знать, что желание публики он исполнит. Артист слегка поднял голову и чуть повернул влево, вглубь, откуда раздался первый голос: «Гамлета! Быть или не быть!»

Его красивая, статная фигура, даже пальцы его белых рук замерли на красном фоне спинки стула. Он как-то застыл. Казалось, что глаза ничего не видят перед собой или видят то, что не видит никто, или недвижно ищут ответа невозможного.

— Быть или не быть? — спрашивает он у самого себя, еще не говоря этих слов. Но я читаю это в его глазах. Его лицо я видел в три четверти, как любят снимать некоторые лица фотографы. Прошло несколько секунд безмолвного напряжения. Я, по крайней мере, задержал дыхание — и это показалось мне долгим.

— Быть или не быть? — спрашивает он у самого себя. Красивые губы его чуть шевелятся.

И читает или, вернее, задает сам себе вопросы, сам отвечает на них, недвижный, как прекрасный мраморный Аполлон, с шевелюрой Байрона, с неподвижными, как у статуи, глазами, застывшими в искании ответа невозможного... И я и вся публика также неподвижны, и также глаза всех ищут ответа: что дальше будет?.. «Быть или не быть?» И с этим же недвижным выражением он заканчивает монолог, со взглядом полного отчаяния, словами: «И мысль не переходит в дело». И умолкает.

А публика еще ждет. Он секунду, а может быть, полминуты глядит в одну и ту же точку — и вдруг глаза его, как серое северное море под прорвавшимся сквозь тучи лучом солнца, загораются черным алмазом, сверкают на миг мимолетной улыбкой зубы, и он, радостный и оживленный, склоняет голову. Но это уж не Гамлет, а полный жизни, прекрасный артист Вольский.

От рукоплесканий дрожит весь зал, и, уходя семь раз со сцены и семь раз возвращаясь на вызовы, расклани-

ваясь, он останавливает на миг свой взгляд в левой стороне зала, где минуту назад Гамлет искал ответа невозможного. Там сидели Струкова и Вася.

* * *

В продолжение десяти лет и долго после этого, в разные минуты жизни, даже во время русско-турецкой войны, в пластунских секретах, под самым носом неприятельского часового, мне грезился этот вечер, когда я в последний раз в моей жизни видел Вольского.

С тех пор я не видал его. Он как-то исчез из моих глаз: бросил ли он сцену или, как многие хорошие актеры, растаял в провинции — не знаю. Даже слухов о нем не было.

Я видел Росси, Поссарта, Южина, Ленского, Качалова, видел всех лучших русских Гамлетов, видел Гамлетов — старых трагиков, громоподобно завывавших, видел и таких, о которых говорили, что они лезут из богадельни в акробаты:

Уши врозь, дугою ноги,
И как будто стоя спит...

И всегда мне грезился Вольский-Гамлет в черном сюртуке и вместе с тем

В белых перьях, статный воин,
Первый в Дании боец.

За полвека много я пересмотрел замечательных Гамлетов, но ни разу не видел настоящей Офелии, создания Шекспира, «сотканной из тончайшего эфира поэзии». Я понял Офелию после, много-много позднее, когда понял и Гамлета. И тогда только я вспомнил первую Офелию, неопытную еще артистку, изящную, тонкую, стройную мечтательницу — Струкову. В то время, когда я ее видел, она мне казалась неподходящей к обстановке грубых, полудиких норманнов, созданных моим воображением. Долго я думал так, много пересмотрел Офелий и, наконец, понял, что настоящей Офелией была та, семнадцатилетняя Струкова, с ее маленьким голоском и украшавшей ее неопытностью.

ПОЭТ БЛОК

В декабре 1917 года я написал поэму «Петербург», прочитал ее своим друзьям и запер в стол: это было не время для стихов. Через год купил у оборванного, мчавшегося по улице мальчугана-газетчика «Знамя труда», большую газету на толстой желтой бумаге. Дома за чаем развертываю, читаю: «Двенадцать». Подпись: «Александр Блок. Январь».

А. А. Блока до этого я видел только раз в «Славянском базаре», в компании с молодыми людьми. Они проходили мимо нас к выходу, и среди них я невольно залюбовался Блоком. Сюртук ловко сидел на его фигуре, и его свежее лицо показалось мне знакомым: где это я его видел? Лицо, глаза и рамка курчавых волос, будто с портрета Байрона, пластические движения стройного тела — все вместе напоминало мне кого-то близкого.

Проходя мимо нас, он бросил взгляд на наш стол, но мысли его были где-то далеко, он нас не заметил, и эти глаза цвета серого моря подтвердили, что они мне знакомы. Да где же, где я его видел? Так и не припомнил!

Прочитав газету, я ее передал моей молодежи, поклонникам Блока. Когда они начали читать вслух стихи, я был поражен, а когда прослушал все — я полюбил его. И захотелось мне познакомиться с Блоком.

* * *

Выйдя из Дома Герцена, весь полный впечатлений, я присел на холодную мраморную ступеньку пьедестала пушкинского памятника, присел и задумался.

Это было ночью девятого мая 1921 года.

В серьезные минуты жизни всегда приходят на память какие-нибудь мелочи из прошлого. В пластунских секретах, под самой неприятельской цепью, когда я собирался снять противника, мне вспоминались солдаты-статисты, которые в «Хижине дяди Тома» сняли парики из вязанки, думая, что шапки. В Сербии, когда мы от неминуемой казни, вместе с одним товарищем, в грозовую ночь, по крутым улицам Белграда, обращенным ливнем в горные потоки, пробирались к Дунаю, чтобы переплыть из Сербии в Венгрию, я радовался тому, что успел захватить табакерку, и угощал его табаком, а он отмахивался:

— До табакерки ли теперь!

А она мне всего дороже была в тот миг. И сейчас, сидя под памятником, вспоминалась зимняя лунная ночь в 1882 году в Москве.

Возвращался я с дружеской пирушки домой и вижу возню у памятника. Городовой и ночной сторож бьют плохо одетого человека, но никак с ним сладить не могут, а тот не может вырваться. Я соскочил с извозчика, подлетел, городового по шее, сторожа тоже. Избиваемый вырвался и убежал. Сторож вскочил — и на меня, я его ткнул головой в сугроб. Городовой, вставая, схватился за свисток — я сорвал его у него с шеи, сунул в свой карман, а его, взяв за грудь шинели, тряхнул:

— За что вы били человека? — а сам трясу.

Голова его то на грудь, то к спине. Сторож вылезает из сугроба. Все это дело одной минуты. Обеими руками городовой ухватился за мою руку, но тщетно.

— За что? — спрашиваю.— Я сейчас поеду к Александру Александровичу, он мой дядя... Вон у него огонь в кабинете. Я сейчас от него.

Слова эти произвели эффект невероятный. Племянник Козлова, обер-полицмейстера!

— Вашекобродие, простите! Свисточек-то пожалуйте мне,— умоляет вытянувшийся городовой.

Сторож подходит, слышит мирный разговор, видит, как я возвращаю свисток.

— Ты знаешь, кто они? Так что вот вроде Пушкина,— и показал рукой на памятник.

— Ты разве знаешь, что я поэт? — обрадовался я своей неожиданной популярности: я только что начал печататься.

— Как же-с! Прямо-таки Пушкин!.. Рука-то чугунная!

Я тогда жестоко был обижен в своей поэтической гордости.

* * *

Это воспоминание опять меня вернуло в Дом Герцена, к только что пережитым минутам.

В те огненные времена было не до поэзии, а я все-таки думал напечатать «Петербург», предварительно прочитав его Блоку. Это был законный предлог повидаться с ним, это было моей неотвязной мечтой. Только в 1921 году я познакомился с ним, но весьма мимолетно.

Девятого мая 1921 года возвращаюсь откуда-то поздно вечером домой. Тверским бульваром. Большие окна Дома Герцена по обыкновению ярко освещены. Я отворил дверь в зал Союза писателей в то время, когда там гремели аплодисменты.

— Кому это? — спрашиваю.

— Блок читает!

— А!..

Блоку безумно аплодировали. Он стоял в глубине эстрады. Я ринулся в гущу толпы, желая во что бы то ни стало пробиться к нему, послушать его и познакомиться. Лучшего случая не найдешь! Решил,— значит, пройду, пусть меня бьют, а я пройду.

Мой желтый кожаный пиджак, видавший виды, остался без пуговиц; но будь пиджак матерчатый, я бы на эстраду попал полуголый.

Я подходил к эстраде, когда Блок читал. Публика, храня тишину, слушала; я безмолвно вдавливался между стоящих, неотразимо лез вперед, без звука. Меня пихали ногами, тыкали иногда мстительно в бока и спи-

ну, отжимали всем корпусом назад, а я лез, обливаясь потом и, наконец, был у эстрады.

Блок стоял слева у окна, в темной глубине, около столика: за публикой, стоявшей и сидевшей на эстраде, я не мог его видеть.

Я остановился с правой стороны у самой стенки, плотно прижатый.

Втискиваю голову в чьи-то ноги на эстраде, поднимаюсь, упершись на руках, вползаю между стоящих, потратив на этот гимнастический прием всю силу, задыхаюсь, прижимаясь к стене. За толпой его не видно. Натыкаюсь у стены на обрубок, никем, должно быть, не замеченный. Еще усилие — и я стою на нем, выше всех на голову.

Офелия моя! —

услыхал я слова.

В черном сюртуке, единственном во всем зале, опершись на спинку кресла красного дерева кистями обеих рук, белых-белых, стоит передо мной Вольский.

Он читает, чуть шевеля губами; но каждое слово, переходившее иногда в полушепот, ярко слышно.

Ни одного жеста, ни одного движения. А недвижные глаза, то черные от расширенных зрачков, то цвета серого моря, смотрят прямо в мои глаза. Я это вижу, но не чувствую его взгляда. Да ему и не надо никого видеть. Блок читал не для слушателей: он, глядя на них, их не видел.

Блок не читает: он задает себе вопросы и сам себе отвечает на них.

Я смущен. Ведь это же Федор Каллистратович Вольский. Это он читает из «Гамлета»... И те же руки белые на спинке красного кресла и черный сюртук... те же волосы... взгляд... как тогда.

Но где же губернаторский зал? Мундиры, шелка, бриллианты? А глаза чтеца ищут ответа невозможного. Едва движущиеся губы упорно и трогательно спрашивают:

Зачем, дитя, ты? — мысли повторяли...
Зачем, дитя? — мне вторил соловей,
Когда в безмолвной, мрачной, темной зале

Предстала тень Офелии моей...
И, бедный Гамлет, я был очарован,
Я ждал желанный, сладостный ответ.

— Нет, это не Вольский... Это сам Гамлет... живой Гамлет... Это он спрашивает: быть или не быть?

Я только рыцарь и поэт,
Потомок северного скальда...

Тогда в его глазах на один миг сверкают черные алмазы. И опять туман серого моря, и опять то же искание ответа. Это Гамлет, преображенный в поэта, или поэт, преображенный в Гамлета. Вот на миг он что-то видит не видящим нас взором и говорит о том, что видит. Да, он видит... видит... Он видит, что

Офелия в цветах, в причудливом уборе
Из майских роз и влажных нимф речных
На золотых кудрях, с безумием во взоре,
Внимала звукам темных дум своих.
Ее дыханьем на смерть пораженный,
Припал к устам, как раненый олень,
Прекрасный принц Гамлет, любовью опьяненный,
Когда пред ним отца явилась тень...
Он вскрикнул и воскрес...

И Вольский... и Гамлет... и поэт Блок — все перемешалось в моем представлении... Потом исчез Вольский... Потом Блок и Гамлет слились воедино...

Цикл Офелии кончился — аплодисменты гудели, а он читал, читал, читал, читал... Русь... Степи...

Бледный... измученный... Он уже при самом начале аплодисментов поднимал свою красивую белую руку:

— Молчите, я еще не все сказал, я еще не договорил...

И начинал читать. И читал. Одно после другого, разное, без заглавий, совершенно противоположное. Чувствовал ли он, что в последний раз говорит перед Москвой?..

Иногда аплодисменты заставляли его просыпаться от этой лирической летаргии, и маска лица то освещалась черными алмазами зрачков, то опять потухала.

Он читал из отдельных стихотворений, импровизировал отдельные строки, будто отвечал на какую-то об-

щую связь дум своих, в искании ответа невозможного, глядя в грядущее... Забывался на эти минуты Гамлет... И вдруг:

Тебя, Офелию мою,
Увел, далеко жизни холод,
И гибну, принц, в родном краю,
Клинком отравленным заколот.

Блок слился опять с Гамлетом. Для меня навсегда. Зал гремел и стал еще теснее. Публику с эстрады попросили сойти, дать воздуху.

Утомленный, бледный, опустился поэт на жесткое кресло, но вскоре оживился. Я успел пробиться и встать за его креслом. Нас около Блока было немного. Глаза у Блока еще усталые, но уже совсем другие, не такие, как за минуту назад, во время чтения, смотрели внимательно.

Вот в это-то время и познакомил нас, по моей просьбе, П. С. Коган. Рука Блока была горячая, влажная. Он крепко пожал мою.

— Я вас сразу узнал по портрету в журнале «Геркулес». В то время я увлекался гимнастикой, хотел быть сильным.— Глаза его оживились. Он говорил со мной дружески, будто со старым знакомым.— Мне тогда о вас Брюсов говорил... Он рассказывал, что вы очень сильный, что вы по Москве ходите с железной палкой почти в полпуда весом, говорил, что Пушкин также с такой палкой ходил в Михайловском и, развивая силу, жонглировал ею.

Я успел с восторгом упомянуть о его «Двенадцати», рассказать о своем «Петербурге» и о желании прочитать ему поэму.

— Осенью я обязательно буду в Москве, и мы с Петром Семеновичем (Коганом),— я остановлюсь у него,— с вами повидаемся и почитаем,— ответил он, помолчав.

Я подал ему свою книжку, карандаш, и он мне широким, ясным почерком написал:

Как часто плачем вы и я
Над жалкой жизнью своею.

Александр Блок, 1921 г.

Этой гамлетовской фигурой как бы заканчивается для меня галерея промелькнувших более чем за полвека людей театра. От безвестных перелетных птиц, от случайных обликов до таких вершин, как В. Н. Андреев-Бурлак, А. И. Южин, К. С. Станиславский и М. Н. Ермолова.

Картино, 1932—1933,
Столешники, 1934—1935.

ПРИМЕЧАНИЯ

«ТРУЩОБНЫЕ ЛЮДИ»

«Трущобные люди» — первая книга В. А. Гиляровского. В 1887 г. она еще до выхода в свет была конфискована в типографии и неброшюрованной по распоряжению Главного управления по делам печати сожжена всем тиражом.

Впервые книга «Трущобные люди» была опубликована в 1957 г. Гослитиздатом. Печаталась она по тексту хранящегося в семье В. А. Гиляровского экземпляра первого издания «Трущобных людей» с позднейшими правками автора.

Книга состоит из рассказов, которые до объединения их в сборник «Трущобные люди» печатались в периодических изданиях («Человек и собака», «Русские ведомости», 1885, № 148; «Обреченные», «Русские ведомости», 1885, № 186 и т. д.).

Все рассказы, включенные В. А. Гиляровским в книгу «Трущобные люди», написаны на основе фактического жизненного материала. Так, по поводу создания рассказа «Человек и собака» В. А. Гиляровский пишет: «Как-то проходил поздней осенью по Александровскому саду. Тихо. Молодой снежок забелил землю. На лавочке сидел старик-нищий, жевал хлеб и кормил собачонку... Разговорились. Оказался отставной солдат — делал турецкую кампанию... Потом под суд попал за... промотание казенных вещей...

— Уж и вешши: шинелешка трепаная — рупь цена, да сапоги старые, в коих Балканы перевалил... Просидел четыре года. Выпустили с волчьим билетом: ни тебе работы, ни тебе ночлег...

Через несколько дней читаю в газетах: «На льду Москвы-реки усмотрели занесенный снегом, неизвестно кому принадлежащий труп, по-видимому солдатского звания, в лохмотьях...»

«Уж не он ли это?!»

Вспомнился солдат с собачкой... Написал «Человек и собака» (Архив В. А. Гиляровского).

История создания рассказа «Обреченные» относится к зиме 1873/74 г., когда В. А. Гиляровский в своих скитаниях попадает на белильный завод Сорокина в Ярославле. Все, что пришлось увидеть и пережить ему за эту зиму, он записывал на клочках случайно попадавшейся ему бумаги и отсылал к отцу в Вологду на хранение. «Почти через десять лет,— пишет В. А. Гиляровский,— в 1883 г., уже твердо вступив на литературный путь, я взял у отца эти пожелтевшие листы, исписанные карандашом» (Архив В. А. Гиляровского). При составлении книги «Трущобные люди» часть рассказов была подвергнута некоторой переработке (например, «Один из многих»).

В 1900 г. В. А. Гиляровский выпустил сборник рассказов «Негативы», а в 1909 г.— «Были». В них он включил несколько рассказов из «Трущобных людей», изменив их названия: «Человек и собака» назывался «Бродяга», «Обреченные» — «Свинец», «Без возврата» — «Часовой», «Один из многих» — «Обыкновенная история», «Потерявший почву» — «Некуда».

«МОИ СКИТАНИЯ»

«Мои скитания» впервые были напечатаны в 1928 г. в Москве в издательстве «Федерация». В 1958 г. книгу переиздали в Вологде, на родине писателя, в Вологодском книжном издательстве.

В настоящем издании «Мои скитания» печатаются с сокращением глав «Театр», «Актерство» и «Репортерство», так как эти главы впоследствии переросли в книги «Люди театра» и «Москва газетная».

«Мои скитания» — первая часть автобиографической трилогии В. А. Гиляровского (вторая — «Люди театра», третья — «Москва газетная»). Вместе с тем каждая книга является совершенно самостоятельной.

Начало работы над «Моими скитаниями» относится к 1905 г. В то время у В. А. Гиляровского не было еще определенного плана книги, он просто начинает писать и публиковать отдельные эпизоды

из своей жизни в виде воспоминаний. В 1912 г. он даже дает нескольким небольшим рассказам подзаголовок: «Мемуары старого журналиста». Но работа в эти годы велась без определенного плана и замысла, с очень большими перерывами.

Вплотную к работе над «Моими скитаниями» В. А. Гиляровский приступает в начале 20-х годов. В большой тетради он начинает писать главу за главой, пока без той последовательности, которую приобрела книга в окончательном варианте («Детство», «Полк», затем опять возвращается к детству, «Конец войны 1877 г.», «До войны», «Саратов» и т. д.). Работу эту он называет «Мои записки из бродяжной жизни». В самом начале тетради он пишет: «Нет! Это не автобиография, нет, это не мемуары. Это правдивые кусочки моей жизни и окружающих, с которыми связана летопись эпохи (по выражению одного ученого, убеждавшего меня приняться за эту работу), охватывающая собой почти семь десятков лет...» (Архив В. А. Гиляровского).

«Мои скитания»,— писал В. А. Гиляровский,— самая любимая из всех моих книг». Работу над ней он продолжает и после выхода ее в свет. Он составляет примечания к книге. В 1933 г. В. А. Гиляровский пишет своему другу профессору Московского университета О. И. Богомоловой: «...теперь на очереди доработка «Моих скитаний». В другом письме к ней же: «...написал новое предисловие к «Моим скитаниям», которое только три дня тому назад закончил одной первой строчкой, и им доволен. Мне удалось выбрать новую форму предисловий к книгам. Для «Моих скитаний» это всего шесть строк стихотворения, которые читатель прочтет и, пожалуй, не поймет, а задумается, что это такое? И только, читая книгу, вернется несколько раз к нему, поймет все и заинтересуется. Будет там напечатано только одно:

От автора

Я рожден, где сполохи играли,
Дон и Волга меня воспитали,
Жигулей непролазная крепь,
Снеговые табунные дали,
Косяки, расцветившие степь,
И курганов довечную цепь.

В 1934 г. В. А. Гиляровский пишет О. И. Богомоловой: «...принялся за новую главу для «Моих скитаний» — «Степь». Тема, близкая сердцу, вызывающая...» (Архив В. А. Гиляровского). Глава эта впервые публикуется в настоящем издании.

«ЛЮДИ ТЕАТРА»

Над книгой «Люди театра» В. А. Гиляровский работал с начала 20-х годов и до конца жизни. Напечатана она была уже после его смерти в 1941 г., в Государственном издательстве «Искусство». С 1941 г. «Люди театра» не переиздавались.

«Люди театра» в основном писались в подмосковном поселке Картино. Много раз менялся план книги. К О. И. Богомоловой В. А. Гиляровский пишет 8 августа 1932 г.: «Книгу мою могу закончить в Москве, приготовив ряд отдельных этюдов, и в Москве уже обсужу новый план, так как старый нарушен. В Москве этюды не пишутся, их я привык писать в Картине, а там деревяшки выходят...» (Архив В. А. Гиляровского).

В письме от 19—22 апреля 1933 г. к ней же: «В самом скором времени закончу «Люди театра»... Я уж сегодня разбираюсь в этюдах, отложил материалы к третьей части (первая — Вася, вторая — Ермолова), третья часть еще почти не начата, надо сделать заново, и я уже сообразил начало плана... Все другие материалы отложил, выложил перед собой только то, что надо для книги и первым делом для третьей части, которую должен прежде всего закончить.

...В голове за ночь сложился план третьей части. Начинаю с главы об А. А. Бренко — самой яркой представительнице «Людей театра», сделал за ночь карандашные наброски, сажусь писать... Принимаюсь за работу и сейчас уверенно говорю: Бренко выйдет хорошо. Кого дальше буду писать не знаю. Думаю, Андреева-Бурлака.

...Бренку кончил... Вышла вся хороша. Начало доброе, писать хочется. Теперь начал работу над третьей главой — Андреев-Бурлак. ...Работается легко, весело» (Архив В. А. Гиляровского).

Особенно долго и с увлечением работал В. А. Гиляровский над главой о М. Н. Ермоловой. Первоначально эту главу он намерен был включить в книгу «Друзья и встречи», но в издательстве попросили В. А. Гиляровского сократить ее, и он предпочел вообще исключить ее из книги. О. И. Богомоловой он по этому поводу пишет: «Всю романтичность и поэзию, которой полна первая глава, моя любимая глава, над которой я особенно с увлечением работал,— долой! От Ермоловой остается очень мало, «Ага» совсем не пойдет. Это изменит план книги. Все-таки я ничуть не раскаиваюсь, что написал Ермолову — Ага, которые приходится вынуть из этой книги: я их писал с удовольствием, писал и радовался» (Архив В. А. Гиляровского).

Впоследствии глава о М. Н. Ермоловой («Восходящая звезда») была включена автором в книгу «Люди театра». Полностью эта глава публикуется впервые в настоящем издании.

СОДЕРЖАНИЕ

Трущобные люди

Мои скитания

Люди театра

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
ГИЛЯРОВСКИЙ

Избранное, т. I

* * *

Редактор В. Фирсов.
Художник П. Зубченков.
Техн. редактор М. Шлык.

* * *

Издательство «Московский рабочий»,
Москва, пр. Владимирова, 6.

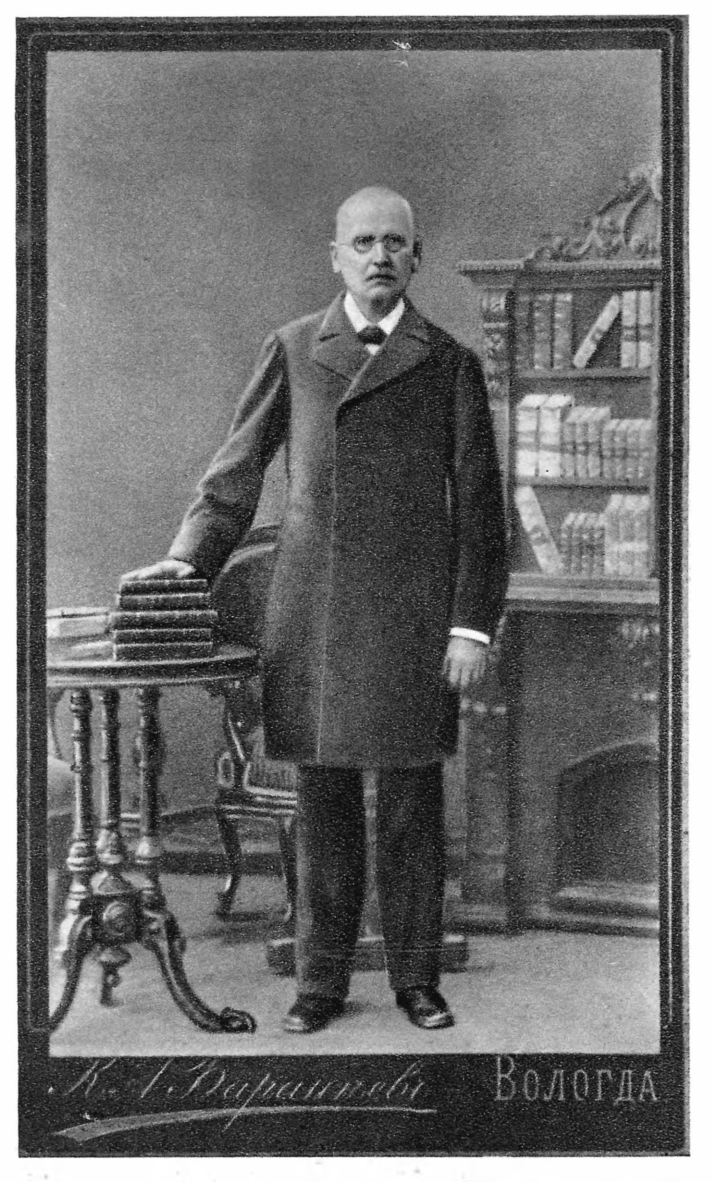
* * *

Л52115. Подписано к печати 4/IX 1961 г.
Формат бумаги 84 × 108$^1/_{32}$. Бум. л. 9,13.
Печ. л. 29,93. Уч.-изд. л. 26,88.
Тираж 150 000 (75 001—150 000) экз.
Цена 1 р. 10 к. Зак. 2905.

* * *

Набрано и сматрицировано в типографии
изд-ва «Московский рабочий»,
Москва, Петровка, 17.

Отпечатано типографией «Красный пролетарий» Госполитиздата Министерства
культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.



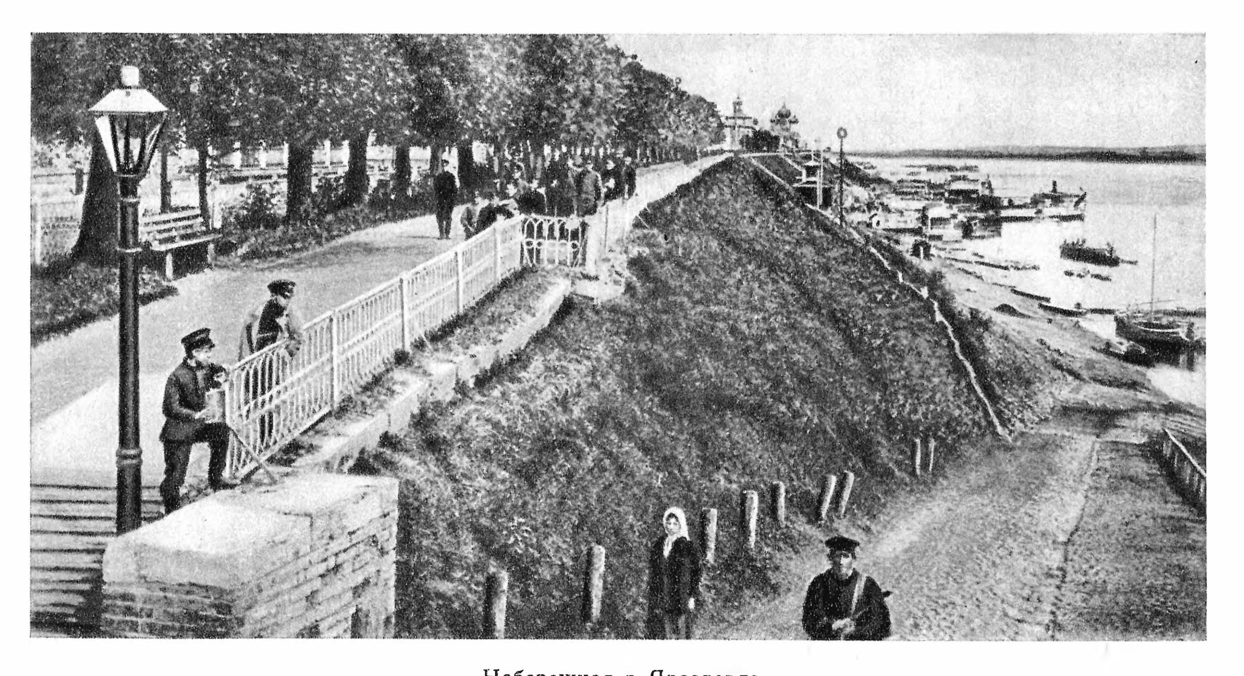
А. И. Гиляровский (отец писателя).



Здание Вологодской гимназии.



В. А. Гиляровский в форме юнкера.



Набережная в Ярославле.



Волжские бурлаки.

Казань.

Самара.



Саратов.



Рыбницы в Астрахани.



Живорыбные садки на Волге.



Театр в Тамбове.



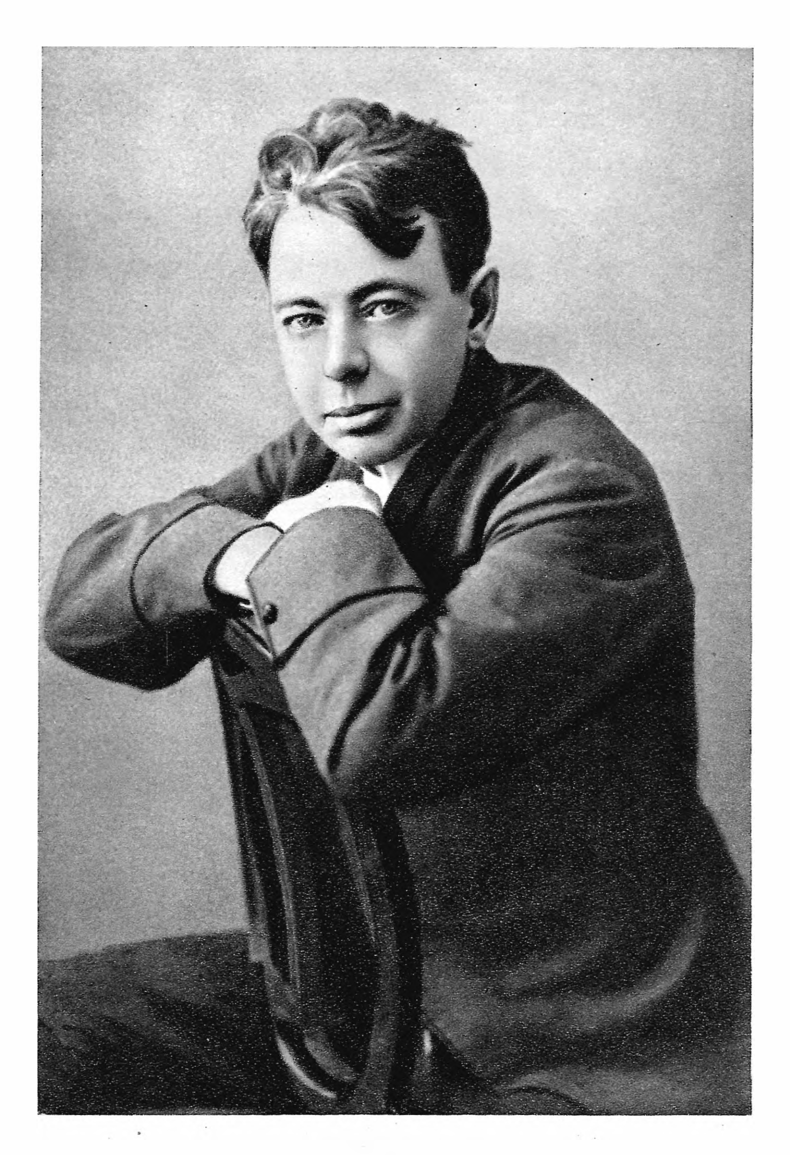
Городской театр в Воронеже.



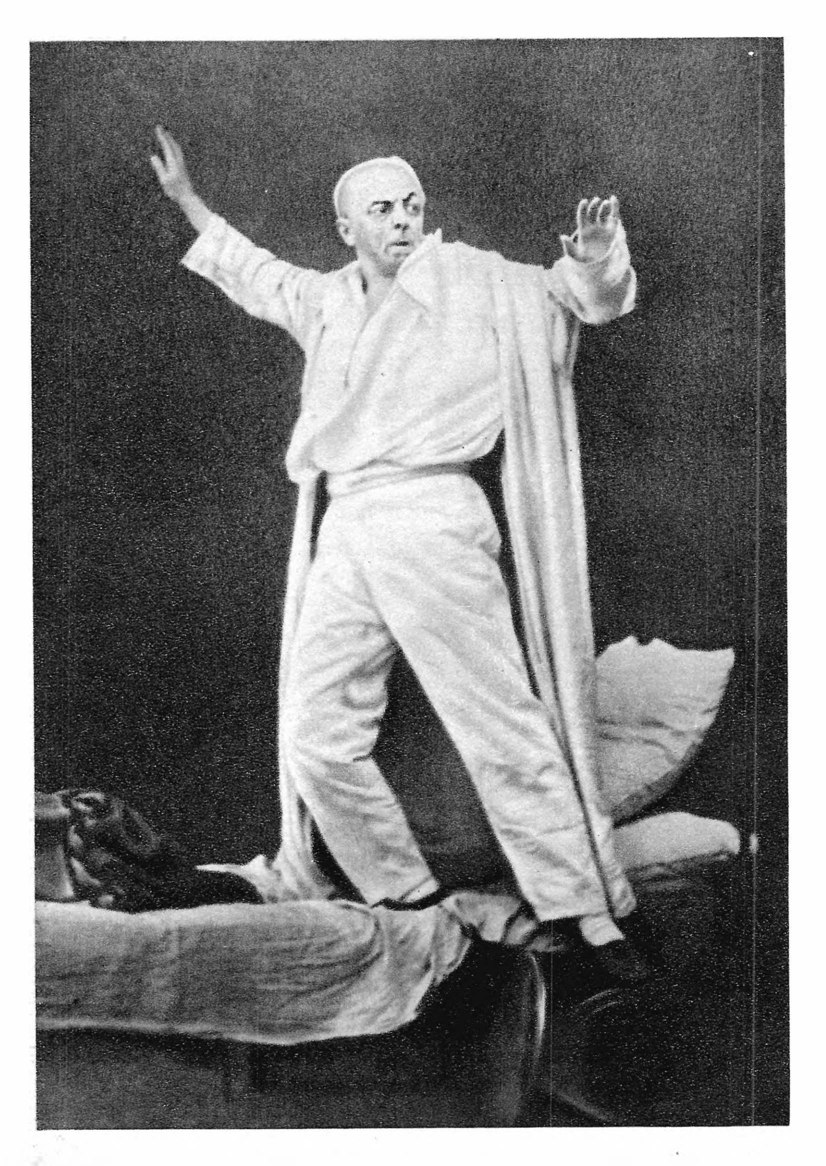
В. Г. Григорьев.



Ф. П. Горев.



В. Н. Андреев-Бурлак.



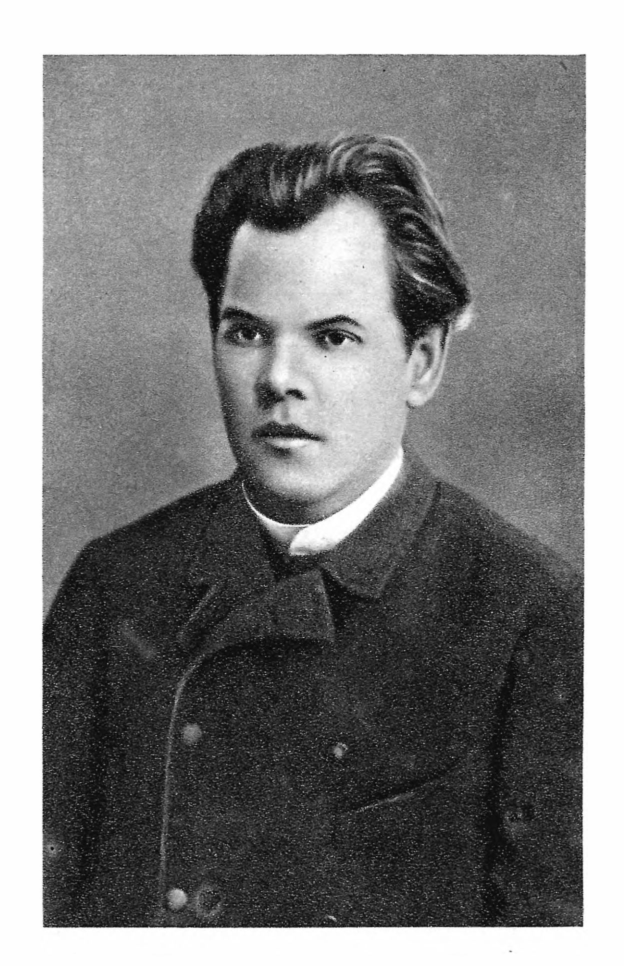
В. Н. Андреев-Бурлак в роли сумасшедшего.



П. И. Якушкин.



М. И. Писарев.



В. В. Васильев.



А. Я. Глама-Мещерская.



П. А. Стрепетова.



А. И. Южин.



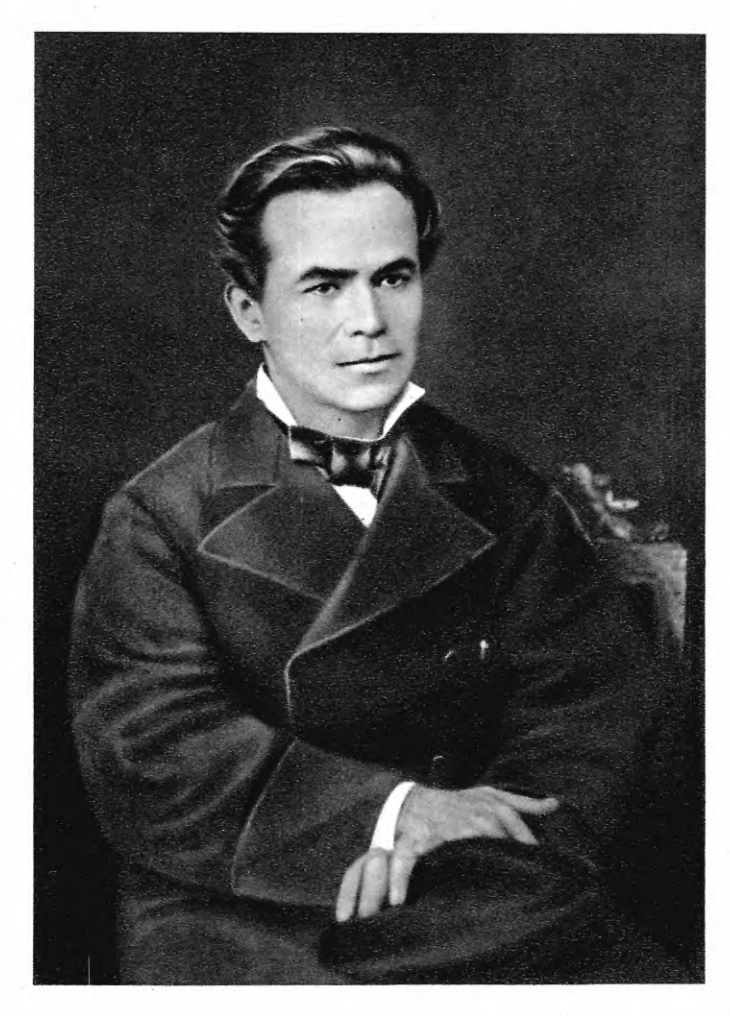
В. П. Далматов.



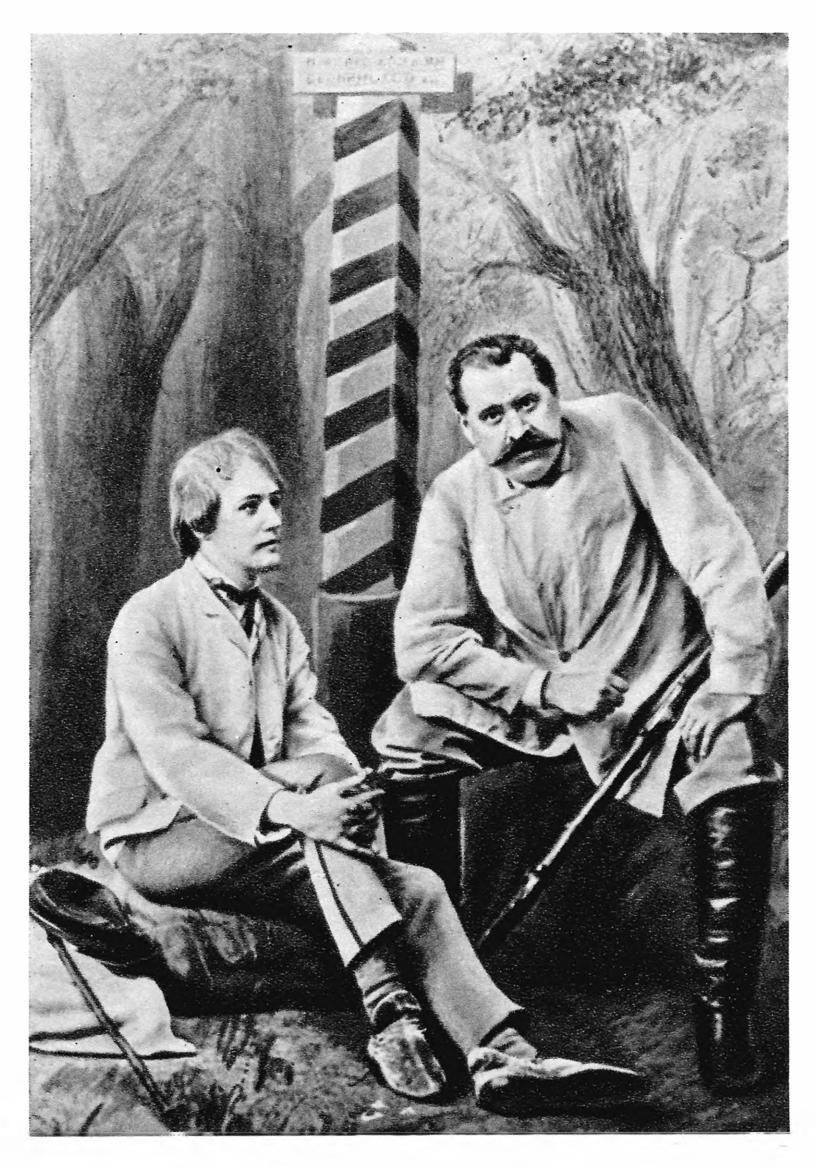
М. И. Свободина-Барышева.



К. В. Гаевская.



Н. П. Киреев.



Н. Х. Рыбаков в роли Несчастливцева
в пьесе Н. А. Островского «Лес».



М. Н. Ермолова. *Работа художника Н. И. Ге.*



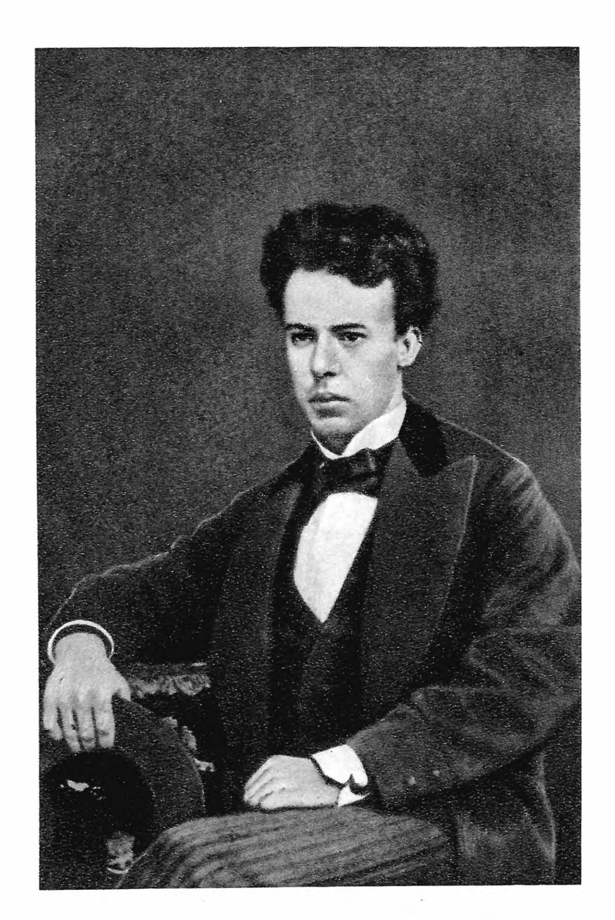
А. А. Бренко.



М. В. Лентовский.



Артисты «Эрмитажа».



Ф. К. Вольский.